This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

**Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

**About Google Book Search**

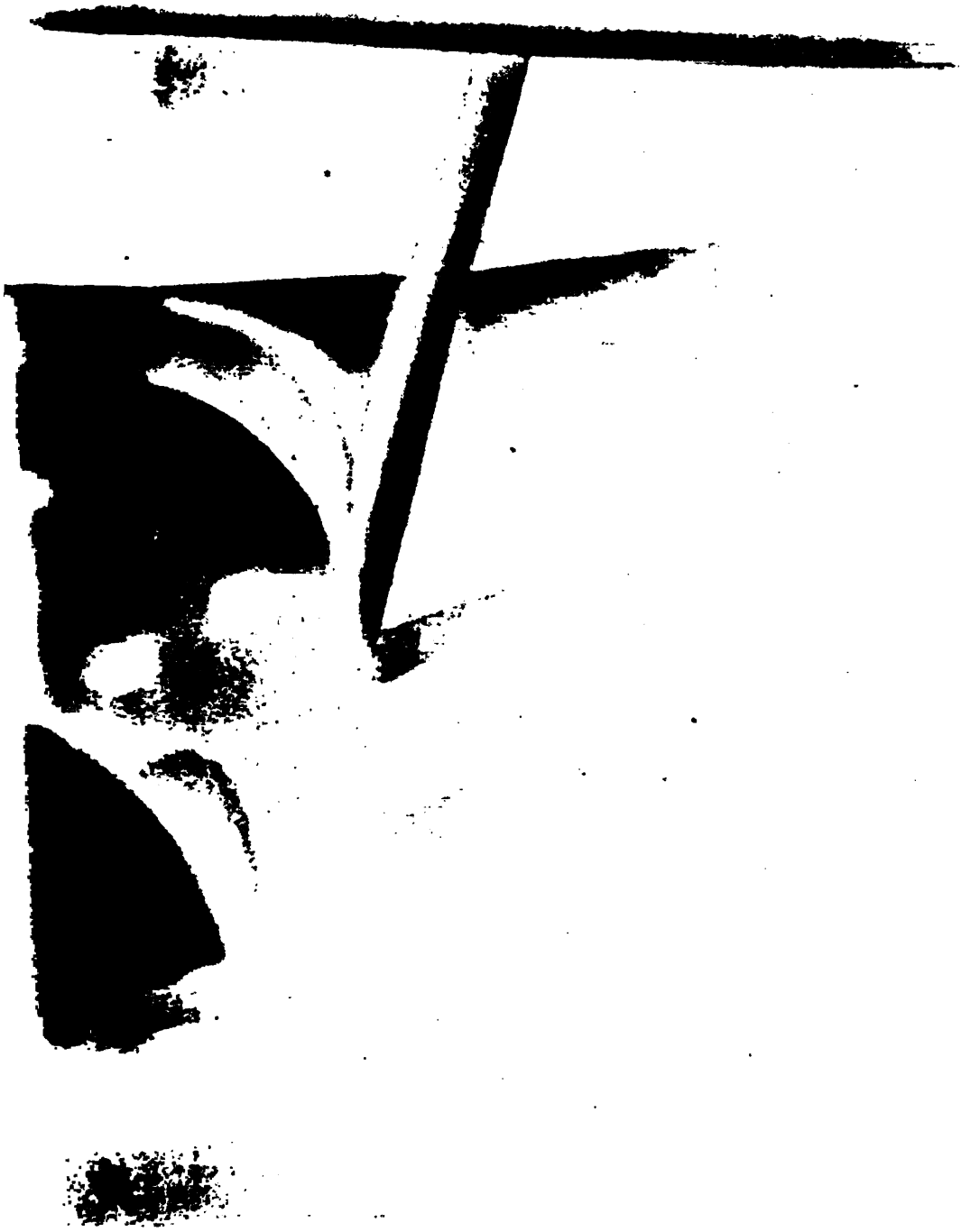
Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

UC-NRLF
B 3 469 145

АЛЕКСАНДР МАРЬЯМОВ

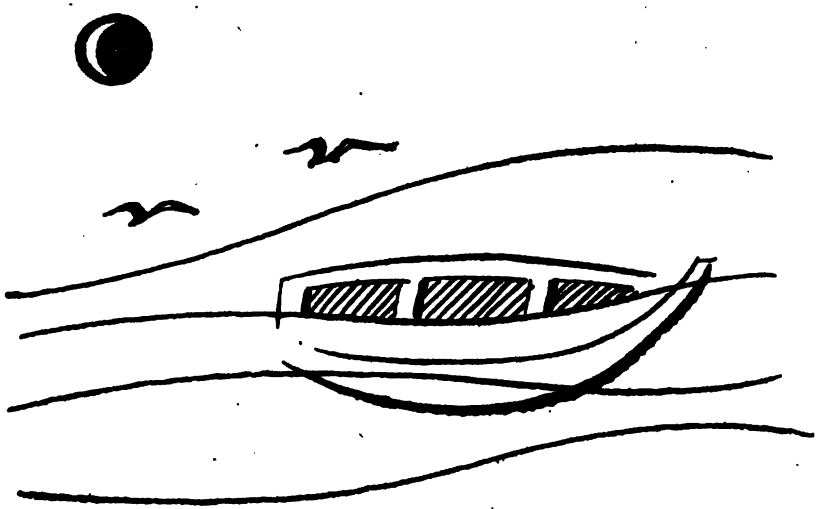
# ЗА ДВЕНАДЦАТЬЮ МОРЯМИ

CONVERTED



АЛЕКСАНДР МАРЬЯМОВ

Mar'iamov, A. M.



# ЗА ДВЕНАДЦАТЬЮ МОРЯМИ

Повести

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ • МОСКВА 1975

Р2
М30

Еще в юности Александр Марьямов (1909—1972) много путешествовал, матросом ходил на кораблях дальнего плавания, а затем на протяжении всей жизни был связан с Арктикой, не раз возвращался в места, о которых пишет, сопоставляя прошлое с настоящим, показывая, как год от года преображался наш Север, как подчинялась человеку его суровая природа, каким неисчерпаемым кладом стал он в руках советских людей.

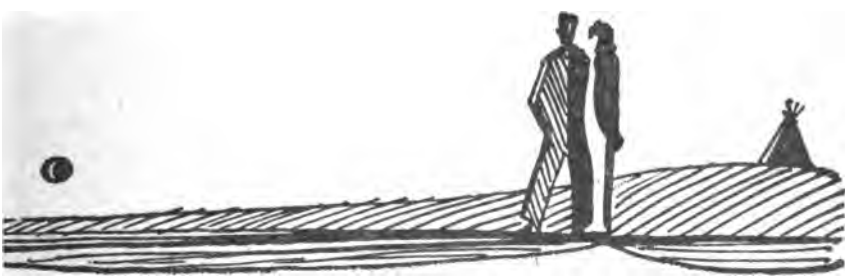
Повести, составившие настоящую книгу, — итог творческой жизни писателя, который был неизменно верен своей теме и разработал ее талантливо, глубоко, достоверно.

Книга насыщена фактами и проблемами, которые и сегодня не потеряли своей актуальности. Главное же — ее герои, описанные А. Марьямовым с любовью, пониманием, с умением проникнуть в тайны их профессий, в их мечты, планы и свершения.

ХВ
6
2432

М $\frac{70302-001}{083(02)-75}$ 94—74

PG-3476
M37Z21
1975



# ИДЕМ НА ВОСТОК

## НА ПОРОГЕ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Ночью лег снег.

Откуда он взялся?

Уже в небе ни тучи, ни облака. Весенняя синева, весеннее солнце. Еловые ветви отяжелели от снега. И от белых веток, от наста, прочеркнутого новой лыжней, от солнца, которым будто наполнено все глубокое синее небо, живет во всем пронзительно-праздничное сверкание.

Птица порхнула с дерева, засуетилась в снегу, печатая следы-лучики. Неужели же не нарочно вправлена она в это белое сверкающее великолепие — крохотная горсть красных и синих перьев, крохотный черный, влажно блестящий глазок и льдисто-звонкий, торжествующе-звонкий щебет на всю лесную округу? Точно и не птица это, а удивительный живой трансформатор, преобразующий свет в звук, сверкание в песню.

Январь кончается.

На рассвете, как обычно, передавали по радио сводку погоды и я снова поймал себя на том, что после возвращения из недавней поездки эта сводка стала для меня чем-то вроде весточки от новых друзей. Диктор сказал, сколько градусов мороза было нынешней ночью в Салехарде, и я увидел четырехугольную деревянную башенку метеостанции над замерзшей белой рекой. Наверх, к приборам, нужно карабкаться по такой же лесенке, какие строились на старых деревенских колокольнях. И когда мы уже выходим на открытую вышку, где вращаются какие-то блестящие полушария, стоят шкафчики, похожие на скворечни, и где тесно от других непонятных постороннему приборов, — снизу кричит долговязый молодой метеоролог по имени Альфред:

— Осторожно там, не вертись, всю погоду мне испортишь!..

И внизу виден весь большой деревянный город, а впереди — синие горы Пай-Хой.



1183

Салехардскую погоду передали отсюда.

Диктор сказал про Якутск. Там сегодня тридцать семь градусов мороза...

Интересно бы знать, управились ли уже со своей работой Коля и Ирина Романовы? Геофизики, они приехали в Якутию из Ленинграда. Только что получили дипломы, только что поженились и вдвоем отправились «на алмазы». Осенью они ушли на оленях к реке Алакит, чтобы оконтурить — так они называли предстоявшее им дело — одну из новооткрытых алмазных «трубок». С ними отправлялись двое подручных. Работы были рассчитаны до февраля. Значит, еще стоит их палатка в глубоком, узком каньоне, и отвесная стена из темных вулканических траппов защищает четырех людей от морозного ветра...

Бухта Тикси... Порт Певек на Чукотке... Магадан...

Все это теперь знакомые имена, и там живут знакомые люди.

И если диктор называет Певек, то я вспоминаю переправу с аэродрома в Аппапельгыне, тяжелую лодку на неширокой и быстрой реке, потом длинную дорогу в болотной тундре, невысокие горы — голый, иззубренный камень, замыкающий Чаунскую губу; и вдруг — неожиданный город: строятся дома, краны торчат над портом, большой белый теплоход разворачивается на рейде. Так это выглядело три месяца назад. А как же выглядит это теперь? Наверно, машины проходят из Певека в самый Аппапельгын по льду, прямо к самолетам, улетающим в Пламенный, в Красноармейск и Билибино. Впрочем, нынче и туда, на рудники, можно, наверно, тоже добраться не только по воздуху, но и по зимнику, на попутной трехтонке.

Верхоянск в сводке погоды помянули одним из первых. Так и положено: полюс холода.

Но я был неподалеку от Верхоянска в самом конце августа. Мы прилетели из бухты Тикси в якутский наслег Борогон. В Тикси уже лежал снег, а здесь, близ полюса холода, мы еще купались в реке Омолой, грелись на мелкой гальке. А сейчас, зимою, борогонские колхозные каюры гоняют по тундре оленьи упряжки: рогатый транспорт приносит колхозу наибольшую прибыль. И есть еще в полуторамиллионном бюджете колхозников-борогонцев другая статья: промысел пушного зверя. Охотники разбрелись по зимним избушкам, срубленным за сотни километров от своего колхоза. На коротких широких лыжах они обегают расставленные ими ловушки — «черканы» и «пасти»: не попал ли песец под гнетóк, не забежал ли горностай на приманку?

Бежит на лыжах Егор Баланов. Мороз — сорок два градуса. Тихо. Тундра под снегом. Снег нестерпимо сверкает. Солнце идет навстречу Егору...

Недавно мы с ним плыли по Омолою в легкой долбленой лодке, которую он называл по-тамошнему «веткой», и ловили рыбу-моронатку. Мелкая рыбка, но вкусная. Мы варили ее на костре. Перевернутый челнок-ветка лежал рядом, из него вытекала набравшаяся вода...

Теперь, когда диктор читает сводку погоды, я все это вижу.

И я знаю, что сегодня и Коля Романов в своем каньоне рядом с вновь открытой алмазной «трубкой», и колхозники-борогонцы, и Леша Спирин, который строит новый поселок золотоискателей на реке Индигирке, — все они тоже слушают радио.

В Москве, в Большом Кремлевском дворце, заседает в эти дни XXI съезд Коммунистической партии.

Так прошел этот месяц, первый месяц 1959 года, от которого мы будем так же отсчитывать время, как в предыдущие тридцать лет отсчитывали его от начала первой пятилетки.

Январь начался взлетом ракеты, которая унеслась в космос, окликая нас из астрономических высот голосом веселой птицы, на короткой волне. Сработанная из земных сплавов теплыми человеческими руками, эта земная вещь стала спутником Солнца, десятой планетой; у нее есть свой год — на восемьдесят пять суток длиннее нашего; есть свои зима и лето, свои вечер и утро. И об этой маленькой планете — единственной, кроме Земли, — мы в точности знаем, что она обитаема: в ней живут стремления двухсот миллионов, их сила и знание, их умение приходить к поставленной цели во что бы то ни стало.

На съезде идет хозяйский разговор; весь путь к 1965 году проложен так, как прокладывают по карте свою дорогу между двумя хорошо известными портами капитаны морских кораблей.

Завтрашний день можно у нас увидеть отовсюду, где бы ты ни жил, не удаляясь от своего дома.

Но в дороге, когда на новые, незнакомые прежде места глядишь с особой пристальностью, это ощущение зримого будущего особенно обостряется.

И еще яснее видишь это будущее, когда заглядываешь в завтрашний день вместе с новоселами, только что расположившимися в еще не очень обжитых местах, — там все, что ни делается, имеет дальний прицел: завтрашнее словно уже проглядывает там сегодня сквозь тонкую, прозрачную скорлупу. То и дело эта скорлупа пробивается у тебя на глазах, и вот они, очертания будущего, и смотреть на них — радость.

Дорога была немалая — пятьдесят тысяч километров. Это больше длины экватора. Можно бы с лихвой опоясать землю, но даже и такого пути не хватило бы, чтобы как следует поглядеть на Россию; посмотришь по карте — не так уж и много пройдено: река Обь, небольшой пятачок в Сибири да такой же

в предгорьях Алтая; чуть побольше — нитки якутских дорог; клочок Северного морского пути, булавочная точка на Чукотке; потом полет над осенне-рыжими распадками меж колымских сопок — к лиственницам, посаженным вдоль прямых и светлых улиц молодого города Магадана; потом возвращение. Вот и размотались твои пятьдесят тысяч километров: встречи, разговоры, стук дождя по палатке, шестьсот грузовиков, один за другим, на дороге к новой плотине, оленьи упряжки в снегу, мигание зеленого электронного глазка в заводской лаборатории, котелок трактористов на степном костре, безымянная речка в тундре, голос вахтенного матроса: «Слева по носу айсберг», — и между палатками, городами и пешими переходами опять самолет. Моторы шумят; за окошком внизу — белые облака, вверху — синее небо; сиди и думай.

В длинной дороге все время меняется ритм.

На магистрали — тысяча километров нипочем: самолет в три часа одолеет, а на «Ту» и полутора часов не пройдет. Свернешь в сторону — мерки другие. И тоже разные. Если едешь, скажем, на жердочке попутного бензовоза—одно, а вышагиваешь пешком по тайге — другое. И получается так, что на небыстрой дороге больше смотришь и слушаешь, а в полете раздвигается горизонт, шире думается, и в дорожный дневник записываются не зрительные впечатления (они-то в полете по большей части похожи), но то, что в литературе называется «отступлениями».

«Восточные районы» — так чаще всего с деловой географической точностью называем мы места, по которым проложен был маршрут путешествия.

Так говорилось о них и на партийном съезде.

В дни съезда мы увидели восточные районы такими, какими будут они семь лет спустя: новые заводы и города, высоковольтные передачи и газопроводы. И мы знаем, сколько будет к концу семилетки выплавлено чугуна и стали, добыто руды и нефти в местах, названия которых большинство из нас слышит впервые. Однако это вовсе не означает, что места, о которых идет речь, пока еще безжизненны и безлюдны. В том-то и дело, что в большинстве своем завтрашние промышленные центры восточных районов — это и сейчас уже не только разведанные, но и обжитые места.

Потому так виден и ясен, так достоверно может быть выражен в чертежах и цифрах завтрашний день этих мест.

Потому в это зимнее утро, когда закончился первый месяц нового семилетия, на которое наш народ загадал свою жизнь, а партия проложила точный маршрут пути, вся пройденная недавно дорога по-новому явилась перед глазами; она подвела к порогу, за которым открылся новый день и новое дело.

## ДОРОЖНАЯ КАРТА

Чем дальше дорога, тем меньше надо брать с собой вещей. Берешь то, что кажется самым нужным.

Укладываешь вещи не в чемодан, а в заплечный мешок. Кладешь в него то же, что забирал с собой в детстве, уходя в лес, который казался большим, как мир, и полным приключений, как любимая книга.

Бережно прячешь на дно карманный фонарь. Будешь потом ревниво сравнивать его с фонарем попутчика: чей ярче светит? Ни для чего другого он тебе не понадобится. И запасные батарейки так и останутся неиспользованными. Кладешь складной столовый прибор в кожаном футляре. Проверяешь, не забыт ли нож, с которым можно бы идти на медведя. Хорошо еще, что этим ножом можно резать и хлеб, можно открывать консервные банки, иначе и он пролежал бы без дела.

Конечно, непременно бы надо иметь с собой спальный мешок. Но это чересчур уж громоздко. Очень жаль, но ничего не попишешь. Перебьешься без спального мешка. Кидай в рюкзак носки, трусы и зубную щетку.

Мальчишеская радость большой дороги. Радость путешествия.

В путешествие можно превратить для себя любой путь. Это зависит от того, как к нему отнестись, как задать восприятие предстоящей дороги своему зрению и своим чувствам. И за пятьдесят километров и за пять тысяч можно «съездить», «слетать», «подскочить», «смотаться», а можно и отправиться с волнующим предвкушением дорожных открытий: стоит только захотеть, и за порогом начнется страна неведомого...

В XVIII веке поездка по наезженному, оживленному почтовому тракту из Петербурга в Москву была делом почти таким же обычным, как и нынешний маршрут «Красной стрелы» или перелет на «ТУ-104». Ну, конечно, часов на шестьдесят дольше; но в этом и все различие. Перегоны между почтовыми

дворами можно было проспать в дилижансе так же, как и перегоны между станциями нынче в вагоне. Александр Радищев задал себе на этом маршруте вместо регулярной поездки необычное путешествие. Места, по которым пролегал почтовый тракт меж Петровым градом и первопрестольной Москвою, он захотел представить себе нехоженой, быть может даже и необитаемой чащобой.

Веселым возгласом освобождения открывает Радищев путевой дневник: «Теперь я прощусь с городом навеки... заеду туда, куда люди не ходят, где не знают, что́ есть человек, где имя его неизвестно. Прости! Сел в кибитку и поскакал».

— Сел в кибитку и поскакал!

Возглас навстречу дорожному ветру.

В поездке знаешь одно: конечный аэродром или станцию назначения. Маршрут — дело машиниста или штурмана. Путешественнику нужна своя карта, над которой проведен не один вечер, где все рассмотрено, продумано и расчерчено карандашом.

Карта нужна была и нам.

Мы — это небольшая киногруппа. Четыре человека. Оператор с помощником — их зовут Юра и Толя. Литератор (я). И еще один Юра — он хотел стать оператором, но получилось так, что в институте пришлось пойти на другой факультет, на операторском мест не хватило, что ли; поступил на планово-экономический, думал: институт-то один, как-нибудь образуется. Не образовалось. Теперь он звучно именуется директором нашей группы; снаряжение, дорожные хлопоты — это его обязанность, а душу Юра отводит за разборкой и чисткой съемочных аппаратов.

Задуман киноочерк о Сибири. Для этого и составлена группа. Поедем, будем вместе, в пути, делать сценарий и снимать.

«Сел в кибитку и поскакал...»

Но сперва нужно было продумать маршрут и проложить его на путевой карте.

И пока Юра-директор добывал для нас ружья («Непременно «Белка»! — доказывал он. — В одном стволе пуля, в другом дробь...»), пока он искал накомарники и приценивался к палаткам, мы с Юрой-оператором ходили советоваться в Госплан и в Министерство геологии.

Разговор шел в отделе перспективного планирования Госплана СССР.

Просторный кабинет в здании Совета Министров, в Охотном ряду. На стене — привычная глазу большая школьная карта всей страны. И сразу, с самого начала беседы, поразил особый, хозяйственный подход ко всему, что изображено на

этой карте, умение собеседников видеть каждый отрезок схематического чертежа не только в пространстве, но и во времени — совершенно конкретно, с очень отдаленной и вместе с тем очень ясной перспективой, по крайней мере на полтора десятилетия вперед.

— Если мы предполагаем начинать освоение какой-либо новой точки, — сказал тогда один из руководителей отдела, участвовавших в беседе, — мы обязаны ясно видеть, что́ там можно будет взять в двухтысячном году...

Впервые создается подробная геологическая карта таких земель, на которых и географические-то «белые пятна» заполнены совсем недавно. Эта огромная работа, в которой участвует буквально целая армия геологов, шаг за шагом «прочесывающих» нехоженые пространства тайги и тундры, приносит самые неожиданные драгоценные подарки. Впрочем, такие подарки обнаруживаются не только в нехоженых, но и в таких обжитых местах, как Полтавщина или недавно еще тихие околицы Белгорода, которые прежде были известны разве только меловыми горами. Однако находки, обнаруженные на Востоке, превосходят все, что нам было до сих пор известно. Там вступают в дело астрономические цифры. Семь триллионов тонн — вот, например, цифра, которая самым скромным образом оценивает запасы угля, обнаруженные до сих пор в Восточной Сибири. Двенадцать миллиардов тонн железной руды пока учтены там геологами. Там есть нефть и природный газ, алмазы и золото, полиметаллы и редкоземельные элементы, слюда и олово — всего не перечислить. И там есть такие удивительные сочетания, как, например, в Чульмане — таежном районе поблизости от Алдана, где рядом лежат и железная руда и отличные коксующиеся угли. К тому же руды там больше (и притом лучшего качества), чем в Криворожье; угля больше, чем в Донбассе. И соседство у них еще более близкое.

И вот обилие новых находок — оно-то и создает ту сложную проблематику, что возникает перед отделом перспективного планирования Госплана.

Районы тайги и вечной мерзлоты видятся экономистам, планирующим развитие социалистического народного хозяйства, как заботливо, по-хозяйски организованная кладовая социализма: видно все, что лежит на полках. Все подсчитано, учтено. Понадобится — заходи и бери. Но не всякая полка одинаково доступна. И нужно в точности рассчитать, к которой находке подступиться сразу, а какую оставить впрок, на более поздние времена, помня о ней и имея её на примете.

Критерий «двухтысячного года», о котором поминал собеседник, — один из главнейших. Каков запас природных богатств, найденных в том или ином месте? В какие сроки может он быть исчерпан? Построишь рудники, построишь завод,

построишь городок для рабочих, а запасы сырья, скажем, таковы, что если добывать и перерабатывать их современными способами, то лет через сорок — пятьдесят запасам этим придет конец. Руднику и заводу в 2000 или 2005 году делать будет уже нечего. А город стоит, в нем растут дети, ходят в школы. Сюда приехали учителя, приехали люди, не связанные с рудниками и заводом, — городская жизнь стала развиваться уже как бы сама по себе, вокруг главного, производственного стержня. Что же делать с городом, уходящим «взаштат», лишающимся основного, естественного источника существования, подле которого он и создавался?

Добро еще, если такой город возник в густонаселенной полосе, где вокруг развито сельское хозяйство, где существуют многообразные сферы приложения созидательного труда. А если город строился вдалеке от магистралей, если к нему пришлось специально тянуть дороги, если он стоит на мерзлоте, где не растут ни хлеб, ни картошка, и жители тут кормятся тем, что привозят им за сотни и тысячи километров? Выходит — либо вывозить оттуда жителей куда-нибудь к новому делу и оставлять обезлюдевший «город-призрак», либо искусственно поддерживать существование такого «населенного пункта», который изжил себя и теперь пробавляется только тем, что одни здесь обшивают тех, кто их, скажем, обувает, другие пекут хлеб для всех остальных, учат ребят, торгуют в лавках, но уже никто ничего не производит для народа, для общей — в привычном для нас, высоком смысле этого слова — цели.

Значит, нужно крепко рассчитывать, что и когда снимать с полки и пускать в обиход. Иной раз и богатое, но отдаленное месторождение выгоднее бывает попридержать в запасе, а до поры до времени взяться за менее богатое, но зато не требующее прокладки новых дорог, не нуждающееся в доставке продовольствия издалека.

Так возникает очередность; так социалистическое планирование создает свои тайнички, в которых сокровищ хватит на поколения и поколения.

За примерами ходить недалеко. В двух южнорусских областях, от века непромышленных и тихих, вырастают нынче рудники и заводы, строятся новые города; все это вместе называется коротким словом, напоминающим древние названия тихих степных речек: «Кма». Но не речка, текущая в камышах, кроется за этими буквами, а вкрапленные в камень подземные рудные жилы. КМА — это сокращение, обозначающее Курскую магнитную аномалию, о существовании которой уже Владимир Ильич Ленин хорошо знал и энергично настаивал на последовательном и самом полном ее изучении. Едва от Курска были отогнаны деникинцы, как уже пришли туда, в том же

1919 году, посланные Лениным геологи-разведчики. Три года спустя, в 1922 году, Владимир Ильич писал Г. М. Кржижановскому о доказанном наличии «невиданных богатств железа в Курской губернии» и сообщал: «Мартенс хочет ехать туда недели через 3. Я писал Рыкову и Цюрупе, что надо бы ему дать еще инженера из Госплана».

Вот, значит, когда Госплан — по ленинскому наказу — отводил свою полку для этой самой «Кмы».

А для начала стройки черед пришел спустя тридцать пять лет...

Бывают, конечно, и интересные находки: их не отложишь впрок, они должны идти в дело немедля. Такой, например, находкой явились алмазы Якутии. Едва подтвердились предположения о родстве якутских геологических образований с кимберлитами Южной Африки, едва промывка породы, взятой из кимберлитовой трубки у речки Иирилээх, в бассейне Вилюя, показала присутствие алмазов — сразу у трубки «Мир» возник поселок Мирный: первые его палатки, первые временные бараки и временные обогатительные фабрики.

Благодаря счастливому открытию огромный район таежной Якутии, где и селений-то почти не было и где до сих пор разве лишь промышляли пушнину охотники, стремительно поднимается к новой жизни. Здесь строятся города, прокладываются дороги.

А это в свою очередь означает, что и ко многим другим полкам кладовой, находящимся поблизости от алмазных мест и хранящим, к примеру, запасы угля, или полиметаллов, или природного газа, теперь как бы приставляется лестница: они становятся не такими отдаленными и труднодоступными, как прежде. Их богатства можно будет быстрее поставить на службу народу.

Вот какими глазами видят в Госплане обыкновенную географическую карту.

Проходит полчаса беседы, а уже и для нас из-под привычных глазу сегодняшних обозначений явственно выступают на карте еще и другие: новые линии дорог, кружки будущих городов, тысячекилометровые магистрали газопроводов, зубчатые схемы плотин и силуэты тепловых электростанций, раскрепощенные силы атома, трудолюбиво работающие в мирной упряжке, цитадели синтетической химии, продвигающиеся на север хлебные поля — одним словом, тот пейзаж советской земли, который в двухтысячном году будет окружать людей, живущих в коммунистическом обществе. Этот пейзаж переставал здесь восприниматься как воображаемый. Постепенно он перед нашими глазами как бы материализовался, начинал существовать как действительность.

У карты, висящей в одной из госплановских комнат, с необычайной конкретностью ощутилось, что страна будущих неблизких лет — в которой многим из нас не суждено топтать траву и слушать скрип первого снега — уже и сегодня видится нам живой и реальной. Она создается руками нашего поколения. Разведчики и строители завтрашнего дня работают везде. Но передний край их труда лежит, пожалуй, именно там, за Уралом, где мы и хотим проложить свой маршрут...

Масштаб проблем, обсуждаемых в кабинетах Госплана, порою головокружительно грандиозен. Как фантастический роман, читали мы изложенный в печати в самых общих чертах проект, по которому великие реки Сибири могли бы быть повернуты вспять. Вместо того чтобы течь в Ледовитый океан, они соединились бы через Каму с Волгой и отдали свои воды Каспию; это совершенно изменило бы привычный ландшафт на огромных территориях и упростило бы решение многих хозяйственных задач, начиная от такой, скажем, как сплав таежного строевого леса на юг Сибири, в районы интенсивного строительства, и кончая такой, как мучающая многих ученых задача стабилизации уровня Каспия, мелеющего год от года.

Кто-то из нас вспомнил об этом проекте. Хозяин кабинета показал рукой:

— Вот тут по соседству, за этой стенкой, работает один из авторов плана и самый неукротимый его ревнитель.

Он хотел тут же пригласить соседа на общий наш разговор, но оказалось, что тот занят на совещании.

— Значит, проект — не фантазия беллетриста?

— Нет, отчего же? Серьезный проект. Со всеми расчетами.

Начальник отдела перспективного планирования говорил о проекте с нескрываемой симпатией. Но из его слов выходило, что и для таких проектов тоже есть свои полочки и своя очередь.

Тут решают соображения экономические.

— У нас счет на триллионы рублей пошел, миллиардов не хватать стало,— усмехнулся он.— А беречь-то надо каждый рубль, по-прежнему. Ленинская заповедь, она и при триллионах действует. Подойдет такое время, когда в этот проект выгодно будет деньги вложить, тут мы его и вытащим на повестку дня.

В этой беседе дальновидность сочеталась со скрупулезно хозяйственным подходом к мельчайшим деталям самых масштабных проблем.

Порою такой подход освещал затронутые вопросы с неожиданной для нас стороны.

Разговор коснулся проекта, почти столь же смелого и эффектного, как и тот, что предлагал отобрать у Ледовитого океана воды сибирских рек.

«Превратим [illegible] — [illegible]
лось в [illegible]

Речь [illegible]

Щедро [illegible]
ние [illegible]
пустыни [illegible] —
величие [illegible]
мнений.

Но [illegible]

— А [illegible]

Вопрос [illegible]
идет речь? [illegible]
климату [illegible]

— [illegible]
очень [illegible]
и [illegible]
складывающиеся [illegible]
как [illegible]
«превратим [illegible] — [illegible]
сиво. [illegible]
создавала [illegible] — [illegible]
к этой [illegible] —
может [illegible] ..

Это не [illegible]

[illegible]
все [illegible]

[illegible]

[illegible] —
[illegible]

[illegible]

[illegible]

ческую конкретность; он наполнялся уже и конкретным содержанием.

«За Урал! — торопили мы самих себя, выходя в сутолоку Охотного ряда.— Скорее за Урал!»

Каким предстанет в конкретных формах все то, о чем только что говорилось у карты?

Несколько дней спустя мы входили в Министерство геологии.

Такой же кабинет. Такой же длинный стол, за которым можно собрать людей, чтобы сообща подумать. И тоже — карта. Но здесь карта другая: в привычных очертаниях евразийского материка пестреют непривычные краски — то слоистыми завитками, то цветными пятнами. Это изображение земли, с которой как бы снята оболочка. Тут отмечены не леса и горы, не пустыни и тундры, но то, что лежит под ними: металлы и нефть, уголь и минералы. И именно это здесь — штабная карта, по которой можно проследить движение бесчисленных отрядов, разведывающих недра земли, проникающих в тайны, спрятанные под покровом планеты миллионы лет назад, когда колебались и исчезали моря, когда горы поднимались из океанских хлябей и нынешние материки были островами в бескрайнем просторе вод, в сыром и тяжком тумане, окружавшем еще безымянную, неодухотворенную звезду.

Карта ведет вглубь. На ней есть еще белые пятна, непреодоленные рубежи, но она вся в движении. Прибывают знания — пополняется карта.

Меняются методы наступления, совершенствуется оружие разведчиков. Современная геофизика дает исследователю земных глубин сверхзрение, позволяющее опережать взрывников и бурильщиков, видеть то, что лежит под пластами многослойных пород.

С нашей группой беседовал один из заместителей министра. Крупный, с возрастом несколько погрузневший человек, он сохранял, видно, полевую привычку к ходьбе и все время мерил свой кабинет неприспособленным к комнатной квадратуре шагами. Часто он подходил к карте, держа в руке лекторскую указку, но говорил не про обозначения, нанесенные на карту, а больше о людях, которые работали там, куда простиралась указка.

Можно было сразу почувствовать, что память подсказывает ему не только имена. По быстрым характеристикам, по горячности совета — непременно встретиться с Борисом Васильевичем, обязательно потолковать в Якутске с Игорем Алексеевичем, вот здесь постараться поближе узнать Михаила Николаевича («Охотник, знаете ли, бродяга, рассказчик и очень

сведущий в своем деле человек»), — по живой этой заинтересованности угадывался и сам собеседник. Он называл людей, вспоминая, вероятно, палатку в тайге, уложенные рядом спальные мешки, тонкую, нескончаемо зудящую ноту комара, пробившегося за сетку, пронзительную утреннюю свежесть реки в тундре, и, ни словом этого не выдавая, он завидовал тем, кого вспоминал. Он ревновал их к тайге, к дневным переходам и палаточному отдыху, к радости находок и даже к самой монотонности долгого безрезультатного поиска.

О маршруте с ним советоваться было нелегко.

Выходило, что какой пункт ни назови, там-то и окажется интереснее всего. Мы слушали и всякий раз ощущали, что если оставим упомянутый пункт за линией маршрута, то понесем непоправимую утрату, о которой нам придется потом жалеть всю жизнь.

И, вероятно, это была чистая правда.

Многое не уложилось в наш маршрут, и теперь, когда эти дороги пройдены, я жалею обо всем, чего не увидел, и знаю, что буду жалеть до тех пор, пока не удастся снова уложить дорожный мешок и отправиться в путь — туда, где еще не довелось побывать.

«Самое интересное» готово раскрыться нам везде, захоти только посмотреть и слушать...

Были у замминистра свои пристрастия, и когда он добирался до полюбившихся ему мест, то с особым вкусом называл и имя припомнившейся прибрежной скалы и название какой-нибудь речки. Так он говорил о Чукотке, о тамошней косе Двух пилотов, о бесчисленных притоках реки Раучуа, текущей мимо гор Пельвынтыкуй в Чаунскую губу.

Там он все исходил, там у него, наверно, бывали трудные дни и чудесные дни, а для нас и сами названия звучали призывно.

— Раучуа... Пельвынтыкуй... Конечно, туда. Непременно туда, и как можно скорее...

Мы теперь точно знали, что, куда бы ни довелось попасть, нам непременно повстречаются интересные и радушные люди. Их именами и адресами был уже густо исписан блокнот. Мы знали, кого из них и о чем расспрашивать; знали, где и к чему присматриваться повнимательнее; знали, чего нам в пути никак нельзя пропустить. И мы сообща выработали примерно такой маршрут, какой можно было реально уложить в одно лето, несмотря на то что протяжение всех дорог составило больше сорока тысяч километров.

И наконец, нам оставалось последнее уточнение на заготовленной карте.

Мы хотели поместить на своем маршруте места, где ожида-

ют сейчас строителей-новоселов, и заодно познакомиться с теми, кто уезжает на Восток и на Север работать.

Не так давно наем рабочих в районы Крайнего Севера еще назывался вербовкой. Управления различных строительств имели свои вербовочные пункты в Москве. Вербовщики разъезжали и по другим городам.

На Севере нужны были люди. Кто пришел, тому и дело отыщется. И нередко приходилось идти на риск: контракт подписан, деньги выданы, а уж на месте будет видно, что за человек,— не подведет ли, останется ли в новых местах и как будет делать свое дело.

Люди, конечно, нужны и теперь. Нужда в работниках на Севере в наши дни много больше, чем прежде. Но годится далеко не каждый; приглашать туда человека уже надо с оглядкой. Недаром само слово «вербовка» осталось в прошлом, и на дверях учреждения, которое направляет желающих на работу на Север и находится в старом московском доме близ Москворецкого моста, висит нынче вывеска с длинной и солидной надписью, объясняющей, что здесь производится «организованный набор и переселение рабочих». Организованный набор. Этот термин весьма точно выражает качественное отличие нынешней системы от прежней вербовки. Нет, это уже не уговаривание людей, чтобы они отправлялись в места, где для всякого найдется работа, где лишь совершается хлопотливое первоначальное обживание и где даже самый факт, что вот еще одной живой душой стало здесь больше, еще из одного рта выходит теплый пар человеческого дыхания и как бы согревает собою морозный воздух,— этот факт сам по себе кажется драгоценным. Это было прежде и стало прошлым. В этом смысле Север в наши дни уже обжит вплоть до самых крайних широт. Нужда же в людях, о которой теперь идет речь,— это нужда в специалистах, и притом в хороших специалистах. «Организованный набор» означает точное знание того, где и какие именно специалисты надобны сегодня, и умение таких именно специалистов подобрать и направить.

Слово «переселение» тоже весьма содержательно и в свою очередь говорит о новом этапе освоения Севера.

Договор с отправляющимися в Заполярье подписывается по-прежнему на сравнительно короткий срок: на три года. Но все чаще и чаще такие договоры потом продлеваются снова; за первый срок место на Севере оказывается насиженным, привычным; жизнь входит в нормальную колею, приобретает свой ритм, который уже не хочется нарушать. Если явится надобность или просто охота — в любое место можно оттуда куда угодно слетать за несколько суток; нет уже нужды месяцами, как бывало прежде, дожидаться летней навигации и тратить на путешествие долгие недели. И отъезд на Север, рассчитанный

поначалу на короткий срок, на зимовку-другую, в самом деле превращается для многих в прочное переселение.

Заглянув перед отъездом в дом у Москворецкого моста, мы повстречали разных людей.

Там были две подруги: Раиса Рассказова (она торжественно надела ради серьезного разговора праздничное платье цвета чайной розы и черное ожерелье) и Елена Авдеева, спортивного вида русая девчонка. Обе работали малярами в новых домах близ Сельскохозяйственной выставки. Жили в одном общежитии и вместе решили уехать.

В кабинете начальника, из глубины огромных кожаных кресел, они задавали обдуманные дома вопросы: где их поселят? Что брать с собой? Можно ли там летом купаться?

Начальник отвечал подробно, серьезно. Показывал письма от тех, кто уехал раньше. Он не приукрашивал, не суесловил. Про жилье сказал:

— Видите ли, я вас направлю в Магадан. Оттуда вы, наверно, поедете в совхоз, на Колыму. Дело новое. Места такие, в которых сельским хозяйством только начинают заниматься. В прошлом году люди в палатках жили. Я туда летал. Видел: дома строятся. Будут ли они к вашему приезду готовы, не знаю. Может, и вам в палатках перезимовать придется...

Девушки переглянулись, понимающе кивнули.

Начальник спросил в свой черед:

— Ну, а если в совхозе маляры не понадобятся, что вы еще умеете делать?

— Мы деревенские,— сказала Авдеева.— В Москве только три года прожили. От колхозной работы еще не отвыкли.

Раиса подтвердила:

— Не растеряемся.

Почему-то девушки чаще приходят сюда парами. Подружки. Сговорились попытать судьбу, спрашивают, слушают, смотрят друг на дружку, кивают. Потом уйдут и будут думать. Во второй раз — на оформление — вернутся сюда не все. Но большинство возвращается.

Начальник говорит:

— Тех, что расспрашивают, а ехать не думают, я сразу вижу. Они и вопросы-то задают, будто утюг на огне пробуют: знаете, послюнявит пальчик, протянет, отдернет...

Вторая пара точно так же потонула в глубоких креслах. Девушек почти не было видно. Только и успели мы разглядеть, что вид у них более городской, чем у предыдущих. И возрастом эта пара была постарше. Тем лет по двадцати, а этим, пожалуй, под тридцать. Да и по словам так выходило: восемь лет стажа; работают обе механиками на Центральном телеграфе.

Очень хотелось спросить: почему надумали ехать? Но тут, видно, такие вопросы задавать не принято. Разговор идет деловой, без психологических отклонений.

Интересовались девушки, в общем, тем же, что и их предшественницы. Разве только про снабжение расспрашивали деловитее и не догадались спросить про купанье.

Одна невзначай бросила:

— Что-то, я смотрю, туда больше девушки едут...

Начальник понимающе улыбнулся.

— Нет, это сегодня у меня день такой. А вообще едут и ребята.

Он добавил:

— Ребят даже больше.

Но приходят в отдел переселения и организованного набора и другие пары. Одна такая пара зашла при нас. Он — техник-радист; она — наладчица с «Красного пролетария». Он (его зовут Вячеслав) поехал на Чукотку после демобилизации, холостяком. Проработал три года по специальности в поселке неподалеку от Певека. Получил комнату в новом доме. Комната хорошая. Тепло, просторно. Друзья заходят. Друзья не случайные: три года вместе. Найдется о чем сообща вспомнить. Работа у радиста на Севере нелегкая. В эфире порой неделями такая чертовщина творится, будто стена встает. Это называют непрохождением волн. Ты ничего не слышишь; тебя никто не слышит. День... третий... пятый... Горкой накапливаются неотправленные срочные радиограммы. Начальство нервничает, сам злишься. Впору руки поднять: «Сдаюсь, никаких сил не хватает» — и сбежать. Вячеслав не поднимал рук, не сдавался. Он терпеливо научился искать обходные связи, одолевать непрохождение. У него завелись свои навыки и уловки, какие вырабатываются только у радистов-полярников. Его ценили, и это тоже привязывало его к новому месту. В Москве жила Нина, наладчица с «Красного пролетария»; с ней познакомился Вячеслав накануне отъезда на Чукотку на вечеринке у родичей. Потом переписывались три года. И вот он снова приехал в Москву. Вячеслав и Нина поженились и пришли вместе — подписывать уже не один договор на трехлетнюю работу на Севере, а два.

— А что же там наладчице делать?

— Буду работать в ремонтной мастерской. На автобазе. Вячеслав... — она поправилась, — муж сговорился.

Все уже обоими продумано.

Дальше заглянуть несложно.

Надо думать, в поселке под Певеком родится у них ребенок. Потом выяснится, что в раннем возрасте климат малышу менять вредно. Само собой окажется, что договор снова будет продлен...

Нет, это не «зимовка», не случайный выезд на поиски приключений (или «длинного» северного рубля; что таить, ведь и это тоже многих туда толкало). Это действительно переселение — взвешенное, не раз обговоренное. Это — определение своего места в жизни.

— Живут там люди неплохо,—веско и успокоительно объясняет Нине молодой муж...

Когда воинской части предстоит решать поставленную ей задачу, перед началом действий командиры берутся за цветные карандаши и наносят на карту района все новые ориентиры, все, что известно им о местности, на которой будет действовать их подразделение.

Это называется «поднимать карту» и «наносить обстановку».

Предотъездные беседы с плановиками и геологами помогли нам поднять свою дорожную карту.

Карта запестрела ориентирами.

Рядом с приметами живого дела были имена и адреса людей, занятых этим делом. Все казалось предусмотренным и рассчитанным; оставалось закинуть мешок за плечи и отправляться в дорогу И, конечно, было понятно, что на самом-то деле дорога изломает расчеты и перевернет все по-своему. Что ж, тем интереснее.

Два Юры и Толя вылетели раньше. Я отправлялся вдогонку.

Вот, он «ИЛ», на Быковском аэродроме.

Отсюда летят на Восток.

«Сел в кибитку и поскакал...»

## ТЮМЕНЬ НЕ ПРИНИМАЕТ

— Это Волга?

— Волга.

Пассажиры узнали Волгу по тому, что самолет начал снижаться. Если садимся,— значит в Казани. Значит, должна быть Волга.

Прозрачный плексиглас в небольшом окошке разогрет солнцем. Солнце огромно. Оно неподвижно стоит за крылом.

Масштабы и расстояния в полете смещены. Крыло за окном существует как бы отдельно от кабины. Для глаза оно — не деталь самолета, но часть пейзажа. Рядом с заклепками, дрожа, перекатываются выступившие на тусклую плоскость капли. Винты в стремительном вращении неразличимы. Они лишь наносят на небо едва приметную динамическую тень прозрачного круга.

Кресла в кабине «ИЛ» такие же, какие ставятся теперь в автобусах дальнего сообщения. Да и во всей обстановке полета нет нынче ничего, что так уж отличало бы воздушную дорогу от других современных способов передвижения. Разве вот только леденцы, которые раздает бортпроводница на взлете и перед посадкой: бери, клади за щеку, глотай кисленький сок и от этих энергичных глотательных движений не так станешь чувствовать покалывание в ушах, не будешь глохнуть от резкой перемены давления.

В проходе хлопочет пятилетний путешественник.

Он одет в полосатую байковую пижаму навырост; сосредоточенно насуплен, возится со своим игрушечным самолетом и вовсе не интересуется настоящим «ИЛ», который поднял парнишку на высоту в две с половиной тысячи метров и помчал, делая по пяти километров в минуту.

— Вова, не мешай дяде,— говорит ему мать, с необычайной серьезностью перелистывая «Крокодил», взятый у бортпроводницы,

«Дядя» в крупноклетчатой, пестрой ковбойке улыбается Вовиной маме: какие уж тут дела, какие помехи?! У «дяди» круглая, коротко остриженная голова, загорелое лицо, загорелые крепкие руки. С виду он может быть выпускником-студентом. Впрочем, может он быть уже и кандидатом технических наук, только что получившим степень. Или нападающим футбольной команды. Или возвращающимся из отпуска в целинный совхоз трактористом. Трудно теперь в точности угадать профессию попутчика. Прежде, лет двадцать назад, это удавалось легче. Особенно в самолете: круг авиационных пассажиров был тогда очень узок. Нынче авиацией пользуются все, а большинство профессий уже не откладывают теперь столь явных примет на облике человека. И уж совсем не легко определить на взгляд профессию человека в возрасте «дяди».

Вову заинтересовала «дядина» зажигалка.

«Дяде» зажигалка и самому очень нравится. Он снова с удовольствием нажимает на крышку. Крышка прыгает кверху, узкое пламечко кидается за нею вдогонку. Рады оба — и Вова и «дядя». Зажигалка, наверно, куплена перед самым отлетом из Москвы.

— Как тебя зовут? Вова? А где ты, Вова, живешь?

Они знакомятся.

Вовина мама вздыхает над «Крокодилом». Ее молодое курносое лицо забавно сосредоточено. Другая мама — впереди — убаюкивает младенца в люльке, прилаженной перед ее креслом к стенке кабины. Под колыбельный напев крепко засыпает полный пожилой пассажир рядом со мной. Мы с ним уже обменялись несколькими дорожными фразами. Я знаю, что сосед работает в Новосибирском совнархозе. Недавно работал в Москве, в главке большого, ликвидированного теперь, министерства.

— Как с Москвой прощались?

Смеется.

— А на новом месте устроились как?

— Всяко было. Сперва в совнархозе в служебном кабинете спал. Да и совнархозовский дом еще только достраивался — маляры работали. Но — дело летнее — окна открыты, краской не так воняет... Теперь квартиру получил, не хуже московской. Семья уже три месяца как приехала. Жена не жалуется...

Один из подчиненных совнархозу заводов должен приступить к выпуску новой машины. Сосед мой летал в Москву с чертежами — согласовывать, консультироваться, уточнять.

— Дружков столичных видал,— неопределенно хмыкает он, перебивая собственный рассказ.

Впрочем, вероятно именно из-за этого воспоминания он и рассказывал обо всей своей поездке. Я улавливаю это и задаю тот самый вопрос, какого он ожидает:

— Позавидовали?

Сосед энергично трясет крупной головой с венчиком седеющих волос вокруг обширной лысины.

— Я-то? Нет, что вы! У нас сейчас работа живее.

Об этом он, видно, и думал в дороге.

Боязнь «потери масштаба» беспокоила его в свое время больше, чем возможные бытовые неудобства. Прошел почти год, и он окончательно убедился в том, что это главное беспокойство было зряшным.

Теперь он задремал под колыбельный напев. Спит, удовлетворенно похрапывая.

Ближе к хвосту бортпроводница оживленно толкует с очень изысканным речником, досиня выбритым, отглаженным, начищенным, сверкающим пуговицами, зубами, значками и нарукавными нашивками...

В кабине заняты все кресла. Кто читает, кто дремлет, кто поглядывает в окошко. Как в автобусе. Только стрелки альтиметра напоминают, что от пола самолетной кабины до твердой земли — три километра поднебесной пустоты...

Нет, в старину полет обставлялся куда торжественнее.

Странно говорить о полете — «в старину». Но иначе не скажешь.

Впервые мне случилось лететь из Харькова в Баку больше тридцати лет назад. Конечно, это уже старина. Все тогда было по-другому.

Сперва пришлось заполнить и подписать отпечатанный текст завещания. Там надо было указать, кому следует вручить пять тысяч рублей страховки в том случае, если самолет разобьется.

Не совсем приятное предварение полета, но именно так я впервые узнал себе цену. Пять тысяч — по тем временам не так уж мало. Мне было семнадцать лет, и до полета сам я таких денег никогда в руках не держал. Недолго думая и не терзаясь предчувствиями, я записал страховку друзьям-сверстникам, с которыми мы жили беззаботной коммуной.

После процедуры с завещанием меня взвесили и точно записали вес в бортовой журнал. Зачем это делается, я узнал на первой же посадке, в Донбассе. Около трех часов мы летели от Харькова до Артемовска, и на этом пути одного из пассажиров (всего нас было в кабине четверо) так укачало, что он наотрез отказался лететь дальше.

Этот пассажир вышел из кабины совершенно зеленый. Очень слабым голосом он объяснил летчику, что лучше отдохнет здесь немножко, а потом доберется до вокзала и поедет дальше поездом. В конце концов, полетел он из чистого любопытства, любопытство его удовлетворено, а торопиться ему совершенно не к чему...

Летчик выслушал это без удивления. Наверно, ему не раз уже попадались пассажиры, которые в дороге решали, что им вовсе незачем торопиться. Он молча кивнул, потом о чем-то поговорил с бортмехаником.

Вскоре аэродромные служители подтащили к самолету что-то длинное, зашитое в грубую холстину.

Укачавшийся пассажир лежал на траве. Он понемногу приходил в себя и с просыпающимся интересом начинал следить за окружающей его деятельной и непривычной жизнью. Странный груз привлек его внимание. Летчик курил рядом.

— Что это? — спросил пассажир у летчика.

— Балласт,— сухо и точно объяснил тот.—Мешок с песком. Шестьдесят восемь кило. Вместо вас.

Пассажира чрезвычайно обидело то, что его могут заменить шестьюдесятью восемью килограммами песка. Он вскочил на ноги, становясь из зеленого красным. Он не дал погрузить балласт и сам полетел дальше. До самого Баку он не укачивался. Правда, первая качка, над Донбассом, оказалась самой сильной за всю дорогу.

Самолет назывался «Дорнье-комета».

«Комета» летела со скоростью, ненамного превышающей скорость современного автомобиля на хорошей дороге.

В следующем году я летал по тому же маршруту уже на отечественной машине. Она была построена инженером-конструктором Калининым и давала те же сто тридцать — сто сорок километров в час, а пассажиру в ней было даже удобнее...

Прежде чем тогдашние самолеты взлетали, долго длилась перекличка бортмеханика с пилотом.

— Контакт! — кричал первый сдавленным голосом, силясь провернуть деревянный пропеллер.

— Есть контакт! — отзывался из кабины летчик.

Но заставить винт вращаться было не так просто.

— Контакт, — повторял механик, изнемогая.

И лишь после нескольких попыток короткий треск переходил в оглушительный грохот, и четырехлопастный пропеллер в своем стремительном вращении переставал быть виден.

Но это еще было не все.

Пока самолет выруливал на старт, кто-то должен был нажимать на его хвост, чтобы он не отрывался от земли прежде времени.

Однажды рейсовая пассажирская машина поднялась в воздух, но, пытаясь развернуться над аэродромом и лечь на курс, пилот почувствовал, что не слушаются рули поворота. Пилот беспокойно обернулся. На хвосте полулежал, полувисел аэродромный рабочий. Он не бросил самолет вовремя, на старте,

и нечаянно взлетел. Потом сумел вскарабкаться на заднюю плоскость и что было силы ухватился за руль.

— За кромку, за кромку держись!

Кабина летчика была тогда открытой и в пассажирских машинах.

Летчик и бортмеханик кричали оба, силясь перекричать грохот винта. Но рабочий понял не слова, а знаки.

Летчик вернулся на поле.

Когда он вылез из кабины, нерасторопный парень тоже успел сползти с хвоста и стоял на летном поле, еще оглушенный, растерянный, виновато улыбаясь.

— О чем же ты, раззява, думал?! — заорал на него пилот. Он был испуган больше, чем парень.

— Вспоминал, сколько у меня с собой денег,— признался виновник испуга, переводя дух.— Если, думаю, в Артемовске сядете — на поезд у меня хватит. А если до Ростова без посадки пойдете, так и вернуться не на что. А там город чужой, у кого возьмешь?

— Да неужели ты не понимаешь, что и так чудом продержался? Если бы ты руль не прихватил, никто бы тебя и не заметил. Сдуло бы на полной скорости, и каюк!..

Парень пожал плечами.

— Отчего? Приноровиться можно...

Самолеты тогда садились на поросших высокой травой полях. Скорости еще не требовали бетонных дорожек. Где-нибудь в углу просторного поля тулилась белая хатка. Это и был аэропорт. Если машина приходила сюда под вечер, пассажиры в этой же хатке и ночевали. Их бывало не больше шести человек; с экипажем — восемь. Разместить можно. А в темноте куда же лететь? Приборы для ночного полета еще не существовали. И если самолет прилетал в субботний вечер, то уже и оставался на аэродроме до самого понедельника: в воскресенье надо отдохнуть и пилоту.

Жена начальника аэродрома жарила для летчиков и пассажиров яичницу с салом.

Вокруг домика поднимались подсолнухи, вились по земле стебли тыквы и огурцов, торчали тычки, поддерживающие помидоры.

Пейзаж старого аэродрома запомнился летним. Зимой пассажирских рейсов не бывало.

Начальник такого аэродрома знал всех пролетавших пилотов. Он и сам был когда-то летчиком. Грубо нашитые хирургом заплаты на лице без лишних вопросов объясняли, почему нынешний начальник перешел с машины на наземную службу...

Вот оно как выглядело в старину — уютно, патриархально и вместе с тем необыкновенно.

Теперешние машины, высота их полета и скорость, дорожный комфорт показались бы тогдашнему пассажиру, да и летчику тоже, фантастикой, которая в течение их жизни осуществиться не сможет. Но многие дожили, летают, давно позабыли о завещаниях и балласте, смотрят в окно, словно в автобусном рейсе.

— Вот и Волга...

Сперва река показалась совсем небольшой.

Оловянной тропинкой пролегла она по земле, и никто бы, верно, и внимания не обратил на эту тропинку, если бы своевольные повороты ее и изгибы не нарушали так резко четкий геометрический чертеж полей, врезаясь в исчерна-зеленые квадраты яровых всходов, в просторные параллелограммы уже отцвечивающих желтизною озимых, в такие же просторные прямоугольники, разлинованные закругляющимся на поворотах следом тракторной бороны.

Тридцать лет назад и земля с воздуха тоже выглядела иначе.

Тот, прежний пейзаж теперь вспоминается как зрелище наивного детства планеты: между рощами, перелесками и лугами пестрели лоскутья полей, часто простроченные межами. Будто теплое деревенское одеяло брошено на детскую лежанку. Но самолеты в ту пору летали невысоко. С пятисот — семисот метров к земле можно было хорошо приглядеться. И скоро становилось заметным, из каких неровных клиньев скроено пестрое одеяло: один-два лоскута побольше, а вокруг — совсем маленькие.

Уже в недавние годы, пролетая над чужой землей, я снова увидел поля-лоскутки. И даже не сразу понятно стало: отчего же чужим и неуютно-холодным видится самый пейзаж? Только потом вдруг сообразил я: мы ушли уже от этого на целые четверть века вперед. Естественным для нас стало зрелище общей земли: широкое даже с высоты полета, обихоженное машиной хлебное поле говорит не о холоде неравенства, разобщенности и вражды, но о тепле общего добра и общего дела.

И вот такое неоглядное поле снова летело навстречу и тут же уходило за горизонт. На земле высоко и густо колосилась пшеница; с воздуха она была почти неразличима, казалось, будто земля лишь скупо обрызгана неяркой желто-зеленой краской.

Оловянная тропка внизу превращалась в реку. Река оказывалась Волгой. Масштабы изменялись. На Волге уже можно было различить пароходы, плоты и баржи. Геометрические прямоугольники полей перечеркивались диагоналями бетонированных дорог, а на них виднелись грузовики, идущие к городу.

Вот и Казань видна, и кремль над рекой; и даже Сумбекина башня показалась и тут же круто повалилась назад: самолет сделал вираж.

Теперь под одним крылом только небо, под другим — промышленный пригород. На виражах пилот резко сбавлял высоту; потом самолет выровнялся, и сразу посадочная дорожка, обставленная низкими, у самой земли, фонарями, рванулась навстречу.

— Казань. Самолет стоит двадцать минут. Посадка будет объявлена по радио.

Девушка проговорила это заученно, бесцветным голосом.

Она пришла с подружкой, поднявшись в кабину по приставной лесенке, подвезенной аэродромными служителями, как только наш «ИЛ» подрулил к аэровокзалу. Обе высокие, в светлых летних платьях с цветочками. У той, что объявила стоянку, цветы побольше и поярче; на другой — блеклый продувной сарафан подростка, еще не думающего о том, как взглянут на него другие.

Девушки едва скользнули взглядом по пассажирам, затолпившимся в узком проходе меж кресел. С той же безликой заученностью первая сказала:

— Не перегружайте хвост, граждане. Выходите по одному.

Лицо у нее было каменно-равнодушным.

Но когда пассажиры почти все вышли, девушка посмотрела на подругу и засмеялась. Она уселась в свободное кресло, и они стали играть — будто одна улетает, а другая провожает ее и прощается. Девушки служили в аэропорту, в отделе перевозок. Их обязанностью было встречать и провожать пассажиров. Одна выполняла эту обязанность вот уже целый год, другая только практиковалась. По неписаному уставу международных авиалиний, аэродромным девушкам, так же как и рейсовым стюардессам, положено бы иметь на лице несмываемую улыбку для пассажиров. Но эти еще не завели ее, да, вероятно, и не собирались заводить, и улыбались только друг дружке, когда были одни и когда им было в самом деле весело.

— Не забывайте нас в столице, письма пишите,— церемонно сказала младшая, та, что была в сарафане, полинявшем от солнца.

— Да уж напишу, напишу,— отозвалась из кресла цветастая. В ее голосе слышалась снисходительность. Она играла всерьез. Она уже всеми мыслями была в Москве, хотя этот самолет через двадцать минут улетит дальше, и не в Москву, а в Свердловск, а она останется в Казани, и будет встречать другую машину, и объявлять стоянку, и снова предупреждать граждан, чтобы не толпились и не перегружали хвост...

Сперва я огорчился: игра была не по правилам,

Если уж играть в дорогу, думал я, примеряясь к тем мыслям, с какими сам отправлялся в дорогу два часа назад из Москвы,— то в восемнадцать лет им и в игре лучше бы улетать на восток, за Урал...

Но у них были свои правила; игра была их игрою. И вообще всерьез этого принимать не следовало.

Оставив их в кабине и разминаясь после полета на аэродромном бетоне, я мыслями вернулся к другому: к улыбке для других и для себя, а также к той отчужденной, чуть высокомерной снисходительности, с какой, почудилось, стали уже относиться к своему делу обе девушки, только начинающие самостоятельно работать.

Существование двух различных норм поведения человека — служебной и домашней — явление, присущее иному общественному устройству. Буржуазные социологи исписали тонны бумаги, рассуждая о неизбежном якобы поравнении индивидуальностей в социалистическом обществе. Нанятое на определенные часы — «от» и «до» — служебное радушие, выработанная мускульным усилием механическая, оплачиваемая улыбка стюардессы международных авиалиний на Западе, стандарты фигуры и облика, обуславливающие там право на женский труд,— не только в профессии стюардессы, но и во многих других областях,— не это ли, однако, является действительным поравнением, последовательным и унизительным уничтожением индивидуальности?

А мы порою даже и не замечаем — настолько естественно, в силу всей совокупности сложившихся исторических условий, происходил у нас процесс раскрепощения человека именно в слиянии личного с общественным,— как изменились в нашем обществе нормы поведения человека, как стало для нас программным (и тоже естественно разумеющимся) общественное требование, обращенное к каждому: всегда быть собою и никогда не ставить себе задачей казаться — то есть ни в чем не фальшивить; как любые отклонения от этого требования, в том числе и служебно-домашняя раздвоенность, откочевали в разряд порицаемых, пережиточных явлений.

Бывает, правда, что «раскрепощаются» также и не самые лучшие черты человеческого характера.

Иногда они сравнительно нейтральны.

— Устала, целый день на работе, прикидываться не буду,— то ли выражением лица, то ли раздраженным движением, а то и просто словами говорит вечером продавщица в магазине.

Настоялась у прилавка. Люди проходят непрерывно. Кое-кто из покупателей капризничает. Понять можно. Усталость — это каждый испытывал. Посильнее характер — спрячешь свою усталость; послабее — выйдет наружу. Несдержанная

раздражительность может уколоть нас. Но, думается, если бы мы узнали, что за неумение скрыть усталость человека лишают работы, такой факт и рассердил бы и обидел нас куда больше...

— Сердит, ну и сердит. Такой есть. Не стану же я ради вас притворяться,— услышишь часом из-за учрежденческого стола.

Тоже, конечно, понять можно. Но, услышав такое, мы про себя отметим, что нам не повезло, что столкнулись мы не с самым лучшим характером...

А иногда, конечно, случится встретить и прямую грубость, и нерадивость, и равнодушие к людям, хотя не только любая работа, а и законы общежития вообще должны бы воспитывать участливость к человеку, готовность помочь ему. Вот ведь как бываешь благодарен за внимательный взгляд и участливое слово из-за учрежденческого барьера (а еще лучше, если и барьера никакого в учреждении не окажется). И хорошо, когда кондуктор в троллейбусе работает без сварливости, споро, весело (но и без нарочитой развязной болтовни, которую любят похваливать вечерние газеты). И совсем славно становится на душе, когда придешь по делу, и тебя быстро, приветливо примут, и сразу, без околичностей, без перекладывания на другие, более высокие плечи, решат все, что может быть решено. Вообще всегда радуешься, светлеешь и словно бы сам становишься лучше, когда встречаешься с человеком, который любит и умеет делать свое дело. И, напротив, мрачнеешь и раздражаешься в ответ на грубость, глупость, безответственность, стремление увильнуть от самостоятельных решений, «покуда начальство не прикажет»; ведь все эти черточки непременно выдают не только нелюбовь и неспособность к работе, за которую человек взялся и которую он не умеет как следует выполнить, не только недостаток сугубо рабочих качеств, но и приметы несовершенства человеческого характера. Такое несовершенство непременно скажется — и в дружбе, и в семейных обстоятельствах, и в любом вообще взаимосоприкосновении с другими людьми. Так возможен ли тут вывод, что нужно данных индивидуумов обучить прятать нехорошие свои качества только на рабочие часы, оставляя их для домашнего обихода?

Даже и тут стоит прежде всего отметить именно то, что и в области общественного поведения, в сфере чувств произошло раскрепощение индивидуальности.

А оно произошло и стало фактом, напоминающим о себе всякий раз, когда захочешь к этому приглядеться; и поэтому речь у нас идет не о регламентированной вежливости, не о том, чтобы поддерживать у служащих углы губ в приподнятом состоянии при помощи печатных афишек «Keep smiling» («Де-

ржи улыбку»), как это делается в американских конторах, а о процессе гораздо более глубоком.

Да, один индивидуум другому рознь — но в этом же и вся соль! И рознь эта — понятие отнюдь не абстрактное; оно не в одной плоскости расположено. Рознь в том и заключается, что есть личности хорошие, а есть и плохие. Есть личности, которые формируются в новом обществе, приобретая преимущественно черты этого нового, а есть и личности, в силу конкретных условий весьма отягощенные «хвостами» старого. Но общество и время таковы, что они не предписывают всем этим разным личностям стандартно-узаконенное поведение на какое-то регламентированное время — «от» и «до». Они вырабатывают основы морали и этики, воспитывая на этих основах цельные человеческие характеры. А это процесс более сложный, многообразно разветвленный и куда более длительный, хотя и его обильные плоды видны уже достаточно давно и очень отчетливо.

Стремление к тому, чтобы все были одинаково хорошими людьми, выглядит так же прекрасно, как и стремление освободить человечество от каких бы то ни было огорчений.

Когда мы задумываемся о коммунизме, кто не задает себе вопроса: неужели же все люди будут безмятежно счастливы?

«Но ведь это и было бы наибольшим несчастьем для людей!» — отвечаем мы, поразмыслив,— внешне парадоксально, но по сути совершенно справедливо.

В самом деле, представьте только себе такую жизнь — без разочарований, без трудностей на пути к свершениям, без всяческих неудач и срывов, без неразделенной любви,— ровную жизнь методически распределенных движений и ненарушимо спокойных снов, жизнь, лишенную эмоций (ведь эмоция — не только наслаждение! Да и наслаждение не может, вероятно, быть испытано, если у него нет чувства-антипода). Это жизнь травы, способная уничтожить любые стремления.

Но что коммунизм освободит человечество от всех социальных несчастий и зол, в этом мы уверены.

Точно так же, видимо, наивно себе представлять, что в коммунизм все люди войдут идеальными паиньками, лишенными каких бы то ни было недостатков, бесплотными ангелами. Может быть, у кого-нибудь даже и при коммунизме проявится весьма вздорный характер; может быть, кто-нибудь позволит себе приврать лишнее (хотя это и очень нехорошо); кто-нибудь будет позамкнутее, чем хотелось бы нам; будут люди менее талантливые и более талантливые... Ну, а вот черты, представляющие социальное неудобство, их-то, конечно, пропускать в коммунизм мы не захотим.

Вероятно, в этом все дело.

И об этом-то захотелось подумать в Казани, когда две девушки играли в безобидную свою игру. Так получилось, что игра их не прервала мысль о межах и массивах, но продолжила ее темой о самоощущении человека на этой земле.

Девушки давно доиграли и ушли.

И я тоже давно уже бродил по новому зданию аэровокзала, гулко просторному и не очень еще обжитому.

Обещанное время стоянки истекало.

Пассажиры побеспокойнее уже тянулись к самолету. Самолет наш летел рейсом Москва — Барнаул. Несколько пассажиров направлялись в Свердловск. Один должен был из Барнаула лететь дальше — в Бурят-Монголию. Он догонял геологическую экспедицию и торопился. Я летел до Тюмени и тоже торопился. Юры и Толя были уже в Салехарде, в устье Оби. Сухопутные самолеты туда пока не летали. На лыжах садиться было уже поздно; переходить на колеса — рано. Тундру развезло. Но Обь, кажется, уже вскрылась, и из Тюмени на север должны начать ходить гидросамолеты.

Растаял ли снег, сошел ли с реки лед — странно было думать об этом второго июля.

— В Тюмени все будет ясно,— неопределенно сказали в московском аэропорту.

И я торопился в Тюмень.

Двадцать минут прошло.

Репродуктор невнятно захрипел, и пассажиры всех самолетов, находившихся в ту пору в Казани, заторопились на всякий случай на перрон. Речь, однако, шла именно о нас.

Мы взлетели.

Снова показалась Волга. Город, кремль и Сумбекина башня не были на этот раз видны. Самолет шел к Свердловску.

Никто не остался в Казани, все места заняли «старожилы». В кабине установилась атмосфера обжитого вагонного купе, какая удивительно быстро и легко возникает в любой дороге и при любых средствах передвижения — даже если это полевой вагончик с печкой-«буржуйкой», влекущийся за трактором по снежным застругам в степи.

За окнами быстро темнело, и уже на крыльях зажглись огоньки: зеленый и белый.

Из Москвы мы улетели около трех часов дня, и казалось, что это было совсем недавно. Впрочем, почему же «казалось»? По часам тоже так выходило. Не сразу можно было сообразить, что часы уже не точны, что мы идем все дальше на восток, что время уже и здесь опережает московское на час, и разница будет все увеличиваться и достигнет к концу нашего маршрута целых десяти часов.

Десять часов. Это значит: там, где мы будем, уже начнется новый рабочий день, будут продаваться свежие, сегодняшние газеты, а в Москве еще будет «вчера» — одиннадцать часов вчерашнего вечера, люди будут досматривать вчерашние спектакли, возвращаться из гостей; еще целая ночь будет отделять их от того дня, в котором я живу уже несколько часов...

Я бывал во Владивостоке; мне случалось звонить по телефону домой, в Москву, из гостиницы в Порт-Артуре, достоверно зная, что вот тут уже день-деньской, а там берет трубку сонная, разбуженная среди глухой ночи жена. И все же я никогда не умел как следует понять это. Раз я вижу день, значит день сейчас должен быть всюду. Так я подспудно ощущал, хотя твердо, со школьной скамьи, знал, что на самом деле все обстоит иначе. Я привык верить Галилею и Копернику, но где-то в темной глубине души я способен понять; почему иным их утверждения могли показаться ересью. Своими глазами я увидел однажды, как солнце появляется над «линией дат», но, право же, восход там выглядел точно так же, как и в любом другом месте. И даже после этого памятного утра то, что я так твердо знал, продолжает оставаться для меня чудом. Представить различие поясного времени в его конкретности так же трудно, как то, что там, куда при особой удаче я смогу долететь уже завтра, может еще лежать снег.

В Казани, которую мы оставили только что, было по-июльски жарко. Девушки ходили в сарафанах.

В самолете тоже жарко.

Пассажиры сняли пиджаки.

Сидящий впереди лысеющий блондин изумленно чертыхается над «Медной пуговицей». Он летит только до Свердловска. Инженер. Возвращается из отпуска, проведенного на Днепре, где-то между Каховкой и Херсоном. Говорит, что это его родные места, но он два года там не был и теперь ничего не узнал. В Свердловск он везет уйму впечатлений, еще не смытую буднями свежесть днепровских купаний и трудолюбиво добытый красноватый загар.

Перелет от Казани до Свердловска недолгий.

Только и успеешь, что осмотреться в кабине, перелистать десяток страниц прихваченной на дорогу книжки, убедиться в том, что снаружи уже совсем стемнело и на земле решительно ничего не видно,— и уже тебе протянули поднос с леденцами, стрелка альтиметра пошла назад, справа налево, упругий удар — «на две точки». Сели.

Свердловск.

И когда ты думаешь, хватит ли времени сбегать в буфет и есть ли там пиво, которое давно уже мерещилось в разогре-

той кабине, — в самолет входит девушка из отдела перевозок.

На этот раз она очень доброжелательна.

Она улыбается

И с той же улыбкой, очень уверенно, ничуть не запинаясь, она сообщает, что неизвестно, сколько нам придется просидеть в Свердловске. Во всяком случае не меньше трех часов.

— Тюмень не принимает.

«Нет погоды»,— объясняет милая девушка.

И я догадываюсь, что на нашем северном маршруте мы еще не раз услышим эти слова.

## ТЮМЕНЬ ОТКРЫЛАСЬ

Свердловский аэровокзал похож на Казанский — разве чуть больше. Оба похожи на Внуковский — такой, каким тот был до реконструкции. И еще приходилось видеть на воздушных дорогах не менее полутора десятков их близнецов. Вероятно, на самом деле таких близнецов куда больше. И если представить все эти вокзалы вместе, то они выстроятся в целый городок больших и легких, светлых представительных зданий, и тогда станет понятно, как велик масштаб и этой проделанной у нас работы. Весь город выстроен почти одновременно, в короткий срок, а не замечали мы этого и не удивлялись потому только, что дом от дома отстоит на тысячи и тысячи верст.

Много хорошего можно сказать о новых аэровокзалах. Выговорилось уже слово «представительный». Слово кажется точным. Однако представительность достигнута не нарочитым утяжелением фасадов, не зряшными колоннадами, но прежде всего верными пропорциями крупных окон, хорошо вписанных в строгую стену — не дробящих ее, а, напротив, подчеркивающих массивность фасада и позволяющих ему в то же время сохранить ту светлую легкость, о которой уже сказано.

«Экспо-58», как называли Брюссельскую выставку, заставила особенно много писать об архитектуре. В журналах появились очерки и фотографии. Новые строительные материалы толкали на поиски новых архитектурных решений. Предварительно-напряженный железобетон и пластмассы. Металл и стекло. Новые опоры и неожиданно решенные перекрытия. На одном павильоне крыша лежала, будто небрежно брошенный полуразвернутый рулон металла, тонкого и гибкого, как картон. В другом — вся тяжесть строительных конструкций держалась на игольчатом конце косо поставленной опоры, а самую опору удерживал противовес, высоко поднимающийся над сооружением и похожий на руль огромного плота, окончившего плавание и выброшенного прибоем на берег.

Многое было интересно не только технической новизной, многое было не только остроумным, но и подлинно красивым. И красота эта в самом деле несла в себе эстетику своего века, эстетику новых скоростей, стремительность обтекаемых, рвущихся в пространство форм, чистых и ярких красок,— беспокойство движения, сочетающееся с трезвой ясностью математического расчета.

Но одно несомненно: этим сооружениям и место именно на выставке. Это павильон в парке. Может быть, навес над бассейном водного стадиона, над боксерским рингом или цирковой ареной.

Представить себе такой город нельзя.

Это так же, как если бы вообразить, будто вся окружающая жизнь превратилась в пестрый цирк, который никогда не кончается. Вы приходите в домоуправление за справкой. В трико, расшитом стеклярусом, став на голову, управдом выписывает вам справку ногой. Вы спустились в метро. Собака-математик отсчитывает сдачу и отрывает билеты. Обнаженные гимнасты, выжимая друг друга, режут сыр в «Гастрономе». Уличный регулировщик свисает из-под фонаря, вертясь на проволоке, зажатой в зубах. Летают пестрые шары. Прожекторы меняют цвета. Медный марш-галоп не утихает. И здания будто падают в разные стороны, корежатся неожиданными углами, косо выбрасывают наружу длинные стропила, показывая бетонный язык. В первый день это может показаться веселым. Ребята, верно, будут рады. На второй день вы ощутите во всем этом некоторое неудобство. На третий вас с тяжелым психическим потрясением сведут в клинику.

Это вовсе не означает, конечно, что цирк как таковой вреден вообще и что его надобно закрыть. Но цирк — это зрелище, а не форма повседневной жизни. Разве только — для его актеров, решающих на арене и днем, без зрителей, свои профессиональные задачи.

Не все экспериментальные решения профессиональных задач в различных областях наук и искусств годятся для широкого применения их в потоке обычной, будничной работы. Порой они остаются «выставочными павильонами», и лишь некоторые элементы их входят в житейскую практику. Проблему рационально устроенного, удобного современного жилья не решают ни крыша-рулон, ни опора-игла.

Кстати, советский павильон на той же брюссельской «Экспо-58» явился решением обширной комплексной задачи, куда более приближенной к практическим целям. Тут архитекторы тоже имели дело с новыми материалами и притом создавали из них здание очень большое по объемам. Авторы проекта построили это здание так, что оно как бы повисло в воздухе; верхние конструкции несли всю огромную тяжесть, не требуя ни сложного фундамента, ни грузных опор внизу. Притом такое реше-

ние годилось уже не только для выставочного павильона. Его новаторство не было экстравагантным. Так могут решаться многие общественные здания больших объемов, а может быть, и жилые дома, когда в обиход войдут иные материалы. И это решение вызвало всеобщий интерес и получило признание.

Экономичность и рациональность, отнюдь не жертвующие эстетикой, становятся девизом нашей архитектуры, и такой девиз, несомненно, более прогрессивен, чем архитектурные декларации двадцатых годов, в которых обнаженная конструкция порой превращалась в самоцель, нередко подминавшую и рациональность и эстетику.

В новых аэровокзалах радует многое. Снаружи — разумная взвешенность пропорций; внутри — хорошо организованный простор.

А все же одна, и притом едва ли не самая существенная, часть триединого девиза — рациональность — решена в этих постройках далеко не в полную меру. Еще в Казани это было заметно не так сильно. В Свердловске, где движение больше, — пренебрежение реальными потребностями стало заметнее. А в таких воздушных узлах, как Хабаровск, уж и вовсе болезненно сказывается нерациональность, неприспособленность вокзального здания к огромному потоку транзитных пассажиров и к особенностям авиационного транзита. Аэровокзал там переполнен... До предела? Какое там! Пассажиры давно уже переступили все пределы. Лестницы на ночь забиты доверху — забиты настолько, что пройти к комнате отдыха, находящейся там наверху, возможно только, если ступать по телам. И пустая комната отдыха заперта на ключ. Но, впрочем, скольких бесприютных путешественников выручил бы десяток красивых, удобных — из гнутого алюминия, с пухлыми уютными сиденьями, мечта! — кресел да два десятка квадратных метров свободной поверхности пола? Ну, еще десять человек сидели бы, еще два-три десятка пристроились бы на полу теплой комнаты. А все равно остались бы вот так же забитыми лестницы, только наверх рвались бы, мешая другим, охотники за удачей: не приспеет ли там кому время подняться, не удастся ли хоть на часок вздремнуть в удобном кресле?..

Здесь, в Хабаровске, повстречался мне французский турист, учитель. Он возвращался из Японии через СССР воздушным транзитом. Сын мира случайной удачи проснулся в этом немолодом человеке при виде вокзальных несовершенств: окидывая оценивающим взглядом просторную площадь, он вдруг мечтательно сказал:

— Как бы я здесь заработал!..

Путь к обогащению казался ему необыкновенно несложным и скорым: стоит лишь закупить партию палаток и дачных коек и расставить на площади.

— Расход окупится в два дня, может быть, даже в один день. А потом...

У него алчно задвигались седеющие, коротко подстриженные усики под тонким хрящеватым носом.

Нет, конечно, такая затея нам не годилась. Она, скорее, наглядно демонстрирует анархическую хаотичность частного предпринимательства, чем действительную заботу о людских нуждах и о пристойном городском пейзаже. А места здесь хватало и без посягательств на зеленый ансамбль площади перед аэровокзалом. Отчего же в самом деле не поставить здесь то ли домики туристского типа, то ли легкие простые бараки (не надо стесняться этого слова; барак может быть и светлым, и уютным, и даже красивым), способные обеспечить ночлег задержавшимся в Хабаровске пассажирам? Гостиница построена отдельно, в стороне от вокзала. Она очень невелика. Немало мест в ней занимают командировочные, прибывающие по делам в здешний аэропорт.

Зал ожидания, который показался таким просторным в Казани, и здесь не меньше. Но для такого движения он тесен. Прорвавшиеся в ресторан ловчат, как бы задержаться за столиком подольше, только бы не возвращаться в шумную, бесприютную тесноту вестибюля, заполненного усталыми и все же агрессивно рвущимися к всевозможным окошечкам людьми: может, справочная что-нибудь скажет; может, дежурному еще на что-нибудь пожаловаться — все равно деваться-то некуда, время хоть бы как-то занять...

Множество людей прилетает сюда самолетами линий, связывающих с магистралью дальние пункты, лежащие в сотнях и тысячах километров от железных дорог. Летят с Чукотки и Колымы, с Сахалина и Камчатки. Самолеты садятся едва ли не ежеминутно. Их поджидает множество пассажиров, улетающих на север и на восток, и самолеты могут забрать далеко не всех сразу. Не все, кто того хотел бы, быстро попадают и на «ТУ», хотя они совершают через Хабаровск в обоих направлениях десяток ежедневных рейсов, и каждая машина поднимает с собою по семьдесят человек.

В непрерывном грохоте авиационных моторов, в сплошном реве турбореактивных машин, в потоках людей — с летного поля на перрон и туда, к самолетам, на посадку — как нигде ощущаешь, чем стали в самые последние годы наш Дальний Север и наш Дальний Восток и насколько условна теперь в применении к ним эта приставка «Дальний»... Ящики, ящики идут к весам — узкие, длинные, выкрашенные голубой краской, помеченные каким-то трафаретом; это вьючные ящики с геологическими приборами и образцами. Их подносят молодые ребята в ковбойках. Ребятам хочется, чтобы все обратили внимание на их таежные бороды. Еще два дня назад геоло-

ги брели за оленьим караваном через гольцы и распадки куда-нибудь к Сеймчану, а назавтра они хотят быть в Москве — нужно только попасть на «ТУ»... А когда вьючные ящики взвешены и сняты, к весовщику сразу протягиваются детская ванночка и коляска (кто знает, продают ли такие в Магадане?) и какие-то дачного вида тючки, из которых во все стороны лезут цветастые ситцевые подушки. И молодайка в платочке, тютькающая на крепких руках краснощекого младенца, покрикивает на заморенного дорожными хлопотами молодого супруга, одетого в гимнастерку без погон и фуражку без звездочки: «Я же тебе говорила, зашить узлы надо. А ты всегда — «обойдется»...

Где они были позавчера? В Орле? В Полтаве?..

Но хватит ли сегодня места на «ТУ» для геологов в ковбойках и сможет ли сразу улететь в Магадан молодое семейство, этого еще пассажиры и сами не знают. Вон какая очередь у транзитной кассы. А из другого окошка охрипший голос дежурного по отделу перевозок устало повторяет одни и те же слова:

— Русским языком сказано — нет в гостинице ни одного свободного места!..

А когда на дежурного очень уж наседают путники, козыряя звучными названиями учреждений на штампах командировочных бумаг и на тисненых кожаных книжках,— тот хрипит из последних сил:

— Вот это вы в Москве и скажите. Пойдите к нашему начальнику и скажите! Мы, как он прилетит, на каждом производственном совещании о том же твердим. А у него денег нет. В вокзал этот все ассигнования всадили, а гостиницу расширить — денег нет.

...Выходит, все эти красивые вокзальные здания, сооружение которых в таком количестве и в такие короткие сроки само по себе достойно самого почтительного удивления, не следовало все же проектировать по одному стандарту. Порою «пространственные решения» оказывались оторванными от конкретного содержания. Для вокзалов, построенных на оживленных скрещениях воздушных линий, важнее всего было бы спроектировать дешевые, удобные и вместительные гостиницы, «вписывающиеся» в отведенную кубатуру и в отпущенную на строительство смету.

Ведь если архитектор забывает об удобстве для людей, если он строит лестницу, чтобы люди по ней ходили, а они вынуждены спать на ее ступенях, тогда любой добропорядочный по внешности проект оказывается таким же абстрактивистским созданием, как вычурный дом с торчащим наружу противовесом опоры, где человеку жить неуютно,

Аэровокзал, способный послужить сегодняшнему (и завтрашнему, когда он еще более возрастет) потоку воздушных путешественников,— это новая, своеобразная, но, право же, не самая трудная из архитектурных задач. Всего лишь несколько часов назад, по пути из Москвы на Быковский аэродром, можно было видеть целые районы, в которых решены задачи масштабнее и сложнее.

Но пока что от Быковского аэродрома мы пролетели к востоку больше полутора тысяч километров.

Мы в Свердловске.

Хорошо бы поехать в город, поглядеть, что в нем изменилось.

Уже двенадцать лет прошло с тех пор, как я видел в последний раз Свердловск.

Но по-местному время уже к полуночи. Что рассмотришь в такую пору? Да и не слишком ли далеко до города? Не помню, где тут аэродром. И, может, это уже вовсе не тот аэродром, с которого я улетал когда-то.

Вообще то, что мы в Свердловске, воспринимается очень условно. Когда мы садились в Казани, можно было, по крайней мере, увидеть приметы города. Здесь и этого нет. Рванулись под колеса две шеренги аэродромных огней; прочитались освещенные по фасаду вокзала рельефные буквы: «Свердловск». Вот и все. Остальное тонуло во тьме. Только где-то далеко мерцало, слоилось то зеленоватой, то розовеющей дымкой зарево городских огней, похожее на полярное сияние.

Времени после отлета из Москвы прошло так мало, что поездка по Рязанскому шоссе помнится еще в подробностях: очередь машин у закрытого Карачаровского шлагбаума, широкая стрела с надписью «До ст. Мальчики 1 км.», свадебный поезд в Люберцах, снова перегородивший путь, когда уже считанные минуты оставались до отлета, и редкий бор на развилке дороги возле Малаховки — тонкоствольный, пригородный, замусоренный дачниками, а все-таки отсвечивающий медью под июльским солнцем, все-таки пахнущий смолой и жаром разогретых иголок; даже в быстро проскочившую мимо машину проник этот запах — и вот Казань позади, Свердловск, а он все еще чувствуется, жаркий запах сосны на подмосковной дорожной развилке...

Не тем ли и хороша воздушная дорога, что далеко увозишь с собой последнюю живую память о том, с чего начинал свой путь? И то, что в каждый час укладываются сотни километров, отброшенные назад,— это тоже по-своему хорошо. Все видится так, будто взглянул на свою дорогу в бинокль,— все укрупнилось, приблизилось, и ко всему появилась иная, тоже укрупненная мерка.

Нет, хорошо, конечно, ездить и по-другому.

Вспомни, как весной под утренним солнцем поднимался пар над черной землей, как медленным черным жуком ходил и ходил трактор по дальнему полю, как опрокидывалось бледное небо в студеный пруд, купая в воде одинокое облако, как врезались в небо три черные вербы на пригорке над прудом, как трусила по неподсохшему проселку древняя сивая лошадь, а ты лежал на соломе, и дед Микола, именуемый в селе Песковатом «по-уличному» дедом Пришей-Гудзик, вслух, размеренно и негромко размышлял на тему: как это получается, что летит лелека-аист за море, и потом — надо же! — назад, к прошлогоднему гнезду, дорогу находит и на ту же стреху садится...

Менялся весенний свет, шлепала лошадь, думал вслух дед Пришей-Гудзик, и ты чувствовал себя бесконечно легким и счастливым в бесконечно чистом весеннем мире, где лелека летит, летит и находит свой путь к насиженной стрехе.

Да, очень хорошо ездить и так: выбрать себе недальнюю дорогу и мерить ее километры неторопливо, и все равно не знать, что будет в конце пути...

А Свердловск так и остался мерцающим в темноте электрическим заревом дальнего города, в стороне от полета.

Репродуктор вдруг заговорил; в невнимательно прослушанной фразе явственно ударил вдруг номер нашего рейса, и оказалось, что мы летим дальше, хотя три часа еще не прошли.

Кто его знает, что там раньше было — низкая ли облачность или ураганный ветер, но теперь погода уже исправилась. Тюмень открылась, и летчики торопились: они хотели к утру быть в Барнауле.

Ветер над Тюменью и сейчас дул вовсю.

Оказалось, что Тюмень — это непроглядная беззвездная ночь и ветер. Шло третье июля, а ветер был весенний, льдистый, пахнущий речным половодьем.

В деревянном домике аэровокзала скрипели полы.

В тесном коридоре тускло светила лампочка.

Кто-то стучался в запертую дверь с методичностью отчаяния.

— Ну и спит! Трое суток самолета на Томск дожидаться, а когда идет самолет — проспать! Однако спит — повторяла женщина у запертой двери и опять принималась стучать.

Самолет на Томск... Это уходил дальше по своему маршруту наш «ИЛ». Но до его дальнейшего маршрута мне уже не было никакого дела. Мне нужна была машина, которая полетит на Салехард. Сейчас отдел перевозок не мог сказать, пойдет ли такая машина.

Отделу перевозок было лет девятнадцать. Он был одет в теплый джемпер, накинутый на легкое платье; над большими

сапогами виднелись капроновые чулки. Лицо отдела было спроектировано с помощью одного только циркуля: в большой круг вписаны круглые глаза, круглый рот, припухшие круглые щеки, сильно вздернутый и оттого тоже кажущийся круглым маленький нос. Брови такие белесые, что их как бы и не было.

Отдел перевозок стучался в дверь и готов был плакать от отчаяния.

— Однако спит! — слезы уже звучали в этих словах.

И, сочувствуя слезам отдела перевозок, я все же отметил про себя, что да, вот я, несомненно, в Сибири. Это было настоящее сибирское «однако», многозначное и ничего не означающее, существующее само по себе и вездесущее, позволяющее безошибочно угадать настоящего сибиряка в любых обстоятельствах.

Я присоединился к отделу перевозок и что было силы загрохотал в дверь обоими кулаками.

Знакомый второй пилот с бывшей «нашей» машины появился в коридоре. Он нес брезентовый портфель с полетными документами.

— Ждать не будем! — сказал он неумолимо.

Но и в самой неумолимости этой, выдающей все же какую-то возможность, что самолет мог бы малость и подождать пассажира, которого не могут добудиться,— было нечто от домашности, от старомодного уюта, что всегда существует в полете и перекидывает мостик от ультрасовременной авиации не к поезду даже, а к почтовому дилижансу, рожком собирающему седоков, разбредшихся по придорожному лугу.

То ли кулаки подействовали, то ли слова второго пилота громче кулаков ударили в дверь, но она внезапно открылась.

Вышла молодая женщина в платке и жакете, с небольшим чемоданом. Нельзя было и подумать, что она только что беспробудно спала и ее будили, чуть ли не выламывая дверь. Она была свежа, независима и невозмутима.

— На Томск? — спросила она. И легким широким шагом направилась к выходу, опережая второго пилота и не замечая возмущенного изумления отдела перевозок.

Теперь выяснилось, что отдел перевозок зовут Мусей. Что же до рейса на Салехард, то о нем ничего не выяснилось. С этого аэродрома рейс не планируется. Может быть, гидросамолет... Но об этом будет известно только утром.

— Однако спать лучше,— мудро заключила Муся и указала на дверь, следующую за той, в которую мы только что стучались.— Там свободная койка есть, можете занимать.

В комнате стояли десять коек и застеленный клеенчатый диван с высокой спинкой, увенчанной затейливыми порожними шкафчиками. С потолка беспощадно, в сто пятьдесят свечей, светила голая электрическая лампа. Но десять человек, устав-

шие с дороги и знающие, что их рано поднимут для нового пути, спали беспробудно.

На диване широко раскинулся необычайно могучего сложения пассажир. Короткие голенища сапог его, стоявших рядом, имели не менее полуметра в диаметре. Пассажир спал на спине и храпел. Но казалось, что храпит совсем другой человек, спрятанный в этой мощной оболочке. Тоненький беспокойный свист перемежался фальцетным повизгиванием, и, когда фальцет поднялся на самые верхи с ближней койки встал разбуженный долговязый сосед в длинных трусах.

— Володька! — сказал он решительно. Приладив руку рычагом, он поддел великана за плечо и повернул его на бок.

Свист и повизгивания сменились ровным басовитым похрапыванием. Тонкоголосый узурпатор бежал из чужой оболочки. Все было в порядке. Долговязый вернулся на свое место и тут же заснул.

Одна койка была свободна. На ней уголком стояла пышно взбитая, но тощая внутри подушка. Простыни выглядели отлично. В верхнюю, как в конверт, вложено плотное, теплое одеяло.

Я разделся и лег, надеясь мгновенно заснуть.

Транзитное гостеприимство комнаты, небогатое, но радушное, снова приводило на память описания старого почтового тракта, ожидание перекладных. Прошло восемь часов воздушной дороги. Позади больше двух тысяч километров. И вот первый сибирский «станок» — так назывались здесь в старину почтовые станции. Сидишь на станке, ждешь свежей упряжки. Но свободных лошадей у почтмейстера, как известно, никогда нет. Это отмечено классической литературой уже в XVIII, а также в первой половине XIX столетия...

Эта комната — за Уралом.

Лампа в сто пятьдесят свечей горит — за Уралом.

Три часа ночи — зауральское время. В Москве — час.

А как выглядит Урал с высоты полета, я не знаю. Мы пролетели его в темноте. Когда проезжаешь Урал поездом, долго ждешь гор, а потом их почти не видишь. Будто равнина вместе с тобой долго ползет кверху, и только на короткое время показываются каменистые склоны, обрывающиеся к реке, вершины, зубчатые от хвойного леса, а потом опять долинный простор. Это не похоже на другие хребты, и нужно побывать на самом Урале и побродить здесь пешком, чтобы понять древнее и неповторимое своеобразие этих гор и полюбить их неповторимость. В полете не успеваешь ждать появления гор, и потом оказывается, что они прошли в темноте, что внизу, в темноте, остался условный раздел между Азией и Европой и что здешний весенний ветер, ошарашивающий тебя в июльский день дыханием льдистого половодья, — это уже ветер с Оби, зауральский, азиатский ветер.

— Однако спать лучше.

Я хочу повторить это себе еще раз и просыпаюсь. Пришло новое утро.

— Однако и спите же вы,— укоризненно говорит Муся из отдела перевозок.

Она объясняет, что вскоре пойдет гидросамолет на север.

Может быть, он дойдет пока до Ханты-Мансийска.

Может, долетит до Березова.

Но, возможная вещь, дойдет, однако, сразу и до Салехарда.

Во всяком случае, нужно торопиться.

Автобус уже ждет.

## С ДОБРЫМ УТРОМ

Набитый до отказа автобус доходит до первых домиков и останавливается. Потом он снова останавливается на перекрестке, где дома побольше. На каждой остановке протискиваются внутрь новые пассажиры. Все они в кожаных куртках на «молнии», подбитых мехом, в высоких резиновых сапогах. У каждого зачехленный спиннинг и чемонданчик с рыбачьей снастью.

Утро только началось. Улицы пусты.

Летчики едут на рыбалку.

Они с холодным презрением оставляют без ответа древний, извечно преследующий рыбака вопрос, который обращает ко всем входящим скептический коллега с передней скамейки:

— Клюет ли нынче рыба на базаре?

Они разговаривают друг с другом на таинственном языке посвященных, называя окрестные озера и протоки и поминая некоего Лаврушку, который в прошлую среду попал на «чудовищный клев». Но какой величины была у Лаврушки рыба, этого показать в тесном автобусе не удавалось.

В окнах мчалась Тюмень.

Сперва это были стандартные дома новых поселков. Потом добротные, из сибирского леса рубленные пятистенные избы, где обитали «чалдоны» старой Тюмени. Потом все перемешалось: деревянные дома и каменные купеческие особняки, новые здания в четыре-пять этажей и даже какой-то вовсе удивительный дом — высокий, совершенно круглый, почти лишенный окон; он был похож на старинное бензохранилище, если бы бензохранилища сооружались уже в старину. Оказалось, что это городская баня. Ее построил приезжий архитектор-конструктивист лет тридцать тому назад, а сейчас это и в самом деле памятник архитектурной старины и, как всякий памятник, предмет гордости—правда, весьма своеобразной.

— Видели, вон какая у нас баня чудна́я,—указал мне на круглое сооружение один из спиннингистов.

Тюмень мчалась за окнами автобуса, и у входа в сквер неутихающий ветер вздувал кумачовый плакат: «Наш город— старейший в Сибири. Сделаем его еще красивее».

Но «старейший в Сибири»— сколько же это лет?

Русская казачья крепостца, или, как в ту пору говорилось, «острожек», поставлена была здесь, при слиянии рек Туры и Тюменки, в 1586 году, почти четыреста лет назад. Это и есть дата, обозначающая начало русского заселения Зауралья, если не считать новгородских наездов «за Камень», в северные приморские земли, о которых русские летописи поминают уже с XI века.

Но Тюменский острожек строился не на пустом месте.

За пять лет перед тем Ермак застал здесь городок по имени Чинги-Тура, осадил его и взял. Городок тоже имел свою историю. Звучит в нем имя Чингиза, а строил его, по преданию, хан Тайбуга в XIV веке. Текучая, ненасытная, на конь посаженная Монгольская империя — где передний конь стал, там и граница; отвернули, ускакали вспять кони, и граница развеялась путевой пылью, — это империя рассыпалась, превратилась в архипелаг разрозненных островов-ханств. Одним из таких островов было и ханство Сибирское.

На Иртыше стояла татарская ханская столица Кашлык.

Два столетия собирали сибирские ханы ясак — подать — с племен ханты и манси. Русские называли тогда эти племена остяками и вогулами. Покоренные татарами остяцкие и вогульские князьки свозили ханам шкурки горностая и соболя, песцовые и лисьи меха и сами тоже не оставались в обиде.

Ради этого ясака и осели здесь ханы, обжились в Кашлыке и Чинги-Туре, торговали отсюда пушниной с Бухарой и Исфаганью, с Китаем и Европой.

Сибирская пушнина — «мягкая рухлядь» — была на уме и у Грозного, когда он ждал военных вестей с Урала, от Строгановых, после того как те снарядили Ермака и с ним пятьсот сорок казаков за Камень. Строгановы просили у Грозного разрешения на этот поход и поддержки. Поддержки царь не дал, а поход не то чтобы разрешил, но и не запретил.

Казаки выплыли по Тагилу в широкую, спокойную Туру— в сибирские земли. Только тогда, когда на Москве стало известно, как покатились орды Кучума на Иртыш, когда после Чинги-Туры взят был в октябре 1581 года и Кашлык, когда Ермак принял под свою руку остяцких князьков и многие татарские семьи,— Грозный послал в Сибирь и свое войско. Из Москвы за Камень выступили воеводы Болховской и Глухов с полтыщей стрельцов. С Ермаком они соединились в 1583 году.

Неизвестно, откуда пришел Ермак к Строгановым, где и когда родился.

Почему его звали Ермаком?

Среди остяцких князьков того времени встречалось такое имя. Был, например, в Обдорске князек Ермак, сын Мамрука. Но атаман-то Ермак был русский. Говорят, что это казаки его так прозвали, а настоящее его имя было не Ермак, а Василий.

Сибирский летописец Илья Черепанов рассказывает историю Ермака так, что в ней отразилось все тогдашнее время и биографии множества русских крестьян. В борьбе опричнины с земщиной очутились они словно между молотом и наковальней, обнищали, оголодали и побрели с женами и детишками на южные и восточные украйны Московской державы искать землицы пощедрее и житьишка поспокойнее.

Так ушли из Суздаля на Чусовую, в строгановские земли, говорит Черепанов, сыновья суздальского посадского человека Афанасия Алевина — Родион и Тимофей.

У Тимофея был сын Василий.

«И оной Василей,— записывает Илья Черепанов,— был силен и велеречив, ходил у Строганова на стругах в работе по рекам Каме и Волге и от той работы принял смелость и, прибрав себе дружину малую, пошел от работы на разбой и от них звашася атаманом, прозван Ермаком».

Могло быть и так.

Отказался вольный казак от своего имени и назвался Ермаком — чтобы все, что прежде было, сгинуло без следа. Сам захотел, чтобы не знали, кто он и откуда, чтобы не искали в отцовой избе, не тормошили отца с матерью, не попрекали братьев. «Принял смелость»— и пошел в жизнь, без прошлого, легкими ногами...

А был ли он Василием или не был, звался прежде Алевиным или нет— все равно история сохранила его с уважительным «вичем», и остался он в памяти так, как сам захотел называться: Ермак Тимофеевич.

Погиб он в тот же год, когда умер Грозный.

А еще два года спустя с сооружения Тюменского городка началось заселение зауральских земель русскими поселенцами.

Уже сказано, что Тюмень строилась там же, где за двести лет перед тем хан Тайбуга строил Чинги-Туру.

Строил? Вряд ли это слово соответствует нашему пониманию. Речь идет, верно, только о сооружении защитных земляных валов; их и пришлось одолевать Ермаку. А за валами, надо думать, стояли юрты. И когда Ермак ушел отсюда вперед, на Кашлык, местные обитатели тоже поднялись с места, свернули свои юрты и либо пошли за Ермаком, либо перебежали к его противникам, в стан Кучума. Бывало всяко, и история

сохранила нам картину сибирского похода далеко не во всей полноте.

Во всяком случае, когда воеводы Василий Сукин и Иван Мяснов принимались ставить Тюменский острожек, ни о каких следах Чинги-Туры уже не говорилось и никакие местные «людишки» не поминались. А место было как раз такое, в каких по вековой традиции строились русские города: мыс, с двух сторон защищенный водой. На таком же мысу и Псков строился, да и московский Кремль вот так же когда-то врос в угол между Москвой-рекой и Неглинкой...

Строить Тюмень пришли со стрельцами московские мастера.

Москва и тогда строить умела.

И масштабы строек ее того времени остаются поразительными даже и на наш глаз, на что уж привычный к строительному размаху.

Вширь так вширь: в том же 1586 году Федор Конь начал сооружение стены Белого города: восемь верст каменных укреплений.

Ввысь так ввысь: поднималась кверху ярус за ярусом церковь-колокольня Ивана Лествичника — «Иван Великий».

Красота так на века красота: за год до этого закончен был Успенский собор в Троице-Сергиеве. Строился собор Донского монастыря.

Не зря работал в Москве Приказ каменных дел — первое на Руси строительное министерство.

В Тюмень пришли мастера, которые и с Конем работали и церкви «по обещанию» — за сутки без единого гвоздя ставили. Велико ли для них дело: деревянный городок построить?

Строевого леса окрест хватало. Можно было укрепить старые Тайбугины насыпи, поставить на них изгородь с угловыми деревянными башнями, срубить внутри крепостцы привычные русские избы с тесовой крышей; так они и строились, тогдашние острожки: укрепленная деревня, и живут в ней мужики с пищалью вместо сохи; на сермяге — кольчуга с чужого плеча, добытая в сече. А в избе — у кого привезенная с собой женка; доехала за войском в телеге из Каргополя, или от Костромы, или с волжского степного приволья. А кто пришел за Камень вольным молодцем, у того при сидячей острожной жизни, на нежданном хозяйском обзаведении, глядишь, и завелась в «ясырь» взятая некрещеная девка, да так и приросла к новой избе. Жена не жена, а не выгонишь: привык и сам того не заметил. Иной раз годами словом не перемолвишься: ты скажешь— ей не понять, она молвит — тебе невдомек; а уже жалеешь ее, да и дети пошли; зовут «тятькой», волосом черны, костью широки, щеки скуластые.

И посейчас еще не вывелась эта порода среди исконных тюменских «чалдонов». Узнать можно. А говор здесь сродни

каргопольскому, вологодскому — тот же напев. Отвечает на вопрос — будто все кверху забирается, выпевает и оборвет вдруг, точно не ответил, а сам тебе вопрос задал, да еще с насмешечкой...

Тюмень росла быстро.

С казаками и стрельцами шли «гости» — торговые люди. Еще при Грозном были установлены для купцов, переселяющихся на новые земли, особые льготы. Их получали даже опальные псковичи, согласившись переселиться в Казань. В Сибирь переселенцы потянулись охотно: слух о тамошних пахотных и луговых угодьях распространялся быстро.

В новые острожки на Туре и Таре, на Иртыше и Оби остяцкие и вогульские князьки по-прежнему везли ясак — «мягкую рухлядь». Но юрты татарских ханов, хоть и пробыли они тут двести лет, стояли, не прирастая к земле, готовые сняться в любую минуту. Так и покатились они от Ермака к Бухаре и к Саянам, не оставляя по себе никакого следа. Ханы брали, ничего не отдавая земле, на которой остановились их верблюды и кони. По-иному приходил сюда русский крестьянин. Он шел, приглядываясь к земле, надеясь на нее, готовый привычно отдать ей свой истовый труд — от зорьки до зорьки. Крестьянские избы враз шагнули за сосновые острожные стены. Поднялся над вырубками дым прочно поставленного людского жилья, зачернела вспаханная земля в щедрой своей, нерастраченной силе. И впервые запахло здесь печеным хлебом.

Мало хорошего рассказывает о купцах-новоселах старая казенная переписка — корявые челобитные и курчавые записи судейских писцов. Грабеж и обман, произвол и насилия. Но купеческие дворы не были просто перевалочными пунктами, сквозь которые протекали меха и кожи. Купцы оседали прочно, заводили на новых местах промышленность.

Лет двести назад заехали в Тюмень да тут и осели бухарские кожемяки. Стали выделывать из конских и бараньих кож черную и белую юфть, и на всю Сибирь прославились шитые в Тюмени бродни — высокие крепкие сапоги, которым ни вода, ни тайга не страшны.

Знамениты были тюменские броденщики, тюменские ямщики на таежных трактах да еще тюменские корабельного дела мастера, спускавшие на Обь и Иртыш крепкие, длинные, с высокими бортами «дóри», как назывались здесь промысловые рыбачьи лодки.

Край оживал. Тюмень оказалась на бойком месте.

Неподалеку учинилась Ирбитская ярмарка, где съезжалась торговая Азия с торговой Европой, куда свозили меха и зерно, красную рыбу и сибирское масло, лес, кожи и готовый товар, куда тянулись конные обозы и верблюжьи караваны.

Сто с лишним лет назад по западным рекам Сибири пошли пароходы.

В 1885 году к Тюмени подошла из Екатеринбурга железная дорога. Здесь уже была к этому времени и своя ежегодная ярмарка, на которую перешел многошумный ирбитский торг. Здесь гуляли уральские горнозаводчики, здесь сквозь пальцы тек привезенный старателями золотой песок.

Когда о Сибири заговаривали по европейскую сторону Уральского хребта, к имени ее неизменно добавлялся эпитет: «богатая». И — уважительное, мечтательное придыхание.

Невиданные урожаи... Неслыханные прибыли...

Но нигде не было и беды горшей, чем в Сибири.

Речь не о каторге, не о кандальниках, шедших через Тюмень, пересаживавшихся здесь на баржи,— не только о них.

Еще Н. Гарин, проезжая через Тюмень к местам, где он, инженер и писатель, должен был участвовать в строительстве Транссибирской магистрали, вскользь помянул: «Вот и грязная Тюмень со своими «нуждающимися» переселенцами...»

Он помянул нищих переселенцев как главную примету Тюмени, а слово официальных отчетов — «нуждающиеся» — поставил в иронические кавычки, потому что и в малой мере слово это не выражало той степени нужды и отчаяния, какую являли переселенцы, сорвавшиеся с насиженных мест на поиски призрачной удачи.

Вспомним снова Гарина. В одном из рассказов говорит он, как бабка Степанида побывала в раю и встретила там сродников. Бабка потом сказывала:

«— ...Дядю Парфена да дядю Семена видела: стоят друг возле друга, портянки новенькие, онучки новенькие, головы маслом смазаны, ручки сложили, стоят на сухоньком месте: «Хорошо-о нам, бабушка Степанида!»

Вот и весь рай. Место сухонькое да онучки новенькие...

Но и такой скромный мужицкий рай находил в Сибири не всякий переселенец.

В Тюмени бешеные деньги текли рядом с беспросветной нищетой, ярмарочные загулы гремели рядом с тихими голодными смертями. Капитализм здесь был, так сказать, весь на глазах.

И, наверно, оттого так сложилось, что именно Тюмень стала городом, в котором уже к осени 1906 года местная социал-демократическая организация стала полностью большевистской и насчитывала в своих рядах сто восемьдесят человек...

Значит, то, что я вижу сейчас вокруг себя, взошло из давних семян.

И урожай эти семена дали истинно сибирский.

Что осталось теперь от старой Тюмени?

Разве вот эта «лежневка» — бревенчатый настил вместо мостовой на окраинной улице. Автобус наш «сыграл» на старых трухлявых бревнах, будто промчался по клавишам детского ксилофона.

Да еще там, на окраинах, промелькнули тяжелые резные двери толстостенных купеческих домов, сохранившие круглые медные гнезда для проволоки, когда-то дергавшей давно уже не существующие колокольцы.

После лежневки мы проехали по булыге; теперь автобус быстро и ровно катил по асфальту. Улица — новая. Тротуары обсажены зеленью. Большинство домов построено недавно. Реже видны среди них сверстники круглой бани — плоские дома-кубы двадцатых годов. Но им не дали полинять, освежают время от времени светлой краской, и выглядят они совсем неплохо. Вовсе редко мелькают в центре вычурные двух- и трехэтажные дома начала века.

Старая Тюмень была деревянной. Нынешняя, поднявшаяся кверху бетонная и кирпичная областная Тюмень — это город, сызнова родившийся в наше, советское сорокалетие.

Тридцать лет назад в Тюмени было пятьдесят тысяч жителей; теперь их полтораста тысяч.

Справка из Большой Советской Энциклопедии: к 1955 году жилой фонд Тюмени по сравнению с 1940 годом увеличился на 55 процентов.

Тут уже речь идет не о тридцатилетии, а всего-навсего о пятнадцати годах. И городской пейзаж получает таким образом статистическое объяснение.

Но рост города, рост числа его жителей происходит не сам по себе. Эта круто идущая кверху кривая тесно связана с другой кривой, которая поднимается еще более резко и отмечает непрерывный рост промышленности. Тюмень кустарных мастерских и небольших полукустарных фабрик превратилась в индустриальный город. Здесь строятся уже не деревянные дори, но крупные речные суда. Отсюда идет электрическое оборудование для автомобилей и тракторов. На стройках Урала и Новосибирска работают бетономешалки с тюменской маркой. Есть в Сибири поселки, где все дома собраны из деталей, изготовленных в Тюмени. Рыбаки на Каспии и Белом море, на Байкале и Енисее забрасывают в воду километры и километры сетей, связанных на фабрике, мимо которой мы только что проезжали. Тюменская мебель. Завод аккумуляторов. Завод пластических масс. Фанерный комбинат. Здесь, в Тюмени, и добрые сапоги шьют по-прежнему, но и это теперь не промысел броденщиков-одиночек: вот он, длинный, многооконный корпус большой обувной фабрики...

Но ни цифры и факты, известные мне заранее, ни самый вид города, умытого, ухоженного, рано проснувшегося и

спозаранок оживленно хлопочущего, еще не давали ощущения приезда в Сибирь. Все это могло встретиться и в любом ином городе, по ту сторону Урала.

В самом деле, какой город не изменился у нас за пятнадцать лет.

Даже «однако», которое так обрадовало в аэропорту в первую минуту, не слышится в этом автобусе: летчики — по большей части народ приезжий.

Но погоди, прислушайся к их разговору.

Где, где это был вчера вон тот щупленький паренек со смешными усишками под вздернутым носом?

Он назвал какое-то не по-русски звучащее имя — не то река, не то селение. Ты прослушал...

А теперь он говорит, как полетел к этой то ли реке, то ли селению на гидросамолете, а оказалось, что лед там еще не сошел, и он долго кружил, не находя места для посадки.

— Не улетать же обратно? Люди-то уже четыре дня голодные сидят...

О ком он?

Это с геологами приключилось.

Сбились с пути в тундре. Другой летчик отыскал их днем раньше, а этот улетел вчера, чтобы вывезти их. И сейчас, смеясь и связанно жестикулируя в автобусной тесноте, он показывает, как садился на полынью, которую высмотрел в трех километрах от палатки геологов.

— Места, понимаешь, хватает, сесть можно. А ветер в скулу. А там, понимаешь, как раз горка. Ну, в общем, сел впритирочку. И думаю: они-то, конечно, видели, что я тут. Ну, а дойдут ли? Ослабли, пожалуй, с голодухи. Навьючился, как ишак, Ваську своего навьючил. Идем. Дорожка — та. Тундра подтаяла. Ступишь — нога в воду. Ну, они все же навстречу шли. А сошлись — смеются. Спички, понимаешь, и те кончились. Ну, конечно, сперва накормил...

И вдруг, оборвав, без паузы, он спрашивает у приятеля:

— А мотыль у тебя есть? Сейчас на крючок веселее ловить, чем на блесну.

Лицо его стало озабоченным.

— Мотыль есть,— сказал второй спиннингист.— Не слыхал, Маслюк жаловался? Окуней вчера, говорит, столько наловил, что жинка из дому чуть не выгнала: «Сам наловил, сам и чисть, а я руки портить не буду...»

Так и живут. Сегодня — летняя река, поплавок дрогнул, окунь плюхнулся в ведро... Вечером — с женой в кино... А завтра опять, может, ищи полынью на каком-нибудь озере, где и на чистой-то воде сесть не просто.

— Мотыль есть,—повторил спиннингист.— Да вода спада-

ет. Знаешь, как оно? Вчера споро клевала, а сегодня нипочем не берет...

Мы уже выехали из города.

Луга, лес, вода.

Кто-то спустил оконное стекло впереди, и в автобус сразу ворвался немыслимо свежий, точно на спирту настоянный воздух.

На этой равнине горизонт кажется неощутимо легким. За ним неспрятанный, беспредельный простор — простор до океана, до льдов, до тех бесприютных и строгих мест, о которых вспоминал только что летчик, едущий по соседству.

Это и есть Сибирь.

Такого широкого дыхания не ощутить нигде, кроме Сибири.

Тут, на заливной земле Прииртышья, наверно, мало что изменилось с веками. Когда Ермак спускался на стругах от спаленной Чинги-Туры на Кашлык, он видел такие же луга, тот же лес.

Не было этого шоссе.

Не выступала из дальнего соснового бора на оструганных, широко расставленных ногах деревянная линия высоковольтной передачи.

Не было вон той деревушки.

А так было все то же; такая же была, наверно, Сибирь и такой же легкий, зыбкий, не скрывающий дальних просторов горизонт. Почему же именно здесь, в лугах, а не в обновленном, разросшемся городе так вдруг почувствовалась молодая сила Сибири, ее пробуждающаяся и зовущая новь?

Как о примете необъятности всей страны нашей, мы часто говорим, что когда на юге у нас знойное лето, то на севере еще лежат снега. Но и к такой одной области, как Тюменская, эти слова могут относиться тоже. Вот здесь, под Тюменью, уже в восковую спелость входят хлеба, а сосед мой вчера искал полынью на замерзшем северном озере.

Плотность населения на юге этой области — десять — двадцать пять человек на один квадратный километр, а в Заполярье— один человек на десять — пятнадцать квадратных километров.

И вот на этих громадных и несхожих просторах происходят нынче такие перемены, за которыми и газете, не то что книге, поспеть очень трудно. И если бы я записал сейчас то, о чем говорилось и писалось в газетах при мне, то есть несколько месяцев тому назад, то все это выглядело бы совершенно устарелым, вытесненным новыми делами и перспективами.

Скажу только, что в южных районах области к тому времени, за три последних года, было уже поднято около четырехсот тысяч гектаров целины и речь шла об использовании новых резервов.

А в самые северные районы уезжала молодежь, уезжали опытные специалисты всех возрастов. К ним обращены были броские плакаты на стенах домов. О новых стройках, о разведчиках в тундре, об успехах изыскателей природного газа в Березове, о заполярных звероводах и рыбаках писали газеты, говорило тюменское радио.

«Один человек на пятнадцать километров» — это из статистики. Это пресловутое «в среднем». На самом-то деле это выглядит совсем иначе. Люди идут вместе. Пусть их десять человек на полтораста километров безлюдного снегового пространства. В среднем выйдет то же: один человек на пятнадцать километров. Но десять человек вместе — это вовсе не то, что одиночка. И десять человек, ушедших сообща в тундру, могут сделать — и делают — очень много...

Автобус остановился.

Летчики-рыболовы разбрелись сразу.

На двоих друзей с мотылем с ходу обрушился третий приятель, поджидавший их в лодке.

— Восьмой час! — кричал он. — Да пока доплывем... Это что же за ловля?

Они сразу разобрали весла и шумно отплыли, заранее сваливая один на другого вину за будущие неудачи.

Невысокая деревянная изгородь, крашенная голубой краской, окружила березовую рощицу на берегу реки.

В роще несколько маленьких светлых домиков.

Полая вода еще не сошла.

Желтая глинистая река текла сильно и быстро, обходя заякоренные железные бочки с небольшими плотиками-причалами, к которым были привязаны самолеты.

В ближнем домике было людно. Только что открылся буфет.

— Яичница есть и сметана. Иди, Капа, я очередь занял!

Кто-то отозвался:

— Петь, а Петь! Мне, однако, займи!

Из двери буфета выглянула голова в пилотской фуражке.

— Кому на Березов — особо не расходись! Сейчас погоду дадут, лететь будем...

Веселое домашнее оживление было многообещающим.

## ВОДНЫЙ «АНТОН», ОН ЖЕ ВОДНАЯ «АННУШКА»

Да, здесь не стали долго держать нас.

Не прошло и трех часов, как Север дал погоду.

Сперва ушла машина в Березов. Потом еще одна — тоже в Березов.

А потом наш пилот, выходя из буфета и как бы не замечая наших испытующих взглядов, сказал в пространство, небрежно:

— Если удастся, то и в Салехард прилетим.

И вот мы в воздухе.

Когда нужно было отмечать перед посадкой билеты, дежурный долго выкликал фамилию Храпова.

Храпов не появлялся.

Его разыскали в буфете.

Когда мы поднялись на катер, чтобы переправиться к плотику-причалу, Храпова среди нас снова не было. На этот раз его не нашли и в буфете: оказалось, он отправился не на том катере,—к самолету, уходящему в противоположную сторону, — и его сняли оттуда в последнюю минуту.

Наконец выяснилось, что билет свой Храпов оставил на берегу, не забрав его у дежурного, и катер пришлось сгонять еще раз.

Но суета, возникающая вокруг него, вовсе не смущала Храпова. Он не расстраивался и не делал излишних телодвижений. Напротив, он принимал все это, как положенные ему естественные знаки общего внимания. Невозмутимо переходил Храпов с катера на катер, карабкался в самолет и пропускал мимо небольших, жестких, оттопыренных ушей ядовитые шутки второго пилота, который размещал в кабине багаж и рассаживал пассажиров.

Теперь Храпов на месте. Он сидит напротив меня: маленького роста очень молодой человек, предусмотрительно упакованный во множество теплых одежек, невзирая на третий день

июля. На нем ватник, и смушковая шапка, и высокие сапоги, и из сапог торчат отвороты длинных шерстяных чулок; и эта могучая упаковка еще больше подчеркивает миниатюрность его фигуры. Вся передняя часть кабины занята его вещами. Фанерные ящики покрыты надписями: «Осторожно, стекло!» «Срочно! Бакпрепараты» И еще другие надписи объясняют, при какой температуре должны эти ящики храниться.

Я уже знаю, что Храпов — врач из небольшого мансийского селения на реке Сосьве.

И еще я знаю, что живет он на Сосьве два года: уехал туда сразу после защиты институтского диплома.

Об этом уже все знали.

Храпов рассказывал, обращаясь к соседке — очень беленькой, очень милой девушке. Но говорил он громко. И опять легко было угадать, что наш попутчик считает это естественным: он говорит, все слушают, так и должно быть. Он дважды заметил, что на Сосьве все его уважают. Когда он приехал, там еще был шаман. Ну, подпольный, конечно, и в бубен он бить боялся — просто заговоры читал. И шаман отказался от больного охотника, сказал, что на того медведь рассердился и теперь ничего сделать нельзя: медведь больного душит и непременно задушит насмерть. А он, Храпов, сразу диагностировал (он это важно и вкусно сказал: «диагностировал») воспаление легких и вылечил охотника пенициллином. Конечно, его теперь все тамошние жители уважают.

Вероятно, это была правда.

Мы все слушали.

И девушка развязала белую теплую шаль и полуобернулась к доктору, больше не стараясь видом своим убедить нас, будто к ней вовсе не может относиться то, что решил ей почему-то рассказывать незнакомый сосед.

Она тоже была в ватнике и в сапогах. Видно, не хуже, чем доктор, знала, каким бывает июль к северу от Тюмени.

Это та самая Капа, которую недавно, когда мы еще были на земле, выкликал долговязый Петя в буфет — к яичнице и сметане.

Теперь Петя разлучен с Капой: он сидит рядом со мной. Второй пилот поступил с ним жестоко. Но он сам виноват: появился слишком поздно, нерасторопно завозился с багажом.

Их компания разлетелась на всех трех самолетах, ушедших сегодня из Тюмени на север. С нами летят пятеро. Я слышал их разговоры, когда они, сидя на чемоданах в ожидании отлета, «забивали козла». Консервщики и строители из Ханты-Мансийска, они ездили в Тюмень на спортивный праздник, участвовали в соревнованиях по легкой атлетике. Судя по тому, как неодобрительно отзывался Петя о тюменских судьях, можно было заключить, что первого места — хотя оно им,

несомненно, принадлежало по праву — ханты-мансийцы не заняли. Но бодрости у них не убавилось: земляки-болельщики за них, спортивные судьи не вечны; придет время, и справедливость восторжествует. А летать на спортивный праздник, когда тебе двадцать лет, это слишком хорошо, чтобы можно было после этого огорчаться...

Петя был единственным в нашей кабине, кто смотрел на доктора хмуро и неодобрительно.

Я понимал его.

Впрочем, будь Капа в обыкновенном платье, она, быть может, и не показалась бы красивой: чистое, милое лицо, каких много. Крупные руки. Крепкие икры туго сидят в больших сапогах. Пете она, конечно, в любом платье казалась бы лучше всех, но остальные пассажиры вряд ли глядели бы на нее, как сейчас. Грубость полумужской одежды превращала миловидность в трогательную красоту: все черты казались тоньше и меньше, чем были на самом деле; и улыбка становилась особенно беззащитной, и румянец просвечивал особенно нежно.

И сейчас всем было понятно, почему Петя с такой гордостью тащил на катер ее багаж, словно счастливую примету своей избранности.

Теперь багаж стоит среди докторских ящиков — большая картонная коробка с такой же строгой надписью: «Осторожно! Не кантовать». Это радиола для клуба рыбоконсервного завода. Здесь, видно, все — в какую бы дорогу они ни отправлялись — выполняют заодно и общественные поручения.

Как бы то ни было, доктор весьма горд своими ящиками.

О них он сейчас и говорит. И снова привычно оборачивает рассказ так, чтобы всем, и особенно беленькой соседке, сразу стало понятно, какой он ловкий и умелый человек, доктор Храпов, и как его везде уважают. Вот ходила же с ним за такими же препаратами некая Тоня, приехавшая в область с Ямала. Вместе когда-то дипломы получали. И что же? Ей и половины того не дали!.. А какой славный набор хирургических инструментов посчастливилось ему достать в Тюмени!..

Он тут же достает этот набор из саквояжа и раскрывает его перед соседкой.

Так устрашающе сверкают его пилы, ланцеты и долота, что бедная Капа отшатывается в испуге. И где-то между огромной шапкой, толстым свитером и воротником ватника рождается тоненький, заливистый, колышущийся смех — доктор Храпов очень доволен: отличные инструменты

Нет, он положительно должен быть неплохим парнем, этот доктор Храпов. Немножко хвастун, немножко добытчик. Но ведь не для себя же добывал он эти инструменты и ящики! А хвастовство? Не защита ли оно от привычных со школьной скамьи насмешек над малым ростом и физической слабостью?

Во всяком случае, хорошо, что он живет в мансийском селении, что он доволен жизнью, что он победил шамана и отнял больного охотника у хозяина тайги — медведя, которому тот был обречен.

И доктор Храпов, и Капа с Петей, и их ящики с медикаментами и радиолой — это первая моя встреча в дороге с живым сибирским Севером, а не с книжными цифрами и общими словами отчетов. В этой встрече Север выглядит вполне обыкновенным обжитым, полным привычного человеческого тепла — и это очень хорошо.

Кроме Пети, у меня есть еще сосед.

Геннадий Кузин — так его зовут. Он тракторист и тоже летит в Салехард. То есть не в самый Салехард, а куда-то дальше, но Геннадий и сам пока толком не знает, где это и как туда добираться. Знает только, что будет там водить вездеход в геологической партии.

Самолет идет над Обью.

Если бы я прочитал такую фразу, никогда не видев Оби собственными глазами, я бы представил привычно: вверху самолет, внизу река — вероятно, большая река — и земля...

Но это совсем не так.

Обь с самолета — это зрелище потрясающее и ни с чем не сравнимое. Таких просторов воды нигде не увидишь. Собственно говоря, где она, сама Обь? Вот оно, кажется, как раз под нами, русло реки, широкое и почти прямое. Но вон там, подальше,— коса и остров, и еще длинная песчаная коса, и опять такая же полоса воды.

Вода — до горизонта. И за этим дальним, с высоты полутора километров открытым горизонтом тоже поблескивает вода.

Обь — как море?

Нет, это не море. Все приметы земли видны глазу. И широкий луг, покрытый сочной зеленой травой. Но только что схлынула с него полая вода, и этот луг — на острове; и у берега еще стоят большие, грузные лодки, которые утром привезли сюда разбредшихся по траве коров. И уже летим мы над бором. Стволов не видно. Торчат макушки самых высоких сосен и елей, а под ними — сплошная зеленая хвоя. Кто его знает, какая там, внизу, идет жизнь? Может, подкрадывается к соболю охотник. Может, бредет медведь, не видя над собой неба, но прислушиваясь к дальнему шуму нашего винта и беспокойно ломая мягкий гнилой бурелом, поваленный бог весть когда. Это и есть то, что называют дремучей тайгою. Но если бор кое-где редеет, то на опушке проглядывает не земля, а вода. И это не лес расступился, чтобы пропустить реку, как обычно говорится, но вода разлилась руслами, протоками, ручьями, чтобы уступить место тайге.

Сперва на юге еще видны поля, окруженные, прорезанные водой. Потом они кончаются у кромки тайги, а дальше исчезают и деревья. Начинается тундра.

Среди воды торчат торфяники и леса.

Реки со странными, непривычными именами текут к Оби. Тура и Тавда. Пелым. И Унтор, и обе Сосьвы — Большая и Малая. И Лыхма, и Куноват, и Войкар. Сыня, Несьеган, Пóлуй... И между ними озера, в которых плывут облака и тонет летящая тень самолета. И застоявшаяся в оврагах полая вода.

Земля здесь — кусок грубой темной домотканой материи, брошенный в огромную лохань с водой. Его постирали, но еще не собирались выжать.

Так это выглядит сверху, когда самолет идет над Обью.

В Ханты-Мансийске самолет сел на Обь, звонко ударился о гребешки крупных серых волн и закачался с борта на борт, как самый обыкновенный катер.

И настоящий катер подошел тут же.

Второй пилот спустился из кабины на нижнюю плоскость, принял с матросской сноровкой буксирную чалку, и катер потащил нас к такому же плотику, какой мы недавно оставили в Тюмени. На плотик была опущена легкая металлическая лесенка, и на ней сразу очутился долговязый Петя с большой картонной коробкой «Осторожно! Не кантовать».

Ханты-Мансийск не был отсюда виден.

Слева лежало низкое, вровень с водой, поле. На нем стояли самолеты и лежали бочки с горючим. Это был аэродром.

Справа над рекой поднимался лесистый берег. Казалось, что высокая гора подошла прямо к воде. Но сверху мы видели: это не гора, а такая же плоская равнина, как и на другом берегу, только она круто поднята между Обью и Иртышом, и на самом кончике клина при слиянии двух рек стоит деревянный город. Высокий берег спрятал от нас улицы этого города; опустившись, мы могли видеть только белые светлые строения в густом зеленом лесу.

От воды к домам почти отвесно поднимались высокие деревянные лестницы с поручнями. Цветничок с садовыми скамьями окружал двухэтажный дом с башенкой, оказавшийся зданием аэропорта. Все это славно и весело выглядело и напоминало южный дачный поселок. И название поселка тоже звучало привычно, будто сбились мы с северной своей дороги и вдруг очутились на Волге. Самарово — назывался гостеприимный поселок.

Но Север давал погоду, и нас нельзя было соблазнять неожиданным гостеприимством.

Снова полетели мы над Обью. Исчез приятный обман сузившегося при потере высоты горизонта. Не стало ни гор, ни

подобия среднерусского речного уюта. Внизу опять разливалось без границ державное полноводное великообие.

В кабине стало просторно.

Доктор Храпов дремал.

Геннадий Кузин с тремя партнерами играл в дурачки на ящике с бакпрепаратами.

А после Березова мы с ним остались в самолете вдвоем.

В Березове падал снег с дождем, забилась холодная Обь.

Летчик торопился взлететь, пока не наколдуют какой-нибудь гадости метеорологи. Торопливо сошли пассажиры, и даже с Храповым ничего на прощание не приключилось. Озябшие грузчики вынесли его ящики на катер. Самолет устремился по крупным волнам, сперва стуча и подпрыгивая, а потом набрав скорость и как бы разгладив реку перед собой быстрым и сильным движением.

Очень недолго видна была после взлета вода с редкими теперь, полузатопленными чахлыми лесами и мшистой болотной луговиной между протоками и на берегах озер.

Мы вошли в снеговые тучи, и все исчезло вокруг; остался только стылый рваный туман за окошками. Скорости не было. Винт шумел, а мы будто увязли в туче и стояли в ней неподвижно.

В кабине лежали мешки с почтой и аэродромные прожекторы, отправленные из Тюмени в Салехард. Вдоль стен тянулись жесткие, слегка вдавленные металлические сиденья, похожие на те эмалированные листы из газовых духовок, в которых хозяйки пекут пироги. Но пирог на листе всходит и подрумянивается, довольный жизнью, а пассажир ерзает, никнет и, если его еще не успели опередить, с наслаждением вытягивается внизу, на почтовых мешках.

Так и поступил Геннадий Кузин.

Он устроил себе на полу отличную мягкую постель из газет и писем, укрылся самолетными брезентовыми чехлами и мог быть вполне доволен тем, что Салехард выписывает так много газет и получает столь обширную корреспонденцию. Кузину было удобно и тепло.

Позавидовав, я попробовал растянуться на железных листах. Жестко и холодно. Летнее пальто не выручало.

Конечно, наивно было не брать с собой в дорогу теплых вещей, укорял я себя. Разве не знал я северного лета? Разве забыл снежные заряды пурги на полуострове Рыбачьем в середине июня? Разве не помню июльские приказы флотской комендатуры в Полярном — надеть «форму номер пять», то есть одеться по-зимнему, в шинель и теплую шапку,— когда черноморцы давно уже щеголяли в белых кителях и легких фуражках? Но тогда я не верил в белые кителя. Это было так же, как с различиями поясного времени. Три дня назад, накануне отле-

та из Москвы, воскресные троллейбусы, идущие в Химки, были переполнены загорелыми купальщиками и купальщицами. У «Сокола», на троллейбусной остановке, хвост купальщиков завивался кольцами, и асфальт плавился и чадил под нестерпимым солнцем. Ну можно ли было тащить с собой тяжелое пальто, совать в чемодан шерстяной свитер? Конечно же всюду сейчас так. Всюду светит июльское солнце, и всякая вода тепло голубеет. Тогда я не мог поверить в снег и «форму номер пять».

Теперь не было ничего, кроме холодной снеговой тучи.

Она обволакивала зеленые плоскости нашего самолета, оседала инеем и ползла крупными тяжелыми каплями по соединяющим эти плоскости распоркам и тросам.

Самолет назывался «АН-2».

В просторечии его зовут ласкательно: одни — «антоном», другие — «аннушкой».

Один в холодной кабине, на железном, не слишком уютном насесте, только что распростившись с мягким, удобно откидывающимся для сна креслом просторного «ИЛа», я отнесся к «антону» высокомерно и пренебрежительно.

Но пройдет немного времени, и я буду так же благодарен «антону» (он же, если это вам больше нравится,— «аннушка»), как благодарны ему все те, кто живет за тысячи километров от больших магистральных линий, где летают «ИЛы» и «ТУ» и где так просто проспать всю длинную дорогу, по которой неделями ползут поезда.

Здесь совсем нет поездов. Здесь три недолгих месяца в году ходят по рекам пароходы. И там, где и реки не текут, куда и вездеход не пройдет, везде, зимой и летом, летает маленький, не быстрый, но какой же работящий и безотказный «антон». Его можно ставить на лыжи, на колеса или на лодки. Он сядет на любом пятачке тундры, на небольшом озерке, а если понадобится, то и на плавучей льдине.

Это немолодая машина. «Ан-2» летает уже много лет; у него есть младший брат, которого зовут «АН-10», или, иначе, «Украина», и куда кургузому, неуклюже-старомодному на вид и медленному «антону» до щегольских обтекаемых форм младшего брата, до стремительных его скоростей! Но не надо их сравнивать. Это так же, как если бы мы стыдливо отвернулись от мужиковатого «козла»-«газика» ради сверкающей лаком и никелем «Волги». У «козла» и у «Волги» свои пути. Эти пути не сходятся, и туда, где прыгает неприхотливый «козел», которого можно направить в вязкое болото и чинить при помощи кувалды, не свернет «Волга» со своего асфальта. «АН-10» — дитя атомного и реактивного времени, баловень магистралей, взлетных дорожек, покрытых бетоном. Его дата рождения — начало второй половины двадцатого века. Но это не простое

время. В нем уживается множество противоречивых вещей. С фотографии на странице журнала нам улыбается лицо капитана атомного ледокола. Вполне вероятно, что атомный ледокол встретится в своих плаваниях с шестидесятилетним «Ермаком», и оба будут делать свое дело, и на борту обоих кораблей окажутся ровесники, и, быть может, получится даже и так, что над штурманскими картами в ходовых рубках этих — таких разных! — кораблей будут склоняться недавние соученики, которые вместе сидели в классах мореходного училища... Мы уже подумываем: а не выпадет ли еще и на нашу долю счастливая возможность слетать на какую-нибудь, пусть не слишком отдаленную, звезду? Уже искусственная — десятая — планета кружит вокруг Солнца, делая наш еще недавно для большинства из нас астрономически непостижимый звездный мир как бы немного теснее, уютнее и достижимее. Но мысли о реальности путешествия в иные миры приходят к нам и тогда, когда тот «газик» везет нас по самому земному бездорожью. И я думаю, что и когда космические ракеты по расписанию будут взлетать со своих площадок и дежурный диспетчер будет скликать на перрон путешественников, отрывая командированного на Сатурн геолога от бутылки московского пива,— даже и тогда еще в течение какого-то времени будут следить за огненными хвостами отпадающих ступеней и пассажиры «газика» где-нибудь в Кулундинской степи, и эвенкский охотник на нартах с собачьей упряжкой, и пассажиры «антона», летящего над Ямальской тундрой. Все будет существовать какое-то время вместе, потому что, как ни меняется на наших глазах обжитой нами свет, он изменяется не сразу; в нем все уживается вместе, все зовет к живому и страстному делу, и в этом и есть земная, пестрая и не часто ощутимая прелесть доставшейся нам жизни.

«Антон» пережил многих своих ровесников, отставленных и отданных на слом. У тех тоже были сухие сокращенные названия из условных букв и цифр, но не было ласковых кличек; те были капризны и обжорливы, а этот неприхотлив, безотказно послушен и демократичен.

Тюменский летчик-рыболов летал к заблудившимся геологам на «антоне».

На «антоне» сделано великое множество добрых, трудных, будничных и героических дел.

И множество летчиков именно за ручкой управления «антона», летающего в стороне от больших воздушных магистралей, стали такими, какие они есть: грубовато-открытыми и прямыми, немножко по-детски наивными, ворчливо-отзывчивыми, умеющими самоотреченно ценить товарищество, излучающими дорогое тепло легкой и стойкой мужской дружбы.

Когда видишь его на земле, «АН-2» заставляет вспомнить о детстве авиации: биплан с кургузыми плоскостями, с неуклюже-толстым, как бы сплюснутым сзади и спереди телом. Но на самом-то деле эта машина вобрала в себя все лучшее, что было ко времени ее рождения накоплено авиацией. «Антон» получил и маневренность, и экономичность, и уверенную устойчивость в воздухе, и ту небольшую, до минимума доведенную посадочную скорость, какая позволяет ему ограничиваться таким коротким разбегом при взлете и на посадке.

АН — это сокращение фамилии конструктора: Антонов.

Олег Антонов строил эту машину.

И я вспомнил в дороге короткое и давнее знакомство с конструктором четверть века назад, на одном из традиционных в то время слетов планеристов в Крыму, в Коктебеле.

Планеры стояли невдалеке от небольшого курортного поселка, на плосковерхой, голой и синей горе. Вокруг горы — невидимые — устремлялись в небо прославленные своей силой воздушные потоки: они и влекли сюда планеристов.

Сами планеристы жили внизу, на берегу моря, в пустой каменной даче, сплошь заставленной железными солдатскими койками и сохранявшей давнее звучное, барское наименование: вилла «Адриана».

Восточный ветер гнал к даче море. Волна хлестала через пляж, шуршала здешней — тоже прославленной — пестрой галькой, сгребала камешки, бросала их к белой стене «Адрианы» и снова с шумом забирала, раскатывала по пляжу, отхлынув. Чаще это бывало ночью, но шум ветра, камней и моря не будил планеристов; они уставали за день и спали здоровым сном.

Они жили все вместе — летчики, конструкторы и очень еще в ту пору немногочисленные спортсмены-парашютисты. Впрочем, и планеристы были тогда не те, что теперь — молодежи не много, а больше опытные, в годах, летчики. В безмоторном полете была для них своя прелесть свой особый азарт и — больше — своя наука. Они узнавали законы воздушных течений, выводили планеры к грозовому фронту и ходили впереди туч, помогали конструкторам испытывать аэродинамические свойства крыла и вывозили в воздух парашютистов.

От виллы на гору всех их с рассветом доставляли грузовики.

Вблизи гора оказывалась не синей, а изжелта-темной: сухая, солнцем обожженная глина и выветренный киммерийский камень. Планеристы в сатиновых комбинезонах прыгали с машин, разбегались к кабинам фанерных аппаратов, привязывались ремнями к сиденьям, и сразу, один за другим, планеры как из пращи выстреливались резиновым жгутом катапульты

и взмывали на гребне знаменитых воздушных потоков в яркое крымское небо.

Антоновские планеры выглядели красивее других.

Их обтекаемость была непривычной. Теперь мы привыкли даже к плавно обтекаемой мебели, не говоря уже о самолетах, автомобилях и пароходах. Но тогда аппараты эти выглядели неправдоподобно, как ожившая иллюстрация к фантастическому роману о двухтысячном годе, которого нужно было еще ждать почти семьдесят лет.

Планеры поднимались с земли стремительно и круто и парили на длинных и узких крыльях с мягко заостряющимися концами. Тело планера было соразмерно изящным и легким; восходящий поток теплого воздуха поднимал его вверх, вверх, и казалось, что человек в кабине теряет свой вес, ныряя в небо, как в море. И — бесшумный полет в теплой голубизне; такой бесшумный, что можно голосом — не крича — с высоты переговариваться с землей; нарение птицы, воплощение возвращающегося детского сна, о котором говорят: «Летаешь — значит, растешь».

Вместе с Антоновым, вместе со всеми участниками слета жил на «Адриане» и ездил на гору седой, сутулящийся и нелюдимый конструктор, который мечтал о «летающем крыле». Ничего лишнего не должно было быть у его самолета. Только широкое крыло причудливых форм, которое чертил он, ища и меняя очертания, на бумаге и на приморском песке. Свои планеры он тоже строил, год от году меняя их форму, но сохраняя все тот же принцип: большое крыло — треугольником или сплюснутым, неправильным ромбом — и ничего больше. Очередной его планер-крыло стоял на горе, похожий на хмурого птеродактиля допотопных времен. Летчики забирались в него с неохотой. Крыло взлетало, но не было в нем послушной легкости; оно оставалось тяжелым, неуклюжим, не давало пилоту того ощущения полной слитности с машиной, при которой машина словно опережает твои движения, сама угадывает твою мысль: захотел и она повернула; подумал, а она уже вся подалась кверху и круто набирает высоту... Крыло взлетало, потом, тяжело планируя, делало свой круг и грузно опускалось на землю. Летчик сбрасывал лямки и понуро («опять огорчать человека, что ж тут хорошего?») брел к конструктору: рассказать обо всем, что не нравилось, что сердило и беспокоило в полете. Конструктор переспрашивал, записывал, думал... А несколько лет назад, когда над Москвой проходили самолеты, готовясь к первомайскому параду, странной тенью — древним гигантским птеродактилем, раскинувшим крылья, — мелькнул в небе темный сплюснутый ромб; он исчез из виду, за ним пришел короткий лязгающий металлический свист и тоже исчез, и мне припомнились чертежи на песке и темное

крыло на синей горе. Понадобились четверть века и новые, неизвестные прежде движущие силы, которые обгоняют звук, чтобы крыло обрело скорость и подтвердило расчеты конструктора, оправдав его перед недоверчивыми летчиками, свидетелями давних неудач.

Конструктор живет, опережая время.

Но он не универсалист. Одну и ту же техническую новинку рождает содружество наук, труд многих искателей, идущих к общей цели своими путями — в одном темпе своей эпохи, но не в тождественном ритме: по мосту времени шагают не в ногу, и порой дальновидный и верный аэродинамический расчет должен дожидаться, пока физика и химия добавят к нему новое горючее, иной двигатель или новый строительный материал.

Так ждали своей поры пророчества Циолковского, чтобы из мечты фантаста превратиться в точное предвидение ученого. Так дожидалось нужной ему техники лишенное мотора крыло, так обтекаемый планер Антонова существовал, когда пассажирский самолет напоминал еще нескладную каретку старинного автомобиля, снабженную крыльями и четырехлопастным деревянным винтом, который заводился вручную.

Но почему же «АН-2» так не похож на своих безмоторных предшественников? Почему нет в нем того щегольского изящества обтекаемых форм, какое ко времени рождения «антона» уже многие типы самолетов уподобило горизонтально летящей, стремительной капле?

На том давнем коктебельском слете Олег Антонов был моложе остальных конструкторов. Он, кажется, был еще студентом; во всяком случае, в нем легче было предположить юного авиамоделиста, чем автора проектов планеров, выпускаемых заводскими сериями для всех аэроклубов страны.

На его планерах летчики летали за милую душу: уходили далеко, опускались, бывало, в горах или в херсонской степи, возвращались через несколько дней с попутными грузовиками, порой ставили в полете рекорды. А после полетов конструктор купался с летчиками в море, где солнце варило свой теплый суп из водорослей, медуз, сердоликовых камешков и мелькающих рыбок; а то еще забирались они в ближнюю деревушку к белым мазанкам виноделов и гончаров, пили кислое молодое вино, и Антонов слушал, как летчики говорят о машинах, сплетая в одно сегодняшний полет с «летающими этажерками» гражданской войны, как впечатления проверяют они воспоминаниями; как переводят то, что для него, конструктора, было итогом сложного расчета, математической формулой, на язык простых, испытанных ими чувств, жестких энергических слов: «послушалась», «не идет», «ручку навалил до отказа, а нос все

вниз смотрит», «только что меня теплым воздухом вверх толкануло, а тут — холодный поток как накроет!..»

Там был Иоост. Он бомбил Юденича под Петроградом и Колчака под Уфой. Он летал на всех аппаратах, какие знала авиация на своем еще коротком тогда веку. И он до смерти боялся жены, которая приехала с ним, поселилась в деревушке и умела безошибочно настигать его всякий раз, едва он собирался поднять только что налитый в кругу друзей стаканчик.

Там был молодой Сырокваша. Он твердо знал про себя, что сумеет поставить все авиационные рекорды, какие существуют в таблицах. У него совсем не было слуха и был срывающийся мальчишеский голос, но он громко пел в воздухе, уходя на бесшумной машине кверху, заваливая ее в пике, опять выравнивая и закладывая новую замысловатую фигуру так красиво и смело, что в будущие его рекорды мы все верили вместе с ним. Ваня Сырокваша успел попасть в таблицу рекордов: не помню точно, кажется, это был один из давних рекордов высоты на планере; но вскоре Сырокваша погиб, и потом я узнавал его во множестве молодых летчиков, особенно в годы войны; узнаю и сейчас, и поэтому мне всегда кажется, что Ваня Сырокваша жив и поет, взлетая к грозовому фронту на своей бесшумной, легкой и яркой машине.

Там был Маттиатис. Почти однолеток и приятель Иооста, он тоже участвовал в гражданской войне: летал на украинских фронтах, поддерживал с воздуха атаки шахтерских дивизий и Первой Конной на Деникина; однажды сделал «вынужденную» в расположении врага и успел починить и снова поднять в воздух свою фанерную этажерку, прежде чем его захватили. Плотный, развалисто-медлительный в движениях, немногословный, невозмутимо-флегматичный, он всегда готов был на самые неожиданные эскапады и бывал в них не пассивным соучастником, а неутомимым заводилой. У него были те самые очень светлые голубые глаза, какие обычно зовут «водянистыми». Но тут была не вода; уж очень легко вспыхивали глаза Маттиатиса озорным и легким огнем, хотя этот огонь не ускорял движений летчика и не прибавлял ему слов. Маттиатис мог посреди ночи прийти к койке Антонова, серьезно и неторопливо стащить с него одеяло и сказать как ни в чем не бывало, будто так они давно и условились:

— Так там лодка ждет. Идти надо.

И уходил вразвалочку к берегу, зная, что разбуженный придет за ним. И верно, там стояла лодка, и в ней уже сидели другие поднятые Маттиатисом с постелей — Иоост, или Сырокваша, или еще кто-нибудь. Лодка шла в черноту скал, к Сердоликовой бухте. Люди в лодке еще не стряхнули с себя сон, еще ежились от ночной прохлады, еще не замечали, как висят здесь огромные звезды, совсем близко от них, ниже черного

неба, и как фосфоресцирует под ударами весел морская вода. Замечал ли это Маттиатис? Наверно, замечал. Потому что тут-то и начинало прыгать в его глазах светлое, веселое пламя.

Он принадлежал к великолепной породе первых русских летчиков, летавших на «фарманах» и «нью-порах» и почти поголовно ставших на сторону революции с первых дней Октября. Это были абсолютно здоровые душою и телом люди, привыкшие верить в себя, счастливые в риске, пока они живы или, по крайней мере, пока они могут летать (те, кому изменило это счастье, либо лежат под холмиком, увенчанным пропеллером вместо креста, либо уходят из авиации), зашитые с ног до головы в мягкую черную кожу, немного избалованные тем же восхищенным вниманием мальчишек и женщин, какое знавали раньше знаменитые чемпионы цирковой французской борьбы или шоферы первых автомобилей начала столетия, которые тоже ходили в кожаных куртках и галифе, в черных кожаных фуражках, в огромных перчатках с широкими крагами — хозяева новой техники, новых скоростей, создающих лицо наступившего века.

Их было немного, этих пионеров русской авиации; они все знали друг друга, и отношения Иооста и Маттиатиса были звеном той корпоративной дружбы, какая объединяла всю эту сотню людей, как век назад могло объединять кого-либо, скажем, сопричастие к масонской ложе. Они знали все друг про друга, знали, чего каждый стоит в бою, знали привычки и слабости — всю подноготную.

Иоост любил рассказывать про Маттиатиса анекдотические истории.

Он рассказывал, как в начале двадцатых годов товарищ, приехавший проводить первую партийную чистку среди харьковских летчиков, но не успевший еще хорошо с ними познакомиться, хотел исключить Маттиатиса из партии. Дело было такое: Маттиатис завел бульдога, и кто-то рассказал товарищу, проводившему чистку, что летчик вставил бульдогу золотой зуб.

Это было правдой.

Летчик достал золотой царский полуимпериал и с трудом разыскал «человеческого», как он потом говорил, зубного врача, который согласился сделать из этого полуимпериала зуб и вставить его собаке.

Нэпманы прятали тогда золото от советской власти. Было трудное, голодное время.

Товарищ из партконтроля, старый большевик, токарь с паровозостроительного, потом вилюйский ссыльный и недавний комиссар бронепоезда, в побелевшей кожаной куртке, недоумевал и гневался, распаляясь: «Неужели и летчик, участник

гражданской войны, член партии, тоже спрятал золото — псу в пасть?»

Нехорошо оборачивалось дело.

Но оно объяснилось.

Оказалось, Маттиатису очень нравилось, как его пес улыбался. Он скалился, криво задирая губу и обнажая крепкий матовый клык. Мысль о том, как обольстительна станет бульдожья улыбка, если в ней засверкает золотой зуб, не давала Маттиатису покоя и зажигала в его глазах знакомое светлое пламя. Он выменял полуимпериал на свой многодневный пилотский паек и «схлопотал» потом строгий выговор на партийной чистке.

Выносили выговор веселясь, но предупредили всерьез:

— Шути, да знай время. Погоди маленько до мировой революции, а тогда своего трезора хоть с золотой тарелки корми...

Еще Иоост рассказывал, как в прошлом году здесь же, на предыдущем слете, Маттиатис однажды так долго не выходил из своей комнаты, что друзья взволновались. Они пришли к нему. Дверь была заперта. Друзья постучались. Маттиатис откликнулся смущенно:

— Понимаешь, голова болит. Лежу, слушаю. Очень интересно.

Ему было почти сорок лет, и он впервые узнал, как это бывает, когда у человека болит голова. Конечно, очень интересно...

Так рассказывал Иоост про Маттиатиса.

Летчики оба они были виртуозные.

С ними и с их друзьями, с летчиками постарше и помоложе, ходил тогда и летал Антонов.

Он знал, чем они дышат.

Мы много и правильно говорим сейчас о необходимых контактах наук и искусств с жизнью. В статьях это выглядит несколько отвлеченно. В живой биографии авиационного конструктора это, вероятно, и грузовик, в котором трясется он в тесноте вместе с летчиками, добираясь на летное поле, и лодка, где поет Сырокваша, и тесное, неудобное место где-нибудь за спиной пилота в полете, и полночный неожиданный разговор с теми, кто водит и твою и другие машины,— разговор, в котором вдруг да и осветится с неожиданной стороны какая-то проблема, которая долго от тебя ускользала, не даваясь в руки...

У Антонова все это было с начала его пути.

И я понял его машину именно тогда, когда, пролетая над Обью на водном «антоне», вспомнил отвагу Сырокваши, флегматичное озорство Маттиатиса, насмешливый скептицизм старого Иооста,

Олег Антонов делал эту машину, помня о летчиках дальних дорог.

Он пожертвовал щегольством, быстротой полета и построил летающий «газик», невзрачный на бетоне, в кругу респектабельных «ИЛов» и тех новых реактивных машин, в которых не перестает чувствоваться движение, даже когда они стоят на месте, но любимый признательной и верной любовью везде, куда люди приходят впервые, где они ищут, заглядывают в завтрашний день и лишь начинают по-хозяйски располагаться.

Из снеговой тучи наш «АН-2» вынырнул перед самым Салехардом.

Деревянный город уже виднелся внизу.

Основанный еще в 1595 году, лишь девятью годами позднее Тюмени, Салехард лежал в междуречье, в треугольнике рыжей тундры с пятнами снега, при впадении в Обь реки, именуемой Пóлуй.

Был уже вечер, но солнце стояло высоко.

Оно вовсе не заходит здесь в это время года. Мы пересекли Полярный круг где-то в туче, но, вероятно, не заметили бы его и в том случае, если бы полет наш происходил в ясном небе.

Напротив города из воды торчали обшитые дранкой крыши каких-то строений, затопленных неоглядно широким половодьем.

«Антон» сделал круг, коснулся воды, пробежал по Оби, и снова моторка потащила нас к плавучему бревенчатому причалу.

Геннадий Кузин проснулся, вылез из-под брезента и, сонно потягиваясь, сказал:

— Интересно бы знать, куда же мне дальше ехать?

Он закинул за плечи тот зеленый мешок, что зовется у солдат «сидором», и мы спустились на катер.

## ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ ОБЬ

Вышло так, что с Геннадием Кузиным мы встретились снова.

На следующее утро я увидел его на салехардской пристани. С зеленым «сидором» за плечами, он стоял в той же очереди на посадку, чтобы плыть за Обь, из Салехарда в Лабытнанги.

Нас вез туда белый небольшой теплоход, такой же точно, как те, что ходят по Москве-реке и каналу, из Химок в Клязьминское водохранилище, мимо гранитных набережных, под широкими мостами столицы.

За Полярным кругом теплоход прижился, не меняя привычек. Из его репродукторов гремели над Обью те же напевы про подмосковные вечера и про донской краснотал. Может, запел бы он и про Обь, но таких песен не было на его пластинках. Зато сама Обь была перед ним — во всей своей широте и силе.

Мы видели ее берега, невысокие и пустынные.

Катер лавировал среди плотов и молевого, разбросанного по воде сплавного леса. Еще прошлым летом бревна были спущены на воду за тысячу километров отсюда, в тайге; они перезимовали во льду, а теперь оттаяли и поплыли дальше, в Обское устье, к селениям ямальских ненцев.

В этих селениях совсем недавно стояли только чумы из нескольких тонких жердей, обтянутых лысыми, вытертыми на кочевьях оленьими шкурами. А теперь теплоход плутал среди плывущих в низовья бревен, и это обилие строевого леса в устье Оби само красноречиво повествовало о том, как меняется жизнь в местах, где до сих пор каждый дом, поставленный в тундре, был отмечен на карте, чтобы служить путнику желанной и редкой приметой.

Я видел штурманскую карту на «антоне».

Пустынные просторы тундры, и среди них крохотный черный квадратик с надписью рядом: «изба».

Мы летели, глядели вниз, и вот она показывалась под нами, обещанная изба,— такой же черной точкой, как на чертеже, в такой же плоской, как чертеж, безлюдной, недвижной шири мерзлой земли и болотной воды.

Такие избы не всегда срублены для жилья. Порой поставлены они просто на пути вековых охотничьих кочевий. Проходят здесь люди в поисках пушного зверя или белоперой полярной дичи. Идет охотник долго; устанет, озябнет, но помнит: есть изба на дороге. И охотник знает, что в такой избе найдутся и дрова возле печки, и коробок спичек, и закопченный котелок на плите, а может, и крупа какая-нибудь, и комок слежавшейся соли в старой консервной банке, и сухарь... Поест охотник, обогреется, выспится — вспомнит о том, кто может еще сюда забрести, пополнит запасы и пойдет дальше, своим путем.

Но так же одиноко может стоять и жилая изба. Сверху ее сразу отличишь: двор, хозяйство, и вьется над крышей живой дымок от огня, зажженного человеком в своем очаге. Тропы никакой не видно внизу, возле черной точки. А следующую избу не разглядеть и в широком окоеме, открытом с полета. Если пешком шагать — там, внизу, по тундре,— до другой избы несколько дней пути. Да и с воздуха мы ее тоже не скоро увидим. Но она покажется. И над этой одинокой избой тоже колеблется синий дым очага: живет человек, делает свое дело, растит детей.

А на карте — одно короткое слово, четыре буквы: и з б а.

И каким же оно емким становится здесь, это слово!

Одно лицо духовного звания, ходившее в начале XVIII века «в народ остяцкий», сообщало затем в своих записях, что в низовьях Оби «проистекает острое и скудное жытие и прочая неудобь, нестерпимая человеческой природе». Четыре буквы на карте оспаривают эту жалобу духа — слабого и изнеженного. В них целая повесть о мужестве, о победе над «нестерпимой неудобью», о торжестве человека, по-своему переделывающего «острое и скудное жытие», навязанное ему недружелюбной природой.

И вот перестают быть одинокими первые избы в заполярной тундре. Прочные рубленые дома строятся вместо чумов в ненецких селениях.

Плывет по Оби строевой лес.

Как ни уходит от молевых бревен рулевой, как ни ловчит он, немного даже кокетничая сноровистостью то плавных, то резких движений, а бревно нет-нет да и прошуршит по белоснежному борту.

Одна за другой открываются глазу неширокие протоки.

Иногда мы сворачиваем на узкую водную тропинку, потом снова выходим на спокойную ширь, пройдем немного, и опять

фарватер уводит нас за низкий мысок, в протоку, похожую на десяток других, мимо которых мы проходили не сворачивая.

Плавать тут нелегко.

Прибрежная тундра с палубы кажется обыкновенным зеленым лугом.

Во впадинах еще лежит плотный снег, а рядом сочно зеленеет высокая трава.

Как быстро набирает она силу под незаходящим солнцем, как стремительно идут здесь в рост травы, торопясь наверстать и позднюю весну и короткое лето.

Промелькнула в траве не первый уже, видно, год ржавеющая тут косилка. Одинокий рыбак примостился неподалеку.

Косилку заметил Геннадий Кузин.

Он неодобрительно покачал головой:

— Хозяева тут, похоже, богатые...

Геологическая партия, в которую он направлялся, находилась за Обью, за поселком с непривычно звучащим названием: Лабытнанги.

И мне нужно было попасть туда же.

Оказалось, кинооператор, которого я надеялся догнать в Салехарде, ушел две недели назад на Полярный Урал с экспедицией Академии наук, посвященной программе Международного геофизического года. Пока еще от экспедиции не было никаких вестей. Маршрут ее был известен, но отыскать эту экспедицию теперь можно было только на вертолете, а вертолет был у геологов за Обью.

Я отправился на поиски вертолета и снова встретил Геннадия Кузина.

Условимся сразу: Геннадий Кузин существует; он летел со мной на «антоне» и шел по Оби на катере. Но зовут его на самом деле иначе.

Иначе зовутся и доктор Храпов, и легкоатлеты, которых я назвал Капой и Петей, и те, с кем я хочу познакомить вас дальше. Я изменяю их имена, чтобы записать про них и то, в чем они, быть может, совсем не хотели передо мной открываться, а также чтобы иметь право написать и о том, в чем я мог ошибиться, что домысливал от себя, заполняя пробелы, неизбежные при коротком дорожном знакомстве.

По этой же причине я не назову настоящим именем и поселок за Обью, куда мы направлялись из Салехарда с попутчиком-трактористом: в том поселке есть лишь одна геологическая экспедиция, а в экспедиции есть только один человек, который мог бы узнать себя в том, кого я собираюсь назвать Ачкасовым. Но он был бы неправ: «Ачкасов» вовсе не фотография его, а лишь быстрая зарисовка, в которой соединились штрихи многих встреч — первые впечатления от разговоров с людьми одного из полевых штабов на «передовой» фронта

социалистического наступления, развернувшегося на тысячи километров в заполярной тундре.

Пусть называется здесь этот поселок — Речная.

Чтобы попасть туда из Салехарда, нужно было сперва переправиться через Обь, и эта переправа с одного берега реки на другой на быстроходном, вполне современном теплоходе длилась больше трех часов. Такая это река.

Белые теплоходы пошли по ней только с неделю назад, когда с Оби сошел лед. Зимой здесь переправлялись на машинах — по ледоставу, через острова и косы, и это было быстрее. А у Салехарда видны первые устои моста; он должен был протянуться более чем на два километра, и его начинали строить несколько лет назад, чтобы перетянуть доведенную до Лабытнангов железную дорогу через Обь и повести ее дальше, к Норильску. Этот замысел не оставлен; он лишь отсрочен и дожидается своей поры.

А тем временем перед катером открывается еще поворот и еще протока, зеленеет на берегу трава рядом со снегом, а за спиной вдруг слышится гортанный голос:

— Дай ручку, погадаю тебе, красавица...

Да, цыганка.

В Салехарде у катера не видно было никаких цыган. Они появились на палубе невесть откуда: чернобородый мужчина в примятой коричневой шляпе, две женщины — старая и молодая — и мальчонка лет десяти, в чужом, со взрослого, ватнике, с такими же жаркими, откровенными, как у бородача, глазами. Когда встречаешься с ним взглядом, кажется, будто он не просто тебя оглядывает, а подает какой-то условный, молчаливый, поторапливающий знак.

Молодая цыганка была, как положено, в длинной, до пят, очень яркой и очень широкой, с бесчисленными складками юбке. Она остановилась подле сидевшей на скамье пассажирки и повторяла негромко, но настоятельно:

— Дай ручку, красавица, всю правду тебе скажу.

Они были, наверно, однолетки — и цыганка и пассажирка: молодые женщины, лет под тридцать, обе по-своему красивые, но какою же непохожею красотой.

Одна — верткая, неспокойная, излучающая какой-то мнимый, необжигающий — вроде бенгальского — огонек, в котором чувствуется и холод профессионального завлекательства и равнодушие, даже некоторое презрение к завлекаемой. Другая — крупна и сдержанно сильна, светлоглаза и светловолоса. Низко повязанный платок не прячет высокого, чистого лба. Это красота северная, долго не гаснущая.

Неторопливая пассажирка протянула цыганке небольшую жесткую ладошку:

— Что ж. Скажи, что ли...

Чернобородый со старухой и мальчиком куда-то исчезли. Так, видно, велит своя этика: не собираться, не привлекать внимания, не мешать «делу».

Соседка высокой пассажирки поднялась, освободила цыганке место и стала рядом, с любопытством прислушиваясь к приглушенному, словно каркающему голосу гадалки.

Кузин подошел поближе, я постеснялся. Слов мне не было слышно, только звучание голоса, ритм прерывистой речи, коротких, как заклинания, фраз. И я видел, как цыганка водит по чужой ладошке темным и тонким пальцем и часто вскидывает на женщину черные, пусто и голодно поблескивающие глаза.

Когда она договорила, женщина отозвалась лениво и разочарованно:

— И все-то ты врешь...

— Правда! — возразила цыганка. Теперь она тоже заговорила громко и внятно.— Цыганка правду говорит, все знает... Может, карты раскинуть, тогда больше скажу?

Женщина, заскучав, отмахнулась:

— Не надо мне.

Но похоже было, что она постеснялась окружающих и отвечает не цыганке, а им.

— Позолоти ручку,— привычно сказала цыганка и жестом нищенки, но с настойчивой и быстрой требовательностью протянула к женщине смуглую ладонь, сложенную узкой лодочкой.

Пассажирка положила в лодочку зеленую бумажку; цыганка сунула бумажку за пазуху и тут же обернулась ко второй пассажирке, стоявшей рядом:

— Дай ручку, тебе погадаю, красавица.

Та отвернулась, не ответив. Только повела большими, покатыми плечами, распиравшими мужского кроя пиджак.

Рядом с цыганкой снова оказался чернобородый.

Не переговариваясь, они пошли вместе, цыган впереди, цыганка следом, легкая, звенящая украшениями; оба удивительно здесь чужие и неожиданные. Они завернули к трапу и остановились у крохотного буфетика.

Я подумал, что цыгану захотелось выпить; тут продавались какие-то местные настойки — на голубике и на другой северной ягоде; но чернобородый спросил бутылку лимонаду и налил мальчику и старухе. Мне захотелось спросить, что же занесло их в эти края, такие далекие от привычных таборных дорог. Может, и не стоило спрашивать, может, и не ошибся я в своей нехитрой и невеселой догадке. Но я спросил.

Цыган обжег меня быстрым, сразу погаснувшим взглядом и скучно сказал:

— Как все, так и мы.

— А что же здесь делаете?

Деваться мне было уже некуда. Я задал этот новый вопрос, заранее в точности зная, что не получу на него ответа. Так и вышло.

— Что все, то и мы,— опять ответил цыган, и в глазах его появилась неспрятанная насмешка.

— А в свои места не тянет? — спросил я, чтобы только закончить нескладный разговор и вернуться на корму, к Кузину.

— Какие у нас свои места? — вопросом ответил цыган, и глаза его снова блеснули.— Мы где стоим, там и дома. Сейчас вот здесь, на катере, нам свои места. В Лабытнанги придем — там свои места будут.

Я заметил, как к молодой цыганке подошла пассажирка в пиджаке и что-то ей, оглядевшись, шепнула. Они вместе пошли вперед, на носовую палубу. Там дул льдистый ветер ранней речной весны, пассажиры, расположившиеся было здесь перед выходом из Салехарда, постепенно все ушли вниз, в теплую каютку. Женщины остались вдвоем, никто не мешал им. Цыганка раскинула карты прямо на палубе, заслоняя их от ветра широкой юбкой. Быстрые руки ее и губы двигались непрерывно. Женщина наклонилась к ней со скамейки; она что-то переспрашивала, гадалка отвечала; неслышные слова можно было угадать: старые слова про любовный интерес, коварство крестового короля, про брачную постель и казенный дом, хитро сложенные слова, которые кажутся туманно-значительными, ничего не означая, и которые будто содержат в себе туманный намек на любую судьбу, будто отвечают на любой вопрос бесхитростного и страстного сердца то волнующей угрозой, то неясным обещанием счастья.

Две женщины вели свою древнюю игру с судьбой, ту же игру, какую тысячи лет назад две вавилонянки могли вести на ступенях храма, посвященного темным и алчным богам. Но тут эта старая игра шла на палубе белого теплохода, который вез нас из одного большого города в другой город, в места, которые так недавно чуть ли не белыми пятнами наносились на географические карты. И где-то над нами кружил по своей орбите над нашей планетой — тогда еще первый и одинокий — искусственный спутник. Сама дорога была воплощением торжества разума и сознательной человеческой силы. Как же совместило наше бурное время приметы всех долгих веков, формировавших человечество! Какой длинной колонной растянулись люди, работающие на это время и подгоняемые его стремительным движением!

Цыган стоял рядом и улыбался. Зубы у него были, как положено, очень белые, а одного из передних — справа — не

хватало; там чернел провал, и поэтому улыбка нехорошо кривилась.

— А тебе, золотой, почему про нас интересно?—спросил он.— Ты думаешь, цыган только там живет, где коня увести можно?

Он наклонился ко мне и сам себе возразил:

— Было это. Теперь цыган все умеет. Плотничать можем. Маляром можем. Лудить, паять умеем. Сапоги шьем. Ну, два года дорогу строил, землю копал, это каждый сумеет, если придется.

Про «два года» цыган сказал так, что стало понятно: я не ошибся в первом предположении — не по доброй воле попал он в здешние места.

— «Все» — это тоже не дело,— сказал я.— Надо одно что-нибудь выбрать. И к месту привыкнуть надо. Тогда люди уважать будут...

Цыган опять усмехнулся, показывая черный провал.

— Человек не дерево. Корни в землю не пущены. В одном месте сидишь — думаешь: «В другом-то, наверно, лучше»... Вот в Салехарде пожил, в Воркуту едем. Хороший город — Воркута. Жить можно...

Он заметил, что я снова гляжу на носовую палубу. Обе женщины сидели теперь рядом; цыганка все говорила, водя пальцем по чужой ладони.

Цыган кивнул в их сторону:

— Тоже цыганское дело, да? Ты говоришь — люди. Выходит, и это людям надо. А нам — хлеб. Вот мама ко мне приехала. Жена. Сын. Живем...

Он отвернулся, заметив, что мальчонка забаловался в опасной близости к борту, и занялся сыном. Я пошел на корму.

Есть люди, которые ведут время; других время ведет само, и они влекутся, мотаясь из стороны в сторону и сердясь на удары. Иной опомнится, поднимется на ноги, попадет в ритм шагов, ступающих рядом, и даже набитые синяки пойдут ему на пользу. А другой так и промотает жизнь до последнего часа, в злобном недоумении и в обиде считая, что отпущенное ему время обмануло его и недодало того, что брали другие.

Цыган этот мало изменился. Время влечет его и шибает вопреки всему, к чему он привык и чего ищет. Но он по крайней мере не сердится на время за это; он считает, что «Воркута — город хороший» и что на Севере «жить можно».

Многое же должно было перемениться в здешних широтах, если так заговорил о Крайнем Севере даже и не «ведущий» жизнь, а «влекомый» ею...

На корме зеленый «сидор» Кузина лежал на мешках той пассажирки, что ушла с гадалкой.

Геннадий сидел на ее месте. Он оживленно толковал со статной соседкой, и можно было поручиться, что оба они успе-

ли узнать друг о дружке куда больше и куда точнее, чем смогли бы рассказать линии на их ладонях.

Я подсел к ним и вскоре тоже узнал, что нашу спутницу зовут Варварой, а фамилия ее — Брагина. Она живет с мужем в Салехарде; муж работает в порту, она — на рыбоконсервном заводе. Но квартиры у них еще нет, выгородили угол в общежитии и ждут: порт обещает и завод обещает тоже, но до осени, наверно, ничего не будет; поэтому дочку пока не привезли — она осталась у родителей Варвары, в селении Княж-Погост, в республике Коми, невдалеке от Сыктывкара. Дочке пять лет, звать Валей.

— На одну букву разница,— сказала Варвара Брагина,— меня Варей, ее Валей, так муж придумал.

Она смутилась и спрятала смущение в открытой улыбке.

Но она сама не отдавала себе отчета в том, что разница тут не только в одной букве и не в смутившем ее воспоминании о нежной прихоти мужа. Различие в четверть века между временем ее собственного рождения и рождением дочери тоже сказалось: в деревню пришли имена, которые раньше считались городскими; крестьянские святцы не трогали их. Поэтому Брагиной казалось, что при различии в одну букву имя, которое они с мужем дали дочери, лучше, красивее, чем то, что сама она получила от своих родителей. Немножко даже зависти к дочери ощущалось поэтому в ее словах.

Я уловил эту зависть, но не смог оправдать ее.

Варвара — хорошее имя. И «Варя» звучит энергичнее, более звучно, чем «Валя». Мне всегда представляется за именами частичка характера. Конечно, это причуда. Познакомившись с человеком поближе, уже не вспоминаешь о том, каким его представлял себе по имени. Вероятно, совпадений оказалось бы не так уж много. Но причуда остается, и «Варвара» говорит мне о характере цельном и властном, о чистоте и прямоте.

Брагиной подходило ее имя.

И так оно и должно было оказаться, что родное ее селение тоже носит вот такое старинное новгородское название: шел князь с дружинниками в Югорские земли — брать дань с дальних пятин; не дошел, сложил голову у Печоры или у светлой Сысолы-реки; поднялся курган над его могилой— вот и Княж-Погост.

А может, и жив-здоров оставался здесь князь. Понравилось ему место, привез сюда купцов. Купцы звались тогда «гостями». Погостом могло быть кладбище, а могло быть и торжище. Но как бы оно ни было в давние годы, князь здесь долго не прожил. Вернулась сюда исконная дремучая тишь. А дружинники без князя осели, прилепились к сочным лугам, выжгли несколько десятин леса и засеяли поле. И за посадом на века сохранилось древнее имя...

В таких-то лесных местах и спеет, как прикрытый мхом боровик, спокойная, уверенная и тихая северная красота.

Попутчица наша рассказала, что у них на консервном заводе сейчас ремонт: путина (здесь говорят «вонзь» — ненецкое слово? или мансийское?) вот-вот начнется; рыба пойдет дней через десять, тогда и закипит штурмовая горячка. А пока, на время затишья, Варвара Брагина взяла недельный отпуск и едет в Княж-Погост проведать дочку.

Выходило, что все у Брагиной в жизни ладно и ясно: муж любит, дочка растет, квартиру дадут, и — знает она сама об этом или не знает, задумывалась над этим или не задумывалась — они с мужем принадлежат к числу тех, кто ведет время; ну, скажем, не впереди других, но в шеренге со всеми. Чего же искала она у гадалки, про что пытала судьбу?

«И все-то ты врешь»,— припомнились ее разочарованные слова.

Значит, хотела заглянуть в свое завтра, проверить, все ли там прочно стоит на своих местах, а наплели ей про интерес молодого бубнового короля, хлопоты благородного пикового старика, нечаянные деньги (может, и прикинула: не премию ли дадут?) и ближнюю дорогу (чего проще, и так видно — на катере-то с вещами!)...

Румяный седой мужчина поздоровался с Кузиным.

Ого, оказывается, у Геннадия завелось в новых местах уже много знакомых.

Ну да, он говорил, что не смог достать место в гостинице, ночь просидел на пристани, а там разговаривается легко.

— Успели, значит, Иван Никитич? — осведомился Кузин, ответив на приветствие.

— Успел,— ответил тот.

Он довольно похлопал по брюхастому портфелю и сел на скамью, по-стариковски покряхтывая. И разговор перевел в привычное стариковское русло, похвалив для начала погоду, а потом эгоистически заговорив о своих делах.

— Начинается все-таки лето...

Лето начиналось.

На корме было безветренно. Флажок Обско-Иртышского пароходства обвисал над пенящейся водой. Глубокое неяркое небо оставалось безоблачным, и впервые после отлета из Тюмени чувствовлаось, что солнце честно выполняет свой долг: пусть не по-июльски — по-майски, но оно пригревало.

— Теперь нужно катер доставать, — без видимой связи с репликой о лете вздохнул Иван Никитич.— Наряд на сено получен, а вывозить самому надо...

Когда он заговорил о сене, я окончательно понял, что за представление вязалось у меня с самого начала с его обликом. В жестком брезентовом пыльнике, в светлой кепке и хорошо

вычищенных сапогах, рослый, чисто выбритый, ухоженный так, как бывают ухожены только старые холостяки, привыкшие к казарменной аккуратности, Иван Никитич похож был на директора степного совхоза, откуда-нибудь с Одесщины или с Кубани.

И вот сено... Зачем ему здесь понадобилось сено?

Оказалось, что забота Ивана Никитича о сене имеет прямое отношение и к моим делам.

Иван Никитич был заместителем начальника той самой географической экспедиции, которую я разыскивал. В эту экспедицию ему надо было перегнать лошадей. Для лошадей он добывал сено.

Он рассказал, что лошади сильно отощали. Он привез сено, с неделю покормит их, а потом отправит с человеком в горы. Переход займет несколько дней. Если я захочу...

Это было заманчиво — отправиться верхом на Полярный Урал. Но получалось чересчур долго. Лучше раздобыть вертолет.

Но зато оказалось, что в Речную — на базу геологической партии — Иван Никитич сумеет нас отправить без промедления. У него во дворе стоит вездеход, пришедший оттуда, и он уйдет назад в два часа дня.

«Его двор» — это был двор построенного Иваном Никитичем поселка. Поселок он строил несколько лет назад для другой научной экспедиции, теперь его отдали географам, и вместе с поселком перешел к новым хозяевам и его строитель.

А строитель он был прирожденный.

Необыкновенно смачно вспоминал Иван Никитич, где и что́ он построил. Летосчисление его начиналось с двадцатых годов. Координаты вели с Памира на Север. В воспоминаниях ранних лет объединялись погони за Джунаид-ханом, оценка строительных качеств самана и сухого верблюжьего кизяка, отрубленные басмачами и высохшие под солнцем пустыни головы мирных кооператоров и восторг перед находчивостью и искусством старых узбекских зодчих, умевших строить так, что их дворцы и мечети не боялись землетрясений и уступали только натиску пустыни, сжигавшей оазисы и погребавшей города под барханами летучих песков...

Север в его биографии — самая длинная глава.

Он приехал сюда двенадцать лет назад, демобилизовавшись, но еще не успев снять капитанские погоны. В войну командовал саперной ротой, потом батальоном. Рыл болотные землянки на Волховском фронте, разминировал дороги и сожженные мызы Восточной Пруссии.

— А здесь что же — знакомые были?

— Да нет, никого не было. Дело знакомое. Строить ехал.

И, как бы оправдываясь, Иван Никитич пояснил:

— Тут ведь, знаете, интересно. Взять хотя бы вечную мерзлоту...

Он стал рассказывать, как приходилось придумывать свои строительные приемы, если взять для примера эту вечную мерзлоту.

— Раньше тут что ставили? Чум. Кое-где избы рубили. А мы и двухэтажные дома строили. На восемь, на двенадцать квартир.!. Ну, конечно, не мы первые. В Воркуте был опыт. В Норильске. Ездили, глядели. Но и наше, собственное, тут кое-что есть.

Иван Никитич говорил с удовольствием, но без похвальбы. И так же деловито, как говорил он только что о местных технических сложностях, Иван Никитич сказал:

— Вот с рабочей силой было поначалу не просто. Начинали-то ведь мы с кем? Сами знаете...

Я не буду здесь подробно записывать слова его. Иван Никитич не сентиментальный, даже жестковатый человек. Он привык работать в тех реальных условиях, какие предложены ему обстоятельствами. Рефлексия не свойственна ему ни в какой мере. Моральную сторону дела он уложил в слова, сказанные веско и горько:

— Нехорошо было. И, знаете, трудно.

Пять лет — немалое время.

Но есть вещи, о которых сложно, нелегко разговаривать и через пять лет.

Сейчас, когда мы прочитываем короткую и сухую фразу публициста о восстановлении революционной законности, мы испытываем радость и удовлетворение. Попытка же распространенно — да еще и художественно — повествовать о том, как именно нарушалась революционная законность, чаще всего вызывает у нас скорее неприязненное чувство: не то и не так; слишком это по-своему для каждого живо и слишком по-своему наболело. Недаром врачи, имея дело со свежими ранами, предпочитают сильные и резкие движения осторожным, бередящим прикосновениям, и, видно, не зря именно Фоме Неверующему свойственна склонность ко вкладыванию перстов в свежие язвы...

Иван Никитич коснулся этой темы с иной стороны, сугубо по специальности: с точки зрения экономики и производительности труда. Вспоминая собственную практику и подкрепив слова примерами, он заметил:

— Бывает, слышишь: «У вас же там дешевая рабочая сила была...» Чепуха это! Дорогая была рабочая сила. Очень дорогая!..

Его опыт лишь подтверждал старые истины марксистской науки.

— Ну, а теперь как? — спросил я.— Людей, наверно, не хватает? Набирать трудно?

Иван Никитич даже удивился.

— Почему? Нет, сейчас проще. Едут. И, знаете, большинство ведь всерьез едет. Вроде меня. — Он повторил: — А как же... Здесь интересно...

Теплоход вышел на главное русло Оби.

Здесь тоже было много дерева на воде. Бревна у лесотаски занимали добрую половину реки, над ними поднимался тонкий резной силуэт эстакады, и у причала виднелся красный корпус разгруженного лесовоза. Пустой, он стоял вровень с коньками столпившихся у берега тесовых крыш.

К поселку, построенному Иваном Никитичем, нужно было идти по оврагам. На невысоком пригорке стоял десяток весело окрашенных домиков, голубых и белых.

Рядом с ними тянулась аллейка пятилетних берез. Это были не полярные деревца — крохотные и кривые, а настоящие березки, еще тонкие, как хлыстики, и они шевелили маленькими молодыми листьями.

— Я их снегом грел, — объяснил Иван Никитич. — В сугробе перезимуют, а летом растут...

У березок стоял вездеход.

Мы познакомились с водителем и поехали в Речную.

## ВЕЧЕР В РЕЧНОЙ

### 1. Кузин едет в Тад-Ягу

До поселка геологов мы с Кузиным добрались уже под конец рабочего дня.

Я ожидал увидеть новостройку: первые дома из свежего теса оттесняют палаточный городок — так это обычно здесь начинается.

Но поселок в Речной оказался совсем не таким.

Вездеход отгромыхал пять часов по тундре и выскочил из болотного бездорожья на короткий, с километр, отрезок шоссе, мощенного щебенкой.

— А тут вот и вертолет садится,— показал водитель туда, где шоссе обрывалось перед небольшой котловинкой, до краев наполненной стоялой водой.

Где-то рядом свистнул паровоз.

Свисток был таким неожиданным, что показался звуковым миражем. Но невдалеке в самом деле проползла маленькая дряхлая «овечка», таща за собой несколько груженных лесом и углем платформ.

— Ветка сюда подходит, — снова пояснил водитель.

Я видел устои недостроенного моста в Салехарде, знал, что в Лабытнангах кончается недавно сооруженная железная дорога. Она сворачивает туда от станции Сейда, не доезжая Воркуты...

Тут я вдруг ухватил то, что никак не давалось мне сегодня, что вспомнилось и не могло припомниться с той самой минуты, как я снова услышал это непривычно звучащее название: «Лабытнанги».

Как-то в Москве, на перроне Северного вокзала, проносясь с воскресной дачной толпой к пригородной электричке, я уви-

дел чинный дальний состав и автоматически прочитал на бегу табличку одного из вагонов: «Москва — Лабытнанги».

Название было незнакомое и чудное. Я подумал, что ошибся второпях, но странное слово угодило в ритм тронувшейся электрички, оно не отставало и ускорялось: ла-быт-нан-ги, ла-быт-нан-ги... И это было похоже на имя индейского племени из старой детской книжки: где-нибудь в майнридовских жарких пампасах воинственные лабытнанги в уборах из ярких перьев кидают лассо, гоняясь за необъезженными мустангами...

Теперь пестрая картинка, возникшая когда-то в воображении, казалась убогой.

Строить здесь железную дорогу — это не мустангов ловить!

Зимой — трехмесячная безрассветная ночь.

В небе — блуждающие зеленые отсветы; призрачная и тревожная игра северного сияния. Метет, завиваясь по небу, разгораясь багряно и синевато, снова оставляя над собой только слабый зеленый и пронзительно зеленый туман и опять вспыхивая и падая к земле многоцветным дождем света, который не светит, и огня, который не греет, падает и не долетает донизу, повисает вьющейся, словно ветром взметаемой, полыхающей бахромчатой занавеской. Недаром северянин назвал сполохами эту все еще до конца не разгаданную игру света в полярном небе: она полошит сердце.

Говорят: сполохи — к морозу.

Но вот и ночь кончится и сполохи погаснут, а все кажется жестким от мороза самый воздух, словно ударяешься об него лицом, обжигаясь. Метет пурга, заметает все, что сделано накануне. Сперва расчищай, потом двигай дальше. Звенит ковш экскаватора, ударяя в мерзлый грунт, неподатливый, как металл.

«Двенадцать месяцев зима, остальное — лето», — усмехается здешняя поговорка.

Но это не так. Есть и лето.

Вот оно сейчас, это лето.

Кружит у горизонта незакатное солнце. Оттаивает с самого верха, превращаясь в топь, тундровая вечная мерзлота. Торопливо растет трава. Торопливо цветут жалостно-милые нежно-розовые и блекло-синие цветы. Торопливо хлопочет тихая птичка — пуночка. В одну ночь вырастают — над сивым оленьим мхом, над крохотной, стелющейся, битой морозным ветром полярной березкой — огромные подберезовики и красноголовые подосиновики. И нигде, кроме как на Севере, не увидишь такого неба, с его ясной, студеной чистотой; с зеленоватой, как у рассветной весенней воды, глубиной; с царским багрецом и охрой неугасимой зари, разметанной по краю, там, где сходятся, не сходясь, небо с землей и где дымчато синеют

невысокие зубцы Полярного Урала, — древний Камень новгородцев, Пай-Хой ненцев-оленеводов.

Навсегда может приворожить к себе человека эта неброская скороминучая прелесть северного лета, хоть она и нелегка тому, кто пришел сюда не глядеть, а трудиться.

Шпалы, положенные зимой, может по весне засосать болотная тундра: бывает, приходится заново перекладывать километры пути. Дом, который ты построил,— отогрел под собой мерзлоту: фундамент заколебался в зыбкой почве, треснули стены — чини теперь, укрепляй, перестраивай.

Да и в тихом воздухе вьется не только безобидная пуночка. Звенит свирепый, как тигр, комар. Серым облаком висит мошкара: облако кажется неподвижным, но куда бы ни двинулся ты, как бы ни пробовал от него отвязаться, оно остается с тобой, вокруг тебя, беззвучное, всепроникающее, покалывающее, зудящее, досаждающее все пуще и пуще. Ты сгребаешь мошкару ладонью с лица, достаешь из ушей, из-за воротника; если ты не в сапогах, а в ботинках, она умудрится пролезть в дырочки для шнурков и нажечь ноги. Ты пробуешь мазаться диметилфталатом — облако мошкары висит теперь малость подальше; оно будто ждет, будто знает, что острый, отталкивающий запах твоего хитрого снадобья не вечен; но зато теперь сама антикомариная жижа ползет тебе в глаза, щиплет, горчит во рту... Есть еще накомарник. Но долго ли можно смотреть на свет сквозь его частую, черную, к тому же густо облепленную мошкарой сетку? Черт с ним! Пусть обсядет мошкара. Есть для нее самое верное слово: «гнус»; гнус — вот это уж точно. Но в конце концов можно и к гнусу привыкнуть...

И ты работаешь.

Работаешь в пургу и в мороз.

Ходишь по болотам.

Смахиваешь с лица полные пригоршни черной давленой мошкары и делаешь свое дело.

И вот как раз тогда, когда и бороться против гнуса тебе надоело, когда ты привык укладываться и засыпать при незаходящем солнце, а зимой делить сутки на «день» и «ночь», невзирая на постоянную темноту, прерываемую лишь коротким багровым рассветом, в котором сливаются в одно утренняя заря с вечерней, а солнце так и не успевает взойти; когда вместе с другими старожилами ты усвоил ироническую формулу «двенадцать месяцев зима, остальное — лето»,— вот тут-то именно и начинаешь ты ощущать, что от Севера тебе уже не уйти никуда, что ты, как говорится, привязался к нему сердцем и навсегда останешься благодарен ему за то, что здесь, как нигде, так часто и так полно ты чувствовал свою силу и, испытывая себя трудом, имел право оставаться довольным собой.

А откуда же узнает здесь человек это счастливое право — быть собой довольным, не хвастая, но работая еще более споро и не впадая в отупляющее и ленивое самодовольство?

Оно рождается, это право, от ощущения того, что тобой довольны другие.

Здесь, на Севере, чувство единого дружного коллектива развито необычайно сильно. Взаимная приглядка, проверка не нарочиты, не навязчивы. Но индивидуум, который попытается здесь «прожить зайчиком», перекладывая свою работу на чужие плечи, подлизываясь к одним и пренебрегая другими, склочничая и ссорясь,— тот, раньше или позже, окажется естественно извергнутым из коллектива. Он вынужден будет уйти. А кто остается, — тот полюбит Север навсегда, верно и благодарно. Тот, кто жил и работал хотя бы и здесь, куда нас с Геннадием Кузиным привез теперь вездеход из Лабытнангов, всегда будет помнить, что вот он построил железную дорогу там, где никто и никогда прежде не строил железных дорог.

Было трудно?

Да, было.

Но теперь об этом очень приятно вспомнить. И когда вспоминаешь, то чуточку нравишься себе — тот, тогдашний, который зимою вылезал из спального мешка в выстуженном бараке, умывался снегом, утром, после пурги, разметал высокий сугроб у дверей, обжигался о железный рельс, сгружая его с пятитонки на морозе, следил за игрою сполохов; летом не обращал внимания на мошкару...

Нынче здесь кричит «овечка». Идут платформы с углем и лесом. Нынче здесь обыкновенная цивилизованная жизнь, штабные тылы наступления, и, чтобы снова испытать эту чистую радость наступления и победы, надо уходить дальше на новую «передовую».

«Острым и скудным» назвал здешнее житие человек проезжий, случайный на здешней земле.

Урожденный северянин Михайло Ломоносов словно спорил с этим проезжим, сопоставляя лет тридцать спустя север и юг в задорном двустишии. Он считал, что юг человеку вреднее:

Лишает долгой зной здоровья и ума;
А стужа в севере ничтожит вред сама.

Те, кто проложил здесь рельсы и ушел дальше в тундру, согласны с Ломоносовым. Когда они повторяют приезжим южанам свое «двенадцать месяцев зима», прислушайтесь-ка,— вы услышите не жалобу, а этакий даже вызов: мы-то, мол, хлебнули, и ничего. А ты попробуй! Выдюжишь?

...Шоссе обогнуло холмик над небольшим озером.

Вездеход въехал в Речную.

Геологам здесь передали старый поселок строителей железной дороги. У поселка уже была своя биография, и никакого палаточного городка не существовало. Даже иные домики успели прийти уже в ветхость и стоят заколоченные, покосившиеся. Другие подновлены, свежезалатаны и заселены.

На улице много ребят.

Вездеход останавливается у одноэтажного дома, обшитого тесом.

На крыльце покуривают люди.

По сторонам крыльца — клумбы, на которых попробовали, но так и не стали расти сгоряча посаженные, а потом никем не ухоженные цветы — те, что цветут сухим желтым огоньком и на юге называются «ноготками».

— Вот она, контора,— сказал водитель.

Мы вышли, вездеход укатил, и оглушающий его треск сменился стуком и шорханьем работающего где-то поблизости движка. Свет здесь сейчас никому не нужен: солнце исправно работает круглые сутки. Значит, движок то ли качает воду, то ли работает на какую-нибудь мастерскую.

Контора была как контора.

Треск арифмометров из-за закрытых дверей. Хлопотливые девушки. В комнате, куда мы с Кузиным сунулись, чтобы узнать, где сидит начальник,— спор двух юных бородачей в зеленых штормовках с откинутыми на спину капюшонами.

— Про эти консервы ты забудь. Они у меня сегодня вертолетом уйдут. На Тад-Яге ребята на одних сухарях четвертый день сидят. Все погоды не было.

— Ну да,— яростно атаковал второй бородач.— А я уезжал, так у нас и сухарей не оставалось. Яблочный компот да греча. Пробовал ты компот с гречей варить?!

Он даже задохнулся, представив себе это блюдо.

На первого компот с гречей не произвел впечатления.

— Прилечу в гости, попробую,— неожиданно мирно сказал он.— А ты, между прочим, Песков, всегда прибедняешься. К гречe у тебя, кроме компота, еще и шпик есть. А завтра придет из Лабытнангов тушенка, придет хлеб, все получишь, что причитается...

Он заметил нас и объяснил, как пройти к начальнику.

Немолодая секретарша в такой же зеленой штормовке постукивала на портативной машинке в тесном предбанничке у дверей кабинета.

Самый кабинет оказался просторной — в четыре окна — невысокой горницей. Ачкасов выглядел так же молодо, как спорщики, что препирались из-за консервов. На вид ему можно было дать лет двадцать пять. Зеленую штормовку носил и он, но из-под нее виднелась свежая голубая сорочка с галстуком. Лицо его было свежевыбрито.

Широкий, дощатый, без ящиков, стол Ачкасова был удобен для работы. На тщательно выглаженной рубанком некрашеной крышке высокой стопой лежали книги. Потом, пока Ачкасов говорил с Кузиным, у меня было время взглянуть на корешки. Тут лежали общие работы по геологии, петрографии и материалы об исследованиях Северного Урала; книги были подобраны не случайно, и меж страниц торчали закладки...

К столу Ачкасова ребром приставлены еще три, поменьше. Они составлены так, как принято ставить столы для совещания; вдоль них — две длинные, тоже некрашеные лавки.

На лавках сидели трое бородачей в штормовках. Они «поднимали» геологическую карту, заштриховывая цветными карандашами черно-белые контуры Заполярного Приуралья; их занятие придавало ачкасовскому кабинету сходство с полевым штабом. Кроме того, присутствие сосредоточенных и молчаливых бородачей, видимо с утра и надолго пригнувшихся над столами, говорило о том, что хозяин горницы не ищет в своих делах уединенной конфиденции.

Мы познакомились.

Кузину Ачкасов сказал:

— Как же, ждали!

И занялся устройством его дел.

Вот теперь-то я смог заняться разглядыванием книжных корешков, исподволь прислушиваясь к беседе и наблюдая за Ачкасовым.

Пожалуй, он был не так молод, как показалось сначала. Маленького роста, но широкой кости, он был подвижен и кругл. Живая подвижность и придавала ему молодой вид. Но лицо усталое; под глазами — мешочки, по мешочкам — морщинки...

Первые вопросы он задал, обращаясь к Кузину на «вы»: как, мол, добрались, как дорога и не собирается ли уже Кузин в обратный путь?

Этот последний вопрос был задан шутливо, но не только шутка послышалась за ним. Видно, нередко случалось здесь, что человек приедет, оглядится и начинает помалу ладиться восвояси.

Люди здесь нужны.

Но нужда в людях, как говорил Иван Никитич и как показывал нынешний разговор, перешла теперь в иное, более высокое качество, чем это может представляться людям, все еще думающим о Севере по старинке.

Дело обстояло именно так, как объяснили нам в Москве товарищи, которые занимаются набором и переселением рабочих.

В Речной, как и всюду на Севере, было бы весьма затруднительно отыскать свободное штатное место не только для

человека, вовсе не обладающего какой-либо специальностью. Нужды в «людях вообще» экспедиция не испытала с самых первых дней своего возникновения; такая нужда могла существовать в здешних широтах разве лишь в начале тридцатых годов, а теперь давно уже всеми позабыта. Большинство штатных мест в экспедиции укомплектовано специалистами разного рода, да и обширный поселок основательно перенаселен. Сейчас нужны здесь квалифицированные строители. Впрочем, Ачкасов слишком хорошо знает, что в этом он не одинок: строители требуются нынче на всех широтах нашей земли. С нетерпением ожидали здесь Кузина: без водителей (а водитель тут непременно должен быть опытным и очень умелым) простаивают два вездехода в геологических партиях и несколько грузовиков на главной базе.

Беседуя с Кузиным, Ачкасов размышлял, что оставлять нового водителя на базе, в Речной, сейчас трудновато.

Мест не хватает даже в общежитиях.

К приезжему Ачкасов приглядывался с живым интересом: как будет Кузин реагировать на рассказы о предстоящих ему — неизбежных поначалу — житейских неудобствах? С чем приехал этот человек на Север? Чего он здесь ищет? Оба прощупывали друг друга. И каждый, исподволь направляя беседу по нужному ему руслу, добивался от собеседника прямоты и полной искренности. Большого труда на это не понадобилось: стоило задать нужный вопрос — и ответ давался быстро, кратко и с исчерпывающей ясностью.

Я невольно слушал их беседу, но думал о своем.

Человек везде может жить так, как он хочет жить. Точнее — так, как умеет он оборудовать свою жизнь.

Кого из нас не потрясали описания трудного аляскинского быта в северных рассказах Джека Лондона? И жестокость морозов, и сводящее с ума «белое безмолвие», и одинокие — на грани смерти — скитания в бескрайности снежных просторов.

Но пробовали ли вы, читая эти рассказы, взглянуть на географическую карту? Ведь происходят-то описанные события на той же примерно широте, на какой у нас стоит Архангельск. Или Котлас. Или другие, такие же старые, издревле обжитые и никого не отпугивающие города.

А ужасаясь свирепости холода, вспоминали ли вы, что термометр, на который глядят лондоновские герои, разграфлен по системе Фаренгейта? Переведите-ка пугающие вас градусы в привычные мерки Цельсия, и окажется, что при таком морозе у нас даже школьные занятия не отменяются, и сельские ребятишки бодро бегут с сумками за несколько километров, перебрасываясь в пути снежками.

Трудные тропы? Но ведь видели же мы не только с земли, но и с высоты полета,— когда в тундровом бездорожье можешь сразу глазом окинуть весь многодневный путь со всеми его препятствиями, которые нужно здесь одолевать человеку,— как прочно стоит на таком бездорожье жилая изба!

Значит, дело не в высоких широтах, не в жестоких морозах, не в трудности скитаний.

Дело в ощущении отъединенности. Именно оно, это ощущение, делает нестерпимой не такую уж сильную стужу и неодолимым — не самый тяжелый путь.

Человеку трудно, когда он остается один.

Более того, оставаясь один, он перестает быть человеком. Одинокого ведет не сила духа, а, скорее, сила инстинкта.

Робинзону необходим Пятница.

До появления Пятницы Робинзон находил выброшенные морем подарки, прятался от зверей, инстинктивно берегся от смерти, но еще не совершал подвига. Его подвиг начинается после встречи с Пятницей — потому что только с этого момента он от существования возвращается к жизни. Присутствие другого человека сообщает поступкам Робинзона сознательную, одухотворенную целеустремленность.

Кстати, у прототипа, чьим подлинным приключением воспользовался для своей книги Дефо,— у матроса Александра Селкирка — товарища не оказалось. Селкирк действительно был выброшен на совершенно необитаемый остров. И он возвратился оттуда психически раздавленным, навсегда потеряв своё место в жизни. Для того чтобы сделать одинокого моряка, потерпевшего кораблекрушение и предоставленного самому себе, литературным героем (то есть не просто описать незаурядное приключение, но и показать подвиг человеческого духа), Дефо расширил и населил остров и дал матросу не только врагов, но и друга.

Если бы рассказ о Мересьеве ограничивался описанием того, как тяжело раненный летчик пробирается через лес, долго и трудно превозмогая физические страдания и борясь со смертью, такой рассказ излагал бы только приключение; повесть о торжестве духа, о вдохновляющей и всепобеждающей силе высокой идеи начинается со встречи летчика Алексея Мересьева с товарищами по госпитальной палате, с полковым комиссаром Семеном Воробьевым...

Есть два слова, которые звучат похоже, но обозначают понятия, совершенно противоположные: подвиг и подвижничество.

Сравним любой известный нам подвиг с подвижничеством столпников и молчальников, чьи жития рассказаны в четьих минеях.

Вспомним самое известное.

Подвиг Николая Островского — это преодоление смерти во имя того, чтобы остаться включенным в коллектив и продолжать приносить ему пользу.

Подвиг Александра Матросова — это презрение к смерти во имя жизни и победы идущих рядом, во имя торжества общего дела.

И прежде всего всякий подвиг — это деяние.

Подвижничество схимника, который при жизни ложится в гроб и отказывается от общения с другими людьми,— не деяние, не поступок, а, напротив, намеренное самоотключение даже и от мысли о возможности совершать какие-либо поступки. Здесь торжествует не сила духа, но покорность и слабодушие, доведенные до крайнего своего предела. Это, так сказать, искусственный паралич, добровольная духовная смерть, опережающая смерть физическую...

Север ждет не подвижничества, а подвига — щедрого деяния и немереного, как на всякой целине, труда. Работы здесь не убавилось. Напротив, ее стало больше. Она открывается человеку везде — там, куда собираются разведчики, и там, где они уже прошли. Этот нынешний Север романтичен, как никогда, хотя он и перестал быть краем той наивной романтики, какая здесь искала робинзонад.

Чувство отъединенности, оторванности исчезло не только у людей, живущих в самых отдаленных поселках материка, но даже и в лагерях полярников на дрейфующих океанских льдинах. Радио доносит родные голоса за тысячи километров. Авиация до считанных часов сократила дорогу от заполярных льдов к черноморским пляжам.

И люди на Север уже не вербуются, а переселяются — в порядке организованного набора.

Различие тут не в словах, а в коренной сути.

Сибирь знала переселение давно.

Происходило оно по-всякому. Но мы еще побываем в районах только что поднятой целины и сами увидим, чем отличается недавний новосел целинного совхоза от курского, полтавского, саратовского переселенца, что отправлялся в Сибирь шесть-семь десятков лет тому назад.

Переселение же на Крайний Север происходит в таких масштабах и в таких формах впервые.

— Жить можно,— говорит заполярный Адам своей Еве и везет ее в уже обогретый им рай, куда яблоки доставляются преимущественно в консервированных компотах, но зато и не приносят с собой библейских двусмысленных сложностей...

Вот и Ачкасов у Кузина спрашивает первым делом:

— Женат?

Кузин почему-то смущается и качает головой:

— Не успел.

— А собирался? — настаивает Ачкасов.

— Да вроде пока и не собирался...

Ачкасов улыбается одними губами — глаза сосредоточенны и серьезны — и деловито отмечает:

— Значит, здесь придется женить.

Эта сторона биографии нового водителя занимает его неспроста: женатый прочнее осядет; холостяк может отбиться от рук — затянут в компанию какие-нибудь бузотеры, замутят парня, потом возись...

А Кузин, видно, Ачкасову понравился — и по разговору и по бумажкам, которые Геннадий добыл из кармана гимнастерки, заколотого английской булавкой, а Ачкасов проглядел с привычной беглой внимательностью. И именно оттого, что новый водитель (без которого уже второй месяц простаивает вездеход в семнадцатой партии, и с нею можно сообщаться только при помощи вертолета) понравился Ачкасову, он естественно, без нарочитого наигрыша, без игры в напускной демократизм, стал обращаться к Кузину уже не на «вы», а на «ты».

Кузин продолжал отвечать Ачкасову, обращаясь на «вы», но я чувствовал, что разговор греет Геннадия: ему стало теплее и проще.

Чужая беседа текла своим путем; у меня все еще оставалось время отвлекаться мыслями в сторону, и мне вспомнилось, что у такого одностороннего «ты» есть свои противники.

Не думаю, однако, чтобы они были безоговорочно правы и чтобы их обобщенные умствования о «крепостнических пережитках», якобы за этой формой взаимообщения скрывающихся, смогли искусственно искоренить старый обычай, родившийся в крестьянской семье, а вовсе не на помещичьем дворе. Неприятной такая форма становится только тогда, когда она нарочита, как неприятно, впрочем, все нарочитое. Отвратительно такое «ты», когда избалованный и развязный городской подросток обращает его, скажем, к пожилому шоферу, обслуживающему его отца на казенной машине. Часто режет оно слух, когда молодой лейтенант обращается с таким «ты» к солдату, то ли полагая, что так приличествует «отцу-командиру», то ли просто бездумно подражая другим коллегам и не желая заметить, что его форма обращения без надобности подчеркивает служебную дистанцию и тем самым является унижающей. Порой «тыкает» подчиненного распущенный администратор, и это звучит по-хамски, причем слишком часто зависимое положение мешает обиженному осадить грубияна. Но все это, так сказать, «патологические случаи». По природе своей одностороннее «ты» коренится в искреннем дружелюбии опытного наставника, открывающего мир перед пытливым юношеским взглядом, в традиционном отеческом отношении мастера к любимым

своим ученикам. Такое «ты» с благодарностью запоминается на всю жизнь.

Вообще же одностороннее «ты» — сугубо индивидуальная краска в языке. Одному можно: у него эта краска естественно вяжется с характером, дорисовывает его; другому никак нельзя: в его поведении такая краска кричит и раздражает.

Быть может, со временем эта форма и исчезнет сама собою. Но радоваться этому не стоит. Не «пережиток» исчезнет с нею, но лишь еще один самобытный оттенок речи, которая с течением времени и без того чересчур оструганивается, заглаживается, теряет выразительность и гибкость.

Мы нередко забываем корни слов и первородное их значение.

Бывает, удивишься, встретив в старой книге замечание о каком-либо человеке, что тот, мол, «неистовою злостью надмен был».

Слово «надменный» сохранило для нас лишь одно, вполне определенное значение. Но — быть надменным чем-либо? Приходится припоминать. Конечно же ведь это старая совершенная форма глагола «надуть», наполнить. Значит, может быть и воздушный шар, надменный водородом, и человек, надменный злостью. И — вот оно, нынешнее единственное, а когда-то только переносное значение: человек вообще надменный, то есть н а д у т ы й человек, как мы тоже часто говорим.

Странно встретить в книге XVIII века и рассказ о человеке, который изумился, стал вследствие этого делать нелепые телодвижения и драться и был за свое изумление связан при помощи смирительной рубашки.

Для нас изумление — чувство безобидное.

Когда-то это слово в точности соответствовало прямому значению своих корней: человек из ума вышел — изумился.

Можно было удивиться до изумления. Это была гипербола.

Со временем к гиперболе от частого употребления настолько привыкли, что изумление вовсе перестало обозначать сумасшествие; оно осталось простым синонимом удивления...

Но биография человека настойчиво уводит от биографии слов.

Рядом идет и возвращает к себе чужой разговор.

— Придется тебя здесь женить,— сказал Кузину Ачкасов.

Тракторист, который должен стать водителем вездехода в той самой семнадцатой партии, что базируется на Тад-Яге и ждет вертолета со съестными припасами, все больше нравится начальнику экспедиции.

Есть у Кузина располагающая открытость. Как легко разговорилась с ним сегодня на катере Варвара Брагина! А ведь она не из тех, что запросто вступают в беседу с незнакомым попутчиком. Но там Кузин больше слушал, чем говорил. Да и я двое суток провел с ним вместе, но только теперь вместе с Ачкасо-

вым узнал, что Кузин служил в танковой части и имеет значок отличника боевой подготовки. В Рязанской области — до военной службы и потом, после демобилизации,— он водил трактор в лугомелиоративной станции — в ЛМС.

— Похоже,— сказал он теперь, вспоминая, как пер наш вездеход напрямик по болоту, ломая невысокий тундровый кустарник, приминая фиолетовые цветы морошки и со скрежетом выкарабкиваясь из медленных неглубоких ручьев на берег.— Вы в Мещере бывали?

Ачкасов с сожалением покачал головой:

— Не приходилось.

— Похоже,— уверенно повторил Кузин.

Он, конечно, говорил не о пейзаже.

Пейзаж здешних мест на мещерский не походил вовсе.

Но Кузин видел, как ведут себя гусеницы вездехода на нашем пути, приглядывался к водителю, припоминал свои мещерские рейсы — как рубил он там фашинник, еще и еще подбрасывая ветки под гусеницы в жидкую грязь,— и он успел уже сказать себе, что здесь, пожалуй, будет не труднее: похоже. Там тоже случалось попотеть...

Почему он решил бросить насиженное гнездо и податься за тридевять земель?

— Очень просто,— с той же готовностью объяснил Кузин.— Газеты читал. Воевать не пришлось мне, а попробовать себя интересно. Вот и решил.

Ачкасов усмехнулся.

— Ну, а там работал — разве себя не пробовал?

— Там привык. Очень обыкновенно казалось.

— Здесь поживешь, тоже обыкновенно покажется. Тогда что?

Теперь Ачкасов стал серьезен, а Кузин отвечал с понимающей улыбкой. Верно. Вот и дорога показалась похожей, и этот первый разговор о будущей работе тоже шел так, будто никуда он далеко не уезжал, а просто из одной ЛМС переходил работать в другую. Ехал удивляться; думал сразу увидеть непохожую жизнь, особенных людей, а пока все было обыкновенно. Только солнце не зашло ночью, и будто тянулся от самой Тюмени один нескончаемый день...

Но Кузин сказал:

— Про это загадывать рано.

Ачкасов рассказал ему про Тад-Ягу.

Несмотря на то, что, ожидая приезда новых рабочих, Ачкасов любил себе представлять их обстоятельными, прочно оседающими семейными людьми, он испытывал теперь облегчение от того, что Кузин оказался холостяком. Жену в Тад-Ягу не пошлешь. Наверно, и муж попытался бы отвертеться, пристроиться здесь, на главной базе. И, конечно, семейному подавай

отдельную квартиру, ну хоть комнату, а где ее взять? Экспедиция достраивает два дома: в одном четыре квартиры, в другом шесть. И Ачкасов уже сейчас ежится при мысли о том, как трудно будет выбрать, заселяя эти дома, десять, ну двенадцать, четырнадцать новоселов из тех девятнадцати отцов семейств, что маются сейчас по общежитиям. Все они ему нужны, и каждый твердо уверен в том, что именно для него работают сейчас и торопятся плотники, печники и водопроводчики. И жены у всех прикидывают, куда лучше ехать за новой мебелью — в Салехард или в Воркуту — и как эту мебель лучше расставить на новом месте...

Бородачи за длинным столом не поднимали голов от своих карт. Изредка они перешептывались, не поворачиваясь друг к другу и продолжая выхватывать цветные карандаши из плоских коробок. Фиолетовые и кроваво-красные линии ложились рядом волнистыми полосами; что-то желтело среди них и зеленело: схема застывшего кровообращения земли, след остановленного движения расплавленной магмы, вкрапления изверженных пород и изначальных химических элементов — анатомированное тело планеты.

Ачкасов подошел к двери и назвал секретарше какую-то фамилию.

В его движениях, в том, как он отложил бумаги, отставил кресло, снова взял его, возвратившись от двери, была та властная резковатость, какую мне случалось замечать именно у молодых администраторов. Здесь — след бессознательной игры, вошедшей в привычку, и вместе с тем сопротивление усталости. Движение становится резким, когда делаешь его через силу. Ачкасов мало спит. По глазам видно.

В кабинет пришел четвертый бородач, знакомый — тот, что не испугался компота с гречей.

— У вас вертолет в Тад-Ягу когда идет? — спросил Ачкасов.

— Сегодня хочу посылать, Филипп Васильевич,— осторожно ответил бородач, очевидно привыкнув уже в свои молодые годы оставлять за собой лишь намерения, высказанные в предположительной форме, а право на решительную определенность резервировать за начальством.

Ачкасов кивнул одобрительно.

— Познакомьтесь, Сергей Ильич,— сказал он бородачу и представил ему Кузина.

Бородатый Сергей Ильич оказался заместителем Ачкасова по хозяйственной части.

Потом я узнал, что Сергею Ильичу двадцать шесть лет. Два года назад он окончил геологический институт. В этой же экспедиции проходил практику на последних курсах; на полученном здесь материале делал дипломный проект; сюда же при-

ехал, защитив свой диплом. Ачкасов узнал его, когда еще не был начальником. Они несколько раз оказывались вместе в дальних походах.

Однажды шли вдвоем по руслу горной реки.

Набрели на занятное обнажение пород, увлеклись, задержались дольше, чем рассчитывали.

После третьего внепланового дня Ачкасов вдруг вспомнил, что продукты у них давно должны бы кончиться. Но Сергей с прежним спокойствием добывал из мешка и из карманов пачки пшенного концентрата, гороховые супы, щедро пересыпанный табаком сахар. Он отделял чай от соли и посылал Ачкасова искать ветки для костра, успокоительно повторяя:

— Я запасливый. Еще на недельку хватит, а там, гляди, морошка поспеет. Прокормимся. Можешь быть спокоен, Филипп. Со мной не пропадешь.

Обнажение его тоже интересовало. Сергей лазил по отвесной скале, трудолюбиво отбивая пробы. Он каллиграфически делал надписи на аптечных пакетиках, в которые прятал мелкие находки. Чертил аккуратные планы. И, несмотря на все это, Ачкасов чувствовал, что истинное гордое удовлетворение Сергей испытывает не на скале, а когда сходятся они вечерами в усыпанной пепельным шифером котловинке, на берегу неширокого лопочущего потока — там, где расставлена их тесная, на двоих, палатка.

Сергей забирался в палатку, копошился у своего мешка и выходил, игриво вертя перед собой консервную банку.

— Чавыча в собственном соку. Имеются возражения?

Он был аккуратен. С крутого склона над палаткой узким белым языком стекал ледничок. Рядом лежал нетающий ослепительный снег. Каждое утро Сергей забирался туда и докрасна натирал снегом темное, загоревшее под северным солнцем тело. Однажды, когда Ачкасов дожидался его, думая, что пора все же сворачиваться и отправляться на базу, Сергей вернулся и, жестко растираясь полотенцем, вдруг сказал:

— Послушай, Филипп, Ты на свой вкладыш когда-нибудь смотришь?

Вкладыш — белый чехол в спальном мешке. Простыня и пододеяльник, сшитые вместе, с прорезью, чтобы человек мог забраться внутрь.

Ачкасов удивился вопросу.

— А что?

— Да то, что вкладыши у нас черные, как у попа ряса. Стираться пора!

— Ты тут в самом деле вековать собрался? — засмеялся Ачкасов.— Да без мыла какая стирка? У нас и для умывания-то обмылочек...

Сергей по обыкновению полез в мешок. Там нашелся и нераспечатанный кирпичик мыла.

— Знаешь,— восторженно сказал Филипп,— в тебе сидит прирожденный хозяйственник! Только как ты умудрился тащить все это на горбу за сто километров?!

— Я выносливый,— деловито объяснил Сергей.— Но и ты тащил тоже. Я ведь и в твой мешок кое-что подкинул...

Они шутливо поругались, потолкались плечами, как молодые медведи, норовя столкнуть один другого в ручей, и принялись стирать земляничным мылом вкладыши, которые на самом деле успели заметно потемнеть.

Год спустя, когда Ачкасова назначили начальником экспедиции, он вспомнил этот поход и предложил Сергею идти к нему в заместители. Тот отнекивался, даже возмущался. Твердил, что диплом он защитил вовсе на другую тему, что прежний зам хоть и получил от геологов прозвание «Мурлетка», но с делом, мол, справлялся как надо и будет справляться не хуже... Наконец Сергей сказал, что при его характере ему с такой должности прямая дорога — в тюрьму.

— Ты такое слово — обэхаэс [1] — знаешь? — шел он на Филиппа.— Знаешь обэхаэс?!

Но разжалобить Ачкасова ему не удалось.

— «Дело пестрых» в кино смотрел,— сказал тот,— и Шейнина читал тоже... Дай бог, ближе мы с тобой никакого обэхаэса не узнаем. А что касается Мурлетки, то у него все в порядке, кроме одного: на геолога в поле ему решительно наплевать. А у тебя этого не будет.

Так Ачкасов нашел у Сергея нужную струнку, вовремя сыграл на ней, и тот согласился.

С тех пор они перешли на «вы» и стали называть друг друга по имени-отчеству даже с глазу на глаз. Это было одним из правил неписаного кодекса служебных взаимоотношений.

Сергей Ильич привык. Он все реже вспоминал о своей дипломной работе и, только когда прилетал в какую-нибудь геологическую партию к черту на рога — в горы или на берег Карского моря, непременно вооружался геологическим молотком и уходил с ребятами «в поле».

Ни у кого не складывались из вощеной бумаги такие аккуратные пакетики для образцов, никто не умел так каллиграфически делать на своих пакетиках надписи черной тушью. В то, что для других было привычным, будничным делом, Сергей празднично вкладывал неудовлетворенную страсть.

И, улетая в дальний лагерь, он никогда не забывал забежать в последнюю минуту на почту, проверить, нет ли там еще

[1] ОБХСС — отдел борьбы с хищением социалистической собственности.

какого-нибудь письма для ребят, к которым он собрался. Он придумывал для них приятные неожиданности. «Митька Шабалин жаловался, что шахматы из Ленинграда не взял,— припоминал Сергей.— Таньку Холщевникову дразнят пастилой безо-розовой; она пастилу любит, и сама на пастилу похожа...» Он забегал в лавку, покупал шахматы и пастилу на свои деньги, прыгал в кузов грузовика и уезжал к вертолету.

Строгая костромская старуха Кузьминична, которая прибирала в холостяцком общежитии, где жил Сергей, и поила ребят чаем, вечно ворчала, будто Сергей тратит на эти подарки все свои деньги.

— Что у тебя, в каждой партии девка есть, что ли? — удивлялась Кузьминична.— Как слетал, так и всё. Сидишь, голый чай хлещешь. А не умеешь деньги держать — на книжку ложи.

Сергей выхлестывал третью кружку чаю и уходил смотреть, какие привезли обои для нового дома.

— А свою комнату ты такими обоями оклеил бы? — жестко спрашивал он у десятника, ездившего за обоями в Воркуту.— Это если ребенок днем поглядит, его же ночью кошмары будут давить...

— Так других-то не было,— оправдывался десятник.

Сергей находил решение.

— Ты их давай наизнанку. А по ним — клеевой краской. Понял?

И бежал на разгрузку лабораторного оборудования, полученного из Москвы.

Такой был у Ачкасова заместитель, но все это я узнал про него позже.

Сейчас Сергей Ильич знакомился с Кузиным.

— Вот пусть сегодня и летит в Тад-Ягу,— сказал Сергею Ачкасов.

На лице заместителя отразилась сложная борьба. «Пусть» — это почти приказ. Но...

— Не возьмут,— сказал Сергей.— Рейс у меня полностью загружен, а вертолетчиков вы сами знаете.

— Чем загружен?

На людях Ачкасов разговаривал с замом так же отрывисто и резко, как двигался по кабинету, как отставлял стул. Привычная игра, она уже стала естественной для обоих.

— Посылаю продукты,—объяснил зам.

— И человека подсадить некуда?

Сергей повторил:

— Вертолетчиков знаете... Они ведь с карандашиком каждый килограмм подсчитывают. Математики...— Но тут же он их и оправдал: — В Тад-Ягу бензина приходится брать побольше.

— А если сотню килограммов сбросить?

Вот этого Сергей и боялся. Он комплектовал сегодняшний груз, словно укладывал собственный чемодан в дорогу: все казалось одинаково необходимым и срочным. Ачкасов угадал его мысли и усмехнулся. Сергею стало легче.

— Не хотелось бы,— возразил он и кивнул на Кузина.— Я его завтра постараюсь отправить.

Можно бы, конечно, возразить, что если завтра будет еще один рейс, то часть груза дождется его спокойнее, чем добирающийся до места работы новый водитель. Но Ачкасов решил не нарушать планов зама.

— Ладно,— согласился он. И велел Сергею Ильичу устроить Кузина на ночевку, обеспечить питанием и, как говорится, познакомить с обстановкой.

Геннадий Кузин ушел вместе с заместителем начальника экспедиции; я его не встречал больше. Он вошел в мой дорожный дневник в самом начале нового этапа своей жизни. Вошел прямой и открытый, легко сходящийся с людьми. Мы славно прожили с ним те два дня, когда наши пути случайно совпали. Мне очень хотелось бы проследить за его судьбой, слетать с ним в Тад-Ягу, написать, как устроился он на новом месте и нашел ли то, что искал. Но дорога строит сюжет книги по-своему; она приводит к тебе людей и уводит их как раз тогда, когда новые знакомые стали тебе интересны и тебе захотелось поближе познакомиться с ними и больше о них рассказать...

Секретарша соединила с кем-то телефон Ачкасова и, показавшись в дверях, назвала фамилию:

— Бычко на проводе.

К штабной обстановке шло и это.

Взяв трубку, Ачкасов отвечал упомянутому Бычко, что про катер он знает, что его рация держит с этим катером прямую связь и что через часок он вышлет вездеход в Лабытнанги.

— Приеду,— подтвердил он, заканчивая разговор.— У вас все?

И, положив трубку на рычаг все с той же отрывистой резкостью, будто трубка обожгла ему пальцы, обернулся ко мне:

— Теперь потолкуем с вами.

Бородачи продолжали заниматься своим делом.

## 2. Тундра, Ачкасов и немного воспоминаний

О полете на Большую Хадыту́ мы договорились быстро и без труда.

Ачкасов прикинул:

— Завтра, вы слышали, вертолет пойдет в семнадцатую и еще — в девятую. Послезавтра...

На ближайшие три дня приходился добрый десяток неотложных полетов.

На Ямал нужно было везти людей. На юге (юг у Ачкасова был, конечно, особый; к этому надо было еще привыкать: его юг лежал на сотни километров к северу от Полярного круга) — на юге нужны бурильные трубы. В шестую партию Ачкасов должен слетать сам. Там есть, кажется, интересные находки...

Я узнал, что со Щучьей реки нужно срочно вывозить повара Чуракова: у него болят зубы, а это в здешних местах нельзя оставлять без внимания; что на Байдарацкую губу полетят геофизики со своей аппаратурой, а одной этой аппаратуры хватит на два, если не на три рейса. В общем, выходило так, что вертолет можно будет выделить на несколько часов, необходимых для рейса к географам и возвращения в Салехард, только на четвертый, считая от нынешнего, день.

Мы договорились, и Ачкасов выписал наряд для пилота.

Снова приходила секретарша. Она сказала, что радист опять связывался с катером. Катер предполагает к двадцати трем ноль-ноль прибыть в Лабытнанги. Была еще «эрдо» (так называла она радиограммы) из шестой партии. Там уточняют находку. Пока все подтверждается...

Эту радиограмму она положила на стол, и Ачкасов нетерпеливо стал ее перечитывать, удовлетворенно похмыкивая.

Про катер же, который упоминался при мне уже не впервые, всякий раз говорилось с налетом некоторой таинственности и нервозности. Можно было заключить, что вниз по Оби спускается, надвигаясь на экспедицию, некое начальство, и атмосфера напряженного ожидания сгущается с каждой милей, пройденной катером. Взгляд секретарши явственно выражал сочувствие Ачкасову — ему, видно, предстояло сегодня еще много дел. Впрочем, никаких замечаний по этому поводу она себе не разрешила, лишь коротко осведомилась:

— Я могу идти?

— Конечно,— разрешил Ачкасов.

Шел седьмой час. Рабочий день окончился. Но июльский полярный день светил неугасимо.

Бородачи тоже зашевелились. Они стали собирать карандаши, сворачивать карты и прощаться. Ачкасов задал им несколько вопросов, те отвечали. Это был краткий разговор, почти сплошь состоявший из геологических терминов, непривычных географических названий, условных наименований той карты, над которой работали здесь геологи. Я смог уловить только то, что Ачкасов спрашивал, сколько сделано сегодня и много ли еще работы осталось. Геологи отвечали, что осталось немного и завтра, к полудню, карта будет готова.

— Мы пообедаем и вернемся,— пообещал старший из них, уславливаясь, где будет оставлен для них ключ от кабинета. Его борода была трехцветной: в рыжей и черной поросли пробивалась седина,— эта борода не была больше приметой нетерпеливой молодости, как у остальных, и, пожалуй, уже пора было сбривать ее. Но тут, наверно, действовала своеобразная диалектика: молодежь запускала бороды, поспешая к солидной мужественности, а старый геолог не брился, не желая прощаться с привычками легкомысленной юности. Теперь он замкнул неоконченные карты в сейф и вышел вместе с остальными.

О прерванной ими работе мы и заговорили с Ачкасовым.

Это была часть той большой геологической карты всего Советского Союза, о которой рассказывали в Москве, в Министерстве геологии.

Много ли места среди всех наносимых на карту огромных пространств нашей земли займет изображение — в сравнительно общих к тому же масштабах — района работ этой экспедиции?

Но там, где без нее лежал бы пусть небольшой, но белый, неведомо что в себе скрывающий клочок земли, мы увидим теперь щедрые драгоценные россыпи: приходи и бери.

Карта покажет нам месторождение железных руд. Оно еще не подсчитано в точности. Но руда по качеству хорошая, и можно с уверенностью сказать, что ее здесь много.

— Перспективное место,— коротко отмечает Ачкасов.

Дальше к югу разведан природный газ.

В изобилии есть здесь бурый уголь.

— Ждем бокситов.

Бокситы — это алюминий.

Ачкасов забегает мыслью вперед. Он и его товарищи «чуют» здесь бокситы, еще не увидав их глазами. Так показывает им, как сказал бы военный штабист, нанесенная на карту обстановка: в таких формациях, в окружении тех сопутствующих элементов, какие уже встретились тут геологам, непременно должен обнаружиться и алюминий. И поэтому слова Ачкасова об ожидании бокситов звучат уверенно.

Работа над картой подходит к концу, и это итог восьмилетнего труда геологов в здешних местах.

Первый итог.

Потому что работа не только продолжается — фронт наступления разворачивается еще шире.

Вот что рассказал в тот вечер Ачкасов, прерывая время от времени свой рассказ, чтобы снова выйти к радисту и узнать, как движется катер по Оби из Березова в Лабытнанги...

В составе экспедиции работает около двадцати отрядов и геологических партий. Радиус их действия — примерно до

пятисот километров от главной базы во всех направлениях. Впрочем, на север от Речной разведчики ушли еще дальше.

Бюджет экспедиции в нынешнем, 1958 году составил семнадцать миллионов рублей. На 1959 год экспедиция получит почти вдвое больше. Тут бухгалтерская цифра оказывается наиболее красноречивой: она сама говорит о масштабе работ, об их размахе.

Изменился самый метод поисков.

Раньше геологи по-кустарному, вслепую тыкались в случайные неразведанные места. Находка чаще всего бывала удачей — плодом «везения». Случалось, что богатое месторождение оставалось незамеченным, а отмечалось лишь тощее дальнее ответвление его. Бедная руда казалась нестóящей, и ее оставляли без внимания. А сокровище-то было спрятано рядом, но о нем никто не подозревал.

Теперь поиски ведутся последовательно: квадрат за квадратом. Это стало доступным благодаря развитию науки, благодаря новой технике, которой вооружен нынче геолог. Рассказывая о работе экспедиции, Ачкасов упоминал геофизиков и гравиметристов, магнитологов и сейсмологов; оказывалось, что и здесь, как во всякой почти сфере деятельности современного человека, действует содружество многих наук.

Гравиметрист знает законы земного притяжения. Отклонения от этих законов говорят ему о структуре пород, складывающих земную кору.

Сейсмолог пробирается в недра земли со взрывчаткой и слушает эхо глубинного взрыва. Кривая записанного его аппаратами звука ничего не скажет непосвященному: прихотливая, скачущая линия, и только. Но сейсмологу она покажет землю в разрезе: здесь звук миновал карстовые породы, тут его отразили известняки, здесь... «Да, вот к этому,— говорит он, всматриваясь в какие-то ему лишь понятные линии на кривой сейсмограммы,— к этому стоит приглядеться внимательнее...»

Так находят нефть и природный газ.

У экспедиции в Речной есть лаборатория, оборудованная на самолете: аэромагнитная съемка упростила доступ к самым дальним и трудным районам. Данные, полученные с самолета, поведут геологов наверняка. Одна из полевых сейсмологических лабораторий смонтирована на катере. Сейсмологи могут заглянуть не только под покров земли, но и под воду. Взрыв производится в глубинах Оби. Нефть может оказаться и под речным дном.

В прошлые годы, рассказал Ачкасов, разведка здесь была организована так: главное внимание уделялось какой-либо одной крупной поисковой партии. Остальные работали мелкими и слабооснащенными группами, ведя тот самый поиск наудачу, вслепую, о каком он рассказывал прежде. Теперь и сил

и техники хватает на то, чтобы на всем широком фронте одновременно вести рассчитанные далеко вперед, последовательные изыскательские работы. За геологами идут геофизики; они уточняют находки, наносят на карты точные контуры обнаруженных месторождений, рассчитывают их ресурсы. За геофизиками, когда наступит время, пойдут строители...

И еще одно, существеннейшее изменение.

Прежде работа геолога делилась на два сезона: летом — «в поле», зимой — в лаборатории. Нынче эти два этапа слились. Лаборатория находится не за тридевять земель, не в Москве или Ленинграде, как это обычно бывало, а тут же, на главной базе, на расстоянии часа-полутора воздушного пути от самых отдаленных отрядов. Образцы поступают сюда и исследуются еще тогда, когда геолог находится «в поле». Радио тут же сообщает ему о результатах. Если понадобится, геолог прилетит на несколько дней, посидит над микроскопом, над анализами и возвратится «в поле». И поэтому нет больше надобности прерывать все полевые работы на зиму.

— Геофизическую разведку,— говорит Ачкасов,— мы этой зимой собираемся продолжать. Зимой-то ведь у нас передвигаться даже удобнее. Пошлем санно-тракторный поезд. Работают же так в Антарктике! Может, видели, фильм такой был — «Шестой континент», кажется... В балка́х отлично можно оборудовать лаборатории...

Бало́к — так называется небольшой домик, смонтированный на мощных полозьях. По хорошему снегу сильный тягач может тащить за собой два-три таких домика. А что до снега, то уж чего-чего, а снега тут хватит...

Так вот, значит, как все это выглядит.

Самолеты и катера. Вездеходы и тягачи. Стационарные и походные лаборатории, оборудованные современной аппаратурой, в которой действуют электроны и полупроводники и еще невесть какие хитроумные вещи и которая способна на такую зоркость и тонкость, что могла бы показаться умнее и сложнее человека, если не знать, что человек сам ее выдумал и еще не на такое способен... Ну и, наконец, сами люди. Сотни людей, занятых разнообразнейшей работой: от постижения процессов, происходивших в земной коре миллиарды лет тому назад, до выпечки насущного хлеба. Профессора, которые с вечностью запанибрата (для них мамонты и ледники — ясные дела вчерашнего дня, о каких и толковать-то неинтересно: к этой поре все уже сложилось, все металлы и минералы были на нынешних своих местах, и мамонт включен ими в понятие «нашего времени»), и люди повседневного, будничного подвига: летчик, сажающий машину на незнакомом ему тесном озере, подрывник, бегущий на лыжах со взрывчаткой в заплечном мешке и со спичками в непромокаемом пакете... Все они, эти люди,

или, во всяком случае, подавляющее большинство из них, привыкли мерить свои дела так же просто, как только что прикинул по чужому примеру свой замысел Ачкасов: «Работают же так в Антарктике...» Они примериваются не по легкому, а по трудному: «Другие смогли же, почему и нам не суметь?» Эта формула укоренилась в нашей жизни. Вероятно, иначе и не могло быть в обществе, которое живет, имея перед собою осознанную ясную цель и которое так отчетливо видит свое завтра, что может торопить его приближение. Вспомните, как случалось вам идти от села к селу. В открытом поле путь долог и утомителен. Но показались дальние крыши, поднялся среди них колодезный журавль и — нет усталости, и, будто сам собой, невольно ускорился шаг... И именно благодаря тому, что стремление не отстать от ушедшего вперед вошло в привычку и задает скорость общему движению, так быстро становится у нас нормой то, что вчера еще представляло собой явление исключительное. Читаешь, что где-нибудь на юге сталевар, имярек, выжал за смену из своей электропечи на две-три тонны стали больше, чем давал прежде. Глядишь, месяца не прошло, а уже за сутки по семь-восемь тонн металла прибавляют десятки других сталеваров — под Москвой, на Урале, везде, где можно применить тот же метод. Имя первого еще остается славным: в нем продолжает жить инерция начального толчка — пример и призыв. Но есть уже кто-то другой, кто еще на полтонны, на тонну обогнал цифру, обозначавшую недавно наивысший предел, достигнутый одним только человеком на всю страну... Так и у хлеборобов и у доярок. Так у шоферов и лесорубов. Так и маршрут, за который когда-то группа летчиков получила самые первые Золотые Звезды Героев, превратился незаметно для нас в нормально действующую пассажирскую трассу, по которой можно слетать, не становясь ради этого жертвой кораблекрушения, но купив попросту билет в пассажирской кассе Аэрофлота...

Здесь, в Речной, жили люди того же обычая, той же закваски. Только обычай этот становился тут еще приметнее, потому что приметнее было само их дело: люди жили на самом краю дня; они шли, а за ними вставало солнце и оживала земля.

И когда в вечернем разговоре с Ачкасовым приоткрылась вот так жизнь на этом форпосте дружного похода в будущее,— все, что показалось прежде разрозненным и лишенным внутренних связей, приобрело вдруг общий смысл. В одно связались и хлопоты плотников, строящих напротив один из двух новых жилых домов поселка геологов, и жужжание возвратившегося вертолета, и доносящийся из-за раскрытого окна командный басок Сергея:

— А ну, мужички, раз, два, взя-яли!..

Он забрасывает на полуторатонку ящики с продуктами для обитателей Тад-Яги. Нужно спешить, вертолет уже садится...

Сергей захлопывает задний борт грузовика, лезет в кузов, машина трогается; радист за тонкой стенкой ачкасовского кабинета вызывает шестую партию: «Прием, прием...»; Геннадий Кузин проходит мимо — он возвращается из столовой с двумя новыми знакомыми; лежит рядом со свежей высокой травой ноздреватый нестаявший снег; женщина под самым окном окликает другую: «Вера Сергеевна, в магазин демисезонные пальто привезли, сходим посмотрим, а?»; напротив строится дом; жужжание в небе умолкло — наверно, вертолет уже стоит на шоссе... Все эти пестрые приметы складываются вместе,— как говорится, одно к одному: люди расположились в тундре домовито и прочно. Их победу здесь знаменует не торжественно воткнутое в снег древко привезенного с собой флага, не салют из поднятых к небу двустволок, но вот эта обыденность устоявшегося быта, обычность повседневных забот, обрывки линялой афиши давнего киносеанса рядом с незаполненным графиком соревнования строителей на размытой дождем и снегом фанерной доске.

Конечно, Ачкасов и его сподвижники не первыми пришли сюда и не первыми так прочно осели в тундре. Здесь и до них стояли селения с многовековой историей, со своим сложившимся бытом. Но можно сказать, не опасаясь впасть в преувеличение и исказить истину, что жизнь,— если понимать это емкое слово так, как привыкли понимать его мы, непременно включая в него созидательное деяние,— такая жизнь пришла сюда только в последние десятилетия вместе с людьми, которые, какой бы профессией они ни владели, были строителями по самому своему духу. До их прихода жизнь здесь была существованием. Существование подчинялось природе, определялось ее жестокими прихотями; вперед ничего не загадывалось, «день да ночь — сутки прочь» — недаром здешние заполярные день да ночь складывались в целый год... Строители пришли со своей мечтой, зажгли ею здешних исконных обитателей, превратили обитание в созидание, загадали жизнь на завтра и на послезавтра, наполнили существование целью и смыслом, проложили по тундре железную дорогу, превратили старый Обдорск — место купеческого торга с северными оленеводами и охотниками, поселение нескольких сотен людей — в город Салехард, центр национального Ямало-Ненецкого округа, с промышленностью, со школами и техникумами, с большим речным портом, с населением в несколько десятков тысяч человек, занятых разным — своим и вместе с тем общим — делом. А дело это, коротко говоря, такое: заставить тундру работать на коммунизм.

На форпостах, которые выдвинулись от Салехарда вперед, в тундру, это общее содержание жизни ощущалось еще приметнее; оно-то и объединяло все разрозненные приметы. И за обыденной устойчивостью быта не примолкало, а, напротив, пуще слышалось энергическое биение здорового пульса. Неустанно-деловитое шорханье и пыхтенье работающего движка словно отсчитывало над поселком мерные толчки крови в сосудах.

А нервная система этого организма — разветвленного, разбросанного на пространстве в сотни километров, протянувшегося в снежные горы и к холодному морю — сходилась в просторной четырехоконной ачкасовской горнице.

Если прикинуть все это по привычным меркам военной поры, выходило, что здесь находится штаб выдвинутой на передовую дивизии, со вклинившимися в тундру батальонами, с приданными самолетами, с наблюдательными постами и непрерывно действующими взводами разведки.

И тоже — как часто бывало в военную пору — в центре нервной системы всего этого организма стоял молодой офицер, сам прошедший школу наступления на передовой и быстро — через ступеньку — довольно высоко прошагавший по отвесной лесенке должностей и рангов.

Вот он, Ачкасов.

Как же прошел он свой путь?

Первое впечатление обмануло меня. Конечно, ему больше, чем двадцать пять.

Но и морщинки его, и вошедшая в привычку начальственная резкость, и набавляющая годы усталость в глазах тоже обманчиво преждевременны.

На самом деле Ачкасову — двадцать девять.

Он получил институтский диплом в 1953-м, пять лет назад.

Прошло немного больше года с тех пор, как он стал во главе крупной комплексной геологической экспедиции с годовым бюджетом почти в два десятка миллионов рублей, с обширным районом работ, с большим количеством очень разных — по уровню, по роду работы, по характеру и привычкам — подчиненных ему людей, которыми надо руководить в своеобразных условиях. Время успело показать, что он справляется с этой сложной задачей.

Среди научных работников экспедиции есть не только молодежь, вроде тех, что сидели над картой. И в Речной, и в отрядах и партиях, работающих в поле, есть геологи в годах, с именами, с известными научными трудами. Есть такие, под началом которых Ачкасов начинал работать, у которых учился. Что ж, они и прежде считали его способным; не ставят под сомнение его авторитет и теперь. «Начальник не должен знать больше всех,— говорят они.— Он должен уметь ориентироваться». Что же касается людей, занятых в экспедиции такими

делами, к каким Ачкасов раньше не имел никакого касательства, то и они считают молодого начальника толковым администратором: он умеет расспрашивать, советоваться и верно схватывать самую суть вопроса.

Так или иначе, а работа экспедиции стала при Ачкасове более четкой; отдельные звенья связались теснее, и вместе с тем виднее стали результаты. Взять хотя бы карту: за один последний год сделано по крайней мере столько же, сколько за семь предыдущих. Правда, нельзя все это относить за счет одних лишь личных способностей Ачкасова. Ему повезло. Назначение Ачкасова произошло в ту именно пору, когда и до геологов дошла реорганизация системы управления, упразднение ненужной, сковывающей централизации.

— Застал я еще это,— рассказывает Ачкасов, чуть даже поеживаясь.— Вы представьте. Я здесь вижу: в четвертом, к примеру, отряде интересные дела начались. Рапортовать рано еще. Конкретного-то пока ничего нет, но предположения интересные и небезосновательные... С разведкой торопиться надо: проворонишь время — значит, год потеряли. С природой хочешь не хочешь, а считаться тут приходится. Значит, я в отряд должен срочно людей подкинуть, снаряжения прибавить. Дорогу вот-вот развезет. Нужно успеть, пока снег на зимнике крепкий — машины проходят. Запоздал — значит, с вертолетом потом месяц провозишься, да и все это раз в десять дороже выйдет... Но решить сам ничего не могу. Надо, чтобы Москва скомандовала. Жди, пока там референт разберется — ему оттуда виднее... Разберется, доложит по начальству. Может, поддержит, а может, и не поддержит. Ну и придет разрешение расширять фронт работ как раз в то самое время, когда уже нужно начинать все планировать на будущую весну...

Он трясет головой, будто отгоняя дурной сон, и добавляет:

— Добро бы еще начальство было одно. А то ведь система подчинения у нас была такая, что хоть справочник себе составляй: кому и по какой линии ты подчинен, с кем что должен согласовывать и перед кем как отчитываться...

Он перечислил названия институтов и главков. Их в самом деле набиралось около десятка. Находились они не только в Москве, некоторые начальствующие инстанции помещались и в Ленинграде. Однако и те и другие были достаточно далеки от места работы экспедиции. Поддерживать с ними непрерывный контакт, завися от них во всех мелочах, было нелегко.

— Ну, а теперь?

— Теперь совсем по-другому. Многое можно решать на месте, без согласования. Ну и начальство... Во-первых, одно. Во-вторых, сидит поближе. Теперь проще...

Ачкасов рассказал, что все теперь «собрано в один кулак» и его экспедиция, так же как и несколько других, работающих

поблизости, подчинена новому управлению, созданному в областном центре — в Тюмени. Как складываются отношения? Нормально складываются. В управлении работают геологи, хорошо знающие местные условия. «Мы для них не пасынки. По-деловому сговориться всегда можно — тем более, что в мелочах сообща копаться теперь не приходится. Вот так!» — сказал Ачкасов и снова вышел к радисту.

Теперь ему пора было торопиться.

Надо перекусить, собраться и — на вездеход. «Вам ведь тоже в Лабытнанги? — спросил он.— Значит, вместе». Если минут через сорок выедем, Ачкасов как раз поспеет к прибытию катера. «Вот так!» — снова закончил он, и мы вышли, столкнувшись с возвращающимися на сверхурочную работу бородачами.

Он показал, откуда пойдет вездеход; мы сговорились о встрече. По дощатому — в две неширокие доски — тротуару Ачкасов пошел к своему дому.

Теперь я знал, что таинственный катер, чьи позывные так наэлектризовали атмосферу в Речной, вез по Оби то самое начальство из Тюмени, о котором мы только что толковали в ачкасовском кабинете. Выезд Ачкасова в Лабытнанги был частью «дипломатического протокола» встречи — обрядным действом. И, как всякий обряд, он требовал торжественности и... известного нервного напряжения.

Ачкасов и этот обряд совершает привычно, со знанием дела.

Нет, конечно, ничего удивительного, ничего из ряда вон выходящего в том, что человек в двадцать девять лет оказывается умелым администратором немалого масштаба, легко осваивается со всеми требованиями и тонкостями порученного ему дела.

Двадцать девять лет — не детский возраст.

На заводах к этому времени уже перестают называть инженера «молодым специалистом». В колхозе неженатый тридцатилетний бригадир или зоотехник уже вызывает сожаление: пожилой мужчина, а бесприютный. Если ему вздумается ухаживать за юной звеньевой, та удивится: «Вот уж от вас не ждала, такие солидные...» Разве вот только в искусстве можно проходить в «молодых художниках», «молодых актерах» или в числе поэтической молодежи лет до сорока, а порой и больше. Отчего это? Но ведь в искусстве так не всегда было...

Двое мальчишек прогнали мимо меня к речке старую автомобильную камеру. Из кино вышли люди. Солнце опустилось к горизонту, но не собиралось исчезать за ним: пройдет низко над тундрой и снова начнет возвращаться к зениту.

Я дошел до невысокого обрыва над речкой.

Под обрывом лежал снег, быстрая река вилась в зелени, вспениваясь на обкатанных валунах, валявшихся в русле.

Стало совсем тепло.

Поселок остался позади. Оттуда слышался работающий движок. Внизу возились ребята, сталкивая в воду камеру, привязанную к длинной веревке. Что это они придумали?

Но прежняя мысль не отставала.

«Ведь не всегда так было...» Когда Александр Фадеев напечатал «Разгром», его никто не называл «молодым прозаиком». Ему не было и двадцати пяти, но об этом просто никто даже не подумал, никому до этого и дела не было: жил, как жило поколение, написал о том, что перечувствовал и обдумал,— естественный багаж для двадцатипятилетнего человека... И читателя, взявшего в руки первый том «Тихого Дона», нимало не удивило, что автору и двадцати не исполнилось, когда он принимался за работу над таким романом...

Никто тогда не успевал ходить в «молодых». Работа не ждала. Торопило само время: «Давай покажи-ка, на что ты способен, и принимайся за дело».

Тут различие между тогдашним и нынешним понятно.

Иным тогда было самое вхождение в неустоявшуюся, взбаламученную, небывало яркую жизнь.

«Аттестат зрелости» чаще всего предшествовал учебе. Человек сперва утверждался как самостоятельная, зрелая личность, к тому же как личность сознательная, верная избранной идее, а уж потом начинал этот человек наверстывать то, чего ему недоставало: знания, привычку к систематичности, диалектическое понимание окружающей действительности. Он не успевал стать «молодым специалистом» своего дела, но просто работал — взахлеб, взапой — и становился «старым студентом», точнее «старым рабфаковцем», совершенствуясь в том, что начал по праву таланта.

Людей выносило как бы на гребнях неулегшегося шторма.

Но волны редко выносят неумелых пловцов.

Когда шторм затих, можно было приняться за тех, кто выплыл,— и пловца, стихийно вымахивающего здоровой саженкой, обучить законам дыхания и изяществу стиля...

Речь идет о так называемой молодежи в искусстве. Но замечали ли вы, что и теперь, в наши устоявшиеся, упорядоченные дни, вовсе не ко всякому автору первой повести, первого цикла стихов — независимо от возраста — и не всегда непременно приклеивается эта (похожая на предостерегающий знак на заднем стекле машины, чью баранку держит начинающий водитель) этикетка: «молодой прозаик», «молодой поэт».

Не так часто это, правда, бывает, но в тех случаях, когда за дебютом стоят и жизненный опыт и владение формой, как-то никому и дела нет до возраста автора. Молодой? Тем лучше. Но особого разговора это не стоит.

И, напротив, к иному эта этикетка («осторожно, молодой!»), рассчитанная, казалось бы, на недлинный срок — ну, скажем, от первой до второй книжки,— прирастает надолго и прочно. Напоминание про свою молодость-зеленость превращается в некий костылик: отними его, и подкосятся хилые ножки. И попробуйте приглядеться к любому из таких случаев: всегда одно и то же. Годы шли, а жизненного опыта не прибавлялось; мысли чужие, да и тех на грош; вместо неспокойного, ищущего мастерства — монотонное ремесло. А вместо молодости... так, черт те что, дряблая душонка под сивой щетиной...

Нет, Ачкасова, слава богу, не следует в таком смысле считать молодым, несмотря на годы.

Его однолетков можно встретить на самых крупных заводах — иногда главными инженерами, чаще начальниками цехов; их можно повстречать среди директоров совхозов и в райкомовских секретарских кабинетах в немалых и нелегких районах. И думается, что если за три-пять лет после нормально законченной институтской учебы молодому по годам человеку не так уж сложно пройти путь, подобный пути Ачкасова, то это само по себе убедительно свидетельствует о здоровом развитии нашего общественного организма. Значит, устойчивая упорядоченность не повлекла за собой косности. Значит, обилие возникающего нового не позволяет наслоиться неодолимой преграде для молодых сил: уживаются и старые и молодые, места хватает — казалось бы, ловчить, тесня друг друга, не надо. (И, значит, если существует карьеризм — а он еще существует,— то в нем проявляются дурные свойства данного человека, неправедное стремление занять неположенное по способностям место, но отнюдь не объективно вынуждающие к борьбе за положение причины, коренящиеся в общественном устройстве.) Почему же, однако, из всего выпуска, с которым учился Ачкасов, такой же примерно путь, как он, прошли лишь еще двое-трое его коллег? А остальные? Отчего они продолжают и сегодня делать то же, с чего начинал когда-то Ачкасов? Такие вопросы случается слышать нередко. Но это пустые вопросы. Порой за ними влекутся унылые выводы: «Одни ушли вперед, другие отстали. Одним много, другим мало. Выходит, то, что говорили нам в школе и пионерском отряде о пути, одинаково открытом для всех, на самом деле неправда». Так говорят те, кто, представляя себе жизненный путь, хотел бы увидеть и поводыря, который поведет их по этому пути за руку.

Но поводыря нет.

Открытый простор — это значит, что человек, созревший для путешествия, должен выйти за порог, обдуманно уложив

весь свой дорожный багаж. Ему осталось оглядеться, выбрать свое направление и пройти его до конца.

Верно выбрать и суметь пройти — тут решают склонность и талант, целеустремленность характера и дисциплина воли.

Скулят те, кто запутался у самого порога. Обидно ведь самому признаваться в том, что не хватило способностей,— ублаготворить себя ссылкой на объективную несправедливость способней и проще.

И тут снова приходит все тот же, все чаще и по самым разным поводам навертывающийся вопрос: «Ну, а тогда как будет?» При коммунизме — как оно будет возмещаться, это различие в способностях, в силе характера? Ведь не придем же мы к искусственному поравнению!.. Но, может быть, сила характера и не понадобится вовсе, так укатаны и легки будут все дорожки?

Но это, конечно, не так.

Думая о коммунизме — каким он будет и как станут при нем жить люди,— мы порой устремляемся в мир зыбких и туманных абстракций и представляем, что все тогда будет совсем по-иному и что не останется ничего похожего на нынешнюю нашу жизнь. Но ведь наивно представлять, будто все изменится сразу: наступит предназначенный день, другими проснутся люди и будет их окружать волшебно, за одну ночь, изменившаяся жизнь. Разве смогли бы мы год от году яснее ощущать приближение коммунизма, если бы не созревали исподволь рядом с нами его приметы, если бы не складывались уже начатки тех отношений между людьми, какие будут существовать и тогда? В пестроте жизни и ее повседневности разглядеть начатки нового нелегко, а оценить и понять их — еще сложнее. И не надо думать, что коммунизм — это синоним «легкой жизни» в упрощенном житейском понимании этого слова. Не надо думать и того, что всеобщая сытость повлечет за собой и всеобщее самодовольство, уничтожая соревнование в различных областях человеческой деятельности. Соревнование будет. А вот карьеризм, зависть, расталкивание соседей локтями, обманное суесловие вместо честного труда, стремление к месту не ради того дела, какое нужно на этом месте делать, а ради благ, с этим местом связанных,— вот эту старинную подоплеку злого соперничества общий достаток может истребить начисто...

Молодой город рядом. Потому, верно, так и напоминает здесь о себе завтрашний день.

И потому же, вероятно, резче шибает здесь и то, что кажется ненужным, зря сюда принесенным, отжившим.

В атмосфере молодого товарищества и живого, очень конкретного дела особенно приметна несуразность условной начальственной «надутости». И от преувеличенной ритуальности,

от перерасхода нервной энергии перед прибытием начальства — нет-нет да и покоробит тоже.

Конечно, старших надлежит уважать.

Конечно, правильно, что Ачкасов выедет в Лабытнанги, чтобы встретить там своего начальника. И очень хорошо, что за Полярным кругом, в низовьях Оби, можно пользоваться в деловой поездке личным катером, поддерживая в дороге радиосвязь с берегами. Но, дожидаясь Ачкасова, снова и снова выбегавшего в радиорубку, я порой не мог отделаться от коварного сомнения: а не подчинено ли в данном случае это техническое удобство ритуалу больше, чем делу?

Есть ведь в таком ритуале свое едва уловимое «чуть-чуть», свои почти неощутимые грани, пролегающие между искренней сердечностью и тем казенным «трепетом», который как бы обезличивает «подчиненного» перед особой «начальника». И с невольной ревнивой приглядкой хотелось следить: а не оступается ли Ачкасов, удерживаясь на этой тонкой грани — не слишком, правда, существенной для определения его деловых качеств, но весьма наглядной для постижения человеческой сути.

...Встреча как обряд — это мне запомнилось с детства.

Тогда был тоже июль, лето 1921 года. Родной мой украинский городок стоял (как, впрочем, стоит и теперь) у Днепра, на песчаных обрывах, там, где Днепр выходит из соснового бора на степное приволье. В лесу и в степи еще недавно роились бесчисленные «степные» и «лесные» кулацкие банды: Маруся и Ангел, Зеленый и Кривда, все они побывали в нашем городке, оставляя за собой пожарища и могилы. Но вот уже с полгода в город не врывались ни тачанки, ни всадники; с бандами было покончено. Стояли знойные и тихие дни. В полдень уездный военком Рябоконь выходил из военкомата на уличный солнцепек. На военкоме были желтые сапоги и алые суконные галифе с широкими леями из желтой кожи. Крепкое смуглое тело виднелось из-под распахнутой холщовой рубахи, заправленной в галифе. Над ухом, по синему бритому черепу, багровел свежий заживающий шрам. Рябоконь верил, что под солнцем шрам заживет скорее. Он усаживался на бревнах, сложенных еще до революции здесь, при дороге: прежний хозяин мазанного голубой краской домика, реквизированного под военкомат, собирался тогда что-то пристраивать к своим владениям. Военкомату места хватало. Бревна лежали без надобности. Рябоконь томился на них, выпростав рядом с собой деревянный футляр с маузером и опираясь на шашку с пышным пунцовым темляком. У противоположного конца бревна так же томился на привязи высокий гнедой жеребец военкома под кавалерийским седлом. Жеребец и шрам были получены Рябоконем в один день, полгода назад. В январские сумерки

отряд чоновцев догнал атамана Кривду у села Василицы. Кривда наскакал на Рябоконя и рубанул его, но сгоряча промахнулся, зацепив только кожу на черепе. Рябоконь застрелил атамана в упор из маузера. Жеребца Кривды Рябоконь взял себе и назвал Бандитом. Они подружились. Сидя на бревнах, Рябоконь говорил с гнедым, а Бандит косил на военкома влажным выразительным глазом и вздергивал кверху великолепную тонкую морду. Ординарец выносил из военкомата хозяйский самовар и ставил его в дорожную пыль. Рябоконь пил чай, кружку за кружкой, и вел беседы с Бандитом и с окрестной уездной живностью, вяло бродившей в жаркой пыли: со псом, курицей и вислобокой бурой козой. Военком задавал им несложные вопросы. «Что, жарко тебе? А?» — осведомлялся он у обессилевшего дворняги. А козу, которая обдирала с забора еще деникинских времен афишу «Гала-представления в пользу раненых воинов», он резонно поддразнивал: «Капуста, наверно, вкуснее?» И снова наливал в кружку кипяток из стоявшего на земле самовара.

То ли от времени, то ли вправду от солнца, шрам его заживал.

Никаких тревог давно уже не было.

Чоновцы возвратились к своим привычным трудам на махорочной фабрике, на гвоздильном заводе и на обеих лесопилках (только рафинадный завод еще стоял: упродком не мог наладить подвоза свеклы).

И вдруг в этом знойном затишье, что как бы легло рубежом между отгремевшей гражданской войной и еще не начавшеюся страдой утверждения новой, отвоеванной жизни,— в этой июльской уездной тиши прошел слух, будто проедет через местную станцию в специальном вагоне нарком Луначарский.

Рябоконь стряхнул дрему.

Томимый жаждой деятельности, он решил, что в революции (которую он искренне и по праву считал своею, нося еще с германского фронта партийный билет за подкладкой фуражки) наступил момент, когда ей, революции, понадобилась не только его, Рябоконя, солдатская отвага, но и фельдфебельская его любовь к «порядку», к «чину» — десятью годами царской солдатской службы вбитое чинопочитание.

Два следующих дня он прожил полной и деятельной жизнью.

По утрам, за час до начала «присутствия», в предвечерье, по два часа после окончания служебного времени, военком школил конторщиков и счетоводов первых уездных советских учреждений — упродкома и унаробраза, усовнархоза и утрамота.

Он учил их — хилых белобилетчиков, отринутых даже неразборчивой и жадной недавней войной,— рассчитываться «на

первый-второй», вздваивать ряды, поворачиваться налево кругом и согласно кричать: «Здравия желаем!»

Это происходило на плацу, обсаженном сухими и пыльными акациями. Плац пустовал с тех пор, как из соседних казарм выступили семь лет назад к Мазурским болотам стоявшие здесь сумские гусары. Еще догнивали оставшиеся после них пучки лозняка, связанного для учебной рубки, да посредине плаца торчала покосившаяся облезлая карусель, построенная предприимчивым балаганщиком при Петлюре. Но и карусель не собирала здесь столько зрителей, сколько сбегалось под сень акаций в часы учений, предшествовавших встрече наркома.

Гнедой Бандит радостно играл под оживщим хозяином. Рябоконь поднимал его на дыбы перед шарахающейся шеренгой.

— Глухонемые вы, что ли?! — кричал он, бледнея.— Губами шевеление делаете, а голосу не слыхать!..

Больше всего хлопот причинял военкому долговязый счетовод по фамилии Лящ.

За сутулыми плечами Ляща висело много лет беспорочной службы в местной конторе Азовско-Донского банка, в двухэтажном доме на главной улице. Лящ продолжал приходить в тот же дом и тогда, когда черная стеклянная доска банковской вывески сменилась железной табличкой уездного финотдела. Он садился на тот же стул, у того же стола, надевал те же серые сарпинковые нарукавники, придвигал к себе те же отполированные собственными пальцами счеты и писал те же аккуратные столбики цифр, словно не допускал никакого вторжения внешних событий в свой упорядоченный и тесный мир. На плацу выяснилось, что Лящ не представляет, как можно ходить, размахивая руками, — сперва левой, а потом правой. Если уж махать, то обеими руками вместе. А когда все поворачивались налево кругом, Лящ еще долго и сосредоточенно обдумывал, что же ему надлежит сделать в этот трудный момент. И его сутулая спина оставалась торчать среди лиц всей шеренги, освоившей наконец военкомовскую науку.

Этот феномен приводил Рябоконя в недоуменное оцепенение.

Очнувшись, он слезал с коня, подходил к Лящу и поворачивал его за плечи. Две пары страдальческих глаз встречались тогда взглядом. Но как они были непохожи! Укоризна — и беспомощность, обжигающий пламень — и тоскливая покорность...

— Ай-яй-яй,— говорил Рябоконь и долго качал головой из стороны в сторону.

На второй вечер он вывел Ляща из шеренги.

— Иди, друг, домой,— сказал Рябоконь.— Не будет из тебя человека.

Играл медный оркестр клуба совработников. Городские мальчишки под акациями беззастенчиво смеялись. Сутулый Лящ волочил ноги по просторному плацу, взметая облачка пыли и размахивая руками — обеими сразу.

На третий день учения были назначены в служебное время. И прямо с плаца Рябоконь повел своих выучеников к находившемуся оттуда поблизости вокзалу.

Железная дорога жила еще без расписаний. Но на этот раз поезда долго ожидать не пришлось.

Паровоз приволок десяток теплушек и один желтый вагон бывшего «второго класса».

Рябоконь кинулся к классному вагону. Дверь тамбура открылась, и в ней показался немолодой бритый человек, чем-то похожий на Ляща,— может, тем, что одет он был в такую же, как у Ляща, черную толстовку, повязанную узким трикотажным, в продольную белую полоску, галстуком.

Чеканный рапорт Рябоконя несказанно удивил его.

Между военкомом и проезжим состоялся короткий диалог, которого никто не мог слышать, потому что медь совработников гремела в полную силу.

Но зато все видели, что произошло в следующую минуту.

Рябоконь трижды поцеловал растерянного пассажира. Держа его в железных объятиях, военком поднялся на ступеньки вагона, втолкнул человека в толстовке в тамбур и плотно закрыл за ним дверь.

— Здравия желаем! — жалобно и нестройно воскликнули упродкомовцы и уфинотдельцы. К ним присоединился отлученный Лящ, стоявший в стороне, среди неорганизованных зрителей.

Рябоконь подал требовательный знак машинисту. Паровоз свистнул; желтый вагон вместе с теплушками покатился к Днепру. Дверь тамбура снова открылась, человек в толстовке что-то кричал, но клубные трубы заглушали его слова бравурным тушем.

— Ну вот,— неуверенно и совсем не командным голосом сказал Рябоконь и обмахнул раскрасневшееся лицо буденовкой, обнажая синий череп с пунцовым шрамом.

— Вольно! — скомандовал он затем как ни в чем не бывало и разрешил расходиться.

Сохранить в тайне истинный смысл происшедшего организатору встречи, однако, не удалось. В тот же день городок знал, что Луначарский действительно проезжал через ближнюю узловую станцию, но сворачивать на нашу ветку с проходившей стороной магистрали не стал ввиду совершеннейшего отсутствия надобности. Стало также известно, на чью долю пришлась горькая чаша незаслуженных, чужих почестей: к ночи доковылял в город с соседнего полустанка командиро-

ванный к нам за гвоздями кременчугский кооператор в черной толстовке. Военкому он старался на глаза не попадаться, но о вокзальном своем приключении рассказывал охотно и не без гордости.

Товарищи долго посмеивались над Рябоконем.

— Расскажи, как нарком у тебя рапорт принимал,— не уставал подзуживать его председатель ревкома.— Он ведь человек штатский. Небось выправочка тебе не понравилась, то-то ты поезд так срочно отправил...

Мне было тогда двенадцать лет. Я учился в трудовой школе с агрономическим уклоном. Летом мы работали на школьном огороде. Там было слышно, как двинулся с плаца оркестр, как протяжно и торжествующе заржал Бандит, резко стронутый в рысь Рябоконем, и мы, не сговариваясь, побросали лопатки и тяпки у сухих картофельных холмиков, подчиняясь неодолимому призыву. Нас возмущенно останавливал добрый седоусый воспитатель из старых земских агрономов, Кондрат Лукич Тищенко, именуемый по школьному обычаю того времени Колутищем, а иначе — Прозябением. Он приносил в школу и читал нам книжки, изданные полтораста лет назад и переплетенные в темную кожу, проточенную книжным червем. В этих книгах злаки нежно и жалостливо назывались «прозябениями»; Колутищ произносил это слово с любовной выразительностью. Он пытался объяснить нам тогда многое, что мы сумели понять лишь гораздо позднее. Он искал тайный смысл в самом названии Вольно-экономического общества, которое в XVIII веке печатало любимые его книги, не только не отставая от современной агрономии, но, по мнению Колутища, во многом предвосхищая ее. Теперь-то я понимаю, что и революцию Колутищ принял главным образом из-за того, что презирал прежних хозяев земли, с которыми довелось ему проработать лучшую часть своей жизни и которые не понимали землю и не любили ее, утратив то мудрое проникновение в законы произращения злаков, каким обладали их деды. Колутищ восторженно втолковывал нам, как философское постижение этих законов формировало и Радищева и французских энциклопедистов. Но, двенадцатилетние остолопы, мы ни черта не умели понять из его воодушевленных речей, предпочитая копаться в щедрых мальчишеских трофеях недавних битв, которыми завалены были наши парты, ранцы и домашние ящики. Колутищ был для нас добрым и смешным Прозябением, и мы не вняли ему, призываемые маршем на старый мотив «Белой акации» и торопясь поглазеть на первый опыт утверждения нового этикета.

То, как маршировали знакомые нам пожилые люди, как играл оркестр и как восхищавший нас военком целовался с неизвестным проезжим,— нам понравилось. Нам казалось, что все было правильно, торжественно и красиво. Очень

довольные, мы возвратились к тяпкам, картошке и всепрощающему Колутищу.

Несколько лет спустя в другом — большом — городе я слушал лекцию настоящего Луначарского. Но старое воспоминание мешало мне слышать и понимать слова: я пытался представить, как бы вот этот, настоящий Луначарский, отнесся к церемониалу, затеянному в его честь Рябоконем. И вдруг я понял, что вся эта старая забавная история оставалась бы сущим анекдотическим пустяком, если бы не таилось в ней под спудом нечто иное — существенное и важное.

Сам Рябоконь, его неутоленный поиск нового «чина» — вот что тут было на самом деле существенно и важно.

Собственно, Рябоконь был хороший мужик — искренний и храбрый солдат революции. Когда он шел за Фрунзе на Перекоп и потом, когда вел чоновцев против Кривды и Ангела,— Рябоконь твердо знал, за что дерется. Революционную идею он с помощью партии усвоил во всей необычайной, величественной ее широте. Крестьянин, солдат, он стал понимать смысл необходимых преобразований если не в «мировом масштабе», как тогда говорилось и думалось, то уж, во всяком случае, в масштабе всей своей отвоеванной земли, всего своего освобожденного народа. Но, постигая, что делать со всей землей, он еще оказывался беспомощным в собственном доме.

В области этической, эстетической он оставался в кругу лишь тех представлений, какими снабдил его собственный жизненный опыт.

Когда-то Рябоконь видел квартиру своего взводного офицера. Привыкшему в детстве к убожеству батрацкой хаты, а потом к бесприютной казарме, ему эта квартира показалась воплощением достатка, довольства, полноты жизненных благ. Теперь он сам получил квартиру бежавшего за Петлюрой богатого грабаря. В квартире оставались тяжелые резные шкафы, пузатый буфет — то же, что было у взводного. И Рябоконь уже сам стал искать плюшевые, с помпонами, покрывала для столов на несдвигаемых слоновьих ногах — в точности такие, как те, что всегда лежали на этих столах, покуда не прихватил их с собой грабарь-хозяин. Для Рябоконя вся эта добротная, тяжеловесная и пыльная прочность — с о л и д н о с т ь (вот оно, понравившееся ему слово!) — становилась как бы символом его нового общественного становления, его заслуженного, завоеванного подъема.

Предревкома, заходя в гости, подтрунивал над военкомом. Говорил про обрастание. Что-то даже поминал про мещанство. Но к столу садился с удовольствием. Уездные пайки были скудными. А Рябоконю земляки из ближней деревни подвозили то мучки, то картошечки, а то и сальца. И борщ у военкомши был вкусный.

Слова про обрастание и мещанство повисали шуткой.

Да и что мог предревкома предложить Рябоконю и его жене взамен того быта, какой у них заводился?

Сам он довольствовался аскетической неустроенностью холостяка-горожанина: пустая комната, солдатская железная койка, стол покрыт газетой в пятнах от керосина и воблы, книги на подоконнике и на полу, весь гардероб на одном гвозде. Тут была и застарелая бивачная привычка, тянувшаяся от студенческих меблирашек и ссыльных кочевий. Но была и доля сознательного протеста против мещанской духоты, осточертевшей ему с детства в отчем чиновничьем доме. Однако не мог же он всерьез требовать от Рябоконя, чтобы тот проникся такой же враждебностью к величественному буфету и мощноногим столам! С чего бы? Рябоконь встречался с этими самодовольными державными уродцами второй раз в жизни, и на этот раз чувство обладания приносило ему удовлетворение. Что же тут можно было поделать?

И предревкома с горечью признавался себе, что Рябоконь поднимается к мещанству. Для множества людей, которые до революции привыкли видеть мещанство над собой, это было неизбежно. Его эстетика неразрывно связывалась для этих людей с его сытостью. Жизнь заставляла их мечтать о сытости мещанства, лишая такой роскоши, как размышления об эстетике. Да, что тут можно было поделать?

— Но это только в быту,— успокаивал себя предревкома, глотая жирный и густой борщ.— Зато в остальном Тодось Рябоконь — отличный хлопец, идейный, горячий! Шкаф его не одолеет...

В основном он был прав.

Формы жизни не поспевали за новым ее содержанием. Вот в чем было тут дело.

Председатель уездного ревкома одного лишь не говорил себе — может, чувствовал, но не хотел говорить, не до того еще тогда было. Он не говорил, что рано или поздно, а стычка в таких случаях неизбежна. Мещанский шкаф требует для себя слишком много места: с идеями ему тесно, и когда-нибудь он попытается выдворить их из своего окружения.

Не знаю, как с Рябоконем,— я ранб потерял его из виду,— но знаю многих, кого шкаф сумел одолеть.

Что же до тогдашнего Рябоконя, то шкаф еще не смел посягать на его идеи. В полированной поверхности отражался незаживший шрам на синем черепе нового хозяина. Шрам был слишком свеж. С этим тягаться было пока рано. И все же исходившая от шкафа солидность, взяв себе в союзники остатки старой солдатской «словесности», крепко вколоченной когда-то в Рябоконя его взводным, стала по-своему влиять на привычки военкома и на некоторые его повседневные критерии.

Он начал чаще вспоминать о внешних формах субординации. Естественное проявление чувств, если это происходило не в кругу равных рангом людей, стало ему казаться неуважительным беспорядком.

Еще недавно забубенно смешливый, готовый до колик хохотать над незамысловатой шуткой и рассказывать у походного костра пересыпанные солеными прибаутками нескончаемо длинные окопные анекдоты-сказки — он теперь и смех свой почел «несолидным» (кроме как в кругу «ровни», за столом, на вечеринке уездного начальства). В обычной обстановке он лишь снисходил до шутки и похохатывал коротко, сдержанно и негромко. На шутку «снизу» он строго косился: чаще всего она казалась ему неуместной. Он насильственно укрощал свою страстную и непосредственную натуру, запрещал себе дружелюбную простоту, нес себя, не роняя, хотя опаска «уронить» была зряшней. Надуваясь, бессознательно равняясь на собственный шкаф и тем самым отдаваясь во власть его, он терял много больше.

Эта власть подчиняла себе манеру поведения Рябоконя, его быт, и он — применительно к шкафу — принимался вправлять новое, буйное содержание своей жизни в ветхие формы, которые ему подсказывал старый, узкий сословный катехизис.

Выходило, что забавный конфуз с несостоявшейся встречей наркома имел корешки, в которых забавного было не так уж много.

Эта старая история вспоминалась порой и позже.

Припомнилась она и в Речной, в кабинете Ачкасова.

Нет, в этом кабинете не громоздились претенциозные пустяки.

Напротив, Ачкасов сумел обставить свое рабочее место удобно и просто, не нагромождая вокруг себя ничего излишнего и тяжеловесного.

Но дело тут было не в обстановке.

Прощаясь с Кузиным, оставляя непосредственное, искренне возникшее в беседе дружеское «ты» и возвращаясь к привычной начальственной сухости, Ачкасов окликнул тракториста, пошедшего было к двери:

— Головной убор забыли.

И показал на стул, где лежала кузинская кепка.

Не проще ли так и назвать: кепку — кепкой.

И про ушедших из кабинета геологов он счел нужным объяснить, что вот, дескать, теснота заставляет... И добавил, что работа срочная, спешная — «даже и питание вовремя некогда принять». А оправдываться-то было ни к чему. Именно она-то и была хороша, эта атмосфера общей дружной работы. И то, что он всерьез, нешутейно, называет кепку «головным убором»,

а житейский обед «приемом питания», вызывало досаду. За этой тяжеловесной несвободной речи, за некоторой наигранностью движений и интонаций, за едва уловимыми, но все же несомненно существовавшими здесь искусственными усилиями, затраченными на создание дистанции между начальником и подчиненными, ощущалось пронафталиненное дыхание того же пузатого шкафа. От него когда-то пошел неписаный устав пережиточных сословных условностей. И он до сих пор продолжал навязывать людям свою сковывающую диктатуру.

Эстетические вкусы Ачкасова были свободны от этой власти. Это было очевидно. Откуда же подбиралась она к его этическим представлениям?

Немногое пока говорило о ее присутствии. Чуть-чуть было здесь излишне отчужденной (к тому же явственно нарочитой, преднамеренно тренированной) жестковатости, направленной «вниз»; чуть-чуть угодливой торопливости, устремленной «кверху», к подплывающему начальству. Вот все, что можно было в тот вечер приметить. И можно еще было порой ощутить, как — сознательно ли, нет ли — вытравляется в угоду условности та естественная непосредственность, какая лучше всего и во всех обстоятельствах способна сохранить человеческое достоинство.

Откуда же это шло?

Что-то могло гнездиться и дома, в разговорах и нотациях отца. Мог в школе попасться сухарик-вожатый: заготавливал ребятам казенные тексты выступлений, произносимых у электрического «костра» с бумажными полосками, раздуваемыми сухим вентиляторным ветром, причесывал отрядную газетку, ворчливо гасил «неуместные» улыбки и шутки. А может, то же было и в институте. Или, может, на первых шагах самостоятельной работы повстречался такой вот руководитель и бессознательно был воспринят как образец долженствующего «правильного» поведения. Разно могло тут быть, потому что живуча моль из старого шкафа. Вот и шкафа нет, а она, глядишь, и без него обошлась — угнездилась, мелькает, уворачивается. Попробуешь ее хлопнуть — на ладони ничего, а моль снова перед глазами...

На Севере воздух здоровый. Микробов в нем, говорят, нет. Может, и моль не уживется. Во всяком случае, серьезно говоря, именно здесь, где на каждом шагу встречаешься взглядом с блестящими юношескими глазами, где вся жизнь проникнута азартной вдохновенностью наступления и радостью только что пережитых побед, — здесь все создано для дружного делового товарищества и все протестует против затхлости, против пустой искусственности, против любых неделовых ухищрений служебной искательности...

...Под торфянистым обрывом, у беспокойно-говорливой речки, возились ребята. Они отпускали камеру на длинной веревке. Камера прыгала по валунам, вертелась в пене, поднималась стоймя. Ребята бежали за нею. Один скинул с себя разом штаны и майку, ступил в воду, взвизгнул от холода, выскочил на берег и снова ринулся в речку.

— Витька, мамке скажу! — крикнул было другой, но тут же и сам очутился в воде.

И уже все они плескались, вопили, выскакивали, бегали и боролись, согреваясь,— голые, в синей, покрытой от холода гусиными цыпками коже и беспредельно счастливые.

Был первый день, когда и заполярный июль вступал в свои права.

Часы показывали позднее вечернее время, пора было возвращаться в поселок. Солнце вовсю светило в блеклом и чистом, бездонно глубоком небе. Навстречу громче и громче татахкал неугомонный движок. Домовитые дымки стояли над трубами.

«Это ведь тоже Ачкасов»,— сказал я себе.

За всем этим был Ачкасов, были и другие. Дружное молодое товарищество. Веселые бородачи, вон тот подгулявший плотник, суровая костромская старуха Кузьминична из общежития холостяков. Жители.

Если и начнет тут заводиться что не надо — тундра уберет. А жизнь здесь правильная. Все в движении, в наступлении, в том же быстром течении, как тундровая речка, что мчится через валуны, нигде не прибиваясь под берег и не подергиваясь застойной ряской.

В поселке, у общежития, орудовал колуном, разбивая на щепки ненужный ящик, неугомонный Сергей Ильич.

— Заходите! — крикнул он. — Вы же ничего не знаете! Сегодня же нам молодую картошку прислали! Мы уже сейчас будем картошку есть. В мундире! Такое питание!..

Он едва уловимо подшучивал над кем-то, хорошо ему знакомым.

Это было славно.

Но на картошку в мундире времени уже не оставалось.

Мотор вездехода работал. На противоположной стороне улицы показался Ачкасов.

Мы сели в кабину, похожую на внутренность малого танка. Вездеход пошел. Мощеная дорога оборвалась почти сразу.

Тундра.

Шум мотора, лязганье трак не давали говорить. Можно было только смотреть.

Еще из школьных учебников я запомнил, будто бы картины тундры печальны и однообразно унылы. Если смотришь на серую фотографию, это кажется верным. Но здесь... Редкостной мягкости и нежности зелень была перед нами. Казалось, она

такой только что вышла прямо из-под снега и такой же, не успев пожелтеть и привянуть, снова уйдет под снег, когда оборвется короткое лето. Зацветали неяркие цветы. Речки возникали меж кочек, а порою внизу и вверху была одинаково легкая, студеной сединой подернутая голубизна чистых стылых озер и необычайно высокого и просторного неба.

Вездеход шел быстро. Под траки ложился, хрустко ломаясь, невысокий кустарник, и снова было похоже, что это такой вот особенный, без пушек и пулеметов, танк идет на свою передовую.

И для пущего сходства там, перед нами, утренняя заря схватилась с вечерней в беззвучной битве. На солнце наползли синие тучи. Из-за них рвались длинные пламенные языки. Свет не прятался, не покорялся. Солнце никуда не ушло. Оно вдруг поднялось над тучами и снова двинулось к закату, начиная новый день полярного лета.

## НЕЛЕТНЫЕ ДНИ

Четыре дня назад мы простились с Ачкасовым на пристани в Лабытнангах.

Катера еще не было, а белый теплоходишко на Салехард как раз отправлялся от причала, и я так и не увидел ачкасовского гостя, так и не узнал до конца всех красок и обстоятельств хлопотливой полночной встречи.

Допускаю, что оба — и Ачкасов и гость его — думали об этой встрече куда меньше, чем я. Для обоих это происходило естественно и непринужденно; шло, как повелось, как было принято, вот и все тут.

Теплоход, шедший в Салехард, назывался иначе, но был в точности такой же, как тот, что привез меня поутру в Лабытнанги, даже попадались среди пассажиров знакомые лица: тоже управились, видно, с делами и возвращались домой. Вот и я теперь о Салехарде, о своем гостиничном номере, в котором еще и получаса не успел прожить, думал уже как о своем доме, а Речная и Лабытнанги были мне лишь коротким дорожным пристанком, где все виделось новым и неожиданным.

Салехард я умел уже представить себе в точности: как выйду за портовый турникет, как поведет меня оттуда кверху старая лежневка, где меж досок выступает болотная тундровая вода, и какие стоят по сторонам этой лежневки двухэтажные деревянные дома и даже какие бегают там по доскам грязно-белые, чрезвычайно деловитые дворовые лайки с завернутыми в толстый бублик хвостами.

Конечно, это был уже дом.

Теплоход, несмотря на ночное время, был так же полон, как утром.

Но на этот раз мы возвращались в Салехард из Лабытнангов — из городского поселка, куда приходит поезд и где есть постоянная удобная связь с Большой землей. Поэтому среди окружающих преобладали теперь не ближние, едущие налегке

пассажиры — деловые мужчины с портфелями или женщины с авоськами,— но сошедшие с вечернего поезда серьезные дальние путешественники с дорожными пожитками, запрудившими все проходы.

Многие из них, вероятно, ехали на Север впервые.

Мне стало интересно вызвать на разговор кого-нибудь из таких новичков, и я подсел к семье, которая спустилась в кормовую каюту: мужчина лет тридцати пяти, моложавая женщина в городском пальто и в шелковом платочке и девочка лет шести-семи. Они сидели среди чемоданов, корзин и узлов.

Пересекая реку, наш теплоход забирал теперь кверху. Путь к Салехарду должен был быть еще на час длиннее, чем дорога оттуда в Лабытнанги. Ночное солнце держалось низко, за тундровыми кустами. Свет был белесый, вода и небо одинаково обесцветились, от реки тянуло свежестью; даже в каютке было прохладно. Спать не хотелось.

Разговор с соседями завязался легко.

Семья ехала из Архангельска. Ехала прочно. Был уже продан деревянный — «в три окна» — домик на Соломбале. («Со всей мебелью продали, не возиться же, — сказала женщина со счастливой легкостью освобождения, за какой угадывалась мечта о том, что теперь вся их жизнь пойдет по-иному и станет лучше, чем прежде.) Домик строил отец женщины; в войну он утонул на тральщике, расстрелянном неприятельской подводной лодкой; овдовевшая мать жила со старшей дочерью в Холмогорах; соломбальский домик перешел в собственность к младшей, но похоже, что в домовладелицы она не годилась и собственность тяготила ее.

— Завмаг один купил,— весело сообщила она,— сосед знакомый. Я объявление на стенку приклеила, а он приходит, уже и объявление у него в кулаке, сорванное. «Считай, говорит, договорились»...

— Ну и обставил он тебя,— хмуро заметил муж.

— Может, на сколько там и обставил,— так же беззаботно согласилась женщина,— зато волынки не было и — деньги на стол!..

«Будь моя воля, все было бы, конечно, сделано обстоятельнее и разумнее»,— говорил всем своим видом мужчина. Губы его оставались недовольно поджатыми, и на лице синела уже дня четыре не бритая в дороге щетина.

В отношениях этой четы довольно скоро можно было уловить своеобразный оттенок. Муж тут состоял на положении «слабого пола», жена верховодила в семье, приводила все в движение своей неутомимой энергией и деятельной волей, и вместе с тем, с истинно рыцарской самоотверженной широтой, умела она создать для мужа иллюзию его первенства

и самовластия, которое не всегда осуществляется лишь из-за недостатка времени и желания с его стороны.

— Папке нашему на новое место захотелось,— сказала она, косясь на мужа и одним движением сдвигая на плечи платок и открывая светлые волосы, уложенные вокруг головы толстой, туго сплетенной косой.

Выходило так, что стоило «папке» захотеть на новое место, и тут же Надежду (так звали женщину с косой) вызвали в райком партии и спросили, не хочет ли она перевестись на работу в Ямало-Ненецкий округ. Вот она и сделала так, как мужу хотелось: согласилась без разговоров. В самом деле, отчего бы и не поехать? Мужу-то в Салехарде работа всегда найдется. Он хороший моторист, работал в Архангельске на рыболовецких судах. «Тут за него обеими руками ухватятся, правда?» — сказала она с ободряющей уверенностью и опять покосилась на мужа. Поджатые губы его немного распустились. Он не сказал ничего, но видно было, что внутренне он вполне разделяет эту уверенность: да, если тут живут разумные люди, то они непременно должны ухватиться за него обеими руками.

Но переводили-то — я теперь уже знал это — не мужа, а жену. Какая же у нее специальность?

— Учительница я,— сказала женщина.

Постепенно выяснилось, что учительствовать она когда-то начинала на Печоре, в школе одного из ненецких поселков.

Там познакомилась с мужем: он пришел с рыбаками на путину.

Вместе уехали в Архангельск, жили там восемь лет в соломбальском деревянном домике. В городе знание ненецкого языка ей было ни к чему.

Но вот по какому-то поводу в райкоме «подняли» анкеты коммунистов-педагогов, нашли у Надежды упоминание о давней работе в ненецкой школе, вспомнили обкомовский запрос на эту тему (была, оказывается, переписка между Салехардом и Архангельском о том, чтобы помочь опытными педагогами ямальским национальным школам), и состоялся разговор, исход которого Надежда и выдавала теперь за волшебное осуществление мужниной сокровенной мечты.

Предложили — поехала.

Предложили — продала дом с обстановкой, собралась, связала узлы, обрядила дочурку и двинулась на новое место без оглядки и сожаления...

Что-то тут еще должно было быть.

Ну, «легка на подъем»...

Ну, рассчитывала на то, что в Салехарде будут приплачивать «северные», которые в Архангельске — городе старом и давно обжитом — не полагаются, а в Салехарде «пойдут» и мужу и ей. Был, верно, и этот деловой расчет.

Но в Архангельске жилось им, судя по всему, не худо и достаточно сытно, и вряд ли можно было одним этим расчетом объяснить быстроту и легкость решения, и живой блеск в глазах, и ту интонацию радостного освобождения и живой надежды, которая то и дело ощущалась в ее рассказе.

Что-то тут еще должно было быть.

Дорога была достаточно длинная.

«Что-то» успело обнаружиться в конце концов под спудом косвенных слов, оброненных супругами. И оказалось это «что-то» самой житейской пружинкой; она-то и ускоряла переезд, показавшийся Надежде избавлением от настигшей ее беды. Беда же состояла в том, что муж, по ее мнению, «попал в дурную компанию». Он чересчур много пил в последний год.

Все это было высказано при мне не в форме упреков; в разговоре Надежды с мужем и в том, как она поминала о нем в беседе со мной, не было ни злых, колющих шпилек, ни утомленного ворчания. Напротив, семейная история Надежды и ее мужа стала понятной из шутливых и беспокойно-ласковых фраз, где снова и снова подчеркивалось, что «муж всему голова» и что все будет очень хорошо — куда лучше, чем было прежде.

Говорила, впрочем, одна Надежда.

Девочка Валя, дочь ее, крепко заснула, пригревшись среди узлов, а муж — известный на Двине и Печоре моторист Семен Прокофьевич — участвовал в разговоре больше мимикой, видом своим изображая загадочность: «Поживем — увидим».

Я спросил у Надежды, где же рассчитывает она осесть. Ведь не ради же работы в самом Салехарде понадобилось ее знание ненецкого языка? А вдруг направят ее куда-нибудь в глубину материка, где не будет ни реки, ни моря, ни рыбаков?

— Нет,— уверенно возразила Надежда.

Она сказала, что когда ее будут направлять, то с семейными обстоятельствами непременно посчитаются, и тут же упрямо свернула разговор на проторенную дорожку: вообще, мол, дело не в ней. На Ямале больших ненецких рыбачьих селений много. Мотористы там нужны. А куда «папку нашего» пошлют, там и ей место найдется.

Говоря это, она снова пристально глядела в непроницаемое и небритое мужнино лицо.

И тут же Надежда перешла на незнакомый, жестковато звучащий для непривычного уха язык. Она обратилась к соседям, сидевшим рядом со мной.

Я сперва не обратил внимания на этих соседей, теперь пригляделся.

Иссиня-черные, прямые, блестящие волосы были особенно приметны — и у мужчины и у женщины. У обоих широкие

округлые лица с крупными, резко обозначенными чертами, с крутыми дугами скул. Но и эта широкая плоская округлость лица и непривычно преувеличенная резкость всего, что на этой плоскости выступало, не лишали лица соседки женственности. У женщины были очень живые, смешливые глаза и очень здоровый, кирпично-красный цвет лица. Но женственным был и мужчина. То есть, конечно, «женственность» тут не самое верное слово; он был похож на мужеподобную старуху, и в этом повинно было не столько лицо — желтоватое, морщинистое и почти безволосое,— сколько мелкоклетчатый старушечий платок, покрывавший голову под шапкой и завязанный у подбородка широко разлетающимися концами.

В хлопотах, которыми был полон мой первый салехардский день, я не приглядывался к лицам встречных; в Речной и вовсе не было времени оглядеться. Теперь я понял: ненцы. Это и есть ненцы, которых ожидал и хотел я увидеть, еще только добираясь до Салехарда. Я думал, что увижу их одетыми в малицы, пришедшими в город с нартами и оленями. Но на женщине было зеленое драповое, в рубчик, пальто; серый пуховый платок, как и у Надежды, сдвинут на плечи; на широко расставленных массивных ногах — блестящие резиновые боты. У мужчины под синим пиджаком синяя же, в мелкую белую полоску, косоворотка. Только вот голова убрана своеобразно, и я подумал: а не болят ли у него зубы?

Зубы у соседа не болели. Я еще успел потом насмотреться на эти платки. Оказалось, что они просто приняты здесь как деталь мужского одеяния, такая же, как пимы или малица. А может, даже и больше: не было же на соседе ни малицы, ни пимов, а платок был, и над завязанными его концами торчала обкуренная погасшая трубка; в каютке курить не полагалось, и пассажир привычно посасывал пропитанный табачным запахом холодный чубук.

То, что Надежда заговорила с ними по-ненецки, не удивило соседей. Среди здешних русских старожилов многие говорили и по-ненецки, и по-хантыйски, и на языках манси и коми.

Случалось в старину в Обдорске даже и так, что ненецкий язык приживался в быту иного русского дома; много сердитых записей есть по этому поводу у миссионеров, наезжавших в эти места лет двести назад.

В начале разговора я не только уловил приветствие, но и понял его.

— Дорово,— сказала соседям Надежда.

— Ань-дорово-те,— отозвались и мужчина и женщина.

Какая же старая русская форма угадывалась за словом, невесть когда вошедшим в обиход северных оленеводов (и не только ненцев, потому что в точности то же приветствие услышал я потом и в якутских селениях)? «Ан здорово-те» — ведь



33-Э

это еще новгородцы поздоровались так с ними века и века назад, и, наверно, дружелюбно, по-доброму прозвучали эти слова, пришлись людям по сердцу, раз оставили они их и для самих себя и вот уж веками привыкли встречать тем же радушным пожеланием друг друга. Только немного изменилось — приноровилось к здешнему выговору — звучание слов: смягчилось «н», исчезло непроизносимое здесь «з», но все равно узнается и согревает в чужом языке сбереженная весточка от тех, кто первым дошел до здешней далекой земли.

Но дальше слова перестали быть понятными.

Вот чему то улыбнулись все трое. Вот стали серьезными...

Вот о чем-то обстоятельно заговорил мужчина.

Семен Прокофьевич тоже слушал разговор и, видно, понимал его. Он наклонился ко мне и, легонько кивнув в сторону соседа, сообщил:

— Деловой...

Надежда услышала замечание мужа и быстро обернулась:

— Слыхал? Вот видишь! Только заговорила...

Разговор стал общим.

Надежда торжествовала: стоило ей упомянуть про мужа-моториста и про то, что он собирается в здешних местах работать, но пока еще ни с кем не сговаривался, как сосед сразу заинтересовался.

Евай Еволю — звали соседа.

Он бригадир в прибрежном ямальском колхозе. В Лабытнанги ездил по колхозным делам. Дел набралось много. Нужно было побывать и в порту, и на железнодорожной станции, и в строительном управлении.

— Однако, думал, не управлюсь маленько. Туда пойди, сюда пойди. А начальник не думал — Евай Еволю к нему приедет. Он меня не дожидался. Это мне его, однако, подождать надо... Там подожди, здесь подожди...

Бригадир рассказывал весело и неторопливо, довольный собой.

В Лабытнанги прибыл строительный материал, отпущенный их колхозу. Евая Еволю послали принять этот материал, сдать его на надежное хранение, организовать доставку в колхоз. И вот...

— В три дня управился, — сообщил Евай Еволю.

Бревна, доски и кровельное железо для постройки шести домов получены и заперты на складе. Вывозить их оттуда надо быстро. Деньги у колхоза есть. Мотодорю, то есть большую здешнюю рыбачью моторную посудину, давно собирались купить, не раз про это на собраниях говорилось. Вот вместе с мотористом и выбрать бы дорю получше, да так, чтобы уж моторист на ней и остался. А с первым рейсом и материал бы

перегнали... «Колхоз, однако, не бедный, жалеть не придется...»

Евай Еволю снимает шапку и развязывает платок. В руке появляется записная книжка, мусолится карандаш, делаются первые прикидки касательно дори, возможной ее грузоподъемности и веса материалов, которые надо доставить в колхоз. Евай считает привычно и быстро.

— Деловой, — повторяет Семен Прокофьевич.

На предложение бригадира он отвечает уклончиво, но от встречи в Салехарде не отказывается.

— Ты, однако, где жить будешь? — спрашивает Евай у Семена Прокофьевича.

Отвечает Надежда:

— А не знаем еще. Вещи пока на пристани в камере оставим. А там определят куда-нибудь.

Видно, что Евай Еволю опасается: не потерять бы след нужного человека. Он не только деловой мужик, но и настойчивый. Он говорит, что пусть тогда моторист сегодня придет к нему. А найти его легко: в Салехарде он живет в Доме народного творчества, как раз напротив гостиницы «Север». Дом сейчас закрыт, и там поставили койки для приезжих. Сегодня же пусть и приходит.

— Завтра, — возражает Семен Прокофьевич. — Сперва осмотреться надо.

— Осмотреться, — задумчиво повторяет Евай, будто разжевывая непривычное для его слуха слово. Но смысл слова ему понятен. Он соглашается: — Однако, маненько осмотрись...

Мотодорю для покупки он начнет искать уже сегодня, а назавтра с утра будет ожидать Семена Прокофьевича.

Надежде разговор нравится.

Уже возникают какие-то ниточки, начинающие связывать ее с почвой, на которую она еще не ступила, с местами, которые она еще не вполне себе представляет. Запоминаются адреса, назначаются деловые встречи...

И ненцы-попутчики нравятся ей тоже.

Пока муж ее толкует с Еваем, Надежда торопливо шепчет мне:

— Вы не знаете, какие это люди хорошие. Вот говорит он с тобой и — весь тут. Ничего не спрятано. Что подумал, то и сказал... Открытые они очень и честные...

Надежда заговорила с женщиной. Я-то подумал сперва, что она жена бригадира Еволю и ездила вместе с ним. Но оказалось, они просто из одного колхоза и в Лабытнангах повстречались случайно. Мария Окотэтто работает в оленеводческой бригаде, а теперь возвращается из Нарьян-Мара, с краткосрочных ветеринарных курсов.

За иллюминатором тянулся все тот же низкий, вровень с водою, берег. Шел второй час ночи. Солнце поднялось выше. На гладкую воду легли теплые розовые отсветы, винт теплохода отслаивал тонкие текучие пласты, они ширились, ширились и бесшумно накатывались на берег, пропадая в траве.

Прошел встречный буксир с глубоко сидящей баржей.

Косо черкнула чайка, падая к реке — вдогонку мелькнувшей у поверхности рыбе. Птица промахнулась, снова взмыла вверх, и ее злой, резкий вскрик слился с гудками, которыми поздоровались буксир с теплоходом.

Мария показывала Надежде купленную для сына игрушку: большого резинового крокодила. Мария надувала его, потом выпускала воздух и веселилась, когда большая игрушка опять становилась плоской и легко укладывалась в чемодан, к книжкам с нарисованными на обложках зелеными оленями и с непонятными мне, хоть они и напечатаны были русскими буквами, ненецкими словами названий.

Женщину забавляла не только игрушка.

Она радовалась, вспоминая о сыне и представляя, как удивится тот превращению плоского куска резины в невиданного на Оби странного зверя.

...Полвека назад, когда ненцев еще принято было называть «самоедами», писатель Н. Гарин записывал в своем дорожном дневнике:

«Я вспоминаю самоеда Архангельской губернии, когда впервые, в дебрях северной тундры, я увидел его, вышедшего вдруг на опушку своей тундры. Неподвижный, как статуя, в своем белом балахоне, таком же белом, как его лайка, его белый медведь, его белое море и белые ночи, безжизненные, молчаливые, как вечное молчание могилы. Не жизнь и не смерть, не сон и не бодрствование, не конец и не начало — мертвая полоса, и в ней вымирающий самоед. Их тысяча или две, и не родятся больше мальчики.

— Надо, надо мальчиков, — говорит тоскливо самоед.

Но мальчиков нет, а рождающиеся изредка редко выживают: и мальчики и девочки — все умирают от той же черной оспы, и напрасно в опорожненную меховую торбу мать сует новое свое произведение — оно заражается».

В этой картине белый цвет — как в Корее, которую тоже видел Гарин, — становится цветом траура.

И, видно, долго ныла и мучила душу писателя память о злосчастии маленького северного народа, потому что лишь годы спустя после путешествия на Север и совсем в других местах вспомнил он и записал эти свои горькие слова о вымирающих самоедах.

Но слова, сложенные как реквием маленькому народу, принадлежат теперь, слава богу, истории. А история сорок лет

назад так же круто повернула пути людей на севере старой России, как и во всех других ее местах. Вот-вот должен был вымереть, исчезнуть с лица земли ненецкий народ — не зря Гарину виделся этот трагический близкий конец. Но революционный поворот и ненцев вывел из «мертвой полосы», и белому цвету Севера вернул свет жизни.

Нынче в тундре живет около двадцати тысяч ненцев. И мальчики у них рождаются. И о черной оспе напомнит порою разве только изрытое буграми лицо старого оленевода; уже по крайней мере три десятилетия ненецкие стойбища не видели черной оспы.

...Теплоход вышел из рукава на широкое русло невдалеке от того места, где река разливается надвое и уходит влево Хаманельской Обью, а направо Обью Надымскою.

Мы шли в середине русла, и оба берега теперь едва виднелись.

Впереди что-то сверкало. Это ночное солнце играло на высоких резервуарах с горючим близ Салехардского порта.

Но самый порт еще увидеть было нельзя, путь до него оставался не близкий.

В каютке стало жарко.

Надежда и Мария Окотэтто продолжали негромкий разговор. Крокодил снова лег в чемодан. Семен Прокофьевич спрашивал у Евая, каков был в прошлом году трудодень у колхозных рыбаков, и тот отвечал обстоятельно и удовлетворенно. Было слышно сонное посапыванье маленькой Вали.

Я оставил попутчиков и поднялся на палубу.

Солнце уже пригревало, а свежий речной ветер как бы снимал с лица солнечное тепло, и оно не успевало стать жарким.

Утро начиналось отлично.

Невысокий гибкий паренек с сосредоточенной серьезностью дирижировал хором: второй парень и три девушки расселись у кормового флагштока. Исполняли они любимую многими поколениями русских студентов украинскую песню «Ой, що ж то за шум учинився».

Скривившись, точно от зубной боли, дирижер укорил коллегу, старательно выжимавшего басовое рокотание из своего ломкого тенорка:

— Ну и выговор же ж у тебя жестокий!

По мягкому «г», по тому, как он произнес «выговор же ж», несложно было угадать в дирижере коренного украинца. И точно так же угадывался коренной ленинградец во втором пареньке — по бледной и тонкой коже лица, по белесым ресницам, по мягким волосам, которые, как хотел, трепал речной ветер; наконец по тому едва уловимо обесцвеченному, словно отполированному и лишенному каких бы то ни было местных примет говорку, какой свойствен именно урожденным ленин-

градцам из семей, где старики еще любят называть себя «петербуржцами» или «питерцами». Он и в украинской песне произносил привычно, по-русски, окончания слов — «учинился», «оженился», — доставляя тем самым почти физическое страдание своему приятелю.

— А ты терпи, Терещенко, — мирно утешал его белобрысый, — запорожцы не то терпели...

Все засмеялись, и песня оборвалась.

Туристские рюкзаки лежали в ногах у хора.

Ребята ехали налегке, как ездят студенты на практику.

Когда я заговорил с ними и спросил, куда и зачем они едут, Терещенко таинственно-мрачным шепотом объяснил:

— Звероводы мы...

У него выговорилось «звироводы». И это «и» прозвучало с напевной протяжностью, а лицо при этом приняло такое угрожающее выражение, будто в рюкзаках они везли живых тигров и могли выпустить их в любую минуту.

Но ехали они заниматься не тиграми, а песцами. Ехали из Ленинграда на студенческую практику. Ребятам было известно, что самая дальняя из здешних песцовых ферм находится где-то на самой северной оконечности Ямала, в местах, где в начале тридцатых годов находилась одна из первых комсомольских полярных зимовок. И все пятеро хотели попасть именно туда.

Потом они пели вперемежку старые песни, и фронтовые песни, и переделанную на свой лад песню, которая удостоверяла, что они действительно не кочегары и не плотники, но звероводы и таежники. Пели то весело, то задушевно, и Терещенко уже не дирижировал, а запевал сам, и у него оказался довольно сильный и славный баритон. На корме собиралось все больше народу, и я еще успел познакомиться там с плотником Сергеем Панковым, который ехал к брату, тоже плотнику, живущему в Салехарде уже третий год и довольному жизнью; с молодым парикмахером Игорем, местным жителем, припявшимся с горячностью объяснять Сергею, как отыскать брата в незнакомом городе, и успевшим вконец запутать беднягу; со счетоводом почтовой конторы, который проводил в Лабытнанги, к поезду, гостившую у него мать и возвращался домой, жалуясь на то, что не выспавшись придется идти на работу. Петр Петрович и Петр Сергеич — так обращались друг к другу два обстоятельных, в летах, человека, донашивавшие упраздненную форму без петлиц и нашивок, — оба были лабытнангскими транспортниками: один — железнодорожник, другой — водник, и оба корпели над конспектами, готовясь к совещанию в окружкоме, куда их вызвали вчера телефонным звонком... Пассажиры как пассажиры. И знакомства по большей части без примет какой-либо необычайности и экзотики. Пригородный

рейс, ощущение близости нормально живущего города и — после солнечной ночи — наступление обычного летнего дня.

Так и окончилась вторая переправа через Обь.

Когда пассажиры вышли за ворота речного порта, Салехард еще спал.

И все было, как запомнилось, как представлялось в дороге.

В прямой улице, уходящей кверху, двухэтажные деревянные дома отбрасывали длинные тени на дощатую лежневку. Кончился некрутой подъем на прибрежный пригорок. Ровная широкая улица легла теперь плоско. Между лежневкой и узким — в три доски — тротуаром росла трава. Свежая афиша на заборе сообщала, что в окружном Доме народов Севера труппа Тобольского драматического театра покажет нынче вечером «Тристана и Изольду». За забором строился большой бревенчатый дом. Подальше — второй. Строителей еще не было на площадках в этот ранний час, но имена бригадиров, цифры и сроки их обязательств читались на кумачовых полотнищах, прибитых к светлым бревнам: деревянный город строил новое жилье, стараясь не отставать от каменных своих собратьев. Нужда в площади была тут не меньшей. Конечно, строительный материал другой; но жить в деревянном доме можно так же удобно, как в кирпичном или железобетонном.

И кстати, деревянный северный город, даже в безлесной тундре, всегда имеет свои неповторимые уголки — уютные и покоряющие душу. В Салехарде так влечет к себе небольшой квартал рядом с построенным на старинный лад просторным бревенчатым домом, обшитым тесовыми досками и крашенным белой и голубой краской, где разместились Ямало-Ненецкий окружком партии и окружной исполком. Улица эта тиха, мостовая ее похожа на деревянный пол в прибранной и чисто подметенной горнице. (Вот написал «мостовая» и усомнился было: а можно ли этим словом назвать дощатый настил? Но тут же вспомнилось, что и «мост», и «мостить», и «мостовая» — все эти существительные и глаголы живут именно с давней поры деревянного строения и лишь потом перешли на булыгу, на асфальт, на каменные опоры и металлические арки; а в Новгороде археологи откапывают из-под земли как раз такие вот мостовые, как та, что прячет под собой на салехардской улице зыбкую тундровую почву.) Тут, на этой недлинной улочке, есть и палисадники у домов, с посаженными кем-то и заботливо выхоженными кустами. А рядом, за аккуратным и свежим, как внутренняя выбеленная стена, забором зеленеет в неглубоком овражке — тоже искусственно выращенный — городской сад. Только потолка нет над улочкой-горенкой. Над ней опрокинулось глубокое северное небо, и вечерами на мостовой-полу гулко стучат шаги: парни и девушки спешат в городской сад; там сколочена танцплощадка и рядом с нею —

деревянная раковина, где по субботам и воскресеньям играет баян, а в другие вечера — радиола. И солнце не заходит над этим садом даже ради тех, кому его вечерний свет над скамейками совсем некстати.

Я видел эту улочку только летом.

А зимой нет, верно, ни сада, ни улочки-горенки. Всюду снег. В снегу прокопаны неширокие коридоры, и шаги людей, обутых в пимы или валенки, откликаются тогда не дробным стуком, а звучным, протяжным скрипом...

Сейчас в улочке-горенке тоже пусто и чисто.

Только у деревянного крытого рынка начинается ранняя городская жизнь. Останавливается оленья упряжка, и две женщины со скуластыми, изжелта-смуглыми лицами, одетые в темные — мехом внутрь — малицы, снимают с нарт корзину с крупной, свежей, по-рыбацки едва подсоленной нельмой. Разрубленная рыба розовеет и золотится. Еще привезли женщины на продажу несколько пар «чижей». Это невысокая обувь для ребят, шитая из «камуса», то есть из кожи, содранной с ног оленя. По светлому, отливающему серебром меху вышит скромный красно-белый узор... Несут еще рыбу. Пыжьян (скорее похоже на фамилию), сырок (название вызывает в памяти прилавок молочного магазина, изюм и цукаты, но здесь оно обозначает крупную и необыкновенно вкусную в горячей ухе рыбу), вездесущий, отливающий радугой окунь... Несут корзинки с яйцами и бидоны с молоком. Только зелени не видно, а то ничем бы не отличался этот рынок от любого другого. Стоит поодаль такси, и широкоплечий усатый мужчина уговаривает шофера:

— Кабанчика, понимаешь, привезти надо.

— Не повезу я твоего кабанчика в легковой машине, — не сдается шофер. — Он мне всю кабину изгадит.

— Кабанчик?! — искренне возмущается усатый. — Он же чистенький. Вчера закололи.

Все это — и «кабанчик», и «чистенький», и «вчера закололи» — произносится с нежностью. Кажется, шофер должен бы почувствовать, что он сделает святое, доброе дело, если привезет сюда на продажу такого славного, такого дорогого усатому человеку, такого чистенького кабанчика. Но тот остается неумолимым. Если везти, то в грузовой машине, а грузовые еще с базы не выходили...

Знакомые собаки хлопочут на лежневке. Они куда-то бегут, деловито встречаются, обнюхиваются, небрежно приветствуют друг дружку коротким вилянием хвоста, даже не распрямляя для этого закинутый на спину кудлатый бублик. Это прямые потомки серьезных и работящих ездовых псов, выродившихся в бездельничающую уличную свору. Вряд ли кому-нибудь из них довелось побывать в упряжке. И похоже, будто сами они

этого стыдятся и оттого изо всех сил стараются изобразить преувеличенно-неуемную деловитость.

В гостинице «Север» дверь еще заперта.

Стоит ли звонить, будить дежурную?

Можно пройти прямо на аэродром, передать вертолетчикам наряд и сговориться с ними о полете в горы. Вертолетчики уже, наверно, проснулись. У них день начинается рано.

Салехард построен как бы углом. В вершине этого угла, при впадении в Обь реки Пóлуй, лежит старая часть города, речной порт и административный центр. Вниз по Оби — консервный завод со своим поселком. А вверх по течению Полуя, на правом его берегу, — новые кварталы, называемые «вторым отделением»: коттеджи, клуб и больница, редакции двух газет — ненецкой и русской (обе называются «Красный Север»), и в здании, построенном под депо не дошедшей сюда железной дороги, — гараж городской автобазы. Оттуда как раз и выезжают сейчас навстречу, грохоча по прыгающим бревнам лежневки, три грузовых такси. Наверно, первому из них суждено отправляться за «чистеньким» поросеночком...

Между всеми тремя районами, заполняя собой незастроенную площадь внутри угла и прилегая к еще одной речке — Шайтанке, раскинулся большой пустырь. На нем пасутся коровы, принадлежащие ферме городского отдела снабжения, и стреноженные лошади — транспорт консервной фабрики; в овражках, в нестаявшем снегу, блестит битое стекло и жестяные банки, а у самой Шайтанки обвисло на мачте черно-белое осиное тулово полотняного «ветродуя»; там стоит ушедшая в землю халупа с пристроенной к ней невысокой деревянной башенкой, и вокруг, на непросохшем и вязком еще пустыре, виднеются колесный «антон», маленький санитарный «ЯК» и вертолет, над которым только что начали шумно раскручиваться куполообразные лопасти.

— Раскочегариваем, — объяснил, поздоровавшись, чернявый худой паренек. Он сидел подле вертолета на баке для горючего и зачищал какие-то контакты, из чего явствовало, что он механик. Остальные члены экипажа были внутри машины.

Потом лопасти остановились. Пилот спрыгнул на землю. Он был так же молод, как и механик, — небольшой, прочно и ладно сбитый. Фамилию, знакомясь, он пробурчал невнятно, но вскоре выяснилось, что звать его надлежит Славой. Так обращались к нему все.

Наряд он взял и сунул в карман.

— Главное, чтоб погода продержалась. А то начнут переходить задания с одного дня на другой...

Интонация не обещала ничего хорошего. Было ясно: в то, что полет состоится, как обещано Ачкасовым — через три дня на четвертый, — Слава не верит.

Если вам повстречается летчик, испытывающий недоверие к дальним дорожным планам, к попыткам рассчитать течение событий, заглядывая на несколько дней вперед, — знайте: скептицизм воспитала в нем метеорология.

Когда мы познакомились со Славой, утро стояло отличное.

Солнце поднималось в безоблачном небе.

Но Слава глядел куда-то далеко, за Обь.

— Видишь? — спросил он.

Там синели невысокие горы. Вершины их казались расплывчатыми, будто размытыми в небесной сини. Стоило приглядеться внимательнее, и становилось понятно, что весь Полярный Урал накрыт сплошной темной тучей с рваными белыми краями. Нечего было и думать, что в такую тучу может быть впущен метеорологами стоящий рядом маленький вертолет.

— И долго это может держаться?

Я старался задать вопрос беззаботно и легкомысленно. Вряд ли это мне удалось.

— Неделю может. Может, и больше, — черство ответил Слава.

Он взглянул на часы и послал своего «второго» к диспетчеру, за погодой.

Несмотря на круглосуточный день, погода для вылета давалась только с шести часов утра по московскому времени. На этот раз вертолетчикам нужно было лететь на юг — тот самый условный здешний «юг», о каком поминал в Речной Ачкасов; день там был такой же, как и здесь, — ясный, безветренный; «второй» возвратился быстро, лопасти завертелись снова, и я не успел заметить, как остался один на пустыре, возле порожнего старого бака.

С этого утра жизнь моя потекла неопределенно и зыбко.

Все теперь зависело от погоды.

В Салехарде дни стояли безоблачные и почти жаркие. Но не это называлось погодой. Слово «погода» относилось лишь к метеорологическим условиям на сегодняшней трассе вертолетчиков. Выпустят ли их туда, где должны они нынче выполнять очередное задание? Сократится ли срок до нашего вылета на Ханмэй — к восточным вершинам Полярного Урала?

Ровно в шесть по московскому времени, в ту самую минуту, когда Игорь (так звали «второго») должен был отправляться к диспетчеру перед полетом, я просыпался в гостиничном номере, словно разбуженный звонком будильника. Если вертолет взлетал, его ворчливо-бубнящий рокот ясно слышался над утренним городом, и казалось, будто он недовольно всем сообщает: бру́м-брум, бру́м-брум, и́-ду в ту́н-дру... И сам вертолет виден был в небе. Неторопливый, похожий на сытое насекомое

с пухлым отвисающим брюшком и длинным тонким хвостом, он шел к Оби, чтобы начать свой трудовой день с посадки в Речной, а уже оттуда, с людьми и грузом, лететь на дальние стоянки геологических партий, возвращаться в Речную и опять улетать по новому маршруту. Под вечер ворчание вертолета снова слышалось над Салехардом: трудовой день окончился, вертолет возвращался на отдых, но он ворчал так же хмуро и недовольно и отчетливо выговаривал те же слова, хотя на этот раз сообщение, будто бы он «идет в тундру», было явной неправдой. Просто у него был дурной, сварливый характер.

Но еще хуже было, когда ворчание мотора вовсе не нарушало тишины раннего салехардского утра.

Тут уж ничего нельзя было с собой поделать; оставалось лишь плестись через овражки и буераки на аэродром, зная, что прогулка не сулит никаких неожиданных радостей. Вертолет будет стоять на месте, и экипаж, не получив сегодня погоды, начнет возиться возле машины, делая все, до чего «руки не доходили» в страдные дни полетов...

Экипаж — это четверо славных и дружно живущих ребят; каждому лет по двадцать с небольшим.

Сами они себя называют: «ветролетчики».

Слава серьезен, обстоятелен, почти всегда сосредоточен. Он — единственный в четверке «женатик».

Собственно, жену его — Веру — можно считать пятым членом экипажа. Когда в воздух не выпускает погода и «ветролетчики» остаются в Салехарде, они держатся все вместе, и Вера тоже не разлучается со всей четверкой.

Как это часто бывает даже и в молодых семьях, они со Славой во многом похожи. Вера так же уравновешенна и обстоятельна; она спокойна улыбчиво и весело, как бывают спокойны молодые женщины, вполне удовлетворенные сложившейся жизнью. Конечно, она волнуется, когда Слава уходит в полет, но ее волнение высказывается лишь в том, что Вера старается тогда держаться поближе к диспетчерской вышке, и когда там на деревянном балкончике появляется Степан Фомич, пятидесятилетний вылетавшийся летчик с непокрытой лысиной и добрым морщинистым лицом, с колодкой линялых орденских ленточек, пристегнутой вверх ногами к старой кожаной куртке, Вера перебрасывается с ним несколькими шутливыми фразами и потом, как бы невзначай, спрашивает:

— Как там «мой»? Говорил что-нибудь или помалкивает?

Добрый Степан Фомич не всегда дожидается этого вопроса. Иногда он сообщает сам:

— «Твой» в Усть-Юрибее сидит. Потом еще в Мордыяху собирается. День сегодня хороший. Рано не жди...

И неизменно прибавляет к своему сообщению — в одних и тех же словах, — что вот, дескать, очень жаль, что он, Степан Фомич, занят тут сегодня до самого вечера, а то могли бы они вдвоем, пока мужа нет, ого, как повеселиться! Завеялись бы в ресторанчик. Или в кино? А что, почему бы и нет?!

И оба весело смеются.

Шутка повторяется и при Славе. От частого употребления она не становится менее забавной для всех троих.

Сегодня вылета не было.

«Ветролетчики» копошатся у машины.

Вера подходит к ним одновременно со мной. Она пришла с другой стороны пустыря, от домов «второго отделения», а точнее — судя по набитой авоське — из тамошней ближней лавки.

— Гони-ка еще десятку, — говорит она с ходу Славе. — Не хватило. Буду вас сегодня жареной осетриной кормить. Там в магазин вот такенных осетров привезли.

Она показывает, каких там привезли осетров, а Слава послушно протягивает ей десятку. Возражает только штурман Володя.

— Плюнь, — лениво говорит он Вере. — День-то какой! Купаться надо. Живи, как в Гаграх. Какие там еще осетры...

Но Вера уже скрылась в домике, чтобы тут же выскочить снова, сунуть леденец соседскому двухлетнему Сережке и, степенно помахивая опорожненной авоськой, направиться ко «второму отделению». Менять свои планы она не привыкла. Решено жарить осетра, значит, так оно и будет.

— Вы, мальчики, купайтесь, — говорит она, проходя мимо Володи. — Я еще вас на речке застану.

Живут они со Славой в комнате, где должна находиться касса аэропорта. Обсохнет пустырь, начнутся рейсы — надо будет придумывать что-нибудь другое. Постоянные квартиры у экипажа — в большом зауральском городе; туда вертолетчики возвратятся, когда будет выполнено задание. Никакие здешние «временные неполадки» Веру не волнуют. Особенно теперь, когда салехардское лето оказалось теплым и когда выдаются такие дни, как сегодняшний: солнечно, муж никуда не летит, все хорошо...

Холостяки живут в «пилотской». В комнате стоят шесть коек, но, кроме трех вертолетчиков, других жильцов в ней пока не имеется. Два маленьких подслеповатых окошка прорезаны на уровне земли: домишко глубоко ушел в землю. У коек — табуретки. На каждой — горка книг. И у всех троих — учебники. Механик Ваня прилежно читает английские книжки. На его табуретке лежит томик рассказов Джозефа Конрада,

несколько технических брошюр и тетрадка с аккуратными столбиками выписанных новоузнанных слов. Все трое учатся. Вера их консультирует. Так и должно быть: она педагог по профессии, преподает физику в старших классах, и летние каникулы позволили ей уехать с мужем в Салехард.

«Мальчики» ее слушаются.

Вот и теперь они покорно поднимаются и бредут, как было им велено, к Шайтанке.

Что ж, Володя прав. Проведем этот нелетный день, живя, «как в Гаграх». Будем купаться. Потом ребята будут есть осетрину. Потом...

Про то, что им остается делать потом, говорит Ваня:

— На танцы пойдем.

Он и сейчас движется танцующей походкой, гибкий и загорелый, с успевшими посветлеть от солнца тонкими усиками. Рядом с ним Володя кажется увальнем. Он веселый, добрый и безотказно работящий парень. Слава шутит, что Володя, мол, и на медосвидетельствование ходит «за весь экипаж». Врачам вертолетчики должны показываться после каждого полета. Но они легкомысленно норовят увильнуть от бдительного медицинского ока, и только один Володя послушно позволяет всякий раз измерять кровяное давление, аккуратно делает положенное число приседаний и снова меряет давление — «до», «после»... Это не потому, что он внимательнее, чем другие, относится к собственному здоровью. Нет, тут говорит в нем привычное уважение к чужому труду: врачам так велено, отчего же им не помочь?..

Мы спускаемся к речке.

Непонятно, отчего сегодня нелетный день.

Воздух дрожит от взаправдашнего июльского зноя. Дрожит на горизонте гряда Полярного Урала. Даже над нею нет никаких туч, и ясно видны снежные верхушки над иззубренной сине-лиловой стеной.

— Красота? — издевательски спрашивает Слава, перехватив мой взгляд, вожделенно устремленный к Ханмэю. И тут же пытается успокоить сомнительным утешением: — Туда тоже нельзя. Ветер, говорят, сильный.

Шайтанка довольно широка и очень мелка.

Первый жаркий день не согрел воду. Илистое дно тоже очень холодное и глубоко засасывает ноги. Игорь и Ваня резвятся, согреваясь, валят друг друга в воду и шумно брызгаются.

Вдруг Слава останавливает их.

Кто-то громко выкликает его по имени с пригорка, на котором стоит аэропортовский домик. Это соседка-уборщица, мать маленького Сережки.

— Слава-а! По-го-ду да-а-ли! — кричит она.

Ребята выскакивают из воды, натягивают брюки на мокрые, невыжатые трусы и бегут к машине.

Когда я догоняю их, Игорь возле вертолета уже занят обычным предполетным делом. Он сосредоточенно складывает и множит какие-то цифры на листке потрепанной записной книжки. Машина капризная, перегрузки боится, вес груза и горючего нужно высчитать точно.

Лопасти вертятся, мотор оглушительно трещит.

— На юг разрешили, — торопливо объясняет Слава. — Если сегодня полетаем по плану, — завтра можно и на Хадыту...

Но и сегодня уже пятый день ожидания. И из этих пяти дней два были нелетными. Я предчувствую, что еще день-другой, и метеорология воспитает и из меня скептика-пессимиста.

Вертолет отрывается от земли, и как раз в это время на околице пустыря появляется Вера с высоко торчащим над ее авоськой осетровым хвостом.

Она останавливается и смотрит вслед улетевшей машине.

Когда Вера возвращается к домику, на балкон выходит Степан Фомич. По закоренелой фронтовой привычке, он свертывает из треугольного обрывка газеты изящнейшую «козью ножку» и щедро засыпает ее махоркой.

— Жаль, дежурить мне тут до самого вечера, — начинает он.

Вера привычно смеется.

К аэропортовскому домику подходит еще один здешний знакомец.

Он тоже нетерпеливо, не первый день, дожидается своей очереди на полет. Работать он должен для ачкасовской экспедиции, работа у него важная и срочная, и полетит он поэтому раньше, чем я. Это геофизик, защитивший в прошлом году диплом в Ленинградском университете. Здесь он теперь начальник гравиметрической партии.

Зовут его так же, как и работящего вертолетчика: Володя. И оба Володи успели прочно подружиться.

Несмотря на жару, Володя-второй (так зовет его экипаж вертолета) одет в меховую, с некогда черным, а теперь побуревшим и просаленным верхом, видавшую виды пилотскую куртку. Володя длинен и тощ, но куртка велика даже на его рост; она болтается на нем, как на вешалке, Володя выглядит в ней нескладно, но ему кажется, что встречные не о куртке, но о нем должны думать — будто это он сам «видывал виды»; именно таким он сам себе нравится и предпочитает терпеть зной, чем обезличить себя, сбросив куртку и оставшись в обычной мальчишеской ковбойке.

К геофизике Володя испытывает всепоглощающую любовь и преданность. Стоит с ним поговорить самое недолгое время, и он любого сумеет убедить в том, что судьбы всего человечест-

ва зависят от геофизики, и только от нее; все остальное — второстепенно. Впрочем, нет. Существует еще на свете поэзия. О стихах, так же как и о распределении силы тяжести на земной поверхности, Володя способен говорить часами: слушать стихи, читать стихи, чаще чужие, но изредка и свои, стесняясь и бормоча.

Две страсти живут в нем обособленно, не соприкасаясь.

Геофизике нет доступа в стихи. И никакой поэтической вольности нет места в трезвых рассуждениях Володи о геофизике, в которой увлекают его именно определенность, расчет, кропотливость работы с тонкими и точными приборами.

Эта раздельная жизнь ума и сердца будет длиться, наверно, до тех пор, пока на смену разбросанности юношеских исканий не придет с накопившимся опытом уверенная и спокойная цельность. И, может быть, тогда соприкоснутся, взаимно обогащаясь и по-новому наполняясь, оба Володины увлечения.

Сейчас в стихах он больше всего говорит о дороге, о движении.

Хороша для него любая дорога.

Из вагонного окна впервые открывался ему и увлекал его мир.

И в отношении вагонного пассажира к этому открывающемуся миру можно порой угадать именно гравиметриста.

Башка обмелеет, как речка в зной,
Слипаются веки потóм.
И сон, блаженный сон поездной,
Глотаешь раскрытым ртом.

А поезд качает тебя во сне
Каждым своим колесом.
И мир в окне остается вне,
Бесплотен и невесом.

Но ты из окошка о нем не суди:
Картинка — поле и лес,
На дальней станции ты сойди,
И все обретет вес.

И собственный вес, и вес рюкзака
Почувствуешь ты, сойдя,
И станут весомыми облака,
Ударив каплей дождя...

Конечно же только гравиметрист, стремясь непременно ощутить вес каждого видимого предмета и тем самым утверждая его реальность, может так отнестись к картине открывающегося в дороге мира.

Но мне запомнилось еще одно его стихотворение, и я ду-

маю, что оно хорошо именно своей поэтической невесомостью, очень личной и вместе с тем убедительно ясной живописью.

В коротком стихотворении говорится об иве:

Эти листья ивовые
(У дороги — куст),
Искренние, не льстивые,
Горькие на вкус.

Ива — с глазами серыми,
Ива — с губами горькими,
С ласковыми беседами,
С наивными отговорками.

Ищущая, трепещущая,
Ловящая свежие веяния,
Не знающая убежища
От собственного сердцебиения!

Такие стихи читал Володя-второй, когда мы вернулись к Шайтанке и снова полезли в мелкую прохладную воду, а потом обсыхали на подступающей к речке невысокой луговой траве.

Рядом с голым Володей лежала в траве меховая пилотская шуба. Но в Салехарде это не было так уж удивительно. От Степана Фомича я уже знал, что прогноз на завтра обещает похолодание и снег с дождем. Не обязательно принимать это на веру. Дня два назад синоптики пророчили тепло и солнце, а вместо этого то и дело зарядами налетал тяжелый и мокрый снег, и из окна гостиничного номера было видно, как ложится снег на футбольное поле стадиона и сразу тает и убежавшие было под навес футболисты снова бегут тренироваться, чтобы не упустить даже короткое время между зарядами мглистого снегопада: афиши, расклеенные по городу, уже сообщают о воскресном матче Салехард — Березов...

Но на этот раз синоптики могли и не ошибиться.

С экспедицией, ушедшей на Пай-Хой почти две недели тому назад, все еще не было никакой связи. Однажды я снова встретил Ивана Никитича, заместителя начальника экспедиции, недавнего моего пароходного попутчика на пути в Лабытнанги. Он тоже не имел еще никаких сведений от ушедших географов. Но это его не волновало. По словам Ивана Никитича, уговор был такой: ежели ничего не случится, то и передавать нечего; а если явится какая-либо срочная надобность, то из гор будет передан по радио сигнал «SOS», о нем Ивану Никитичу несомненно станет известно, и он будет срочно добираться на Ханмэй.

Такое энергичное условие показалось мне удивительным, но Иван Никитич объяснил, что радиосвязь — штука не дешевая; за то, чтобы иметь свои позывные, свою волну, и за то, что

кто-то — скажем, салехардская почта — будет на эту волну в определенный час «выходить», платить надо много, а какие-то суммы перечислены в бюджет экспедиции с опозданием. Терять из-за этого время не стоило. Санно-тракторный поезд ушел, ни о каких тревогах в эфире пока слышно не было, и Иван Никитич полагал, что экспедиция благополучно добралась до цели и расположилась подле озера Большая Хадыта́, в верховьях Щучьей реки, как было намечено. Лошади в Лабытнангах отъелись и отдохнули и завтра выходят туда же.

Снова шевельнулось у меня сомнение: а не окажутся ли неторопливые земные скорости и старинный испытанный транспорт в одну лошадиную силу надежнее и быстрее небесных скоростей, зависящих от капризной заполярной погоды?

Но ко времени встречи с Иваном Никитичем улетел на гравиметрическую разведку и Володя-второй. Моя очередь уже подошла. И надо было торопиться, чтобы не стояло дело.

Пессимистом я так и не сумел стать: я все же верил, что завтрашний день непременно будет летным и мы за два часа сумеем добраться туда, куда лошади будут идти несколько суток...

В ожидании отлета я ходил в музей.

Там стояли облезлые чучела лис и оленей, бурый медведь и белый медведь, неразличимые от покрывшей их пыли, и крупные, будто металлические, рыбы с осыпавшейся чешуей. В другой комнате к стенам были прислонены трухлявые от времени колоды, заканчивающиеся грубо, но уверенно вытесанной человеческой головой с плоским, круглым, как тарелка, лицом. Узкие глаза не глядели. На колодах намечены были линии рук, сложенных низко, на животе. Эти сонные коротконогие бездельники дремали в своих углах, и казалось, что даже в дремоте их не оставляют простые, но недобрые мысли. Но такое впечатление не могло быть справедливым. Вытесанные болванчики изображали с я д э е в. А сядэи считались добрыми духами. Ненец, который сто, а может, и двести лет назад вылавливал из моря почерневший в воде «плавник» — бревно, прибитое течением к берегу,— и из него тесал этого сядэя, тот ненец верил, что в бревне оживает его заступник; стоит помазать деревянные губы мороженой рыбой и свежей оленьей кровью, и сядэй поможет ненцу: приведет зверя в силок и рыбу в сети, выведет из чума болезнь, отсрочит смерть. Человеку, если ему худо и тяжко живется, очень нужно верить в то, что у него есть заступник. Пусть это будет кусок дерева, выточенный собственными руками,— даже и тогда можно поверить, что в дерево вошла таинственная дружелюбная сила. Такая вера держалась здесь сотни и десятки сотен лет. И только два-три десятилетия назад, когда не сядэи, а доктора изгнали из чумов черную оспу и пошли в наступление на туберкулез

и трахому, когда заступником ненцу стала своя, живая, бедняцкая власть,— деревянные болванчики с темными от жира и крови губами задремали в музеях темным деревянным сном. Разве изредка еще повстречается в тундре или на пустынном морском берегу разбросанная куча камней, а в камнях — поваленный небольшой истукан среди истлевших лент, оленьих рогов и песцовых скелетов.

Может, в скучном музейном безделье и завелись у сядэев недобрые мысли.

И кафтан шамана висит тут же, рядом, вместе с потемневшим от дыма и времени «пензером» — шаманским бубном.

Кафтан облекал когда-то очень маленькое, будто детское, тело. Он обшит множеством погремушек, похожих на старые монашеские вериги. Такие же погремушки висят и на бубне. Очень шумной должна была быть шаманская пляска: громыханье железа, гулкие удары по оленьей коже, одержимость исступленного кружения, тусклые отсветы очажного огня на старой парче и на гремящем бесчисленными подвесками жестяном переднике, надетом поверх кафтана; тонкоголосое бормотание, сдавленные, исторгнутые из чрева вскрики, эпилептическое падение во внезапно наступающей тишине — таким был обряд устрашающей, темной веры. Но я слышал о нем только рассказы стариков; увидеть своими глазами шаманскую пляску было уже невозможно.

Потом в ямальском селении — три чума на берегу Карского моря — мне еще показали маленького старичка. Поросшее редкой щетинкой сморщенное личико выглядывало из-под ситцевого платка. Старичок сидел на перевернутой лодке и чинил сеть.

— Он был тадибей,— сказал бригадир колхозной рыбачьей бригады.— Теперь с нами рыбачит.

У ненцев шаман зовется тадибеем.

— Значит, рыба у вас должна хорошо ловиться,— попробовал пошутить я.

— Однако, розно бывает,— серьезно возразил бригадир.— Бывает хорошо, бывает, однако, плохо...

В музее был еще кафтан — старинного алого сукна.

Сто с лишним лет назад березовский полицмейстер передал этот кафтан обдорскому князьку Тайшину, как царский подарок. Князек был столь же мал ростом, как и неведомый тадибей. Но в алом сукне он, наверно, казался себе великаном. Может быть, именно этот кафтан был связан с историей одного предательства, и цвет его должен бы напоминать о пролитой честной крови.

История эта происходила в ту самую пору, когда Пушкин рассказывал о благородном Дубровском, а восемнадцатилетний Лермонтов то откладывал начатый роман о двойной жизни горбуна Вадима, который был разбойником Красной Шапкой, то

снова возвращался к рукописи и писал о ней в письмах с юношеской страстной горячностью: «...мой роман становится произведением, полным отчаяния; я рылся в своей душе, желая извлечь из нее все, что только способно обратиться в ненависть...»

Так вот, как раз тогда в Обдорской тундре жил ненец по имени Ва́ули Пиэтто́мин, из старинного бедняцкого рода Не́нянг, что по-ненецки означает «Комар». История жизни Ваули, его подвига и гибели до странности напоминает истории Дубровского и Вадима, с тем, однако, различием, что здешний Дубровский французскому языку обучен не был, да и вообще грамоты никакой не знал, двойной жизни не вел, ходил в малице, оружием его были дедовский лук, отцовское кремневое ружье и еще пастушечий «тынзей» — аркан для ловли оленей; потому что Ваули и сам был из пастухов и с детства «каслал», как здесь говорится, то есть кочевал с оленьими стадами ненецких богачей: летом к побережьям Карского моря, а зимой в глубину тундры. О Ваули Пиэттомине сохранились не только предания, но и документы, и — удивительное дело — все они говорят о том, что этот ненецкий пастух, который восстал на богачей, собрал вокруг себя несколько сот бедняков и так полюбился своему народу, что любовь эта не померкла до наших дней, что неграмотный этот пастух обладал программой более широкой и ясной, нежели тот смутный протест против несправедливости личной и социальной, каким живилась ненависть Дубровского и Вадима.

Ваули не только отбирал оленей у богатых и делил их между бедняками. Он ставил требования русским чиновникам и хотел, чтобы до самого Петербурга дошли эти его требования: вдвое уменьшить ясак, дешевле продавать хлеб и товары. И вот еще примечательная черта: не было в ту пору дружбы между ненцами и их соседями — коми, ханты и манси; но к Ваули шли батраки отовсюду, и всех он принимал, не различая по крови.

Кто знает, как и с чего это началось; скорее всего — как у Дубровского, как у Вадима — с личной обиды. Но уже с 1825 года имя Ваули Пиэттомина встречается в сибирских — березовских и тобольских — полицейских бумагах: Ненянг уже кружил по тундре, кусал богатых, беднота к нему льнула, и он был недостижим на протяжении целых четырнадцати лет, пока не стал жертвой первого предательства.

Это было так.

Хозяин тысячного оленьего стада Ху́ди Хозовы́ко узнал, что Ненянг приближается к его чумам. Хозовыко разослал нарты за всеми своими сородичами. Худи съехались к стойбищу старшего в роде, обходя дорогу, по которой шел Ваули. Они не стали расставлять там свои чумы, но спрятались, устроив засаду.

Пришел Ваули.

Хозовыко встретил его подобострастно, много кланялся, задавал положенные по этикету вопросы.

Ваули сказал, что заберет у Худи сотню оленей, это будет справедливо: стадо у Хозовыко большое, он даже и не заметит, что у него стало на сотню оленей меньше, а Ваули идет сейчас от Лонгот-Югана, там у людей животы пустые, детям снится еда, и после таких снов они умирают. Ваули отведет им сотню оленей, и тогда те, кто еще не умер, доживут до весны и смогут ловить рыбу в Лонгот-Югане.

Хозовыко согласился: если Ваули нужны сто оленей, пусть он их наловит в стаде. А тем временем Хозовыко приготовит для дорогих гостей угощение.

Разговор был мирный.

Ваули и его люди поймали тынзеями сто оленей и пошли в чум к Хозовыко.

Очаг не горел.

Жирники тускло светили.

Звездный свет из-за откинутого полога выбросил тень вошедшего Ваули далеко вперед.

Четверо Худи, молодые и самые сильные в роду, прятались под пюками — оленьими шкурами, обтягивающими чум. Теперь они выскочили и кинулись на Ваули, скручивая ему тынзеями руки и ноги.

Вслед за Ваули успел войти в чум Маги́ри Ва́йтин. Его схватили старшие Худи.

Остальные, услышав шум, испугались и убежали.

Ваули Пиэттомина и Магири Вайтина, связанных, отвезли в Обдорск и сдали князьку Тайши́ну. В нарты запрягли оленей из той сотни, которую Ваули выловил, чтобы перегнать на Лонгот-Юган, где дети видели еду во сне, а наяву умирали от голода.

Князек передал пленников обдорскому заседателю Соколову, потом из обдорской съезжей избы их отправили в березовскую тюрьму, и там оба ненца оставались, когда суд в Тобольске принимал решение по их делу.

Даже в этом решении было записано, что Ваули отнимал у богачей часть добра, чтобы «бедным самоедам не лишиться жизни».

И, так записав, суд определил — бить за это Пиэттомина и Вайтина плетьми, по двадцать ударов, и сослать затем в Перчинскую волость Сургутского отделения.

Это происходило зимой, в начале 1839 года.

Так Ваули и Магири попали в работники к одному из сургутских купцов.

Лето они проработали, разгружая паузки и таская тюки.

А потом березовский земский суд получил донесение: «Пиэттомин и Вайтин 28 августа бежали в места своего причисления».

Вскоре беглецы появились под Обдорском, и четыреста бедняцких чумов сразу собрались там, где объявился Ваули Пиэттомин.

Теперь помощниками его стали: брат Ваули — Тогомпáда Пиэттомин, дядя их — Мóттай Таск и, понятно, прошедший вместе с Ваули через все испытания Магири Вайтин. Люди Ваули были охотниками. У них было несколько кремневых ружей, копья, ножи и луки. И Худи Хозовыко стал плохо спать; он думал, что Ваули опять придет в его стойбище и уж теперь-то сотни оленей будет ему мало.

Но Ваули не пошел к Хозовыко. Ему было противно смотреть на такого плохого, бесчестного человека.

Каслали по тундре и другие хозяева, кроме Худи; у них тоже оленей было слишком много для одного чума. Ваули приходил к ним, говорил, сколько надобно ему оленей, ловил их тынзеем и угонял, но в чум ни к кому больше не заходил и от угощения отказывался: как бы не оказалась слишком горькой оленья печенка...

Год спустя пошел слух, что Пиэттомин задумал поход на Обдорск.

Он снова вернулся к давнему своему замыслу. В Обдорске стало известно, что Ваули идет туда добиваться, как записывал один из современников этих событий, чтобы «цены на казенную муку и русские товары понизить, а на рухлядь (то есть на меха) повысить и принудить князя Тайшина выдать из казенных магазинов муку».

Дело обернулось так, что березовский исправник Скорняков не смог даже отпраздновать Новый год. Оставив дома рождественскую елку, он сел в розвальни и санным путем, в первый день 1841 года, прибыл в устрашенный Обдорск.

В доме купца третьей гильдии Трофимова состоялся чрезвычайный военный совет. Порешили выслать к Ваули в тундру своего лазутчика.

Нужно было сделать так, чтобы Ненянг залетел в приготовленную для него сетку один или, во всяком случае, с наименьшим количеством спутников.

В тундру пошел Николай Нечаевский, торговый человек, прожженная душа. Он хорошо говорил по-ненецки, с Ваули встречался не раз, и можно было рассчитывать, что Ненянг — душа благородная и чистая, привыкшая, несмотря на пережитые невзгоды, ожидать и от любого другого человека открытой честности,— ему поверит.

Так оно и вышло, и Ваули во второй раз пошел навстречу коварному предательству.

Нечаевский отправился в тундру восьмого января и нашел чумы Пиэттомина в полутораста верстах от Обдорска. В это время с Ваули было уже шестьсот человек.

Нечаевского Ваули встретил дружелюбно.

Торговец рассказывал, что в Обдорске все тихо, началась Крещенская ярмарка; против Ваули власти ничего не собираются предпринимать, он может идти в городок спокойно.

Нечаевский настоятельно звал Ваули поехать вместе с ним в санях, в одиночку.

Тут кое у кого из близких друзей Пиэттомина шевельнулись подозрения, они стали говорить, что, может, лучше бы и повременить с походом на Обдорск, но Ваули не согласился с ними. Приезжий человек говорит, что никакой угрозы нет, с чего бы ему не верить?..

Но одного Ваули не отпустили. В какой-нибудь час все чумы были свернуты и уложены на нарты, и к городу двинулись все шестьсот человек.

Они подошли к Обдорску и остановились.

Ваули послал в город Сали Яптика — за Тайшином.

Князек послушно пошел на зов и привел с собою старшин.

И Тайшин и старшины прикладывались к руке Ваули в знак покорности, и это окончательно убедило Пиэттомина в том, что он не зря поверил торговцу.

С сорока человеками вошел он в город, направляя оленьи упряжки небольшого аргиша (так называется по-ненецки санный поезд, состоящий из нескольких упряжек) к деревянной избе Тайшина.

Двадцать человек остались стеречь нарты; двадцать вошли в дом следом за Ваули.

И тут же поднялся за ним на крыльцо исправник Скорняков.

Дом был окружен казаками.

Казаки устроили засаду и в комнатах.

Ваули Пиэттомин был теперь уже не просто Ненянг, докучающий окрестным оленеводам. Он был опасный государственный преступник, о нем знала политическая полиция в Петербурге, ради его поимки стоило пожертвовать рождественскими и новогодними неприсутственными днями; Скорняков знал, что в случае удачи на его дворе еще будет праздник.

Когда Ваули схватили, он услышал с улицы громкое гиканье. Казаки ринулись к нартам. Олени рванулись сами, и не дожидаясь, пока хорей — длинный и тонкий шест погонщика — стронет их с места. Нарты налетели на нарты. В окно были видны вздернутые головы, отягченные ветвистыми рогами, и печально-испуганные оленьи глаза.

Метельной стеной встал снег, взлетевший из-под маленьких крепких копыт. А когда он улегся, нарт уже не было. Во дворе

по-ребячьи смеялись, что-то изображая и, наверно, вспоминая, как тут все только что было, десятка два веселых и сильных казаков в старых мужичьих тулупах и высоких шапках.

Такой же казак подталкивал Ваули в спину, к выходу в сени, а тот недоуменно оглядывался, и глаза у него были такие же, как у оленей: печально-испуганные и влажные.

Вместе с Пиэттомином были схвачены еще четыре ненца, случайно подвернувшиеся под руку; так, для острастки.

Ваули Пиэттомин из рода Ненянг считал, что если жить по справедливости, то оленей хватит на всех людей, которые кочуют по тундре, и никто не должен умирать с голоду — ни у Лонгот-Югана, ни на Таз-реке, ни у берегов Байдарацкой губы. Шестнадцать лет он искал этой простой своей правды, забирал лишки у богатых и отдавал бедным, но жизнь от этого не становилась справедливее...

На этот раз суд сослал Ваули на пожизненные каторжные работы в Восточную Сибирь, след его потерялся, и в Ямальской тундре о нем больше никогда и ничего не было слышно.

Исправник Скорняков за свой испорченный праздник был высочайше пожалован орденом Владимира четвертой степени.

Бродячий торговый человек Николай Нечаевский получил медаль «За усердие».

Наставленные отцами-миссионерами, православные старейшины самоедских, зырянских, остяцких и тунгусских богатых родов вознесли благодарственные молитвы за избавление и пожертвовали Николаю-чудотворцу звериных шкур на триста рублей ассигнациями.

В то же самое время и князек Тайшин получил от царского имени тот кафтан алого сукна, что висит нынче в салехардском музее.

Кафтан шит на очень малорослого человека. Кажется, будто носил его двенадцатилетний мальчик. Вероятно, Тайшин и был похож на старого мальчика с желто-пепельным, сморщенным и невозмутимым лицом. Он целовал Пиэттомину жесткую руку на верность, заманивая того в смертный капкан, но память об этом не мучила Тайшина. Напротив, он был доволен своим умом и своей увертливой хитростью. В торжественные дни Тайшин надевал алый кафтан с приколотой большой медалью, какие раздавались тогда почетным гражданам и волостным старшинам. Он и был на положении волостного старшины; ему следовало бы именоваться «князьцом», как повелось еще с Грозного, но Тайшин любил, чтобы его звали «князем», и купец третьей гильдии Трофимов, корысти ради, называл его именно так.

Теперь от самоедского князя только и осталось, что кафтан, спрятанный под стекло от моли.

Недобрая память о Тайшине пожила короткое время в народе и давным-давно умерла.

Остался еще дом его — невзрачная и затерянная в разросшемся нынешнем Салехарде, прочно когда-то строенная, а теперь покосившаяся и ушедшая в землю изба-пятистенка. На доме приколочена памятная доска, но она напоминает не о «князьце», а о том, что здесь 14 января 1841 года предательски схвачен был Ваули Пиэттомин. Впрочем, старожилы поговаривают, что и дом, дескать, вовсе не тот; настоящий, по их словам, стоит подальше и выглядит еще невзрачнее. Музейная директорша, ворчат старожилы, поленилась искать и прибила свою доску на первый ветхий дом, который ей подвернулся.

Рассудить этот спор трудно. Старых планов Обдорска нет. Да, может, и не так уж это важно, тот дом или не тот. В обоих живут новые люди; постирушки сушатся и подле избы с доской и подле избы, на которой этой доске следовало бы быть по мнению старожилов. Висят пеленки из голубой и розовой байки, и машет ветер рукавами просоленных пóтом сорочек.

В обеих избах живут и растут люди, которым оленей хватает.

А про Ваули ненцы поют песни, как про живого, будто он и не уходил никогда из тундры и дожил до исполнения своей мечты.

Вот какие дела были в тундре, когда Пушкин писал про Дубровского, провидя уже и те далекие грядущие времена, в какие его прочитает «и ныне дикой тунгус».

Выходит, и тунгус и самоед и в те поры не были такими уж дикими, как это должно было казаться за тысячи верст непроезжих снегов.

...В задней музейной комнате весело горит огонь в большой железной печке: день холодный, сырой и опять нелетный.

Здесь хорошо сидеть над старыми рукописями и книгами.

Студент-ненец, археолог по специальности, молчаливо возится, приводя в порядок какие-то ветшающие экспонаты.

Он показал мне полосу толстой, хорошо выделанной кожи. Две узкие прорези были прикрыты выпуклыми медными козырьками, похожими на глазные веки. Это оказались очки — снежные очки, защищавшие от нестерпимого блеска зимней тундры глаза русского воина в XVI столетии. Над медными веками, поверху, двумя дугами-бровями — тонкая бисерная инкрустация.

Очки надевались под шишак и завязывались сзади тесьмой.

К очкам студент относится уважительно: они говорят ему, что русский воин знал Север и шел в снега, готовый ко всему, что его там ожидает.

Но из-за снегов домой вести от него доходили, оборачиваясь озорной солдатской сказкой, и долго еще новгородские и

валдайские монахи в своих кельях со всею серьезностью превращали веселые солдатские небылицы в ту причудливую географию, которую читал я в салехардском музее.

«Над морем живет иная самоядь; называется — линная. Летом месяц живут в море, а на суше в то время не живут, понеже в тот месяц тело на них трескается и они тот месяц в воде лежат, а на берег не могут вылезти.

В той же стране, за теми людьми, у моря, есть иная самоядь: от низу до пупа люди мохнаты, а от пупа вверх — как и прочие человеци. А еда их — рыбы и мясо; а торг их — соболи да песцы, да пыжи, да оленьи кожи. За теми людьми иная самоядь такова: вверху рты, рот на темени, а не говорят; а коли едят, и они крошат мясо или рыбу да кладут под колпаки или под шапку, и как начнут есть, то они плечами движут вверх и вниз.

Иная самоядь такова, как и прочие человеци, но зимой умирают на два месяца, умирают же так: кто где будет те месяцы, тот тут и сядет, а у него из носа вода изойдет, как от потока, да, не дойдя до земли, замерзнет. И если какой незнающий человек из другой земли эту сосульку оторвет и спихнет ее с места, то он умрет и уже не оживет, а если не спихнет с места, то тот оживеет, узнает его и скажет ему: «О чем мя еси, брате, поуродовал?»

А оживают, как солнце на лето поворотится. Тако же на каждый год оживают и умирают.

В той же стране есть такова самоядь: по телу аки человеци, но без голов; рты у них меж плечима, а очи в грудех. А еда их — головы сырые оленьи; и коли им есть, то они головы оленьи кладут себе в рот на плечах и на другой день измещут из себя оттуда же».

В этих монашеских записях северная «самоядь» как бы срослась с носимыми ею малицами и парками из оленьих шкур — сама покрылась оленьей шерстью. Правда повлекла за собой прихотливо-хвастливую («вот какого дива нагляделся я в странствиях») небылицу, сочиненную хожалым человеком; рассказы торговых и ратных людей сплавились с древними легендами географии Геродота и Страбона, для которых дымкой неведомого был еще подернут весь мир, простирающийся к северу от Черного моря. За дымкой в точности виднелось одно: с Севера можно вывезти драгоценную мягкую рухлядь — песцовые и пыжиковые меха, горностая и лису-сиводушку. И мифические хищные птицы, стерегущие в снежных горах золотую руду и сверкающую самоцветную россыпь, придуманы были людьми, которые, несомненно, знали об Урале не только легенды, но и достоверную правду.

Старые записи находил и показывал мне тот же ненец-студент.

Он привел в порядок древние очки, отнес их в музейный зал, замкнул в застекленной витрине и воротился к теплой печке уютных, заваленных книгами, чучелами и божками музейных задворков.

Я спросил, из какой он самояди — из линных или, может, из тех, у кого рот под шапкой? Он засмеялся и, будто в чуме, присел на корточки, чтобы поправить огонь. На молодом ненце привычно сидел синий, затянутый «молниями» лыжный костюм. Волосы у парня были прямые, блестяще-черные; глаза живые; лицо — круглое, но вместе с тем сухощаво-энергичное.

Звали его Сэротэтто. Степан Сэротэтто.

Один из Сэротэтто ходил с Ваули Пиэттомином. Несколько Сэротэтто были и среди тех богачей, у которых Ваули отбирал излишек оленей. Старинное ненецкое родовое имя.

И вдруг, как ни разу еще, ощутился тут во всей своей силе внезапный рывок истории, который совсем недавно разорвал монотонный круговорот здешней жизни.

Веками — да что веками, тысячелетиями! — время стояло здесь на месте, почти ничего не меняя. На рубеже XX века Гарин увидел ненца таким же, каким тот мог увидеться новгородскому гостю шесть и семь столетий назад. Как стали в снежной пустыне избушки Обдорска при Иване-царе — так и простояли триста лет с лишком: те же избы, те же заботы и те же судьбы.

Но теперь я раскапываю затертые временем следы этих судеб лишь в музее.

Смешливый парень Степан Сэротэтто помогает мне; он готовится стать учителем истории; он хорошо знает прошлое, но даже и ему, историку, собственный его путь уже не кажется достойным удивления, исключительным, пройденным благодаря какой-то особой, ему одному выпавшей удаче. Степан принадлежит, вероятно, к самому первому поколению, родившемуся здесь после большого исторического перелома в судьбах своего народа, но уже и для этого поколения новые законы жизни естественны; они разумеются сами собой.

Оказалось, что в маленьком салехардском музее становится особенно слышным время: оно стояло неподвижно — и вдруг двинулось, и идет вровень со временем всей страны, быстро и прочно наслаивая новое на новое. И новое сразу становится простым и привычным...

Выходя из музея, я слышу со двора знакомый резковатый голос директорши. Она принимает дрова.

Музейная директорша полна неистощимой энергии. Она занимается множеством дел одновременно. Она обеспечивает устройство школьного буфета на наступающий учебный год, рекомендует девушку, приехавшую из Вологды, на работу в местную библиотеку, организует воскресную массовку с

выездом на катере за реку Полуй, звонит по десятку телефонов подряд и каждый разговор начинает с подобострастно-парикмахерской формулы, которая неведомо отчего привилась у нас и разошлась повсеместно:

— Вас беспокоит...— и называет себя по имени-отчеству.

Она обожает все, что имеет отношение к канцелярии.

— Возьмите бланочек,— говорит она.

— Подпишите формочку...

Сэротэтто мог бы и не рассказывать, что директоршу с год назад «перебросили» в музей из какого-то торга. Это было и без его слов вполне очевидно. «Устройство» разного рода дел создавало для директорши привычную стихию, в которой ей дышалось легко и собственное существование становилось оправданным и понятным. И только обильный и недвижный музейный «инвентарь» тяготил ее не по-женски сильные плечи, привыкшие деятельно пробиваться в толпе. Но и этот — она верила: недолговременный — крест свой директорша несла мужественно и безропотно; в музее было тепло, уборщицы наблюдаемы были со строгостью, научный сотрудник являлся вовремя, что-то делал, писал, чинил, приколачивал, объяснял экскурсантам-школьникам про каменный век и про красные чумы. В суть его дела директорше вникать было некогда; помочь она не могла, но и мешать не мешала. Она всегда торопилась и второпях могла и в самом деле, как твердила молва, прибить памятную доску не на том доме.

Но и постоянная, невыкипающая директоршина хлопотливость как бы продувала музей уличным сквознячком и тоже помогала ощущать движение времени.

— Ты куда, лешак, бревна валишь, однако?! К сараю подъехать не мог? — покрикивала она сейчас в музейном дворе и тут же откликалась на голос Сэротэтто, зовущего ее из окна к телефону: — Попроси подождать у трубочки. Бегу я!

Моросил обещанный синоптиками холодный дождик со снегом.

Но стоило лишь перебежать через дорогу, и можно было снова укрыться в тепле и пообедать в ресторане, называющемся, конечно, так же, как называется здесь и газета, и кино, и гостиница,— «Север».

Людей там было немного. Обеденный час окончился. Но компания, сидевшая за двумя составленными столами у широкого трехстворчатого окна, забралась сюда, как видно, с утра. Шум и обилие бутылок на полу и на соседнем подоконнике свидетельствовали, что градус за этими столами поднялся выше будничного уровня. Кто-то обиженно повторял:

— Да что ты мне про Обь говоришь, а ты на Двине плавал?

Но никто ему не говорил ни про Двину, ни про Обь. Ему говорили, что надо выпить еще, а он пил и снова упрямо по-

вторял одни и те же слова, все повышая голос и раздражаясь.

Я пригляделся и узнал недавнего попутчика своего, Семена Прокофьевича.

Видно, так и не поехал он с Еваем Еволю — у того давно должны были выйти сроки, он, наверно, успел уже купить мотодорю и возвратиться в свое селение...

— А ты на Двине плавал?! — угрожающе спрашивал Семен Прокофьевич, ни к кому не обращаясь, и вдруг замолчал и сник.

К столу подошла Надежда.

Она тронула мужа за плечо и что-то ему негромко сказала.

Компания за столом расшумелась еще пуще. Надежду приглашали, усаживали. Она отказалась. Заторопившись, бросила мужу:

— Я тебя у вешалки жду.

Когда она проходила мимо, я поздоровался с ней.

Надежда поглядела невидящими глазами, потом узнала меня, ответила и быстро, на ходу, объяснила:

— Завтра в Яр-Сале едем. Условия хорошие. У колхоза флот целый. Школа. Там хорошо будет. А то вот нашел компанию...

Громыхнул упавший стул. Семен Прокофьевич поднялся и пошел за Надеждой, стараясь твердо ступать и прямо держаться.

В одиночестве я оставался недолго. Вскоре пришел и подсел ко мне «ветролетчик» Володя.

Он заказал малосольную нельму, блины и, обладая от природы добрым характером, поспешил сказать мне самые приятные слова, какие я только мог услышать:

— Я тебя и в гостинице искал. Завтра в шесть ноль-ноль к вертолету. Наверно, летим. Прогноз хороший...

## НА ХАНШЭЙ

В одной ненецкой сказке сказывается, как рыбак Яптунай был проглочен огромной рыбой и выбирался из ее чрева на плоту, связанном из рыбьих хребтин. В другой сказке — неудачливый охотник Нядонги очутился в брюхе железного великана. Оказалось, такие странные вещи могут здесь случаться и в наши дни с кем угодно. Я сам испытал это: меня проглотил железный шаман-тадибей.

В чреве его было довольно просторно, но сильно пахло бензином.

Железные внутренности переплетались у меня за спиной, перед глазами и над головой. Чрево жило странной, непонятной мне жизнью. На матовой поверхности вздрагивали тонкие стрелки, подмигивали зеленые светящиеся глазки.

Камлание — шаманская пляска — только начиналось.

Это происходит так.

Вверху нарастает, все заглушая, лязгающий грохот — будто железный великан тадибей изо всей силы раскручивает железный громыхающий бубен-пензер.

Потом тадибей сам начинает трястись.

Он трясется сильней и сильней. В чреве его все дрожит мелкой дрожью. Потом ощущается шатание из стороны в сторону, словно проглотивший меня колдун мелко и часто переступает на месте мягкими круглыми резиновыми ногами. Переступание тоже становится все быстрее, все чаще, размахи великаньего тела делаются шире: тадибей доводит себя до экстаза. И наконец сказочному тадибею удается то, что никогда не удавалось ни одному тадибею живому: экстаз его так неистов, что тадибей внезапно и плавно взмывает в воздух. Он поднимается прямо ввысь, без разбега.

Еще вздрагивая, сотрясаясь всем телом, он на мгновение зависает над землей.

И в это короткое мгновение все успокаивается, становится на свои места. Унимается дрожь. Экстаз шаманского камлания сменяется ровным ритмом привычного полета. Обрывается сказка. Нет больше никакого железного тадибея. Никто никого не глотал. Вертолет взлетел, лег на курс. Володя-«ветролетчик» удовлетворенно следит за подрагивающей стрелкой и зеленым глазком. Игорь сидит рядом. Он сосредоточенно множит и вычитает в своей записной книжке прозаические цифры: на сколько уменьшится вес горючего за время полета на Большую Хадыту́ и сколько пассажиров сможем мы взять с собою оттуда.

За окошком внизу улицы Салехарда, Обь с ее островами и руслами быстро сменяется домиками Лабытнангов. Долго тянется плоская желто-зеленая тундра. И вот — Ханмэй.

Сперва та же тундра всползает на низкие склоны. Потом не видно ни кустика, ни травинки. Черный осыпающийся галечник, Снег, ледники и прильнувшие к скалам серые облака.

Высотомер показывает, что мы забираемся все выше, но земля не удаляется от нас. Каменные осыпи видны совсем рядом, вровень с окном летящего вертолета. И сквозные ветры горных ущелий сильно мотают машину.

По высотомеру — мы идем на высоте полутора тысяч метров.

По карте — той же высоты достигают вершины полярной уральской гряды.

Сейчас мы проходим над ними. Вернее среди них.

Похоже, что за окном нам показывают фильм, снятый на черно-белую пленку. Других красок нет. Только белый снег и разные оттенки черного камня. Такой фильм, наверно, можно бы снять при помощи телескопа на поверхности луны. Все, что видно глазу, образовалось в незапамятные времена, сложилось в неподвижные цирки и уже миллионы лет назад лишилось всех примет длящейся жизни. Ничто не растет в этом черно-белом холодном мире, и нигде не видно ни зверя, ни птицы.

Слава опускает свою машину пониже; мы летим теперь вдоль ущелья. Небольшие озера видны внизу, и только они разнообразят черно-белый пейзаж: те, что лежат повыше, покрыты зеленоватым льдом; в тех, что пониже, пластины льда плавают под голубоватой светлой водой.

Лед плавает и в Большой Хадыте́. Это длинное, узкое и изогнутое озеро. Оно разлилось по дну ущелья, меж круто образующихся каменных склонов.

Ветер здесь дует, как в трубе, и Славе приходится очень нелегко. Он ведет машину совсем низко над озером, в тесном и извилистом каменном коридоре, сопротивляясь порывистому ветру. Поскольку запланированный на случай каких-либо

неудач SOS никем после ухода экспедиции принят не был, можно полагать, что переход завершился благополучно, географы давно добрались до цели и, следовательно, должны находиться где-то очень близко от нас. Мотаясь из стороны в сторону, вертолет наведывается во все закоулки. Слава напряженно вглядывается в приозерные валуны и болотца, и в кабине тоже все неотрывно приникли к окошкам.

Еще ничего не увидев, мы замечаем, что Слава начинает уверенно и резко снижаться.

И вдруг с земли в небо прочерчивается несколько светящихся трасс.

Люди.

Бегающие, подпрыгивающие крохотные фигурки. Еще трассы. Зеленые и красные ракеты выпускаются по меньшей мере из пяти ракетниц. Поневоле вспоминаются полеты военного времени. Можно подумать, что нас хотят сбить. Но «огневой запас» экспедиции расходуется от избытка дружеских чувств. И от волнения, конечно, тоже: географы боятся, как бы вертолет не прошел мимо, не приметив их стоянки.

Гостей здесь не ждали. Связаться с экспедицией перед вылетом мы не могли из-за отсутствия у экспедиции своих позывных и расписания радиодежурств. Но с земли было видно: вертолет наш не пролетал мимоидущим маршрутом; он явно кого-то искал в горах, а никаких соседей у географов не было на многие десятки километров. Значит, к ним. И весь лагерь высыпал навстречу...

Теперь мы можем ясно разглядеть сборный домик невдалеке от озера; рядом — несколько жилых балкóв, поставленных на полозья и притащенных сюда тракторами, а вокруг — с полдюжины палаток.

Слава спускается.

Ветер несет нас прямо на скалу. Но Слава уже облюбовал площадку. В каком-нибудь десятке метров от совершенно отвесной скалы он успевает зависнуть. Вертолет снова начинает трясти шаманской экстатической дрожью, но машина тут же садится, слегка подпрыгнув на зыбко пружинящей мшистой почве. Пятачок для посадки выбран наметанным глазом опытного полярного летчика с идеальной точностью: единственное твердое место среди топкого тундрового болота.

Вращение лопастей замедляется, останавливается. Мы спрыгиваем на землю и оказываемся в плотном кругу возбужденных, веселых людей. Они чувствовали себя здесь, как на необитаемом острове, и вдруг — впервые — принимают гостей.

Слава без улыбки, с хмурым своим юморком осведомляется у механика:

— Погляди-ка, Иван, не пробили нам кабину здешние зенитчики?

Хозяева хохочут.

— Боялись, мимо проскочите.

— Я вашу халупу увидел прежде, чем вы пальбу открыли, — возражает Слава.

Знакомство состоялось.

Нас окружают такие же молодые бородачи в защитных штормовках, как те, с которыми знакомился я в Речной. Среди роскошных, заботливо выпестованных бород особенно приметны девичьи лица, жестоко отмеченные непривычным и обманчивым полярным летом: с этих лиц сходит кожа, обожженная будто бы и нежарким горным солнцем, а новая нежная кожа цветет волдырями от комариных укусов.

А где же кинооператоры, за которыми мы сюда прилетели? У вертолета собралось все население лагеря, но операторов нет.

Их выдает прорвавшееся издали сквозь веселый говор географов стрекотание съемочного аппарата.

Все правильно. Операторы заняты своим делом — пристроились на каменной осыпи, под скалой, на которую ветром наносило вертолет перед посадкой, и снимают встречу. Операторы мыслят профессионально. Переход экспедиции из Лабытнангов на Полярный Урал — «сюжет». Прибытие вертолета — «эпизод». И именно тот эпизод, который ставит в конце сюжета последнюю точку.

Но на камнях видны не два человека, а три. И, кроме обычного репортерского аппарата, в унисон ему стрекочет чей-то любительский узкопленочный аппаратик.

Догадается ли Юра снять коллегу-любителя? Это было бы забавно.

Нет, кажется, не снял. Они уже подходят. Юра и Толя — в штормовках. Первый подтянут, гладко выбрит, даже щеголеват; Толя же зарос синей щетиной и имеет вид медведя, разбуженного посреди зимней спячки: не выспался, помят, не выгреб из шерсти приставший в берлоге мусор...

— Ничего, наверное, не выйдет, — бодро говорит Юра вместо приветствия. — Свет поздний, и солнце не то.

Верно. Солнце ушло за черную гору. Но мне — непосвященному — свет кажется ярким; бородачи и девушки в шароварах отбрасывают длинные контрастные тени. Вся сцена у вертолета весьма живописна. Очень жаль, что «солнце не то». Впрочем, я еще не знаю, как коварно наше светило: оно почти всегда будет оказываться «не тем», когда подвернется занятный эпизод для съемки. К этому придется привыкнуть.

Вместе с Юрой и Толей пришел и кинематографист-любитель. Тоже бородатый и веселый, как остальные участники

экспедиции. С неистребимым оптимизмом, который мне оставалось отнести за счет самоуверенности, присущей начинающим, он сказал:

— Интересные должны получиться кадры.

Юра взглянул на него с сожалением, но промолчал.

Впоследствии выяснилось, что правы оба. Юрина пленка оказалась испорченной — «свет был поздний»; а географ снял всю встречу вполне удачно. С начинающими это бывает.

Однако географ оказался не таким уж начинающим. Он объездил чуть ли не весь мир, бродил по берегам Замбези и в лесах Амазонки, плавал на «Витязе» среди архипелагов Тихого океана, зимовал в Антарктике, отовсюду привозил снятые им узкопленочные любительские фильмы и уверял, что здешние полярные горы не похожи ни на один из виденных им на земле уголков. Новый фильм, считал он, должен у него получиться самым интересным. Географ сохранял способность восхищаться всем вновь увиденным, доступную прирожденным, вдохновенным путешественникам.

— Чего же мы здесь стоим? — удивился он гостеприимно и живо.— Пойдем поглядим наше хозяйство.

— Только не долго,— хмуро предостерег Слава.— Мне еще сегодня летать.

Игорь допрашивал Юру, сколько весит киноаппаратура, привычным глазом оценивал «живой вес» оператора и помощника и снова делал подсчеты.

— Еще одного человека можем взять, если кому нужно,— объявил он, закрыв свою книжку.

Мы пошли в сборный домик.

Там находился кабинет — точнее, клетушка — начальника и склад провианта, одежды и научных приборов.

Разговор тут пошел всеобщий. Участвовало в нем не меньше десятка людей. Рассказывали наперебой: как добирались, как ходят в горы, к чему приглядываются, что изучают. И тут оказалось, что бросившееся поначалу в глаза сходство между здешними обитателями и геологами из Речной ограничивается лишь самыми поверхностными признаками: штормовки да бороды. По складу же характера своего географы и геологи были настолько непохожи, что даже и относились друг к другу слегка иронически. Каждый считал, что его дело лучше, нужнее, что ли, или как бы повыше.

Сперва я заметил это еще в Речной.

Когда Ачкасов услышал, к кому я добираюсь, на лице его появилась едва приметная снисходительная улыбка. А стоило мне упомянуть об отсутствии радиосвязи и о злосчастном уговоре передать в случае крайней надобности бесплатный и потому общедоступный SOS,— и Ачкасов развеселился вовсе уж откровенно.

— Ну конечно! — радостно закричал он тогда. — Так у них и должно быть!..

«У них»... Тут явственно подразумевался народ легкомысленный и несерьезный. По этой интонации я догадался о мыслях Ачкасова: «Мы, геологи, заняты делом ясным и нужным, даем стране осязаемые ценности. А те — белоручки; витают в сферах своей «чистой науки», и пользы от них — чуть».

Столь же несправедливы к своим соседям-геологам были и многие из обитателей Хадытинского берега. Географы тоже не высказывались напрямик. Но можно было ясно уловить, что они винят геологов в узости, отказывают им в способности испытывать романтическое вдохновение, широко анализировать и синтезировать данные собственных исследований. «Нашел и взял. Нехитрое дело...»

А между тем и географы и геологи понимали, конечно,— но только умом, а не сердцем, — как неразрывно связано их дело, как прокладывают они дорогу друг другу и как помогают добиваться желаемых результатов. Не пройди тут (совсем, кстати сказать, недавно — в последние сто лет, а главным образом лишь в самое последнее тридцатилетие) разносторонние исследователи географических условий, геологам, работающим сегодня, было бы куда труднее. И в свою очередь работа геологов многое прибавила к нашим познаниям о природе и происхождении этих гор.

И те и другие отлично понимали это, и все же обоюдная предвзятость продолжала существовать.

Начальник экспедиции носил итальянскую фамилию, благодаря чему за глаза именовался «герцогом». Происходил же он из города Таганрога, из старинной рыбачьей семьи, в чьих поколениях соединилась и казачья, и греческая, и еще бог весть чья, и, судя по фамилии — Альфиери,— генуэзская или венецианская кровь. В этой семье были и контрабандисты, на утлых лодчонках ходившие к Трапезунду, и ловившие контрабандистов матросы таможенных вооруженных посудин. Прадедом начальника был моряк, который плавал на паруснике к экватору, а потом, в дни Крымской войны, затопил свой корабль по приказу Нахимова у входа в Севастопольскую бухту. Дядька же нашего «герцога» служил на эскадренном миноносце «Фидониси», затопленном в Керчи в июне 1918 года. Миноносец ушел под воду с поднятым на реи гордым флажным сигналом: «Погибаю, но не сдаюсь».

— Затопили флот, затряслись-поплакали, вышли на берег и подались по горам...— так, немногими словами и с неизгладимой моряцкой скорбью, рассказывал мне когда-то об этом эпизоде служивший на том же «Фидониси» боцман Шмаков.

«Подался по горам» и дядька начальника. Потом он служил на бронепоезде, потом председательствовал в рыболовецком



21-Э

колхозе близ Сивашей, а в Отечественную войну дядька с племянником встретились в госпитале после феодосийского десанта, в котором участвовали оба.

Теперь племянник забрался в горы, расположенные на другом краю земли. Он ходил здесь в яркой ковбойке с высоко закатанными рукавами, в горных ботинках на крупных шипах. У пояса болтался самодельный нож, из тех, что носили когда-то фронтовые разведчики: широкое лезвие, рукоять набрана из пластинок цветного плексигласа, добытого со сбитых «юнкерсов», кожаные ножны с застежкой. Нож остался памятью о черноморской «Малой земле». Но по виду у хозяина этого ножа трудно предположить воспоминания пятнадцатилетней давности, — сухое и горбоносое лицо его казалось совсем молодым от прочного загара.

Впрочем, внешность — она еще ни о чем не говорит.

На раскладном стульчике, — таком, какие берут художники, отправляясь на этюды, или расставляют зимой пенсионеры-рыболовы над лунками, прорубленными в озерном льду, — сидит Курдов. Волосы у него седые, лицо морщинистое, под глазами — набрякшие мешки. Его пятьдесят шесть лет определяются по внешности почти безошибочно. Но Оля, самая спортивная из попавших на практику в эту экспедицию четверокурсниц географического факультета, чемпион лагеря по лыжам и волейболу (эти виды спорта существуют здесь одновременно: лыжи на нетающем снегу горных склонов; волейбол на оленьих мхах приозерной долины), — Оля жаловалась на то, что «с Курдовым ходить невозможно».

— Ну а как же! Трудно ему... — пожалел Курдова присутствовавший при разговоре Слава.

— Ему? — удивилась Оля. — Нам трудно!

Недавно трое практикантов поднимались с Курдовым на Ханмэй — искали площадку у ледника, чтобы расположить там наблюдательную станцию. Подъем был крутой. Курдов сперва пошел не оглядываясь. Он поднимался с привычной легкостью, и тренированное его дыхание не ускорялось. Потом он остановился, чтобы забрать Олин заплечный мешок. Повесил его на плечо и зашагал снова по осыпающейся, ускользающей из-под ног мелкой каменной осыпи, не замедляя подъема, будто была перед ним спокойная степная дорога. Когда он остановился во второй раз, студенты оставались далеко внизу. Курдов дождался их и, не слушая никаких возражений, отобрал мешок еще и у задохнувшегося вспотевшего парня, который пытался изобразить бодрую жизнерадостность и старательно отводил от Оли жалобный, виноватый взгляд.

Они одолели к этому времени половину подъема. После привала Курдов продолжал нести на себе три мешка. Студентов он пропустил вперед и приноравливался к их сбивчивому

шагу, хотя было ясно видно, что ему легко еще сохранять взятый поначалу, привычный для него темп восхождения.

Подъем стал еще круче. Осыпь не держалась здесь. Приходилось карабкаться по гладкому камню.

Когда все четверо остановились у ледника и сбросили ношу на крупнозернистый фирновый снег, у Оли и у обоих ее коллег медленно вращались перед глазами темные концентрические круги, в которых расплывались зубчатые очертания белых горных вершин. В ушах шумело, и голос Курдова слышался будто через вату.

— Классическая чешуйчатая структура, — удовлетворенно объявил Курдов, очевидно уже успев к чему-то приглядеться. — Совершенно явственный раскол протерозойской глыбы...

Он готов был сесть на излюбленного конька и отправиться в прадревние дали исторической геологии, но вдруг рассмотрел лица своих собеседников и рассмеялся. Нет, его спутники не могли сейчас увидеть чешуйчатую структуру. Пот слепил их глаза. На выгоревших под солнцем ковбойках расплывались влажные темные пятна.

— Снегом умойтесь, — сказал Курдов. — И не дышите так громко, а то хозяйку разбудите.

Он кивнул на камень, нависший над ледником. Ветер сдул с него снег, а под камнем угрюмо дремала белая полярная сова...

— Вот вы говорите, возраст, — заметила Оля, досказав нам эту историю. — Верно. Курдов старше меня или Витальки на тридцать пять лет. Ну а что ему эти тридцать пять лет, если для него и тысячелетие — срок, не заслуживающий внимания? Он говорит: «Карбон — какие-нибудь триста миллионов лет тому назад... Молодой возраст...»

И она показала, как именно говорит это доктор географических наук Константин Пудович Курдов.

Я смог убедиться: Оля показывала своего профессора очень похоже. В точности так и говорил Курдов, когда мы толковали, набившись в дощатую каморку, служившую кабинетом начальнику экспедиции:

— Альпы, конечно, сосунки по сравнению с Уралом. Там — миоценовая формация. Двадцать пять миллионов лет, вчерашний день... Тут — оглядишься вокруг — горы стоят триста миллионов лет... Конечно, тоже не так много, — кольские граниты раза в четыре старше, — но все-таки есть здесь о чем поговорить...

Это, понятно, не всерьез было сказано: профессорская шутка «для посвященных», ироническая затравка. Но так или иначе любимая тема была затронута, ирония исчезла, и Курдов заговорил о том, что удалось ему наблюдать на Ханмэе во время высокогорных прогулок: о следах разрушений горных

пород, о том, как ясно читается в здешних перемятых сланцах летопись необъятно далеких эпох, отсчитываемых почти астрономическими цифрами. Для него живым, необыкновенно пестрым и многоголосым был тот мир, который увиделся нам с вертолета мертвым пейзажем лунного цирка, — выветренный черный камень, оглаженный движением льдов, искрошенный в мелкую пластинчатую осыпь, сдутый с крутого склона морскими ветрами и обнаживший неровную ребристую поверхность надвинутых один на другой пластов, образующих земную кору. Все это являло следы безостановочного движения непрерывных изменений, могучей жизни природы. Миллионы, сотни миллионов лет назад сюда накатывали и уходили отсюда моря. Здесь грохотали вулканические извержения, стыла раскаленная магма, рвущаяся из недр планеты, зеленели раскидистые великаны папоротники. Заросли гигантских хвощей и сорокаметровых плауновых деревьев сносились бурями, смывались морями, заносились новыми отложениями и, сгнив, превращались в торф, а затем в каменный уголь. Первые живые существа зарождались сперва в море — голыми комочками протоплазмы, микроскопически малыми инфузориями или крохотными лучевиками с кремнистым скелетом; они жили в придонных глубинах, отживали свое и становились илом, устилающим океанское дно. Этот окаменелый ил вошел пластами в складки горных хребтов, вспученных над исчезнувшими морями; многометровым слоем лежит он на дне нынешних океанов, а живые инфузории и лучевики, совершенно такие же, как и те, что существовали в архейскую геологическую эпоху, полтора миллиарда лет тому назад, до сих пор попадают в марлевые сетки гидробиологов.

К тому времени, когда сложились Уральские горы, в водах уже плавали морские лилии и морские ежи. Существовали крупные, причудливо изукрашенные моллюски. Рачок-трилобит уже вымирал. Первый скат защищался от первой хищной акулы. А на земле страшилища-ящеры мирно кормились зеленой порослью в сырых и жарких лесах.

По отпечаткам исчезнувших тел в толщах горных пород, по частям ископаемых скелетов, по следам геологических катастроф и гигантских вулканических сотрясений наука восстанавливает картины давно минувшей жизни, предшествовавшей появлению на земле человека. И занятно, как научные выводы спорят со зрительным впечатлением, разрушают привычные представления. Разве не кажутся нам горы воплощением твердости и могущества? А вид равнины, — особенно в дни поздней весны, когда еще полноводны спокойные реки, когда цветут луга и идет в рост зеленая озимь, — разве не рождает этот вид ощущения доброй приветливой мягкости и покоя? Но ученые напоминают о том, что земная кора остывала неравномерно.

И именно там, где кора твердела быстрее, образовался непроницаемо-жесткий, кристаллический фундамент, на котором лежат нынешние равнины (в науке они и называются жестким словом: «платформы»), а там, где кора дольше оставалась мягкой, податливой, — там долго еще прорывалась на поверхность раскаленная глубинная магма, сдвигались, надвигались друг на друга толщи пород, слабая земная кора растягивалась и поднималась, образуя морщины на теле земли — цепи горных хребтов. И выходит, что природа планеты напоминает природу человеческого характера: за настоящим радушным спокойствием ищи кристаллическую уверенную твердость; следы же быстрой смены напластований и чадный дымок над холодными кратерами погасших вулканов всегда изобличат в характере зыбкую непрочность основ...

В сборном домике страсти текущего дня то и дело вторгались в разговор о судьбах планеты.

Известие о том, что на вертолете есть одно свободное место, взбудоражило двоих обитателей лагеря.

Сперва, не позабыв извиниться, в беседу ворвался молодой человек в аккуратной штормовке. Похоже было, что все соблазнительные видения недавно покинутого большого города пронеслись, как говорится в книжках, «перед его внутренним взором» и так настоятельно позвали молодого человека, что он решил тотчас же улететь с Большой Хадыты. Об этом он и заявил с горячечной и непреклонной страстностью. Начальник отказал. Начальник хотел воспользоваться внезапной оказией, чтобы послать в Салехард хозяйственника со всяческими накопившимися поручениями. Огорченный молодой человек обмяк, но не собирался сдаваться.

— У вас нет права меня задерживать, — жалостно твердил он. Капюшон, завязанный у подбородка, плотно облегал его розовое лицо. На щеке трудился комар, вздрагивая, толстея и багровея, но молодой человек не замечал комара. Продолжая бубнить свое, он пытался взять начальника измором: — Я понял, что не сумею принести здесь никакой пользы. Я завидую, поймите, завидую вам всем. Но сам я не приспособлен к этой жизни, не обладаю здоровьем...

Бывает же так обманчива внешность! Никак, ну никак нельзя было предположить, что беднягу гложет скрытый недуг. Но не было оснований не верить его аккуратным, округлым словам. К тому же молодой человек так бесстрашно подвергал себя самокритике, так отважно выдерживал уничтожающий взгляд присутствующей в каморке Оли (уж не его ли называла она в своем рассказе «Виталькой», и не Виталькин ли мешок втаскивал на Ханмэй неподдающийся своему — ничтожному,

с геологической точки зрения, — возрасту Курдов?). Комар с трудом оторвал от щеки раздувшееся красное брюшко; он тяжело взлетел, тут же на его место сели два новых, и молодой человек нервно смахнул их ладошкой. Казалось, он вот-вот расплачется. Не только одолевающие его чувства — вся биография была как бы написана на чистом лице «приличного молодого человека», который в самом деле оказался Витальком. Его извели комары. Ему до смерти надоело просыпаться с наболевшими боками на тощем тюфячке, кинутом на жесткие нары, на сбившейся, тощей подушке. Если он улетит сегодня в Салехард — это значит, что всего через два-три дня он уже будет дома и сможет до позднего утреннего часа валяться в своей привычной мягкой постели, держа в руках книжку, не глядя в нее, отдаваясь ленивому течению неясных мыслей и вяло отругиваясь в ответ на поторапливание матери, зовущей его к стынущему завтраку. Не надо будет идти ни в какие горы, не надо шагать, оступаясь на скользкой каменной осыпи, не будет никакого тянущего рюкзака на плечах, не будет зудящего звона мошкары, не будет насмешек товарищей (вчера он обнаружил на своей штормовке неизвестно кем приколотый и откуда добытый значок «Юный турист»), не будет обидно-неотвязной зависти к тому, что хотел бы он считать достойным лишь пренебрежения: к счастливой дорожной непритязательности, к способности легко и просто «притираться» друг к другу, ничем не раздражаясь, к неутомимой безотказности, к невзыскательному веселью. Все это прежде — издали — казалось ему жалкими приметами примитива; вблизи же приметы эти оказались, хоть он и не хотел себе в том признаваться, недостижимо для него привлекательными. Но вот он опять может уйти от всего этого, воспользовавшись свободным местом в улетающем вертолете; и когда можно будет позвонить приятелю по ленинградскому телефону, у него уже отыщется в рассказе о «ледниковом хождении» и пестрая красочка для себя самого и презрительная издевка для привычного посрамления того же «примитива». И можно будет, выбрав фильм, сходить в любое кино и после сеанса «прошвырнуться» по Невскому, а вернувшись домой, снова нырнуть в мягкую постель, не испытывая всепроникающей знобкой сырости, не боясь мошкары; можно будет включить электрический ночничок и взять оставленную утром книгу. Конечно, будут потом хлопоты в институте, разговор о сорванной практике, шум, вызовы, выводы, внушения, затруднения при переводе на следующий курс; может статься — неприятности и похуже. Но, привыкнув жить сегодняшним днем и ощущать себя центром этого дня, такие молодые люди думают обо всех возможных будущих неприятностях неохотно и смутно. Слишком уж незадумчиво прожитая юность воспитала в них представление, будто бы лю-

бые неприятности, какие могут их коснуться, несущественны и преодолимы. Вот и Виталька, наверно, считает, что он выше всего этого. А то, как могли бы о нем судить другие, ему глубоко безразлично. Такая уж это особая форма индивидуализма, лишившегося в наш век и в нашем обществе реальной почвы, духовной идеи и конкретных целей, но еще существующего по инерции и выхватывающего свои жертвы, как вирусная болезнь. Но и вирус отыскивает для себя питательную среду не в любом организме. Значит, оказалась у Витальки слабина — незащищенное место. Какое же?

У таких, как Виталька, индивидуализм не идея, а лишь форма поведения, выработанная убогим себялюбием непритязательной и ленивой посредственности. «С голоду я не помру. Завтрашний день как-нибудь образуется. Поэтому я могу жить так, как мне нравится, а на других — наплевать!» — так, вероятно, мог бы рассуждать Виталька, если бы он вообще давал себе труд рассуждать. Но и думать ему было неохота. Тут-то и нашлась слабина организма, какую отыскивал вирус. И теперь Виталька твердил:

— Задерживать меня вы не имеете права.

Оля возмущенно от него отвернулась.

Курдов глядел на парня с сожалением, видно все про него понимая.

А начальнику и разбираться ни в чем не хотелось; он кипел. Виталька вызывал у Альфиери только гнев и брезгливость.

— Никто вас не держит, — отвечал «герцог», так и стараясь не повысить при этом голос, что злой его шепот был едва слышен. — Никого здесь силком не держат. Но место в вертолете мне нужно для дела. Договаривайтесь с пилотом. Возьмет сверх нормы — летите, Христа ради, скорее...

И он почему-то при этом обтер и отряхнул руки.

На щедрость пилота Виталька не рассчитывал. Он буркнул что-то вроде «сами бы ему сказали», но тут же махнул рукой и выскочил из домика с выражением самой отчаянной решимости. Оля устремилась за ним, мрачная и мстительная, как совесть, которую попытались отрезать и позабыть.

В дверях Оля столкнулась с маленьким коренастым пареньком в синем спортивном тренировочном костюме.

— Зубы! — воскликнул тот, добежав до начальника. Он оттянул пальцем губу чуть не до самого уха, показывая десны, и остановился, переводя дыхание.

— Что с тобой, Лепешкин?! — позволил наконец себе крикнуть Альфиери, хотя все было ясно и без ответа.

Лепешкин, ощерясь, ткнул себя пальцем в десну. Сбоку мне не было видно, что он там показывает. Кажется, и начальник ничего не увидел. Но Лепешкин тут же объяснил:

— Пухнут.

Он еще раз ткнул пальцем в десну.

— Остается белое? Остается, а?

Начальник мотнул головой:

— Не вижу.

— Цинга может начаться, — сказал Лепешкин. — В Салехард надо. Хоть на десять дней.

Доктор был тут же, в каморке. Начальник обернулся к нему.

— Зубы, верно, плохие, — сказал тот, отводя глаза от молящего взгляда Лепешкина. — До цинги далеко, а пломба выпала, верно. Если есть возможность, чинить надо. Сами знаете, Север...

Нет, это было вовсе не то, что Витькин случай. Про Лепешкина мне уже говорили. Он пришел сюда еще в прошлом году, вместе с первой группой участников экспедиции. Их было четверо, и они перезимовали здесь, в горах, ведя гляциологические наблюдения. (Гляциологи изучают свойства и работу ледников, и эта задача, как одна из самых основных, вошла в комплекс работ Полярно-Уральской экспедиции, работающей по программе Международного геофизического года.) Нелегкое это дело — прожить почти год вчетвером, отрезанными от всего мира. Наступает день, когда все переговорено, все друг про друга каждому известно, немногие взятые с собою книжки прочитаны. Уже и жестокая пурга становится развлечением. Не в том, конечно, смысле, что она доставляет удовольствие, нет; но она отвлекает, требует дела. Надо откапываться, расчищать тропу, — так и день прошел, некогда было в этот день оставаться наедине с собою. Помню, как после первой зимовки на Северном полюсе вернулась оттуда четверка «папанинцев». Один из них признавался:

— Все было. Лед трещал. Снегом заносило. Водой заливало. Белые медведи приходили. Продукты мокли. Но не было от этого трудно. Даже, знаете, веселее как-то становилось, крепче себя чувствовали, что ли. Все, мол, нам нипочем... А вот выдастся свободный часок. Сидим на коечках. Посмотришь на приятеля, и он на тебя смотрит. Ты молчишь, и он молчит. И ты знаешь, про что он молчит. Вот это трудно!..

Тут тоже было такое. Только лед не трещал под ногами, и море было далеко. Но и все остальное было тоже очень далеко отсюда; жили на краю земли, мела пурга, крохотный домик заносило снегом, радио включали не часто — берегли батареи. И уже каждый знал, про что молчит другой и о чем заговорит он, если захочет разговаривать. И это было трудно.

Троим гляциологам жилось легче. У них была своя постоянная работа, она каждый день приносила что-нибудь новое, и можно было об этом новом всегда поразмышлять и потолко-

вать. Время для них текло быстро. Лепешкин не был ученым. Горные ледники оставались для него закрытой книгой, и язык этой книги был ему непонятен. По профессии Лепешкин был плотник, а по душевной склонности — акробат. Этому увлечению своему Лепешкин отдавался до самозабвения и сумел многого добиться: он был мастером спорта и даже чемпионом Российской Федерации. На первых порах уединенной жизни в маленькой комнате сборного домика он часто обращался к младшему из гляциологов:

— Насвисти, Костя, вальсик. Ну, какой знаешь, все равно, насвисти...

Из человеколюбия Костя принимался мычать нечто монотонно-заунывное, а Лепешкин подпрыгивал с виртуозной легкостью, выбрасывал перед собою руки и умудрялся в тесном пространстве плотно заставленной комнатки сделать в воздухе сальто и «прийти», как он говорил, на крепкие, маленькие, пружинисто падающие на пол ладони. Движения его были полны изящной изобретательности, и казалось, будто неслышная, совсем непохожая на Костино мычание музыка подчиняет своему ритму движения ловкого и сильного тела.

Но вдруг Лепешкин останавливался.

— Не разберу я, Костя, что ты поешь, — грустно говорил он.

— А я и не пою вовсе, — мирно объяснил гляциолог. — Я петь не умею.

И все же Лепешкину слишком хотелось отвести душу. На следующий день он просил Костю снова:

— Ну знаешь же ты хоть какой-нибудь мотив, серый ты человек?! Ну, хоть маршик насвисти, что ли...

И опять пробовал кувыркаться и прыгать под унылое мычание.

Но вскоре это наскучило ему. Он понял безнадежность своих попыток и прекратил их. Только поздней весной Лепешкин отыскал в своих тайниках заранее припасенную штангу, сколотил за домом турник и ожесточенно, подолгу вертел на нем «солнце», когда гляциологи уходили к своим ледникам. Для этого ему не нужны были Костины вальсы и марши. Талая вода рвалась с обогретых солнцем вершин на застоявшийся в тени ущелий зеленый озерный лед, шумно катила камни, обкатанные потоками, которые вот так же рушились с этих гор прошлой весной и десять тысяч весен и миллион весен тому назад; в потоках слитно ворчало непрерывно текущее время. Лепешкину не годился этот монотонный ритм, и он переставал его слышать. В горной тишине Лепешкин бросался на турник с голодной яростью. Напряженное тело становилось невесомым. Штанга почти неощутимо начинала скользить в ладонях; Лепешкин превращался теперь как бы в «спутника» штанги,

и новое усилие нужно было ему уже не для того, чтобы продолжать вращение, но чтобы вырваться из своей орбиты. Лепешкин делал это усилие и спрыгивал на мягко пружинящий мох. Все в нем звенело. Вокруг не было никого. Но именно об аудитории и мечтал Лепешкин. Зрители ему необходимы были, как артисту. Он выключал эту свою мучительную потребность. Он вспоминал, что у него еще недоделаны стеллажи для лаборатории, и брался за фуганок. Вернувшиеся гляциологи заставали его за работой. Фуганок скользил, снимая длинную душистую стружку. Лепешкин хмуро молчал, и Костя знал, про что он молчит.

Когда на Хадыту пришли трактора и четверо зимовщиков спустились с горы в большой лагерь на берегу озера, Лепешкин несколько дней был счастлив. Водитель Маклецов играл на аккордеоне все, о чем бы ни попросил его Лепешкин. Население лагеря в полном составе (двадцать два человека, в том числе пять женщин, два доктора географических наук и шесть кандидатов) смотрело два вечера кряду почти балетный акробатический каскад Лепешкина и аплодировало, восхищаясь его изобретательностью и легкостью. Но потом Лепешкину стало еще скучнее и труднее, чем прежде. Ему не хватало стадиона с сотнями глаз и опьяняющей оглушительностью настоящих аплодисментов.

— Пойду в цирк, — круто решил вдруг Лепешкин, обдумывая свою будущность. — Буду работать в цирке...

Но тут же он начинал сомневаться. Если цирк — тогда прощай, значит, спортивное общество, азарт соревнований, неповторимо волнующая борьба за победу и радость рекорда. Тут-то и вспомнилось ему оброненное Маклецовым упоминание о том, что в воскресенье состоится в Салехарде спортивный праздник.

— Уйду, — опять решил он. — Подумаешь, налегке полтораста километров. За четыре дня можно пройти.

Но прошла среда, а он так и не поговорил с начальником экспедиции. Еще четырнадцать месяцев оставалось Лепешкину работать здесь по договору. Двухмесячный отпуск может быть оплачен только в самом конце договорного срока. Договор этот Лепешкин решил подписывать так же с размаху, как внезапно решал поступать в цирк и уезжать в Салехард.

Он поссорился прошлым летом с Надей, метательницей диска из «Спартака».

— Все равно придешь,— самоуверенно сказала ему тогда Надя.

Лепешкин знал, что она права. Он непременно пришел бы.

Но друг в тот же вечер рассказал про экспедицию. Наутро Лепешкин подписал договор, а еще через неделю уехал. Неделю он продержался: не приходил и не звонил, как ему ни

хотелось, и только перед самым отъездом попросил того же друга сообщить Наде номер рейса и час отлета, — конечно, не упоминая о лепешкинском поручении, а как бы от себя. Он ждал, что Надя появится на аэродроме. Она не пришла.

— Все кончено,— твердо решил Лепешкин.

В Салехарде он сразу же побежал на междугородную, заказал знакомый номер, сразу принялся поминутно заглядывать в окошко, нетерпеливо справляясь, долго ли ему еще ждать, и в конце концов жестоко поругался с усталой и сонной телефонисткой.

Когда Лепешкина позвали наконец в будку, оказалось, что слышимость очень скверная. Надиного голоса он не узнал. В трубке что-то квакало и трещало. Наде, наверно, тоже ничего не было слышно, потому что телефонистка все время с жестоким казенным безразличием повторяла все, что он горячечно выкрикивал в телефон.

— Он говорит, что любит, — скучно скрипел чужой голос. — Го-во-рит, вас лю-бит...

Ничего не слыша в ответ, Лепешкин потерянно буйствовал у трубки и потом опять различал только металлически-отчетливый скрип, производимый, казалось, бездушным роботом:

— Он не может без вас жить.

Так вот, оказывается, что он сейчас болтал. Ну и ладно. Это правда. Он и в самом деле жить без нее не может.

Потом снова слышались кваканье и треск.

— Что? Что ты говоришь?! — отчаянно кричал Лепешкин.

— Она говорит: «хорошо»,— пересказывала телефонистка. — Говорит: «глупо»...

— Что глупо? — удивлялся Лепешкин.

Но узнать, что хорошо, а что глупо, ему так и не удалось. Связь окончательно прервалась. Лепешкин наорал на ни в чем не повинную девушку за почтовым окошком, а на другой день уехал, ни слова не написав Наде — слишком уж он не любил писем: на бумаге все получалось не так, как он хотел бы сказать. И от Нади он ничего не мог ждать. Она не знала адреса.

Десять месяцев миновало с того дня. Почти год. Лепешкин уговаривал себя, что все прошло. Но то, что следовало считать забытым, припоминалось чересчур часто.

Когда с санно-тракторным поездом появились на Хадыте три студентки-географички, ученая специалистка-климатолог и жена начальника экспедиции, ходившая в ковбойке с засученными рукавами, в юбке, высоко открывавшей сильные загорелые ноги, — Лепешкину показалось, что все новые обитательницы лагеря необыкновенно хороши. Каждая была живым чудом, какого он не видел уже десять месяцев. Вечером, после того как Лепешкин показал свои упражнения, ему померещилось, будто Оля глядит на него с особым любопытством, и в

слегка близоруких серых глазах начальницы он сумел уловить даже ласковый, поощряющий призыв. Потом Маклецов играл «Подмосковные вечера», Оля пела с ребятами, натягивая волейбольную сетку, и Лепешкин пошел к девушке так решительно и самоуверенно, что та сразу все поняла, тут же познакомила Лепешкина с Виталькой, и Лепешкин тоже все понял. И та игра, какую он для себя придумал, перехватывая прищуренные взгляды начальницы, тоже окончилась очень скоро. Все было самообольщением. Никакой особой наблюдательности не нужно было, чтобы сообразить, что близорукая доброжелательная пристальность относилась вовсе не к одному Лепешкину, а ко всему, что окружало молодую женщину: к горному озеру, к пролетавшей птице, к самодеятельному лагерному повару, подошедшему за советом: что бы такое приготовить сегодня на ужин?

Стоит только чуть внимательнее приглядеться, чтобы понять: любое подвернувшееся дело сразу захватывает ее всю целиком. Вот и сейчас.

— Тушенку — это мы еще успеем, — решительно отвергает она предположение повара. — Ведь у тебя еще мясо есть. Давай костер разведем и на вертеле зажарим...

— С дымом! — подхватывает повар.

— С комарами! — радуется начальница собственной затее.

Лепешкин забыт начисто.

Начальница бежит к волейбольной сетке.

— Костер! Костер жечь!

Нет, не было ни в глазах ее, ни в голосе никакого поощрения, никакого призыва. Все это самообольщение и чепуха. Лепешкин чувствует себя обманутым. Отчаяние охватывает его. Зачем он подписал договор? Зачем прожил десять месяцев в хижине, в пустынных горах? Может быть, они с Надей давно бы уже поженились? Но и Надя — тоже обман. Если бы она его любила, она не могла бы позволить ему уехать. И уж конечно приехала бы на аэродром.

Теперь представление о Салехарде сливается у Лепешкина с предчувствием нового чуда. Там, на спортивном празднике, он непременно встретит девушку, какой не встречал еще никогда. (В воображении он, однако, видит Надю: он стоит с нею в закоулке под трибунами, мимо них пробегают на арену ребята. Надя уже выступила; она еще не отдышалась, не оделась после упражнений с диском, темная кожа блестит в глубоком вырезе белой майки. «Все равно придешь», — говорит она и, пренебрежительно вскинув голову, уходит в душевую. Такой он видел ее в последний раз и такою же мстительно представляет себе теперь, в ожидании салехардского чуда.)

Но пешком в Салехард он не ушел, и праздник на тамошнем стадионе казался ему безнадежно потерянным.

О своих терзаниях Лепешкин рассказал Олиной подруге, когда они вместе поднимались к горной хижине. Девушка оглядела его с искренним удивлением.

— Здоровый парень, — укорила она Лепешкина, — а оказывается — неврастеник. Кто бы мог подумать!

Слово Лепешкину было не вполне понятно и потому прозвучало особенно обидно. Он замкнулся и замолчал.

На другой день в лагере сел вертолет. Он шел в Салехард, и на нем, как услышал Лепешкин, обнаружилось свободное место. Была еще только пятница — почти целых два дня до спортивного праздника. Лепешкин вспомнил про выпавшую пломбу и побежал к начальнику.

«Не может не пустить, — соображал он, торопясь к сборному домику. И сбивчиво думал о будущем: — Улечу и не вернусь больше... Улечу, а потом в лагерь пешком вернусь...»

— Зубы! — выкрикнул он, вбежав в каморку.

На этом мы с ним познакомились.

После справки доктора Альфиери посмотрел на Лепешкина с недоброй тоской и вдруг заорал на тонкой высокой ноте:

— Никого не держу! Кто не хочет работать — к чертовой матери! Здесь хлюпики не нужны!..

Выкрик этот предназначался еще Витальке, но достался Лепешкину. Тот продолжал стоять, оттягивая пальцем губу и показывая красные, бесстыдно здоровые десны. Начальник застеснялся своей несдержанности.

— Послушай, Лепешкин, — сказал он почти мирно. — Ребята тебя хвалили. Парень ты, говорят, хороший. Хочешь зубы чинить — чини. Но не могу я сейчас тебя отправить. Придут лошади, бери кобылу, езжай...

— Мне сейчас надо, — сказал Лепешкин, отпустив губу.

В комнатку заглянул «ветролетчик» Слава. Вместе с нами он услышал смутное признание Лепешкина — рассказ его о предстоящем салехардском спортивном празднике, состоявший из страстных междометий, беспорядочных жестов и захлебывающихся, полных отчаяния недомолвок.

Сокрушительная целеустремленность лепешкинской мечты обладала такой покоряющей силой, что Слава тут же кликнул Игоря, стоявшего, как оказалось, за дверью, и оба они, пошептавшись, стали опять складывать и перемножать какие-то цифры в потрепанной клеенчатой книжке. Потом Слава, ни на кого не глядя и будто сердясь на себя за излишнее мягкосердечие, хмуро сказал:

— Что ж, пожалуй, еще одного возьмем. Если без багажа.

— А когда же вернешься, Лепешкин? — с той же, что и у Славы, смущенной отчужденностью осведомился начальник.

Лепешкина словно подбросило подземным толчком. Отодвинувшийся было к пилоту, он вновь очутился перед начальником.

— Во вторник из Лабытнангов выйду. Считайте — до пятницы дойду. А то и в четверг...

— Так уж пешком и придешь? — не сразу поверил начальник. — Что-то мне показалось, ты лыжи насовсем отсюда навострил...

Лепешкин забыл все свои терзания. Он искренне огорчился:

— Что вы?!

Начальник спросил с насмешливой подозрительностью:

— А зубы? Ведь не поставят же тебе в понедельник, за один день, пломбу?

— А черт с ней, с пломбой, — окончательно раскрылся Лепешкин.

Тут и начальник улыбнулся, оттаяв.

— Нет, не пойдет так дело, — сказал он. — Если полетишь, так лечись. Думаешь, я тебя кувыркаться пускаю? Я доктора слушаюсь. Четыре дня тебе в Салехарде на зубы. А там свяжись с Иваном Никитичем, может, у него и оказия к нам найдется. Кстати, порученьице к нему возьмешь...

Коротким залпом междометий и жестов выразил Лепешкин свою восторженную благодарность и вышел вслед за поторопившим нас к отлету (для этого он и являлся) Славой.

Охотников улетать больше не было.

Мы вернулись к прерванному разговору.

— Александр Евгеньевич, — так Курдов, по праву ученика, называл покойного академика Ферсмана, — Александр Евгеньевич считал, что твердая земная кора образовалась от полутора до двух миллиардов лет тому назад...

И он повторил еще раз, что люди, по сравнению с этим непостижимым для их обычного представления счетом времени, ничтожно молоды, ибо в самом деле: если представить себе, что год ложился бы на год тончайшей осязаемой пленкой какой-либо материальной массы, то два миллиарда лет образовали бы огромную толщу, а те последние пятьсот тысяч веков, что миновали от появления на земле самых древних предков наших, легли бы на эту толщу лишь тонким слоем. А уж про так называемое историческое время, исчисляемое пятью какими-нибудь тысячелетиями, и говорить нечего. С точки зрения исторической геологии это период почти мимолетный; даже новых приметных морщин на лице планеты он не успел оставить...

Но — хорошо знакомые студентам — эти курдовские шуточки не несли в себе презрения к роду человеческому, и вовсе не сознание ничтожества поставленных ему сроков, но жизне-

любивое и радостное ощущение молодости, как удела, дарованного на земле человеку, прежде всего ощущалось в его беседах. Говоря о молодости человечества и краткости сроков его существования на земле, Курдов еще пуще гордился всем, что люди успели сделать на своей планете в течение времени, которое принято называть историческим и которое в самом деле столь ничтожно мало по сравнению со всем геологическим летосчислением. И за эту наивную, почти ребяческую, вдохновенную гордость, какая им неотступно владела, Курдова любили не только студенты, но и все те, кому доводилось случайно включаться в его орбиту.

В общем, человек привык считать достаточно долгим срок жизни, отпущенный поколению. Этот срок оказывается наполненным сменой разнообразных событий. В жизни каждого толчком к переживаниям разной силы, поводами для радостей и горестей, для волнений и раздумий являются и любовь к женщине, и газетное сообщение о борьбе повстанцев на далекой и неведомой Кубе, и переезд семьи на новое место, и взлет космической ракеты, и болезнь близкого человека, и разлив нового моря, созданного трудом соотечественников, и многое другое, близкое и далекое, общее и свое. Непрерывное течение событий, пестрая смена их делают годы емкими и долгими, и поэтому, думая об истории Земли в те времена, когда люди еще не жили на ней, мы чаще всего тоже непрерывной и бурной представляем себе цепь происходивших на Земле событий и бессознательно сокращаем сроки, необходимые для совершившихся преобразований. Возникновение гор, исчезновение морей и океанов, превращение лесов в залежи каменного угля, гибель динозавров и петродактилей, движение ледников, почти колдовское преображение лесной смолы в добываемый со дна моря янтарь — все это сдвигается в тесные, доступные нашему постижению пределы времени, и мы представляем себе Землю тех давних времен окутанной вулканическим дымом, грохочущей, сотрясаемой беспрерывно чередующимися катастрофами, меняющей облик чуть ли не ото дня ко дню. Между тем облик этот менялся на протяжении тысяч и сотен тысяч лет. Стояли, как и нынче, погожие дни и пасмурные дни. Беззвучно хлопотали в морях и реках рыбы. Потрескивал лесной валежник под тяжело ступающими ногами беззлобного ящера. Так кончался один день и наступал другой; так проходил век и еще три века. Тишина — точно так же, как и теперь,— состояла из шелеста листьев под налетающим ветром, птичьего щебета, разноголосой лесной переклички. В этой тишине длилось нескончаемо долгое и сонное младенчество планеты. Лишь изредка сон прерывался содроганием землетрясений, грохотом извергающихся вулканов, порою жестоких ливней и гроз; такая пора тоже могла длиться долго, но затем она, вероятно, снова сменялась

возвращением вековой тишины — тысячами дней, похожих один на другой, Птицы и мотыльки, перенося цветочную пыль, сажали леса и луга на этой невозделанной земле, еще не знающей человеческих рук. Это, вероятно, были другие леса, не вполне похожие на нынешние, другие мотыльки и птицы. Но все же это была та самая — наша — земля, и ее ожидание человека было как бы созреванием разума.

Нам и теперь кажется, будто на земле не происходит никаких существенных перемен, кроме тех, что человек совершает своими руками. А ведь это не так.

Случалось ли вам после долгой разлуки вновь попасть на берег реки своего детства? Сперва все здесь радостно знакомо. Жаркий, не дающий тени лозняк у самой воды. Разогретый летним солнцем песок. Глубоко просвеченная зеленоватая речная прохлада. Но всмотрись-ка пристальнее: где оно, то всегда помнившееся и даже в снах возвращавшееся место, в каком ты привык бросаться в воду, видя перед собой широкий простор, прикидывая, где попадешь на волну, поднятую колесами старого парохода; приглядываясь, где сможешь ты, отдыхая, стать на песчаную отмель, не показывающуюся на поверхности, но приметную отсюда лишь по тому, что вода над ней посветлее; зная, где надо обойти яр, над которым река «крутит» (и мальчишки говорят, что там живет опасный сом: он может «хватить», он даже с берега может уворовать легкомысленного поросенка, а то и несмышленого младенца)... Все это ты ясно сберег в памяти, и ничего этого нет теперь перед твоими глазами. Какие-то плоские песчаные косы, которых не было вовсе, лезут теперь из воды. Трехпалубный винтовой пароход идет по незнакомому тебе руслу. И лес на другом берегу облысел, поредел; это совсем другой лес, чем тот, что рос там в годы твоего детства.

Земля изменилась.

Прошло каких-нибудь два-три десятка лет, а Земля изменилась. Вот так, верно, и меняется она всегда — медленно и почти неприметно — во все века и миллионолетия своего существования.

Как и все, что происходит в мире,— любые изменения облика Земли, ее климата и географических условий не бывают случайными. Все они подчинены определенным законам. Но сами законы эти далеко еще не все известны человеку. Больше того, сама Земля — ее строение и состав — изучена еще очень мало, куда меньше, чем отдаленные космические пространства. Грубо говоря, нам удалось пока лишь царапнуть самые верхние покровы планеты, и современная наука все еще продолжает строить гипотезы — порою противоречивые и даже взаимоисключающие — о том, что лежит под этими покровами.

Нет в наше время такой области знания, где какая-либо одна наука действовала бы изолированно от других. Изучением обитаемого нами мира тоже заняты ученые самых разных специальностей. Познание рождается исподволь, из множества добытых крупиц.

В тесной дощатой комнатке, которую прибитый у окна маленький столик делает похожей на вагонное купе, часто и запросто поминаются в разговоре три сухих и маловыразительных слова: «Международный геофизический год».

— А вы поняли это?— спрашивает вдруг Курдов, когда эти слова привычно проговариваются в очередной раз. У него тон экзаменатора, озабоченного легкомысленной торопливостью своего студента.— Это ведь не так просто: «Международный геофизический год»!..

Он набрасывает картину исследований, которые ведутся на всей земле в то самое время, когда мы здесь толкуем об этом.

В плавучих льдах Арктики и на ледяном щите Антарктиды, в обсерваториях всех континентов и на специально сооруженных станциях, на кораблях, не подверженных действию магнитных сил, и на разоруженных, отданных делу науки и мира подводных лодках делают общее и доброе дело ученые пятидесяти стран...

— Вы это как следует себе представьте,— настаивает Курдов.— Тут не только суть работы важна. И не только добытые конкретные результаты. Разве не видна тут частичка картины, какую может представлять мир в близком будущем, если человечество одолеет безумцев и перестанет разрешать свои споры войной? И ведь неплохая же это картина, право!

Его непосредственная и радостная горячность напомнила мне вдруг давно прочитанную и совсем было забытую пустую книжку. Это был взятый как-то с собою в дорогу американский детектив с пестрым страшилищем на глянцевой обложке: темные очки прятали чье-то лицо, и кисть скелета тянулась к чьему-то горлу. Даже имя автора позабылось. Но я вспомнил, что главный злодей в этой книжке стал преступником и садистом именно оттого, что математик в нем победил и уничтожил человека; наука, утверждал автор, лишила его героя морали и сделала циником. Постигнув время как математическую бесконечность, ученый, видите ли, осознал ничтожную малость человеческой жизни: в мире бесконечных величин это лишь воображаемая точка, не имеющая ни реальных объемов, ни какой-либо ценности. Не помню в точности дешевой софистики автора. Она сводилась примерно к тому, что убийство, таким образом, становится «превращением ничего в ничто», и, следовательно, не может оно быть ни преступлением перед законом, ни тем более «грехом» перед лицом морали. Все это было не ново, стоило недорого и сильно отдавало фашистским душком.

Но даже и не эта мнимая философичность раздражала в аляповатой книжке; еще больше сердила лживость портрета.

Можно ли оставаться ученым, презирая людей?

Может ли существовать наука без живого стремления к добру? (Пусть оно примелькалось и стало старомодным — это давнее честное слово.) Я не поверил рассказу про ученого-злодея. Слова Курдова, сказанные в экспедиционной времянке, вызвали у меня мгновенный и как бы естественно подготовленный отклик, и я легко представил себе то, о чем он говорил: норвежца в Бергене и русского в Тикси, занятых изучением природы полярных сияний; бельгийцев, австралийцев и прочих ученых в Антарктике; поляков на Шпицбергене, команду «Витязя» над впадиной Тускароры, американца из «Литтл Америка» над сейсмографом коллеги в поселке Мирный,— разноязычное сообщество людей, дружно обменивающихся плодами исследований, проведенных по единому, общему плану.

Верно, такая картинка спорила с барьерами холодной войны и потому помогала думать о разумно устроенном завтра.

Вот и в необитаемой горной стране разбит небольшой лагерь.

Несколько десятков людей, по преимуществу молодых, забрались сюда, преодолев нелегкий путь. Четверо из них уже перезимовали тут; новая, более многочисленная смена проживет следующую зиму.

Как всегда, когда люди делают милое, дорогое им дело, тяжесть труда остается здесь на первый взгляд почти неприметной. Кажется, будто обитатели лагеря живут, перешучиваясь; молодая беззаботность становится самой видной стороннему наблюдателю чертой — она владеет не только юными практикантами, но и многоопытными их руководителями. Пожалуй, даже и не от молодежи зависит эта легкая и светлая краска в здешнем пейзаже. Приехавшим сюда практикантам повезло. Люди такого склада, как Курдов, даже и не думая об этом, передают своим студентам вместе со знаниями (и происходит это не в аудитории, а непременно «в поле») и свою привычную дорожную легкость и особую, почти всегда присущую им в общежитии наивную беззаботность, которая может касаться всего, кроме самого главного — кроме своей работы. В работе беззаботность сменяется придирчивой дотошностью; никакой легкости нет и в помине. То, что сделано спустя рукава, не прощается никому. Скороспелые выводы отвергаются с яростью. Как бы ни был научный вывод остроумен и внешне убедителен, он не будет принят, если под ним не может быть обнаружен мощный фундамент фактов, сопоставлений, счислений, опровергнутых сомнений, терпеливого труда и долгих раздумий.

Но об этой стороне здешнего быта приезжий может только догадываться.

Начальник экспедиции рассказывает о сути дела скупыми и сухими до беспомощности словами. С непосвященным — да еще второпях — ему говорить очень трудно.

— А общую-то задачу вы знаете? — подозрительно осведомляется он и на всякий случай повторяет простейшую формулу, определяющую цель всех ученых, которые участвуют в проведении «эмгеге» (словечко из гусиного языка образовалось уже, чтобы побыстрее выговаривать название Международного геофизического года): — Исследование свойств Земли как планеты и влияния на нее космических факторов...

Он снова поглядывает пытливо, выясняя степень темноты собеседника. Потом объясняет:

— У нас задачи, понятно, не столь всеобъемлющи.

Обитатели станции в горах изучают лишь некоторые частности общей проблемы.

Молодой гляциолог, из тех, что зимовали с Лепешкиным, уверяет, что изучение местных ледников — самая существенная из этих частностей. С запальчивостью спорщика, будто кто-то посягает на е г о ледники, он убеждает:

— Баланс, вот что нам важно! Продолжают ли расти ледники, или они регрессируют и освобождают занятую ими поверхность?

«Земные холодильники». Не он первый назвал так ползущие с гор ледяные языки. Они остужают не только окрестный воздух; горные ледники влияют на климат Земли, и дыхание их порой ощущается очень далеко. Казалось бы, не так уж велика площадь этих вечно скованных «рек». Но они создают свои существенные закономерности, влияя на перемещение и охлаждение масс земного воздуха. И когда где-нибудь вдали отсюда в дни знойного лета сводка погоды вдруг говорит о «вторжении с северо-востока холодных воздушных масс», тут дело не обошлось без каверзных влияний тех ледников Полярного Урала, к которым шествует сейчас сумрачная Ольга. Я вижу ее, когда мы выходим из сборного домика. Положив на плечо лыжи, прямая, собранная, она, не оборачиваясь, поднимается к полосе нетающего снега. Внезапное падение Витальки должно было очень огорчить ее.

— Я думаю, у нас есть уже основания полагать, что площадь ледников в наши дни не увеличивается, а скорее уменьшается, — говорит гляциолог, не обращая внимания на Ольгу.

— Основания? Уже? Это после одной-то зимы?

Иронические вопросики принадлежат Курдову.

Гляциолог не собирается сдаваться.

— Но, Константин Пудович, мы знаем и другие данные...

Он называет имена исследователей и даты: пятьдесят лет, тридцать лет тому назад, перед самой войной...

— Уже и... — с пиететом называется известное имя здравствующего ленинградского географа,— позволял себе утверждать, что ледники исчезают и климат становится теплее.

Курдов тоже называет фамилию — лондонской знаменитости. Он бурчит, что знаменитость как-то выступала с предсказанием того, что процесс исчезновения ледников может внезапно приостановиться и обернуться своей противоположностью. Статья, опубликованная лет десять назад, предсказывала возможное наступление новой ледниковой эпохи.

— С точностью плюс-минус каких-нибудь десять тысяч ближайших лет...

Фраза не обходится без привычной занозы. Курдов хитренько поглядывает на гляциолога, выжидая. Тот принимает вызов.

— Прогноз на десять тысяч лет — немудрящее дело. Поди проверь. Я думаю, человечеству полезнее выяснить более близкие перспективы.

— Пожалуй, верно,— с удовольствием соглашается Курдов.— Значит, вы готовы со всей ответственностью утверждать, что жить нам будет теплее и уютнее?

Гляциолог поднимает руки, как бы защищаясь от непосильных требований.

— Не по адресу, Константин Пудович! Тут мое дело сторона. Это пусть нам климатологи скажут.

Климатологи обнаруживаются немедля. Это быстрый паренек в очень пестрой ковбойке. Живой и шумный у волейбольной сетки, здесь он оказывается уклончиво-осторожным.

— Мы серая рабочая скотинка,— тянет он.— Нам материал собирать, над отчетиками корпеть. Выводы сделают другие...

Курдов обрывает его сердитым жестом:

— Не прикидывайтесь, Шумов.

Паренек, которого назвали Шумовым, ничего не успел ответить, потому что тут к нам подошел Слава, и на этот раз лицо его выражало не только решительность, но даже и гнев.

— У нас в наряде три часа записано, — заявил он, — а мы здесь уже четвертый час сидим. Не хотите лететь, я пустую машину подниму. Потом как-нибудь залечу за вами...

Я вспомнил салехардские дни ожидания, сообразил, на сколько может затянуться это «как-нибудь», и стал торопливо прощаться.

Собственно говоря, все сделано. Группа соединилась. И даже сам я успел здесь — в экспедиции — достаточно много увидеть и услышать.

Дорожные впечатления обычно складываются либо из того, что узнал на новом месте в течение первого же часа, либо за

следующие сутки первое впечатление вдруг ломается, рассыпается начисто и потом выстраивается наново — долго и кропотливо. Новое, конечно, основательнее. Но и первое впечатление не всегда подводит.

В горном лагере геологов первое впечатление не успело поблекнуть. И я знал, что, останься я тут и вышагивай потом в горы изо дня в день, бок о бок с Шумовым,— я долго еще не смогу узнать о нем больше того, что открылось в короткой перестрелке словами между ним и Курдовым. Виталька улетит с нами. Но и для того, чтобы заглянуть в его судьбу, нужен не месяц, не два. Хорошо бы повстречаться с ним несколько лет спустя — увидеть, что из него вышло.

Что же до научных проблем, какие здесь решаются, то ответ на то, как именно изменяется климат Земли, тоже вряд ли определится к тому времени, когда большинству участников экспедиции пора будет возвращаться отсюда восвояси. Недаром есть проект превратить этот лагерь, организованный по программе МГГ, в постоянно действующий опорный пункт: геоморфологам, гляциологам, метеорологам и климатологам предстоит еще на Полярном Урале долгий и кропотливый исследовательский труд...

Мы попрощались.

Оба Юры и Толя погрузили в вертолет свои камеры, цинковые ящики с пленкой и коробки с осветительными приборами. В угол свалены двуствольные ружья, все еще не очищенные от щедрой заводской смазки.

Толя, по-прежнему расхристанный и одичалый, стоял с Лепешкиным в тесной кучке провожающих болельщиков. Они все говорили одновременно, пользуясь, как и Лепешкин, шумными междометиями и энергическими жестами. Можно было понять, что никто не сомневается в спортивных успехах Лепешкина, что им гордятся и хотят поскорее увидеть его снова в своей среде.

Игорь загнал нас в кабину, дверка захлопнулась, и вертолет опять начало трясти на мшистом болотце.

Ураганный ветер, взметнувшись от вращающихся винтов, отогнал провожающих. Они видны были из окошка: небольшая, тесная группка людей, одним своим присутствием изменивших эту от века пустынную и сумрачную землю белесой воды и черного камня. Взмахивал длинной рукой высокий, поджарый Курдов. Пестрели ковбойки Шумова и «начальницы». Возился со своим узкопленочным аппаратом путешественник-кинолюбитель, которого Хадыта увлекала больше, чем Амазонка. «Герцог» наклонился к нему — похоже, давал неизбежные в таких случаях дилетантские советы... Не было Оли. Да она и не могла еще вернуться с гор, мы еще увидим ее,

поднявшись в воздух, — черной точкой, скользящей по горному снегу.

А где же Виталька? Он бы должен быть с нами, в кабине. Но здесь его нет.

Только я вспомнил о нем, как закричал и Лепешкин:

— Эй, погоди! Это же чемодан Витальки!

Он показывал в угол, где среди затасканных уже операторских заплечных мешков торчал аккуратный чемодан в застегнутом на пуговицы парусиновом чехле.

Но «годить» было поздно. Вертолет оторвался, притих, поднимаясь отвесно кверху.

— Искали его, раззяву,— меланхолически отозвался бортмеханик.— Забрел куда-то, не ночевать же из-за него.

— Чемодан летает, а хозяин дома сидит!

Самостоятельно путешествующий чемодан развеселил Лепешкина. «Вот это да! — повторял он.— Чемодан летает, а хозяин дома сидит!»

Но вдруг Лепешкин заинтересовался:

— А как же теперь будет? Виталька подумает, чемодан-то его по воздуху сперли?!

— Закинем при случае, — невозмутимо объяснил бортмеханик.

Вертолет поднялся высоко. Узкое длинное озеро тянулось под нами. Ни людей, ни домиков, ни балков уже не было видно. Направо внизу белел склон Ханмэя, и мне показалось, что я вижу на снегу не одну, а две быстро скользящие точки.

Потом мы вышли из ущелья; горы сомкнулись за нами, и вертолет полетел над плоской, мокро поблескивающей тундрой, всего лишь метрах в двухстах от земли, вдоль неширокой, но сильной реки.

## У КОНСТАНТИНОВА КАМНЯ

Олени в эту пору линяли, казались несчастными и вызывали жалость. Их жестоко терзали слепни.

Стадо в тысячу семьсот голов, сбившись в огромную кучу качающихся рогов, свалявшейся шерсти и страдальческих глаз, паслось поодаль от чумов. Только молодняк держался отдельно, поближе к людям. Нó слепни не щадили и оленят.

Переступая на разъезжающихся ножках, маленький олененок вздрагивал и часто передергивал всей своей тонкой лысенькой шкуркой. Это не помогало. Овод оставался на раскусанной им кровавой язве. Старший охранитель стада, трехногий пес со странным именем Бетон, лежал на земле и глядел на олененка с сонным сочувствием. Четвертую лапу Бетон потерял, попавшись зимой в песцовый капкан. Ущемленную и отмороженную ногу ему успели вовремя отрубить, и после этого Бетон перешел из ездовой упряжки в сторожевую свору. Не зря ненцы уважительно относятся к таким псам, умудренным нелегким жизненным опытом. Бетон оправдывал это уважение. Он был добросовестен, философически нетороплив и бдителен. Казалось, старческая дремота одолевает его. Но когда измученные слепнями оленята сгрудились, а потом, будто сговорившись, тесной кучкой двинулись на край овражка, полного талой воды, чтобы перепрыгнуть на плавающую посередке льдину и поискать там спасения от неотвязных насекомых,— Бетон недовольно поднялся. Льдина не вызывала у него доверия. И прыгать было небезопасно. Глупые оленята, продолжая держаться кучей, будут толкаться, мешать друг другу. Долго ли угодить в воду и утонуть? Бетон заковылял к овражку, сердито ворча и оттирая табунок назад, на взлобье тундрового пригорка. Самый маленький олененок оставался на месте. Уже и второй слепень сел к нему на спину, поближе к короткому беспомощному хвосту, и оба продолжали кормиться сосредоточенно и неумолимо.

Олененку помогла Паня.

Паня Полозова оказалась поблизости. Она подбежала, отогнала слепней и посыпала ранки белым стрептоцидом. Бетон завертелся вокруг девушки, пытаясь лизнуть ее в лицо, а молодые олени тем временем прорвались к овражку и прыгнули на прибившийся к берегу лед. От толчка льдину отнесло. Табун совсем закрывал ее, оленята как бы стояли на поверхности холодной зеленой воды. Слепни не летели на холод. Табунок стоял тесно и неподвижно. Вода небыстро носила, окружила его. Оленята отдыхали, задремывая. Только самый маленький оставался на пригорке; Паня отгоняла от него слепней, и ему тоже было теперь хорошо. Обманутый Бетон ковылял по краю овражка и ворчливо облаивал непослушных оленят. День был ясный, и только что появившиеся у оленят шерстистые короткие рожки прозрачно розовели под солнцем.

— Стой, глупенький дурачок, — говорила Паня своему олененку в той бессознательной игре, в какую всегда играют девочки, разговаривая с куклами и животными, как со своими детьми.— Стой, дурачок, что ты будешь без меня делать? Тебя оводы заедят, тебя волк загрызет...

Что-то коротко свистнуло, охватило Паню за плечи и несильно потянуло назад и в сторону.

— Опять ты, Семен, балуешься! — строго крикнула она, не оглянувшись.

Ошибиться она не могла. Тынзей — олений аркан — налетал на нее по нескольку раз на дню. Восьмилетний Семен Валей неутомимо играл в эту игру, такую же естественную для него, как для Пани — бессознательная ее игра с олененком. Семен всех ловил тынзеем: младших своих братьев — Илью и Василия, подвернувшихся оленей, отца, Паню, Бетона. Тынзей падал на цель безошибочно, с первого броска. Пойманные олени стояли спокойно; отец, сбросив аркан, одобрительно шлепал Семена; трехлетний Илья падал на землю и недолго, деловито куксился, прежде чем подняться и отковылять по своим неясным, но хлопотливым делам; пятилетний Василий уже и сам не расставался с тынзеем, он пробовал ловить Семена, но это еще редко ему удавалось.

Паня сбросила с себя тынзей. Семен удовлетворенно засмеялся и убежал.

— Скажи Яптэко, пусть сюда идет! — крикнула ему вдогонку Паня.— Скажи, молодняк согнать надо!

Она легко собирала ненецкие фразы.

Семен все понял. Одетый в черно-рыжий совик с капюшоном, издали он казался покатившейся тундровой кочкой.

— Ладно, однако! — откликнулся Семен по-русски, отцовскими словами, и скрылся с глаз.

Паня улыбнулась. Она подумала, что, прежде чем передать ее слова, Семен непременно поймает Яптэко тынзеем.

Пане было восемнадцать лет, и если ей случалось вспомнить, сколько уже прожила она на свете, это чаще всего вызывало невеселые мысли: восемнадцать лет — срок большой, жизнь уходит, другие люди совершают разные вещи, а у нее день идет за днем, и что сделано?

Со стороны можно было бы сказать: это хорошо, что она так думала. Но ей-то нелегко было с этими мыслями. Впрочем, приходили они ненадолго и тяжести после себя не оставляли.

Мы познакомились с Паней Полозовой несколько часов назад.

Наша «аннушка» — «АН-2» — летела над тундрой. С воздуха штурман показал нам три темных конических шалаша — чумы на сивых мхах, близ большого озера; рядом шевелилась земля, не сразу можно было разобрать, что там, колыхаясь, тесно движется оленье стадо. Летя наугад к северу — к Байдарацкой губе, мы как раз и искали оленеводов, которые в эту пору года гонят свои стада из тундры к морю. Здесь были чумы, были олени и рядом почти свободное ото льда озеро.

— Можно сесть? — спросил директор Юра у летчика.

Летчик (свою фамилию он произносил непривычно — Берсенёв) не ответил. Не оборачиваясь, он пренебрежительно дернул плечом, заложил вираж и начал снижаться.

Позади остался похожий на огромный валун Константинов Камень — отдельно стоящая вершинка Полярного Урала. Гора эта будто оторвалась от всей гряды и выкатилась чуть не на самый берег Карского моря. Слева показались и сразу пропали с глаз битые льды Байдарацкой губы. Чумы и олени появились снова — ближе на этот раз и приметнее. «Аннушка» села на безыменное озерко, пробежала по воде, остановилась у берега, и старый ненец, не удивясь нежданным гостям, почти сразу подвел к крылу свою легкую долбленку, чтобы свезти нас на тундровую землю, которую никак нельзя было назвать твердой.

В лодке мы познакомились. Окладистая рыжая борода нашего перевозчика без слов свидетельствовала, что мы ошиблись, приняв его поначалу за ненца. Ненецкой была только одежда: малица с поясом, увешанным костяными предметами (среди них — охотничий нож с костяною же ручкой и вместительный кисет из оленьей замши); на лысой темно-коричневой голове — неизменный платок.

Кстати, тут я и понял, откуда пошел этот здешний обычай — прикрываться платками. В капюшоне было бы чересчур жарко, а ситцевый платок, не слишком грея, защищает затылок и большую часть лица от комаров.

Орудуя небольшим и легким веслом, перевозчик наш отве-

чал на расспросы. Он назвался Гавриилом Васильевичем Терентьевым и объяснил, что сам он — коми, из зауральских, усть-цильменских оленеводов, но уже больше полувека живет по сю сторону Урала, кочует с ненцами, батрачил у богача, а когда в селении Белоярск, Ямальского района, организовался колхоз, он оставил хозяина, вступил в этот колхоз, и его назначили заведовать фермой. С тех пор, вот уже четверть века, «каслает» он со стадами: зимой по тундре, а «на летовку» — к морским берегам. Летовки — всего месяц; а там, с первым снежком, по холодку,— назад. Потом вскроются реки, и за уходящими льдами олени снова станут каслать на север, тем же знакомым путем. Так оно и идет, время... Говоря про то, что время идет, Гавриил Васильевич заметил не без похвальбы, что свои годы он считает уже при помощи восьмого десятка. Это в самом деле удивительно было услышать: в рыжей его бороде седых волос почти не было. Я подумал, что, быть может, на Севере Фауст и без Мефистофеля — без жестокой расплаты — смог бы остановить для себя любое мгновение прекрасной здешней тишины, естественного покоя. Время проходило бы мимо, не задевая Фауста, как не задевает оно заведующего колхозной оленеводческой фермой. Разве не оставлена ему молодость? Вот ведь и борода не седеет... Но стоило утлой долбленке уткнуться в вязкий берег, и я понял, что зря вообразил себе монотонную размеренность касланий и нерушимый покой остановленного времени. Старик легко, щеголяя неутраченной сноровкой молодости, ступил из лодки на землю и тут же пустился в разговор с парнем в ярко-желтой рубахе, выпущенной поверх меховых оленьих штанов. Завфермой задавал парню вопросы все настойчивее и горячее. Парень отвечал односложно. Работник окружного исполкома, с которым мы сюда летели,— русский из коренных обдорцев — объяснял суть беседы: она велась по-ненецки.

Вчера из стада отделили заболевшего быка (быками зовут здесь упряжных оленей-самцов). Терентьев опасался, не заболели ли другие быки, не вспыхнула бы эпидемия.

Мы попали в первую бригаду колхоза; тысяча семьсот голов каслали в стаде бригады, и парень, которого звали Николаем Пантранхасовым, был здесь бригадиром.

Сам Терентьев шел все время с третьей бригадой — там было около двух тысяч оленей и молодой, не очень еще опытный бригадир. Третья бригада остановилась вчера километрах в пяти отсюда; мы тоже видели ее с воздуха, но чумы стояли вдалеке от воды, «аннушка», поставленная на лодки, не могла там сесть, и мы пролетели дальше.

Завфермой пришел оттуда с вечера, узнал про заболевшего быка и остался. Когда самолет наш садился, Терентьев рыбачил на озере, чтобы отвлечься от дурных мыслей и опасений.

Отогнанные на время, эти опасения с тем большей силой вырвались наружу при встрече с Николаем.

Но Николай успокаивал старика. Больных не видно. Да и вчерашний бык жив. Ничего страшного.

И все же достаточно было послушать этот недолгий взволнованный разговор, чтобы убедиться: вовсе не покой продлевал и красил жизнь Гавриила Васильевича Терентьева.

Мы поднялись от озера и очутились у самых чумов.

На мху валялись нарты. Трехногий пес лежал под ними. Он радушно вильнул хвостом при виде Терентьева.

— Лежи, Бетон,— позволил ему старик.

Я удивился необычному имени, и историю его рассказал работник исполкома, не впервые наведывавшийся в это кочевье.

Как-то путь каслающего стада скрестился с маршрутом геологов. У тех была овчарка Бутон. Собачье имя показалось ненцам привлекательно-звучным, но слово было незнакомо: бутонов в тундре не знают. «Неправильно выговаривают, — подумали пастухи про геологов.— Надо Бетон, наверно». В Салехарде, в Лабытнангах бывали все; видели стройку, слышали это слово. Так и стал зваться Бетоном очередной щенок в ездовой упряжке.

Бетон привык к имени. На слова Терентьева он благодарно шевельнул хвостом и снова уронил голову, не переставая поглядывать на оленят, пасущихся рядом.

Ближе к чумам стоял перевернутый ящик из-под консервов. К нему подсела, скрестив ноги на ягеле, молодая ненка. Она вертела ручку швейной машины — шила детское платье.

Кинооператор Юра подтолкнул меня в бок.

Швейная машина в бригадном кочевье обрадовала его, как нежданный подарок.

— Это мы снимем,— шепнул он с алчностью.

Но тут же вскрикнул и едва не упал. Семен Валей заарканил его тынзеем. Бригадир в желтой рубахе прикрикнул на мальчонку. Тот удрал, заливаясь счастливым смехом.

Юра принялся готовить съемку.

Женщину, которую он собирался снимать у швейной машины, звали Анной Патранхасовой; она была женой бригадира Николая Патранхасова — вот этого, в желтой рубахе, что пришел с нами от озера.

Юра кликнул другую женщину. Он принялся объяснять, что подаст ей знак, и пусть она тогда пройдет позади ящика. Ему нужно было движение в кадре. Потом Юра подумал и посадил еще девчонку — ту, для которой шилось платье. Юра усадил ее рядом с матерью и велел смотреть на шитье. Подошел второй Юра, и оба принялись переставлять ящик, чтобы свет падал лучше и чтобы чум был виден яснее. Примеряясь,

Юра снова усаживал к машине Анну и ее дочку и опять подавал знак Евдокии, жене пастуха Валея, которая должна была проходить сзади и «делать движение». Та проходила. Анна вертела ручку. Машина трещала, делая уже бесполезные стежки, которые потом придется перешивать. Задуманный кадр становился все напряженнее и скучнее. Мне захотелось посмотреть, как выглядят здешние чумы внутри и отличаются ли они от жилья саамских оленеводов, у которых я гостил когда-то.

Чум, в который я вошел, приподняв полог, был пуст. Тусклый свет падал через дымовое отверстие наверху. Внутри было просторно — гораздо просторнее, чем у саамов,— и чисто. Посредине виднелся остывший очаг. Напротив входа, за очагом, были сложены припасы и утварь, а по сторонам, на застланном оленьими шкурами полу, лежали прибранные постели, прикрытые пестрыми лоскутными одеялами. К берестяным стенкам привалены такие же пестрые подушки в ситцевых наволочках.

Неподвижным косым столбом стоял внутри темного конуса неяркий дневной свет.

По-ненецки чум называется «мя». Три десятка, иногда полсотни шестов составляют его основу.

Шесты всегда ставятся в определенном порядке, у каждого свое постоянное место, и на тех шестах, что приходятся напротив очага, сделаны петли. В них продеваются концы жерди, чтобы вешать котлы и чайники над огнем.

Зимой поверх шестов натягивают нюки — покрышки из оленьих шкур в два слоя, мездра к мездре: снаружи — шерстью наверх, и внутри чума тоже. Так теплее.

Летом, вместо шкур, мя обтягивается полосами вываренной бересты. Так, под берестой, стояли бригадные чумы и у Константинова Камня. Они были не новы. Дерево тут в редкость — видно, что сломанные шесты не менялись годами, чинились веревочками и ремешками. У краев верхней дыры береста прохудилась, обуглилась. В деревянном полу не хватало досок. Но тщательная приборка придавала внутренности чума вид обжитой и даже уютный.

О чумах чаще всего говорится пренебрежительно. Считается, что они должны исчезнуть, как печальное наследие прошлого, и чем скорее это произойдет, тем лучше. Когда приезжий гость направляется к чуму, местные власти смущаются: «Чего уж тут?! Живут люди, как веками жили...» Другое дело — новые дома, построенные в оседлых селениях. Таких домов раньше не бывало в здешних местах, и, обходя чумы, каждый приезжий фотокорреспондент или кинооператор спешит к новым избам.

Но есть в этом отношении легкомысленная недальновидность. Слишком цепко слилось представление о чуме с па-

мятью о прежнем его содержании — о жизни впроголодь, о не выветривавшейся из старых оленьих шкур и постельного тряпья смертоносной оспе, об ослепших, съеденных трахомой глазах, о беспробудном пьянстве. О том, как кулаки, владевшие оленьими стадами, жестоко избивали своих батраков. А ведь быт в чумах стал совсем иным за последние десятилетия, хоть самые чумы остались. И не потому остались они, что так уж трудно переселить всех обитателей чумов в новые прочные избы.

Чумы остались — избы не могут заменить их оленеводам.

В избу можно переселить рыбака, охотника. А оленеводу нужно жилье, с которым он мог бы брести за стадом. Это жилье нужно быстро поставить на любом новом месте, нужно в несколько минут собрать его и сложить на нарты, отправляясь снова в дорогу. К тому же нарты тяжелый груз не поднимут. Жилье должно быть не только простым в сборке, но и легким по весу, емким по габаритам.

По соответствию этим жестким условиям, по простоте своей и рациональности чум как архитектурное сооружение, созданное народом применительно к условиям жизни, к природе, к сложившемуся быту, должен бы вызывать совсем иные чувства, чем та смесь пренебрежения и смущения, какую так часто приходится здесь наблюдать.

На Кольском полуострове есть у меня старинный приятель. Впервые мы познакомились лет двадцать с лишком назад, в Мончетундре. «Монча» — это по-саамски значит «красивая». И к тамошней тундре это название в самом деле очень подходит. Сопки там лесистые. Много светлых озер и неширокие речек. А под землею обнаружился никель, и бригады ленинградских комсомольцев приехали туда строить город Мончегорск, бурить шахты и сооружать никелевый комбинат.

Города еще не было, а горком комсомола уже существовал. Комсомольцы жили в палатках.

В палатке жил и секретарь горкома комсомола. Он водил меня по свежим просекам, называл по именам непостроенные улицы, видел и описывал дома, которые будут здесь стоять. В одном из этих домов душевно гуляли мы через несколько месяцев на его новоселье.

Потом мне писали, что в построенном Мончегорске приятель мой стал председателем исполкома, и я порадовался справедливости этой судьбы: он очень любил «свой» город и вероятно будет заботиться о нем с настоящей хозяйской хваткой...

Война свела нас снова.

В мае сорок второго года бригада морской пехоты высаживалась в одном из фиордов, в устье Западной Лицы, южнее полуострова Рыбачьего,— на плацдарм, захваченный в самом

начале войны горными егерями гитлеровского фельдмаршала Дитла. Май стоял холодный, с морозами, с пургой. Десантники были одеты сравнительно легко — синоптики предсказали оттепель. Но оттепель не состоялась. После двух недель жестоких схваток на обледенелом каменном пятачке те, кто остался в живых, получили приказ отходить. Шлюпки с военных кораблей под минометным обстрелом причаливали к берегу и забирали обмороженных, раненых, обмотанных кровавыми тряпками матросов, которые сделали то, что им было приказано: оттянули на себя силы неприятеля и не позволили ему собрать кулак для наступления на Мурманск. Мы вышли к берегу у сопки Палец. Минометчик и два «максима» удерживались на вершине сопки, прикрывая отход. Из-за сопки егерские минометы били по фиорду прямой наводкой. Катера-охотники и тральщики стояли подальше, в горловине фиорда, под артиллерийским огнем, а спущенные с них вельботы и шлюпки ходили от кораблей к берегу и обратно, хитро лавируя между всплесками рвущихся мин. Одна из шлюпок приближалась и к нам. Щегольскими казались дружные удары весел; щегольски и неправдоподобно знакомым показался и зычный голос, чеканивший с кормы шлюпочные команды: «Табань!», «Суши весла!» Когда бой длится пятнадцатые сутки, насвежо подошедшие товарищи всегда почудятся бойцу людьми из другого мира. Но я узнал мончегорского приятеля. Это он сидел на корме, и для него все мы были на одно лицо: бородатые, обожженные морозом, красноглазые с долгого недосыпу, в замызганных и промокших ватниках. «Брось! Ты брось!» — удивленно кричал он, когда я окликнул его, добравшись до шлюпочной банки. И пока шлюпка шла к тральщику, я успел узнать, что приятель мой перед войною и до высот дошел, и темной беды нахлебался, и, не поддавшись наветам, доказал свою чистоту, а теперь вот служит помполитом на корабле. В своей каюте он обогрел меня сотней — как тогда говорилось, «наркомовских» — граммов розового, отдающего бензином спирта, отправил под корабельный душ, переодел в собственную, пахнущую стиркой тельняшку, уложил на свою койку спать, и это был один из тех дней, что навсегда остаются памятны человеку.

Я еще встречал его, когда он был «старшим морским начальником» в только что освобожденном, начисто уничтоженном гитлеровцами рыбачьем городке Северной Норвегии.

А потом, много лет спустя, увиделись мы в Москве.

Он приехал все с того же Кольского полуострова — был там опять председателем исполкома, на этот раз в саамском оленеводческом районе. Поседевший, он выглядел по-прежнему живым и крепким; как всегда, он был влюблен в свое дело, отдан ему без остатка; оленеводство казалось ему главным делом на свете, и в Москву он привез ворох чертежей, объяснительных

записок и множество соображений, касающихся улучшения быта пастухов в Кольской тундре. Тут-то я впервые и прикоснулся к «проблеме чума».

— Есть такие чудаки,— объяснял мне Иван, показывая привезенные чертежи.— Они говорят: «Чум — каменный век. Строй сааму дом, сажай его на место». Но оленю-то за пищей ходить надо. Не повезешь же за ним дом! . .

Листая чертежи, читая вслух странички своей записки, он доказывал, что конструкция чума — мудрая и проверенная веками. Но кто сказал, будто бы костяком чума навсегда должна оставаться гниющая тесина, будто оболочкой чума и в наш век по-прежнему должны быть впитывающие грязь и микробов оленьи шкуры? Он предлагал легкую металлическую конструкцию и прочный, сохраняющий тепло синтетический материал. «А очаг?! — восклицал он. — Ты только представь, ведь тут и газовую плитку с баллончиком можно поставить!»

Он видел такой «чум двадцатого века» уложенным на нарты; видел, как быстро могут расставить его пастухи на свежем ягельном пастбище, — так же, как ясно и точно видел когда-то не построенные еще дома будущего Мончегорска.

Весь отпуск пробегал Иван по управлениям, ездил на какие-то подмосковные заводы. Но уехал ни с чем. Добиться того, чтобы был изготовлен опытный образец придуманного им чума, Ивану не удалось. Такая работа не входила ни в чьи планы. Большинство людей, с которыми говорил здесь Иван, оленей и в глаза не видели — разве только в кино или в зоопарке. Случайным собеседникам неистового кольского реформатора оленеводство не казалось такой уж существенной отраслью народного хозяйства, и, может быть, по-своему — с точки зрения общих масштабов — они и были правы. Но надо бы тут принять во внимание и другое. Жертвуя отпуском, напирая на незнакомых людей, ожесточенно споря с ними, восклицая в их кабинетах свое «Брось! Это ты брось!», поседевший комсомолец из Мурманской области думал не столько даже о судьбах оленеводства, сколько о том, чтобы крутым рывком изменить к лучшему быт нескольких десятков тысяч людей (и не только на Кольском полуострове). Покоренный убежденностью приятеля, я думал, что такая затея стоила эксперимента. Притом самый эксперимент мне казался не слишком утопическим. Разговор о том, что чумы, яранги, вежи и юрты должны исчезнуть вовсе, уступая место обычным домам, несравненно меньше соприкасается с реальной почвой, чем проект «современного чума». Хлопоты Ивана Кузгинова были милы мне бескорыстной и всепоглощающей страстностью. Способность целиком и влюбленно отдаваться своему делу позволяла причислить Ивана к той же породе, к какой принадлежали Терентьев и Курдов. Только последние двое были однолю-

бами. Один никогда не изменял оленям, другой — геоморфологии. А Ваня Кузгинов сразу влюблялся в любое порученное ему дело, и оно тут же становилось для него лучшим на свете; прекрасное мгновение останавливалось, и в свои пятьдесят лет Иван оставался тем же комсомольцем, с которым познакомился я четверть века назад. Особый строй нашей жизни воспитал эту породу очень различных, но похожих в главном людей: любимое ими дело наполняет всю жизнь таких людей и сохраняет в них неугасимый огонь молодости...

Оставив пустой чум, я пошел к другому, соседнему.

Такая же тонкая и косая колонна тусклого света стояла и здесь над очагом. Но за колонной метнулось что-то белое.

— Ай! — тихонько вскрикнул женский голос, и я торопливо опустил полог, выскакивая из чума.

— Она же туда переодеваться пошла, — укоризненно объяснил Юра.

— Кто — «она»?

Оказалось, что в то время, как Юра снимал Анну Патранхасову у швейной машины, к ним подошла девушка. Юра заговорил с ней и узнал, что по специальности она учительница русского языка. Вот уже год, как она кочует вместе с первой бригадой белоярского колхоза.

Так, невзначай, заглянули мы в жизнь восемнадцатилетней учительницы из города Салехарда, когда остановилась она со своими учениками в стойбище у Константинова Камня.

«Паня Полозова, — повторяю я. — Паня Полозова».

Я даже привык думать, что так ее на самом деле и звали.

Придуманное имя приросло к настоящему человеку. Вероятно, это случилось оттого, что история жизни, или, точнее, ранней юности этой Пани Полозовой стала для меня неотделимой от подлинного портрета девушки, которая стояла возле олененка, присыпая его ранки белым стрептоцидом. В эту историю вошло и то, что успела рассказать учительница пастухов-оленеводов, и то, о чем говорили облик ее и повадка; вошло сюда и то, что представлялось позже, когда встреча у Константинова Камня превратилась в возвращающееся воспоминание, а спрашивать о недостающих подробностях было уже не у кого. Потому — так же, как и в других случаях, — я не стану сообщать, как на самом деле звали учительницу у Константинова Камня. Пусть зовется Паней Полозовой. Но мне хотелось, чтобы сделанный по памяти беглый рисунок был как можно ближе к живой натуре — пусть не правдой подробности, а правдой души.

И еще мне хочется пожелать этой душе настоящего счастья.

## ПАНЯ ПОЛОЗОВА И ДРУГИЕ

Среди кочевых ненецких пастухов в силу особенных условий их быта до сих пор оставались последние неграмотные взрослые люди, живущие в нашей стране. Пора было кончать с этим. В прошлом году окружком КПСС и окружком комсомола Ямало-Ненецкого национального округа обратились с призывом к молодым педагогам — пойти в бригады оленеводов, кочующие со стадами, и ликвидировать последний очаг неграмотности среди взрослого населения.

Работать в бригадах предстояло два года. После этого срока всем, кто уйдет в тундру, обещан был прием в институт вне конкурса.

«Подумаешь, два года»,— прикинула Паня Полозова, когда инструкторша окружкома комсомола докладывала о призыве на собрании комсомольцев педагогического техникума. Паня очень хотела поступить в институт. Диплом техникума оставлял ей надежду только на заочное продолжение учебы. И вдруг закрытая дверь приоткрылась. Паня не задумывалась. Она не слушала выступлений. Комсорг выпускного курса не успел даже пригласить ребят, чтобы подходили записываться, а Паня уже была возле стола.

— Я поеду,— сказала она.

Что потом было дома! Ругань и причитания, упреки и предостережения, угрозы и советы. Отец с матерью объединились. Они предсказывали Пане, что она закоснеет в чуме, заболеет, превратится невесть во что, пропадет. Паня сперва спорила, убеждала, потом умолкла. Случайно она встретила в читальне парткабинета музейную директоршу.

У той, по обыкновению, было в запасе великое множество подлежащих устройству дел.

— Девушка! — сказала директорша Пане.— Ты, кажись, из педтехникума. В пионерлагере старшей вожатой нет. Ты бы туда как раз сгодилась. И у тебя лето даром не пропадет.

Вряд ли встречала она Паню когда-либо, кроме единственного раза, когда та со своими соучениками была на экскурсии в музее. Но такой уж был у директорши характер: если уж бралась она за какое-нибудь дело, ей не терпелось закончить его поскорее. И она со всей искренностью сразу поверила, что знает Паню хорошо и давно и что Паня как раз такой человек, какой ей надобен.

— Вот прямо и пойдем в окружком,— решительно сказала директорша.

Паня пошла.

Так она скрылась от тяжелой домашней кутерьмы и до наступления договорного срока работала старшей вожатой в пионерском лагере на берегу Оби. Ходила с ребятами в тундру за морошкой и голубикой. Договорилась, что ребята будут помогать расположившимся поблизости рыбакам. Поутру тянула вместе со всеми поставленный с вечера невод и радовалась, когда вспучивалось наконец над водою ртутное кипение очередного улова. Запрещая ребятам купаться в холодной воде, Паня украдкой убегала от завтрака на поросший кустарником низкий берег, кидалась в Обь сама; вода обжигала, выталкивала ее обратно. После купания все становилось простым и ничтожно легким. В самом деле, что ожидало ее? Надо будет два года прожить так, как живут ненцы-рыбаки в соседней бригаде. Вот и все. Но такая жизнь ничем не отпугивала ее. Напротив, эта жизнь казалась идеально ясной и славной. Паня уже болтала с рыбаками по-ненецки, те откликались — открыто и дружелюбно. Вероятно, не труднее будет ей жить и среди оленеводов. Почему же не понимают этого, не хотят понять отец с матерью?

Паня выросла в Салехарде.

Семнадцать лет назад, годовалой девчонкой, привезла ее сюда мать из Витебска, оставив там все и убегая от настигавшей войны.

Ничего этого, конечно, не помнила Паня. Тут собственная ее жизнь сливалась с туманными, доисторическими, на ее взгляд, временами. Только по рассказам знала она о том, как они шли пешком по шоссе, как попали на грузовик с инкубаторными цыплятами и витебским пивом, об эшелоне, в котором эвакуировались они с матерью из Москвы и который близ Ярославля был атакован «юнкерсами». Только неясно брезжила в сознании память о вздрагивающей земле, свистящем воздухе, об ударах, похожих и непохожих на грозовой раскат грома, о чьем-то пугающем вскрике, раздавшемся рядом. Почти чужим казался отец на фотографии тех времен — в гимнастерке с погонами старшего лейтенанта, с орденом Красной Звезды, среди ломаного кирпича и обрушенной черепицы какого-то восточнопрусского фольварка. Настоящие ее воспоминания

начались позже. В них всегда был Салехард; отец и мать вместе; мать, уходящая в больницу и возвращающаяся с дежурства, отец, которого она почти никогда не видала за завтраком, потому что до консервного завода ему надо было добираться долго и приходилось спозаранок торопиться к автобусу, чтобы успеть дойти пешком, ежели автобуса сегодня не будет. Когда Паня пошла в школу, разговоры родителей о ней в пору общих встреч за столом стали касаться главным образом ее школьного дневника. Оказалось, что отметки у Пани должны быть только отличными; «хорошо» оставляло отца снисходительно-равнодушным, но мать попрекала Паню тем, что она непоседа,— не поторопилась бы вчера убежать от уроков на лыжах, вот и было бы «отлично»; трудно ли дотянуть? После троек отец вычитывал неизменное назидание о том, как плох человек, идущий в жизни «на троечку», недаром же отметка эта расшифровывается словом «посредственно» — значит, тот, кто ее получает, и сам посредственность. В этом слове Паня лишь по интонации улавливала обидное значение, но, вероятно, именно оттого, что слово было непонятно, оно запомнилось; запомнилось и вся нотация — Паня и теперь могла бы повторить ее наизусть. Случайно услышанные обрывки родительских воспоминаний, уходивших в глухие, незапамятные времена, позволяли Пане понять, что родители ее сами не так уж прислушивались к тому, что́ им твердили в их собственных отчих домах. Но это ничему их не научило. От дочери они добивались одного: чтобы Паня и не подумала сама строить свою судьбу и чтобы не утоньшались нити, связывающие эту судьбу с родительским домом. «Ты же совсем сосунок,— с нежным отчаянием сказала Пане мать в одном из бесконечных споров перед самым ее отъездом.— Разве ты сможешь одна?» Паня жестко ответила: «А ты хочешь, чтобы я на всю жизнь сосунком оставалась?»

Все это она вспомнила в пионерском лагере, прочитав фельетон, напечатанный в «Комсомольской правде». В фельетоне говорилось о маменькиных сынках, которые окончили вуз и не захотели уезжать, куда им было предложено. «Героями» фельетона были москвичи, а среди мест, куда они побоялись ехать, поминался Панин родной Салехард. Выходило, что оттуда, из далекой московской квартиры, глядели на Салехард с такой же точно опаской, какую здесь, в Салехарде, испытывали ее собственные «предки» при мысли о том, что их Паня может отправиться в оленеводческий чум. Оттуда, издали, ее Салехард — пу́гало.

Эта мысль не обидела, а развеселила Паню. Конечно, в Москве она не бывала. Она видела Москву только в кино, на открытках и на цветных фотографиях в «Огоньке». Вероятно, это самый лучший город на свете. Но однажды Паня была в Ханты-Мансийске, а в прошлом году одна отправилась к

маминым родственникам в Челябинск. В Челябинске она видела очень большие шестиэтажные дома, и там она ездила в троллейбусе и ходила в настоящий театр на пьесу «Такая любовь». Все это было очень интересно. Когда она была в Ханты-Мансийске — стояли очень теплые дни. Там Паня впервые бродила по «дремучему лесу» близ Иртыша. Но ни в Челябинске, ни в Ханты-Мансийске ей вовсе не хотелось оставаться насовсем. Вернувшись в Салехард и рассказывая подружкам о поездке, она чувствовала себя куда лучше, чем в гостях.

В Салехарде Паня любила долгую зиму с цветной игрой сполохов в негустой темноте сплошной зимней ночи, с жарким домашним теплом после дальней лыжной прогулки, любила болтовню с девчонками, любила школьные вечера, ледоход на Оби, наступленье короткого лета, приход к пристани первого теплохода с верховьев, лодочные походы на Полуе, пса Шайтана и речку Шайтанку... Лидка Полуянова, которая приехала в Салехард три года назад и училась вместе с Паней в техникуме, всегда повторяет: «У нас в Свердловске...» Эльмира Бойко вспоминает про Харьков. Она говорит, что там двадцать киношек, не считая клубов, и что когда у родителей окончится договорный срок, она наконец вернется в Харьков «из этой дыры». Но ведь про Эльмиру все знают, что она дура. Да и не в этом дело. Наверно, на улице, где стоят шестиэтажные дома и ходит троллейбус, тоже можно интересно прожить свою жизнь. Не выдумывают же Эльмира и Лидка! Но то, что вспоминает Паня про себя, то, что нравится ей вспоминать, кажется ей интереснее, чем рассказы подружек: только у нее одной могло быть такое, и только здесь; жаль, однако, что Паня не умеет рассказывать. Да и нельзя рассказать об этом. То, о чем расскажешь, перестает быть твоим и сразу становится хуже. Все-таки интересно — каким же должны представлять Салехард те, кто испугался сюда поехать?

Привязанность Пани к Салехарду не была, понятно, безмятежной и неколебимой. Случались и у нее приступы сомнений, минуты тоскливой хандры. «Ну что мы тут видим?» — задавала она тогда себе один и тот же вопрос. В такие минуты заносчивость Лидки и безудержное бахвальство Эльмиры подчиняли ее воображение, и Паня начинала мечтать о какой-то неведомой и недоступной ей жизни, освещенной огнями двадцати киношек, переполненной бесшабашной танцевальной музыкой, летучими мальчишескими поцелуями и нескончающимися пестрыми шариками мороженого.

«А что еще?» — вдруг спрашивала она себя. Однако ни из Лидкиных воспоминаний, ни из болтовни Эльмиры ничего больше вытащить не удавалось.

Как-то Пане попался напечатанный в журнале дневник московской студентки, которая во время войны стала летчицей.

Там Паня нашла выписки из знакомых книг и мысли, которые показались ей подслушанными у нее самой. Она переписала в свою тетрадку: «Не давай поцелуя без любви». Потом пересказала содержание прочитанного в журнале «Звезда» романа писателя Юрия Германа «Дело, которому ты служишь». Сбивчивыми словами, но с прямолинейной жестокостью Паня осудила глупую Алевтину-Валентину с ее добытчиком Додиком и умного, опустошенно-циничного Женьку с его телкой Ираидой. А Варе она позавидовала. Вот если бы ей, Пане, повстречался такой мальчик, как герой этой книги Володя Устименко, она сумела бы понять его гораздо лучше, чем Варя. Паня не стала бы огорчаться и упрекать Володю за то, что он так увлечен медициной. Именно Володина одержимость больше всего и понравилась Пане. «Он замечательный,— решительно записала она в тетрадку.— Вот у кого надо бы поучиться П. С.»

За инициалами «П. С.» скрывался Пашка Силаев.

Пашка был весельчак. Он любил повторять о себе:

— У меня исключительно исправный организм.

При этом он высоко закатывал рукав и демонстрировал бицепсы — такие, будто он специально их развивал, сверяясь с учебником анатомии.

В будущей самостоятельной жизни можно было его представить кем угодно — строителем, геологом, речником, но только не педагогом, хотя именно к этой специальности готовил Пашку облюбованный им техникум.

Прошлой зимой «П. С.» провожал Паню с катка и всю дорогу болтал. Возле дома, где жили Полозовы, он вдруг сказал, проникновенно приглушая свой ломкий голос почти до шепота:

— Ты хороший парень, Паня. Ты понимаешь, что я хочу сказать?

Паня не поняла, но на вопрос не успела ответить. Пашка обнял ее, от неловкости стукнув по спине связанными ботинками с коньками, и торопливо поцеловал как пришлось, между глазом и носом.

От неожиданности Паня остолбенела. Пашкин конек больно упирался в ее дубленый болгарский полушубок. Пашка не разжимал рук. Он ужасно жарко дышал и старался найти ее рот быстрыми и настойчивыми губами. Паня вдруг не то рассердилась, не то испугалась. Изловчившись, она сильно оттолкнула Пашку — тоже конькобежными ботинками, зажатыми в руке.

— Дурак! — сказала она и рванулась на трескучее обледенелое крыльцо.

— Чего ты? — огорчился Пашка. — Я же...

Она не слушала, силясь закрыть за собой дверь, под которую намело сугроб снегу.

«А может быть, я не замечала, что мне нравится Пашка?» — проверяла себя Паня с некоторой даже надеждой, долго

потом не засыпая и все еще чувствуя на своей щеке горячее Пашкино дыхание. Она заставляла себя рассуждать с невозмутимой трезвостью: «А если и нравится? Симпатия и любовь — не одно и то же. Понравиться могут многие. Что же, целоваться со всеми? Это черт знает что такое получится!»

Возмущение не было искренним. То, что произошло у крыльца, заставляло ее думать о Пашке так, будто он и теперь был тут, рядом, и так и останется, и никуда от него не деться. Ботинками от Пашки было теперь не отмахнуться. Паня попробовала примерить его ко всем героям своих любимых картин и книжек. Не получалось. Никак не вязался с книжными героями этот «исключительно исправный организм». И это скорее огорчало, чем радовало Паню; скорее волновало, чем успокаивало. Чтобы все обрубить и отделаться от неотвязного Пашкиного присутствия, она нарочно силилась припомнить про него что-нибудь плохое. Но вместо этого вспоминалось почему-то, как складно выступил Пашка на курсовом собрании.

«А что такое сказал он?» — пыталась спорить с собой Паня. Выходило, что верно, ничего такого он не сказал, но говорил уверенно, остроумно, и не только ей — всем его речь понравилась. И, кроме того, он всегда веселый. И хорошо бегает на коньках... Рассердившись на себя, Паня мстительно подумала: «С ним не о чем говорить».

На другой день в техникуме Пашка старательно избегал Паню и виновато отводил от нее глаза. На катке он все время вертелся с ребятами и ни разу не подошел к ней.

Так и не пришлось им разговаривать друг с другом до самого Паниного отъезда в пионерский лагерь. Они встретились, только когда она забежала в техникум за справкой. Пашка подошел и сказал, что его уже распределили. Он назвал селение на реке Таз.

— Младшие классы? — спросила зачем-то Паня, хоть и без того знала, что из техникума всех молодых педагогов направляют в младшие классы.

— Я уж тебя, наверно, не увижу,— сказал Пашка вместо ответа.

— Наверно, нет,— подтвердила Паня.

— Ты окончательно на ликбез решила? — спросил Пашка.

Она кивнула.

— Трудно будет,— сказал Пашка.

Она пожала плечами:

— Зато потом в институт.

— В Тюмень?

— Куда направят.

Пашка помялся. Кроме них, в комнате была только секретарша. Она стучала на машинке. Пашка сказал:

— Ты была права. Я дурак. И я тебе очень желаю счастья.

Пане показалось, что Пашка никогда еще так серьезно не разговаривал. Она спросила:

— Ты сейчас куда?

— Никуда. Мне нужно Шилкина дождаться. Характеристику взять.

— Тогда — всего.

Она протянула ему руку, а потом, от дверей, сказала:

— Я тебе тоже счастья желаю.

Наутро на старом маленьком пароходике она уехала с ребятами в лагерь.

В лагере она вспоминала про Пашку. И когда прочитала «Комсомольскую правду» и начала думать про все, что было у нее в Салехарде — в городе, которого испугался неизвестный ей московский чудак студент,— она вспомнила про «П. С.» тоже.

Когда пионерский лагерь закрылся и Паня возвратилась в свой город, Лидка сказала ей, что Пашка уже уехал на реку Таз. Только несколько человек из их выпуска оставалось в Салехарде. Остальные разъехались по округу. Еще семь человек, кроме Пани, должны были в течение недели отправиться в стойбища оленеводов. Каждый ожидал своей оказии. Пане нужно было сперва добираться с почтовым катером на Ямал, а оттуда предстояла поездка на нартах.

Дома отец сказал Пане:

— Если ты за лето стала умнее, ты еще можешь отказаться. Я говорил с кем надо. Сейчас тебя отпустят. А если поедешь — потом будет поздно. Бросать начатую работу никто не разрешит. И у нас в заводском поселке в школе сейчас есть для тебя место.

— Нет, я поеду,— сказала Паня.

Отец походил по комнате.

— Не знаю, девочка, может, ты и права...

— А отпуск у тебя будет? — спросила мать.

Паня объяснила, что работать-то в тундре ей всего два года. Какой тут отпуск?

Она поняла, что не зря уезжала на лето. Что-то переломилось за время ее отсутствия, и сами «предки» будто помолодели в своей печали. Пане стало проще и легче с ними в последние дни, а они словно впервые узнавали в дочери то, что сами в себе позабыли.

Почтовый катер забрал Паню из Салехарда в конце августа. В Белоярске она не задержалась. Чумы первой бригады, в которую ее назначили, она отыскала на самом берегу Байдарацкой губы.

---

Когда наша «аннушка» села на озере у Константинова Камня, Паня прожила в бригаде оленеводов больше десяти месяцев.

Юра снимал Анну Патранхасову за швейной машиной. Табунок молодняка подошел совсем близко к чумам; Юра увидел оленят, и, хотя съемка уже была окончена, Юру одолела операторская жадность; он захотел снять Анну еще раз — так, чтобы и молодые олени тоже видны были в кадре. Подогнать оленят ему помогали и маленький Семен и девушка. Ее Юра сперва не разглядел, а присмотревшись, удивился: откуда взялась в кочевье девчонка с таким русским лицом?

Так он и познакомился с Паней Полозовой. Тут же Юра отправил ее переодеваться для съемки и теперь говорил с тем же охотничьим азартом, какой недавно вызвало в нем зрелище швейной машины перед ненецким чумом:

— Это мы снимем!

О том, что восемь молодых ликвидаторов неграмотности ушли с оленеводами в тундру, мы с Юрой услышали еще в Салехарде, зайдя в окружком комсомола. Но можно ли было надеяться на встречу с кем-либо из этой восьмерки после первой же случайной посадки нашего самолета? Оказалось, бывают и такие удачи.

Семен Валей был снова вовлечен в бурную деятельность.

Юра не собирался терять ни минуты. Пока Паня переодевалась, он хотел закончить подготовку «съемочного павильона».

— Как же у вас тут учатся? — накинулся Юра на Семена.

Тот не понял вопроса.

— Ящики ставят? — продолжал наступать Юра.

Когда Юра потащил к чуму второй ящик из-под молдавского фаршированного перца, Семен обрадовался. Он понял, что речь идет не об отвлеченной стороне дела, а о конкретной обстановке учебы. Это понять было можно. Семен привычно расставил ящики-парты в тундровом классе. Только Юрина возбужденная торопливость удивляла его: Семену казалось, что дядя из-за чего-то рассердился. Но дядя вовсе не был сердит. Дядя просто торопился «накрутить» сцену, которая виделась его воображению. Всякий замысел всегда овладевал им, как припадок. Только закончив съемку, можно было отделаться от этого. Для Юры все уже выстроилось в привычные рубрики. Сюжет: «кочевье оленеводов». Эпизод: «урок в тундре».

Юра был прирожденный хроникер. И, как каждому кинохроникеру, ему хотелось добиться того, чтобы правда, предложенная ему на пути самой жизнью, выглядела чуточку прилизаннее и наряднее, чем на самом деле.

Он послал Паню в чум — переодеваться в припасенное девушкой «выходное» платье,— потому что выгоревший свитерок

и линялая юбка показались ему слишком уж невзрачными.

«Тебя же весь Советский Союз в кино увидит»,— наверно, сказал он Пане. Юра всегда говорит это в таких случаях.

Паня вышла из чума.

— Вот это годится, — удовлетворенно сказал Юра и познакомил нас.

Невольно я тоже вместе с Юрой сперва обратил внимание на платье, в котором вышла девушка, а не на саму Паню. Вероятно, слишком помнил, что она сейчас только нарочно переодевалась в лучшее из всего взятого в долгую дорогу — для съемки, которая покажет ее «всему Советскому Союзу».

Паня была в очень свежей капроновой блузке и в плиссированной юбке со множеством несмятых аккуратнейших складок. Высокие каблучки городских туфель вонзались в мох. Из украшений — только недорогая, но не безвкусная брошка приколота к блузке. Да еще узкая черная тесемка с часами была на крепкой ширококостной руке. Лицо и руки Пани Полозовой были очень белые, а ноги ровно загорели; не сразу я догадался, что это не загар, а чулки. Скажу правду: я не сумел себе представить зрителя будущего нашего документального фильма, который поверил бы в то, что вот так и одевается комсомолка-учительница, чтобы, усевшись на земле подле пустых консервных ящиков, провести урок грамоты с пастухами-оленеводами. Но Панины ученики уже пришли. Спорить с Юрой было поздно. А просить Паню, чтобы она снова приняла обычный, будничный вид, было бы даже жестоко. И, кроме того, вдруг стало понятно, что весь Панин облик удивительно прочно связывается с отглаженной белизной и девичьей свежестью не просто даже «выходного», а торжественно-заветного ее наряда, который за год еще ни разу ей здесь не понадобился, мог не понадобиться и второй год, но путешествовал в чемодане на нартах от стоянки к стоянке. Каждая из этих вещей была связана с милым воспоминанием. Капроновую блузку подарила мама, когда Паня перешла в десятый класс. Вечером Паня впервые надела ее и старалась невзначай пройти мимо зеркала и невзначай посмотреться, а в это время пришел с работы отец и мама сказала ему: «Совсем она у нас взрослая»,— и Паня вдруг почувствовала, как смешались в этих маминых словах гордость и огорчение. И даже не сами слова эти, а только интонация матери как бы слилась навсегда с новой блузкой, и, сколько бы потом ни носила ее Паня, она всегда вспоминала тот первый день, и слышала, как мать говорит с отцом, и снова испытывала первую взрослую жалость к своим родителям, и острое чувство ответственности перед самою собой, и еще более острое желание заглянуть в свое будущее и все сразу далеко вперед увидеть. А плиссированную юбку Паня надевала

всего только раз: ее пошили к выпускному вечеру, и весь этот вечер, вся эта светлая северная солнечная ночь вспоминались Пане теперь, когда она заглядывала в свой чемодан. Брошку Паня купила, когда приехала летом в Салехард из пионерского лагеря. Купила на первые свои заработанные деньги. Лидка Полуянова встретила ее, показала новые клипсы и цветные стеклянные бусы: «Смотри, в наш магазин чешские украшения привезли, мне мама купила». Бусы Пане не понравились, клипсы она носить не хотела, а брошка ей приглянулась, и Паня купила ее за собственные сорок семь рублей, ощущая удовольствие не только от обновки, но и от сознания своего превосходства над Лидкой, которая должна была клянчить деньги у матери. И эта память о первом самостоятельном заработке тоже была с нею здесь, в чуме. Может быть, сама она и не думала именно так об этих вещах, но то, что она возила их за собою, то, что она гладила блузку на стоянках только для того, чтобы снова спрятать ее в чемодан, то, что аккуратно складывала она юбку, следя, как бы не перемялись ее мелкие складки,— было трогательным свидетельством неистребимой веры в счастливую внезапность, в возможность нежданных праздников — вот произойдет что-то очень хорошее и не застанет Паню врасплох...

Женская красота совсем еще не развилась в Пане. Но было в ней такое девическое обаяние, что от него словно бы светлел каждый, кто к ней приближался. Вот и сейчас: подошел пожилой исполкомовский работник, были у него, верно, свои дела, разговоры, а он так и остался у чумов, пробуя перебрасываться с Паней легкими, лишенными значения словами.

Ученики сели к ящикам.

Это были старые пастухи Иван Филиппов и Андрей Валей, Анна Патранхасова, невестка Валея — Евдокия и ее сын, восьмилетний Семен.

— Однако, учились мы уже сегодня,— удивился Иван.— Опять читать скажешь? Я еще новый урок не выучил.

Паня попробовала объяснить ему суть предстоящей процедуры. Лимонно-желтое личико Ивана Филиппова весело сморщилось. Он весь затрясся от смеха. Вот так пошутила Паня-учительница! Может, она думает, будто он никогда не видел кино? Раз шесть видел, не меньше. Кино всегда привозят готовым, в железных коробках, на самолете. Как же он поверит, что кино можно сделать здесь, возле их чумов? Шутит Паня-учительница. Ей просто нужно, чтобы он во второй раз сел сегодня учиться.

Муж Евдокии — малорослый Михаил Валей — шагнул к Ивану с внезапной горячностью, которая, казалось, вовсе ему не свойственна. Он засвидетельствовал, что кино вот так-то и делают. В позапрошлом году, когда они с бригадиром возили

оленей в Москву на Сельскохозяйственную выставку, их тоже снимали там для кино. Как раз так и снимали. Правда, картину он никогда потом не видел. Но снимали его точно так же. Велели ловить оленя тынзеем и наводили черную трескучую машинку.

Юра рассадил учеников.

— Они — что? — спрашивал он у Пани. — Пишут? Читают?

— Пусть читают, — сказала Паня.

Юра согласился.

— Попробуем записать синхронно,— предложил Юра-директор. И побежал за дорожным репортерским магнитофоном.

Но ветер относил слова, и лента воспроизводила лишь смутный, неясный шум.

Обилие приборов и треск аппарата привели всех — и участников съемки и зрителей — в состояние благоговейного оцепенения. Учительница и ученики проглотили невидимые, негнущиеся аршины и застыли, как солдат на побывке, с родителями, у намалеванных декораций на старой деревенской фотографии. Я с ужасом думал о том, как безвозвратно пропадает возможность показать на экране действительно своеобразно-неповторимый кусочек жизни в сегодняшней Ямальской тундре.

— Ты подойди к Семену, — придумывал Юра, стараясь хоть немного развязать Паню и избавить ее от скованности. — Наклонись к тетрадке!

Та подходила, наклонялась. Но действовали в ней не нервы и мускулы, а несмазанные рычаги и шарниры.

— А как вы тут живете? — спросил я у Пани, когда съемка окончилась и Иван Филиппов ушел, чтобы отвести вчерашнего выздоровевшего быка к стаду, отошедшему уже от стойбища за добрых полтора километра.

Паня пригласила меня к тому же чуму, где полчаса назад я нечаянно спугнул ее. У входа встретилась Анна Патранхасова. Она снова выносила швейную машину, чтобы исправить то, что пришлось ей напутать во время недавней съемки.

— Здесь сплю,— показала Паня на одинокую аккуратную постель у берестяной стенки; потом кивнула на сложенные, как и в другом чуме, напротив входа вещи, на три широко разложенные у стен постели.— По-зырянски живем. Три семьи здесь и я...

Старое слово продолжало существовать только как прилагательное, определяющее от века сложившуюся форму быта. Людей, которых когда-то звали «зырянами», теперь зовут так, как они сами себя называют: «коми». А про свою собственную жизнь в кочевье говорят: «живем по-зырянски». В этом чуме только Филипповы — коми. Остальные две семьи — ненецкие. А живут все по-зырянски. Это следует понимать так, что чумы у бригады попросторнее, чем бывали обычно у более бедных,

чем коми, ненецких оленеводов; что порядок распределения вещей внутри чума другой; что стирка почаще. И женщины одеваются иначе, чем ненки: в жаркие дни они ходят в легкой одежде, напоминающей старинные паневы русских северянок, а на головах намотаны темные платки с торчащими в стороны рогатыми завязками (не под подбородком, как у мужчин, а наверху).

— Чего тут смотреть,— сказала вдруг Паня, поскучнев.— Лучше я вам оленят покажу.

И она показала мне то, о чем уже рассказано.

Оленята спасались от слепней на льдине, плавающей в овражке.

Юра успел снять, как прыгали они туда, толкая друг дружку, и как сердился на них Бетон. Того, как Семен поймал Паню тынзеем, он уже снять не успел.

— Старые олени еще не обронили рога? — спросил он у Пани.

— Нет. У них сейчас как раз рога бо́льшие, — ответила Паня радостно, угадав, что ищет Юра. — Есть очень красивые рога.

— Это мы снимем,— деловито пробормотал Юра и пошел по следу Ивана Филиппова, проваливаясь в выступающую меж кочек болотную воду. Голова его временами терялась в черном кружащемся облачке налетевшего гнуса.

— Не скучаешь ты здесь, девушка? — спросил у Пани исполкомовский работник, когда та сыпала стрептоцид, отогнав оводов и привычно разговаривая со своим олененком.

— Некогда тут скучать,— сказала Паня.— Бывает, и захочется. А тут снова каслать надо. Вот вчера пришли, завтра снимемся. А может, еще и сегодня уйдем.

Пришел Яптэко Салиндер, молодой пастух, присланный по просьбе Пани Семеном. Голова его была открыта, но прямые черные волосы сами лежали шапкой. Лицо, если глядеть сбоку, казалось вырезанным жесткими, прямыми движениями ножниц по темно-коричневому пергаменту. Живые глаза смотрели весело и открыто.

— Не проломится льдина? — спросила у него Паня.

Он оценил картину в овражке с обстоятельной пристальностью.

— Однако, может и проломиться.

Яптэко спустился к воде и закричал резко и коротко.

Оленята на льдине забеспокоились.

Яптэко дождался, чтобы вода принесла льдину поближе к краю овражка, и снова крикнул, долго вытягивая ту же пронзительно-высокую и резкую ноту. Олешки выскочили на землю. Дружные удары копытец заставили льдину переломиться в тот самый момент, когда она опустела. От толчка тонкие

пластины пошли ко дну. Погружаясь в воду, лед зеленел и потом исчезал, будто растворившись.

Яптэко обежал овражек, догнал оленят; с ним вместе кинулся к табунку и тот отдохнувший олененок, которого выхаживала Паня. Яптэко обернулся.

— Нарядная ты сегодня! — крикнул он Пане с наивно-открытым восхищением. Резкости уже не было в его голосе. Яптэко спросил: — Читать сегодня будем? На лодке от комаров уйдем и на озере читать будем.

Он предлагал тот же путь спасения, каким воспользовались оленята на льдине.

Мне показалось, что Паня обрадовалась и тут же смутилась от своей радости.

Нам Паня торопливо объяснила:

— Мы с ним сейчас «Как закалялась сталь» читаем. Конечно, многое ему понять трудно. Объяснять приходится на каждой странице. Но он очень способный. Ему учиться надо.

— А хочет он учиться?

— В Ленинград в будущем году поедет. Окружком обещал.

Не то легкая зависть, не то грусть была в этом Панином ответе.

Похоже было, что и исполкомовец уловил эту интонацию. Он пытливо взглянул на девушку и принялся расспрашивать ее с грубоватой отцовской заботливостью. Паня отвечала охотно. Примерно так, как уже было рассказано, вырисовывалась несложная ее салехардская жизнь. То, о чем она не говорила, угадывалось и без слов.

Но вдруг Паня остановилась.

— Опять э т и идут,— сказала она, поглядев в сторону дальних холмов, и сразу отвела глаза.

Вдалеке показались две фигуры. Они шли сноровистым спортивным шагом, и расстояние сокращалось быстро.

— Приветик,— сказал первый из «этих», высокий узколицый парень в пестрой рубашке навыпуск.

Второй, росточком поменьше, был в ковбойке и штормовых брюках, застегнутых у щиколотки, над промоченными в дороге сандалиями. Из-под белой шапочки с похожей на траурный креп откинутой черной сеткой накомарника выбивались рыжие волосы. Парень сказал с излишней тщательностью, видимо пытаясь скрыть едва уловимый акцент:

— Здравствуй, Паня. Мы целых три дня не виделись. Ты очень перемепилась за это время. Конечно, к лучшему.

Говоря, он наклонял голову к плечу. Сразу можно было заметить, что в его повадке малость переложено сахару.

— Мне там поговорить надо,— не слишком находчиво уклонилась Паня от долга гостеприимства. — Хотите, подождите часок.

Исполкомовец после Панино бегства тоже недолго оставался. Он заметил старика Филиппова и ушел к нему. «Эти» сидели на нартах, отдыхая с дороги.

Вскоре я узнал, что они пришли из третьей бригады. Кастают с бригадой второй месяц.

Узколицый отрекомендовался Эриком Огурцовым. Спутник его — Хусаином Мурадовым. Первый окончил в Москве ветеринарную академию и не стал бунтовать, когда его направили научным сотрудником оленеводческой научно-исследовательской станции. Потом разговор показал, что за этой покладистостью таился свой расчет — потоньше и попротивнее, чем в грубом отказе. Но это не сразу стало понятно.

Хусаин приехал из Казани. Он начинал учиться в двух институтах и оба раза вылетал после первого же семестра, даже и не пытаясь сдать зачеты. Так выходило из рассказанных им околичностей. Сахар первоначальных его фраз предназначался для Пани. В «мужском разговоре» оставалась прогорклая циничная опустошенность, сдобренная мальчишеским бахвальством. «Как попал в Салехард? — переспрашивал Хусаин.— Очень просто. Положил перед собой карту, поглядел в потолок, ткнул пальцем. Старался забирать покруче на Север. Вот возле Салехарда и пришлось. Надо же где-нибудь начинать». Он и работ перепробовал уже несколько. Теперь служит лаборантом на той же научно-исследовательской станции.

В бригаду их обоих послали, чтобы испытать новый метод лечения болезни, именуемой в просторечии «копытка», а по-научному — «некробациллёз». Эта болезнь бывает у различных животных, а северный олень особенно ей подвержен; случалось, целые стада падали от этой болезни, и наука нынче решительно взялась за нее.

Выходило, что Эрик и Хусаин — объективно — делают здесь большое и нужное дело. Но Эрик не скрывал своей подлинной цели:

— Поработаю тут два-три года — пусть попробуют потом не принять меня в аспирантуру и не пустить обратно в Москву. Специально выбирал: чем глуше, тем лучше...

А Хусаин жил попроще: день прожит, и ладно. Завтрашний тоже как-нибудь пройдет. А до послезавтрашнего так еще далеко, что о нем и заботиться нечего.

Знакомая «философия». Это мы и на Ханмэе у Витальки встречали. Но опыт говорил и другое: трудно и вообще прожить так жизнь, а уж на Севере-то с такой «философией» долго продержаться никак нельзя...

— Что же, сюда тоже из-за копытки ходить приходится? — спросил я.

— Нет, копытки у нас сейчас ни в одном стаде нет,— не без гордости заверил Эрик.

Хусаин ухмыльнулся.

— Женское общество облагораживает,— сказал он.— Вот и ходим.

«Опять эти идут»,— сказала про них Паня. Теперь понятно, почему она так говорила. Она знала, зачем «эти» ходят, чего ищут, и это ее начинало беспокоить.

Потом мне рассказали, как недели три назад пришел сюда из третьей бригады старик Филиппов.

В чуме ужинали.

Паня уже привыкла к тому, что́ ели в чуме; сама научилась строгать оленину и нельму. Она держала в коленях медный таз; розовые ломти сырой рыбы падали из-под ножа, сразу обливаясь золотым жиром. Филиппов подсел к очагу и принялся неторопливо рассказывать нехитрые бригадные новости. Сперва, конечно, говорил про олешков: какие важенки отелились, какие бычки крепенькие растут. Потом, сузив в щелочки и без того узкие веселые глаза, прихлебывая чай из большой кружки, Филиппов заговорил о событиях, случившихся намедни в их чуме.

— Рано мы спать ле́гли. Тепло в чуме, собацка у огня жарится, за́снул я скоро. И не то сон мне видится, не то слышу я: «Над моёй жоной тебе дела нет». Поле́жал, послушал — не сон это. Тепан-пастух из стада пришел, и это он мальцу бает: «Над моёй жоной тебе дела нет». А жонка Тепанова на по́стели сидит, молчит. И малец молчит, стоит посередь чума, слушает. Вот, гляжу я, Тепан мальцову по́стель выздынул да из чума на улку и поволок. Малец за ним. Недолгое время не было их, потом приходит Тепан обратно — один. Слышу, собацка бизджит. Это Тепан рассердился да обуткой ее. А меня смех душит. Я Тепану шутейно: «Ты, баю, возьми верви поядреньше и стегани обоих, чем собацку-то обижать». А Тепан: «Нет, бает, и так будет хорош». Глянул я на улку: бегает малец, будто черти его гоняют, раз сопку окру́жил, другой окру́жил. После свою по́стель с болота вздынул и — в другой чум...

— А теперь?

— Там и живет, в другом чуме. Где Егор Пырерко — там и живет. Старухи в том чуме одни. Спокойно теперь мальцу...

«Мальцом» он называл Эрика.

А Паню старик Филиппов звал «и́грицей». Веселое печорское словцо: девушка, за которой ухаживают парни. «Есть тут у вас игрица, вот и бегают мальцы...» Про Эрика он рассказывал, чтоб и Паня слышала. Пусть знает.

Михаил говорил об этом происшествии без затей и «морали»: был, мол, такой забавный случай — и все.

Но работника исполкома не рассмешил рассказ о похождениях «мальца» в чуме первой бригады.

— Старым книжкам небось поверил,— проворчал он.— Или от горе-путешественников врак наслушался. Закон, мол, гостеприимства... Гостю в чуме жену предлагают... Нарвать бы уши! Живут в чуме люди как люди. Может, и бывало что, когда жена ненцу рабой бессловесной была. А теперь и в чум жену по любви приводят. Счастливо, выходит, отделался ваш малец.

Что счастливо — это верно. Да только счастье не пошло Эрику на пользу. Ничему он не научился. Про свои визиты в третью бригаду они с Хусаином говорили с казарменной откровенностью. «Читать мораль» дружкам, говорить про то, что живут они нехорошо и за девушкой бегают гадко, было бессмысленно и даже вроде бы глуповато. Вероятнее всего, «мальцы» посмеялись бы и только. Научить тут может лишь — рано или поздно — сама жизнь. Но день, который начинался хорошо и светло, был этим разговором загажен, настроение испортилось; я оставил «мальцов» у овражка и поторопился вернуться к чумам, где исполкомовский работник толковал с Филипповым, записывая в книжку, что нужно пастухам прислать из Салехарда, отмечая для доклада сведения о состоянии оленьего стада и выслушивая нелестные слова о работе почты и кинопроката.

Вот ведь и Паня, думал я, в тундру тоже пошла, как говорится, «с целью». Проживет два года в бригаде и в награду за двухлетний отказ от привычного образа жизни получит право на поступление в институт. Не так ли рассуждает и Эрик: «Два-три года в Салехарде, а тогда пусть попробуют не принять в аспирантуру». Но стоит только подумать об этом, чтобы понять, как глубоки здесь различия. У Эрика — окольный ход. У Пани — живой отклик на услышанный ею призыв к учительской молодежи. Для Эрика аспирантура — только начало «карьеры», синоним обеспеченного заработка и возвращенной московской прописки. Для Пани педагогический институт — призвание, мечта жизни. Нынешнее кочевье продлится для Эрика одно лето. Это короткая командировка, и, несмотря на это, легко представить себе, как превратится она в его будущих рассказах в цепь подвижнических лишений, за которые и следует ему платить сполна — аспирантской стипендией. Паня год прожила с пастухами; проживет и второй. Она стала не только «своей» в чуме, где стелется ее постель; для тех, кто ее окружает, она человек нужный и дорогой. Она первая повела десяток взрослых людей в незнакомый им прежде широкий и пестрый мир, открывающийся для них через книги. Может, кто и пожмет тут плечами: «Десяток людей? Подумаешь! Стоит ли это разговора?» На такой вопрос, пожалуй, не ответишь словами; хорошо бы привезти скептика в тундру, познакомить с Анной Патранхасовой, с Яптэко Салиндером, с семьей Валеев.

Там, где статистики исчисляют людей единицами на площадях в сотню квадратных километров,— там и счет десятками воспринимается по-иному, и мера тепла, излучаемого человеком, тоже другая, и как же возрастает эта мера, когда ширится у людей кругозор и зажигаются новые мысли!

С этими раздумьями подошел я к нартам, и настроение, испорченное знакомством с «мальцами», начало исправляться.

Филиппов рассказывал про оленей.

Что означает олень в жизни северянина, можно понять уже из самого количества слов, существующих в ненецком языке для того, чтобы можно было всякий раз по-своему называть почти неразличимые для непосвященного разновидности олешков. Вот олень с белой грудью — это одно, а совсем белый — уже другое. Для каждого из них есть свое слово. Домашний олень — третье, дикий — четвертое. Олень, сбросивший первые рога,— это «малк», а совсем уже взрослый, шестилетний упряжной бык — это «ма́тась».

И есть еще слово «и́лебць»; у него два значения. Это и олень и «средство к жизни». Олень — это еда, одежда, дом, заработок, достаток. И все это и есть «илебць» — вместе и отвлеченное понятие сытости, тепла, доброй жизни и вот этот совершенно конкретный, живой небольшой олешек. Непонятно, как несет он на тонкой и милой своей голове такие непомерно большие и, вероятно, нелегкие кусты-рога; непонятно, как может он на этих стройно-поджарых и маленьких ногах бежать с такой неожиданной быстротой, таща груженые нарты...

Филиппов жалуется на то, что зима «се́йгод» была снежная. Из-под глубокого снега ягель оленю добывать трудно. Глубокий снег — беда. Зато теперь ягельники хороши, отъедается стадо. Ну, и работы олешкам хватает тоже. Ачкасов по сто упряжек заказывает, а когда и больше. И топографам олени нужны, и Академии наук тоже...

— Академик один ко мне приезжал,— хвастает старик.— «Пойдешь, бает, сам в проводники?» Коль пойду, ножик свой отсулил. Хороший у него нож, чего только нету. Надо быть, сходить придется...

Он замечает дочь Анны.

— Ань-дорово-те, Пилька,— окликает ее серьезно старик и, заметив у девчонки в руках какой-то пестрый предмет, заводит беседу: — Ну-тко, подай бабу́шку.

«Бабу́шкой» он, как здесь принято, зовет тряпичную куклу.

Пяля на старика Филиппова большие неподвижные глаза, Пилька протягивает ему свою игрушку; тот преувеличенно восторгается, как делают это все старики на свете в разговоре со всеми на свете детьми. Выясняется, что Пилькину бабу́шку — ситцевую толстуху с разрисованным цветными карандашами лицом-подушечкой — делала Паня. Она сидит тут

же, только бы не идти к «этим». Старик усмешливо взглядывает на девушку.

— Тебе бы самой бабушку нянчить, — беззлобно ворчит он. И тут же добавляет: — Пока что́ другое не завелось... Игрица...

Паня заливается краской. Выручает ее Михаил Валей.

Он появляется, гоня перед собой молодняк к большому стаду.

— Ехе, хэй-хэй-хэй! — покрикивает он чужим, дурным голосом, но, поравнявшись с нами, обрывает резкий гортанный крик и говорит обыкновенно и ровно: — Олешки, однако, далеко отошли. Ягельник там богатый. Надо бы и чумы поближе поставить.

— Опять каслать? — негромко не то спрашивает, не то покорно отмечает Паня, и в этой покорности можно уловить еще незнакомую интонацию, которой не было у нее до сих пор. Видно, и товарищ из исполкома почувствовал эту интонацию и тоже удивился ей.

— Как же тебе тут живется, девушка? — спросил он вдруг.

Разно можно отвечать на такой вопрос. Бывает, вовсе незнакомый человек спросит — попутчик в дороге или случайный сосед где-нибудь на берегу речки. Видишь его в первый раз и знаешь, что никогда больше с ним тебе уже не повстречаться. А почему-то хочется все ему выложить — глаза у него, что ли, такие, душа в них, как говорится, видна и видно, что не просто так спросил человек, а в самом деле ему интересно: как же тебе, другому человеку, живется? То ли в вопросе попутчика моего не уловила Паня такого живого интереса, то ли просто самой не захотелось распространяться. Она ответила так, как чаще всего на этот вопрос и отвечают,— одним словом, теряющим в таких случаях содержанье и цвет:

— Хорошо.

Но попутчик мой продолжал смотреть на нее, и Паня повторила убежденнее, возвращая слову смысл:

— Хорошо живу. — Она помолчала, очень низко опустила голову и добавила совсем тихо: — Каслать только надоело.

И снова — после паузы, с полным уже убеждением:

— А так — живу хорошо.

Пожалуй, все тут и было. Всем бы хороша была здешняя Панина жизнь, если б не тяготил непривычный кочевой ритм, лишенный протяженности времени и вместе с тем нескончаемый; ночь в чуме, день в нартах — сборы и новоселья. Только в «новосельях» как раз и нет ничего н о в о г о: всякий раз выбирается место, похожее на вчерашнее, летом — озерко рядом, невысокие холмы, серебряная ягельная тундра вокруг; а зимою — все белое, чернеют только проталины, которые продышали олешки, добираясь теплым носом до прикрытого

снегом мха. Сборы и новоселья; от моря и к морю; короткое время стоянок, короткие переходы, а вместе — течет кочевье, как медленная река без истока и устья. Вероятно, привыкнуть к этому можно только с рождения. А в остальном — все хорошо. Доверчивые глаза людей и оленей. Ненавязчивое дружелюбие. И то, что всего дороже: чувствуешь, что дело твое нужно другим, что сама ты нужна и что тебе благодарны.

Паня вслух читала с Яптэко «Как закалялась сталь» и должна была объяснять самые, как ей казалось, простые вещи. Что такое степь? Или: как убирают хлеб? (Она сама недавно увидела это впервые из вагона, по дороге в Челябинск; объяснять «простое», которое как бы само собой подразумевалось, человеку, привыкшему во всем, что ему незнакомо, искать ясной конкретности, было очень нелегко.) Зато, слушая про Павку, Яптэко не требовал никаких объяснений: тут ему все было понятно. Павка словно сам входил в Яптэко; темное скуластое лицо пастуха было неподвижно, Яптэко слушал, полураскрыв жестко вырезанные крупные губы, никак нельзя было представить, что он может поцеловать этими губами, как целовал Паню «П. С.» в Салехарде после катка или как попробовал раз поцеловать Эрик, придя из третьей бригады без Хусапна. Не потому ли Ине было с Яптэко так странно — спокойно и неспокойно, будто она должна сама что-то сделать, и неправильно, что ничего она не делает, а только читает и читает...

Как-то Яптэко остановил Паню, положив на страницу маленькую заскорузлую руку.

Она читала тогда, как ослепший и парализованный Корчагин твердо решил, что сумеет оставаться в строю.

Паня решила, что Яптэко не понял сло́ва.

— Понимаешь? — спросила она. — Ну, так жить, чтобы быть полезным. Строй... Это — все люди работают. Ну и Павка. Он очень болен. Но он может делать то, что нужно людям...

Но сбивчивое объяснение не нужно было Яптэко. Он и без него все по-своему понял.

— Павка уже был мертвый, — сказал Яптэко, будто катая тяжелые, недающиеся слова.— Он уже был мертвый, но он не хотел в страну предков. Он остался с живыми потому, что мог он писать.

Так это понял Яптэко. Но он заговорил не ради того, чтобы объяснить Павкины мысли. Он думал о себе.

— Я тоже, когда умру, не захочу уходить,— сказал Яптэко.— И я, однако, писать тоже умею. А голова у меня пустая. Ничего еще со мной не было. Что я знаю, то и все люди знают. Не нужно им это. Чтобы так сделать, как Павка,— надо жить иначе, однако...

Первое, совсем смутное стремление к подвигу — вот что это было у Яптэко.

Наверно, ему и раньше хотелось чего-нибудь необычайного. Встретиться, например, один на один с медведем, убить его, а потом вернуться в чум, таща тяжелую шкуру, и сказать между прочим, как ни в чем не бывало:

— Медведя, однако, убил. Туша там лежит. Нарты запрягать надо. И пусть кто-нибудь со мной едет. Одному не взвалить на нарты. Медведь большой, однако...

Но сейчас было другое. Сейчас Яптэко впервые понял или, вернее, начал понимать подвиг как поступок, совершаемый не ради собственной гордости, а для других и вместе с другими — «в строю», как говорил Павка.

Про это могла бы Паня записать в свой дневник: так близки были неуклюжие пока раздумья Яптэко к тому, о чем сама она — тоже еще по-ребячески смутно — думала и мечтала. Но Паня ни строки не записала об этом в тетрадку. Она совсем забросила здесь свой дневник. Писать только о прочитанных книжках было неинтересно, а событий вокруг, на ее взгляд, никаких не происходило. Только знай раскидывай чум да собирай его снова в дорогу. Сборы и новоселья. Остановись, отдышись и каслай дальше...

Того, что стремление к подвигу, зародившееся у Яптэко Салиндера, было также и началом ее собственного, Паниного, подвига, она не заметила. А если бы ей и подсказать — отнеслась бы строго: зачем смеяться? Разве подвиг таким бывает?.. Вот появление Валея с напоминаньем о том, что стадо ушло на дальние ягельники и, значит, пора каслать дальше,— это и есть правда ее каждодневной нынешней жизни. Какой уж тут подвиг?!

Зато с легким сердцем смогла она сказать Эрику и Хусаину:

— Некогда мне сегодня, мальчики. Перекочевывать скоро будем.

Хусаин предложил: день хороший, пусть трогается аргиш, а они пойдут пешком, не торопясь, проводят Паню.

Но на этот раз Паня Красная Шапочка не поверила Волку.

— Неохота,— протянула она лениво. И сказала, что «мальчикам» будет слишком далеко возвращаться. Кто знает, снимется ли сегодня и третья бригада? Вон и Гавриил Васильевич будет возвращаться туда. Шли бы лучше с ним вместе...

Километров десять в один конец да пятнадцать обратно — так обрисовала Паня молодым ветеринарам реальный масштаб легкомысленно задуманной ими прогулки. Пришлось согласиться: многовато — по мокрым болотным кочкам.

Но прежде чем они ушли, прежде чем первая бригада начала разбирать свои чумы, старик Филиппов успел еще

повспоминать недавнее прошлое. Это началось с разговора «мальцов» о копытке и с филипповского замечания, что, мол, олени меньше болеют теперь и потому колхозное поголовье увеличивается быстрее, чем прежде, когда стада, принадлежавшие богачам самоедам, ходили розно.

«Помнишь, сделали мы оленей в одно стадо?» — такими словами обозначают Филиппов и Николай Патранхасов возникновение их колхоза.

Оленей в одно стадо «делали» тут не так уж давно. На Ямале этот процесс начался незадолго до войны, а заканчивался уже в послевоенные годы. Значит, всего только десять лет назад мои собеседники были батраками. Хозяин мог бить их хореем. И не только мог,— знаю по многим рассказам,— бил, калечил, забивал до болезни, до смерти. Разумел, конечно, что власть не похвалит, если узнает об этом; но знал и то, что батрак сам никому не пожалуется, вековая привычка не позволит, вековая боязнь лишиться куска оленьего мяса, лепешки, чашки спирту — всей малости, что дает батраку хозяин. Наверно, еще и старые синяки увидеть можно под малицей. Но возле оленей, «сделанных в одно стадо», выпрямился человек, обрел достоинство, другой жизни уже себе и не представляет. И потребовалось на это всего лишь десяток лет. Прав был Курдов, говоря на Ханмэе об относительности чисел и сроков.

До сих пор и там, на Ханмэе, и в Речной, и в самом Салехарде мы встречались по преимуществу с новичками на Севере и приглядывались: как же они здесь привыкают? У Константинова Камня мы очутились среди людей, которые в здешнюю трудную почву уходят всеми вековыми корнями. На первый взгляд, кроме «сделанных в одно стадо» оленей, кроме иной организации древнего их хозяйства, не так уж много переменилось в обстоятельствах жизни пастуха-оленевода. Та же скудость природы, те же долгие и темные зимы, то же однообразие касланий. И вместе с тем — все другое. Даже и для тех, кто по-прежнему никогда за всю свою жизнь не покидал родной тундры, кто даже и Салехарда не видел,— даже и для них приоткрылся весь широкий мир в бесчисленных сложных связях. Будто новое измерение появилось в прежде плоскостной жизни. Постель такой Пани Полозовой в кочевом чуме — знак нового. Записи в книжке работника исполкома (по этим записям достанется почте; Берсенёв спустя несколько дней повезет сюда кинопередвижку; салехардскому торгу придется раскачаться и переслать в бригаду сушеную картошку, консервированный компот и кирпичный чай) — тоже новое.

— Ехе, хэй-хэй-хэй! — ухарски кричал уже вдалеке Михаил, поощряя молодых оленят.

Отец и сын Патранхасовы, скликая женщин, пошли к чумам, чтобы приняться за разборку.

Юра возвратился от стада. Он устал, но был счастлив. Паня сказала правду. Он радостно подтвердил: «Это удивительно, какие я там рога видел. Просто дерево на голове растет. Сам на экране увидишь, и то не поверишь...»

У работников окружного исполкома были еще дела в Байдарацкой губе и на Карском побережье Ямала, в пункте, отмеченном на карте маленькой точкой: Марре-Сале.

Жена Валея повезла нас на той же оморочке к «антону». Неподалеку молодой пастух тащил на берег сетку. Женщина окликнула его, ненец приподнял сетку, чтобы похвалиться уловом, и одинокая рыба, свисавшая из ячеи, сорвалась-таки и весело плюхнулась в воду. Евдокия Валей шумно поддразнила парня, не переставая орудовать тонким веслом с двумя небольшими круглыми лопастями. Парень смущенно отшутился. Он снова потащил к берегу сеть, и в ней блеснула еще одна рыба, покрупнее первой.

Потом «антон» побежал по воде. Брызги ударили в плексиглас, закрывавший окошки. Сквозь текущие по окну потоки я разглядел Паню. Она прибежала на берег все в том же праздничном наряде и махала отрывающейся от озера машине.

Чумов уже не было видно, их успели разобрать, наверно. Еще можно было различить движение фигурок у нарт, а движущееся оленье стадо вдали снова слилось в сплошное пятно: будто сама земля колебалась.

Опять показался Константинов Камень и за ним — битый лед Байдарацкой губы. В полете мокрый плексиглас обсох сразу, все теперь виделось отчетливо, ясно. Несколько строений и большой двор открылись спустя недолгое время. Это и были Яры — пушная фактория. Летчик сел на разводье. Довольно широкая полоса льда не подпускала нас ближе к берегу, но тут оказалось мелко, и, раздвигая руками лед, к нам пришел работник фактории, обутый в высокие резиновые сапоги, сращенные с непромокаемыми, завязанными на груди штанами. Шагах в пятнадцати от машины ему пришлось остановиться; вода подошла под завязки, и, заглядывая издали в открытые дверцы «антона», он прокричал, что заведующий факторией ушел вчера по охотничьим избам и возвратится только через три дня.

— А кто на фактории? — крикнул работник исполкома, высунувшись из дверки.

— Я! — отозвался человек. Он был по пояс погружен в воду, белое ледяное поле смыкалось вокруг него, и оттого он стал похож на бюст, сооруженный на плавучем льду. Странное сходство становилось еще очевиднее оттого, что низкое солнце било человеку прямо в лицо, делая бронзовыми и треух, и верх черного овчинного полушубка, и поднятое к самолету лицо с прищуренными от солнца глазами, с окладистой всклокоченной бородой и дремучими усами.

— Так ты Гаврилов? — удивился наш спутник, разглядев лицо над водою.

— Гаврилов! — подтвердил бюст и в свою очередь, опознав исполкомовца, назвал его по имени-отчеству.

Выходило, что в тысячеверстной околице наш попутчик знает каждого коренного старожила точно так же, как знает всех земляков любой сельсоветчик в своей деревне. Ничего удивительного. Народу на этой просторной земле было, вероятно, не больше, чем в одной среднерусской деревне, а заглядывать исполкомовцу приходилось повсюду. Только Гаврилова он прежде видел без бороды. Сам его не так давно направлял сюда, на факторию.

Перекличка продолжалась.

— Чего вам тут надо? — допытывался исполкомовец во весь голос.

— Мы радировали! — откликался бюст Гаврилова, бронзовым рупором сложив ладони.— Мука кончилась, и газет давно не видали! . .

— Все?

— Все!

— Тогда ясно! Бывай, Гаврилов!

Бюст попрощался.

Снова раздвигая перед собой лед и постепенно вырастая над морем, Гаврилов зашагал к фактории, а летчик включил мотор, поднял «антона» над Байдарацкой губой и повел к Марре-Сале.

Там вода была чистая, ничто не помешало нам сесть у берега, принять к борту лодку и потом выкарабкаться на круто срезанный каменный откос над водою. Но попутчика нашего и здесь постигла неудача. Он летел к геологам, а их, как и заведующего факторией, тоже не было на месте.

Марре-Сале — пункт, который вы можете увидеть даже на не слишком подробной карте,— оказалось селением, состоящим из трех домиков и пяти-шести чумов.

В домиках жили геологи, в чумах — рыбаки.

Рыбаки-то нас и встречали. Среди ненцев оказалась московская — измайловская — разбитная девчонка, сверкающая двумя золотыми зубами.

— А как там наши в Аксарке? — сразу спросила она у исполкомовского работника с той же дружелюбной радостью узнавания, какая послышалась недавно и у Гаврилова.

Ловецкая бригада заброшена сюда из Аксарки — с другой стороны полуострова. Уходит из речек лед, скоро начнется путина. Те, кто остался в Аксарке, для кинувшейся сгоряча на Север («Вербанулась»,— напустив беззаботность, сообщила она тогда московским подружкам) и прожившей на Ямале уже три

года девчонки успели стать «нашими». Но и Измайлово — оно тоже, конечно, оставалось «нашим».

— Стадион у нас не достроили?

Этот вопрос обращен к нам.

Стадион в Измайлове не достроили, зато метро там ушло дальше прежнего — узнать об этом в Марре-Сале непосредственно от очевидцев тоже приятно, даже если из писем это и было давно известно.

— В этом году в Москву с мужем в отпуск приедем...

Муж — ненец. Он стоит рядом, будто навсегда заворожепный золотозубой улыбкой жены. Над верхней губой — маленькие усики. Во рту — тоже золотой зуб. Голова не покрыта. В капюшоне жарко, а носить платок, наверно, жена запрещает.

Исполкомовец уже достал записную книжку. Расспросы. Бригадир — муж землячки — отвечает, перечисляя нужды бригады. Говорит обстоятельно, советуясь с рыбаками. Жена на него покрикивает, поправляет, немного рисуется. Спутник наш делает пометки для памяти...

Прощание.

И снова — «антон» над морем.

## ГОСТИНИЦА «СЕВЕР»

Чем дальше уводит дорога, тем милее сердцу становится путевой пристанок. Можно неблагодарно забыть безликий уют краснодеревых городских номеров, с их равнодушными зеркалами и ванной белизной, с чужими квитанциями, оставленными в пустых ящиках стола, с вывернутыми отпечатками чужих писем на промокашке. Но никогда не забудется свежий, прохладный, круто-хрустящий вкладыш, вложенный в спальный мешок гостеприимным хозяином палатки, рассветное умыванье в ледяном ручье, прогорклый запах костра, примешанный к заваренному в котелке крепкому чаю.

И с благодарностью вдохнешь постоялый дух поселкового общежития с отсыревшими в своей перестиранной чистоте бязевыми простынками, с теплой жесткостью солдатского одеяла, с мгновенным провалом в непробудный сон, хоть железная коечка чересчур коротка и узка, хоть затекший кулак всю ночь подпирает под головой тощую и плоскую подушку.

Сколько уж раз — мечтой, исполнением самых заветных желаний — вспоминался вдруг где-нибудь в тундре тот же, годами настоянный, невыветриваемый дух двухэтажного деревянного дома на улице Республики — салехардской гостиницы «Север». И когда тряслась в вездеходе по бессонной дороге — во сне, не во сне — отяжелевшая голова, когда в пути от стойбища к стойбищу мелкий холодный дождь просекал «непромокаемую» штормовку, — как же мила была тогда далекая комнатка в этой гостинице, оставленная и ожидающая, знакомая до последних мелочей: тесно составленные койки под облупившейся стенкой; голая лампа на коротком шнуре, которую, слава богу, не к чему зажигать, потому что и без нее светло круглые сутки; расшатанный гвоздь у дверей, ожидающий твою зашлепанную в болоте штормовку; торфянистая желтоватая вода в пузатом графине.

Четырежды возвращались мы уже в эту комнату с дорог, пройденных по Ямалу и Заполярному Приуралью.

В некоторых номерах постояльцы менялись. Из комнаты, возле которой мы привыкли встречать сухонького старичка с тонкой серой кожей, так туго обтягивающей кости лица, что даже страшно бывало: а не лопнет ли вдруг эта усталая иссохшая оболочка? — выходил нежданно ражий молодец; и тельняшка на нем была молодецкая и светлый чуб — молодецкий; наверно, молодецкими были бы и пронзительно-синие глаза его, если бы не легла на них мутная похмельная поволока. Старичок был контролером, не то ревизором, и к нему спозаранок тянулись поникшие бухгалтеры местных строительных организаций. Парень же в тельняшке оказался механиком пришедшего с верховьев речного буксира; перед новым рейсом выдались у него двое свободных суток, и он решил провести их на берегу. Корреспондента областной газеты сменял рыбозаготовитель; заведующий сберкассой из Кушевата, дождавшись своего самолета, улетал на юг, и его койку занимал ютившийся на диванчике рядом с дежуркой аккуратный ленинградский специалист по пушнине; он приехал отбирать шкурки для международного аукциона, а вечером бесприютно бродил по гостинице, отыскивая партнеров на «пульку». Утром появлялись вдруг на лестничной площадке немолодые майоры и капитаны в казенных нижних рубахах, заправленных в форменные синие галифе; резкий запах ваксы распространялся по всей гостинице: новые постояльцы, став шеренгой, начищали сапоги и дружно уходили в буфет. Это были районные военкомы, прибывшие для получения «ростовок» — досок с делениями, чтобы измерять рост новобранцев. В два дня заканчивали они свое дело и уезжали — с пристани, с аэродрома, на попутных грузовиках. Хлопали дверями, перекликаясь из номера в номер, голосистые физкультурники; в их компании попался нам как-то Лепешкин, гимнаст с Ханмэя. «Завтра домой лечу», — сообщил он. Наш Анатолий ахнул: «Куда домой? В Ленинград?» Лепешкин обиделся: «К себе, на Ханмэй».

Скрипела деревянная лестница досками, протертыми до вмятин. Чужая жизнь текла сквозь дом, как река в трубе. Но иных сносило к сторонке, и они застаивались, задерживались, и, вернувшись домой, мы снова встречали знакомые лица в нижней кухоньке, где на просторной печке кипятилась в ведрах вода для чая и для бритья и где гастролирующие в местном театре тобольские актрисы в запахнутых ситцевых халатиках торопливо жарили рыбу и варили лапшу в игрушечно-лилипутских синих кастрюльках, а мужья в полосатых пижамах напоминали им о репетициях, наигрывая поставленными голосами усталое мученическое долготерпение.

— А-а, ты все еще здесь, Песечек?! — кричал вернувшийся Юра-директор намыленному животноводу, подпоясанному полотенцем.

Животновода звали Радием, но Юра называл его «Песечек», потому что песцы были его специальностью. Радий приехал месяца два назад и дожидался комнаты от научно-исследовательской станции. Иногда его выгоняли, освобождая гостиницу для делегатов какой-нибудь конференции. Радий ночевал в лаборатории, потом оказывался в гостинице снова.

— Вернетесь — новоселье устроим,— грозился он всякий раз перед новым нашим отъездом.

Но мы снова заставали его в номере, где стояли три койки; на двух постояльцы то и дело менялись, а Радий оставался.

— Только-только начал радиодело узнавать,— жаловался он,— а радист и уехал. Теперь консервщик живет. Но не узнáешь от него ничего путного. Днем молчит, а ночью храпит.

Открытый нараспашку, весь вынесенный на люди шатучий дорожный быт возвращал взрослым людям мальчишеские привычки и вносил в гостиницу озорной дух школьничества.

«Нянечка» — называли здесь уборщиц.

— Тетя Зоя,— говорил молодец в тельняшке, обращаясь к массивной рыхлой буфетчице и блуждая глазами по полускрытым могучей ее спиной полкам, уставленным кагором и плодоягодным,— крепенького чего нет ли?

— Тебе бы сейчас кваску порезче,— жалостливо откликалась тетя Зоя.

Но и квасу у нее не было.

Не только гостиничные постояльцы сидели в буфете. Здесь бывали и захожие завсегдатаи. Они тоже звали буфетчицу «тетей Зоей», забегали второпях, обсаживали маленький столик вшестером или ввосьмером, брали на всех бутылку «морсу», имеющего цвет воды, слабо подкрашенной фиолетовыми чернилами, и много стаканов. Резали на газетке копченую рыбу и заедали ею «морс», почему-то терявший в стаканах свой анилиновый цвет и приобретавший просветленную прозрачность. Бутылка оказывалась бездонной.

— Ой, будет мне из-за вас,— вздыхала тетя Зоя.

— Порядок! — возражали из-за стола.— Полный порядок!

И возвращались к зычному, но невнятному обсуждению собственных дел. Поминался гараж, экономия бензина, какая-то дорога, которая всем насолила, и диспетчер — с неизменным добавлением к его имени недвусмысленно кратких осуждающих слов.

— Ты бы, Гена, потише,— опять вздыхала тетя Зоя.

— Порядок! — с готовностью соглашался Гена и тут же выкликал в полную силу легких то же слово, без которого все остальные слова сразу теряли для него окраску и смысл.

В гостиничных коридорах мелькал круглый, крепкий, рано лысеющий человечек. Фамилия его была Соколов, но все звали его Бишкой. Он и сам так представлялся, и даже друзья так и не успевали узнать, каким было его настоящее имя. Тетя Вера — дежурный администратор — и та сообщала о нем:

— Вас тут Бишка спрашивал.

Тетя Вера была сухая старушка, всегда в черном, с высоким узлом седых волос, с чопорно подобранным лицом и неожиданными на этом лице нечистыми — под старомодным пенсне — глазами монашки, принявшей поздний постриг, когда грешить уже не позволяли годы.

— Меня зовут Вероника Феликсовна, — сообщала она постояльцам.

Но на другой день они все равно начинали звать ее «тетей Верой». Не из симпатии, а просто подчиняясь поветрию, всеобщей привычке.

— У вас вчера очень поздно была женщина,— сухо отмечала она, принимая ключ от парня в тельняшке.

— Так, тетя Вера, это же у меня Маркин с жинкой был. Кореш.

— Все равно. Я не знаю, «жинка» она или не «жинка». Нужно подчиняться порядку. После одиннадцати гостям в помещении находиться не разрешается.

Вникать она ни во что не желала.

Сменщицей тети Веры была тетя Варя — женщина такого же возраста, но совсем иного склада.

— Куда же я тебя, голубь, поло́жу? — сокрушалась она при появлении нового приезжего. — Все щелочки забитые...

А тетя Вера отрезала в таких случаях как бы даже и с удовольствием:

— Нет мест, гражданин.

Суть-то была одна и та же, но ощущение оставалось разное. Обогретый радушием тети Вари, человек смирялся: «Бывает в дороге. Можно и подождать». А встреча с тетей Верой будила в нем раздражение и ответную враждебность ко всему окружающему.

Но про Соколова и тетя Вера и тетя Варя говорили с одинаковой пренебрежительностью:

— Вас Бишка спрашивал.

Бишка сводил знакомства с приезжими и становился при них гидом и добровольным шутом. Он готов был вылезть из кожи, только бы весело и легко было с ним новому знакомцу. Я думаю, что он не искал корысти, хотя и любил присматриваться к ярким вещам. Не стяжательство, а первобытное дикарство просыпалось в нем, когда Бишкин взгляд падал на чью-нибудь яркую сорочку, затейливый ремень, пестрые носки или даже не совсем обычную расческу.

— Махнем? — алчно спрашивал он и тут же принимался подбрасывать на ладошке вечную ручку или другой какой-нибудь предмет, добытый в свое время тем же путем: Бишка «махнул» этот предмет с каким-нибудь приезжим, и уже успел пресытиться им, и жаждет нового блеска, чтобы питать свою неутолимую гордыню.

Бишка встречал столичного приезжего так же, как когда-то океанийский туземец выходил на берег, завидев парус Маклая: ведь и полинезиец дивился бусам и погремушкам, а когда бусы были уже и у других соплеменников, радовался табакерке или подзорной трубе, которые один он успел «махнуть» за кокосовый орех или деревянного идола.

Бишка мог внезапно стать на руки и спуститься так по гостиничной лестнице. Он мог вдруг пойти на руках по улице, по доскам лежневки.

— Ну, чисто клоун! — забавлялась тетя Варя, высунувшись из администраторских дверей.

Но это не мешало ей осуждать Бишку в глаза:

— Нестоящий ты человек...

Резвясь, Бишка орал на всю улицу полупристойные куплеты и шутки навстречу девчонкам-портнихам из комбината бытового обслуживания или смазливым няням из детских яслей.

— Вот дурак! — радостно удивлялись юные портнихи и няни.

Конечно, тетя Варя была права. Бишка был «нестоящим» человеком. Но девчонки в простодушии ошибались. Дураком он не был.

Бишка приехал на Север лет шесть назад — так же, как недавно приехал сюда Хусаин: что-то в жизни надо было делать. Почему бы не поискать удачи на Севере? Говорят, будто деньги валяются там прямо на мерзлой земле: бери — не хочу!

Нужда в людях была тогда здесь поострее, чем нынче, и не в какие-нибудь коллекторы или лаборанты, а сразу в начальники угодил Бишка Соколов. Да и не Бишкой звали тогда его, а Борисом Григорьевичем. Но он заваливал дело за делом, из начальников переходил в замы, из замов в «хозяйственники». Из Бориса Григорьевича он превратился в просто Бориса, из Бориса стал Бишкой. Выяснилось, что работать он не любит и не умеет.

— Судить тебя надо,— сказал ему прошлым летом начальник строительства, у которого Бишка был тогда агентом по снабжению.

— Отчетность у меня в порядке,— возразил Бишка.

— Отчетность, может, в порядке, да толку что?

— Значит, плохо спрашивали, — нахально подвел Бишка, не отводя глаз.— Если судить, так обоих.

После этого разговора Бишка погулял недолгое время без

работы и, когда кончились его небольшие деньги, оказался преподавателем физкультуры в кооперативном техникуме.

Новое дело не обременяло Бишку. Расписание уроков держало его в узде. Свободного времени тоже хватало. Но не за таким делом ехал Бишка на Север. Он представлял, что деньги здесь будут доставаться без труда, без обязанностей — за одно то, что он решился жить за Полярным кругом. Теперь он убедился, что такого в нашей жизни нигде не бывает.

Втайне он обозлился. Он винил приятелей.

Приятели были у Бишки разные: завмаги и почтари, лодочники и счетоводы, баянисты и газетчики. Но были ведь среди них и начальники, ворочающие большими делами,— директора, главные инженеры. Они охотно звали Бишку к столу: «Веселый парень, с ним не заскучаешь». Любой из них — только захоти — мог бы выручить Бишку, когда тот нуждался в работе, но, как доходило до этого, никто для него пальцем о палец не хотел ударить. Один прикидывался, что нет у него никаких штатов, другому и поговорить было некогда, третий резал напрямик: «Ты же, Бишка, лодырь. Тебе же ставка нужна, а для работы надо при тебе отдельную штатную единицу заводить».

— А ты мне только возможность дай, я сам заведу,— отвечал ему Бишка.

Но собеседник не поддерживал разговора. «Прикидывается. Агитирует»,— неприязненно раздумывал о нем Бишка.

Он считал, что руководство и работа — вещи разные. Чьи-то происки, злая случайность, казалось Бишке, не позволили ему в свое время закрепиться там, где и он мог бы руководить не надрываясь. А теперь те, кто ходит в его приятелях, сами не пускают его к лакомому пирогу. Так рассуждал про себя Бишка, и выходило, что не он сам, а приятели во всем виноваты: не дали развернуться, пустили под откос незадачливую Бишкину жизнь.

Так сложилась его нынешняя форма существования: приживал при заезжих.

Бишка ходил на руках, чересчур много смеялся — понарошку, визгливо, заходясь дурным бабьим голосом и распуская мокрые красные губы. Он предлагал Юре «махнуть» нейлоновую «бобочку» на ненецкие «чижи» — меховые оленьи чулки. Он обещал достать моторку, звал ехать на ночную рыбалку и варить на островах рыбачью уху; звал, тем временем, в баню: «Пойдем, попарю!» Но вдруг Бишка начинал торопиться, неизвестно куда и зачем, жестоко ударяя себя по лбу и неистово вопя: «Дурак я, дурак, дурило, башка лысая!» Искал напоследок расческу, не находил, хватал кисточку для бритья, прилизывал ею редкие волосенки, наспех скусывал зубами железную пробку с бутылки буфетного морса, жадно

глотал из горлышка и стремглав выскакивал за дверь. Это был самый деятельный бездельник из всех, каких доводилось мне видеть. Только глаза у него не участвовали во всей этой суматохе, — странные, тоскующие глаза скоморошествующей «порченой» бабы.

Верно говорила про него тетя Варя — нестоящий, вышибленный из колеи, сам себя окалечивший человек. Легкой мутненькой пеной продолжал он удерживаться на поверхности жизни. Подует ветер посильнее — глядишь, и сдуло пену неизвестно куда, пропал Бишка, даже след потерялся... В начале такого пути стоит сейчас, пожалуй, и Хусаин Мурадов: не одумается — пропадет.

Бывает, увидишь мимоходом, как строит незнакомый человек для себя избу, и остановишься, залюбовавшись. Ложатся бревна, как строчка в стихи, и венцы вяжутся, будто строка ударяет рифмой. Устланная стружкой, празднично светлеет земля, смолистое дерево пахнет разогревшимся солнечным утром; пахнет здесь истовым и добрым трудом; уже, слышишь, и птица поет над белым срубом. Постоишь, вдохнешь это чужое смолистое счастье, и легко понесут тебя ноги.

А иной строит без толку, без вдохновения и цели — все известно ему, кроме самой последней малости: каково же будет житься людям в этой избе? Проходя, не птичий щебет различишь тут над бревнами, а только черное слово со злого устатку; и стружка на земле не покажется белой — увидишь на ней одну грязь, натасканную сапогами. И не знает такой плотник, что и бревна у него уже больные, уже тронутые мертвящим грибком. А когда пойдет такой дом корежиться и валиться, простояв недолгое время,— будет хозяин клясть не себя, а «судьбу», станет винить недоброжелателей, завистников и лиходеев, да так и доживет век свой в разваленной, бесприютно-сиротской хибаре.

На Севере, как везде, по-разному строит человек свою жизнь.

Быть может, после всего слышанного и прочитанного об этих местах самым удивительным было неожиданное, но простое «открытие»: живут здесь люди, как везде, и сами они такие же, как в любом другом месте. Есть Паня Полозова, а есть и такой вот Бишка. Но только и у таких, как Паня, и у таких, как Бишка, на приметном здешнем — целинном — деле все черты становятся резче и характеры как бы очевиднее. Но, может, и это так только казалось, потому что в начале долгого пути приглядка к людям была особенно пристальной.

В гостинице «Север» люди менялись все время.

Собирался уезжать и Радий-Песечек. Он все звал нас с собой.

— Сперва полетим. Потом на оленьках поедем. Снег лежит. Крайний север Ямала. Песцовая ферма. Такого еще не снимали.

— Всё уже снимали, — разочаровывал его наш директор.

Он не мог соглашаться на приглашения. Пора было и нам трогаться из Салехарда к востоку.

Радий уходил к себе в номер огорченный. Он глядел в окно, за которым низко стояло неуходящее солнце, и изрекал неизменную прощальную формулу:

— Лучший спорт — это баиньки.

И не забывал перед уходом напомнить, что ежели захочется кому-нибудь кислого молока, то у него оно есть: вчера была поставлена большая кринка...

Из последней поездки мы возвратились в гостиницу поздней ночью. Дежурила тетя Вера, и когда мы вошли к ней за ключом, то увидели в дежурке необычное зрелище. Белесый, не дающий теней свет солнечной ночи освещал тесную комнатку. Посредине плясал парень, одетый в длинную черную куртку, какие носят здесь летчики и геологи, и пистолет, висящий на ремне по-морскому, жестоко хлопал парня по заду. Это не была безалаберная пьяная пляска. Парень был совершенно трезвый и беспредельно счастливый. Не положенная на рычаг телефонная трубка болталась у аппарата. Разбуженная шумом ненка-«нянечка» просыпалась на узкой кушетке, а тетя Вера укоризненно скрипела:

— Шуметь не положено.

Но остановиться парень не мог. Мы его уже знали: молодой геолог, впервые назначенный начальником самостоятельной партии. Какие-то транспортные неполадки удерживали его до сих пор здесь, в гостинице.

— Самолет разрешили! — крикнул он нам навстречу.— Только что с Москвой говорил. Будем срочно перебрасываться!

И конечно, он тоже позвал нас с собой и тоже сказал, что отправляется в места, каких еще никто никогда не видел.

Но и на этот соблазн мы никак уже не могли поддаваться.

Здешние сроки наши решительно выходили. По вечерам Юра и Толя, окунув руки по локоть в черные плотные мешки, шуршали там черной бумагой, пакуя снятую пленку. Уже много жестяных коробок с этой пленкой громоздилось под гостиничной койкой, и пора было думать о том, что впереди ждет еще большой и долгий путь, а будущая картина должна весь этот путь вместить в один час, и все, что мы видели в здешних местах, пройдет на экране не больше чем за десять минут. Не так это просто. Если всерьез об этом подумать, выходит, что кино всякий вечер может предложить зрителю чудо: путешествие со скоростью света. Пришел человек в дом с зимней, морозной улицы; вошел, не снимая шубы, в большую комнату, сел

в кресло, среди многих других людей,— и в одно мгновение конический луч, пройдя от стены к стене, перенес всех их в жаркое лето, куда-нибудь в Африку, к — черт возьми! — крокодилам. А еще один миг — и уже расстояния в десять тысяч километров как не бывало; мороз, оставленный на улице,— пустяк; свистит навстречу буран над антарктическим льдом, китобой наводит гарпунную пушку, вышагивают по торосам пингвины... Но невероятно уплотненное, устремившееся со световой скоростью время имеет свои законы. Чтобы чудо ощутилось как чудо, надо уплотнить и жизнь, которую показываешь на экране. Там, где часы укладываются в секунды, а годы — в минуты, надо чертовски обострить зрение, научиться видеть очень конкретно, хватать в объектив самое характерное. И тут каждый день путешествия с киноаппаратом приносят множество огорчений. Ускользают неповторимые вещи. То «свет не тот». То человек перестает быть самим собою, увидев следящий за ним глазок кинокамеры. То убедишься, что вдруг узнанная и покорившая тебя жизнь чужой души тут же безнадежно от тебя ускользает, становясь недоступной, едва захотел ты перенести ее на кинопленку. Поди докажи тому, кто будет смотреть на экран, что человек, задумавшийся за столом над каким-то исчерченным листом ватмана, занят в этот момент такими делами, от которых голова может закружиться. И лицо, и непонятный чертеж мелькнут на секунду, ничего не раскрывая.

— Ну и что? — кисло скажет Юра, если заговоришь с ним о таком «сюжете».— Скучно!

И верно. Скучно.

Как-то в годы войны случилось мне провести месяц с лишним на подводной лодке, посланной в автономное плавание к дальним чужим берегам на перехват фашистских морских конвоев. Мы ходили в указанном штабом квадрате, день за днем повторяя все ту же рутину. В дневные часы — под водой. Ночью — на несколько часов на поверхность, чтобы зарядить аккумуляторы. Зарядку чаще всего обрывал голос вахтенного: «Самолет по носу слева!» — и команда: «Срочно погружение!» Стуча сапогами по стальному трапу, обрушивалась сверху в отсек верхняя вахта и с нею — курильщики, которые дорывались до закурки раз в сутки, когда им разрешалось в очередь, по двое, подниматься на верхнюю палубу. И вот уже снова появлялся над водой перископ; в зеркальце дымчато зыбилась морская пустыня, и только редко показывался над водами рыбачий парус или дымок какого-нибудь нестоящего катеришки. Постоянно влажный, сырой воздух отсеков давно уже превратил одежду подводников в компресс. В трех тесных ярусах коек, висевших во втором отсеке, угнездился повальный насморк. Уже на десятый день похода весь кубрик чихал и кашлял. Лодка ходила взад и вперед, и на штурманской карте изо

дня в день прочерчивались одни и те же курсы. Для торпед не было цели, а с невыстрелепными торпедами нельзя было возвращаться на базу.

В одну из ночей мы поднялись на мостик с торпедистом Бахтиаровым. Было черно. В черноте багрово занималась заря. Короткий и сильный накат штормовой волны клал лодку с борта на борт. Прикрывая цигарку от брызг, Бахтиаров стал честить газетчиков и кинематографистов:

— Вот показывают же, как подводник живет. Поверь, так и выйдет: «Товсь!» «Пли!» Ура! Победа!.. Вот и вся наша жизнь. А ты возьми наш поход. Третья неделя кончается. Только раз и слышали: «Товсь!.. Отставить!..» Акустику шум винтов послышался, да и то, оказалось, ошибся... Так ведь жизнь-то наша, если всерьез говорить, — это и есть такие вот недели. А читал ты про них где-нибудь?

На тридцать второй день похода вахтенный офицер увидел в перископ два транспорта, небольшой танкер и несколько конвойных судов. Был немедля разбужен и вызван в центральный отсек командир лодки, дремавший в своей каюте; вскоре торпеды вышли из аппаратов, и перископ еще не был убран, когда можно было увидеть в зеркальце, как один из транспортов, накренившись на борт и на корму, медленно уходит ко дну, удерживаемый вздувшейся на поверхности воздушной подушкой. Один из конвойных эсминцев исчез из виду.

Потом по записям в вахтенном журнале выходило, что от первого возгласа о замеченных вражеских кораблях до стремительного погружения на большие глубины после успешной атаки не прошло и семи минут.

Все вошло в это короткое время — и скрытное сближение с неприятелем, когда прятался, на миг показывался и снова прятался перископ, и торопливый поиск угла атаки, и никогда прежде не испытанное ощущение такой напряженно-наполненной, такой взрывчатой тишины, какая, наверно, только и бывает в центральном отсеке подводной лодки в секунды атаки...

На седьмой минуте — пока еще вдалеке от нас — взорвалась первая глубинная бомба, сброшенная с немецкого конвойного тральщика. Потом бомбы начали рваться чаще и ближе. Методически сменяя друг друга, в квадрат входили то три тральщика, то четыре катера-охотника. Они выслушивали море и бросали бомбы в разных местах и на разную глубину. Отбомбившись, уходили на базу за новым грузом бомб, и тут их сменяли тральщики. Это продолжалось сорок шесть часов без передышки. Оказалось, что накрыть лодку прямым попаданием не так-то легко. Впрочем, это был сорок второй год; позже появление радиолокационных устройств несколько изменило обстановку. Но тогда «асдиков» (так называли радарные приспособления для поиска подводных лодок) еще не было. Пря-

мое накрытие было делом случая, и командир говорил, что у немцев не более десяти шансов из ста на то, чтобы утопить нас. Штурман накидывал им еще десять. Но он был скептиком, так мы все считали. Промежутки между взрывами были почти одинаковыми. Я опять очутился рядом с Бахтиаровым. Он сидел у опорожненного, плотно задраенного торпедного аппарата с мелком в руке и при каждом взрыве автоматически ставил на стальной переборке короткие черточки. Никто ему этого не поручал. Просто мелок попался под руку. Потом, на базе, Бахтиаров сосчитал черточки. Их оказалось триста шестьдесят две: по одной бомбе на каждые семь с половиной минут. В воде звук взрыва усиливался, эхо скрежетало по обшивке. От сильного толчка погас свет, потом не то слегка разошлись швы, не то выскочило несколько заклепок, и началась неопасная, но противная течь. Дышать становилось труднее, регенерационные патроны тоже вышли, и несколько человек уже лежали на койках, хватая ртом воздух, лишенный кислорода. Вдох не давал ощущения вдоха, это было трудно. Лица посинели. Оставалось пойти на старый трюк: через торпедный аппарат выпустили на поверхность несколько бескозырок и две-три поломанные «рыбины» — куски деревянного настила, лежавшего на палубе отсека. Потом отправили вдогонку хорошую порцию соляра. Он должен был разойтись по воде приметным жирным пятном. Я не думал, что этим можно обмануть преследователей. Слишком часто я читал о таких уловках. Но — то ли немцы в самом деле поверили и решили, будто подводная лодка потоплена, то ли просто обрадовались поводу для возвращения на свою базу с положенным красивым рапортом — бомбежка прекратилась. Лодка поднялась на перископную глубину. Кругом было пусто. Мы рискнули показаться на поверхность, чтобы набрать хоть немного воздуху, а потом легли на курс и пошли домой. При входе на рейд были даны два традиционных залпа в знак потопления двух вражеских кораблей. На берегу была встреча, начались рассказы, и я услышал, как Бахтиаров вспоминал о походе. О первых тридцати днях, о сырых ватниках, о всеобщем насморке не было сказано ни слова.

— Понимаешь,— говорил Бахтиаров электрику с береговой базы. — Сижу в отсеке, слышу — ревун! Только поставил аппараты на «товсь» — еще ревун! «Пли!» Сперва — долго не слыхать ничего, уже, думаю, «все, промазал», потом слышно — взрыв. Прибегает Степан Балашов. «Есть!» — кричит...

Я не утерпел, засмеялся.

— Так чего же, — спрашиваю, — ты газетчиками недоволен? Сам ведь рассказываешь: «Товсь! Пли! Победа...»

Бахтиаров вспомнил разговор на палубе и тоже засмеялся.

— Да он-то остальное и без меня знает, — сказал Бахтиаров про своего собеседника.— Сам наших щей два года хлебал.

А если кто не знает, тому надо так говорить, чтобы все понял: и то, как ждешь, и то, как в атаку идешь.

Это было сказано не вполне ясно, но главную мысль его я теперь понял, и она показалась мне верной.

Бахтиарову претила привычка показывать только удачи, умалчивая о буднях, которые эту удачу предваряли Семь минут предельного напряжения, смертельного риска, вдохновенного ощущения победы существуют не сами по себе. Нет правды в одном апофеозе — без драмы, которая ему предшествовала. Те же семь минут атаки наполнены и месяцем ее ожидания. Вот что думал Бахтиаров.

И если показывать главное в жизни человека — это нужно делать так, чтобы его самые дорогие «семь минут» не показались блестящим парадом, легкой удачей. Но времени на развернутый рассказ кино не дает. Нужно искать емкий, стремительный образ, который сумел бы выразить вместе — характер, действие, время. Это не просто. Вот мы снимали Паню Полозову: чудесный солнечный день, чумы эффектно чернеют броским коническим пятном на чистой голубизне; славная (это видно), в веселом праздничном наряде девчушка занимается с группой пожилых ненцев. И продержится этот эпизод на экране ровно столько, чтобы диктор успел сказать, что по комсомольскому набору столько-то молодых учителей пошли в тундру — на ликвидацию самого последнего очага неграмотности. Получится не рассказ, не очерк; это трехстрочная газетная информационная подпись под фотографией — и не такой уж выразительной фотографией. И Паня сможет сказать, как Бахтиаров, что правды о ней не рассказали. К тому же не следовало велеть ей переодеваться; надо было снимать чум, переход, усталость...

— Нам нужно снимать так, чтобы было красиво,— убежденно возражает Юра, молодой парень, закончивший два года назад операторский факультет.— Надо, чтобы человеку, когда он посмотрит картину, захотелось поехать туда, где мы были.

Справедливо и это.

Но ведь грош нам цена, если мы будем этого человека соблазнять внешней красивостью. Увлекать надо красотой дела. В преодолении трудностей куда больше настоящей красоты, чем в смазливом пейзажике. И нужны здесь не отдыхающие экскурсанты, но люди, которым хватит силы духа для суровой жизни и терпеливого труда.

Об этом мы думали и спорили, собираясь двинуться дальше.

Оба Юры уже отправились на аэродром с ящиками пленки и грузной осветительной аппаратурой.

Путь наш отсюда лежал к верховьям Оби — в Новосибирск, а потом дальше на восток и на север.

Я пошел прощаться с гостиничными соседями, с которыми мы успели свести знакомство.

Молодой геолог — тот, что недавно плясал среди ночи,— набирал рабочих: ему нужны были два коллектора и подрывник. Какие-то ребята сидели на его койке, а сам он стоял перед ними и объяснял:

— Вылет в шесть ноль-ноль. Барахла как поменьше. К самолету являться трезвыми, иначе тут же спишу. Ясно?

Говорено было со строгостью, но вид у геолога был при этом такой, будто он собирается снова тут же пуститься в пляс.

— От настоящего дела летишь. Еще пожалеешь,—сказал он Юре на прощанье...

Напротив нашего номера жил Константин Вануйто, председатель колхоза «Коммунар», депутат окружного Совета.

Еще месяца три тому назад был напечатан в газетах приказ о присвоении группе ямальских колхозников звания Героев Социалистического Труда. Был среди них и Вануйто. Но с зимы и до сих пор большинство дальних колхозов было отрезано от Салехарда весенним заполярным бездорожьем, и только теперь удалось собрать награжденных, чтобы вручить им Золотые Звезды.

Я постучался к Вануйто. Он был дома и вел депутатский прием. У него сидел некто Чанышев, техник из работающей в Салехарде землеустроительной экспедиции.

Чанышев приехал сюда с семьей, а жить пришлось в общежитии. На «втором отделении» кто-то уехал, освободилась комната. Чанышев успел занять ее, никому не сказавшись, и тут же принялся за ремонт.

— Утеплил,— говорил Чанышев.— Крышу починил.

Он повторял:

— Развалюху застал, а теперь — куколка.

Но Чанышева выселяли оттуда, и он просил депутата разобраться и помочь.

Вануйто слушал, перечитывал заявление, делал пометки.

Он сказал, что пробудет в Салехарде еще три дня; за это время зайдет к Чанышеву, посмотрит на месте, и, если все так и есть, будет разговор с кем надо. Может, и удастся помочь.

Они условились, и Чанышев ушел.

Потом пришел знакомый председатель колхоза — тоже ненец. Ему нужны были кирпич и железо, и он стал советоваться с Вануйто: не поможет ли депутатское письмо в совнархоз?

Но железо и кирпич нужны были и самому Вануйто, и он пока не мог их добиться.

— Трактор еще прошу, — сообщил Вануйто коллеге. — Можно будет быстрее рыбаков перебрасывать, улов вывозить...

Заботы у них были общие.

Гость одет был в малицу, а Вануйто — по-праздничному: ловко сидящий на прочном теле городской синий пиджак, брю-

ки навыпуск, светлая рубашка с галстуком. На лацкане была привинчена полученная вчера Золотая Звезда. Ему было тридцать восемь лет, он родился в том же стойбище, где теперь председательствовал,— в чуме охотника Але Вануйто. Рос, как все ненецкие дети,— на подстилке из ягеля и молодых веток. У него было три сестры и два брата. Косте исполнилось десять лет, когда он убил первого песца, пойдя с отцом на охоту; с двенадцати он охотился сам. В сороковом году ненцы их стойбища «сделали оленей в одно стадо», назвали колхоз «Коммунар»; отец стал бригадиром, а Костя— колхозным пастухом. Русский зоотехник научил его читать и писать. Через восемь лет оленей стало столько, что пришлось их разделить на два стада, и в обоих бригадирами были Вануйто: в одном — старый Але, в другом — его сын. А в пятидесятом году Константина выбрали председателем. Он учился в Салехарде на партийных курсах, потом закончил в Тюмени курсы экономики колхозного труда. Теперь в его колхозе пять стад — в каждом по тысяче с лишком оленей. Девять звеньев рыбаков-колхозников выходят из «Коммунара» на путину и добывают за лето около тридцати тонн рыбы. Пятьдесят охотников промышляют зимой песца и лисицу.

— Шел сюда,— говорит Вануйто,— смотрел в тундре норы. Много нор сей год. Пришел, однако, песец...

Он рассказывает, как строится «Коммунар», и снова сводит разговор к лесу, железу, кирпичу, которые изо всех сил добывает он сейчас в Салехарде. Опять новой своей стороной показывается старый Ямал в этом прощальном разговоре. И Вануйто вдруг — так же, как Радий, так же, как молодой геолог из соседнего номера,— говорит, провожая:

— К нам, однако, поехать надо было. Что я тебе тут расскажу? Самому надо смотреть.

То, что мы здесь не успели увидеть, жгло теперь, перед самым отъездом, на каждом шагу. Оказывалось, лишь самую малую часть открыл нам Ямал в три прожитые здесь недели.

Но спутники мои уже вернулись за мною, пора было отправляться на аэродром и лететь дальше, на восток.

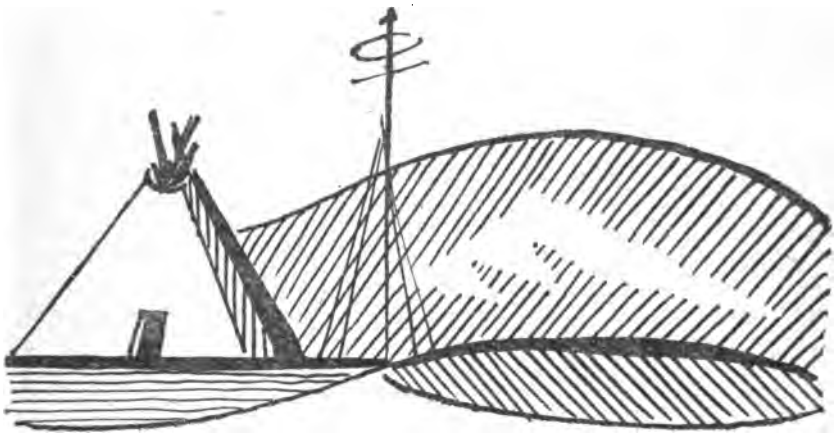
Тетя Варя выглянула из дежурки и пригласила приезжать снова.

Улицу Республики и гостиницу «Север» мы вскоре увидели с воздуха.

Снова открылись Обь, тундра, невысокие горы Пай-Хоя. Теперь мы уже знали, кто ходит по тропам этой земли, мы видели Сергея в Речной, Паню у Константинова Камня, Вануйто подле новых изб колхоза «Коммунар».

Светило прямо навстречу ночное солнце, и человеческим теплом дышала зауральская, неоглядно большая земля.

---



# ПОЛЯРНЫЙ АВГУСТ

На юге ночи темные. Они погружают землю в непроглядную черноту, но вскоре наступает рассвет, и солнце поднимается над горизонтом каждые сутки.

Полярная ночь приходит надолго. Однажды солнце закатывается за невысокую гору или погружается в море, и назавтра оно не покажется над землей даже краешком. Только короткие зори будут ненадолго расцвечивать небо, выпуская багровые и желтые перья. Словно солнце дает о себе знать: оно не совсем исчезло, оно близко,— только надо его дождаться.

Но настоящей темноты полярной ночью почти не бывает. Северное ночное небо светлее южного. Между небом и землей часто играют сполохи. И сама земля, сплошь покрытая снегом, излучает мерцающий свет.

Так проходит полтора-два месяца, и наконец краешек багрово-красного диска показывается из моря или из-за горушки.

Полярный день и полярное лето приходят не в одно время. Когда солнце вовсе перестает исчезать за горизонтом, на земле все еще лежит снег и метет пурга. И только к самому концу незакатного солнечного дня, в июле, после короткой весны приходит такое же торопливое лето.

В Мурманском порту это, наверно, самое спокойное время. Согретое теплым течением море никогда здесь не замерзает. Траулеры рыбаков ушли на лов к берегам Ньюфаундленда и Гренландии, транспорты отправляются на восток, в освободившиеся ото льда порты Арктики.

А в проливе Вилькицкого даже и в августе ледоколы еще пробивают путь караванам.

Корабли разгружаются августовскими днями в Хатанге и Тикси, в низовьях Колымы и в чукотском порту Певеке.

От Кольского до Чукотки цветет в августе тундра лиловыми цветами, зреют во мхах морошка и голубика: вошло в силу полярное лето и уже вот-вот окончится; уже солнце каждые сутки уходит по ночам за край неба, и тучи темны,

будто переполнены снегом: подует с севера ветер — и заметет пурга.

Август в Заполярье проходит стремительно, но в короткие его недели успевают расцвести в тундре все ее цветы, созревают ягоды и над карликовой полярной березкой, куда выше прижатого к мерзлой земле ствола, поднимается тугая шляпка огромного подберезовика.

Быстро проходит август, и за это время надо успеть здесь сделать все, чему помешает снег, когда уже в сентябре ляжет он на долгие месяцы до нового лета.

## САМАЯ ТЕПЛАЯ ТУНДРА

### 1

Наутро снова было объявлено, что Надежда закрыта.

Уже третьи сутки была закрыта Надежда.

В тесных коридорах гостиницы Сыктывкарского аэропорта стоя дремали плотно прижатые друг к другу пассажиры.

Вчера казалось, что сюда не протиснуться больше ни одному человеку. Но по новым спискам, прикнопленным у окошка дежурной, выходило, что население коридоров увеличилось за ночь по меньшей мере человек на пятьдесят.

Из Москвы прибыл в положенное время рейсовый «АН-10». Из Ленинграда — «ИЛ-18». Почти все пассажиры пролетали Сыктывкар транзитом, торопились пересесть и отправиться дальше. Однако улететь смогли только те, кто направлялся в Воркуту и Ухту. Хатанга была закрыта. И Надежда оставалась закрытой тоже. А туда-то и стремилась бо́льшая часть ожидающих: Надеждой называется аэропорт Норильска.

Зимой — на плотный, укатанный снег таймырской тундры большие самолеты могут садиться. А летом тундру развозит. Чтобы приземлиться в Надежде, приходится в Сыктывкаре менять реактивный лайнер на «ИЛ-четырнадцатый», который так еще недавно поражал воображение пассажиров скоростью, вместимостью, комфортом, а теперь отступил чуть ли не в область архаических и медлительных почтовых дилижансов. Говорят, будущим летом пересадка уже не понадобится, Надежда станет иной. А пока большие самолеты привозят в Сыктывкар пассажиров сотнями, а дальше нет ходу.

В гостинице, с кем ни заговори,— всем в Норильск. Кто из отпуска, кто по первости — подрядился на работу. Кто по служебному делу на короткое время. И всем недосуг. Сыктывкар этот пассажирам — поперек глотки.

Еще лететь до Норильска две с половиной тысячи километров, но и отсюда чувствуешь ясно, что́ за город увидишь ты там, за Надеждой, как далеко слышится его полнокровный и гулкий пульс.

Как Москва для приезжего оказывается не только Москвою, а начинает делиться на несхожие Сокольники, Черемушки, заводские слободы, Серебряный Бор, — так и Норильск еще издали открывался пестро и розно. Кроме Надежды, слышалось тут про Валёк и про Медвежий Ручей, про Кайеркан и Волочанку.

И часто поминался Талнах.

Так выходило из разговора, что на Таймыре снова что-то открыто. Мол, геологи долго искали; знали, что найти должны непременно, а нашли столь много, сколь и сами не ждали. Но говорилось об этом смутно. Таймырцы постарше только намекали; привыкли к секретам — может, лучше до времени держать язык за зубами. А горячая молодежь не скупилась на такие подробности, каким и поверить было трудно.

В одном только все и сходилось — Талнах.

Там обнаружили геологи свою находку. Там строится новый город. Там для Норильска — второе рождение и завтрашний день.

Среди пассажиров были здесь и такие, что про Норильск даже не вспоминали:

— В Талнах едем.

Но такого города еще не было. Им только предстояло его построить.

Прошлой ночью стоял я в коридорной толпе. Сесть на пол — не хватало места. Только счастливцы под стенкой могли опуститься на корточки. А гостиничные номера и диваны отданы были женщинам и ребятам. Голову соседа клонило к моему плечу. Он задремывал и тут же просыпался, стесняясь. Тусклая лампочка горела в другом конце коридора. Свет белой ночи тоже не пробивался к нам, хоть двери на улицу и были открыты. Лицо соседа оставалось неразличимым. Худощавый и длинный, он был, вероятно, не очень уж молод; затевая разговор, чтобы не дремалось, говорил с веской степенностью старого мастерового, поминал про жену и двоих ребят, которых удалось ему втиснуть в номер. А про Воронежскую область, куда на три месяца летал он всей семьей к тестю, вспоминал с нежностью давно оторвавшегося от земли человека, которому лучшим подарком явилось, что и покосить он смог вволю, и в саду повозился, и ночью летние звезды видел («В Норильске-то летом солнце круглые сутки ходит»), и спал на сеновале.

— Ребята,— говорил он,— ребята мои... Они ведь в первый раз и узнали, как сено-то пахнет...

Ну, конечно, в Воронежской области и выпито было коечего — на встречу и на прощание. Про это он тоже вспомнил не без удовольствия.

— Да что ты на часы все время глядишь? — упрекнул он меня.— От этого только ночь длится!

И верно. Было четыре часа утра, и ноги заныли невыносимо, а снаружи по-прежнему плескал и плескал унылый дождь, и оттого, что я то и дело взглядывал на часы, мне начинало казаться, будто движется только секундная стрелка, а две другие остановились и время стоит вместе с ними. Ждать нужно было еще три с половиной часа. А там придет время отправляться в город: в восемь откроется буфет при гостинице «Север» и можно будет сесть на стул у чисто накрытого стола в просторной комнате и посидеть подольше, особенно если в буфет привезут пиво. Хорошо бы, конечно, все эти три дня прожить в гостинице «Север», но сейчас этот рай, весь без остатка, отдан участникам молодежной самодеятельности республики Коми. Сосед прав, лучше не смотреть на часы без толку и не думать про то, как тянется время.

По коридору пошел шепоток. Кто-то от нечего делать забрел к синоптикам и услышал только что полученный прогноз:

— Надежда снова закрыта.

И другой прошел слух:

— Откроется Нарьян-Мар, и норильским пассажирам дадут два многоместных борта.

Коридор оживился, заколыхался, зашебаршил.

— А что мне до того Нарьян-Мара? — сказал кто-то простуженным, как бы двойным голосом.— Может, там Большой театр или ресторан «Будапешт»? Тут хоть крыша над головой, а там и того нет. И в Норильск оттуда трудней долететь, чем из Сыктывкара...

Другой откликнулся резво:

— Они здесь как мухи хитрые. Им лишь бы нас сбагрить.

И под прикрытием плотных сумерек он сказал открытым и полным текстом все, что думает о предлагаемой перемене маршрута.

На этом коридор снова притих, молчаливо поддержав оратора и впадая в свою морочливую дремоту.

Где-то за дверью номера закапризничал детский голос. Кто-то начал проталкиваться по коридору к уборной с сонным мальчишкой на руках.

Опять сосед уронил голову на мое плечо, тут же проснулся и заговорил.

На этот раз я успел узнать, что живет он в Норильске уже десятый год. Приехал землекопом, а сейчас — бетонщик. Квалификацию имеет хорошую. Перед отпуском строил телевизионную вышку.

— Сперва земли метра на два, потом — линза, — стал вспоминать он об этой своей последней стройке.

Он объяснил, что же такое «линза»:

— Ну, лед. Чистый, как скло.

Пробили лед — опять немного земли встретилось. А потом пошла мерзлота на многие десятки метров — труднопроходимая и вместе с тем такая неверная мерзлота, которая способна «повести» и искорежить конструкцию любой прочности. С мерзлотой северные строители научились ладить лишь в самые последние годы. И о ней, о мерзлоте этой, опять говорил сосед с такою же нежностью, как о воронежском сене: расставался со своим делом всего на три месяца и уже не терпелось снова за него приняться.

Часов в шесть кто-то шумнул от дверей:

— Давай на улку, продышимся! Дождик кончился.

Мы вышли, теснясь.

Солнце еще крылось за сплошными облаками, но дождь в самом деле перестал. Дул резкий утренний ветер. На летном поле трещал, вращая винтом, маленький самолетик местной линии. Разбрызгивая вокруг себя воду, спешили к нему две женщины в юбках поверх лыжных штанов, несколько ребят разного возраста и три парня в заскорузлых брезентовых дождевиках, с некрашеными фанерными чемоданчиками.

Значит, еще где-то «открылась погода».

Теперь можно было разглядеть и ночного соседа.

С виду ему было не больше тридцати лет. В покрасневших от бессонницы глазах его не оказалось ни усталости, ни раздражения. Напротив, на все, что его окружало, он смотрел с добрым расположением и словно бы радостно дивился всему увиденному: чужому взлетающему самолету, рябой от ветра воде, бегущему серому облаку. Так умеют смотреть на мир только люди с врожденным душевным целомудрием — самым прекрасным из всех человеческих качеств. И без того длинный, он потянулся, широко разбрасывая руки, и весело объявил:

— Дыхнул, как нутро сполоснул!

И тут же — мечтательно:

— Теперь бы придавить минуточек триста... Жинка проснется, может, пустят на вторую смену в дамское отделение.

В ожидании этой счастливой перспективы он и отказался идти со мной в город, когда на свежем воздухе время быстро докатилось до желанного часа.

Зато объявился в попутчики небольшой паренек в обвисающем черном свитере, толстенной — по моде — вязки, с большущим воротником. Пожалуй, был мой попутчик чересчур присадист и прочен для этой моды, да и черный цвет очень уж не вязался с багровым загаром на непривычной северной коже.

Паренек оказался коренным норильским уроженцем. (Наверно, проще и благозвучнее было бы ему зваться «норильцем», но сам он звал себя «норильчанином», и бетонщик тоже говорил: «Мы, норильчане»; видно, форма эта успела прочно войти там в быт, и филологические замечания и сетования по этому поводу, выходит, уже запоздали.) Оказалось, молодой город успел вырастить целое поколение взрослых аборигенов. И не только вырастил, но и накрепко связал их с собою: хоть паренек и учится в Ленинграде, в Горном, но, доучившись, намерен возвращаться домой. Все корни его пущены в норильскую мерзлую землю, там и папа с мамой, там и привычно все, там и неотвязная красота, которую не смогла ему возместить даже первая в его жизни, только что состоявшаяся во время каникул встреча с южным морем и с Крымом.

В Крым отправлялись студенческой компанией — «по автостопу». То есть «голосовали» у шоссейных обочин попутным грузовикам. Так и проехали Белоруссию, Украину и Крым. Запомнился Мише Гомель (там парк хороший) и Херсон («Очень грубый народ, в трамвае девчонок наших прижимали и на улице говорили грубо»). Возле Судака понравилось больше всего, там встретили знакомых ленинградских ребят, поставили палатки и не успели опомниться, как уже пора было собираться в обратный путь.

В том, как Миша рассказывал про Херсон, меня больше всего заинтересовало, что ведь мерил-то он по своему Норильску. Ведь это после Норильска показался ему «грубым» впервые увиденный южный город. И опять — за две с половиной тысячи километров — незнакомый Норильск приоткрылся новой, совсем неожиданной стороной.

В столовой Миша писал нескончаемое письмо и так над этим письмом и остался.

На улице светило солнце, облака пронесло; город стоял свежевымытый и необыкновенно уютный.

До сих пор мне приходилось бывать в Сыктывкаре только зимой — в последний раз лет пять тому назад. Оказалось, что летом его улицы спрятаны под сплошным зеленым навесом. Березы и клены у тротуаров стали на пять лет старше — будто лес шагнул в город. Но переменила его не только зеленая обнова; Сыктывкар казался теперь одетым «на вырост» — на асфальте расчерчены были пешеходные дорожки, у переходов стояли стрелки; нарядные, «столичные» таблички прибиты были на углах улиц.

Но под зеленой сенью было еще малолюдно, а по асфальту редко прошныривал грузовик или «Волга» с шашечками.

Центр был мне знаком. Помнились по прежним приездам и эти бревенчатые, прадедовской, чуть ли не фортификационной кладки дома, рубленные лесопромышленниками и купцами

прежнего Усть-Сысольска. Заселены в них жильцами старообрядческие домашние молельни, разгорожены под коммунальные комнатки прежние столовые залы, где вставали перед обедом с молитвой дети, внуки, приживалы, забредшие в дом «странные» старокнижники, приказчики, сплавщики и плотогоны. Грибок и червь источили бревна. Достаивают последние сроки вековые усть-сысольские крепости, строенные для недоброй и хмурой жизни. И уже сейчас стало куда поменьше такого же возраста мещанских домов — двухэтажных, покосившихся, обшитых почерневшей шелевкой. Они уступили место каменным четырехэтажным и трехэтажным корпусам, которые недавно торчали немногочисленными островками, а теперь слились в сплошные кварталы. И большой, стилизованный под помещичий «русский ампир» дом, где находится филиал Академии наук СССР, я хорошо помнил тоже.

В первый приезд я удивился:

— Здесь, в Сыктывкаре, филиал академии?..

Раньше, когда Сыктывкар звался еще Усть-Сысольском, народ коми тоже назывался старым, еще новгородцами данным именем: «зыряне».

Вспоминать давнее несбывшееся пророчество о том, что «к зырянам Тютчев не придет», стало уже запретной банальностью.

На язык коми не только переведены книги многих русских поэтов, но и, говорят, переведены хорошо. Есть на этом языке и своя литература: она переводится на русский язык, а пьесы здешних драматургов идут на всех сценах Советского Союза. Однако филиал академии... В городе, откуда до самой ближней станции Княж-Погост нужно было добираться за сто тридцать километров... В городе, которому в качестве герба дарован был недвусмысленный геральдический символ: на щите — медведь в берлоге... Пожалуй, академия тут тоже «на вырост».

Но такое предположение было совершенно неверным.

Во-первых, растет Сыктывкар с быстротою действительно необыкновенной. Он становится не только административным, но и крупным промышленным центром республики Коми. А поглядев с одного из перекрестков главной улицы, я увидел в стороне, на холме, длинное приземистое здание в строительных лесах; оказалось, что это будущий вокзал и что к городу уже подошла железнодорожная ветка от станции Микуль Печорской дороги.

А что до филиала академии, то не городу он на вырост, а напротив — не будь этого филиала, то и республике бы так не расти. История эта началась давно и складывалась весьма интересно.

## 2

Чтобы добраться до начала этой истории, надо уйти далеко назад, к июльским дням 1918 года — в кремлевский кабинет Владимира Ильича Ленина.

Советской власти не исполнилось еще и года.

Только что высадились войска Антанты в Архангельске. В Москве левые эсеры подняли мятеж и убили германского посла Мирбаха. На Восточном фронте взбунтовался и призвал к бунту войска бывший командующий (тоже левый эсер) Муравьев. Страна была охвачена голодом и разрухой. Свой доклад на Московской губернской конференции заводских комитетов Владимир Ильич начал словами:

— Последние дни ознаменовались крайним обострением дел Советской республики, вызванным как международным положением страны, так и контрреволюционными заговорами и тесно связанным с ними продовольственным кризисом.

Двенадцатого июля Ленин говорил по прямому проводу с фронтами, принял представителя Архангельского губисполкома и беседовал с ним о возможности сопротивления интервентам, потом пригласил архитектора Виноградова и просил его регулярно докладывать о том, как выполняется декрет «О памятниках Республики». Затем Владимир Ильич отправился на заседание Совнаркома, где слушались вопросы о буржуазной печати, о состоянии типографского дела в Москве и о передаче Наркомпросу московской и петроградской консерваторий...

В тот же день Ленин писал письмо «К питерским рабочим». Письмо это должен был повезти с собою В. Н. Каюров, старый большевик, член райкома и исполкома Выборгской стороны, возвращавшийся в Питер из поездки в родную деревню Симбирской губернии. Накануне вечером он встретился с Лениным. Они толковали долго. Ленин выспрашивал о настроении крестьян и о положении в приволжской деревне. Теперь он писал питерцам:

«...Сидеть в Питере, голодать, торчать около пустых фабрик, забавляться нелепой мечтой восстановить питерскую промышленность или отстоять Питер, это — глупо и преступно. Это — гибель всей нашей революции. Питерские рабочие должны порвать с этой глупостью, прогнать в шею дураков, защищающих ее, и десятками тысяч двинуться на Урал, на Волгу, на Юг, где можно прокормить себя и семьи, где должно помочь организации бедноты, где необходим питерский рабочий, как организатор, руководитель, вождь...»

В кабинете Владимира Ильича — карта. По карте — флажки на линиях фронта. Питер, Урал, Волга, Юг — все это было

отмечено 12 июля 1918 года передвигающимися, устремившимися к Москве флажками. И удивительно умение Ленина смотреть через эти флажки прямо в будущее, видеть как бы над войною — за войною — неминуемость исторических свершений, мыслить не только в пределе текущих дней, но в масштабе исторического процесса, обнимающего вместе с настоящим и прошлое и будущее. Он знал, что если сейчас мечтать о восстановлении питерской промышленности «нелепо», то впоследствии такое восстановление произойдет столь же естественно, как происходит регенерация тканей в здоровом теле. И как вновь рождаются кровяные шарики, являясь на смену выполнившим свой долг, — так восстановятся и кадры питерского пролетариата, если даже десятки тысяч лучших отправятся создавать первые земледельческие коммуны...

А если подойти к карте и проследить цели, открывающиеся перед интервентами, которые высадились в Архангельске, — взгляд непременно придет к Котласу и к просторам необъятного Печорского края.

Как давно уже привлекает к себе этот край внимание передовых умов России. Сколько ученых, начиная от Ломоносова, твердили о том, что приспело время исследовать северные земные недра и выявить богатства, которые, несомненно, таятся там в изобилии. Незадолго до революции настойчиво и страстно повторял те же призывы Д. И. Менделеев — в своих «Заветных мыслях» и в книге «К познанию России»... Но не преждевременно ли думать об этом, если даже мечта о восстановлении питерской промышленности обозвана только что «нелепой»? Но это совсем разные вещи! Изыскателям понадобятся годы работы. Быть может, десятки лет. К тому времени, когда социализм станет нуждаться в Печоре, содержимое ее кладовых должно быть тщательно учтено, описано, готово к использованию...

На следующий день после письма «К питерским рабочим» — 13 июля 1918 года — Владимир Ильич обдумывал не только план обороны Котласа от войска Антанты, но и другие, куда более далеко идущие планы. На заседании Совнаркома обсуждались в тот день деятельность Центральной жилищной комиссии и жилищный вопрос в Москве. Недавний эсеровский мятеж заставил потребовать более энергичных мер по выселению из столицы и ее окрестностей вредных и паразитических элементов. Вопросов было много. И на том же заседании Ленин предложил, чтобы ВСНХ было поручено обдумать и внести свои предложения по изысканиям угля и нефти в Печорском крае. А Пермскому университету были отпущены средства для организации первой экспедиции на Печору.

Уже полгода спустя, 13 января 1919 года, при Наркомате торговли и промышленности была организована специальная

комиссия по изучению и практическому использованию русского Севера.

Люди, которые населяли Печору — оленеводы и зверопромышленники из народа коми, — обо всем этом ничего, конечно, тогда знать не могли. Но они уже знали, что есть в Москве новая власть. Эта власть прогнала из Ижмы прежнего урядника. Ее стали бояться мохчинские, керчомские, вильгортские купцы и — от опаски — поменьше обижали охотников и оленных пастухов. И когда охотник Виктор Попов, выйдя из своей деревни Тит на Усу-реку, нашел там черный горючий камень, он решил, что новой власти интересно будет узнать про такой камень, и отправил образчик в Москву. Кому? В Москве он знал одно имя: Ленин. Он и послал черный камень Ленину. Это было летом 1919 года. Неизвестно, как шла эта находка в столицу, сколько времени была в дороге и попала ли наконец к самому Ильичу? Но приехали геологи и на Усу — туда, где берет из нее свое начало река Воркута. Там встретился с геологами Виктор Попов, показал, где нашел он свой камень, на котором кипятил снег и пек куропатку. И он спросил у этих людей: не Ленин ли их сюда послал? Они подтвердили: да, Ленин. И Попов удостоверился, что его посылка дошла по назначению — по реке и по зимнику, на оленьих нартах и по железной дороге, которую сам он до тех пор еще никогда не видел.

Изысканиями угольных месторождений на Печоре руководил с 1921 года Александр Александрович Чернов. С ним стал потом работать и его сын, Георгий Александрович. Геологи приезжали в тундру каждое лето, плавали на челноках по северным рекам, видели выходы угольных пластов на Нече и Кожве, на Малой Сыне и на Большой Инте. И все же не такой это был уголь, чтобы ратовать за его разработку, вести строителей и шахтеров в такую даль, тянуть сюда железную дорогу (а ведь без нее не обойтись, если обосновываться тут всерьез), тратить огромные деньги, которые могут еще и не окупиться.

В 1930 году геологи разделились. Отец отправился на реку Лемву, а сын — к верховьям Усы и оттуда на Воркуту. За порогом Ворота изыскательная партия вышла к обнажениям угольных пород.

Обнажения чернели на обоих берегах реки.

С геологами был тогда горный инженер Эрдели. Он много лет работал в Донбассе и имел дело с угольными месторождениями всю свою жизнь. Геологи были ребята молодые, и пятидесятилетний Эрдели казался им стариком, которого надо щадить. Но, увидев воркутинские обнажения, Эрдели дал всем жару. Он, вспоминал потом младший Чернов, с таким жадным нетерпением выгребал на лодке от берега к берегу и карабкал-

ся от пласта к пласту, что поспеть за ним было невозможно.

— На Донбасс похоже, — повторял Эрдели все убежденнее и снова торопился к лодчонке.

В тот раз они увидели семь пластов общей мощностью не менее шести метров. Уголь был очень хороший, и геологи понимали, что обнажения открывают лишь очень малую часть того, что скрыто здесь под скальным грунтом и вечной мерзлотой. Вот тут уж можно было говорить о реальной промышленной ценности печорских запасов.

Они вернулись на Воркуту через год и — опять — еще через год.

Первые шахты и дома города Воркуты стали строиться десяток лет спустя на том самом месте, куда вышел Чернов, переправившись через порог Ворота. В Воркуте стоит теперь памятный обелиск. Надпись на нем рассказывает, как Виктор Попов первым нашел здесь горючий камень. А в Сыктывкаре работает филиал Академии наук, основанный научными первооткрывателями печорских сокровищ — отцом и сыном Черновыми. Ученые продолжают работу, потому что еще много в этой земле неоткрытых богатств.

Вот такая история у дома с колоннами, что стоит невдалеке от главной улицы Сыктывкара. Не городу на вырост построен был этот первый тамошний большой дом, а, напротив, с него-то и начался настоящий рост всего края, населенного народом коми.

В прошлый приезд, в 1957 году, я побывал в филиале, познакомился с обоими Черновыми. Дело было зимой. Напротив стояла елка; вокруг нее оленьи упряжки катали по кругу громко визжащих сыктывкарских малышей.

Все экспедиции давно возвратились «с поля» и вели камеральные работы. В филиале было очень тесно, вдоль всех коридоров тянулись некрашеные столы и стойки с пробирками и образцами горных пород. Георгий Александрович ловко лавировал в узких проходах, показывал находки минувшего лета, вертел в руках то, что непосвященному казалось обыкновенным рябеньким камешком, и повторял:

— Вот видите, что у нас еще есть...

Находок в самом деле оказывалось много.

Геологическая карта печорской земли от года к году обогащалась новыми расцветками и символами.

Этим и занимались в доме с колоннами. И многие находки предвещали рождение нового поселка, новую железнодорожную ветку, новую цифру в общесоюзной сводке годовых достижений.

В тот же приезд познакомился я и с Виктором Поповым, тем самым охотником, в чью честь поставлен обелиск в Воркуте.

Про него собирались снимать киноочерк, а мне нужно было отыскать Попова и писать сценарий.

Пока остается закрытой Надежда — есть время, чтобы вспомнить и об этом.

## 3

Виктор Яковлевич Попов, рассказали мне тогда в Сыктывкаре, живет уже не в деревне Тит, а на разъезде Сейда.

Добираться туда было несложно.

Нужно из Сыктывкара лететь в Воркуту, а оттуда до Сейды два часа пути поездом.

В Сейде поезд остановился ночью.

От мороза запирало дыхание.

Мутно желтело маленькое окошко станционного домика. В конце перрона женщина в красной фуражке принимала мешки и ящики, которые выбрасывали ей из почтового вагона.

— Порох! — выкрикнул почтарь в гулкой морозной тишине и плюхнул еще мешок.

— Пыжи!

С треском упал небольшой ящик.

— Потише ты, — рассердилась женщина. — Расколотишь все и поедешь, с тебя какой спрос.

— Дробь! — крикнул почтарь и с грохотом ахнул об перрон совсем маленький ящик такого веса, что промерзшие доски перрона дрогнули от одного конца до другого. Следом за ящиком вылетел еще мешок, и снова почтарь объявил:

— Имеете, красавица, баранки сушеные и транспортный приветик!

Поезд тут же пошел. Вокруг сразу стало светлее. Горели очень яркие звезды и волчья, обведенная желтым кругом луна. В этих местах зимние ночи почти всегда бывают светлее тех бессолнечных, вьюжных часов, которые положено считать дневными, хоть дня не бывает здесь весь декабрь и почти весь январь. Легкая радужная дымка заколебалась над Сейдой. Начинались сполохи.

Кроме меня, с поезда никто не сошел. Станционный домик оказался пустым.

Я пошел к женщине в красной фуражке. Она — круглый ком в кожухе, в шерстяном платке под фуражкой, в ненецких оленьих унтах — возилась у сброшенного на доски груза.

Мы вместе взялись за ящик с дробью, едва оторвали его от досок и короткими перебежками стали подтаскивать к дежурке.

— Погоди, — сказала женщина.

Слышно было, как тяжело она дышит. И голос был немолодой.

Она вернулась к другим ящикам и мешкам и принялась переносить их туда, где стояла теперь дробь, — чтобы не оставался груз без призора.

Я снова помог ей. Большой мешок и один из ящиков оказались очень легкими. Наверно, это были пыжи и баранки.

Женщина в красной фуражке оглядела меня критически.

— Танцуешь, — сказала она. — Не по морозу одетый. А еще охотник...

Я удивился:

— Почему охотник?

— Ты ж с грузом. А груз — от Охотсоюза. Только ты, выходит, за столом охотишься. Или на складе.

Но я отказался от груза, и она спросила недоуменно:

— А если не твой это груз, чего ж ты со мной тут возишься?

Дробь уже стояла в дежурке, и мы принесли туда все остальное. Женщина сняла фуражку, размотала платок. С мороза, наверно, она показалась моложе своего возраста, разрумянились щеки, заблестели глаза, только частые белые морщинки у глаз выдавали, что ей за сорок. Тесная комнатка была прибрана чисто. С заклеенного газетами потолка светила ничем не затененная яркая лампа; в раскалившейся докрасна железной печурке бесшумно тлел воркутинский уголь. На дощатом столе заговорил селектор:

— Соколова, ты жива, Соколова?

Голос был мальчишеский, с той торопливой нахалинкой, какую вырабатывает привычка принимать «по-быстрому» рапорты от невидимых собеседников.

— Живая пока,— откликнулась Соколова. И она доложила положенными словами, когда ушел пассажирский из Сейды в Чум.

— Будь здорова, Соколова, — сказал селектор. — Живи дальше.

С лица дежурной сошел уже морозный румянец. Теперь это было утомленное, морщинистое лицо пожилой женщины, которой досталась, видно, нелегкая, не задаром отпущенная жизнь.

Соколова — выходит, так ее звали — записала несколько цифр на разграфленном листе большой конторской книги, поместила в положенное место железнодорожный жезл с большим проволочным кольцом и обернулась ко мне.

— Чаю выпьешь, что ли?

Она сказала по-северному: «Цаю... Цто ли...»

У железной печурки ноги мои согрелись, заныли. Я разминал их, вытягивая носки, морщась от боли. Соколова подошла снимать чайник и опять сказала с неодобрением:

— Не по морозу одетый... Из Воркуты по радио говорили: мороз сорок два градуса.

Она накрыла угол стола клеенкой, достала две большие — наверно, свои, из дому принесенные,— чашки. Сахар был в синей пластмассовой мисочке. Нарезанный хлеб — на тарелке. Тесная конура дежурки сразу стала домашней, даже уютной. А у самой Соколовой женственная домовитость удивительно соединялась с мужской угловатой сноровистостью. И говорила она резко, жестко и всякий раз требовательно дожидалась ответа на свой вопрос. За чаем она выясняла, откуда я такой взялся, и что́ занесло меня в Сейду, ежели я не охотник, не геолог, не лектор, и какая мне надобность до Виктора Попова — ведь к нему как раз одни охотники и приезжают, и груз сегодняшний — и пыжи, и баранки, и порох — к нему и пришел.

Потом она встретила и проводила товарный.

Снова кричал — другим, женским голосом — селектор.

Соколова еще раз подтвердила, что «пока жива», и сообщила, что тысяча двести первый ушел в Чум в два семнадцать.

Теперь я узнал, что зовут Соколову Лизаветой Семеновной. Сама она из Каргополя. Муж потонул в сорок втором году на подводной лодке в Баренцевом море. «Даже году вместе не пожили». Отца убили через год под Белгородом. Два брата тоже не вернулись с войны. Мать умерла — «еще до Победы». Родился сын — «уже после похоронной». Она растила его одна — сперва в Каргополе, в доме, где и сама за двадцать лет перед тем сделала первый шаг; потом продала дом, уехала в Обозерскую, работала поначалу на лесосеке, перешла на леспромхозовскую узкую колею, оттуда — на широкую: ремонтницей, стрелочницей; сын пошел в школу, окончил, ушел служить на Северный флот по отцовскому следу, остался после службы в Мурманске — электриком на рыбачьем траулере; Соколову тем временем перевели в Сейду. Вот уже пятый год пошел, как она здесь — бобылкой.

— Что ж замуж не вышла?

— Мало было вашего брата, — сказала она, наливая мне новую чашку крепкого чаю. — А нас много. Безмужние и детные в счет не шли.

Еще и сейчас можно было разглядеть прежнюю ее стать и красоту, и я сказал ей об этом.

Она бесшабашно махнула рукой:

— Теперь что вспоминать.

Опять звонко цокнуло «цто», и от этого еще горше прозвучали слова ее.

Давно уже кругом все залечено после войны, сровнялись в полях перепаханные воронки и окопы, в городах не осталось ни руин, ни пожарищ. Одного, оказалось, никак нельзя залечить: бабьей покалеченной судьбы.

Еще раз задребезжал селектор.

Вышел порожняк из Чума на Воркуту.

Пока не разморило в тепле, нужно было собираться в дорогу.

Соколова объяснила, что идти до Поповых километра полтора, тропка в снегу протоптана. По тропке дойдешь до речки, за мостиком — совхозная ферма, от фермы налево — геологи буровую поставили. А за буровой, еще левее, по-над самым берегом, — Поповы. Дом новый, не спутаешь, три года назад срубили. А крыша железная.

Уже слышался нарастающий грохот порожняка. Соколова взяла жезл, и на перрон мы вышли вместе.

Ветер поутих, оттого и мороз показался слабее. Сполохи отыграли, небо было высокое, чистое, в обильных и ярких звездах.

— Посматривай, — сказала Соколова. — Бывает, урки щастают.

Обернувшись после двух десятков шагов, я увидел фонарь у станционного домика лишь тусклым желтым пятном. Окрестная ночь была освещена снизу, с земли, переливчатым светом свежего снега. Удивительно чиста и просторна зимняя северная ночь. Плотно убитая тропа, хоть и припорошенная сверху, видна была хорошо; от нее отходили тропки поуже к нескольким избам, черневшим близ станции. Впереди виднелись невысокие корявые деревья, занесенный снегом овраг, в котором угадывалось русло узкой извилистой речки, а за оврагом — силуэты нескольких буровых вышек.

Снег не только светил. Под ногами он пел резким голосом — нет, многими разными голосами — ненецкую песню.

Вот и мостик. Под ним — замерзшая Уса с чернотой льда, просвечивающей сквозь заструги снега.

И опять сходится: бежит тропа к черным длинным строеньям — наверно, совхозные коровники, — а другая, поуже, уходит налево. И там действительно еще одна вышка.

Людей не видно нигде, и ничего живого не видно, и только остановишься — кончается визгливая дикая песня и такая вдруг оказывается кругом тишина, будто ты внезапно оглох и уже никогда ничего не услышишь.

За вышкой я снова остановился: нужно было отдышаться от мороза: на ходу воздуха не хватало. Но тишина на этот раз не наступила. Снег продолжал петь, только голоса его слышались теперь издали, потише. Там, откуда шла снежная песня, двигались три фигуры: две побольше, одна совсем маленькая.

Мы сошлись у избы.

Все было, как сказала Соколова: новый сруб, железная крыша. А рядом еще сруб, поменьше.

У маленького сруба, готовясь стучать в окошко, остановились двое мужчин и мальчик.

— Здесь Попов живет? — спросил я.

— Да нет, Воронины тут, — отозвался низким хрипловатым голосом самый высокий. На нем был ватный костюм, меховая шапка с ушами и высокие торбаза. — В большой избе Степан, а здесь Лександра. А к Поповым в другую сторону. Отклонились вы сильно. Лучше с нами ночуйте, а утром покажем.

— Ну, к Степану сейчас не достучишься, — уверенно сказал второй. — Старик спит — из пушки над ухом бей, не разбудишь. А ты еще под понедельник угадал. Тут и пробовать нечего. Вот Лександре постучим. Может, впустит...

И в словах про сон, и в намеке «под понедельник» послышалось одобрение. Может, даже и зависть. Выходило, по их словам, что «старику» не меньше восьмидесяти.

Теперь я разглядел у обоих мужчин двустволки в чехлах, а у мальчика — мелкокалиберку. Еще у старших были объемистые, туго набитые заплечные мешки. Лица под заиндевелыми шапками неразличимо темнели.

— А Лександра кто?

— Сын Степана. Младший.

И человек застучал в окошко с решимостью старого знакомца.

Лександра появился в дверях босиком, в старом коротком ватнике, накинутом поверх голубой майки.

— А-а, пушнина явилась, — отметил он при виде моих нежданных попутчиков, не проявляя, однако, никаких эмоций. — Давайте быстрей, не студите избу.

И только, когда мы вошли, он обрадовался самому младшему:

— Смотри, и Захар тут...

В жаркой избе горела сильная электрическая лампа. С постели из-под одеял и оленьих шкур глянули четыре блестящих глаза, снова скрылись под натянутым одеялом; послышался заглушенный шепот, шкуры зашевелились, и глаза блеснули опять.

— Дя-дя Пушнина! — пискнул голос, и на кровати сел мальчишка лет пяти в такой же голубой майке, как и отец.

Тот, кого назвали «дядей Пушниной», успел снять малахай, ватник и остался в городском пиджаке и полосатых, упрятанных в торбаза штанах. Он подтолкнул своего мальчишку к кровати.

— Дай-ка им, Захар, пряника.

Шкуры опять зашевелились, и на кровати села девчонка, постарше брата на годик. Захар, наверно, был ее одноленкой. Может, чуть старше. Он достал пряники из кармана и шагнул к постели. Ребята ухватили по пряннику, Захар стал жевать третий. Девчонка смотрела на него завороженно.

Захар спросил:

— Тебя как звать?

Она шепнула чуть слышно:

— Марфой звать.

— Спать будете? — все так же дремотно осведомился Лександра.

— Не худо бы и поспать, — мгновенно согласился «дядя Пушнина».

Лександра притащил из сеней еще шкуры и ватники, бросил и свой в придачу.

— Подушек лишних вот нету. Одна только.

Из другой комнаты он принес подушку.

— Делитесь сами. А олешков вам хватит — и постлать и накрыться. В избе не сквозит. Под голову ватники свернете. Свет сами задуете.

Про электричество он по привычке говорил, как про светец.

Лександра ушел в другую горницу, прикрыв за собою дверь, сплошь оклеенную журнальными картинками, а Пушнина принялся раздевать Захара. Третий их спутник впервые раскрыл рот, чтобы прожурчать сладенько:

— А подушечку вы себе возьмите, Филипп Романыч. Подушечку вот сюда...— Он пристроил несколько шкур поближе к печке и взбил в изголовье подушку.— Мы тут на ватничках... На ватничках тоже хорошо.

Дав мне понять таким образом, что Филиппа Романыча следует трактовать как начальство, он опустился рядом со мною и стал стаскивать с ног торбаза.

Разувшись, он остался в шерстяных носках и ждал, поглядывая в сторону печки, потом тем же сладеньким голоском осведомился, готов ли Филипп Романыч, и, услышав подтверждение, прошлепал по комнате, чтобы выключить свет.

Утром стукнула дверь, по полу потянуло холодом, я проснулся. В горнице уже было светло, ходики у печки показывали десятый час, детская кровать была прибрана, ребята одеты, а в комнату с улицы вошла женщина с сумкой, и я догадался, что это жена Лександры возвратилась из лавки. Вышел из другой комнаты и сам Лександра — невысокий, крепкий, брюки заправлены в носки, пиджак поверх майки. Он издали пригляделся к сумке и укорил жену:

— А ты, Наталья, гостей не заметила, что ли?

Наталья, раскутываясь, сказала:

— Я-то заметила, да в магазине нету. Что было — на праздники выпили. А новой не завезли. — И тут же беззлобно прикрикнула на сына: — Кыш, Витька! Не мешай людям.

Витька неотрывно смотрел на проснувшегося Захара.

Тот одевался.

Наталья вышла, чтобы не мешать одеваться и остальным.

За чаем все перезнакомились окончательно.

Филипп Романыч, как можно было и раньше догадаться, оказался уполномоченным воркутинской конторы «Заготпушнины». Спутник его работал там же кладовщиком. Они обходили промышленников по Усе, скупая у них песцовые шкурки, в Сейду пришли напоследок, чтоб возвращаться отсюда поездом в Воркуту. Захар прошлой осенью пошел в первый класс, теперь у него еще не кончились зимние каникулы, и отец взял его с собою.

— Давно просится, большой мужик уже стал, чего не взять.

Кстати, выяснилось, что нынешняя зима вообще для Захара богата новыми впечатлениями: в первый раз дерево увидел («с юга» — это значит откуда-то из-под Ухты — в Воркуту привезли под Новый год елки и самую большую поставили на площади, а Захар все допытывался, как ее сделали и зачем), в первый раз на поезде поехал, в первый раз из ружья выстрелил по белой лисе...

— Попал?

Захар умоляюще глядит на отца. Так хочется, чтобы тот подтвердил: попал, мол. Но отец режет беспощадную правду:

— В другой раз попадет. А эту Кореньков положил. — И Филипп Романыч кивает в сторону кладовщика.

Следуя, видно, положенному обряду, «дядя Пушнина» не заговаривает с Лександрой о деле, ждет, чтобы тот сам заговорил про свою добычу. А Лександра не торопится.

Он расспрашивает про охотников, у которых Филипп Романыч с Кореньковым только что побывали: кто как живет да кто сколько добыл. И «дядя Пушнина» охотно рассказывает. Он говорит подробно — где лучше шел промысел, где плохо. Кузьма слушает внимательно и все мотает на ус.

— Куропатки не стало, — говорит уполномоченный. — Только Латкин хвалился: две видел. Одну взял...

Кузьма согласно кивает.

— Верно. С пятьдесят второго еще. Совсем куропатки нету.

— Зато лемминга много...

— А с него какой толк?!

— Вред один... В Усе у вас рыба, говорят, хорошо сей год ловится?

— Есть рыба, — снова подтверждает Лександра. — Налим славно шел.

— Ну, а песец как? — не выдерживает наконец Кореньков. — У людей небогато...

— Да есть кой-что, — говорит Кузьма, уходит в сени и вскоре приносит большую охапку — десятка полтора разделанных шкурок. — Это только мои. У отца-то со Степкой поболе будет.

Захар и дети Лександры к этому времени исчезли. Они ушли в другую комнату: там оказалась еще не убранная елка, и ребята стали шумно возиться возле нее.

А разговор взрослых перешел на Поповых, и я спросил у Лександры, давно ли они перебрались в Сейду из деревни Тит, откуда послан был лет тому уже сорок «горючий камень» в Москву.

Лександра засмеялся.

— Так Тит — какая ж деревня?! Это прадеда у Виктора так звали: Тит. Тит Попов. Он себе избу в тундре срубил. Одна она и стояла. А раз люди живут — надо название местности дать. Хоть и одна изба, а семья большая. Значит, деревня. Изба Титова — значит, и деревня Тит. Ушли Поповы оттуда лет шесть назад. Поближе к людям Виктору захотелось. В одиночку жить — дело молодое, а годы уже не те. Вот как-то повезли его в Воркуту — в президиуме сидеть, — он там и сказал. Ему говорят: «Выбери место, дом тебе за казенный счет поставим, живи. Ты заслужил». Он выбрал Сейду. И до Воркуты близко, и на охоту недалеко. Дом ему поставили. А старый по Усе сплавил. В нем они сейчас и сидят. Это вот и есть вся деревня Тит...

Заготовители не слушали младшего Воронина, они все это давно знали и с медлительной дотошностью перебирали тем временем шкурки, определяя сорт.

Кореньков принялся выписывать квитанции.

— Дефекты пишешь?

Деланное равнодушие ясно слышалось в вопросе Лександры.

Филипп Романыч откликнулся мгновенно и весело:

— А как же!

— У этого пол-лапы отбито. А тут, смотри, дыра в голове, — услужливо показал Кореньков.

— Им нужно, чтоб песец к ним сам приходил, не ловленый и не стреляный, — сказала жена Лександры.

«Дядя Пушнина» согласился с той же веселой готовностью:

— А что поделаешь: у промышленника всегда песец хуже, чем с фермы. — И спросил у Воронина, не отрываясь от шкурки: — Ты его как берешь? В капкан или пастью?

— Больше пастью, — сказал Кузьма. — Капканов у меня только три. Капкан ноги рвет выше, чем положено, — заметил Кузьма.— Этот из капкана, наверно. Видишь, сколь меха пропало...

— Он в капкане сам себе ногу отгрызать начал, — вспомнил Лександра, — не успел.

Он спохватился:

— Если хотите отца застать, идти надо. Он в полдень по пастям собирался. Это дней на пять.

Мы пошли.

К этому времени я уже знал от Лександры всю подноготную дома Ворониных. Лександра у Степана — средний. Старший погиб на войне, жена его умерла еще раньше, с дедом живет их сын, тоже Степан. Есть у Лександры еще младший брат, Гавриил. Тот отделился, не ладит с отцом, жена его точит. Мне показалось, что я понял, почему жена точит Гавриила, когда увидел, как слушает рассказ мужа жена Лександры. Речь тогда шла о семье младшего Степана. И хозяйка наша, сама того, наверно, не замечая, согласно кивала, когда муж ее рассказывал, как не ладят друг с дружкой жены молодого дяди и старшего из племянников. Она всякий раз словно одобряла слова золовки и подтверждала их.

— К деду ревнует, — сказал тогда Лександра.

И хозяйка опять одобрительно кивнула.

Мы вошли в большую избу.

Горница тут была попросторнее. В кадке зеленел издалека привезенный фикус. На стенках вперемежку с фотографиями висели картинки, призывающие бороться за большие удои и хранить деньги в сберегательной кассе. Степан Воронин был уже снаряжен в дорогу. Он был высокий, худой, с узкоглазым желтоватым лицом и редкой седой бородой. На вид ему можно было дать лет шестьдесят, от силы.

— Лыжи смазала? — спрашивал он у молодой женщины, которая сидела на клеенчатом диване, среди вышивок и подушек. Увидев нас, он не удивился, не стал изображать радушия и поздоровался с одним Пушниной: — Здравствуй, Филипп Романов.

— Смазала, деда, — будто пропела Степкина жена, не поднимаясь с дивана. Красная вязаная кофта, накинутая поверх платья с красными же цветами, хорошо оттеняла ее светлые косы, высоко уложенные вокруг головы, и свежее розовое лицо.

Может, рассказ Лександры так настроил меня, только я подумал: нет, не надевают будничным утром дома такие платья. Наверно, хоть и будни, а работать ей не приходится. И голос ее показался ленивым. Но она была красивая.

— Деда, — запела она опять. — Может, останешься?

Но с дивана так и не поднялась.

— Примета плохая, — сказал старший Воронин без улыбки.— Собрался — значит, надо идти.

Он вышел в сени, там загремело. Наверно, он развязывал лыжи. Потом заглянул в комнату, взял ружье и мешки. Обращаясь снова к одному Пушнине, сказал:

— Ты тут свой человек, без меня обойдешься. Ксения все знает.

— Водки давать им, деда? — пропела красивая Ксения с дивана.

— Вот дурашка, — сказал Воронин. — Была б, так и я б остался.

Он попрощался кивком, пошел, и ясно было, что задержать его не удастся. Я выглянул в окно. Воронин стал на короткие и широкие самодельные лыжи и, сильно отталкиваясь одной палкой, спустился по крепкому насту к промерзшей Усе, все ускоряя и ускоряя шаг. Лохматая желтая собачонка бежала с ним — то по следу, то вырываясь вперед.

— А Степки нету? — спросил Лександра.

Похоже было, что он себя связанно чувствует в этом доме. Может быть, потому что характером Лександра похож на отца, а в одной избе двум таким людям не уместиться.

— Степан в лавку пошел. Он меня не пускает, во как любит, — с дразнящим вызовом объяснила Ксения.

Филипп Романыч сел к столу и обернулся к Ксении:

— Будешь мужа ждать или сразу песца посмотрим?

— Ну, прост-таки сразу, — Ксения так и не поднялась с дивана.— Вы расскажите, что в Воркуте новенького. Мы со Степой давно не были. Хоть в кино поехать...

У них тут был свой разговор, свои дела. Я попрощался и тоже пошел — в другую сторону — искать Поповых.

Днем изба отыскалась быстро.

Но разговаривать с хозяином долго не пришлось. Он тоже торопился к своим капканам. Похож он был на Воронина, как две капли воды, — та же стать, тот же возраст и так же спускался он к Усе на коротких лыжах, — широким, вовсе не стариковским шагом.

Когда я пришел от Поповых на станцию, Соколова уже сменилась. Дежурил молодой парень с косыми бачками на щеках. Он сказал, что поезд из Чума на Воркуту пойдет через сорок минут, и скоро на платформе появились еще пассажиры — четверо ребят и одна девушка. Были серые сумерки январского полярного дня. Одинаково упакованные в защитную теплую одежду, попутчики говорили про буровую, где вчера керны показали отличный спекающийся уголь, и про Веру, которая собирается сбежать домой, в Днепропетровск.

— И пусть! — повторяла девушка, сердито блестя глазами. — И пусть! В общежитии чище будет!

— Ну, это ты тоже палку не перегибай, — попытался остановить ее парень, из-за обилия теплой одежды похожий на тумбу: широкий, но невысокий.— Она — ничего...

Девушка рассердилась пуще:

— Вот именно «ничего». А ты помалкивай. Тебе кто в юбке — все «ничего».

— А она в штанах, а не в юбке, — рассмеялся парень. — Я ее в юбке ни разу не видел...

Подошел поезд. Мы поднялись в разные вагоны

Мой вагон оказался не полон, нашлось место у окна. За окном виднелись буровые, белая Уса, и над синим снегом — красные и нежно-желтые перья облаков, освещенных еще невидимым солнцем.

Когда показалась Воркута, было уже темно. Едва различались черные терриконы, дома. Огни горели нечастым пунктиром.

В станционном здании стоял кислый парок, от размокших валенок и пропотевших овчин. Репродуктор вызывал пассажиров на Мульду (здесь говорят: «В аппендицит», потому что дорога на Мульду—отросток к трем шахтам на отшибе, ветка от кольцевой, обегающей все остальные воркутинские шахты).

Кто-то беспокойно спрашивал:

— А на Сивую Маску скоро? Скоро на Сивую Маску?

Откуда она́ взялась, эта Сивая Маска?

Выкрики паровозов, белый дым, морозная ночь. А на самом-то деле всего три часа дня...

За вокзалом, пересекая улицы, все еще тянутся железнодорожные пути со шлагбаумами на переездах, по тротуарам — тропки протоптаны в глубоком снегу, меж двухэтажных деревянных строений все чаще попадаются трехэтажные кирпичные дома с колоннами. А среди «газиков» и латанных фанерой автобусов нет-нет да и пробежит оленья упряжка.

На углу — освещенная табличка: «Улица Попова».

Значит, поблизости и тот монумент — в память о «горючем камне».

Я постоял у монумента, представил Виктора Попова, с которым только что распрощался.

Он идет на широких лыжах, таких же, как у старика Воронина, — одна немного длиннее другой и чуть поуже. Сильно отталкивается палкой от наста. Темной небольшой клетью виднеется над снегом поставленная им пасть. Есть в ней песец или нету?

Будто и не прошло сорок лет. Только собака уже четвертая — после той, что ходила тогда с Поповым. И пасти новые прошлый год с Витькой наделали: старые все бечевками перемотаны, едва держались...

А вокруг ничего не узнаешь. И, если совсем близкое время припомнить, опять же все переменилось.

Один Попов — какой был, такой и сегодня.

## 4

И вот прошло с той поры шесть лет, уже 1963-й пришел, и я опять в Сыктывкаре.

А Воркута на этот раз должна быть только местом промежуточной, получасовой стоянки. Но Надежда закрыта. И до Воркуты — даже на эти короткие полчаса — очень еще далеко.

Возвращаясь в аэропорт, я завернул к Сысоле.

Роща над рекой обнесена изгородью и называется «Парком культуры и отдыха». Построены над обрывом гигантские шаги. Подальше — беседка-ротонда, как в старом именье. На скамейке — старичок с «Огоньком». На другой — бабушка с двумя внучками.

Нетеплое, хоть и солнечное, августовское утро.

По неширокой реке — буксир с чередою плотов, другой буксир — с земснарядом. Все славно и весело, как всегда на летней речной воде. А на другом берегу — чистенькая заречная слободка.

Неторопливое движенье судов на реке, неподвижный дым над трубами заречных домиков. Покойный и тихий уют во всем, что открыто глазу,— и странное ощущение, будто не настоящая жизнь проходит перед тобой, а идет немой, хоть и цветной фильм, снятый той хитрой съемкой, что умеет замедлить происходящее.

В этой странной замедленности смещалось время: старый Усть-Сысольск как бы виделся вместе с нынешним Сыктывкаром. «Медведь в берлоге» и аэропорт с «ИЛ-восемнадцатыми» умещались рядом, в одной временнóй плоскости, и показалось даже, что рядом с пенсионером, читающим «Огонек», мог бы сидеть и бедняга Надеждин в своих грибоедовских продолговатых очках — со старым нумером уже закрытого цензурою «Телескопа».

Сюда-то, в Усть-Сысольск, и угодил Николай Иванович Надеждин, он же «Никодим Надоумко с Патриарших прудов», за публикацию «Философических писем» Петра Чаадаева в своем «Телескопе».

Он почудился мне рядом — такой, каким описывали его современники: большеротый, багроволицый, длинноносый, на больных «скудельных ножках».

Верный Иван приводил его на обрыв над Сысолой.

В Москве Николай Иваныч хотел рассчитать Ивана, да тот умилил, уперся: «Хоть на край света пошлют, не оставлю». За верность, можно сказать, в литературу вошел. Кажется, все, кто будет вспоминать о Надеждине, вспомнят и про Ивана. Но — что за судьба?! — тянулись здесь за Надеждиным, кроме Ивана, одни только почитывающие купеческие сынки да семинаристы на вакациях. Это после московских-то споров. Вместо Грановского и Белинского. Вместо Огарева и Чаадаева.

Впрочем, не знаю, так ли он этими здешними беседами тяготился?

Сперва он пугал людей — некрасивостью, резкостью громкого голоса, обилием непонятных ученых слов в разговоре, внезапными хриплыми выкриками, похожими на суматошный

гусиный крик, даже самою болезненностью своей. Усть-сысольские староверки и староверы зачисляли его, наверно, в свиту антихриста. Но потом все, кому приходилось сталкиваться с Надеждиным поближе, непременно в него влюблялись, влеклись к нему и слушали его неотрывно.

Ведь недаром принадлежал он к блестящей плеяде пушкинской поры, какую составляли молодые люди острого ума и высокой образованности. В плеяде этой впервые стиралась грань между воспитанным в лицеях дворянством и выбившимся по собственному уму и прилежанию разночинством; из последнего происходил и Надеждин, судя по женскому корню фамилии — потомок незаконнорожденного родителя.

Людей влекла к нему сверкающая заразительная веселость, заставлявшая забывать жалостное надеждинское калечество. Живые и умные глаза делали привлекательным его некрасивое лицо. Благодаря неиссякаемой остроте речи он был исключительным собеседником.

Непростыми были отношения Белинского с Надеждиным. Надо полагать, служить под началом Николая Ивановича было весьма нелегко, потому что нередко бывал он и капризен и вздорен. А Белинский одно время служил в «Телескопе». И Николай Иванович после этого рассказывал о нем немало небылиц, просто так рассказывал, не жалеючи ради красного словца ни дружбы, ни репутации: он-де и циник, он-де и неряха; и все это возвращалось к Белинскому из услужливых третьих уст. Но, почти никогда не вспоминая о Надеждине-человеке, он очень часто и с неизменным восхищением вспоминал «блаженной памяти» Никодима Надоумку, так никогда и не возвратившегося в русскую литературу после отбытия своего, в едином лице с Надеждиным, в Усть-Сысольск.

«Да! Никодим Аристархович был замечательное лицо в нашей литературе: сколько наделал он тревоги, сколько произвел кровопролитных войн, как храбро сражался, как жестоко поражал своих противников, и этим слогом, иногда оригинальным до тривиальности, но всегда резким и метким, и этим твердым силлогизмом, и этою насмешкою, простодушною и убийственною вместе...»

И хоть этот Надоумко — в силу неукротимости острого и безжалостного языка своего, заменявшего ему порою любые твердые позиции, — не раз, случалось, ругмя ругал Пушкина, все же именно рядом с Надоумкою появился на страницах «Телескопа» и Феофилакт Косичкин. Не для того, чтобы спрятаться, но лишь отдавая дань тогдашней журнальной моде. Пушкин под этим псевдонимом публично раздел Фаддея Булгарина, написавши, что тот «ищет утешения в беседе муз и пишет пасквили и доносы».

Двадцати семи лет от роду стал Надеждин профессором

Московского университета по кафедре изящных искусств и археологии. Тогда же начал он издавать и «Молву» с «Телескопом». Пришли к нему и Погодин, и Шевырев, и семнадцатилетний Костя Аксаков, который со всею непримиримостью возраста наступал на «чистую поэзию», требуя от поэтов непременной «утилитарности», однако принимая при этом и главные требования, выставленные перед литературой Надеждиным: «действительность и народность». Молодой Бакунин со страниц «Телескопа» впервые рассказал русским читателям, кто таков Гегель...

А на Чаадаеве все кончилось.

«Философических писем» не стерпели ни царь, ни синодальные первосвященники. Автор их заперт под домашним арестом и объявлен сумасшедшим. «Телескоп» закрыт.

Падая, вместе с собою увлек Надеждин и старика Болдырева. Ректор Московского университета, давший Надеждину профессуру, Болдырев был одновременно и цензором, неосмотрительно подписавшим к выпуску в свет злополучный нумер журнала с чаадаевским «голосом из гроба».

В Санкт-Петербург — по начальственному суровому вызову — вместе влеклись из Москвы Болдырев и Надеждин.

Болдырев был отставлен ото всех должностей, а Надеждина повелено сослать в Усть-Сысольск на житье, и надлежало ему там существовать на сорок копеек в день. Будучи вызван для оглашения сего повеления самим Бенкендорфом, Надеждин впервые испытал трепет, но и тут не сумел совладать со своим языком и попросил шефа Третьего отделения, дабы высылку ему заменили заключением в крепость, ибо там он по крайней мере будет кормиться на казенный кошт и не помрет с голоду. На дерзость Бенкендорф отвечал милостиво и вскоре сообщил, что «исхлопотал» для Надеждина соизволение писать и печататься под своим именем — чтобы к сорока копейкам казенного рациона мог он добавлять из литературного гонорариума.

Усть-Сысольск, Усть-Сысольск!

Визиты к городничему для отметки. Дескать, здесь я, Надеждин, ваше благородие. Никуда не сбежал.

— Все пишешь, братец?

— Не пишется, ваше благородие.

Гнилые доски лежневок на тротуарах и мостовых главной улицы. Того и гляди, не хлопнуло бы по лбу такою доской. А на других улицах — собака и та завязнет в болоте по самые уши.

Дома — добытая у семинариста старая книжка воейковского «Славянина».

Уже прочитана реляция о состоянии португальской армии, и стихи графа Хвостова, и повесть, подписанная инициалом З., «Кухарка-мечтательница», и стихотворение крестьянина (это

в «Славянине» непременно писалось, что крестьянина) Ивана Кудрявцева:

Нахмурилось небо,
Туман заалел,
Нет светлого Феба,
Эфир охладел...

Недавно еще в кругу московских друзей Николай Иваныч любил вспоминать один обед у Княжевича.

На том обеде сидел напротив Надеждина некий штатский генерал — из тех, что любят поговорить за столом об изящной словесности. Поогорчавшись, что не стало более хороших, торжественных стихов, какие писались в его время, генерал обратился к Надеждину: не объяснит ли профессор, отчего бы это?

По собственным его словам, Николай Иванович, набравшись серьезности, ответствовал как можно солиднее:

— По моему мнению, оттого, что нынче большею частию пишут не дворяне.

Объяснение привело генерала в совершенный экстаз. С выкриками и хохотом рассказывал Николай Иванович, как генерал заключил его «в превосходительные объятия, прижал к звездоносной груди и напечатлел поцелуй».

Воейковские «крестьяне» устремлялись к стиху торжественному, в генеральском вкусе. Они воспаряли к светлому Фебу, откуда невидимой становилась земная юдоль крестьянской скорби.

Сказать бы об этом, да где? Нет уже «Телескопа».

А Феофилакт Косичкин убит на Черной речке, и только поздней весной дошла до Усть-Сысольска весть о страшной утрате.

— Вы знали Пушкина? — спрашивали его здесь.

И кажется, не очень верили, когда отвечал он, что знал.

Писал здесь Надеждин, по врожденной великолепной лености своей, крайне мало, и привычные, длинно и узко нарезанные листки неделями лежали на столе с одною лишь первою фразою, написанной продолговатым «надеждинским» почерком, подобным старинной готике. Впрочем, не одна леность была тут причиной. Надеждин не знал, за что ему приниматься?

Встреча с краями, «куда Макар телят не гонял», вела и его к тому же безопасному пристанищу, какое избрали в те годы многие сотоварищи по судьбе, вынужденные отправляться в дальние странствия с подорожными Третьего отделения. Таким прибежищем была этнография. Сколько их появилось в ту пору в России — этнографов поневоле, описателей жизни и обычаев тунгусов и самояди,— а с ними и географов, открывателей сибирских горных хребтов, исследователей северных рек! В Усть-Сысольске Николай Иваныч Надеждин стал вни-

кать в странный для его слуха зырянский говор, заинтересовался обилием древнерусских слов, сохраненных в великорусской северной речи.

Он послал в альманах «Утренняя заря» статью о песнях зырян.

«Какая простота! Какая живопись! Какая музыка! Тряхнув ученостью, я мог бы доказать, что в зырянской поэзии соединяются и восточная антифония, и классический ритм, и романтическая рифма... Где жизнь, там и поэзия!»

Поначалу он брал широко, сближал этнографию с историей; на узкий листок ложились слова, будто обращенные к привычной московской аудитории. Это их, прежних слушателей своих, призывал Надеждин к тому, чтобы «история почиталась не простым только упоминанием упокойников, но учительницей настоящего и истолковательницей будущего». Но в лабазном Усть-Сысольске широта давалась с трудом. Здесь скудельною становилась воля, и на весь остаток лет своих воротился отсюда Надеждин смиренным служакой-чиновником, так никогда более и не сумев вернуть к жизни Никодима Надоумку, неприметно почившего на берегах реки Сы́солы.

Та же Сы́сола течет перед парком культуры.

Стоят с удочками пенсионеры и мальчишки.

Погудели друг дружке два буксира, разминувшись на стрежне. Длинный плот тянулся за одним из них против течения, к высокой трубе лесопилки. За другим шла вниз баржа, груженная бетонными плитами для какой-то стройки.

Вся видимая окрестность полнилась драгоценным тихим покоем. Испытал ли когда-то Сы́солой то же чувство умиротворяющего спокойствия мой смятенный невидимый собеседник? Ведь все, чего здесь нельзя было увидеть век назад, сводится всего лишь к нескольким внешним приметам. Та же была река. И, быть может, даже пошире. Так же тащил поблескивающую под солнцем плотичку мальчишка в длинной белой сорочке, и еще глубже была тишина.

Но только она не умиротворяла, не могла умиротворить смятенную душу — тяжкая застойная тишь затягивающего болотца на оторванной от всего околице мира. Она тяготила, смиряла. Она и убила Никодима Надоумку.

В нынешней здешней тишине был словно роздых перед разбегом. Она не была тишиною убожества, не лишала воли, но только расслабляла уставшие мышцы, чтобы дать им новую силу.

И чувства околицы, оторванности, неодолимой дали — нет и в помине.

Тишину вспарывает грохот мотора.

Развернувшись над Сы́солой, «ИЛ-14» зашел на посадку.

Может, Надежда открылась?

Так и есть. Самолет прилетел из Норильска.

Погода там, кажется, не улучшилась. Но, оказывается, здесь среди ожидающих вылета находится футбольная команда в полном составе. Если она не прибудет сегодня в Норильск — там сорвется назначенный на завтра спортивный праздник. Летчик вызвался лететь, несмотря на туман. Теперь вместе с футболистами могли отправляться еще человек пятнадцать.

Аэродром всполошился. Казалось, между самолетом, который пренебрег нелетной погодой ради футболистов, и следующими «бортами», которые нормально пойдут на Норильск, может миновать вечность. Пассажиры, намучившись в коридорах, скопом атаковали вдруг аэропортовские окошки и кабинеты. В ход пошли удостоверения — одно другого внушительнее, и дети — один другого мельче и умилительнее.

К чести сыктывкарского начальника перевозок — победили дети.

Вслед за пятнадцатью крепышами-футболистами, легко пересекавшими летное поле с фельдшерскими саквояжиками в руках, двинулись к самолету мамы с младенцами. Пошел с ними и мой ночной многосемейный сосед. Умытые, свеженькие ребята, мальчик и девочка, наверно погодки лет пяти и шести, прыгали перед отцом. Он еще раз прокричал мне свой норильский адрес.

— Смотри заходи!..

Самолет взлетел, развернулся на курс, и тут же на аэродроме стало известно:

«Открылась дорога!»

Теперь «ИЛы» с засидевшимися пассажирами стали улетать на север каждый час, а то и с получасовыми интервалами. Между Сыктывкаром и Норильском появился настоящий воздушный мост. Дисциплинированная, привычная очередь снимала со стенки аэропортовского павильона составленные ею самою список за списком. К новому рассвету дошел черед и до меня.

Самолет пошел на сравнительно небольшой высоте, но рваные серые облака тащились еще ниже: лес, завитки нешироких рек, желтая тундра мелькали порою в разрывах, и, не видя, а лишь по угадке памяти, я знал, что мы прошли над Ухтой и Ижмой, миновали Инту, подходим к Воркуте. И верно: вот разворот, снижение, привычно обрывается сердце, тучи уже над нами, дождевые капли секут по стеклам. Толчок — летчик выпустил «ноги». Еще толчок — «ноги» коснулись земли, и уже не дождь, а грязь, напитанная угольной пылью, что есть силы полосует по стеклам иллюминаторов.

Нет, не здесь садились самолеты лет восемь назад, когда Воркута только что впервые открылась для любого приезжего человека. Теперь аэродром ушел подальше от города. Тут слышались гудки маневровых паровозов, угадывалось близкое кольцо путей, соединяющих воркутинские шахты, торчал высокий террикон. Но города не видно. На краю летного поля еще не сняты строительные леса с большого аэровокзала. Дорожка к вокзалу еще не заасфальтирована, но катки уже стоят. В пассажирском зале хозяйничают маляры, но буфет работает. Вокзал строится с размахом. Что ж, это справедливо, тут размах нужен. Рядом большой город, большое перепутье северных дорог. И жаль, что не здесь пришлось скоротать вынужденное ожиданье на пути к Норильску. Говорят, возьмем бензин и полетим дальше. Времени не больше получаса — никуда не успеть. А так хотелось бы съездить в город, поглядеть, какой стала Воркута за семь лет, что прошли с первой встречи.

В тот приезд, в 1957 году, открылась она с воздуха черным по белому — углем на снегу, пирамидами терриконов, шахтными копрами, пронзительным кукованьем паровозиков-лилипутов. Железнодорожные пути вольно вбегали в город, разрезая шлагбаумами главную улицу. Автобусы, где разбитые на ухабах стекла заменены листами промерзшей насквозь фанеры, «газики» в звонком седом брезенте дожидались перед закрытым шлагбаумом. Оленьи упряжки ненцев стояли у «Гастронома». Заиндевелые стены домов. Чересполосица деревянных избушек и щегольских каменных зданий. Дань времени: обилие ничего не держащих колонн. Самые пышные колонны образуют ампирный фасад, украшенный надписью: «Воркутуголь».

Похоже на Донбасс. Только мороз не донецкий. И не донецкий этот морозный туман над городом. И эти вертикальные тяжелые дымы. И облака пара, в которых спрятаны все встречные лица. В тот первый мой воркутинский день от жестокого холода спирало дыханье. В десять утра еще стояли сумерки, желтели на столбах уличные фонари; после одиннадцати электричество стало ненужным, небо прозрачно заголубело, а над Полярным Уралом невидимое солнце выбросило и высоко разметало нежные перья восхода. Но солнце так и не показалось; чуть не сразу где-то в другой стороне, над снежной тундрой, восход перешел в закат, розовое стало тревожно-багровым, и на улицах снова зажглись фонари.

Так вот она — Воркута.

Впервые это название я услышал давно. Знакомый паренек-ровесник лет тридцать назад рассказывал, как ездил туда с геологами.

Речь, конечно, шла о реке Воркуте. Никакого города и никакого вообще многолюдья в тех местах тогда еще не было.

Паренек говорил с гордостью: в какую, мол, глушь забрались, и как нелегко добирались, и как убедились, что должен быть в тех местах уголь. Он рассказывал, как разбивались на порогах лодки, купленные геологами у рыбаков-поморов. И даже в Москве долго еще не проходило у него удивление перед теми геологическими обнажениями, что открылись им в этой экспедиции на размытых и выветренных северных скалах.

В том рассказе неведомая страна Воркута была страною для людей веселых и сильных. Она была страною поиска и находок, приволья и подвига.

Но потом я стал слышать о ней по-другому. Про Воркуту стали говорить полушепотом и с оглядкой. Завелось там такое, чего — следовало так считать — как бы на самом деле вовсе и не было, или, во всяком случае, такое, о чем знать никому не полагалось.

Прошло еще время, и там обнаружился город. С тем же именем, что и река, и даже на железной дороге, неведомо как возникшей. Увидеть этот город можно было только на газетных фотографиях: дома с колоннами, улицы широки и не по-северному монументальны, а поехать туда по доброй воле нельзя. Город-марево. А перед тем, как уже и поехать стало можно, такая случилась радость: объявились оттуда — сперва один, а попозже другой — два старинных моих приятеля, из тех, кто и сами для всех нас, оставшихся по эту сторону, тоже долгое время как бы и не существовали вовсе, ушли в безвесть, в запретное марево. Случайное счастье, что выжили, а проще могли и не выжить. И вот оба они (все еще шепотком, все с оглядкой) пересказывали долголетнее свое воркутинское житьишко, дивясь отсюда, как стремительно оно там проходило, все дни промчались мгновенно и все— даже еще и сейчас — будто только что прожиты.

Когда снова появились наконец рядом с нами — из вечной мерзлоты — оттаявшие, воскресшие люди, многие испытали чувство невольной и необъяснимой своей вины и жестокую потребность дознаться: что же и ради чего вырвало стольких людей на долгие годы из общей жизни в обметанную колючей проволокой вечную мерзлоту? И многие задавали себе один и тот же вопрос: «Как так случилось, что судьба их миновала меня?»

Но выходило то же, что и на фронте: когда дура-пуля, обойдя одного, облюбует другого, и понять тут нельзя было ничего.

Собираясь впервые в Воркуту в 1957 году, я думал, что там отыщутся пусть и не все, но хоть какие-нибудь ответы.

Хоть и хорошо представлял себе, что той Воркуты, о какой недавно не следовало и думать, больше не существует.

И вот она, Воркута, какой я ее тогда увидел.

На улицах по пути в гостиницу встречалось много людей. Только лиц нельзя было различить в плотных скафандрах пара. И здания тоже возникали внезапно, когда прохожий оказывался у самых колонн, под грузным портиком тяжелого ампира. Казалось, из колонн, портиков и морозного пара состоит весь город; подуй только ветер — и вместе с развеянным паром исчезнет все: и преувеличенные колонны, испещренные внизу отпечатками теплых ладошек по мохнатому жирному инею, и обледенелые автобусы, и прохожие с седыми безликими клубами вместо голов,— останется снег, снег и на снегу, может быть, оленья упряжка.

Но в гостинице всякую призрачность как рукой сняло.

Повсюду, на лестницах и в коридорах, натоптано было темной грязи, разведенной талой водой. И сразу вспомнилось старинное лесковское словцо — так рвануло в оттаявшие ноздри стоялой, дурной спиралью. Толкались кругом — уже нетвердые на ногах спозаранок — командировочные под одолевающей властью бездомного ухарства.

— Пиво ленинградское в буфет привезли,— дружески сообщил на ходу небольшой дядя в тулупе, в малахае с хвостами и в подвернутых бурках. Он поспешал на головокружительный запах столовой, доносившийся с лестницы. А лицо у него было такое, словно мрачный шутник вставил в вынутую из борща свеклу вареные судаковые глазки.

И, конечно, выяснилось, что номера в гостинице нет. И койки нет. Может, после вечернего поезда что-нибудь и освободится...

Словом, тут все оказалось обыкновенно и давно знакомо.

Когда я входил в гостиницу, рассвет только начинался. А вышел — наверно, и получаса еще не прошло, — небо уже стало закатным. Туман рассеялся. На улице стало виднее. Колонны можно было различать издали. Улица теперь была тверда, несомненно, даже торжественна. Ее розовые большие дома стояли как солдаты перед парадом. Зато на другой стороне этой улицы открылось зрелище, которое показалось мне призрачным: там была невидимая прежде в тумане, обнесенная колючей проволокой просторная площадь. Столбы с короткими лапами наверху. Лапы протянуты внутрь двора, и по ним тоже ряды колючки. По углам невысокие вышки с будками. Колючка во многих местах прорезана, свалялась, топорщится ржавыми клубками над снегом. И вышки стоят пустые; повизгивают на ржавых петлях двери деревянных будок, хлопают без толку на морозном ветру. Сохнет во дворе задубелое на морозе белье, возятся в снегу ребята. Колючку и вышки недосуг убрать. А живут здесь люди; стоят обитаемые длинные приземистые бараки. А над бараками — высокие вертикальные дымы из печных труб.

Я пересек мостовую и вошел в один из разрывов в колючке по плотно убитому ногами снегу. Тропинка сама вела к барачному тамбуру.

Дверь не была заперта.

Внутри горели яркие электрические лампы.

Барак как барак. Заправленные по-солдатски койки. Шкафчики в изголовьях. Посредине большой стол.

Сейчас просторная низкая комната была почти пуста. Двое спали, бросив ватники поверх одеял. Лысоватый пожилой человек, пристроившись у окна на табуретке, подшивал ватную телогрейку под нездешнее легкомысленное пальтишко. Молодой парень в синем свитере с белыми олешками по груди писал у стола в тетрадке, то и дело задумываясь, записывая несколько слов или цифр и снова поднимая глаза в раздумье. Похоже, решал задачку. Когда я потоптался пошумнее у двери, он обернулся.

— Кого ищете?

К этому простому вопросу я не был готов. Впрочем, ни к чему я тут и не мог приготовиться. Минуя заусеницы ржавой колючки и пустую вышку со сгнившими, заметенными снегом столбами и сорванными — на растопку, наверно,— ступенями, я вовсе не представлял, куда приду и что там увижу.

Пришел в общежитие, такое же привычно-знакомое, как только что оставленная гостиница.

Парень повторил вопрос с откровенным нетерпением.

Надо было отвечать, и я ответил вопросом же:

— А тут кто живет?

— Сухопутные альбатросы живут, — сказал парень, усмехнувшись.— Строители.

А пожилой у окна поднял голову от своего шитья и дополнил объяснение, назвав номер строительного участка.

Тогда я сказал вдруг, сам своим словам удивляясь:

— В гостинице мест нет. Думал, может, в общежитии переночевать можно...

— Это надо к коменданту,— сказал пожилой. И вышло, что в высказанном мною предположении не оказалось, на его взгляд, ничего глупого или невозможного.

И парень подтвердил:

— Налево третий барак. Там коменданта спросите. Панков его фамилия. Семен Васильевич. А не будет — жену его спросите. Анну Ивановну.

Откровенно оглядев меня, он добавил:

— В случае чего, скажите — есть у нас одна свободная койка. Уехал тут один вчера в Хальмер-Ю на неделю.

Имена-отчества, да и вообще все слова своих фраз он выговаривал очень старательно, как бы несвободно. Но главное-то

было в том, что и он, как и пожилой, ничуть моему предположению не удивился.

Оказалось, не я первый так сюда приходил. Правда, комендант сам решать не стал. Направил меня к своему начальству, в один из домов с колоннами по ту сторону улицы. Но командировочное удостоверение помогло. Разрешение было получено; про того строителя, что уехал в Хальмер-Ю на срочный ремонт столовой, начальство вспомнило и без меня — койка нашлась. Семен Васильевич Панков, немногословный человек в черной шинели и черной же старой шапке, сам застелил эту койку чистым бельем, крепко пахнущим рыбой, — мыло тут, наверно, такое, что ли. Итак, место мне было определено в том же бараке, куда я заходил поутру, и я возвратился туда, как домой, вдоволь находившись по городу и закончив дела своего первого воркутинского дня.

Людей там было теперь куда больше. На столе стоял алюминиевый «артельный» чайник. С краю четверо «забивали козла». Тот пожилой, что посылал меня к коменданту, беззлобно ругался с партнером:

— Есть у тебя глаза или ты на них сидишь?! Я ему третью пятерку показываю, а свой ее в третий же раз кроет!..

Увидев меня, он сказал, как гостеприимный хозяин:

— Садись к столу, командировочный. Кипяток еще не простыл.

Парня с оленями не было.

Я налил кипятку в кружку и принялся болеть за козлятников.

В том бараке я прожил четыре дня.

Оказался я в нем девятнадцатым. Домой приходил сквозь разрыв в колючке, а потом узнал еще и другой разрыв и другую тропу, что начиналась прямо напротив кино. Были там еще тропки в глубоком снегу и еще развороченная колючка, так что ближний путь к здешнему моему дому можно было отыскать с любого конца. Помню, в первый вечер мне все хотелось спросить: почему до сих пор не удосужились снять ту колючку и снести вышки? Ведь неприятно, наверно? Но как-то не пришелся тогда такой вопрос к разговору. А на другой вечер я уже понимал, что и спрашивать нечего; никто тут про это не думает. Не вызывало это ни у кого из моих новых знакомцев решительно никаких рефлексий, в том числе и у тех, кто живал в таких же и даже именно в этих самых бараках, когда в них еще стояли не койки, а нары-вагонки, и колючка была цела, и вышки не пустовали.

Нашлись среди моих соседей и такие старожилы.

И бывал с ними разговор, отчего они до сих пор остаются здесь, а не вернулись в родные свои места. Спрашивал я про это и у парня с оленями — он тоже оказался из старожилов. Звали его Владас Петрулис; родом он был из Жемайтии, из-под Шауляя.

— А я дома был,— сказал Владас, все так же старательно скатывая слова во фразы.— Три месяца прожил. В Рекиве купался, на Дубиссе рыбку ловил, на солнышке грелся. А потом — взял билет, попрощался с отцом и с матерью и — снова сюда. — Он помолчал, чувствуя, что требуется объяснение, и сказал самое простое: — Дома столько не заработаешь. Отсюда и домой посылать можно, и себе очень хватает. И таких, как я, тут принимают охотно: не новички, опыт есть. Северная шахта — строгая, к ней привычка нужна. Я в горном техникуме учусь. Еще год — и кончать буду.

Владас повторил про деньги:

— Домой могу каждый месяц посылать тысячи полторы.

Счет шел тогда «на старые деньги».

— Выходит, вы шахтер, а живете здесь, у строителей?

— Временно. Наш дом сейчас на ремонте.

Я узнал, что в том доме у Владаса есть комната, где он живет вдвоем с земляком. Земляк на время ремонта пристроился в Доме культуры: разрешили поставить койку в актерской уборной; а Владас тут, у старых приятелей. Проживет еще с недельку, а потом обещали путевку в профилакторий. Ну, а там и ремонт общежития закончится, можно домой.

На вопрос, что же это такое профилакторий, Владас ответил:

— Сочи без отрыва от Заполярья.

С привычной своей обстоятельностью рассказал, что профилакторий построен невдалеке от шахты, являться туда надо каждый день после смены, путевку дают на двадцать четыре дня. Владас перечислил все, что он там за это время получит, подщелкивая слова, как костяшки на счетах: лечебное питание (конечно, упомянул, что «трехразовое»), ежедневные облучения «горным солнцем», лыжные вылазки по вечерам, свой каток на ледяном озере... Почему-то с особым удовольствием отметил, что и пижаму там тоже каждому дают.

Обо всем этом Владас говорил так, словно нарочито хотел подчеркнуть, что за его выбором ничего нет иного, кроме голого денежного расчета. Выходило, только из-за денег в Воркуту и вернулся. Бывает, конечно, и так. Но только, если б у него именно так было, не стал бы, пожалуй, Владас Петрулис столько об этом говорить — будто самого себя убеждая, будто стараясь отогнать от себя ненужные размышления и сложности.

Потом уже, после Воркуты, встречал я многих таких оставшихся на старых, не по своей воле обжитых ими местах.

Встречал и на Чукотке, в Певеке. Один старый «вор в законе», тоже угольщик, объяснял там начистоту: «Остался, чтобы отстать от дружков». То есть чтобы не было никакого соблазна. И уверял, что такая причина не у него одного.

Но это, как говорится, «особь статья»; эти-то знали, за что их сюда везли.

А те, кто попадал за колючку, никакой вины за собою не зная, искалеченные вздорными, чудовищными обвинениями, сломленные физически и вынужденные буквально на краю могилы собирать последние духовные силы, чтобы не сдаться морально,— люди, для которых встреча с этой землей становилась проклятьем и мукой, неужели они могли оставаться, когда ничто уже больше их здесь не держало?!

Оказалось, могли. Я познакомился с ними в Воркуте и в Норильске, встречал в Магадане: инженеры, учителя, врачи, архитекторы.

Хирург с именем — когда он бывает в Москве, на его операции приходят не только студенты, но и пожилые, тоже именитые коллеги,— шел как-то со мною по магаданской улице.

Было начало осени, теплый сентябрьский день — лучшая пора в Магадане. Перед светлыми большими домами оставались таежные лиственницы. Под ними — трава газонов и пестрые цветники. Просторные кварталы — вверх-вниз; но под асфальтом уже не угадать недавних таежных распадков. А совсем внизу — портовые краны, белые корабли, стылая празелень Охотского моря, скалы, замыкающие бухту Нагаево. И вокруг — много людей, торопятся машины, играют дети.

Ответив кому-то на поклон, хирург сказал:

— Тут же ничего не было. Я это строил своими руками. Смотрите сами, разве это не хорошо?

Сам того не думая, он почти повторил слова, приписанные Ветхим заветом господу, сотворившему мир. И он остается в мире, им созданном. Не может не оставаться. Даже помня всегда о том, как его привезли сюда четверть века назад — при папке, в которой дубовыми словами излагалась бредовая и чудовищная чепуха о том, что он, мол, собирался зарезать на операционном столе некое высокопоставленное лицо. И на той папке было написано: «Хранить вечно».

Не помню, он ли, другой ли кто, повторял строки:

Земля пробитых в глушь путей
И молодых огней и дымов,
Как мало знала ты людей,
Кому была б землей родимой.

— А ведь стала родиной, силком стала, а — не отвяжешься.

Сказано это было вслед за стихами, с сердцем. Но «не отвяжешься» — это правда, ничего тут не поделаешь.

В тот первый раз, в Воркуте, Владас Петрулис пытался показать, что все дело в рубле. Однако поверить ему было трудно.

Конечно, разные там встречались люди.

Утром у дверей гостиничного буфета куражился чудище-парень с распадающимися надвое жирными белыми волосами, тот, наверно, и в самом деле приехал сюда за рублем, и только. Никаких тут сложностей и заподозрить было нельзя. Заработал и пропил. Для того и работал, чтобы было, что пропить. Или еще старуха, которую видел я тогда в воркутинском «Гастрономе». Она тоже куражилась, ерничала, приплясывала, протискиваясь без очереди к стойке, чтобы налить в свой желтый, давно немытый графин литр плодоягодного вина — единственное питье, какое было здесь в ту пору в продаже. Седые космы выбились у нее из-под шерстяного платка. Она надсадно орала частушку, ясно выговаривая срамные слова и притопывая ногой в сером, хорошем валенке. Нос крючком, сама крючком — ведьма на шабаше, да и только! Страшно и унизительно для старости было ее разухабистое веселье. Но притом какое же невеселое равнодушие стекленело в ее склеротических глазках. Впрочем, на старуху никто не обращал внимания. Из людей, толпившихся в магазине, никто ее не осуждал, не одобрял, никто не улыбнулся и не нахмурился. Смотрели, как на загородку кассы или на магазинный прилавок, — давно уже знали здесь все ее коленца, осиплый голос, словечки частушек.

Зато битый оспой крепкий усач в железнодорожной шапке перехватил мой любопытствующий взгляд и с готовностью объяснил:

— Поп наш. Игнатьевна.

Увидел, что объяснения я не понял, и рассказал подробнее.

Игнатьевна появилась в Воркуте года три назад. И сразу стало об ней известно, что она умеет обряжать покойников и читать над ними «три акафиста».

— Воркута — город новый. Церкви в нем никогда не бывало. А люди приезжают разные. И есть среди них твердо убежденные в существовании загробной жизни и посмертного утешения, а значит, и в том, что покойника надобно в его новую жизнь провожать достойно, чин по чину, под «три акафиста». И если они, живые, об этом не позаботятся, то их, живых, долго будут терзать неисполненный долг и нечистая совесть.

Игнатьевна все прикинула — ее не случайно сюда занесло. Вот она-то ехала в эти края по расчету, и прицел у нее был снайперский, в яблочко,— здесь она сыта, пьяна и нос в табаке. Надсаживалась она и ерничала по закоренелой нищенской привычке. Но одета была тепло и дорого, как, наверно, никогда прежде. Космы грязные, а платок на них хоть и засаленный,

а дорогой — оренбургский платок. И тулупчик не одну сотню стоил. А докричав про то, чего девка хочет от парня, если он росточком не вышел, и пробившись тем временем к самому прилавку, она вдруг с трезвой строгостью спросила у молодой продавщицы:

— Ликерчику сладенького не ждете? — И укоризненно отметила: — И коньячку у вас давно что-то не было.

— Правильно, бабка, пиши в жалобную книгу,— подначил усатый железнодорожник.

Но Игнатьевна не откликнулась, взяла графин — и уже не стало ее в магазине.

Вечером я помянул про встречу с Игнатьевной, когда сидели мы у артельного чайника в бараке.

— Бабка с шариками,— откликнулся Петр Кузьмич, пожилой строитель, и пристукнул костяшкой домино по зыбкой доске столешницы.

— Чего только к нашему берегу не прибивает,— поддержал разговор другой и тоже придвинул костяшку.

— А вы дочку ее не видели?

Это спросил Оноприенко, тоже «старожил», застенчивый и деликатный земляк мой. Еще ни разу не слышал я, чтобы сам он заводил разговор, а если его и спрашивали — отвечал смущенно, немногословно и тихо. Из таких его ответов мне уже было известно, что сюда его привезли в 1948 году; был он до того полеводом в колхозе на Черкасщине и, оправдываясь перед районным начальством после неурожайного лета, позволил себе произнести неуважительные слова о кок-сагызе. Теперь эту тяньшаньскую травку не все уже на Украине и помнят, а в те годы на берегах тихой Роси и Тясьмина выращивали ее усердно, и недружелюбное слово, сказанное сгоряча полеводом, обернулось против него приметой злостного и коварно рассчитанного вредительства. С тех пор полевод успел стать искусным и даже знаменитым в здешних местах столяром. Там, на Роси, вспоминалось ему отсюда больше таких людей, с которыми повстречаться он хотел, по его собственным словам, «хіба що в пеклі». Семьи не было. О родне ничего не слыхать. А тут знакома ему была «кажда цяточка» — и в «цяточки» эти свой труд вложен, и своя гордость. Прочная привязанность его к здешней жизни была на взгляд до удивления легкой и тонкой: нажито было лишь то, что на койке, да то, что под койкой, в рукодельном фанерном чемоданишке. Больше ничто его к этому бараку и к этой мерзлой земле давно уже не привязывало — кроме своей охоты, своей памяти и собственного выбора. Но вот удержали и продолжали держать накрепко — и охота, и память, и выбор.

Слова его про дочку Игнатьевны вызвали всеобщее оживление.

Один только Владас не принял в этом оживлении никакого участия.

Напротив, он с преувеличенным трудолюбием ушел в свои тетрадки и книжки, будто спрятался в них с головой, изображая глухоту и даже совершенное неприсутствие.

А про дочку Игнатьевны заговорили не только козлятники — сразу и с коек отозвалось несколько голосов.

Говорили по-разному. Одни — с лицемерием старости, помнящей, что яблоко вкусно, но осуждающей его за то, что оно не по зубам ей. Другие — с завистью, что ухватили это яблоко чужие руки. Были тут и сплетня и правда, и более всего видно было, что чем-то обожгла Римка каждого, кто ее встретил; ей этого никто не простил, и сама она платится за это, живя под чужими взглядами, что следят за каждым ее шагом: «Только бы оступилась...»

— Для кого, а для Римки ничего не пожалела Игнатьевна,— сказал патриарх барака бетонщик Латышев.

Увидеть Римку так мне и не случилось.

Я только узнал, что она работает нарядчицей на автобазе, живет в общежитии, мать видеть не хочет (Латышев не одобрял: «Все ж таки кровь родная. И как подарки брать от матери так не отказывается же, берет!»).

— Ничего она от нее не берет! — взвился на слова Латышева Владас Петрулис.

Но тут я из общего гомона, шуток и смеха узнал, что к нейто, к Римке, и ходит Владас вечерами, хочет жениться, а она «еще кочевряжится».

Что ж, в общежитии — все на виду, все снаружи, ничего от соседей не спрячешь.

За четыре дня я тоже узнал там все маленькие секреты, и даже замкнутый Оноприенко смущенно советовался со мною в последнее утро перед нашим прощанием. Зашел он издалека — стал рассказывать, как работает в гостинице, делает для номеров фасонную мебель, хочется сделать как получше, а дерево дали дрянное, совсем сырое дерево... Но так получилось, что с дерева перешел он совсем на другое. Работает там в гостинице, на этаже, женщина одна. «Ну, сказать бы, землячка, только не с Надднепрянщины, а из-под Львова, из Станиславской области... Моих лет, — оправдался Оноприенко. — И тоже никого родни не осталось».

Ему одно не давало покоя:

— Поздний брак — ведь засмеют же люди старого черта! А через меня — хорошей женщине один стыд...

А в одиночку тоже плохо: сердце застыло.

Сколько же лет ему? Угадать было нелегко. Голова крепко поседела. Зубы погублены цингой. На запавших щеках морщины... Лет пятьдесят? Побольше?

Оказалось, тридцать восемь.

Может, отогреется — помолодеет.

Я видел своих соседей и на работе. Борис Волков, арматурщик, окликнул меня, когда я проходил мимо строительной площадки, такой же, какие были чуть не на каждом квартале.

— Своих не замечаешь?!

Тут поднимались леса, и большой кран — привычно, по-московски — забирал со снега бетонные плиты с проемами дверей и окон и подавал их на четвертый этаж. Старик Латышев махнул мне рукой. Дом строился по-северному: вместо обычного фундамента в вечную мерзлоту заколочены были бетонные сваи, и на них дом повисал над землей. Так строят в этих широтах, чтобы не греть теплом жилья мерзлоту, чтобы не проседала под стенами оттаявшая болотная почва. Похоже было, что этот дом в отличие от своих старших соседей будет обходиться без колонн.

Архитекторы показали мне тогда новую Воркуту будущих лет. Ее кварталы существовали пока лишь на синьках и на листах шершавого ватмана — в чертежах и щегольских рисунках. Там были дома в четыре и пять этажей — близнецы тех, к каким привык уже глаз в Химках и в Хорошеве, в Сетуни и Черкизове. Квартиры, общежития, школы, больницы, клубы. Много стекла и не по-здешнему пестрые стены. На одном из листов был эскиз площади. Просторное административное здание стояло в центре сквера, среди деревьев, цветочных клумб и зеленых газонов.

— Не верите? — угадал мои сомнения архитектор.— Может, деревья будут, и верно, пониже. Да тут ведь тени никто и не ищет. А зелень будет. И цветы тоже будут. Это у нас и теперь можно видеть, приезжайте в августе.

Но меня не сад удивил.

Я узнал на рисунке ту самую площадь, с которой пришел сюда. Сомнений не могло быть. Знакомый квартал поднимался напротив сквера. Та самая гостиница, та же вывеска «Гастронома». Тут ничего не менялось. Но зелень травы и фасад со смело вынесенным вперед бетонным козырьком над подъездом находились на том самом месте, где я только что оставил комья ржавой колючки на почерневшем от угольной пыли снегу.

Исчезнет все разом: и колючка, и бараки, и вышки с будками, где так уныло хлопают вечерами гнилые двери на скрипучих петлях.

Наверно, на эту новую строительную площадку придут и Волков и Латышев. Придут, быть может, из того самого дома, который строят они сейчас. Но вряд ли их потянет сюда перед началом стройки— поглядеть, как тракторы станут утюжить площадку, подминая гусеницами столбы и шелевку, обнажая неприглядное нутро недавнего их жилья.

Шесть лет прошло. В 1963-м я снова ступил на воркутинскую землю.

Пока бензозаправщики переливали горючее в самолетные баки, мне вспоминались те старые воркутинские встречи. Где Владас? Перестала ли «кочевряжиться» Римма? Женился ли Оноприенко? Есть ли уже в Воркуте новая площадь и похожа ли она на тот нарядный рисунок, каким хвалились тогда архитекторы? Может, и деревья выросли? Я остановился у лесов нового аэропорта. Совсем молодые ребята, «ремесленники», подавали наверх раствор. Их инструктором был тоже молодой парень, лет тридцати. Не знает ли он тех старых воркутинских строителей, с которыми на несколько дней свел меня случай в самом необыкновенном из общежитий? Но парень прожил здесь только два года и считает дни, когда кончится третий (на три года он подписал договор, а уже не терпится ему вернуться к себе, в Смоленск). Нет, никого не знал он из тех, кого я запомнил.

— Вот Латышев, кажется, имя знакомое. Что-то я слышал. Да ведь строителей тут — что шахтеров. Разве со всеми познакомишься?!

Дежурная по аэропорту позвала норильских пассажиров на посадку.

Пилот заложил круг над городом, и снова я напрасно смотрел вниз, стараясь разглядеть улицы, дома, ту площадь. Виден был большой город. Под крылом самолета он быстро вращался; на вираже дома приближались, словно падая навзничь, и тут же удалялись, непохожие на те, что помнились мне по зимним здешним прогулкам. Показалось, будто мелькнули, тоже заваливаясь назад, толстые колонны «Воркутугля». Но, может быть, это был совсем другой дом — шахтный клуб и столовая, куда водил меня Владас. Такие же точно колонны были и там. Но вот уже и город кончился, только узкая полоска железнодорожного полотна проваливалась вместе с плоской тундрой, отходя все дальше от взмывающего вверх самолета и указывая дорогу на север, к Хальмер-Ю.

До Надежды оставалось три часа пути.

## 6

Просто невероятно, каким жарким, чуть ли не знойным местом оказалась эта достигнутая наконец Надежда!

Августовский день был здесь не прохладнее, чем в Москве. Сегодняшние дожди Сыктывкара и Воркуты показались отсюда наваждением. Люди на перроне аэровокзала щеголяли в светлых сорочках без рукавов, а загорелые отпускники, прилетевшие вместе со мною, никого не могли поразить под этим солнцем.

В Норильск уходил автобус.

По его растрескавшимся стеклам и преждевременной дряхлости можно было представить, что́ за дорога ведет отсюда в город.

Оказалось, однако, что все это старые травмы. Сейчас и дорога вполне пристойна. Где-нибудь в Певеке или в Тикси о таких и не мечтают.

Сквозь растресканное стекло, сквозь пыль, вовсе не по-заполярному поднятую на дороге, видны невысокие горы. Вспоминаю читанное о Таймыре. «Хребет Путоран...» Звучало красиво. «В горах Путорана...» Еще красивее. Выходит, они это, что ли, и есть — горы Путорана? Невысокие, голые, покрытые темными каменными осыпями; правее дороги — поближе, левее — подальше. И у подножья — вся тундра в цветах.

Довольно скоро показываются большие заводские корпуса, вокруг — та же цветущая, празднично-пестрая тундра; невдалеке — вышка на холме, в ее назначении невозможно ошибиться: та самая телевизионная вышка, о которой говорилось еще в Сыктывкаре. Потом вдруг озеро. С белыми парусами нескольких яхт и — вовсе уж чертовщина! — с купальщиками, да, в самом деле с купальщиками на светлой глади. Может быть, я не приметил в пути какого-нибудь разворота; может, вовсе не в Норильск прилетели мы, не за Полярный круг, а приземлились где-нибудь у обжитого уральского города? Но тундра-то без обмана, ее не спутать ни с чем, и мои норильские спутники сидят спокойно, придерживая авоськи с привезенными из отпуска фруктами. Они — дома. Автобус проходит у самого берега. Девушка в купальнике выходит из воды. За озером — еще завод с багровыми отсветами плавки, и еще гора, опоясанная горизонтами выработки.

Город начинается старой улицей. Большие деревянные дома, не бревенчатые, леса тут нет — экономят, строят засыпные, из досок. Впрочем, надо говорить не «строят», а «строили». Теперь строят совсем по-другому. Кроме нескольких деревянных кварталов, Норильск — город не деревянный, а каменный. Хотя и «каменный» — это здесь тоже устарелое слово. Новые дома Норильска изготовляются на большом домостроительном комбинате. Тягачи доставляют на площадку бетонные плиты перекрытий, балки опор, готовые стены. Но это я увидел потом. Сперва автобус пересек железнодорожный путь и выехал на полукруглую площадь.

Неподалеку виднелась платформа станции.

Платформа похожа на пригородную. Она и есть пригородная, а подальше построен вокзал по всей форме.

Дорога из Норильска ведет к Енисею, в порт Дудинку. Всей дороги — сто двенадцать километров. До других железных дорог отсюда не меньше двух тысяч километров — что на юг, что

на запад. А на восток — тундра и тундра, до самого края земли, до Чукотки.

Человека, у которого представления о Севере книжные, рассказом о Норильске удивить нелегко.

Город, где населения сто тысяч человек с лишком, стоит на семидесятой параллели.

— Ну и что,— скажет знаток географии.— В Мурманске жителей четверть миллиона, и тоже — шестьдесят девятая параллель.

Возразить трудно. Но только ведь Мурманск вырастал, когда к Кольскому заливу вела уже железная дорога из Ленинграда, и ехать по этой дороге — даже тогда — приходилось около двух суток.

И строился Мурманск на самом берегу Кольского залива, куда заходит теплый поток Гольфстрима, создавая здесь незамерзающий порт открытых океанских дорог. А Норильск поднялся в глубине Таймыра, на вечной мерзлоте. До воды — больше ста километров. Да к тому же и Енисей и море освобождаются тут ото льда на каких-нибудь два месяца в году.

Нордвик и мыс Челюскина, остров Диксон и Северная земля, пролив Вилькицкого и горы Бырранги — все это здесь географические понятия куда более «свои», все это лежит на расстоянии куда более близком, чем даже краевой центр — Красноярск.

И совсем недалеки еще времена, когда зимовать на Таймыре вызывались считанные смельчаки и их имена становились известными всей стране, как стали когда-то известны имена полярника Георгия Алексеевича Ушакова и геолога Николая Николаевича Урванцева, начавшего поиски в горах Путорана в 1919 году и нашедшего затем все те сокровища, ради которых и построен был здесь Норильск.

Урванцев начинал свои поиски вместе с последним подвижником-землепроходцем Никифором Бегичевым, принадлежавшим к тому же удивительному племени, из которого вышли в свое время Семен Дежнев и Харитон Лаптев, Савва Лошкин и Ерофей Хабаров. Мне еще случилось познакомиться с одним из людей этой доброй и редкостной закваски. Летом 1935 года зашли ко мне два моих приятеля — полярные летчики. Одним из них был Сигизмунд Александрович Леваневский. Вскоре он трагически погиб — на тех же ледовитых просторах,— отправившись в первый перелет из СССР в США через Северный полюс. Обстоятельства его гибели остаются неизвестными до сих пор. То была одна из последних наших встреч. Запомнилась она — легкой и беззаботной, не омраченной никакими предчувствиями. Летчики привели с собою незнакомого мне пожилого человека — высокого, прочного, с седеющими усами. Костюм сидел на нем так нескладно, что я принял его за воен-

ного, которому редко приходится ходить в штатском. Но он оказался северным охотником, «промышленником», как сам он себя называл. Летчики представили его: Журавлев Сергей Прокофьевич. Семья Журавлева жила в Архангельске; происходил он из тамошних поморов, но большую часть своей жизни провел на Новой и на Северной землях, а последние зимы на Таймыре. Жена тоже ездила с ним, и детей он брал туда, «чтобы привыкали». С Таймыра Леваневский и прихватил в самолет Сергея Прокофьевича — показать Москву, где тот никогда еще не бывал. Летчики шутили: мол, в Москве сник Журавлев, ходит оглушенный, надо его спиртом лечить...

Они в самом деле принесли с собой спирт, привезенный с Таймыра. И едва присоленную, золотую от обильного жира енисейскую нельму.

Но Журавлев пил мало. Он жаловался на головную боль, ворчал, что надо ему торопиться в Архангельск — готовиться к новой таймырской зимовке. Отправляться на промысел он и на этот раз собирался, как всегда, вместе с женой своей Марьей.

Потом он все же разговорился. Перебирал все девятнадцать своих зимовок, вспоминал Бегичева — с ним «промышлял» не раз. Рассказывал про последнюю таймырскую зиму.

Никто из нас не знал тогда, что в будущем году на Таймыре суждено начинаться Норильску.

Журавлев Норильска уже не увидел. После полета в столицу он никогда больше не вернулся на Таймыр. Оказалось, что в Москву Сергей Прокофьевич прилетел уже в самом деле тяжелобольным. Вскоре — в Архангельске — он умер.

Прощаясь, он оставил мне на память тетрадку своего дневника.

— Чего не рассказал, тут прочтешь.

Недавно я снова нашел эту тетрадку.

Помор-охотник начал ее эпиграфом, взятым из сочинений Фрэнсиса Бэкона: «С одними руками или с одним разумом недалеко уйдешь. Ни в области умственного, ни в области ручного труда ничего нельзя сделать без необходимых орудий и средств».

Занятно, что именно эти слова старинного философа привлекли внимание человека, который, как никто другой, всей собственной жизнью приучен был более всего полагаться на сноровку собственных рук и на свою сметку. За первым эпиграфом следовало четверостишие, написанное, как можно догадаться, самим Сергеем Прокофьевичем:

Что нам грядущее готовит:
Победы ль новые в боях,
Иль западню судьба устроит
Во мраке ночи и во льдах?!

Дневник свой Журавлев вел день за днем, со штурманской точностью, унаследованной, наверно, от дедов — поморских кормщиков. Скрупулезно отмечал широты и долготы тех мест, куда приводил его промысел. Но тут же и размышлял, рассказывал о спутниках, об охотничьих удачах и неудачах, о повадках зверя и нравах ездовых собак, о спорах и праздниках. Рассказывал с драгоценным талантом раскованной откровенности и внутренней свободы ума.

Последнюю зиму Сергей Прокофьевич Журавлев провел на северовосточной оконечности полуострова Таймыр, невдалеке от Нордвика и мыса Челюскин.

Тетрадь кончалась записью, помеченной 24 августа 1935 года.

Странно было подумать, что это писалось всего лишь за несколько дней до нашей встречи в Москве, в тогдашней моей восьмиметровой комнатке на Садовой-Самотечной.

### Страницы из дневника Сергея Прокофьевича Журавлева

«1935 год. 29 января. Из лагеря выехал в 12 часов курсом на Бегичев. Сначала та же адская дорожка. Но за километра четыре стало значительно лучше и показался остров Бегичев. Километров семь-восемь еду почти по гладкому льду, и навертывается мысль, что легко отделался. Но подожди кричать «гоп», пока не перепрыгнешь.

И что точнее всего — с километр до Бегичева не допустило. Такой хаос торосов, что пешком только и добраться, да и то с трудом. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. А вдоль залива, вдоль нордовой стороны Бегичева тянется поясина чистого ровного льда, пайда, резко ограниченная со стороны Бегичева непроходимым барьером. Видимость слабая, и дальше ничего не видно.

Поехал вдоль этого барьера. Ехал я, ехал, долго ли, коротко ли, в общем, до слепой темноты. Потом позволило курс держать к зюйду. В темноте увидел справа контур земли — подъехал и остановился. На льду нашел растерзанного волком оленя. Ноги лишь валяются и брюшина. Ноги забрал.

Что за местность, черт возьми?!

На берегу видно, что были люди осенью,— ведена съемка берега. Стоят старые песцовые ловушки — посники. Бездействуют. На Бегичеве ли я? Если вестовый край — указан низкий берег, а я вижу высокие наволоки и выпадающие реки. Утро вечера мудренее. Остановился на ночлег.

30-е. Утро ничего не принесло доброго. Остовый ветерок. С моря гонит туман, куржак, ничего не осмотришь. Что это?

Бегичев, или мыс Преображения, или Кара-Тумус? Поехал в остовом направлении — что-то объявится? Тут нашел я и низкий берег, так что два раза незаметно оказывался на земле. Видел стада оленей. В одном двенадцать голов, а в двух по три. Не до оленя мне, да и тихо — чуть с оста тянет.

Повернул к норд-осту, пошло дело. Похоже, что на Кара-Тумусе. Нашел значок, на нем записку: дата «3 сентябрь 1934 года» — два человека приходили, ушли на мыс Западный... Туман чертов! И в этой мрази вижу — контур земли, какое-то возвышение. Это не иначе, как гора Нордвикского мыска. Попер, зная, что скоро совсем закроет. Определил курс. Выходит, норд-ост! Лед от берега ровный, а дальше пошел торосистый, но я уже привык к худшему — еду, да и только. Стало совсем темно. Собаки изнемогли. Земля недалеко. Темнеет. Небо водяное. Бах! — подъезжаю — чистая открытая щель воды, с метр шириной. Вгляделся как следует, вижу — в полкилометре чистая вода. Ну и дела! Даже и секунды на размышление не было: лево на борт и — курс вест. В это время — нужно же року преследовать! — динамой продавило постельник на санях. Что тут делать? Хотел я бросить к дьяволу эту чугунину и удирать до берега. А завтра, если она морю не нужна, съездить подобрать. Но в конце концов перевязал снова, подложил обломки хорея для прочности и шкуру. Торос у берега ужасный, но не больше чем на километр отъехал, и представилась возможность выбраться на берег. Тут стоят давно поставленные в землю плавничины. Никаких признаков пребывания человека зимой в темноте не нашел. Проехал вдоль берега полтора километра. Но куда ощупью поедешь, если день потерян черт знает на что? Собаки едва живы. У передового палец совсем разболелся. Бедная собака — на трех ногах работать приходится и некогда беречься: угрожает отвалиться палец.

Остановились на ночь. Ветер вестовых румбов, сильный. Керосин весь в примусе вышел. Начало житье собираться все уже и уже. Собакам корма хватит дня на два впроголодь. Но теперь хоть на сухом берегу. Часа два-три назад положение было незавидное — после затишья оказаться у открытой воды, при раздувающемся горном ветре. Кто бывал в такой переделке, тот легко поймет, а кто не бывал, тому никак и не вообразить, чем тут пахнет. Медленная, мучительная и неизбежная гибель. Если оторвет на льду — лучше стреляйся, чтобы не мучиться.

Поставил палатку, согрел чай, и амба! Керосин нужно беречь. Примус гаснет. Черт знает, когда доберемся до живых людей. Хотя масса плавника на берегах, но в палатке огонь держать нужно. Забрался в мешок. Зло берет на слепую погоду.

31-е. Утро. Совсем обещает быть слепой день. Поднялся на верх острова. Видна вода с остовой стороны. Больше всего похоже, что это Встречный. Поехал к норду вдоль берега и через пятнадцать минут вижу дом и мачты рации. Это тоже неплохо. Зашел в дом, отрекомендовался бродягой с Прончищевой, и — чай пьем.

Собакам корма много, а это главное. Теперь — до доброй погоды пусть собаки отдохнут, и сам посушу одежду. Тело горит, что в огне, от пота».

Пропускаю записи трех месяцев.

Сергей Прокофьевич ходил за это время по песцовым капканам и медвежьим западням, расставленным на площади в несколько сотен квадратных километров, воспитывал вместе с Марьей ездовых собак, искал и нашел двоих заблудившихся полярников, повстречался на зимовке с Иваном Папаниным, который вместе с товарищами привыкал к Северу на Таймыре — перед тем, как отправиться на Северный полюс.

Этот прыжок на полюс еще только затевался, и о затее знали только считанные люди. Журавлев так и не узнал, зачем зимовал Папанин на Таймыре.

Взошло солнце. Полярная ночь сменилась полярным днем.

И вот снова — обыкновенные таймырские дни 1935 года:

«Май. 21-е. Собаки сильно устали. Один идиот Сокол — симулянт. Самая сильная собака, а не работает. Есть собаки — совсем щенок, а из последних сил тянет, просто жаль становится, а лодырь лодырем и останется. Ну, а будем кормить — чуть прогляди, сожрет и свою порцию, и у соседа непременно отнимет. Надаешь по морде палкой, а ему все равно.

Сегодня корма нет. Отдал отважным работникам весь свой запас: галеты, сухари и еще кое-что.

Прошел сегодня добрую сотню километров.

Стоял до тринадцати часов. Еду вдоль длинной горы по курсу к горе Волчьей.

Проехал Волчью, поднялся на водораздел и стал на привал.

Отдохнули три часа, еду дальше, сделаю километров тридцать — сорок, и если собаки совсем не пойдут, сегодня же убью одну, и пойдет на корм другим. Я этих вещей никогда не практиковал, но, может, сегодня придется — ослабели собаки, да и молоды еще для таких походов.

Погода портится, но ветер попутный. Еду. Отъехал километров с двадцать, вижу: едут на двух упряжках по два человека. Это наши ребята везут Прахова и механика на Самуил.

Съехались. Поздоровавшись, покалякали и хотели было разъезжаться, каждый по своему пути, но погода резко испортилась, повалил снег, и — никакой видимости. Остановились, распрягли собак, дали по куску мяса и моим собачкам (это

дело!). Я своего Бандита везу уже на санях: обессилел пес совсем, да пришлось еще за упряжку дать взбучку, ну и совсем не пошел. Ничего, заставлю работать, неправда!

Узнаю от ребят, что промысла нет в Прончищевой никакого.

Сала половина привезена на базу. Заготовлено дров на распутицу.

Рассказали, едет здесь с работой геолог Смирнов. Он только что, за час до нашего съезда, остался один. Должен ехать около гор к Прончищевой. И люди же есть! В такую дорогу затянут человек и оставлен без палатки. Что тут может быть?! Со своей стороны, так думаю: кроме хорошего, тут всего жди. Уже сейчас он обречен копаться в снегу и остается без воды для питья: при ветре примуса ему не разжечь. Сам весь будет мокрый — через десять — пятнадцать часов. А что дальше? Если погода будет продолжаться дней шесть — десять, ну и считай рыбу!

Нет, Арктику так не победишь. Надеяться на хорошую погодку можно лишь тогда, когда ты и для борьбы с самой плохой готов.

22-е. Поставили палатку и лежали до полудня.

Погода прояснилась. Свет от свежего снега такой, что без очков нельзя глаз показать на открытый воздух.

В тринадцатом часу я поехал искать Смирнова, а товарищи поехали по курсу к Волчьей горе. Я просил, чтоб спускались к Кресту. Там есть и корм и керосин.

Проехавши километров восемь — десять, вижу еще свежую, после снега, лыжницу. Но куда человек ездил, это понять трудно: управлять собаками не умеет, а они, видя это, вдосталь проявляют свои симулянтские выходки. Ездит, рисуя зигзаги.

Мне нельзя нипочем бросить лыжницу — нужно найти человека. Потом вижу — дело пошло лучше. Направление — вдоль гор, на Прончищеву. Погнался по следу. Километров сорок пришлось гнать, прежде чем догнал. Собаки у меня усталые, а у него сани легкие и собаки свежие. Работа его лишь в двух местах задержала. Наконец мои собаки взяли в вид движущуюся точку и пошли быстрее. Догнали!

Сразу поставили палатку, сготовили обед. Как и можно было ждать, Смирнов вот уже скоро сутки, как не пил воды, а пользуется снежком. Взял у него мясо и накормил своих собак.

Часа три отдохнули, поехали дальше, ехали до утра.

23-е. Стали лагерем в Большой Долине. Скормили весь запас мяса, что был у Смирнова. Погода дует вовсю. Снег валит вгустую. И то на пользу: пусть отдохнут собаки. Около палатки сделало такой забой, что некоторые собаки оказались в берлогах — на них добрых полметра снега. А у нас в палатке уют.

24-е. Сидели так около суток. В три часа начало продирать, хотя ветер все еще крепкий. В пять часов выехали, видимость есть, едем около гор, хотя и трудновато, но собаки отдохнули, кое-как бредут.

Отъехав километров за пятнадцать от лагеря, увидал оленя. И он меня. Конечно, был далеко, вне обстрела; олень убежал; еду дальше. Еще проехали километров пятнадцать — увидал сначала две точки. Гляжу в трубу — олени. Начал охоту. Подъехал на собаках, сколько позволила обстановка, и пошел осмотреться. Насчитал шесть оленей — быки.

Смирнова оставил у собак, сам пошел, но место неподходящее — далеко все на виду; выждал время, когда они стали переходить в долину. Подбежал на край долины и начал обстрел. Троих убил. Но сильный ветер, и стрелять пришлось после сильного бега, и не видно — куда падает пуля. Остальные ушли. Ну, нам пока хватит. Начал разделывать добычу. Смирнов подтянул обе упряжки собак к месту добычи. Как есть, в полном смысле этого слова, «подтянул», нипочем не идут у него собаки, вот же черти!

Возвращаясь за подзорной трубой — оставил в двухстах метрах, перед отстрелом,— увидел еще четверых оленей: спустились с горы и скрылись в зюйдовом направлении за бугром.

Разделал оленей. Дали осердья и часть мяса собакам, поставили палатку и греем чай. Стояли три часа. Собрали добычу на сани и поехали вперед. Проехавши километров десять, убил еще оленя. Второй подбежал к товарищу, хватил запаха крови, вмиг понял и скрылся за бугорком. Подъехали к добыче, я облупил, положил на сани к Смирнову, теперь у обоих по две туши. Олени все быки, крупные, вот и корму сколько хочешь — и себе и собакам. Едем около гор. Смирнов ведет условную съемку и берет образцы пород.

Часов в двадцать приехали в избу № 2. Тут есть моржовое мясо. Собак распрягли, я стал топить печку, варили языки.

Здесь после меня жили Смирнов и Долгобородов — так хозяйство заострено, что дров нет и полена. Придешь с поля голодный, усталый, а тут еще веди заготовку дров. Ну и люди!

Глаза у меня болят, приходилось днем работать без очков, и уже подействовало.

После хорошего ужина да после рабочего дня заснули хорошо. Собаки тоже спят как убитые».

Прошел еще месяц. Кончился июнь. Журавлев отметил начало полярной весны («22 июня. Ручьи пошли полным ходом»). Топили баню. У моря начали выкапывать из-под снега туши забитых зимой моржей. «Брили» сало, перебирали и со-

лили шкуры, чинили рыболовную снасть и приводили в порядок мотобот «Опыт».

В июле на диких оленей охотилась Мария Журавлева. Промышленник Павловский добывал гусей и нашел бивень мамонта. Смирнов приводил в порядок геологические находки и был ими очень доволен. Еще лежал снег. Но «езда на санях,— отметил в дневнике Журавлев,— это гроб. Собак только убивать». Шла охота на моржей и на белых медведей.

Пришел август.

«10-е. Слепой туман. Доделали пристань. Шкулев заправил крючье для разделки моржей и погрузки шкур.

Самолет из-за погоды не может вылететь. Смирнова хотят перебросить к пароходу на самолете — это для нас очень к делу: если раньше не было возможности пройти к Челюскину, то сейчас уже совсем не время. Во-первых, потому что начнется подход моржа и скоро пароход — нужно все манатки связывать. Приедут люди — у них своих делов полно... Да, интересно бы подзаняться рыбой. Но, наверное, не удастся...»

Прошло после этой записи недели две-три, и мы уже сидели вместе в Москве.

За окном ломали старый бульвар на Садовой, корчевали деревья, заливали асфальтом проезд — невиданной тогда ширины.

Старожилы толковали, будто улицу расширяют так для того, чтобы на асфальт могли садиться самолеты. Но чего ради это понадобилось — толком объяснить никто не умел.

Тетрадка Журавлева заканчивалась разными заметками. Отмечены были прочитанные за зиму книги («Остров Сахалин» Чехова и «Большое стадо» Жионо). Выписаны были откуда-то понравившиеся Сергею Прокофьевичу мысли: «Силу черпать можно в сопротивлении, и преображать себя...»

И еще, может быть, свое: «Толкований много! А если их много, то серьезная мысль не удовлетворится ни одним из них и к массе всех толкований спешит прибавить свое собственное».

Последняя строчка — запись для памяти: «Закупорено клыков моржовых по счету — 382».

Эта вот тетрадка и готовила меня ко встрече с Таймыром, которая состоялась почти тридцать лет спустя после знакомства с Сергеем Прокофьевичем Журавлевым.

В описанную им часть полуострова я попал раньше — за два-три года до полета в Норильск. В Нордвике и на Челюскине было куда многолюднее, чем можно было вообразить по тетрадке; там стояли прочные, хорошо обжитые дома, корабли подходили к капитальным причалам. Но с воздуха увидел

я вокруг ту же снежную пустыню, что описана в дневнике, и, наверно, человеку в ней было так же непросто, как в прежние годы. Отвоеванной у Арктики можно было считать здесь лишь узкую прибрежную полоску — на длину каната, за который могли держаться люди, пробираясь от избы к избе полярной ночью, в слепящей пурге.

Я понимал, конечно, что от Нордвика до Норильска лежит еще около тысячи километров — на Таймыре хватит простора и для географических неожиданностей, и для людского труда,— но ведь нельзя было забыть и того, что в пору, когда писал свой дневник Журавлев, а Смирнов брал первые образцы пород на северо-востоке полуострова,— такая же суровая ледяная пустыня была и в горах Путорана. А может быть, и еще более суровая, чем те места близ моря, где давно уже ходили зимовщики и куда летом приходили корабли по Северному морскому пути. И вот теперь автобус, шедший с Надежды, свернул от старой деревянной улицы и выехал через железнодорожный переезд на Октябрьскую площадь, откуда открывался приезжему новый Норильск.

## 7

Когда-то — когда еще не было в Москве Ленинского проспекта — пассажиру из Внукова так же открывался въезд в Москву, на Калужскую улицу: широкое, торжественное полукружье домов, с башнями, поднимающимися на углах кварталов. Так открывается и Норильск: полукружье, будто вычерченное циркулем, темный камень стен, этажи больших окон, массивные балконы, угловые башни; в центре площади — памятник Ленину, а за ним цветы на нешироком газоне, разделяющем асфальтовое полотно проездов.

Все построено прочно; площадь и улица, берущая здесь начало, спланированы одной рукой; дома на противоположных сторонах почти зеркально повторяют друг друга, различий не больше и не меньше, чем нужно, чтобы проспект не стал монотонным; в архитектурном вкусе чувствуется изысканная стройность, воспитанная, вероятно, на старых ленинградских ансамблях. И автобусы тут другие, не разболтанные по бездорожью, с целыми стеклами — видно, асфальта для них хватает,— нарядно окрашенные, с разными номерами и табличками маршрутов...

Ощущение миража: семидесятая параллель, вечная мерзлота, знакомая поговорочка, которую повторяют от Ямала до Чукотки: «Двенадцать месяцев зима, остальное — лето» — откуда же взяться этой прочности, этим ансамблям, способным украсить любой областной город общедоступной средней широты?! Однако тут начинаешь примечать некоторые подробности,

ускользающие от первого взгляда. То, что показалось сперва окошечками подвального этажа, на самом деле и не окошечки вовсе. И никаких подвальных этажей нет в многоэтажных домах проспекта, а чернеют под ними продолговатые продушины, чтобы морозный воздух свободно гулял под домами, не позволяя согреваться вечной мерзлоте, над которой дом построен на сваях. И газон, что протянулся вдоль всей улицы, устроен в бетонном желобе с насыпной землей. А под газоном проходит протянутая над асфальтом магистраль, подающая в дома горячую воду,— такая же, как в любом другом заполярном городе. Только всюду на Севере эти магистрали заключены в деревянные ящики и уродуют улицу, а в Норильске их поместили в бетонный футляр и на два летних месяца успевают засеять травой и цветами, чтобы стали они не уродством, а украшением.

Есть и еще другие приметы. Если очутиться на таком месте, с которого улица просматривается насквозь, до самой тундры, то в конце квартала то ли за семиэтажным, не без «излишеств», зданием горного техникума, то ли за розовыми, голубыми и песочными пятиэтажными корпусами совсем новых и по-южному веселых жилых домов,— непременно увидишь высокие дощатые щиты. Зимой они должны защищать улицы от пурги, бушующей в тундре. Говорят: защищают не слишком надежно. И эти щиты на вылетах улиц в болотную тундру, начинающуюся тут же, у самых домов, всего красноречивее говорят о городе, о его многомесячных и нелегких зимах, о труде людей, которые сумели создать здесь, в недавно еще не хоженных местах, такой удивительный остров привычно удобной жизни. Ведь не только мончегорские, но и запорожские никельщики, не только уральские, но и зангезурские медеплавильщики, приехавшие сюда, на молодые заводы, нашли в Норильске почти все то, к чему привыкли в оставленных ими, давно обжитых городах, да еще и прибавили к этому душевный комфорт, обретенный в особой гордости первообживания труднодоступных мест, в испытанном чувстве приключения, да к тому же приключения, обернувшегося для них удачей.

Тот август был в Норильске редкостным.

Жара доходила до тридцати градусов.

Купальщиков можно было увидеть не только на неглубоких, быстро прогревшихся горных озерах, но даже и в быстрой, широкой, всегда обжигающе холодной реке Норилке.

Отправившись на первую прогулку из отличной здешней гостиницы (с горячей и холодной водой в удобных номерах; еще не встречал я такого в Заполярье нигде, даже в Мурманске),— в трех минутах ходьбы от Гвардейской площади я снова увидел траву и цветы, на этот раз уже не в бетонных желобах, а на обширном пространстве самого настоящего молодого

сквера. Вдоль дорожек тянулись к солнцу хлыстики-деревца. Мимо скамеек сновали ребята в педальных автомобилях. Девушка читала фармацевтический учебник. Молодая мама перепеленывала оскандалившегося младенца. Примостились в сторонке и трое парней, скинувшихся на поллитровку. Будто для того только, чтобы подчеркнуть, как здесь все обыкновенно. А в безоблачном небе — жаркое солнце. Парни — без пиджаков; будущий фармацевт — в легком открытом платье; мама — в светлом костюме. В глубине сквера пестрыми флагами обозначен вход на стадион, и даже странно читать, что называется он «Заполярник», и плакаты объявляют здесь выступление той самой футбольной команды, которая вчера еще, под холодным сыктывкарским дождем, не могла дождаться вылета на закрытую непогодой северную Надежду... Можно подумать, что ты ежели и не в Крыму, то уж, во всяком случае, не севернее степных украинских широт.

Но обыденность тут как раз больше всего и говорит о необычайности всего видимого: то, что здесь, в Норильске, люди могут жить обыкновенно, это и есть самое удивительное. И не от знойного солнца показалась здешняя тундра самой теплой из всех виденных на протяжении трех десятков лет — солнце греет считанные дни, а так, как в то лето грело, далеко не всякий год и бывает. Нет, дело было, если можно так сказать, в климате человеческого самоощущения в этой вот тундре.

Не знаю, быть может, то же самое смог бы я почувствовать на этот раз и в Воркуте, если бы самолет там задержался подольше. История у обоих городов совершенно одинакова, и шесть лет для нас — срок очень долгий. В Норильске следы той старой истории совсем исчезли с поверхности, и, чтобы отыскать их, пришлось бы затевать раскопки в человеческих душах. Этого делать я не стал.

Иногда все же история напоминает о себе и сама.

Как-то мы шли по улице с пареньком из норильского телецентра. Паренек показывал новый квартал, говорил о спорах здешних архитекторов. Вспомнили проект, который появился недавно в нескольких центральных газетах и журналах. Группа молодых градостроителей — не то москвичи, не то ленинградцы — предложила строить в Заполярье города с искусственным климатом: весь город под прозрачным синтетическим куполом; за куполом остаются пурга и шестидесятиградусные морозы, а над городом круглый год светят искусственные солнца, в купальных бассейнах подогрета вода, в земле можно выращивать хоть помидоры, хоть пальмы; ясельные дети играют в песочек. Изложено все было весьма обоснованно и солидно и звучало (особенно для тех, кто успел хватить и пурги, и морозов, и комаров, которых, конечно, под купол не пустят) прямо-таки оглушительно. Однако здешние архитекторы, которые на веч-

ной мерзлоте не только строили, но и сами прожили долгие годы, сразу же стали задавать себе множество вопросов:

— А как же быть с этой мерзлотой, когда она, отогретая искусственным солнцем, станет превращаться под куполом в болотную топь?

— Строить эти города не на мерзлоте, а на каменных монолитах? Да разве отыщешь их так просто в любом нужном месте? Тут недавно в новом поселке нужно было на таком монолите поставить три многоэтажных дома, так ведь обыскались, покуда нашли подходящую площадку. Для трех-то домов! А тут — целый город.

Ну, и еще вопросы — посложнее.

Ведь города-то строятся не сами для себя. Их жители будут работать на рудниках, на нефтяных промыслах, на заводах. Что ж, рудники и заводы тоже под купол?

— А если не под купол, то смогут ли люди жить в круглогодичном летнем тепле, а на работу выходить каждый день в жесточайшую стужу? Какой организм способен справиться с такими скачками?

— А как повлияет не только на физическое здоровье, но и на психику человека эта постоянная жизнь всего населения города под одной крышей — неизбежно скученная, неизбежно на виду друг у друга? Тоже ведь есть еще над чем подумать. Достаточно ли человеку искусственного климата для райской жизни?

— Здесь, в Норильске, — рассказывал мой спутник, — родилась другая идея, чуть поскромнее, и тоже еще не до конца обдуманная и проверенная.

Речь шла о предложенном здешними — тоже молодыми — архитекторами проекте десятиэтажного дома, построенного замкнутым прямоугольником, с крытым двором внутри замкнутого пространства.

Но про этот дом спутник мой не договорил и вдруг подтолкнул меня локтем, указывая глазами на противоположную сторону улицы. Там невысокий пожилой человек в просторном мешковатом пальто неторопливо — руки за спину — переходил на тот квартал, за которым сразу начинался пригорок, поросший крупными розовыми цветами. Дома тут были еще не достроены, направо виднелось за ними озеро Долгое, по обе стороны озера — заводы, дальше — рудники на горе Шмидтихе и на Медвежьем ручье.

На все это — на дома, на озеро под облаком заводского дыма, на раскопанные горные склоны — очень пристально глядел прохожий сквозь толстые стекла больших очков.

— Урванцев, — шепнул мой спутник. — Вчера прилетел. Каждый год сюда прилетает.

В старом городе, на Горной улице, я видел бревенчатую избу, сложенную из темного плавника. Памятная доска сообщала, что изба построена экспедицией Николая Николаевича Урванцева летом 1921 года. В первый раз, за два года перед тем, молодой геолог ходил здесь с тремя помощниками. Увиденное показалось ему фантастикой. Вернувшись, раскладывая перед слушателями привезенные образцы пород, Урванцев убедил расширить фронт поисков. Представим себе двадцать первый год, вспомним доклад Владимира Ильича Ленина Десятому съезду РКП(б), вспомним голод, разруху, все то, что переживала в то время страна, и ассигнование денег для поисков руды на недоступном Таймыре откроется нам такой же фантасмагорией, как начинающее «Аэлиту» Алексея Толстого объявление на петроградской улице Красных Зорь. Помните? «Инженер М. С. Лось приглашает желающих лететь с ним 18 августа на планету Марс явиться для личных переговоров»...

Таймыр был не ближе Марса. Туда не летали самолеты, Северного морского пути еще не было. Лишь на два месяца открывался путь водой, вниз по Енисею, — до Дудинки, а оттуда на оленьих упряжках.

Весной 1922 года перед одинокой избой, что нынче оказалась на застроенной Горной улице, впервые прошла первомайская демонстрация. Есть фото: пятьдесят участников геологической партии — все население еще безымянного поселка — проходят в тулупах и малицах, трамбуя снег.

Позже, когда снег стаял, они заложили первые штольни на горе Шмидтихе, и тогда подтвердилось, что можно добывать здесь в промышленных количествах богатейшие полиметаллические руды — медь, никель и многое другое.

Но еще четырнадцать лет должно было пройти, прежде чем открытое Урванцевым и его товарищами богатство могло быть взято с Таймыра, прежде чем близ рек Норилки и Пясины начал строиться будущий горнометаллургический комбинат. А еще два года спустя Николаю Николаевичу Урванцеву было предъявлено обвинение в том, что он ввел правительство в заблуждение: данные его разведок, мол, вредительски преувеличены; на самом же деле таймырских запасов недостаточно для того, чтобы построенное здесь могло окупиться и просуществовать долгое время. Речь шла о зря потраченных миллиардах рублей, о загубленной — и какой же нечеловечески трудной! — работе тысяч людей. Урванцев ничего не смог опровергнуть, обвинение сочли доказанным, и сорокалетний геолог канул безвестно в один из дальних лагерей — на срок, которого ему с избытком должно было хватить до самого конца его дней. Кто знает, как обернулась бы судьба его, если бы начальником Норильского комбината не был вскоре назначен

А. П. Завенягин. Умный и широкий организатор промышленности, воспитанный в той замечательной плеяде, какую Г. К. Орджоникидзе выпестовал на стройках первых пятилеток индустриализации, строитель Магнитки, — Завенягин достаточно ясно понимал (как, впрочем, понимали это и все, с кем он повстречался в Норильске): назначение его за Полярный круг означало опалу. Это не было неожиданностью. Все, кто работал рядом с Серго, испытали после его смерти то же самое. Но для многих внезапная опала обернулась трагически; Завенягину же выпал вариант далеко не худший. В Норильске его ожидал непочатый край работы и даже относительная независимость. И он привычно принялся за работу. Начал Завенягин с того, что принялся разыскивать всех людей, которые знали Таймыр и успели оставить на этой земле добрый след, а также производственников, хорошо знакомых с цветной металлургией. Он искал таких людей по самым отдаленным домашним адресам, разыскивал на фронтах уже начавшейся в то время Отечественной войны, добивался демобилизации и откомандирования. Шутка ли, цветные металлы! Среди всех фронтов — этот был тоже одним из решающих. Даже в лагерях удавалось находить Завенягину тех, кто был ему нужен. Имя Н. Н. Урванцева стояло в его списке одним из первых.

Завенягин отыскал геолога, добился его перевода в Норильск (ведь и это тоже был лагерь), а по приезде немедленно расконвоировал, как это тогда называлось, и вернул к привычной работе в привычных, давно обжитых им местах.

Там, до приезда в Норильск — на этот раз по этапу, — Урванцев имел все основания считать, что никакого Норильска вообще не существует. Разве собственное его дело не говорило о том, что найденного на Таймыре геологами так до сих пор и не сумели увидеть, не поверили, что руда есть, кроме Шмидтихи, еще во множестве других мест — их хватит тут не на годы, а на сотни лет.

Но из Дудинки Урванцева повезли по невиданной им здесь прежде железной дороге, и глазам его вскоре открылся построенный город. Рудники ярусами опоясывали знакомые горы, на местном угле работала огромная теплоэлектроцентраль, руда превращалась в чушки металла.

Урванцев снова встретился с прежними своими сотрудниками и учениками. Они продолжали ходить по проложенным им маршрутам. И он тоже возвращался на проторенные тропы таймырской тундры.

Так что же произошло с ним? Откуда взялось и кому понадобилось все его дело, которое на годы оторвало Урванцева от дела действительного и поставило его перед такой страшной пустотой — перед полным крахом всей прожитой жизни?

Но так устроен человек, что — «расконвоированный» — он

может тут же испытать радость, от которой забывается все. Так и случилось с Урванцевым, когда он увидел Норильск.

После первых его поисков на Таймыре в начале двадцатых годов здесь работало много экспедиций, и таймырские находки, конечно, не могут быть названы находками одного Урванцева. В любой науке, в том числе и в геологии, победа — это всегда дело коллективное, и если говорить о тех, кому обязан Норильск своим существованием, пришлось бы назвать не один десяток имен. Но все же первым пришел сюда именно Урванцев, и его поиск, начатый сорок пять лет назад, все еще продолжается.

Повстречавши Урванцева на прогулке, мой спутник рассказал, что так проходит он по городу всякий раз, прилетая сюда из Ленинграда. Проходит от первого деревянного дома, им собственноручно поставленного, до новых кварталов Ленинского проспекта. С каждым годом дорога удлиняется: город уходит все дальше. В начале маршрута, невдалеке от первого норильского дома, находится площадь старого города — между управлением комбината и проходной никелевого завода. На площади стоит теперь памятник А. П. Завенягину. Синие камнеломки и августовский поповник цветут на клумбе.

Завенягин умер вскоре после войны.

Память по себе он оставил не только в том, что успел построить при жизни. Он сумел уберечь от отчаяния не одну человеческую душу, а это давалось не легче, чем добыча цветного металла на семидесятом градусе северной широты.

С Николаем Николаевичем Урванцевым я хотел познакомиться на следующий день после случайной встречи на прогулке. Но не удалось. Оказалось, спозаранок он уехал на вездеходе «в поле» вместе со здешними геологами, и вернутся они не раньше, чем через две-три недели.

У меня в Норильске оставалось еще много дела, много назначенных встреч, и присоединиться к геологам, как очень хотелось, было нельзя. Кинооператоры, которых я догонял от Москвы и застал в Норильске, чтобы делать для них сценарий документального фильма, торопились к «уходящим объектам». Так говорили они о тех местах, где следовало снимать поскорее, пока не ушло короткое полярное лето.

Среди этих мест была Хантайка.

Это название только начинало становиться известным.

Норилка, Хантайка — так могли бы называться ничтожные ручейки. Но реки Таймыра широки и сильны. А Хантайка, впадающая в Енисей, порою стремительно врывается в тесные скалистые каньоны, вскипает на каменных порогах и несет в себе огромный запас неиспользованной энергии.

Тут и решено было строить гидроэлектростанцию — почти на семидесятом градусе северной широты.

Строительство только начиналось.

На Хантайке гидрологи и геологи еще уточняли природные условия, проверяли, верно ли выбран створ будущей плотины. Строители только начинали ставить поселок. Управление еще находилось в Норильске, в одном из деревянных домов старого города. (Кстати, «старым» он стал, когда ему еще не исполнилось и двадцати пяти лет.) В комнатах управления поражало изобилие цветов — спускались по оконным стеклам суставчатые стебли камнеломки, тундровые букетики можно было увидеть на каждом столе; незнакомые кустики, покрытые синими и розовыми цветами, выстроились на подоконниках. Люди, которые работали здесь среди цветов, словно бы старались удержать короткое полярное лето, не расставаться с ним подольше, все время чувствовать его рядом с собою.

И вместе с тем обилие заботливо ухоженных цветов только подчеркивало господствующее в комнатах ощущение временности. В каждой комнате кто-то деловито собирался в дорогу и кто-то другой только что появлялся с аэродрома: между Норильском и Хантайским озером по нескольку раз в день ходили «антоны» и вертолеты, с ними отправлялись на стройку новые партии рабочих и откомандированные сюда молодые специалисты — вчерашние студенты.

Одного из начальников я застал как раз во время разговора с Красноярском: можно было понять, что управленцев торопят, чтоб перебирались они поскорее на строительную площадку. А начальник объяснял, что переехать можно будет только через три недели, — дом только строится, раньше не успеют закончить. Потом можно было снова понять по ответам, что Красноярск настаивает, обвиняет управленцев в том, будто не хотят они расставаться с большим городом, с удобствами. Вот оно как выходило: открывался Норильск новой своей стороною, — уже стал он городом, где ищут удобств, увиливая от «периферии»...

Наверно, по телефону начальнику дан был твердый срок переезда, и он его принял. Потом он сам пошел в наступление на областное начальство: почему задерживаются обещанные баржи со строительными материалами? Где саперы? Ведь мост надо строить. Сейчас берега пора связать прочно, а то работа стоит...

Все это вроде бы и не относилось к самому Норильску, но на самом деле показывало и его в новом свете.

Норильск перестал быть островком посреди неосвоенной тундры. Он стал настоящим промышленным центром большого района, вовлекая в свою орбиту новые и новые рождающиеся города, которые растут еще стремительнее, чем недавно вырастал сам Норильск.

И чаще других названий слышалось здесь то самое, о котором говорилось еще на сыктывкарском аэродроме:

— Талнах.

Через улицу, ведущую к норильскому стадиону, был перетянут броский транспарант: «Талнах зовет!»

И мы поехали на Талнах.

8

У геологов дела на Талнахе почти закончены. Призыв «Талнах зовет!» относится уже к строителям, горнякам, эксплуатационникам. Но кое-какие хвосты у геологов еще тоже остались.

Мы отправляемся туда вместе с ними.

Путь недалекий. От Норильска — всего километров двадцать пять.

Дорога еще плохая, та самая, на которой местные автобусы теряют стекла и ломают рессоры. Она идет мимо нескончаемой трубы. Обшитая для утепления досками, труба тянется над землей, над мшистыми кочками тундры, до самой реки Норилки. Можно догадаться и без расспросов, что она подает оттуда воду на обогатительные фабрики комбината. На берегу Норилки стоит здесь поселок Валек — один из пригородов Норильска. Тут есть дома отдыха для горняков, пристань, прогулочные лодки.

За Норилкой поодаль — гряда невысоких гор. До половины горы поросли редким лесом, а на верхушках чернеет каменная осыпь.

Там, у подножья этих гор, рассказывают геологи, и были найдены знаменитые талнахские руды.

Автобус остановился у самой реки.

Из будки, стоящей на берегу, вышла девушка. Шофер привычно пошутил с нею, она ответила, заглянула в машину и велела всем пассажирам выходить.

Через Норилку следовало переправляться по наплавному понтонному мосту. Оставаться во время переправы в машинах пассажирам запрещалось. Может, случилась когда-то на мосту неприятность с машиной. А может, просто установили такой порядок, чтобы никаких «случаев» и быть не могло.

Автобус потащился по бревнам неширокого настила.

Мы пошли пешком, минуя рыбаков, следивших с края моста за пестрыми поплавками, отнесенными быстрым течением.

От берега до берега пройти надо было метров шестьсот.

Бревна покачивались под ногами. На реке, у середины моста, маневрировал катерок — просил гудками, чтобы та же девушка развела понтоны и пропустила его в верховье.

Когда мы подходили к самому младшему из рыбаков, мальчонке лет двенадцати, красная верхушка гусиного пера на его

леске небыстро ушла под воду, снова вынырнула и опять исчезла с поверхности.

— Клюет, раззява! — неожиданно закричала девушка — самая спокойная из геологов, ни слова не проронившая за всю дорогу.

Мальчонка дернул. Уже над рекой небольшой сижок соскользнул с крючка и звучно шлепнулся в воду.

— Подсекать надо было!

Это опять прокричала — рассерженно и громко — та же милая девушка-геолог. Ее товарищи засмеялись.

— Люда! А ты когда-нибудь удочку в руках держала? — спросил бородатый парень в малиновом лыжном костюме.

Засмеялась и Люда.

— Возле вас, охломонов, научилась. Сам же всегда кричишь: «Подсекать надо!» Помнишь, когда Лукин хариуса упустил?

— Это, имей в виду, к нашему делу тоже относится, — сказал малиновый. — Тоже ведь не всегда подсекаем.

Они посыпали специальными словами и странно звучащими географическими названиями: Дудыпта, Попигай, Гольчиха. Наперебой вспоминали, где ходили, что видели и на что (как уверял малиновый) зря не обратили внимания. По малиновому, так получалось, что геологическая добыча уходит от того, кто не удосуживается сопоставить все идущие к нему в руки приметы. Такое бывает: «не подсекли» — вот и сорвалась нефть.

А он был уверен, что и нефть здесь должна найтись тоже.

— Тут все есть, — сказал он убежденно.

Люда возражала: как же это может быть, чтобы увидеть и не сопоставить?! Разве такие геологи бывают? Это уж тогда не геолог, а...

Она даже сравнения не нашла.

— Эй, тетка! — закричал за спиной тонкий голос. — Тетка в штанах!

Мальчонка махал рукой. В другой его руке серебрился верткий длинненький сиг, раза в два, наверно, крупнее упущенного.

Мост кончился. Автобус стоял впереди, на взгорке. Мокрая выбитая колея уходила кверху.

— Смотри, голубики сколько! — сказал нам шофер. Дожидаясь заспоривших на мосту геологов, он вылез из кабины, растянулся ничком на придорожных кочках и собирал вокруг себя голубику горстями. — Это ж надо, каждый день тут ее сколько народу обрывает, а она никуда не девается...

Мальчонка на мосту все еще кричал и прыгал и угомонился только тогда, когда его сосед, круто сгибая удилище, вытянул на настил что-то совсем большое, и не серебряное, а темное, и тогда уже не крик, а словно бы дружный вздох донесся с моста.

— Похоже, таймень, — сказал шофер.

Мы заняли свои места, и автобус пошел дальше, к Талнаху.

Здесь только на дорогу успели ступить люди. По сторонам же земля казалась вовсе нехоженной. А на дороге машин встречалось много: тягачи и «газики», громыхающие траками вездеходы и самосвалы. Во многих местах еще трудились дорожники, и казалось, что труд их столь же бесконечен, как легендарная работа Сизифа: как ни бутили они камнем разъезженную дорожную колею, камень тут же уходил в зыбкую почву, и пока наш автобус трясся по немыслимому объезду, я сам видел, как большой самосвал вывалил свой груз на нескольких метрах дороги, и вся эта куча камня успела тут же, на глазах, кануть в топь.

Однако сосед мой сказал с той же убежденностью, с какой говорил только что о таймырской нефти:

— В будущем году тут покатим, как из Москвы в Шереметьево. За полчаса будем из Норильска в Талнах добираться.

Я вспомнил утопленные только что тонны камня и усомнился.

Сосед возразил:

— Приезжайте, сами увидите. Нам теперь без дороги никак не прожить. Значит, будет.

А пока автобус грохотал на ухабах, всем участникам разговора приходилось надсаживаться, чтобы их можно было расслышать, и понятным становилось только то, что, по общему мнению, дорога на Талнах будет в срок непременно, а, кроме того, к будущему лету сделают еще вместо понтонного и большой, «настоящий» мост через Норилку.

Не только шоссе, но и железная дорога пройдет на Талнах.

— Думаете, от Дудинки к Норильску легче было построить? И там и тут — тундра одна. Так то ж когда строено?! Теперь-то все проще...

И про камень, уходящий в болото, малиновый прокричал, что сам он участвовал в точных расчетах — тундра вовсе не бездонная; камня понадобится здесь много, но строители уже в точности знают, сколько же именно его нужно, чтобы дорога легла на прочное основание.

Попутчики мои как бы переселились в завтрашний день и уже оттуда снисходительно оглядывались на все, что нас окружало. А пока что уже второй час пути кончался, а нашим двадцати пяти километрам все еще не видно было конца.

По обе стороны дороги — не будущей, а нынешней — открывались места нетронутой и удивительной красоты. Кривой сосняк и осинник был тут повыше и погуще, чем положено в этих широтах. Одно озеро, неширокое, длинное и извилистое, переходило узким проливом в другое, разлившееся просторно, со странными островами, медленно двигающимися под несиль-

ным ветром. Высокие травы и переплетенный кустарник закрывали подходы к воде, под травами угадывалось топкое болото, а на озерах видно было, как у самой поверхности стрелой пролетает жирующий хищник, а стайка мелкоты кидается от него в стороны, поднимая множество сверкающих брызг.

Озера тянулись одно за другим, лес был просвечен солнцем, ягодники виднелись прямо с дороги — останавливайся и ешь, сколько влезет!

И горы все приближались. Не такие уж мелкие, как издалека показалось.

— Медвежья гора, — показала Люда.

— Так ведь Медвежья в Норильске?

— И тут Медвежья. Тут больше похожа. Смотрите.

Верно, похожа. Может, не так на живого медведя, как на гурзуфскую Медведь-гору. Так же поднят широкий зад, и так же уронена голова в передние лапы. Только опущена голова не в море, а все в ту же плоскую, бескрайнюю тундру. И неподалеку от головы видны постройки.

Это и есть Талнах.

За несколько дней, проведенных в Норильске, о Талнахе переговорено было со многими. И всех собеседников (а были среди них и геологи, и медеплавильщик, и два архитектора, и школьная учительница арифметики, и гостиничный сосед мой, прилетевший с Хантайского озера, — разных возрастов и разной жизненной школы люди) — всех их одно только упоминание о Талнахе приводило прямо-таки в праздничное состояние духа. А ведь большинство из них ни в талнахских находках, ни во всем том, что должно было происходить в Талнахе в дальнейшем, лично никак заинтересованы не были.

В чем же была суть дела? Именно там, на Талнахе, с лихвой оправдались самые смелые из давних предположений таймырских изыскателей (и Николая Николаевича Урванцева в их числе). Там открыты были полиметаллические руды, куда более богатые, чем те, что до сих пор разрабатывались в Норильске. И притом в таких количествах, что добыча их и переработка будут продолжаться многие и многие десятки лет. Все это обнаружилось очень близко от Норильска, и освоение новых месторождений не сулило никаких особых трудностей по сравнению с тем, что было уже сделано на Таймыре.

Талнах, таким образом, означал для Норильска новый расцвет и гарантию долгой и славной жизни.

И то, что стольким людям это принесло личную радость и все еще продолжало приводить их в праздничное состояние духа, было наилучшим свидетельством проявления нового чувства к своему городу. Человек, который приезжал сюда, будучи завербованным на три года, мог потом, вернувшись в привычную

обстановку, сохранять благодарную память о прожитом здесь времени, о хорошо пройденном им испытании («Есть о чем вспомнить — хлебнул трудного дела и не осрамился»). Но, место следующему он освобождал чаще всего без сожаления и возвращался отсюда с радостью — потому что дом его был в другом месте. Для всех же, кто радовался Талнаху, Норильск стал родным городом — дом их был здесь.

И водители ярких педальных автомобилей, которые носятся по дорожкам у входа на стадион «Заполярник», мимо хлыстиков-деревьев, — они не только родились здесь, они тут и вырастут, и в школу пойдут, и станут коренными, урожденными «норильчанами».

Это уж будет второй такой — после Мурманска — город за Полярным кругом. Только он шагнул ближе к полюсу еще на целый градус северной широты и очень далеко отстоит от теплых течений. Окрестная тундра согрета собственным его теплом.

Талнах теперь — неотъемлемая часть Норильска и вместе с тем верный залог его многих и славных будущих юбилеев.

Неверный дощатый мост.

Под мостом — разлившаяся по камням неглубокая, но быстрая тундровая речка. Это и есть Талнах. От реки пошло имя Находки, имя нынешнего временного поселка, завтрашнего города.

Мы переправляемся на тот берег не по мосту, а рядом с ним, прямо по камням, плотно утрамбованным покрышками многих прошедших здесь тяжелых машин и гусеницами вездеходов. Водителям так, вероятно, удобнее. А когда автобус выезжает из реки на пригорок — прямо перед нами открывается строительная площадка с буровой вышкой в центре. Тут начата проходка первого ствола будущего рудника «Маяк». А дальше, высоко над лесом, поднялись краны. Там строят город. На первые двадцать тысяч жителей. И говорят, что дома будут десятиэтажные — на монолитной скале.

Автобус не останавливается.

Дорога входит в лесок, но не становится лучше. Деревья закрывают длинную хребтину Медвежьей, которая до сих пор была видна нам все время.

В деревьях показывается длинная улица палаток. Им придется простоять здесь еще и зиму. Но зиму единственную и последнюю. К будущему лету для строителей и первых шахтеров будут готовы дома.

Они в самом деле будут готовы.

То, что говорил геолог в малиновом костюме, действует тут как общий закон: «Нужно — значит, будет».

Тем временем от палаток к только что покинутой нами строительной площадке «Маяка» выходит цепочка шахтеров

с фонариками и в касках. Стройка, проходка, добыча — все происходит одновременно: «Нужно!»

За палатками течет Талнах.

По берегу — несколько рыболовов без удочек. Они высматривают рыбу в мелком русле и пытаются ловить ее ведром или просто майкой.

Стайка девчат, разувшись, переходит Талнах вброд и скрывается в леске, где палаток никаких уже нет, но зато начинаются ягодники и грибные лужайки, на которых крупные подберезовики и подосиновики растут среди оленьего мха, темнея по жесткому серебру. Пройдет всего две-три недели, не успеешь оглянуться — и на несъеденные ягоды и несобранные грибы сразу ляжет снег.

— Чем же тогда развлечься в свободное время?

— Ну, прямо-таки не знаем! — говорит с издевочкой рослая прочная девица в таком же, как у парней, обтерханном лыжном костюме. — Лыжи же будут! Ведь ждем не дождемся этого снега!

Она живет в третьей палатке, работает в столовой (две ее соседки из той же палатки работают на строительстве малярами, четвертая — коллектор геологической партии). Все уверяют, что в палатке так тепло, что и на зиму оставаться не страшно, даже, мол, жалко, что женщин собираются переводить из палаток в деревянный барак. Но тут, наверно, не без того невинного бахвальства, которое часто заставляет «слабый пол» хвалиться выносливостью и закалкой перед полом «сильным».

Готовые бараки тоже стоят улицей, ближе к Медвежьей. На этой улице и столовая, где работает отчаянной души лыжница, готовая зимовать в палатке, и небольшой клуб, и помещение, в котором геологи занимаются «камералкой».

Геологи еще не ушли с Талнаха.

Их палатки можно узнать по длинным ящикам с кернами, нагроможденным у входов.

Керны — аккуратные круглые столбики серого, порой почти черного камня, добытые при помощи буров на разной глубине, в скважинах, точно отмеченных на карте. На взгляд непосвященного, все эти каменные столбики — диаметром сантиметров в двенадцать и высотою в тридцать — похожи, как близнецы, и непосвященному они не говорят решительно ничего. Для геолога каждый ящик — это красноречивый рассказ, иногда монотонно негромкий и наводящий грусть, иногда радостно-звонкий, как призывный крик. В том, что покажется нам куском серого камня, геолог увидит множество пестрых вкраплений, и они расскажут ему, пробурена ли скважина зря, или надо идти дальше, вглубь. Или, может, еще искать тут же, по соседству. А черные керны — это и не камень вовсе, а самая

большая радость геолога, почти чистый металл. Эти черные камни добыты как раз здесь, где стоят палатки.

Это и есть Талнах, его призыв, его суть.

Керны еще дают материал для вычислений, для окончательных подсчетов, для новых геологических карт и последних докладных записок, подготовляемых «для Москвы», то есть для окончательных наметок Госплана. Но главное и без того уже ясно. Недаром же в Сыктывкаре чуть не половина пассажиров, ожидавших отправки, собиралась в Талнах, ничего еще толком о нем даже не зная. Первый плакат, увиденный в Норильске, был как бы переводом с немого языка черных геологических кернов: «Талнах зóвет!» А у самой Медвежьей горы другой плакат встречает приезжего: «Талнах — Всесоюзная ударная комсомольская стройка». И рядом со словами — ленинский профиль, точно такой же, как во Дворце съездов в Кремле.

Два грузовика с новичками пришли вслед за нашим автобусом прямо с Надежды. Перемахивая через борт, попрыгали из кузовов голенастые ребята в кедах и кепочках, с яркими, но тощими рижскими рюкзаками через плечо. В грузовиках оставались девчонки, они сходили степенно, опираясь на протянутые к ним руки, нащупывая колесо ногами в стоптанных, сбитых туфлишках или в таких же, как у ребят, синих с белой резиной кедах.

— Откуда? — справился высокий крепыш в штормовке, подоспевший встречать пополнение.

— Из лесу, вестимо, — тоненько откликнулся лохматый очкарик.

— Умолкни, Копыто, — оборвал очкарика спортивный и очень ухоженный мальчик, единственный, у кого вместо сумки были небольшой чемодан и портфель. Он сказал крепышу в штормовке:

— Мы — костромские.

Другой отрапортовал:

— Ленинград.

Маленькая, очень широкая в кости девушка хрипло, но браво доложила:

— Из Горького мы. — Оглядев крепыша с нескрываемым неодобрением, она спросила: — А ты из райкома или что тут у вас?

Тот рассмеялся:

— У нас Талнах.

— А жить мы где будем?

Крепыш неопределенно обвел рукой вокруг, очерчивая участок земли у берега.

— Здесь. Палатки ставить умеете?

Для начала новоприбывших повели в столовую.

Тем временем в палаточном городке геологов, возле ящиков с кернами, я увидел двоих недавних норильских знакомцев. Мы повстречались впервые день или два тому назад в одном из деревянных домов старого города. Геологическое управление доживало там последние недели. Достраивался для него неподалеку большой новый дом. Старожилы готовились к новоселью не без сожаления. В темных коридорах и на скрипучих лестницах старого дома им предстояло оставить слишком много воспоминаний.

Мне назвали того, кто «знает все о Талнахе», и проводили к нему.

Однако стоило лишь приоткрыть дверь в комнату, которую мне указали, чтобы понять, что никакой разговор невозможен.

В просторном кабинете, как во всех почти комнатах здешних учреждений, было очень много цветов. Но жалко было смотреть на них сквозь сизые облака табачного дыма. Весь кабинет был заставлен столами. Здесь-то и шла работа над последними отчетами о талнахской находке, и люди расходились за полночь, чтобы спозаранок снова собраться у тех же длинных, заваленных бумагой столов.

Окурки выносили ведрами и комнату не успевали проветрить. У всех здесь лица стали изжелта-черными, выходить же для перекура было некогда, просить курильщиков о воздержании тоже было не время, и чернота под глазами некурящих, освещенная еще и мученическим мерцанием взгляда, пробуждала у постороннего острое сострадание. Какой уж тут разговор?!

Но вот прошел день — и двоих из этой комнаты я и повстречал на Талнахе, у кернов. Даже на свежем воздухе чернота еще не успела исчезнуть из-под их глаз. И видно было — вот просто было видно, — как торопятся они надышаться на талнахском августовском приволье.

Тут был тот самый геолог, который про Талнах «знает все», и была женщина, которую у стола, заваленного геологическими картами и исписанными листками, я видел в городском темном костюме, а тут встретил в сапогах и в защитной штормовке, в шапочке с откинутой, как забрало, черной сеткой накомарника, и эта нескладная, жесткая и неженственная одежда лишь подчеркнула миниатюрность геолога и женственное изящество ее движений.

Мы поздоровались. Геологи уже отыскали все, за чем они сюда приезжали, и направлялись к «газику», чтобы вернуться в Норильск, в свое прокуренное прибежище к незаконченному отчету.

— Вот что, — сказал геолог. — В воскресенье решили мы отдыхать. За пять недель в первый раз — можно себе позволить? Если погода продержится, к озерам поедем. На Лесное,

что ли, или на Кюлах-Кюэль. Если свободны и охота придет — давайте с нами?

Охота, конечно, пришла. И погода, к счастью, продержалась до воскресенья.

•

У озера тоже была гора, похожая на медведя, только называлась она на этот раз как-то иначе.

Из озера вытекала река. Геологи, захватившие удочки, разбрелись по ней в поисках таких перепадов, где можно было закинуть леску под быстрину. Считалось, что тут и должна брать рыба. Но только она не брала. Река то мелко разливалась по камням, то уходила в глубокое и извилистое русло. На одном из поворотов она подходила под лесок; наверно, еще быстрой полой водою берег тут был высоко срезан; в реку свалились черные стволы деревьев, а за ними видно было, как близко от поверхности земли начинается слой нетающей мерзлоты. На этой излучине я разглядел знакомую маленькую фигуру в штормовке.

Далеко вытянув руку с удилищем, женщина стояла в воде почти по колено, насколько позволяли сапоги. Мне показалось, что для нее сейчас ничего не существует, кроме далеко отнесенного течением поплавка. Но она вдруг закричала кому-то, кого я не видел за стволами деревьев:

— А все-таки прав был Владимир Николаевич. Я только что пересчитала.

Мужской голос ответил, переспросил, и теперь я заметил на воде второй поплавок, подальше от первого.

Незнакомые термины, цифры еще доносились до меня, когда я уходил к озеру, надеясь отыскать настоящее, самое лучшее место, перехитрить всех и принести к костру не меньше, чем парочку славных вертких хариусов.

Через несколько часов у костра оказался только налим, пойманный сыном одного из геологов — без удочки, руками, — на перекате прямо в камнях. Да еще тот геолог, что пригласил меня сюда, повстречав на Талнахе, принес небольших рыбок незнакомой мне породы. Оказалось, это и есть хариусы, о которых я так мечтал.

Остальные рыбаки вернулись с пустыми руками. Зато грибники шли с добычей.

Костер горел не зря. Готовилось на нем все, что положено, — даже уха, хоть и тощая, а получилась. Но жены огорчались:

— Скучные сегодня наши мужички.

«Мужички», верно, позевывали; их все клонило на травку. Но слово не было точным: они не скучали. Они пытались за один день наверстать, отхватить весь отдых, в котором нужда-

лись после пятинедельной работы — по восемнадцати часов каждые сутки. Одного дня попросту не хватало. Да и настоящего отдыха не было. Разморенные на воздухе, они все еще считали в уме, думали об оставленной работе — ни о чем другом думать еще не могли.

Я подсел к главному знатоку Талнаха.

Он объяснял сыну, пареньку лет шестнадцати, почему так плохо ловилась сегодня рыба. Потом они помечтали, как пойдут на охоту. Через несколько дней должен открываться сезон. Потом я попробовал увести разговор к Талнаху.

Геолог сказал:

— Вы думаете, Талнах был для нас сюрпризом? Ничего похожего! Мы давно были уверены, что сумеем докопаться. Дело было во времени и, конечно, в затратах. Когда тратишь много денег, это всегда риск. Ухлопаешь зря — по головке не погладят. А дать на риск денег или не давать — не только от специалистов зависит. Уговорить на риск, убедить в успехе — это в геологии самый трудный раздел.

Он достал из кармана камешек. Но, взявши его на ладонь, чтобы рассмотреть поближе, я по весу почувствовал, что это не может быть камнем.

— Почти чистая руда, — сказал геолог. — Сегодня в здешней речке нашел. У нас на Таймыре куда ни пойди — везде земля дразнит.

— А тут еще не искали?

— Нет еще. За Талнахом пока сидим. Ответвления далеко идут. В том только и сюрприз, что нашли гораздо больше, чем по самым смелым предположениям ожидали.

Женщины помыли в реке посуду, ушли по ягоды и быстро вернулись с кошелками, полными морошки и голубики.

— Ну что ж, не пора ли? — подал кто-то из женщин первый голос.

И сразу все начали дружно собираться в обратный путь.

Солнце стояло еще высоко. Только два дня тому назад оно впервые в этом году начало скрываться за горизонтом на короткое время.

Полярное лето кончалось.

Но сейчас еще было жарко, и олений мох успел хорошо разогреться за долгий солнечный день, и если отвернуться от нашего грузовичка, проскочившего сюда по сущему бездорожью, — не было вокруг никаких следов, оставленных человеком.

Река шумела на камнях. Какая-то небольшая птичка деловито вышагивала по берегу. На невысоких стеблях цвели цветы, которые здесь называют «жарка́ми». Это была самая уютная и теплая тундра изо всех, куда меня заносило.

«Караерлах» — называли это место геологи.

Они все уже собрались у грузовичка, и скоро мы покатили назад по сегодняшней своей колее.

Через полчаса открылись в сторонке, поодаль, высокие краны над лесом. Я узнал краны талнахской стройки. И, узнавши, снова подумал о том, что вскоре поселятся там двадцать пять тысяч новоселов; они станут первыми коренными талнахцами, и уже все делается, чтобы им было удобно жить и работать. А из тех, кто это сейчас делает, наверно, немногие останутся жить в построенных ими домах. Они отправятся дальше, туда, где им снова покажут отведенное место в палатке или распахнут перед ними никогда не запирающуюся дверь тесового барака.

Нет, все-таки не жаркое лето согревало здесь тундру и не тем была она на этот раз хороша, что нехожена и безлюдна.

Тепло ей давала обжитость, присутствие человека, дело его рук.

Обогнув Талнах, грузовик выехал на дорогу.

Слева потянулись знакомые озера.

На воде и на плавучих островах, заросших высокой травой, сидели дикие гуси. Гусенята плавали перед ними, и гусыни одобрительно шипели, далеко вытягивая длинные шеи.

Опять мы вышли из кузова, чтобы перейти на норильскую сторону по понтонному мосту. Видно было, как в берег уткнулся какой-то катер. Геологи узнали его пассажиров: это техническая комиссия осматривала место, где будет строиться мост.

Мы снова вернулись туда, где Талнахом, его завтрашним днем, живут все.

Выходило, — как почти всегда и везде выходит, когда снова приезжаешь на Север, — что главное не то, что уже сделано, что можно увидеть готовым, а то, что еще только предстоит делать. Главное — то, за что еще только принимаются люди.

На Севере всегда приходишь к воротам, которые откроются завтра.

А приедешь назавтра — окажешься у новых ворот.

# У ВТОРЫХ ВОРОТ

Казалось, ничего нет на свете красивее, чем широкий разлив Оби в лесных берегах за Тюменью.

Но вот пошел белый теплоход «А. П. Чехов» от Дудинки к Игарке, вверх по Енисею, — поворот, еще поворот, и за устьем Хантайки такая вдруг открылась красота, что уже все позабыл, что прежде видел, и кажется: нет, лучше этого ничего быть не может. Простор, тишина, закатное солнце над темными зубчатыми гольцами; широкие рукава уходят в стороны, скрываясь в лесах, берега поднимаются повыше, река теснится в них, будто собирая силу, и даже тревожно становится от явственного ощущения этой силы, отовсюду обступившей тебя на Енисее. И гитара с кормы слышится тревожно, и тревожно поют там над водой два мужских голоса и один девичий.

А потом из душисто-тесовой, заново отстроенной после большого пожара Игарки летишь в Хатангу, а оттуда в Тикси, и уже не Енисей, а Лена оказывается под крылом самолета. И потом такой же точно белый теплоход — только называется он «Механик Кулибин» — одним из бесчисленных рукавов ленской дельты входит из залива Буорхая в устье реки, чтобы подняться в Булун, Сиктях, Джарджан и дальше — к Жиганску, Сангару, Якутску... Сперва безбрежно широкая, река входит в такие высокие скалы, что ели на их зубцах едва различимы. Скалы темны, где красноваты, а где с зеленцой, угрюмы. Но все это опять неповторимо красиво, не похоже ни на что прежде виденное.

Уже ночью в темноте, полной дождя и снега, силился я разглядеть ту скалу, про которую рассказал якутский историк на палубе. Где-то здесь, на широком, нависшем над водою скальном отвесе, много веков назад изображен всадник с длинным копьем и флагом. Руническая надпись под изображением расшифрована так: «Я не насладился».

Это эпитафия погибшему в битве неизвестному древнему вождю, высказанная от имени мертвого жизнелюбца.

Но теплоход шел в кромешной тьме, вокруг был дождь пополам со снегом, черная вода, черные скалы. Ни всадника, ни надписи под его конем было не разглядеть.

Я обошел палубу; дул сильный и мокрый ветер, берега были черны, пустынны. Из кают сквозь опущенные жалюзи пробивались узенькие полосы света. Только широкие окна ресторана светились в полную силу. За стеклами я увидел ленинградскую экономистку, изучавшую в Тикси материалы Северного морского пути. Она что-то говорила учительнице из дальнего селения Борогон, которой надо было сдавать в Якутске переводные экзамены в заочном пединституте и успеть возвратиться в свое селение, или, как говорят здесь, наслег, к началу школьного учебного года. С ними был якутский историк, приезжавший под Кюсюр посмотреть первые находки недавно начатых археологических раскопок. У другого окна в одиночестве работал челюстями незнакомый лысый толстяк. Дальше тесно сидела компания геологов. Они не переставая смеялись. За толстым стеклом все происходило беззвучно, будто в аквариуме. Освещенные окна остались позади. Только зеленый бортовой огонь мерцал в темноте да полосками светились каюты. Какая-то пара шепталась у борта, тесно прижавшись друг к другу под холодным ветром. Дождь перестал. Даже одинокая звезда просверкнула остро и дико между ползущих набухших туч. Смутно завиднелись черные берега: справа — высокий, слева — пониже, с лесом, сбегающим к самой воде. И на обоих — ни огонька, ни жилья. Не на этот ли черный камень малорослый ордынский конек вынес всадника, нашедшего здесь смерть от поющей стрелы, так и не успев насладиться?

И зачем привел он под своим флагом с двумя конскими хвостами орду воинов в эту тундровую пустыню, десять месяцев в году покрытую снегом? Только для того, чтобы сказать: «Вот еще версты и версты моей земли» — и от этого испытать наслаждение?

Жизнелюбец не насладился и не принес сюда жизни.

По-прежнему от наслега к наслегу ведут сотни километров таежных троп и тундровых топей.

И все же ничего не осталось по-прежнему.

Даже расстоянья — другие.

Сколько надо было добираться от Борогона до Тикси на собачьей упряжке? Трое-четверо суток, с ночевками по охотничьим избам. А маленькая учительница прилетела к теплоходу на «аннушке» за какой-нибудь час.

И если из каюты в каюту обойти весь теплоход наш, поднимающийся вверх по Лене между таких темных и таких безлюдно-пустынных скал, то от всех его пассажиров как бы протянутся ниточки к самым дальним и разным якутским местам,

где уже вовсю пошла или еще только начала зарождаться жизнь, какой тут прежде еще не бывало.

А чтобы заглянуть в то, что будет, опять приходишь к воротам, как в сказке.

На Таймыре были ворота «медные».

Тут должны быть «алмазные».

А пойдешь еще дальше — увидишь и «золотые».

## ПУСТЬ ОН НАЗЫВАЕТСЯ ВЕСЕЛЫЙ

### 1

Выход назначили на завтра на восемь утра.

С вечера пошел дождь со снегом, но утренний выход не отменили. Пришлось только отказаться от затеи печь картошку на берегу ручья.

Печь картошку предложила Марина, когда еще стоял теплый и совсем ясный день. Теперь она повторяла огорченно:

— Всегда тут так. Придумаешь что-нибудь — и ничего не выходит.

Она сварила гороховый концентрат, на второе перемешала консервированную фасоль с колбасным фаршем — тоже из консервной банки. Получилось вкусно. И чай был крепкий, как надо. Однако разговор за ужином как-то не сладился, настроенье пропало, Николай не захотел играть на гитаре, и мы с Гусаровым скоро ушли в его избушку, шлепая сапогами по жидкой снежной каше, сразу чернеющей на свежих следах. Гусаров положил для меня спальный мешок на запасную раскладушку, сам забрался в свою постель и мгновенно заснул.

Мы познакомились сегодня. Еще и четырех часов не прошло, как мы добрались до этого поселка, а уже чуть ли не все нам знакомы, даже вроде и друзья завелись. Были у Марины с Сергеем — как дома. Теперь у Гусарова — тоже дома.

Даже перестал удивляться, как быстро сживаешься в этих местах с людьми.

Да так ли это? Не привычная ли это фраза, произносимая всеми новоиспеченными северными новичками, как заклинание — с настойчивостью, порой истерической? А ведь в конце-то концов и здесь, как везде, человек человеку рознь.

Но есть правда в том, что на малолюдье хорошие люди виднее и навстречу друг другу они раскрываются быстрее и легче.

Сегодня утром Женя Бабунов посадил свой хлипкий с виду самолетик на небольшой лысине посреди жидкой тайги. Он сажал машину привычно и ловко, но, выйдя на поле, мы

увидали, что вся земля здесь усеяна обломками выветренного камня. Только узкая посадочная дорожка была прибрана кое-как. Посадка тут не могла быть легкой, но для Жени она стала такой же привычной, как и весь трехчасовый полет по этому маршруту.

Сперва мы шли в этом полете по теченью Вилюя, потом видели внизу другие речки, поменьше. Мы уходили на север, и тайга сменялась лесотундрой; прикрытые ягелем болотные кочки казались сверху пятнами ржавых песков.

В самолете все было по-домашнему. Женя и его бортмеханик (пилот называл его почему-то не иначе, как «генеральным консулом») летели без кителей, в полосатых зефировых рубашечках-безрукавках. На железных лавках кабины сидели два рабочих-строителя и один коллектор. Их перебрасывали на новое место из других изыскательских партий, свернувших свою работу. Напротив примостилась бедовая тетка; она уже второй год работала в новом поселке завмагом. Теперь возвращалась домой из Нюрбинской больницы и в самолете — с откровенной подковыркой — стращала новичков неустроенностью и дикостью предстоящей им жизни.

— А тебе, дядя, будет хуже всех, — дразнила она хмурого пожилого строителя, чьи высокие залысины угадывались даже под шапкой. — Тебе женская забота нужна, волос у тебя редкий, голову в тепле содержать надо, уход нужен...

— Так ведь от женского уходу и облысел он: слишком много думал об вас, — отзывался строитель помоложе.

И видно было, что и сам этот похожий на телка, губастый двадцатипятилетний парень вовсе не прочь подкатиться к удалому завмагу. Добрый десяток лет разницы в возрасте не отпугивал парня; напротив, вроде и подзадоривал даже. И рука его как бы сама по себе тянулась к защитной солдатской куртке, туго круглящейся на ядреном теле завмага.

— Ну и Надя! — окликал ее парень. — Вот это Надя!.. — Он успел ухватить имя попутчицы, услышав короткий ее разговор с Женей Бабуновым при посадке в машину.

— Кому Надя, а кому Надежда Сергеевна, — с ошарашивающей жесткостью откликалась она, и рука парня, как бы замерзнув в воздухе, неуклюже падала на его колени.

А коллектор при этом краснел и старался изобразить совершенную отрешенность на детском лице, окруженном красноватой тщедушной бородкой.

Про парня и про завмага я уже знаю немало от «генерального консула». Этот, кажется, знаком поголовно со всей округой и рассказывает о своих пассажирах со снисходительным юморком. Человечество делится для него на многочисленные виды, подвиды и экземпляры, обозначаемые им тщательно разработанными, устоявшимися терминами. Наиболее распростра-

пенный вид — «деятели». Наиболее редкий и вызывающий у «консула» неизменную симпатию — «рохлики». Нет, «рохлик» — это не просто рохля, как я подумал сначала. Недаром в это слово привнесен некий птичий оттенок, нечто роднящее человека, так названного, с зябликом или чистиком. «Консул» имеет в виду не растяпистость рохли, но еще и неприспособленность, незащищенность, непременную для данного вида внутреннюю чистоту. «Рохлик», например, — это юный коллектор с его жалостно-тщедушной бородкой и большими моргающими глазами. А молодой парень-строитель отнесен к «бурыгам». А что же такое бурыги? Выходило, что это, собственно, еще и не вид, а только тесто, и лишь потом будет видно, какие из этого теста получатся пироги. Однако тесто вроде и неплохое: парень, летящий по соседству, принадлежит к компании отслуживших службу солдат, что приехали в Мирный целым взводом. Домой торопиться не к чему — дело холостое, старые гнезда тесны, да и не к родителям же на шею садиться. А прочитали про якутские алмазы, потолковали: «Валяй, братва, поглядим, что она за земля Якутия, полюс холода и сокровищница алмазов...»

Земля оказалась большая — приехали вместе, а тут стали разбираться: кого куда пошлют, руки по всей мерзлоте нужны. Один в нашем самолете летит, трое в Нюрбе остались, прочие рассыпались от Вилюя до Неры — придется ли еще когда повстречаться?..

«Генеральный» только посмеивается:

— Бурыги, без ефрейтора непривычны... Через годик посмотрим.

Что же касается до завмага, то она — по классификации «генерального» — с о л о х а. Корень тут ясен: родоначальница вида — та самая «несравненная Солоха», что произвела на свет сорочинского кузнеца Вакулу. А завмаг и впрямь той же породы. Не зря полная, белая и гладкая рука ее так привлекает к себе бурыгину руку. И с мужиками, видно, умеет она обходиться не хуже; и можно сказать про нее теми же словами, что Гоголь говорил про сорочинскую чаровницу: «Эх, добрая баба! Черт-баба!»

В изложении «генерального» история ее жизни вьется извилисто, но прихотливое течение остается незамутненным и чистым.

С мужем своим Надежда познакомилась на фронте. Он был шофер; она — регулировщица. Прошли Румынию, Болгарию. Теряли друг друга, находили снова. Листочки, исписанные крупным почерком вчерашних школьников и полные наивной и верной страсти, они складывали небольшими треугольничками и отправляли блуждать по полевым почтам, не зная порою, что их разделяет какой-нибудь десяток километров. Надя была

ранена во время одной из бомбежек — на перекресток налетел какой-то случайный «штукас», кинул фугаску, в ту пору это уже случалось так редко, что Надя даже не побежала к кювету, и крупный осколок угодил ей в плечо. Федор отыскал ее в госпитале. Она уже начинала ходить, собиралась возвращаться в свой батальон. Госпиталь располагался где-то у Старой Загоры. Исполненные шумного доброжелательства, местные цыгане и сухопарые болгарские старики бродили меж госпитальных палаток, протягивая раненым гроздья сладкого сизого винограда. Слова их звучали знакомо, но часто означали совсем не то, что по-нашему. К примеру, «булка» означало не хлеб, а молодку. А иное привычное, невинное наше слово при болгарине произнести оказывалось неприлично.

Быстрая горная река шумела у самых палаток на крупных камнях. Вечер здесь свалился на них внезапной и глухой темнотой. Ни у Надежды, ни у Федора не было привычки к беспокойной и звездной черноте южного неба: она была родом из-под Вологды, он — пермский. Три последних года они вообще не замечали неба над собою, видели разве только вспышки зеленых и красных ракет, полыханье «катюш», мертвый свет «люстр», развешанных неприятелем перед воздушным налетом или перед артиллерийской подготовкой. Здесь они поразились близкой огромности звезд в низком небе и в быстрой черной воде. Надежде можно было не возвращаться на госпитальную койку до позднего часа; она перемигнулась с «сестричкой», и та отпустила ее без строгости, с уместной к случаю шуткой. «Виллис» Федора был поставлен до утра в надежном болгарском дворе, где спали свои ребята. Гуляя у речки, Надежда с Федором решили назавтра же расписаться. Оказалось, однако, что на чужой земле расписаться не так-то просто. Так и не доискавшись, куда же за этим идти, они разъехались снова на целый год, и только после войны, демобилизовавшись, Федор вышел из поезда на станции Вожега и заявился оттуда прямиком в Надеждино родное Чарозеро — при всех медалях и с солдатским сундучком. Тут они только и расписались, покрасовались с недельку молодой парой и, завербовавшись, отправились на новые земли, к Балтийскому морю — в Калининградской области город Гвардейск.

Это Надежда первая спросила:

— Поехали?

И они в самом деле поехали.

Место оказалось продувное, на крепком сквознячке; сдвинутые с мест люди не успевали обжиться, пустить корешки, а их уже сдувало ветерком неудовлетворенного любопытства: а может, в другом-то месте получше?..

И Надежду с Федором подхватил этот ветер. Их отнесло поблизости, в Светлогорск, мотануло к Бресту — уже с малень-

кой дочкой. Потом — на Дунай, к Измаилу, в знакомые, пройденные по военной дороге места. Что не удержало там Надежду, даже и понять трудно. Ревновать начала Федора, что ли, увозила его, пошучивая: чтоб не привыкал, мол, к какой-то там «дуре Любке»:

— Вот поедет за тобой, покажет свою любовь, может, и отпущу.

Но, наверно, ничего у Федора с «дурой Любкой» на самом деле и не было, и Надежда сама это знала, только дразнилась на всякий случай. Скорее всего другое сдувало ее с места на место. Еще до Светлогорска пошла Надежда по торговой части; сама она была не загребущая, Федор тоже не жадный; боялась оскользнуться, влезть в чужие грехи, вот и торопилась унести ноги, пока не замаралась.

— Поехали?

Так и добрались до Нюрбы, а оттуда еще дальше, на север. Работала тут Надежда одна, никого близко не было, никакого соблазну. Уже пятый год пошел, как осели, дочке уже на будущую осень — в школу. Придется в Нюрбу везти, пристраивать в интернат.

Все бы хорошо, вот только болеть начала здесь несокрушимая прежде «черт-баба». За два года третий раз ложилась в больницу, стесняясь Федора, боясь, что он переменится к ней, и торопясь прежде своего времени возвратиться в поселок.

То, что губошлеп-строитель заигрывал с ней в самолете, нравилось Надежде. «Значит, не так уж с лица сошла», — наверно, подумала она, когда показала на пустое место с краю скамьи и сказала парню:

— Ты вот что, емеля, отсядь вон туда, поостынь, тебе полезней будет.

— А мне и тут хорошо, — обидчиво возразил парень. Но замолчал и будто даже начал дремать.

Теперь в кабине «антона» слышался только сухой треск мотора. Строитель постарше спал уже давно, укрыв лицо в поднятый воротник защитной полувоенной куртки, подбитой ватой.

Коллектор смотрел в окошко.

Машина шла низко. Вилась по земле меж пустынных холмов узкая речка, и ничего больше не было видно.

Я спросил у коллектора: бывал ли он уже в тех местах, куда мы летим? Он ответил: нет, еще не бывал. Кроме Нюрбы, нигде он еще здесь не бывал. А в Нюрбу приехал месяца три назад и привыкал поначалу — работал с геологами «на камералке». Теперь отпросился в поисковую партию, и, как ни старался не придавать словам никакого особенного выражения, все равно вышло так, будто необстрелянный солдат-новобранец рассказал, что сам отпросился из тыла на передовую.

Десять минут ни к чему не обязывающего дорожного разговора — и вся недолгая жизнь восемнадцатилетнего бородача открыта, как на ладошке. Может показаться: чего же тут, собственно, и открывать? Только и могло быть в этой по-настоящему не начавшейся еще жизни, что родительский дом да школа. А каким же ветром его сюда занесло? Ленивой мыслью нетрудно было представить и это. Подвернулся знакомый геолог, предложил забрать с собой в поле на летнее время: пусть понюхает парень той жизни, какой привык завидовать по книжкам. А стать на несколько месяцев коллектором — смышленому молодцу много ли надо умения? Мама, наверно, посомневалась, поахала («Тайга все же, даль какая, медведи»), но отпустила. Так я думал, когда надоело смотреть из окошка «антона» на ту же тундру и те же холмы.

Читать не хотелось. Винты шумели негромко, и времяпрепровождения ради я спросил у соседа, откуда он здесь и надолго ли?

А жизнь-то и на этот раз упрямо вывернулась из предложенного ей нехитрого чертежика. Оказалось, не так все просто.

Коллектор повернул ко мне бородатое, но все еще детское лицо на трогательной цыплячьей шейке. Он подумал, прежде чем отозваться. Но разговор пошел. Сперва суховато, в рамках вежливости, потом с той внезапной дорожной откровенностью, какая возникает от сознания, что встреча случайна, с попутчиком жизнь вряд ли еще раз сведет, а выговориться охота — не так для него, для попутчика, как для себя самого.

— Меня теперь Ромкой называют, — рассказывал парень. — А в паспорте написано: Рэм. Рэм Иванович. Короткое имя, а понимать его надо так: Революция, Электрификация, Металл... Он мне сколько раз объяснял. Как пойдет разговор, так снова. Я и электрификация, я и металл... Выходит, Металл Иванович. Сам себя испугаешься.

Уже в начале разговора стало известно, что он не на лето сюда приехал, не на каникулы, а по договору. Сам из Красноярска. С домашними сперва поругался; теперь и он и они отошли; пишут письма. «Только посылок никаких я им не разрешаю». Выходит, принцип. И чем дальше, тем больше обнаруживается у него твердых принципов и смятенных, жестоких раздумий. И трещина в отношениях с домашними осталась. Про отца Ромка неизменно говорит «он». Однако не с отчужденностью, а с этакой сострадательной нежностью. Ромка убежден, что отец теперь, кроме как в своих револьверных станках, ни в чем разобраться не может, зато самому Ромке открыто все: и родительская душа, и собственная нерушимая правота, и управляющие миром законы. По его рассказу выходит, что он был крупным инженером, эвакуировал в военное время на Восток большие заводы, строил потом но-

вые, возил семью за собой по Сибири, из края в край. Теперь оставил производство, профессорствует в Красноярске. «И доволен», — добавил Ромка, будто осудив отца за это его довольство и пожелав ему втайне каких-то забот и волнений.

— Ведь он мне Рэма когда придумал?! — всё не мог отвязаться от своего имени Ромка. — Я в сорок втором родился, тогда уже лет десять никого так не называли. Со мной в классе пять Игорей училось и два Ростислава. Ну, еще Викторы. Девчонку одну знаю, сорок пятого года, Победой ее зовут, это я могу понимать... А для него мое имя как раз победу и означало. Революция, Электрификация, Металл — ведь это и есть вся его вера, без остатка... — Он остановил меня, не позволяя задать вопрос. — Нет, вы не подумайте. Это я уважаю. Это — всё. И когда меня на свете не было, он давно в это верил. И тогда, в сорок втором, еще, наверно, сильнее...

— Так это же хорошо, — вырвалось у меня.

— Хорошо, — серьезно согласился Ромка. — Конечно! Только есть в нем трещинка.

Он вдруг замолчал, словно очутившись у какой-то головокружительной кручи, над которой ему приходилось замирать уже не впервые.

Потом снова повернулся ко мне и в упор уставился совсем не детскими глазами.

— Зигзагом живет, — трудно выговорил он наконец. — Хороший человек, это я знаю. А живет так, будто чего-то боится. Нет, не подумайте, что я о квартире или там о машине, о том, что в романах называется «положением». Да, все это тоже есть. И квартира хорошая, и машина своя. Но этого он не держится, и знаю, что умеет без всего этого обходиться. Мальчишкой я с ним как-то целое лето на стройке жил, без мамы, в тайге. Когда время было, на охоту ходили. Иногда он меня на карьер брал, на вездеходе. Очень он там был хороший, я тогда на него, как на бога, смотрел, это железно. — Он поправился: — Честно. А теперь понимаю: и там это было.

— Да что же было?

— Трещинка. Говорит и не договаривает. Идет и не доходит. Даже со мной. Не могу же я этого не видеть.

— А как же — Рэм?

Ромка отмахнулся сердито и нервно.

— Я же сказал, что он хороший. Значит, честный. От своей веры он никогда не отречется.

— Ничего не понимаю, — признался я.

— И не поймете, — пренебрежительно отрубил Ромка. — И он не может понять.

Проще всего было предположить за трудным разговором мнимую мальчишескую сложность, обычную строптивость подростка, надуманную, мнимую отчужденность. Мало ли книг

написано во всей мировой литературе о том, как это появляется у семнадцатилетних? Еще один обыкновенный случай. Обычно говорят: перебесится — успокоится, понюхает жизни — обомнется. Но этот не хочет ни успокаиваться, ни обминаться. Он пытается что-то себе объяснить и опять говорит о том же:

— Вы представьте: я иду по ровному. Все вижу. Впереди тоже ровно. Спокойно ступаю. А меня вдруг за плечо — хвать! «Осторожно. Не оступись». Да где же тут оступиться? Ведь ровно! Нет. Оказывается, он видит мою дорогу вовсе не так, как я ее вижу. Он меня начинает учить: «Туда не ходи, про это не говори». Он хочет сбить меня на свой зигзаг, чтобы я продолжал обходить то же самое, чего он когда-то испугался и что ему мерещится на ровном месте. А я вовсе не собираюсь пугаться и не хочу никакого зигзага...

От «зигзага» и убежал сюда Ромка. Выбрал место не потому, что увлекла книжная романтика. Он узнал тайгу еще в детстве; завидовал отцу — такому, каким запомнил с тех мальчишеских дней, проведенных вместе в затерянных охотничьих избах и у старательских таежных костров. Запомнил и теперь хотел как бы повторить его, но только без всякой «трещинки» и без почудившейся ему старческой опаски. Ставши Ромкой, он про Рэма не забывал. И может, из путаных и горячих его слов мне захотелось вытащить больше, чем в них на самом деле было, — но только показалось, что мальчишка не поверил в то, что металл дается человеку сам собою, с полученным в младенчестве именем, но и понял, что нужно его выплавлять самому, своим трудом. В Рэме могло его и не быть, а в Ромке будет. Потому и удрал. И не позволил им, чтобы посылали посылки.

За окошком «антона» выше поднималось солнце.

Снова река появлялась внизу и невысокие горы.

Самолет продолжал идти на небольшой высоте; были различимы отдельные редкие сосны чахлого леса, ягельники, мокрые болотные пади.

Плосковерхие холмы обозначили водораздел Вилюя и северной реки Оленек.

Я подхожу к пилотской кабине и сажусь на широкий ремень, пристегнутый в ее дверях. Рядом с Женей Бабуновым развернута штурманская карта, на ней видны сотни километров безлюдной земли, извилистые ниточки рек: Маркока, Мархара; невысокие горы Кыччыгай-Хая, Курунг-Джелинде и самая высокая безымянная высота «710», над которой мы сейчас проходим на бреющем полете: голый склон с черными обнажениями и осыпями выветренных пород. Несколько белых дощатых домиков какого-то временного поселка — и снова просторы пустынной, безлюдной земли. Как далеко видно здесь

все, что сделано на этой земле человеческими руками. И как виден сам человек на этом безбрежном безлюдье.

Говорят, самолет не позволяет по-настоящему ощутить расстояние и понять землю, над которой ты пролетаешь. Север, мол, надо увидеть с нарт, запряженных оленьей или собачьей упряжкой, пробежать на местных широких и коротких лыжах, проплыть на лодке по порожистым речкам. Я пробовал все, и верно — всякий раз по-новому открывалась дорога. Может, и привязался я к Северу сердцем в то давнее-давнее время, когда, приехав в саамское стойбище на оленьих нартах, проснулся однажды, разбуженный окликом старого Тимофея:

— Пойдем-ка, скоро солнце выходить будет.

Мы встретили первое солнце после двухмесячной зимней ночи на берегу замерзшего озера. В первый раз многоцветно окрасился синий снег. А потом я стоял один в снежном лесу, а Тимофей пропал за деревьями, он бегал, что-то коротко вскрикивая, его голос то отдалялся, то приближался, и вдруг олени выбежали на поляну, и Тимофей принялся вылавливать упряжку, накидывая аркан на кустистые рога. И таким счастьем было все это: хруст снега, потрескиванье промерзших деревьев, огромный снежный простор, первое солнце, гортанный голос саама — таким все это было удивительным счастьем, что захотелось искать его снова и снова, хоть не могло оно больше никогда и нигде во второй раз повториться.

Но лодка, летящая в буруны взбитой на камнях пены, и отвес красных, будто срезанных скал, и ели, поднятые на огромную высоту над рекою, и потом толчок, бросок, удар об ровную быструю воду, и уже бурун далеко за тобою, и потом вечер, костер на берегу; хариус повел леску, метнувшись; негромкая песня послышалась с берега, — ведь и это вспоминается как другое, и тоже неповторимое, счастье.

С самолета — все по-иному. Даже с небыстрого и невысоко летящего «антона» не различишь отдельные зерна снега, в которых вдруг всем спектром сверкнет холодный солнечный луч. Отсюда не вдохнешь запах хвои, не услышишь шума ручья. Но по-настоящему п о н я т ь землю можно именно с этой высоты, непременно с высоты — с ее распахнутым горизонтом и быстро развертывающимися просторами.

Путешествие длилось не первый год, обрываясь и начинаясь сызнова. После салехардских дней мы ушли на восток очень уже далеко. Природа менялась. Земля и реки были совсем другими, и опять другими, а суть оставалась все та же. Именно сверху, с самолета, можно увидеть, как ступает и укореняется здесь новая жизнь, образуя в тундре как бы проталины. Проталины расширяются, и, видя их сверху, начинаешь думать про то, что может когда-нибудь наступить время,

когда они сомкнутся, появятся между ними нитки наезженных привычных дорог, и тогда земля с полета станет казаться тут такою же обжитою, как там, где мы пролетали недавно, — например, от Новосибирска к Бийску. Может, придумают и такое, чтобы здесь хлеб созревал: случалось ведь читать немало проектов — порой даже будто и правдоподобных, — как обогреть Ледовитый океан и растопить вечную мерзлоту. Но все это пока лишь фантастика, и трудно сказать, как бы такое, случись оно, могло для нашего «шарика» обернуться. А другого — несомненно, полезного людям и сейчас уже необходимого всей стране — отыскалось здесь очень много; недаром в планах наших пятилеток столько цифр относится к этим землям, и все чаще мелькают на газетных страницах здешние географические названия — в таких сочетаниях, как Вилюйская ГЭС, или березовская нефть, или чукотское золото. И таких сочетаний, и даже гораздо более удивительных, от года к году становится больше.

Может, вскоре потянутся люди и к тому — и то пока безвестному — месту, куда летит наш «антон».

А сейчас знают о нем только в одном-единственном пункте на всей земле — в Нюрбе, в «столице» геологов, идущих все дальше и дальше на якутский Север в поисках алмазов.

## 2

Площадка, на которой мы сели, оказалась небольшим распадком меж невысоких гор; мокрая тропа уходила в жидкий сосняк. На грязи виднелись и тут же рядом пропадали в воде рубчатые следы тракторных гусениц.

Трактор стоял возле кривобокой избушки на краю площадки. Это муж-тракторист приехал на нем за Надей. Долговязый и тощий, многодневно небритый, он подошел к ней и подхватил с земли фанерный баул.

— Растрясет тебя, — сказал он очень тихо.

Никаких объятий и поцелуев. Но такая вдруг ощутилась в этом свидании нежность, что даже губастый парень отвернулся, чтобы им не мешать. И женщина словно бы освободилась от потребности что-то изображать ненастоящее, прикидываться на людях; деланный ее задор пропал, мужская солдатская куртка не прятала внезапной незащищенности.

— Валюшку не взял почему?

Можно было догадаться, что она спрашивает у мужа про дочку. Тихого его ответа уже не было слышно. Они пошли краем поля, и Надя клонилась к мужу, приникала к нему, говорила что-то, поднимая кверху круглое свое лицо, пока не поднялись оба в тесную кабину старого трактора. Машина загрохотала, пустила синий дым и, кренясь из стороны в сто-

рону, заковыляла по жидкому болоту, уходящему в жидкий сосняк.

Второй пилот, он же «генеральный консул», захлопотал среди пассажиров, которые дожидались здесь обратного рейса: семеро взрослых и трое детей; узлы, сундучки и авоськи. «Генеральный» проверял билеты, ерничал и покрикивал, потом все вдруг заторопились, пропали внутри самолета; шумно завертелись винты, машина побежала, разбрызгивая по сторонам камешки, оторвалась — и сразу очутилась в крутом развороте над недальней горкой. Мы даже не попрощались с Женей Бабуновым. Впрочем, это было ни к чему. Если пустит погода, он должен снова прилететь сюда через три дня. И еще через три дня нам нужно будет возвращаться вместе с ними в Нюрбу.

А пока — хорошо бы побыстрее добраться в поселок.

С воздуха он было открылся нам на мгновенье. Несколько домиков близ ручья. Потом, в вираже, лес полез на небо, домики пропали из виду, и сейчас нельзя было сообразить, далеко ли остались они от посадочной площадки и в какой они теперь стороне.

На поле оставались только наши попутчики-строители, рыжебородый Ромка да нас четверо.

У избушки кто-то возился — похоже, ладил багажные весы. Отсыревший полосатый ветродуй свисал с кривого шеста. До нас никому дела не было. Только две крупные лохматые лайки прибежали от построек и так восторженно завиляли хвостами, будто именно нас дожидались они целую вечность. Мы разобрали багаж и следом за гостеприимными псами потянулись к избе-развалюшке.

Разговор с аэродромным служителем начал разбитной губастый парень. Он выяснил, что до поселка отсюда километров десять («Ну, может, двенадцать»). Тропа туда одна, с нее не собьешься. Попутного транспорта не предвидится. Надо шагать...

И строители зашагали.

Закинув рюкзак на одно плечо, с видом бывалого ходока, присоединился к ним Ромка.

Мы тоже хотели отправиться за ними, но этого не мог допустить наш распорядитель и организатор, торжественно именуемый директором, а в просторечии — Юрой. Юра решил во что бы то ни стало оправдать свое звание и добиться, как он говорил, т р а н с п о р т а. Жажда деятельности обуревала его. Он рвался к телефону. Но никакого телефона здесь не было. Радиосвязи не было тоже.

— Транспорт должен прийти, — повторял он убежденно. — Ведь я из Нюрбы давал телеграмму.

Он верил во всемогущество своих телеграмм, во всеобщее почтение к кинематографу, в то, что одно слово «киноэкспедиция» должно магически раскрывать все двери и располагать все сердца.

Однако тройка наших попутчиков давно уже скрылась на лесной тропе; шум трактора, на котором уехала Надя, заглох еще раньше, и вокруг стояла девственная, торжественная тишина, не нарушаемая никаким работающим мотором. Транспорта не было.

Веселые аэродромные псы старательно отвлекали директора от мрачных мыслей. Уже стало известно, что лайка побольше называется Север; пес прибегал сюда из поселка и был любимцем старшего геолога тамошней изыскательской партии. Лайка поменьше жила здесь постоянно. Имени у нее вовсе не было. Неразговорчивый аэродромный служитель называл ее Кабысдох, но относился к ней с очевидной заботливостью. Это доказывала миска с кашей, выставленная у порога избушки.

В этой избушке Степан Корнеевич — так звали здешнего служителя — жил второй год, то есть с того самого времени, когда появились в этих местах первые изыскатели, поставлены были первые избы и Женя Бабунов впервые посадил своего «антона», с воздуха выбрав подходящее место.

— А откуда же вас сюда принесло?

— Из Нюрбы.

— А в Нюрбу?

— Из Жиганска.

— А в Жиганск?

— В Жиганске я шесть лет прожил.

— А до того?

Он не ответил. Полчаса прошло, покуда Степан Корнеевич обронил невзначай, что сам он вятский, и уж больше ничего к этому не добавил. Может, Юра, который задавал первые вопросы, что-нибудь из него еще и смог бы выжать, но Юры не было. Он успел уехать в поселок.

Это произошло так.

На краю поля появился вдруг неожиданный силуэт.

— Это что? — оживленно осведомился наш директор у Степана Корнеевича.

— Лошадь это.

— Чья лошадь?

— Строительная,— туманно определил Степан Корнеевич.

— А повозка какая-нибудь есть? — продолжал жадно настаивать Юра.

Но повозки не было. То есть, может быть, и была, но не здесь, а в поселке.

Тогда Юра решительно объявил, что он отправится в поселок верхом и пришлет за нами т р а н с п о р т оттуда.

Бессмысленно было спорить с ним и доказывать, что куда проще добраться до поселка пешком и всем вместе. Такой проект уязвлял Юрино администраторское достоинство. По его мнению, любой предоставленный «транспорт», пусть даже верховой, необходим был для поддержания престижа вверенной ему киногруппы.

Степан Корнеевич ничем не выдал своего отношения к кавалерийским склонностям одного из случайных своих авиапассажиров. Верхом так верхом. Наблюдение за лошадью не входило в его обязанности.

Не выпуская из рук директорского портфеля, Юра резко потрусил на край поля. Мы эскортировали его с пристойной торжественностью.

«Строительная» лошадь оказалась при ближайшем рассмотрении весьма малорослым и старым коньком. Масти он был розовой, а на Юру смотрел так, что его сокровенную мысль можно было понять сразу. «Лучше бы ты меня не трогал»,— выразительно говорили его выпуклые, слезящиеся глаза. Седла, конечно, не оказалось. Зато уздечка была.

Мокрая лесная тропа скрыла седока на розовом коне так же быстро, как и тех, кто ступил на нее часом раньше.

— Да вы тут чаю попейте, что ли,— предложил Степан Корнеевич. Он-то в точности знал, что если мы станем дожидаться возвращения всадника, то времени нам здесь придется провести немало.

Печка в избе топилась. Мы достали из багажа чай и консервы, оглядывая бесприютное жилье нашего хозяина. В просторной — во всю избу — комнате стояли только самодельный стол, шаткая лавка и дощатый топчан на высоких козлах. А всего имущества только и было, что толстая конторская книга для каких-то служебных записей, старый кожушок, постеленный на топчане, и закопченный артельный чайник, стоявший на печке рядом с такой же почерневшей кастрюлей.

— Ручеек — вот, близко,— указал Степан Корнеевич на поле, в сторону реденького леска. И прибавил: — Вода тут ничего, сладимая, пить можно...

Теперь мы его разглядели. Лет ему, наверно, было за сорок. Может, и далеко за сорок. Опущенная голова, сутулое долговязое туловище и длинные руки придавали всему его облику выражение нелюдимости и угрюмства, но глаза оказались живыми и любопытными, даже доброжелательными. И еще видно было, что давно уже привык он жить бобылем, не стараясь ничем приукрасить свое жилье, не думая об уюте. Стены оставались голыми, и нигде не было видно никаких памяток об иной, прежней жизни — ни фотографии, ни какой-либо вещи, отмеченной женской заботой, ни брошенного невзначай письма.

Это было не жилье, а скорее логово. Чаще всего на такое житьишко обрекают себя обозленные неудавшейся жизнью люди. Но Степан Корнеевич вовсе не казался обозленным; напротив, чем дальше, тем очевиднее выказывал он приметы душевной уравновешенности и ясности. Даже и неразговорчивость его была скорее от внутреннего спокойствия, чем от нелюдимости. От чаю нашего он сперва вежливо отказался, потом присел на край лавки, подставил под протянутый ему чайник стеклянную банку из-под компота, поглядел налитый чай на свет и заключил:

— Сибиряки вы, видать, недавние.

Значит, не оказалось — на его пристальный глаз — настоящей «сибирской» черноты в нашем чае.

Однако в самом ли деле она сибирская — эта пресловутая здешняя крепость напитка, по которой проверял нас Степан Корнеевич? Мы уже пробовали на разных сибирских широтах крепчайший черный чай шоферов и строителей, изыскателей и портовиков — вся пачка на заварку: чтоб не клонило в сон за баранкой, или на утомительном переходе по тундре, или на мутной послеполуночной (недаром ее называют «собачьей») вахте, когда дряхлый портовый буксир мотается взад и вперед на поспешной разгрузке пришедшего изо льдов каравана. Такой чай подстегивает сердца; он вошел тут в привычку у вятских и вологодских, у смоленских и кубанских, полтавских и витебских. Пришельцы делали эту землю обитаемой, и все они стали здесь сибиряками и земляками в наиболее емком значении этого слова. И все, к чему они наново тут привыкли и что помогало им в здешней жизни, стало для них тоже сибирским, то есть своим, ими на сибирской земле заведенным, объединяющим их. Оно вошло в тот самый пресловутый пуд соли, который они съели как бы вместе, на разных, отдаленных концах огромной и трудной земли.

Степан Корнеевич поглядел налитую банку на свет и не признал нас за сибиряков. Но осуждения в этом непризнании не было. Он лишь отметил несомненную, на его взгляд, примету, которая избавляла его от надобности задавать лишние вопросы.

Лишних вопросов Степан Корнеевич, по-видимому, вообще не любил. Он не стал спрашивать, откуда мы и надолго ли, только посмотрел на ящики с киноаппаратурой и пленкой, похожие по внешности на обычный багаж изыскательских экспедиций, и снова отметил:

— К геологам, значит.

Погода прояснилась, лайки резвились за порогом; к двум знакомым присоединилась третья, и мы узнали, что это Мулька, недавно привезенная из самой Нюрбы новым поселковым радистом.

— Домой хочет,— заключил Степан Корнеевич.— Как самолет услышит — сюда бежит. Только, пока добежит, непременно на посадку опаздывает.

Он сказал это с такой особенной понимающей жалостью, что даже второй Юра — оставшийся с нами молодой кинооператор, который никогда прежде не выказывал большого душевного интереса и чуткости к случайным дорожным встречным,— не утерпел и задал-таки один из тех вопросов, от каких старательно ограждал себя Степан Корнеевич:

— Ну, а вам домой не хочется?

— А я и тут дома.

— И не скучно вам здесь? — не отстал Юра, хоть уже и потерял любопытство, а лишь поддерживал для пристойности светскую беседу.

Степан Корнеевич только пожал острыми плечами, будто и самого слова не понял.

— А какая у вас специальность? — опять спросил Юра, добывая говядину из разогретой на огне банки.

Аэродромный служитель поглядел ему прямо в глаза. Бледная десна приоткрылась под недобро поднявшейся верхней губой.

— Специальностей у меня, начальничек, много. Только здесь они все без надобности. Вот, выходит, и хорошо.

— Ясно,— сказал Юра.

Он принялся жевать, и видно было, что ясным для него стало только то, что разговор пора кончить.

А между тем все действительно стало ясно. Отшельническое жилье, принятое с первого взгляда за логово неудачника, оказалось чистилищем для отстоявшейся, как вода, незамутненной теперь и непритязательной души. И прорвавшееся (быть может, намеренно) словечко «начальничек» оказывалось содержательнее самого подробного рассказа. Встречалась мне уже и такая разновидность сибиряков — первые десятилетия их жизни были отрублены начисто. Все начиналось сызнова, и по ту сторону порой оставалось очень многое. У иных перечеркнуто было лишь начало их жизни; другим (как могло быть и на этот раз) прожитого хватило бы и на целую жизнь: по ту сторону оставалась и семья, и даже подобие промелькнувшего счастья. И если трудно бывает отделаться от сторонних праздных расспросов, то свои воспоминания отогнать еще труднее. А они — так, наверно, бывает — приносят щемящую боль, как ампутированная конечность.

Степан Корнеевич вышел и у двери снова принялся ладить весы.

День менял краски. В этих широтах пора полярного круглосуточного дня кончалась, но сейчас еще солнце стояло в зените, лес расцветился ярко, тишина его по-прежнему оставалась

нерушимой. А ведь уже часа три, не меньше, прошло после того, как наш директор отправился в кавалерийский рейд.

— В ремонте, наверно, трактор,— заметил Степан Корнеевич.— Он тут разок проползет и сдохнет, чинить надо.

Мы с Юрой предложили оставить груз в избушке, а самим идти налегке к поселку — навстречу другому Юре.

Толя, четвертый участник нашей группы, по должности помощник оператора, снял очки. Черные близорукие глаза посмотрели на Юру с жалобной беспомощностью.

— Я лучше тут побуду,— сказал он.

Было очевидно, что шагать пешком десять, а то и все двенадцать километров ему очень не хочется. Юра взглянул на него испытующе и строго.

— Все ж таки пленка,— оправдался Толя. Не дождавшись ответа, он добавил с деланной озабоченностью: — Опять же объективы...

Юра сказал:

— Поспишь?

— Ну, посплю,— согласился Толя.— А что, и поспать нельзя человеку?

— Ты же весь полет проспал.

— Подумаешь, три часа лету...

Он мог спать когда угодно и сколько угодно. Удобства тоже роли не играли. Высокий (метр восемьдесят четыре), широкий в плечах и даже несколько уже грузноватый, Толя отпраздновал свое девятнадцатилетие месяц назад, когда мы еще были на Полярном Урале. Зоотехники, с которыми мы встретились в кочующем к морю оленьем стаде, узнав про именинника, открыли заветную бутылку шампанского и банку персикового компота. Толя выпил чтó было налито и направился к чуму.

— Посплю, что ли...

Одна из девушек возмутилась:

— Да ты что, тюхтя какой? Старик ты, что ли?

— Конечно, немолодой,— согласился Толя.— Второй десяток кончается.— И исчез в чуме.

Его и в помощники оператора определили, потому что он казался крепким, спортивным парнем, а в этом деле нужна сила, чтобы таскать тяжелые штативы, кофры и ящики с пленкой. Но Толя оказался увальнем и соней. Он вечно путал объективы, выводя Юру из себя на каждой съемке.

Теперь Юра махнул рукой:

— Ладно, дрыхни. Все равно тебя с места не сдвинешь. Если оголодаешь, мяса там почти полная банка. Не забудь только хозяина угостить.

Еда была второй неутолимой Толиной страстью.

Мы не успели выйти за порог, как Толя уже заснул, завалившись на кожушок Степана Корнеевича.

Север и Мулька устремились вперед, показывая дорогу.

## 3

Колея, проложенная трактором, часто уходила в глубокую жидкую грязь. Приходилось сворачивать в нехоженое редколесье, на сплошные рыже-зеленые мхи. Стояли здесь чахлые лиственницы, редко — тонкая ель, еще реже — сосна и березка. Между деревьями — низкие заросли голубоватого можжевельника. Цветов не видать было вовсе. Седые ягельные кочки иссохли; они шуршали, крошились в прах и под ягелем оказывались пустыми, словно пузырь, вздувшийся и присохший над болотом. Под ногой кочка проваливалась, и след тотчас наполнялся болотной водой. То и дело трещал и ломался на пути палый сухостой — стволы и ветки. Шли, то спотыкаясь, то увязая,— трудно и медленно. Даже разговаривать не хотелось.

Кое-где попадались кустики голубики. Но еще Степан Корнеевич предупреждал, что ягод нам по пути не достанется: побило поздним морозом недавно, в самом конце июня. Однако, если встречалась все же изредка созревшая ягода, ее приятно было собрать в горсть и съесть сразу, целой пригоршней: кисловатая, крупная, она хорошо освежала.

Север и Мулька часто скрывались из виду, издалека слышался их бестолковый лай, но вдруг они возвращались и, терпеливо дождавшись нас, снова показывали дорогу, как трудолюбивые проводники.

Четыре часа, как мы вышли с площадки, а поселка все не видать. Хорошо, что день еще стоит долгий. Время предвечернее, а солнце держится высоко, и лес по-прежнему яркий — в странной, растрепанной и неприютной своей красоте.

Шел уже седьмой час пополудни, когда совсем близко послышалось вдруг оглушительное чиханье тракторного мотора. Тропа выскочила из леса в открытый распадок, и мы очутились у сарая, обшитого еще не успевшими потемнеть досками. Двое людей пытались завести трактор. Невдалеке розовый конь отмахивался редким хвостом от гнуса, тучкой кружившего над его плешивой спиной. Тут же был Юра. Видимо, он пытался руководить починкой трактора, но увидел нас и деловито пошел навстречу.

— Радиосвязи, понимаешь, не было,— сообщил он.— Непроходимость волн. Нашу телеграмму только при мне начальнику принесли. Он тут мужик хороший...

По всему видно было, что наш директор успел почувствовать себя здесь в своей тарелке. Несмотря на юный возраст,

Юра обладал характером застарелого неврастеника. Приступы самого черного пессимизма сменялись у него полосами непобедимого, оголтелого оптимизма, сопряженного с жаждой кипучей деятельности. По счастью, сегодня он был весь день в наилучшей своей форме — обуреваемый деятельным нетерпением и исполненный веры в удачу. Он торопился показать нам, что не потерял времени зря, успел провести все необходимые встречи на высшем уровне и завязать самую тесную дружбу со всеми, от кого зависело наше дальнейшее благополучие. Начальник здешний был, как сказано, «мужик хороший»; главный геолог — «чудный мужик»; шеф столовой — «сами увидите»...

Юра вернулся к своему разговору с начальником:

— Он сказал, если трактор не наладят,— олешков пошлет.

Но олешки еще только должны были со своими каюрами вернуться в поселок с ягельного пастбища. Их ждут не раньше темноты. А что до трактора, то уже становилось ясно, что его не удастся наладить еще очень долго. Впрочем, раз мы сами успели добраться до поселка, это уже не имело значения. Ящики оставлены под крышей, и до утра они нам не понадобятся. Там, правда, остался и Толя. Но чем дольше его не разбудят, тем он будет счастливее.

Мы осмотрелись.

Неширокий ручей прыгал по каменистому ложу тут же, за сараем. В полукилометре отсюда на слегка поднимающемся кверху плато был разбросан десяток некрашеных деревянных домиков, таких же светлых, как и сарай. Наверно, все тут строилось одновременно.

Мы идем к домам, и не проходит и получаса, как мы уже знакомы со всем населением поселка.

Василий Тимофеевич Гусаров встретился нам по дороге, и Юра представил его шумно и весело, точно многолетнего закадычного друга. Гусаров даже смутился. Похмыкивая и краснея, он как бы отмахнулся несколько раз загрубевшей ладонью. Не то чтобы оглушительная Юрина развязность шокировала его,— нет. Просто он не привык к такому стилю общения, это стало ясно потом, когда мы узнали о нем столько, сколько можно узнать о человеке за одни сутки лишь в таких местах, где собеседники встречаются очень редко. И того, что не привык, не умеет поддержать тон, заданный шумным гостем, Гусаров стеснялся тоже. Фрейдист назвал бы это «комплексом неполноценности». Но справедливее, наверно, будет сказать, что причиной тут была как раз та наивысшая ценность человеческого характера, та ненарушенная цельность, которая сохраняется только у людей, совершенно поглощенных своим делом. И стеснительность, почти болезненная, проявляющаяся у таких людей всякий раз, когда их увлекают в незна-

комый и суетный мир, далекий от их дела, — да, пожалуй, и от дела вообще — вовсе не изобличает отсутствия у них спасительного чувства юмора. Напротив, свое дело такие люди обычно делают весело. Охотно и много шутят. Но только, вырванным из привычной сферы, им сразу не хватает дыхания, и они становятся похожи на рыбу, выхваченную из воды на прибрежную траву.

В ковбойке под лыжной курткой, невысокий и сухопарый, на вид лет тридцати пяти, Гусаров и оказался здешним главным геологом. Он шел не один. С ним были еще парень и девушка, тоже в ковбойках и лыжных костюмах. Это были геофизики — ленинградцы, молодая чета. Сергей и Марина — так они представлялись. Но Гусаров называл их по отчеству: Сергей Николаевич, Марина Петровна. Тут же подошли Николай и Саня — взрывники. И по возникшему общему разговору еще одно стало понятно: к Гусарову влечется здешняя молодежь, льнет привычно, по укоренившейся душевной потребности.

Но Юра потребовал, чтобы мы шли представляться начальнику. Пришлось прощаться. Тут-то Марина и предложила идти перед закатом на ручей и печь на костре картошку.

В домике начальника было чисто, и две комнатки, которые успели мы разглядеть, напоминали летнюю дачу, обставленную ненужными в городской квартире вещами, чтобы создать временное, бивачное подобие привычного для хозяйки уюта. Тут, в домике, стояли только те предметы обстановки, какие можно переправить по воздуху на «антоне» — из Нюрбы или из Якутска. Крохотный письменный столик у окна, кушетка, небольшой круглый обеденный стол; на стенке — зеркало для прихожей. Во второй комнате — тумбочка. У дверной притолоки — завешенная простыней одежда. Кровать, сверкающая никелированными шарами, с горой тюфяков и подушек. И всюду — на тумбочке и на кровати, на обеденном столе и даже на письменном — бесчисленное количество вышивок, аппликаций, кружавчиков, лоскутков. Рукоделья висели и поверх прибитого чуть не во всю стену ковра, и на других стенках, вперемежку с веерами фотографий, сочинскими видами и вырезанными из «Огонька» цветными репродукциями. Юра и сюда вошел, как домой. Толкнул дверь без стука и зашумел из сеней:

— Тихон Кузьмич, Евдокия Семеновна! Разрешите побеспокоить!

Тихон Кузьмич вышел навстречу — кругленький, похоже — разморенный послеобеденным сном, в пижамной куртке поверх голубой майки.

— Приехали,— не спросил, а отметил он столь окончательно, что уже ни к чему было и объяснять, как мы на самом деле сюда добирались. И добавил: — Вот и хорошо! (Хоть и ясно

было, что решительно ничего хорошего Тихон Кузьмич, по правде, в этом не видит.)

— Дуся! — кликнул он.

— Слышу,— отозвался из кухни грудной, приятный голос.

Мы сидели в столовой, пытаясь расспросить Тихона Кузьмича о том, чем занята и что сделала здесь изыскательская партия, когда вплыла в комнату высокая, статная женщина с толстыми светлыми косами, уложенными вокруг головы, с полными руками, от которых розовыми казались прозрачные рукава белой капроновой блузки. Не прячась, она казала себя — вот, приготовила и вынесла для гостей. Кто знает, кого еще минуту назад надеялась она увидеть в своей столовой; наверно, само слово «кино» вызывало в ее представлении свет далеких звезд, блестящие имена, курортные толки. И какое же неприкрытое разочарование открылось в ее глазах теперь, когда она посмотрела на наши рыжие сапоги и запятнанные, выгоревшие, так буднично примелькавшиеся в здешних местах штормовки. Вся ее молодцеватая подтянутость сразу исчезла, и она стала выглядеть на все свои сорок лет.

— На кино снимать будете? — без обиняков осведомилась Евдокия Семеновна.— А что же у нас снимать-то?

— Вас с Тихоном Кузьмичом снимем,— галантно отозвался Юра.

— Ну, вот еще,— не поверила хозяйка. Но тут же согласилась: — А то снимите. Интересно, наверно.

Она сама властно завладела разговором, и Тихон Кузьмич совсем притих, хоть и прежде от него мало что удавалось услышать. На расспросы он отвечал так, будто своих слов у него совсем не было, а надо было мучительно припоминать фразы и цифры из подписанных им докладных, отправленных по начальству. Казенные же слова, выскочив из своей графы, сталкивались растерянно друг с дружкой и никак не могли сложиться в какую-либо законченную картину. Теперь Тихон Кузьмич умолк, испытывая от этого видимое облегчение, а Евдокия Семеновна принялась вспоминать Москву, где останавливались они с Тихоном Кузьмичом в прошлом году, возвращаясь из отпуска. Побывали они тогда у родственников мужа в Старобельске, потом жили в Адлере («Такая красота, и Любовь Орлову там видели, и персиков полный базар, и академик один через комнату от нас жил»), потом гостили у ее родных, в деревне под Мценском: отпуск-то ведь трехмесячный; а последнюю неделю провели на семнадцатом этаже Ленинградской гостиницы в Москве, и этот семнадцатый этаж, и вечер на спектакле Большого театра, и ГУМ («За один день разве обойдешь его, каждое утро к открытию, как на службу, ходила») — Евдокия Семеновна не столько даже вспоминала, как видела снова в будущем — причитающейся наградой, заслуженной ею

за все то, от чего она отрекается через силу в нынешней, здешней жизни.

— Там ходишь — глаза разбегаются,— продолжала она рассказывать про ГУМ.— А подумаешь, ничего тебе и не нужно. Одеваться здесь некуда, посуда в дороге перебьется, мебель не привезешь. Три ковра вот только купила, один — молдавский — тут висит, а немецких два так в Нюрбе и лежат неразвернутые...

Тихон Кузьмич помалкивал — не то слушал, не то и не слушал.

Кто-то стукнул в дверь, окликнул его.

Мы узнали в прихожей тракториста, приезжавшего к самолету за женой своей, Надеждой Сергеевной. Слышно было в комнате, как повторял он странное слово: «эрдэ́», «эрдэ́»... Надо было подписать «эрдэ», чтобы прислали сюда горючее, оно кончалось. Значит, «эрдэ» означало радиограмму. Когда Тихон Кузьмич вернулся в комнату с переданной ему на подпись бумагой, Евдокия Семеновна напустилась на пришедшего:

— Постыдился бы, Павел. Рабочее время давно кончилось. Надо же отдохнуть человеку.

— Так тогда непроходимость волн была,— хмуро объяснил Павел.— Радио не работало. А сейчас передать можно.

— Ладно-ладно,— примирительно забормотал Тихон Кузьмич, вынося подписанную «эрдэ» в прихожую.

Мы воспользовались паузой и тоже поднялись прощаться.

— Осмотреться еще надо, пока светло,— сказал Юра.— А утречком план набросаем и согласуем с вами, если позволите.

— Да, план,— обрадовался знакомому слову Тихон Кузьмич.— Планчик — это хорошо, планчик непременно нужен, заглядывайте.

А Евдокия Семеновна заключила с откровенным разочарованием:

— Я-то думала, настоящее кино снимать будут. Про любовь. Да оно и верно: какая тут, в тундре, любовь?

Мы вышли.

Оказалось, пока мы сидели в начальническом домике, все небо затянула низкая туча, холодный дождь стал срываться после первых наших шагов, а потом вместе с крупными каплями стали падать и таять такие же крупные снежные хлопья. Я обернулся. В окнах домика, за густыми тюлевыми занавесками, просвечивал неяркий свет. От работающего в сарае движка лампочки красновато мерцали. И вдруг в домике громко заиграл оркестр. Тихон Кузьмич включил радио. Наверно, оно заменяло там все: обоюдное тепло, беседу, книгу, гостей; избавляло от потребности думать. Мерцал слабый свет в окошке,

гремел за спиной приемник, и сейчас, под холодным дождем, представилось, как странно течет в этом домике время: не сухим шуршаньем торопливо пересыпающегося песка, а ленивым падением жирных масляных капель; не от дела к делу, а — в натужной, тягостной пустоте. Шлепнулась капля — приблизился отпуск... Снова шлеп! — ближе к пенсии... Мужчина терпеливо отбывает повинность, день ото дня; женщина возле него уныло несет бремя вынужденного томительного ожидания — покуда отбытая мужнина повинность даст ей возможность пользоваться тем, что ей только и кажется жизнью. А ведь, притом, и такое существование не лишено треволнений и страхов: страшно оступиться в рутинном кружении, страшно не угадать, чем будет довольно начальство, и заслужить разнос. Страшно падение, вторжение чего-либо непривычного, конец рутины... Не знаешь, где и споткнешься, подпишешь чего не надо — плохо; запретишь чего не следует — опять плохо. С таким страхом и до инфаркта недолго. Только бы так и шло: шлеп! шлеп! — слава богу, пока спокойно... Шлеп! — еще ближе исполнение желаний. Домик в Мценске, а то и квартира в Москве — такая, чтоб родичи и соседи признали уважительно: «Живут же люди». Ковры, мебель, большой холодильник, этакий какой-нибудь телевизор, какой другому и во сне не приснится,— желаний у обоих много, даст бог спокойную жизнь, пройдет так еще лет пять или шесть — все будет. А пока — стоит избушка в тундре, сидят в ней двое, гремит оркестром радиоящик, плетется под Шуберта кружевце на письменный стол, к которому никто не садится, прибирается дом, куда никто не приходит. Разве только бухгалтерша забежит: «Надька-то, завмаг, сегодня из Нюрбы вернулась, аборт, говорят, сделала».— «А взрывник Николай уже к Шурке-маленькой стал подсыпаться: куда она, туда и он»... Любовь? Да какая тут, в тундре, любовь...

Уже далеко позади остались тусклые окошки. Холодный дождь разошелся вовсю, штормовки совсем почернели. Но вот замерцал в другом окне, совсем близко, красноватый неверный свет. А что там, за этим окном?

Дело, конечно, вовсе не в тундре — в человеке дело. Разве не услышишь и в том же Мценске: «Какая у нас, в городишке, любовь?» И окон, за которыми маслянисто и жирно шлепают капли бесполезно текущего времени, немало в самых больших городах.

— Где же вас носит, ждем не обедавши, сколько же можно! — Это геофизик Сергей обгоняет нас, прикрывая от дождя буханку хлеба.— Отчетик-то небось гостей покормить не подумал?

Оказывается, Отчетиком называют тут Тихона Кузьмича. А Евдокия Семеновна именуется Городничихой.

В комнате, куда мы пришли с Сергеем, было полно. Кроме тех, кого мы уже встречали на улице, была тут еще худенькая девчонка с глазами во все лицо, и еще одна — покрупнее, стриженная под мальчишку, и грузноватый пожилой дядя, который толковал о чем-то с Гусаровым, забившись в угол.

Почти всю эту комнату занимал самодельный стол, приспособленный для чертежных работ. Видно, многолюдные сборища у этого стола были привычными. Со всех четырех сторон на табуретки были положены доски: садись, сколько влезет. Сейчас рулоны ватмана, геологические образцы, дневники были сдвинуты на дальний конец стола, а на середину Марина поставила огромную артельную кастрюлю с супом из горохового концентрата.

— Вот вам и костер у ручья,— встретила нас Марина.

Нарезая буханку, Сергей отозвался миролюбиво:

— Мало тебе было костров?

— Мало,— сказала Марина.

В это время глуховатый негромкий звон послышался за окном.

Гусаров прислушался.

— Олешки пришли.

Он вышел с Юрой, чтобы сговориться о поездке на аэродром — за Толей и за вещами. Мы уже условились, что завтра в восемь выходим вместе с изыскателями — к реке Алакит, в трапповое ущелье.

## 4

Поселок, в котором мы очутились, еще не имел имени и не обозначался на картах. Его называли номером изыскательской партии или — на военный манер — хозяйством такого-то. К слову «хозяйство» прибавляли фамилию Отчетика. Судьба этого поселка еще не была известна. Найдут изыскатели то, что ищут,— он останется, разрастется, превратится из временного человечьего стойбища в населенный пункт, получит имя. Не найдут — исчезнет, как не было. По вчерашнему застольному разговору выходило так, будто все это уже дело решенное. Поселку — стоять. Недаром новые строители летели сюда вместе с нами. И даже осторожный Отчетик позволял себе на этот предмет кое-какие намеки. Завтра мы побываем в другом поселке этой же партии. Там уже построена и работает опытная обогатительная фабрика.

— Кое-что есть,— сказал Гусаров.

Шум движка, слышный на весь поселок, вдруг прекратился. Свет выключился.

Гусаров спал, а мне никак не спалось на новом месте — после новой дороги и новых встреч.

Документальный фильм, ради которого отправлялись в дальнюю экспедицию мои спутники-кинематографисты, снимался по всему Крайнему Северу в разных точках, весьма одна от другой отдаленных. Чтобы выиграть время, приходилось то и дело возвращаться на юг, к магистральным воздушным путям. Ритм дороги был сбивчивым. Короткие переходы по топкой и кочковатой тундре, по каменным осыпям невысоких северных гор. Рейсы почтового катера в рыбачьи селенья Ямала. Вертолетные прыжки по горным ущельям — к месту работы геологических партий. Кочевка с оленьим стадом и выход на ненецком рыбачьем вельботе у побережий Байдарацкой губы. И вдруг — почти две с половиной тысячи километров за один день. Под самолетом — с утра — грязные пятна талого снега по ржавчине тундры, потом зеленая с пролысинами тайга. Потом одни лишь сугробы облаков под самолетом, а в редких разрывах — необозримо разлившаяся речная вода. А под вечер, уже из автобуса, идущего в город с аэродрома,— пыльные новосибирские цветники, знойное солнце, купальщики на реке, через которую мы переезжаем по очень длинному мосту. Большой город. Встречные троллейбусы и трамваи. И вид, от которого мы успели отвыкнуть: улицы, переполненные людьми. Из низовьев Оби мы очутились в ее верховьях, но просто невероятно, что это та же Обь, над которой мы утром взлетали из неоттаявшей тундры.

Просторный и лишенный деталей мир, открывающийся глазу в полете, после спуска на землю ошеломляет обилием вновь возвращенных пестрых подробностей.

Это мы испытали даже сегодня в маленьком поселке, еще не получившем названия. А тогда, в Новосибирске, после Байдарацкой губы, мы видели прежде всего многолюдье и обилие зелени. В новом городе первое впечатление зависит от того, с чем сам в него входишь. Новосибирские ребята у киосков с мороженым и у тележек с газированной водой приводили нас в счастливое умиление. Город начинался скопищем строительных кранов. Краны поднимали и опускали стенные панели новых домов. Это была не индивидуальная примета города; скорее — общий знак образа жизни страны в шестидесятые годы нашего века. Из строящихся кварталов автобус въехал в старые улицы. Потянулись по обе стороны нового асфальтового шоссе белые мазанки, ухоженные, огороженные плетнями сады, белые стволы яблонь. Будто из Сибири мы попали вдруг на Полтавщину (в чем, впрочем, тоже не ощутилось бы чуда после всех смен пейзажа, что прошли за день под окошками нашего самолета).

Дивиться не приходилось: это и впрямь были хаты, ставленные здесь полтавскими, мелитопольскими или елисаветградскими мужиками; они переселялись в эти края в конце про-

шлого века, строились на новом месте, как дома. Потом железная дорога, проходя по Сибири, скрестилась тут с Обским водным путем, и на новом перекрестке, обещавшем торговые выгоды, вырос город Новониколаевск, ставший после революции Новосибирском.

Сельская улица оборвалась, как положено, у овражка. Асфальт спустился в овраг, взбежал наверх. Опять мелькнули неторопливо поворачивающиеся краны, качающиеся в воздухе стенные панели с переплетами окон — кварталы, строящиеся, вероятно, на тех местах, где прежде были поля, засеянные обитателями только что виденных мазаных хат, когда переселенцы не стали еще горожанами.

Потом начался центр — и все пошло вперемешку: новониколаевские одноэтажные домики из кирпича, и восходящие к первым годам обновляющегося Новосибирска бетонные угластые строения в пять и шесть этажей с обилием стекла на темных, прихотливо изломанных плоскостях стен, и гигантский театр, сооруженный перед самой войной, и нескладный купеческий модерн начала века, и вывески, обведенные стеклянными трубками со светящимся неоном, и преувеличенно пышные колоннады послевоенного административного ампира.

Скверы с запыленной листвой и скромными цветами казались нам истинным чудом. Молодежь парами исчезала в их скупой перегретой тени. Но какой бы сомнительной ни была эта тень, все равно все это было чудо как хорошо! Еще утром мы находились в краю болотной травы и редких кустиков, едва достигавших человеческого колена.

В безымянном поселке, в спальном мешке, я вспоминал Новосибирск — шаг за шагом.

Дождя не было слышно.

Если бы все еще шел дождь, может быть, удалось бы заснуть.

Гусаров во сне дышал ровно; он спал, как спят только привычно, хорошо уставшие люди, готовя себя к новому рабочему дню.

Сибирская столица и отсюда продолжала вспоминаться преувеличенно южной, пестрой и оживленной. Но почему так неотвязно, упрямо думалось именно о Новосибирске? Приметы обыкновенного большого города средних широт обрели тогда — после стремительного полета — внезапную свежесть и новизну. Вспоминая эти приметы, сравнивая, легче было понять неощутимую прежде самобытность новых арктических городов — тех, которые я уже видел раньше и которые только еще собирался увидеть.

В первых впечатлениях от таких городов больше всего поражало как раз не то, что в них было особенным и непривычным. К непривычному успеваешь приготовиться за дорогу.

Напротив, наиболее удивительным казался в этих городах обыденно знакомый, сложившийся и мерно текущий человеческий быт. Конечно, этот быт отмечен и своими особыми чертами — такого больше нигде не увидишь. Помню, как в Салехарде, проходя по главной улице, я глазел на остановившиеся у окружного исполкома — рядом с «Москвичом» и «газиками» — оленью упряжку и заложенную в узкие нарты шестерку собак. Где, кроме заполярного города, увидишь такое? За несколько часов до прилета в Новосибирск, ожидая в Ханты-Мансийске летную погоду, мы бродили по городу. У дверей кино рядом с афишей, рекламирующей старые чаплинские комедии, я прочитал объявление. Оно было написано от руки, но заключено в застекленную рамку:

*Касса кинотеатра*
*продает билеты вне очереди*
*доярках, телятницам, свинаркам,*
*пастухам, зав. МТФ*

Только на Севере, у таежной реки, в городке рыбаков и охотников, где лишь недавно впервые завелись молочные фермы, можно было столкнуться с подобным свидетельством общественного почитания профессий, благодаря которым круто переменилась здесь жизнь,— «Макар телят пригнал», и детей впервые стали поить молоком и варить им манную кашу.

Но подобных особых, частных примет не так уж много было в этих отдаленных городках с их недавно сложившейся жизнью. Большинство же главных, общих примет делали города в тайге и тундре похожими на любой привычный районный центр: те же вывески у дверей, те же заботы за дверями...

Однако прошли мы мимо кино, вышли на перекресток, и тут на угловом столбе невысокой изгороди забелело еще одно объявление. Было оно написано на квадратике рыжей оберточной бумаги. Крупные буквы расплывались, размытые недавним дождем:

«ВВИДУ ОТЪЕЗДА ПРОДАМ ДОМ С КАРТОШКОЙ...»

А подальше другое — на вырванном из школьной тетрадки листочке в косую линейку:

«КУПЛЮ ПОЛДОМИКА...»

Висят почти рядышком и в два голоса между собой спорят.

И если со стороны прислушаться к этому спору на перекрестке, то выйдет, что жизнь здесь хоть и вошла в свой ритм, но протекает быстрее и прихотливее, чем в давно обжитых и привычных человеку местах. Не все новички оседают тут

прочно, и среди многих разных забот виднее всего здесь старая человеческая погоня за ускользающим счастьем. Иной, может, и схватил бы за крыло свою птицу, да вдруг покажется она ему совсем серенькой, чересчур уж непохожей на ту, что представлялась издалека. Вот ведь и картошку кто-то посадил на участке, а урожая не стал собирать. Потянуло в дорогу, померещилось где-то в ином далеке расцвеченное райское перышко.

А другой только что добежал сюда, огляделся. Увидел, как просторно — аж дух захватывает — сливаются под крутым обрывом Обь с Иртышом. Приземистые разлапые ели набегают к обрыву. Стоят за длинными палисадами дворов березки, краснеет рябина. Доярок вот пускают в кино без очереди... И сам он, как в песню вошел: «На диком бреге Иртыша сидел Ермак, объятый думой...» Ведь в самом деле сидел — там же, где и Ермак мог сидеть. Сидел и вникал. Тысячи километров проскакал заезжий, нынешнего времени «казак»,— от Костромы, что ли, до здешних мест. Не привык он долго засиживаться на одном месте, хоть и трудился всю свою сорокалетнюю жизнь; делал, что под руку подвернется — копал землю, таскал кирпичи, валил лес, бывал в подручных у кузнеца и у плотника, но ни к какому ремеслу накрепко не приставал. И хотя любое дело делал он честно, но тянуло его всякий раз на другое. А на что тянуло — и сам он не смог бы ответить. Просто вступала в сердце знакомая тоскливая грызь; думалось, что опять не так все сложилось, а удача еще дожидается, стоит только потянуться за нею, рискнуть снова в последний раз,— другим же людям не больше надо, а ведь находят свое. И вот — в который уже раз! — сорвался с места, доскакал до Иртыша с покорной женой и девятилетней дочкой; побродил по сосновому городку, прикинул насчет работы, посидел на бреге, над иртышским привольем, и надумал-таки: живут тут люди чисто и тихо, дай-ка и я попробую. Вырвал листок из дочкиной тетрадки и воззвал со столба к прохожим: может, и уступит кто полдомика за небольшие его деньги? Может, откроется ему из здешнего нового угла желанная гавань надежды? Бывает, и так приезжают люди на новое место для новой жизни. И, бывает, на самом деле находят они то, к чему долго стремились. Ведь дух обжитого места (а обогретую домовитость будто ноздрями чуешь в этих северных городках, во множестве теплых подробностей здешнего быта) рождался как раз из удавшихся судеб. А те, что не удались,— пробегают над устоявшимся бытом поверху, как неугомонная зыбь под ветром, и оттого они приметнее глазу.

Не олешки в нартах, не затяжные морозы, не внешняя необычность многих примет создают главную особенность жизни в городах и поселках, умножившихся за последние годы на

необъятном сибирском Севере, а именно это сочетание устойчивости и зыбкости, соседство утвердившейся и протекающей жизни.

Оно было замечено уже в самом начале пройденной длинной дороги. Старая Тюмень — уж на что сложившийся и большой город. Но стоит Тюмень у ворот Севера. Ее продувают те же порывистые ветры. И такая же зыбь непрестанно рябит на поверхности. Это отразилось даже на внешности города. В нем все собралось. Пройдешь по улице, где-нибудь в центре, мимо безликих «присутственных мест», и покажется, что вернулся в российскую среднюю полосу, в старинный губернский город; о Сибири напоминает разве только обилие рубленых домов — по-таежному щедрой на дерево, по-чалдонски добротной и прочной постройки. Но вдруг забредешь в сторону — и будто опять очутился в каком-нибудь Салехарде: бревенчатая лежневка брошена на болотный пустырь, и открывается глазу блеклый простор над невысоким забором. Прошел в другую улицу — и уже ты словно в Березове: те же зеленые палисадники перед небольшими аккуратными избами, те же красные гроздья рябины. В Тюмени как на мосту: на одной стороне древний «материк», а на другом берегу — молодая северная сторонка, которую все здешние обитатели в сознании своем упрямо от «материка» отделяют.

Это укоренилось везде. Стоило нашей дороге вновь круто повернуть на север, и уже сегодня в самолете один из строителей рассказывал, что он-де «с материка» письмо получил. И Евдокия Семеновна говорила, что в отпуск «на материк» ездила. Хотя тут-то и простирается самый что ни на есть глубинный материк и до берега океана отсюда еще многие сотни километров.

Но в таком вот безымянном поселке люди в самом деле живут, как на острове посреди океана. Недлинные тропы обрываются у болот, теряются в дремучей тайге, упираются в каменные горы. К городам и судоходным рекам путь отсюда только по воздуху: так и выходит — там материк, тут остров. И чем меньше остров, тем видней на нем люди...

Темнота за окном держалась недолго.

Сперва не то чтобы свет забрезжил, а просто сама темнота в комнате стала пожиже, и можно стало опять различить все, что успел увидеть здесь с вечера: бумаги, камни и книги на самодельном столе, почти таком же большом, как у Сергея с Мариной, и ящики вместо стульев, и сколоченные из досок книжные полки на стенах, и темную голову Гусарова на белой подушке.

А когда совсем рассвело, снова послышался глуховатый звон деревянного бо́тала, подвешенного на шее у оленьего вожака. Олешки вернулись с аэродрома.

5

В половине восьмого пришел Сергей.

— Чай вскипел,— объявил он.— Пойдем завтракать.

Гусаров только что прибежал от ручья. Капли дождя блестели на голых плечах, безволосый мускулистый торс покраснел от холодной воды. Гусаров принялся растираться полотенцем изо всей силы. Мне он указал рукомойник в сенях.

— К ручью без привычки не советую. Простудиться недолго.

За столом у Сергея были уже оба Юры и Толя. Большеглазая девочка увязывала вьюк, набитый хлебом и пачками с концентратом. Два взрывника явились следом за нами. С ними пришел и тот пожилой дядя, что был здесь вчера. Он возвестил с порога:

— А у Марьи Степановны лук поспел.

И пообещал угостить нас луком, когда мы возвратимся с поля.

— Что ж его без толку переводить, лук ваш? — намекнул взрывник с плоским широкоскулым лицом. Он представился накануне, назвавшись Саней Манжуевым, и оказался бурятом из Иркутска. Чтобы намек стал понятнее, Саня добавил: — Лук поливать надо.

— Это верно,— согласился дядя.— Так и условимся: лук мой — орошение ваше.

Потом он признался:

— Я б вам сегодня к завтраку луку принес, только Марье Степановне жалко рвать было. Красиво растет.

Дядя был здешним бухгалтером, а Марьей Степановной звали его жену. Они жили в домике напротив, и после чаю все мы пошли любоваться их луком. Можно было понять, какими красивыми кажутся хозяйке эти слабые зеленые стрелки, проросшие из грядки, представлявшей собою торфянистую подушку, уложенную перед домом руками хозяев.

Сама Марья Степановна стояла перед своей грядкой: лицо горделивое, руки скрещены на груди — Наполеон под Аустерлицем. Рядом — умиленная Надежда-завмаг и еще одна маленькая полная женщина, похожая на склеенный в детском саду нескладный кубик. Она оказалась здешней фельдшерицей. И мужчины тоже пришли: старый каюр из эвенков, пекарь Игнат и радист-почтарь со своей Мулькой. Всем интересно: скажи ты, надо же, лук поспел!..

Правда, Надежда только что побывала в большом и шумном мире. Нюрба хоть и не «материк», а все же не чета здешнему поселку; там разные вещи можно увидеть. И она сказала не без колкости:

— В Нюрбе чуть не у всех свои помидоры были. А Емельяновна огурцы сняла. Не хуже, чем у нас на Кубани.

— Скажешь тоже, в Нюрбе,— сразу укорила Надежду фельдшерица. — Нюрба — юг. Разве там такое лето, как наше?

А Марья Степановна откликнулась снисходительно:

— Будто ты моих огурцов прошлый год не пробовала. А сейчас — что за лето?! То снег, то дождь ледяной. Солнышко считанные дни грело. Видала твоя Емельяновна такое лето?

И пекарь Игнат добавил:

— Чем нюрбинским помидором дразниться, ты б оттуда главного витамина привезла, под свежий лучок...

— А там тоже вином не торгуют.

— Чтоб ты да не достала? — усомнился Игнат.

Ради сохранения репутации Надежде пришлось признаться:

— Может, и привезла малость.

— Другой разговор.

Марья Степановна все не разжимала скрещенных рук и смотрела на торфяную грядку, как смотрел ветхозаветный бог в день третий на созданную им траву, сеющую семя по роду и подобию ея, и на дерево плодовитое, приносящее плод, и убеждался, что э т о хорошо.

А над тем, что создала она себе и другим на радость, снова сыпал дождь со снегом, шли низкие тучи. У дома напротив Сергей с коллекторами грузил на оленей вьючные ящики. Пора было выходить.

Вместе с Гусаровым появился Ромка. То, что на дипломатическом языке называется «вручением верительных грамот», состоялось еще вчера. В той же большой комнате геофизиков, у кастрюли с супом из горохового концентрата, Ромка передал Гусарову положенные бумаги. Они поговорили. Их неясный непосвященному разговор было занятнее наблюдать, чем слушать. Как пароль, звучали в нем имена геологов, с которыми Ромка успел работать раньше. Гусаров внимательно вслушивался, как бы поверяя Ромкину речь внутренним своим камертоном: не сфальшивит ли? Окаймленная рыжей бородкой и наклоненная вперед, Ромкина голова на цыплячьей шейке была похожа на подсолнух. Слушая Гусарова, Ромка испытующе приглядывался ко всем окружающим; похоже, что и у него уже завелась для людей своя мерка. Скоро стало понятно, что они с Гусаровым остались друг другом довольны.

Тогда стриженая девчонка поставила точку. Она спросила:

— Ты на гитаре играешь?

Ее решительное «ты» причисляло Ромку к своим; ее вопрос выяснял, чего может ожидать от новопричисленного здешнее дружное братство.

Но нет, Ромка не играл на гитаре. Он не признался в первый вечер ни в каком особом таланте. Говорил немного, острить не пытался; только на стриженую девчонку стал смотреть повнимательнее.

Спать он отправился к взрывникам. Там и обосновался.

Сейчас взрывники уходили в поле, для Ромки еще не было дела в этом походе, он принял от Гусарова первые задания и остался в поселке.

Олени уже тронулись. Сперва они пошли тропкой, по тракторной колее, потом свернули в лес, держась тесной кучкой. Каюр, сморщенный лесовичок, по-бабьи повязанный поверх накомарника серым бумажным платком с черной каемкой, покрикивал на оленей. Ему вторил сын таким же высоким и резким голосом. В их говоре гласные растягивались, а каждая из согласных как бы удваивалась; напевность гласных спотыкалась и потухала на этих удвоениях, речь звучала гортанно и жестко. Отец с сыном пришли из колхоза, который стоит в двух сотнях километров отсюда. Работа с геологами для этих колхозов — самое прибыльное дело.

Олени были видны нам недолго. Потом только слышались голоса каюров и позвякивание ботала на шее у вожака. Потом и слышно ничего не стало. У оленей и оленных людей оставались в лесу свои, только им знакомые тропы, а мы норовили идти тракторным следом. Дождь то усиливался, то утихал. Снега сегодня не было. Мы согрелись ходьбой, и день стал казаться теплым.

Колея вела вдоль ручья, а там, где ручей начинал сильно петлять, она обрывалась у воды и снова показывалась на другом берегу.

Лес был здесь таким же редким, как по дороге в поселок, с тем же обилием сухостоя, с такими же гигантскими кочками, покрытыми гниющим мхом. Сушь чернела, будто обугленная. Целые участки казались выгоревшим палом. Однако пожара здесь никакого не было: деревья погибали оттого, что заросшая мхами почва перестала пропускать воду к корням. Приход человека мог оказаться для гибнущего леса спасеньем: там, где пройдут люди, снимется погибельный, удушающий слой и леса начнут возрождаться.

По-сибирски этот северный лес на болоте называется «рям».

Так разговор с Гусаровым — по-дорожному вспыхивавший и умолкавший — учил меня смотреть на здешний лес, видеть его не только таким, каким он являлся взгляду, но понимать его и в прошлом и в будущем сразу.

Сегодня нам изредка попадались цветы. Они росли там, где мшистый покров сменялся каменной осыпью. На лысых местах торчали лютики и багульник, цвела блеклая полярная незабудка и несмело раскрывался на высоком стебле полярный мак.

Мне случалось читать про то, какие здесь водятся птицы. Наверно, они должны были быть здесь. Не может быть, чтобы их совсем не было. Но только ни разу за всю дорогу мы не услышали птичьего голоса, не увидели ни одной птицы — ни на земле, ни в небе.

Гусаров пожал плечами, отвечая на мой вопрос:

— Бывают. По-моему, бывают...

Птиц он просто не замечал.

Это свойство нередкое у таких людей, как Гусаров. Они живут в своем мире, и то, что находится за его пределами,— для них как бы не существует.

Мир Гусарова был сложен из камня.

## 6

Там, где не было мха, был здесь камень. И на берегах ручья тоже был камень, покрупней и помельче, и совсем мелкий, закругленный водой, шуршащий под ногами, как морская галька. Каменным было русло ручья, и в быстром течении промытые крупные камни тускло блестели, мелочь многоцветно переливалась, а если нагнуться совсем близко к воде, то какой-нибудь совсем крохотный камешек стрелял вдруг навстречу зеленым или красным лучом.

Но для Гусарова эти берега, и ложе ручья, и дальние голые скалы вовсе не укладывались, как для меня, в однородное понятие, в одно собирательное слово «камень». Все это было для него разнообразно населенным, даже одушевленным миром, который разговаривал с ним многими голосами. Гусаров вытаскивал из воды крохотный камешек — затвердевшую каплю густой темной крови — и называл его:

— Пироп.

Оказывалось, что это отпрыск семьи гранатов; пресловутый купринский гранатовый браслет был сделан из того же пиропа; именно они, пиропы, с древности кроваво светились в гранатовых серьгах и на кольцах. Гусаров говорил сдержанно, точно, как бы оберегая достоинство науки от суесловной патетики. Но в этом-то и был истинный пафос. А пиропов оказалось тут множество. Нагибаясь к воде вслед за Гусаровым, я научился различать их: вот и вот, еще и еще... Но Гусаров сказал о пиропах пренебрежительно:

— Сами по себе они нас не интересуют.

Один из спутников алмаза — вот в каком качестве, оказывается, интересовал пироп здешних геологов. И Гусаров снова

нагнулся к воде и вытащил из ручья еще несколько камешков: зеленоватый и светлый, дымчато-желтый и антрацитово-черный.

— Оливин, диопсид,— называл он их один за другим,— хлорит...

Все они тоже оказались спутниками алмаза. Его неразлучная каменная свита. Если эти маленькие камешки попадаются все вместе и к тому же их много, то скорее всего неподалеку должны быть алмазы.

— Но ведь гранатов тут полным-полно,— восторженно и опасливо шепнул Толя, ощутив свое внезапное сопричастие к тайне близкого радостного открытия.— И оливинов тоже.

— Соображаешь,— одобрила Марина.

Толя с Юрой брели теперь прямо по руслу ручья, не обращая внимания на то, что ледяная вода захлестывала порою за голенища сапог. Оба они поняли Гусарова чересчур буквально. Научившись различать оливины и пиропы, они то и дело доставали их из воды. Блестящие камешки быстро обсыхали и становились невзрачно-тусклыми, а Юра и Толя снова нагибались к воде и приглядывались к каждому прозрачному кристаллику на дне ручья: а не алмаз ли это?

Гусаров и Марина развеселились. Сначала они ободряли искателей.

— Только не потеряй очки,— говорила Толе Марина.— Смотри в оба. Мы отсюда никогда не возвращаемся без алмазов.

Она подмигивала Гусарову, а тот — не привыкший к розыгрышам — пытался подстрекать Юру, преодолевая при этом крайнее смущение и густо краснея:

— Марина Петровна шутит, конечно. Но может случиться, может случиться...

Однако и такого скромного соучастия в маленьком обмане Гусаров не сумел выдержать долго. Он признался, что геологу в поле почти никогда не приходится видеть алмазы своими глазами.

— Бросьте, Юрий Алексеевич, не мучайтесь. Это происходит совершенно иначе...

И когда мы подошли к плато, полого поднимающемуся от ручья, Гусаров показал, как именно «это происходит». Он привел нас к яме, окруженной осколками выброшенного из земли камня. В яме легко было распознать воронку недавнего взрыва. Вывороченный камень был обрызган яркой голубой глиной.

— Вот это и есть самое главное,— сказал Гусаров о голубых глиноподобных брызгах.

Это не была глина. Называя породу, вывороченную здесь взрывом, Гусаров произнес слово, известное каждому, кто читал хоть что-нибудь об алмазных месторождениях,— «кимберлит».

Кимберлит — молодое слово. Ему еще не исполнилось ста лет — оно родилось вскоре после того, как были найдены богатые алмазные россыпи в Южной Африке. В 1870 году искатели алмазов заложили там город Кимберли. Близ города Кимберли геологи через некоторое время установили, что существует источник алмазов, куда более щедрый, чем россыпи. Они открыли алмазоносные породы в недрах земли: в трубках, пробитых некогда в земной коре,— в трещинах и разломах кристаллических плит,— газами, которые во время вулканических потрясений рвались из недр вместе с расплавленной магмой. Впоследствии трубки заполнялись содержащей магматические минералообразования массой — иногда исчерна-синего, иногда голубого, иногда зеленовато-желтого цвета. В этой массе чаще всего и находились алмазы вместе со всей свитой своих спутников. Первые такие трубки были найдены возле Кимберли; заполняющая их порода получила название кимберлита.

Не так давно ученые установили родство геологических процессов, в которых сформировались юг Африки и север Сибири. Обнаруженные в Якутии кимберлитовые трубки подтвердили правоту ученых.

Гусаров уже сказал о том, как редко геологи находят «в поле» алмазы. Да ведь и сама такая находка рассказывает разведчикам не многим больше, чем встреченные ими пиропы или оливины. Это всего лишь наводящие знаки, подобные сигналам старой детской игры со спрятанной вещью: «Тепло!», «Еще теплее!» Искать нужно не случайные алмазы, а кимберлитовые трубки. Алмазы же в кимберлите отыскивает не глаз геолога, а специальные аппараты, исследующие доставленные в лабораторию пробы. Сложный и протекающий скрыто процесс отделяет тяжелые частицы породы от более легких. От целой тонны кимберлита остаются граммы и миллиграммы малых кристаллов. И лишь в самом конце этого процесса, когда остатки от полной вагонетки породы уместились в небольшом ящичке-копилке, содержащем оставшийся концентрат,— рентгеновские лучи отыскивают в этом концентрате алмазы. Под рентгеновским лучом алмаз люминесцирует; на его излучение реагирует фотоэлемент. Щелкает соленоид; алмаз пролетает в другую копилку, поменьше. Счетчик отмечает теперь его падение: шесть... восемь... четырнадцать...

Вместе с алмазами падают в копилку еще и последние, случайные «хвосты»: пиропы, оливины. Но их счетчик не отмечает, девушка-лаборантка (ей-то и предстоит первая встреча с алмазом) уже предупреждена цифрой, на которой остановился счетчик:

— В копилке семнадцать драгоценных камней.

И она должна будет отыскать их среди «хвостов» и извлечь пинцетом. Это происходит в темной тесной комнатке. Кристал-

лы лучатся, преломляя свет. Тут же каждый из них будет взвешен на аптекарских весах. Затем его — тоже, как в аптеке,— уложат в свой бумажный пакетик. На пакетике будет обозначен вес камня (в каратах: а каждый карат равен двум десятым грамма); откуда он прибыл и когда извлечен... И, боже, как же это все кропотливо и какими чревато волнениями! Ведь крохотному камешку ничего не стоит упасть со стола и закатиться невесть куда! Тут обыщешься до одурения. Последняя цифра осталась на счетчике (ошибок не бывает!) — и число пакетиков непременно должно сойтись с итогом аппарата. Но, правда, и чистота в комнате должна быть такая, чтоб пылинку было видно, как камень.

Не всякая кимберлитовая трубка одинаково богата алмазами. Об этом говорят сами названия. Та, что в Мирном, названа Удачной. Та, к которой привел нас Гусаров, осталась безымянной; она брошена, потому что содержание ее оказалось бедным.

## 7

Марине отдана здесь эта чистая радость — нарекать землю первыми именами.

С геофизиками пойдут двое или трое рабочих, и на несколько месяцев им предстоит палаточная жизнь в снегу, как на маленькой полярной зимовке.

— Небось теперь только того и хочется, чтобы снег подольше не ложился,— вслух предположил Толя.

Марина посмотрела на него с сожалением.

— Пижон несчастный,— сказала она.— А ты здешнюю зиму видел?

Она не стала ничего объяснять, но по тому, как переглянулись они с Сергеем, стало ясно, что это известно только им одним, а никому другому этого все равно не понять.

Мы уже ушли от воронки и снова шагали по тракторному следу, проложенному между двумя поселками геологической партии. Дождь перестал, тучи понесло к северу, показалось солнце. Юра стал просить Гусарова, чтобы тот изобразил перед кинoаппаратом эпизод геологического поиска.

— Очень красиво получится на солнце,— убеждал Юра.— Ручей. Кусты вот эти. Человек идет в воде, ищет. Весь сосредоточенный. Это будет средний план. А потом крупно: лоток в руках. И опять крупно: радостное такое лицо. «Нашел!..»

— Это, значит, у меня — лицо? — Гусаров хмуро удивился.— А что же я тут такое нашел?

— Как что? Алмазы, конечно! И лоток крупно покажем. Во весь экран. Ведь съемка в цвете. Пироны будут ясно видны. И среди них — алмаз.

— Извините меня, Юрий Алексеевич, но не могу.— Гусаров стал очень серьезен.— Знакомые увидят, засмеют: смотрите, Гусаров в фантастическом фильме роль сыграл...

— Ну, кто там увидит,— не слишком удачно нашелся Юра.

Марина засмеялась.

— В самом деле, изобразите, Василий Тимофеевич. Жалко вам, что ли? Этого фильма даже мы с вами никогда не увидим.

Но Гусаров решительно замотал головой и снова покраснел так же густо, как в тот раз, когда — компании ради — попытался поддержать розыгрыш. Юре осталось снимать переход геологов через ручей, обходясь без инсценировок. Средний план: выходят из кустов люди. Крупный план: вода и ноги. Крупно: лицо Гусарова. Крупно: лицо Марины...

И, конечно, к концу съемки выяснилось, что Толя и на этот раз перепутал объективы. Ручей пришлось переходить еще раз. И опять потянулись из кустов цепочкой: веселый лохматый Север, за ним Гусаров, Марина, Сергей, коллектор Женя (та самая вчерашняя стриженая девчонка) и два взрывника — Коля Спиридонов с витками серого бикфордова шнура, намотанного на плечо наподобие адъютантских аксельбантов, и Саня Манжуев в черной куртке, изрезанной молниями, с мешком взрывчатки за спиной и с охотничьим ножом, притороченным к поясу...

Мы отошли от поселка километров на пятнадцать, и Марина сказала, что это треть всего нашего сегодняшнего пути.

Толя по-стариковски закряхтел и выдал одну из своих любимых фразочек — в том смысле, что он, мол, опять втянался в дело, которое «тянет его назад, к пещерному человеку». И Марина снова отозвалась тем же эпитетом:

— Пижон несчастный.

Толя мирно сказал:

— А ты пижонка таежная. Водится тут у вас такая разновидность.

Марина спросила с опасной вкрадчивой ласковостью:

— Что ты хочешь этим сказать?

Толя не хотел ссоры. Он был настроен мирно, потому что Гусаров уже объявил привал; это обещало еду и отдых, а еда и отдых всегда приводили Толю в доброе, покладистое состояние духа. Он ответил:

— Ничего, Мариночка. Просто я думаю, что это кокетство. «Люблю тайгу», «Жить не могу без тайги», «Подавай мне мороз в пятьдесят градусов», «Поскорей бы в палатку»... Ведь мы-то с тобой знаем, что так в жизни не бывает...

Он с удовольствием опустился на камень, положил штатив рядом с собою, снял мешок и запустил в него руку.

— Имеется компот ананасовый и куриное рагу марки «Великая стена». Прикажете распечатать?

Марина начала:

— Да ты пойми, одноклеточное...

— Маришка! — ужаснулся Сергей.— А где же восточносибирское гостеприимство?! Наш гость — и вдруг одноклеточное!.. И потом, что ты хочешь ему объяснить? Ведь он все равно ничего понять не сумеет.

Тут засмеялись все, даже Толя. Одна Марина оставалась серьезной.

— Как ты не понимаешь, Сережка,— сказала она.— Я ведь не ему, я еще и себе самой объясняю.

— Что объясняешь-то?

— А может, прав он? Может, про «таежную пижонку» и верно? Разве мало я тебе жизнь здесь портила? Да, правда, было. Да, хотелось, чтоб город, чтоб ванна, чтоб, как говорится, удобства не во дворе...

— Так это ж когда было! — сказал Сергей с таким удовольствием, что у меня появилось чувство, будто все мы тут лишние, потому что между двумя молодыми людьми начался слишком личный, только им обоим понятный любовный разговор.

— Это до нее было,— продолжила этот разговор Марина.

И оказалось, что, говоря о «ней», Марина имеет в виду не какую-нибудь разлучницу, а машину, новый геофизический аппарат, который не терпится им обоим испытать.

Можно про это плохо писать в плохих романах, можно от всей души смеяться над веселыми пародиями, в которых ударники, объясняясь в любви ударницам, говорят о перевыполнении производственных планов и об освоении новых машин. Но от этого никуда не денешься в самой реальной жизни: дело человека проникло в сферу самых личных, даже интимных его чувств, и вот опять же пример: чтобы Марина и Сергей полюбили друг друга без ссор и надсады, пришлось и Марине проникнуться любовью к какому-то совершенно для меня таинственному геофизическому аппарату; ждать испытания этого аппарата, как подарка, соглашаться с Сергеем, когда он мечтает, чтобы скорее лег снег и ударили морозы,— тогда пройдут на Огненный нарты, а для вьюков их аппарат чересчур тяжел, трактору туда нет дороги, а вертолета они никак не могут выпросить.

И Марина словно на самое себя переносит, превращает в радость своей семьи любовные слова Сергея об этом аппарате — что он уникальный, и самый современный, и самый точный. Сергей и Марина о науке своей способны говорить взахлеб («перспективнейшая наука нашего времени»), и о приборе, который им прислан — опытном, одном из первой пятерки,— рассказывают с нежностью, как о близком человеке (он и «красивый», он и «умница»). Примерно так говорит Марина

разве лишь о своей дочке. Но только дочка-умница далеко отсюда; она в Ленинграде, с родителями Сергея, и лишь из долго идущих писем они узнают здесь, какие она сказала новые слова и какая она растет особенная. А умница-аппарат — рядом, в поселке, в нераспакованных ящиках. И им не терпится собрать его и самим убедиться, как он «сквозь землю видит», и какой он «чуткий», и какая у него «небывалая точность» — одним словом, какой он тоже особенный, этот пока еще им одним, для самых первых испытаний доверенный аппарат.

Я вспомнил, что такие же разговоры о своем деле уже приходилось мне слышать и у ямальских звероводов, и у коломенских тепловозных конструкторов, и у строителей-энергетиков на Волге. И вот снова открылась в короткой чужой дорожной беседе давно уже понятая «примета Севера»: то же, что есть везде, становится здесь видным не в многолюдье, и оттого гораздо приметнее и резче.

## 8

Мы свернули от тракторного следа и поднялись в гору.

Тропы тут еще не пробиты, лес на склонах густой; свежие ветки яростно дерутся, сухие — громко ломаются; даже гусаровский пес продирается сквозь чащу шумно и трудно.

Но с половины склона и доверху лес исчезает вовсе, чтобы появиться снова лишь на самой вершине. Мы долго идем по черно-белым известняковым лысинам. Напротив, через узкое ущелье, видна другая такая же гора. Верхняя часть ее сложена из черно-рыжих траппов — изверженных кристаллических пород; они текли некогда горячей магмой, потом, миллионы лет назад, застыли, сделались камнем; потом их избороздили глубокие продольные трещины, и оттого они стали похожими на титанические плиты, положенные одна на другую. И по гребню — именно так, как говорила Марина,— мохнатятся сосны. Против солнца сосны не зеленые, а того же черного цвета, что и вся трапповая гора: деревья слиты с ней, как каменные.

— Трапповый каньон,— называет это место Гусаров.

Название принадлежит, конечно, Марине. На этот раз за именем, нанесенным на карту, нет никакой поэтической истории, никакого внезапного откровения закатных красок. Обыкновенный географическо-геологический термин. Действительно каньон. И действительно трапповый, то есть сложенный из древних изверженных пород. Марина предложила записать поделовому то, что они увидели здесь взглядом специалистов. Так и сделали. Но я чувствую, как вкусно ложится на слух это название. И Гусаров тоже произносит его с особенным смаком. Ученые слова перекликнулись с книжками детства. «Трапповый каньон» — может ли быть более подходящее место для

необыкновенных приключений? Вероятно, существо романтики как раз и состоит в стремлении наиболее полно осуществить свои детские мечты. Пессимист и скептик скажут, что это стремление никогда не сбывается. Неправда. Сбывается. И даже очень часто. Но только чаще всего выглядит это не так, как мы ожидали. И с мечтою можно разойтись, так и не узнав ее.

В Трапповом каньоне не приключилось ничего необыкновенного.

Опять мы увидели на пологой площадке, невдалеке от вершины, следы давних воронок. Кимберлит вокруг них был густого синего цвета.

Мы встречали уже немало обнаруженных геологами трубок, прежде чем добрались сюда.

— Пустой номер,— говорил Гусаров возле некоторых.

— Нормальная трубка,— замечал он возле других.

— Здесь дела могут быть неплохие,— сказал он, когда мы поднялись к свежим еще воронкам Траппового каньона.

Он велел взрывникам подготовиться к новому взрыву и показал им место, а Марина тем временем весело рассказала историю еще одного здешнего названия.

Последний ручей, который мы перешли, прежде чем подняться в гору, носил странное имя: Сыттыкан.

— Это по-якутски,— объяснила теперь Марина.— Я его хотела назвать не то Быстрый, не то Светлый, не бог весть какая выдумка однако. На все здешние ручьи хороших слов не напасешься. А с нами тогда был каюр-якут. Я на всякий случай спросила: «Вы этот ручей как называете?» Обыкновенно он говорит: «Никак». В этих местах они ведь раньше и сами редко ходили. Совсем были дикие места. А тут вдруг сказал: «Сыттыкан». Вот, думаю, какое звучное слово. А я-то, пошлячка, хотела «Светлый»... Так якутское название и записали. Василия Тимофеевича тогда с нами не было, он только потом название на карте рассмотрел и вдруг спрашивает: «А вы, Марина Петровна, знаете, что это красивое слово по-якутски означает?» Ну, вижу — подвох. «Нет, говорю, не знаю. А что?» Стесняется. Он ведь у нас очень стеснительный, Василий Тимофеевич. Прямо как девушка...

Я уже не в первый раз и не от одной Марины слышу, как ласково говорят здесь о Василии Тимофеевиче. А она продолжает:

— Василий Тимофеевич меня привел к ручью и показывает. Вижу, плавают по воде жирные такие, радужные пятна. «Понюхайте», говорит. Понюхала. Вроде керосином пахнет. Одним словом, похоже на нефть. «Якуты, говорит, пораньше нас с вами это заметили, а слово «сыттыкан» по-ихнему означает, извините, «вонючий». Такое название якуты дали, якуты в свое время сами и переменят. Но для нас с вами оно, как

видите, сигнальный звоночек. Тут ведь тоже внимание нужно». Вот оно как иногда бывает с названиями в нехоженых наших местах...

Гусаров не слышал рассказа Марины. Он был там, где Манжуев и Спиридонов готовили шпуры для взрыва,— далеко в стороне от старых воронок. Потом он пошел на нас и замахал руками, показывая, чтобы мы уходили. Юра побежал к нему навстречу. Он во что бы то ни стало хотел снять взрыв поближе и стал показывать Гусарову на тонкий ствол дерева, за которым собирался укрыться с киноаппаратом. В эту минуту он мыслил только воображаемым будущим кадром, и дальний взмет огня, земли и дыма на этом кадре — такой взмет, какой он видывал уже не однажды у многих других операторов,— никак не устраивал Юру. Он представлял себе кадр, снятый понизу с короткого расстояния — такого, казалось ему, еще ни у кого не бывало. Профессионал всегда разглядит: приближен ли снятый план объективом или сам оператор сумел найти близкую точку и «хитрый» ракурс. И товарищи, думал он, когда увидят его кадр на экране, должны будут сообразить, что это снято с профессиональной лихостью, с риском для жизни. Вместе с азартом пришло к Юре полное и решительное безрассудство. Ни в какую действительную опасность он просто не верил. Опасность могла быть лишь видимой. Заботы Гусарова казались ему никчемной перестраховкой. Он снимет отличный кадр, и ничто угрожать ему не может. Наверно, с такой вот утерей реальности и рождается то, что зовут в обиходе смелостью. Но Василий Тимофеевич очень рассердился, увидев бегущего на него Юру. Он не захотел ничего слушать. Сейчас Василий Тимофеевич слишком занят был собственным делом; времени на баллистические расчеты у него не оставалось, и, разъяренно повернув Юру за плечи, Гусаров погнал его перед собой за большие камни, куда и всех нас еще раньше отвел опытный Сергей, привыкший понимать Гусарова с полуслова и полужеста.

Потом мы увидели, как Саня и Николай бегут через каменную террасу. Они старались, — право же, можно поручиться, что именно старались,— оставаться в этой пробежке не слишком торопливыми и как бы небрежными; они считали, наверно, что им не пристало выказывать страх перед взрывчаткой. Как-никак они были ее хозяевами, в походе носили ее за плечами, во время сна держали под своей койкой. Все же Саня поглядывал на секундомер, и, когда до больших камней оставалась еще добрая сотня метров, он рванул Спиридонова за рукав, они отбежали к отвесному склону, легли за сосны, и сразу под нами двинулась земля, огонь поднял над собой камень, глыба повисла в воздухе, заволоклась дымом, потом грохнул взрыв, и стало слышно, как застучали вокруг каменные осколки.

Саня Манжуев вернулся на открытое место первым. Его круглое и плоское желтое лицо было еще невозмутимее, чем обычно. Он счистил со своей черной, исчерченной молниями куртки невидимые пылинки, и она показалась еще более щегольской. У Коли Спиридонова размотался остаток бикфордова шнура, и Коля принялся приводить его в порядок.

Толя подошел к взрывникам.

— Шумная у вас работенка,— сказал он.

— Какой мог быть кадр! — огорченно сказал Юра.

Я стал догонять Гусарова, Сергея, Марину и Женю. Все они спешили к новой воронке. Женя смешно выбрасывала в стороны маленькие ноги в блестящих резиновых сапогах. Она обошла остальных и уже навстречу нам закричала, запрыгав мячом на одном месте:

— Есть кимберлит!

Кимберлит был здесь такой же густо-голубой, как возле прежних воронок. Сергей нагнулся к щедрому выбросу, и рядом опустился на корточки Гусаров.

— Кимберлит-то, кимберлит,— заворчал он. Потом стал напевать то же самое слово, погружая руки в синее глиноподобное крошево: — Кимберлит-то, кимберлит... Кимберлит-то, кимберлит...

Север носился вокруг. Он лаял и вилял хвостом, деятельно принимая участие в происходящем.

— Конечно, трубка должна была сюда дотянуться,— солидно заметил Сергей.— Не могла же она так вдруг и оборваться.

— Могла, очень просто могла,— продолжал мурлыкать Гусаров, разминая и кроша синюю массу.

— Продолжение? — деловито спросила у Василия Тимофеевича Женя.

— Похоже,— сказал тот.

— А может, новая? — предположила Марина.

Гусаров согласился и с нею.

Теперь уже и я без объяснений узнавал в его руках пиропы и другие камни из свиты алмазов. В массе выброшенного взрывом кимберлита было действительно много таких, как сказала Женя, включений. Но я не понимал, почему, например, оливины видны здесь так ясно, а такие же по размерам алмазные кристаллики, которые, несомненно, тоже присутствуют в вывороченном на поверхность синем тесте, ни разу не попадались геологам.

— Случай,— сказал Гусаров.— Ведь все-таки алмазов в десятки раз меньше.

— Случай — это бы можно сказать, если бы мы их находили,— беззаботно возразил Сергей.— А тут просто — закон мирового свинства.

Он припомнил общеизвестный пассаж из старого переводно-

го романа. Автор вывел там формулу, по которой бутерброд, выскользнувший из рук, непременно упадет на пол той стороной, что намазана маслом, а когда человек придет к автобусной остановке, то перед ним долго будут останавливаться автобусы совершенно ненужных ему линий, прежде чем появится наконец долгожданный номер. Там было, помнится, еще много подобных примеров, и все они должны были неопровержимо подтвердить существование «закона мирового свинства». То, что Сергей заговорил об этом законе, почему-то очень рассердило Марину.

— Но ты же согласился наконец, что все это глупости!

Она даже вскочила с земли, показавшись стройнее и выше в своем тренировочном, синем с белыми каемками, спортивном костюме и в «геологических» сапогах, перехваченных у ступней ремешками. Как всякое искреннее и открытое проявление темперамента, внезапная рассерженность часто красит человека. Даже Женя удивленно уставилась в переменившееся лицо подруги.

— Ты чего? — недоуменно спросила Женя.— Пошутил твой Сережка. Ну, что такого, есть от чего в бутылку забираться!..

— А я и шуток таких не хочу. Выдумка неудачников! Придумано, чтобы ни в чем не обвинять самих себя и не доискиваться причин очередной неудачи. Противно слушать!

Сергей счел нужным взять ее под защиту. Он сказал с той же легкомысленной беззаботностью:

— Вы не подумайте, что она лишена чувства юмора.

— Брось! — снова крикнула Марина.— Юмор тут ни при чем. Я не хочу, чтоб ты был таким. Это не шутка.

Она откинула накомарник и не обращала внимания на звенящую у самого ее раскрасневшегося лица стайку мошкары.

— Опять у нас комсомольская дискуссия,— отметил подошедший Саня Манжуев. В этой поисковой партии он был комсоргом.— Тема: «Облик молодого человека нашего времени». Заседание сто двадцать шестое. Слово для своего сорок третьего выступления на вышеозначенную тему имеет представитель геофизиков...

— А что,— мирно сказала Женя.— Можешь галочку в дневнике поставить. «Мероприятие в поле...»

— Геофизики и геолирики,— не удержался Сергей.

Марина повторила, успокаиваясь:

— Брось! Было уже...

Геологи наполнили свои мешки кимберлитом, взятым для лабораторных проб.

Час был уже не ранний.

Мы спустились к ручью, чтобы пообедать и трогаться на «участок». Так назывался в обиходе второй поселок здешних поисковиков.

Николаю удалось привлечь Толю в помощники, и они развели костер. Уже вскипела в котелке вода. Была Женина очередь кухарничать; ее звали сегодня «мамкой» — так назывались хозяйки в золотодобытчицких, старательских артелях. Женя откликалась и продолжала отважно смешивать содержимое консервных банок и пакетики с концентратами.

— Ты, мамка, не забывай: доктора с нами нету,— изображая испуг, вскрикивал Саня Манжуев, когда в пшенную кашу отправлялись стручки молодой фасоли и частик в томате.

Конечно, пели.

Конечно, исполнена была песня про то, что геологи — «народ бродячий», которому «нельзя иначе».

Исполнена была еще здешняя песня, сочиненная кем-то на мелодичный мотив «Индонезии». Удалыми, нестройными голосами пропеты были печальные слова:

Нас кормят наши ноги верные,
Мы все ревматики, наверное,
А голова для накомарника
Всего лишь нам дана.

Исполнен был нехитрый студенческий вальсок и потом трогательная песенка о кузнечике:

Он рад, что светит солнышко,
Что зелен, зелен сад,
Что он, такой зелененький, —
Коленками назад.

Потом стали просить Гусарова. Долго просить не пришлось — настроение у него после сегодняшнего взрыва было хорошее, и оказалось, что поет он в самом деле славно.

Он пел грустные старые украинские песни. Когда Василий Тимофеевич запел первую из них, ту, где казак говорит девушке на рассвете: «Ой, дівчино, шумить гай, кого любиш, серденько, забувай, забувай» — я побоялся, что он станет коверкать слова, а я люблю эту песню и еще больше люблю весь тот строй духа, речи и глубокого душевного чувства, спрятанного под внешним озорством, из которого родилась и эта, и многие другие украинские песни. Когда коверкается язык, песня начинает звучать бессмысленно, деревянно и перестает быть песней. Но Василий Тимофеевич запел правильно. Слышно было, что это и есть его родной язык и родная ему с детских лет песня. Николай подыгрывал Гусарову: гитара была взята в поле — такой же обязательный инвентарь, как бикфордов шнур.

Негромко, стеснительно пел Гусаров потом про то, как брала девушка воду под вербою, подъехал к ней казак и попросил напоить коня.

«Не великий ти пан,— ответила девушка.— Та й напій коня сам».

И Гусаров дважды негромко повторил:

Ранняя роса, а дівчина боса,
Ніжкам холодно.

Снимал казак епанчу, чтобы завернуть застывшие девичьи ножки, а потом звал девушку сесть с ним на коня и ехать в чистое поле, к его двору. Но босая девушка знала, что и казак не богаче ее; она откликалась горькой издевкой:

Ой, у тебе ж двора
Та і зроду нема,
Гей тільки в лузі три корчі калини,
Та й та не твоя...

В самом деле, очень хорошо пел Гусаров.

Я хотел потом спросить геофизиков, давно ли они работают с Гусаровым и что о нем знают. Сергей сам шепнул:

— Золотой человек.

Марина поддержала его:

— Наше золотце.

А Гусаров будто уловил, что начинается некий излишний — «сверх отдыха» — разговор. Он оборвал песню и подал команду: растаскивать костер и собираться в дорогу.

Толя кончил колдовать над черным мешком, в котором перезаряжал кассеты, и взялся за штатив. Но Николай отобрал у него штатив и снова положил на землю. Николай сказал, что сперва надо вымыть котелки и кружки, и Толя покорно поплелся за ним вниз, к ручью,— помогать «мамке».

Мытье не отняло много времени; скоро мы отправились в путь, на участок, и каждый тащил теперь на себе по мешку с кимберлитом, потому что чем больше удастся доставить его в лабораторию, тем убедительнее будут результаты проб.

9

Снова пошел дождь.

Холодный и сильный, он захватил нас на полпути к участку.

Вдобавок стало темно.

Впрочем, можно было утешаться: комары исчезли. Пожалуй, дождь — это все-таки лучше, чем комары.

Мы шли по осклизлым камням, хватаясь за редкие стволы осин и сосен. Тропы не было и в помине. В темноте все казалось безликим: деревья, ручьи, подъемы и спуски, мокрые камни и мокрый мох. Но геологи свободно ориентировались в окрестностях каньона, они отличали дерево, которое нужно

миновать, от дерева, за которым следует сворачивать вправо; ручей, который надо перейти вброд, от ручья, где путь лежит вдоль берега.

Дождь все усиливался. С деревьев — стоило только руками развести ветки или удержаться за ствол — срывались потоки ледяной воды. Юра и Толя кутали киноаппаратуру, Николай старался спрятать от дождя гитару. Промокший Север понуро брел у ноги Гусарова.

Темнота, едва различимые фигуры, шорох тяжелых шагов, шуршанье мокрого камня, плеск воды, сорвавшейся с веток.

И после долгого общего молчанья — Толин лениво-ерническій вопросик:

— Значит, ты про это самое и пела, Марина?

— Про что — про это? — Наверно, это Марина отозвалась, ведь Толя к ней обращался. Только голос ее узнать было трудно. Он прозвучал хрипловато и тоненько — застуженный, жалобный девчоночий голос.

— Да про то, что тебе можно только так и нельзя иначе,— с той же ленивой издевочкой объяснил Толя.

Стало уже совсем темно, никого не было видно. Только дождь шумел, и по шагам было слышно, что впереди — люди.

Быть может, мысли и в самом деле передаются на расстоянии: ведь и я только что как раз подумал о том же самом, о чем Толя спросил. Я подумал: в самом ли деле они сами, по собственной душевной склонности, это для себя выбирают? Или все дело в том, что им нравится петь — больше для других, для «непосвященных», чем для себя,— эту свою песню, немножко манерную, не без рисовки: «Потому что нам нельзя иначе»...

Марина молчала, не откликаясь.

Потом сказала упрямо:

— А все-таки после тайги в городе долго не проживешь... Ведь это все завтра иначе вспомнится. И заскучаешь без этого, если ты не чурбак.

По голосу можно было представить, как девчонка продрогла.

И когда она замолчала, стало слышно, как громко постукивают у нее зубы.

Сергей отозвался сразу взволнованно и сердито:

— Маришка! Ты же совсем замерзла! Возьми мою куртку.

Он ступал за женой следом, но до сих пор думал, наверно, о чем-то своем. Скорее всего, о том, что лучше бы вместо этого дождя пошел снег, и тогда можно было бы начать оконтуривать трубку Огненную.

— Сумасшедший! — счастливо прохрипела Марина. — Переодеваться под дождем. Надо же, скажешь! Все равно ведь совсем мокрая. Дойдем уже скоро.

Нет, песня была по-настоящему их песней. Толя был не прав. Напрасно я торопился с ним соглашаться. Выходит, тоже стал «одноклеточным».

Гусаров пропустил спутников вперед. Север остановился рядом. Когда я поравнялся с ними, Гусаров шепнул мне в самое ухо:

— Золотые ребята.

Сам того не подозревая, он вернул им их же эпитет.

Мы пошли рядом, и Гусаров сказал:

— Много писать про нас стали. Откроешь журнал — и непременно что-нибудь про геологов. В литературе мы сейчас, наверно, за угрозыском на втором месте. Или за розыскной овчаркой.

Теперь уже и по певучему его голосу было слышно, что он, точно, украинец. Хоть фамилия и кажется русской. И про овчарку он сказал точь-в-точь так, как сказал бы украинский крестьянин: обронит словцо, и сразу не разберешь — серьезно это он или в шутку. Недаром прижилась там поговорочка: «Вы это серьезно или по-украински?» Я попробовал ответить тем же:

— Выходит, благополучно на вашем участке. Другие жалуются: «Недоотразили». Пожарники, например. Или бухгалтеры.

— Это как отражать,— сказал Гусаров.— А то откроешь журнал, прочтешь что-нибудь про геологов, и кажется, что все это уже раньше было. Читал уже такое. И как он что-то там такое нашел, и как один шел, и как, бедняжка, голодал и мерз. Или, наоборот, в жарких песках без воды мучился. И опять, глядишь, в единственную девицу все мужики влюблены, и от этого в геологической партии роковое расстройство. И городской паренек-недотепа вдруг неожиданные поступки совершает... Все уже было, и все снова читаешь...

— А что? На самом деле разве так не бывает?

Гусаров ответил не сразу.

Дождь теперь лил с унылым постоянством, не усиливаясь и не утихая; казалось, он приноровился, соразмерил свои силы и так будет идти очень долго, быть может, даже всегда. И люди тоже приноровились к дождю, на них давно уже промокло все, что могло промокнуть, вода теперь скатывалась с них так же, как с намокших деревьев, и лучше было не обращать на нее никакого внимания. Идущие впереди разговаривали, слышался голос Марины, голос Николая. Потом, кажется, заговорил Манжуев. Но о чем — не разобрать.

— Бывает, наверно,— ответил мне наконец Гусаров.— Не знаю. Чего не бывает в жизни! Но только я двенадцатое лето в поле выхожу, а про такое только в книжках читал.

— Досадили вам эти книжки.

— Да нет! Не в том дело, просто к слову пришлось. И вас

предостеречь захотелось. А вы слыхали, как Марина Петровна сказала про тайгу и про город?

Он даже за глаза продолжал называть своих ребят по имени-отчеству. И я уже понял, что отношения главного геолога со здешней молодежью прежде всего и определяются искренним обоюдным уважением. Но ведь такое уважение не может быть задано заранее. Для него нужны реальные основания. Мне не терпится узнать их. И подтвердив, что да, что слова Марины Петровны я слышал, я тут же нарочно поддразниваю Гусарова:

— А может, и прав Анатолий? Разновидность «таежного пижонства»? Или то самое, что вы про книжки говорили: в городе — обыкновенная стиляжка, а в тайге — неожиданные поступки?

— Ну, какая же она стиляжка, Марина Петровна?! — Гусаров искренне возмутился.— Да и не городской она вовсе человек...

Он рассказал, что Марина собиралась стать «потомственным» геологом, пойти по следам отца: того в Сибири знают, а сама Марина и выросла в Бодайбо, где отец работал, и поступать в геологический поехала именно в Ленинград, потому что и отец ее там учился. Экзамены сдала, но комиссия уговорила идти не на геологоразведочный, а на геофизический: перспективно, мол, и люди очень нужны. Согласилась. Вот и вся ее городская жизнь — студенческое общежитие да первый год замужества. А Сергей Петрович был на курс ее старше. Впрочем, он-то — коренной ленинградец...

— Конечно,— возразил сам себе Гусаров.— За шесть лет к городу, наверно, можно привыкнуть. А вот ведь один только год, как в тайгу вернулась, и слышите, как рассуждает.

— А почему же все-таки вас это удивило?

— Да потому, что я и сам так же думаю.

— А вы — городской человек?

— Я — степной. С самой Запорожской Сечи. А село мое — Скельки.

— Степняку тут привыкать нелегко,— предположил я.

Гусаров даже руками замахал:

— Что вы, что вы. Там простор, а здесь простор еще шире. Самое подходящее для степняка место.

Даже в кромешной тьме, полной дождя, можно было угадать его смущение. Я уже раньше отметил это до последней крайности доведенное в нем свойство. Гусарова стесняло решительно все, что о нем говорилось. «Что вы, что вы»,— торопливо возражал Василий Тимофеевич на любое предположение, будто он отчего-либо может испытать неудобство. Именно так отнесся он и к догадке, что ему, степняку-южанину, может быть неуютно на якутской вечной мерзлоте. И он добавил для убедительности, тоже как бы извиняясь:

— А вот к городу так и не смог привыкнуть. Шесть лет в Днепропетровске прожил, а не привык... Бывает, конечно, другой так успеет привыкнуть, что в поле его из города и сахаром не выманишь. А приглядишься — только и радости, что в сортир недалеко бегать.

Гусаров тут же спохватился:

— Простите на слове.

Лило по-прежнему.

— Вот он и участок,— сказал из черной воды голос Сани Манжуева.

— Где ты его только увидел? — сварливо спросил Анатолий.

В самом деле, впереди решительно ничего видно не было. Но и Север отчего-то вдруг оживился, покинул Гусарова и исчез под дождем.

— Сейчас придем,— подтвердил Гусаров.— Уже обогатительная показалась.

То ли он умел видеть, как сова, то ли просто угадывал то, что ему хорошо было знакомо. А я все еще не различал в темноте ничего.

Мы спустились, снова перешли какой-то ручей и опять начали подниматься по скользкому мокрому камню.

— А им непременно подавай приключения,— сказал Гусаров без видимой связи с предшествующим разговором. Связь, однако, была. Он возвратился к началу — к тому, как рассказывают про геологов в книгах. Загадочные «они» и означали авторов таких рассказов.— Даже если из газеты приедет кто, из Якутска, так сразу: «А что у вас было необыкновенного?» Скажешь, что ничего такого необыкновенного не было, не верят: «Не может быть». А ведь спросите их,— Гусаров показал вперед, туда, где звучно хлюпали сапоги двух геофизиков, двух взрывников и коллектора Жени. — Спросите у них. Никто из них не тонул, никто, слава богу, не блуждал, ни один не погибал от жажды. Мерзли? Да. Мокли? Сами видите. Мошкару грешным своим телом кормили? Сколько угодно! И ведь не что-нибудь, а как раз такое, самое обыкновенное и докучное, их и полонило. Так про то и сумей рассказать...

Он оживился так же, как и при виде кимберлита у воронки в Трапповом каньоне. Разговаривая, он по-южному энергично жестикулировал руками. Похоже было, что он даже перестал обращать внимание на дождь.

Разговор оказался слышанный, старый. Все о том же: следует ли писателю искать необычное или говорить о будничном — о том, что каждого касается и с каждым бывало?

Об этом, наверно, каждому пишущему случалось думать, и давно уже дан на это ответ: про обычное лучше рассказывать удивленно, словно об увиденном впервые и поразившем

воображение. А о необычайном — хороший автор всегда расскажет спокойно, как о рядовом и неудивительном. Тогда все на месте, и книга ведет читателя куда хочет.

Тема старая, а разговор всегда непростой. Но, правду сказать, не диковато ли было затевать его сызнова здесь, в ночном лесу, двум промокшим до нитки людям, когда одного только и хотелось — добраться до огонька, обсушиться и глотнуть горячего чаю.

Пока разговор этот еще не затевался и все молчали, понуро бредя под дождем, я вспомнил один давний московский вечер. Так вышло, что днем, дочитав прелестную — и очень смешную, как все по-настоящему грустные книги,— повесть финского писателя Майю Лассила о человеке, у которого кончились спички, и он отправился к соседу за огоньком, и эта простая причина втянула его в такое множество приключений, что их любому хватило бы на целую жизнь,— я в тот же вечер посмотрел в кино итальянский фильм «Два гроша надежды». Различие национального темперамента — вот что больше всего поразило меня тогда. Этот молчаливый финн, который в самых невероятных обстоятельствах через силу роняет два-три косноязычных слова... И вдруг эти пулеметные очереди темпераментных итальянских фраз, и эта щедрая экспрессия нескованного неаполитанского жеста!.. Вспомнив об этом через много лет в якутском лесу, я вдруг подумал, что тот молчаливый финн, наверно, отправлялся за спичками в таком же климате и под таким же точно холодным дождем. Не очень-то разговоришься и руками размашешься. Другое дело — под неаполитанским солнцем...

Оказалось, однако, что это — свойство врожденное: запорожский степной темперамент Гусарова не может погасить и заполярная осень. К тому же в теме, которую он, несмотря на свою стеснительность, принялся обсуждать так оживленно, мы с ним были, что называется, не на равных. Сегодняшняя наша дорога — это для него и были обыкновенные будни. А для меня, что ни говори, приключение.

И я знал, что запомню этот дождь, и эти полосатые трапповые скалы, и взрыв в каньоне, и потом мне будет нравиться, что я ходил в якутской тайге под таким дождем — так же, как понравился мне и запомнился тот песчаный смерч, который застиг нас по дороге из Тегерана в Багдад, невдалеке от Кереджа. Вдруг показалось, будто воздуха вовсе не стало, а есть только поднятый жарким самумом больно колющий раскаленный песок; ничего не было видно, с воем ветра сливался надсадный вой всех автомобильных сирен, и верблюды легли, уткнув головы в землю и выставив тощие, сбитые набок плешивые горбы.

И так же, как этот тропический смерч, запомнился потом

зимний шторм в Баренцевом море, когда мотобот «Голубка» шел из Сайда-губы в Пумманки, на полуостров Рыбачий. Немецкие батареи били по суденышку кинжальным огнем, мотобот кренило на борт и ставило на попá, фонтанчики всплескивались рядом, совсем безобидные на вид, а рулевой Бызов, Лешка Бызов, во всю глотку орал одну и ту же непристойную вологодскую частушку, которая начиналась словами: «Шел я лесом, видел беса, бес говядину варйт...»

А то уже совсем недавно, на Алтае, когда мы ехали ночью в кузове грузовика из Артыбаша в Турочак, началась вдруг гроза, молнии устремились к земле, как трассирующие снаряды, горы отражали многократное эхо канонадного грома, синий свет то пригасал, то распалялся до нестерпимой яркости, и все время видны были крутые витки горной дороги, лесистые алтайские склоны, стремительная Бия внизу, вспененная на камнях под хлынувшим ливнем. Грузовик мчался вовсю, что было мочи, через синюю Кебезень и синий Санькин-аил. Водитель проскакивал молнии, ударявшие позади нас, и спешил к молниям, сверкающим впереди. В кузове было полно ребят и девушек. Они добирались до Бийска, чтобы ехать оттуда на работу, в целинный совхоз; у них были с собою две палатки, но, прежде чем их натянули над кузовом, все успели промокнуть насквозь, все плыло, вода не успевала вытекать через щели; и всем было очень весело, все очень громко кричали и даже пытались петь, как тот рулевой под обстрелом; только пели они песню вполне добродетельную — на соответствующий моменту лихой и бесшабашный мотив: «До свиданья, мама, не горюй, не грусти, пожелай мне доброго пути...»

Правда, тот ливень был теплый, и все мы скоро просохли, и ничего такого особенного не случилось, но все это запомнилось тоже — потому что человеку всегда нравится помнить про себя, что он побывал в буре, в шторме, в опасности, в горной ночной грозе или мок под дождем после долгого перехода по северной тундре, как вымокли мы сегодня. И хотя на гусаровскую жизнь таких дождей, вероятно, приходилось слишком уж много, чтобы все их запомнить, но они тоже нравились ему — все вместе. И долгие месяцы морозов и снега. И скольжение нарт, мелькание оленьих копытец, гортанные крики каюра в лесу, занавешенном дымчатой, меняющейся бахромою сполохов. И переходы по болотам и по крутым каменным склонам. И нетерпеливое ожидание лабораторных результатов после того, как туда доставлена проба, принесенная в тяжелом мешке на своем горбу.

Гусаров досадовал, что об этой повседневности не упоминают, когда пишут про геологов, а между тем это и есть его жизнь.

В старом споре о повседневном и необычайном нет простого

ответа. В литературе не бывает спасительных сюжетов, которые хороши сами по себе. Читателя на мякине не проведешь, и если его увлекают только описанные события, и ничто больше, то такого увлечения хватает ровно до тех пор, покуда читается книга. Потом ничего не остается. А то, что способно оставаться надолго,— а от иных книг навсегда, заставляя к ним возвращаться и перечитывать снова,— заключено не в ошеломительной необычности случая, не в головоломных поворотах сюжета, а в том, как увиден и изображен человек. Необычайное тут вовсе не обязательно. Гусаров прав. Все же я возразил ему:

— Вы говорите: «Пишут про геологов». Ну, а если автор вовсе не собирался говорить о геологах обобщенно? Может быть, он хотел рассказать только об одном-единственном необыкновенном случае, который произошел с одним человеком, и ему совершенно безразлично — геолог ли этот человек или у него другая профессия. И знакомить своего читателя с той или иной профессией у этого автора и в мыслях не было. Ведь так можно сказать, что «Преступление и наказание» Достоевский написал про студента, а разве у всех студентов в обычае убивать несимпатичных старух?!

Гусаров рассмеялся.

— Во всяком случае, из «Преступления и наказания» я узнал, над чем мог задумываться тогдашний студент. А по тем рассказам, о которых я говорю, выходит, что нынешний геолог вовсе ни о чем не думает. Разве не обидно?

Но тут вдруг прямо перед нами оказались освещенные окна; можно было различить длинный барак.

Север залаял навстречу. Будто он и не ходил с нами, а давно уже нас тут дожидался и теперь был очень рассержен: почему мы так долго не шли?

## 10

Сени были тесные, а комната оказалась очень просторной — шесть окон с одной стороны, шесть с другой, во весь барак. Бревенчатые стены еще не потемнели. Пакля торчала промеж бревен. В печке, сделанной на военный манер — из железной бензиновой бочки,— горел жаркий огонь. У печки уже толпились наши: чета геофизиков, Женя, оба взрывника, Юра и Толя.

У дверей вдоль стены громоздились наши ящики. Значит, олени прошли через участок; теперь они пасутся на ягельниках, а каюры, наверно, поставили чум и спят. Жаль, я так и не успел поговорить с каюрами. Я очень ясно вспомнил умные сонные глаза старика, его редкую клочковатую бороденку на желтых щеках и повязанный под подбородком платочек в мел-

кий черный горох. Интересно, что может сниться старику в чуме, когда идет такой дождь?

— Раз-два, отвернись! — скомандовал Манжуев, чтобы девушки смогли снять промокшую насквозь одежду и переодеться в то, что мгновенно успели собрать для них и для нас хозяева.

Мы отвернулись.

Проходить дальше пока не следовало: огромные лужи сразу натекли вокруг каждого, а в комнате очень чисто. Пол идеально подметен, и десяток по-солдатски застеленных топчанов приставлены изголовьями к стенкам. Кроме топчанов такой же длинный дощатый стол, как у Гусарова и у Сергея с Мариной, такие же самодельные табуретки. Радиола в углу. Книжная полка с «огоньковским» Флобером, Маминым-Сибиряком и учебниками. На стенках, в изголовьях, охотничьи ружья, мелкокалиберки, устрашающие ножи и фотоаппараты. На одной из коек — аккордеон.

Однако топчанов я видел перед собой целый десяток, а новых, еще незнакомых мне лиц, которые могли принадлежать здешним хозяевам, было сейчас в бараке всего четыре. Пятой оказалась та глазастая девица в свитере с оленями, которая накануне вместе с Мариной в поселке угощала нас гороховым концентратом. Ее звали Шурой, а чаще — в отличие от какой-то другой, неизвестной мне Шуры — Шуркой-маленькой.

Шурка-маленькая сообщила, что пришла сюда еще днем. Она объясняла это за нашей спиной, где, раздеваясь и растираясь, перешептывались, шуршали, хихикали и повизгивали Марина и Женя.

— А вы что стоите? — поторопил нас высокий парень в стеганой телогрейке.— Хоть бы разулись!

Облик у парня спортивный: хорошо развернутая грудь, уверенная легкая стойка. Над чистым высоким лбом очень светлые, почти белые волосы. И живой, слегка насмешливый взгляд. Парень, конечно, прав. Надо немедленно разуваться.

Из сапог вытекает вода. Застывшие ноги точно одеревенели. Но Гусаров уже протягивает толстые шерстяные носки, ноги в них согреваются сразу, блаженное тепло поднимается кверху, и снова приходит чудесное ощущение гостеприимного, давно обжитого — своего — дома. Для моих спутников это и в самом деле их дом, такой же, как в главном поселке. Здешние шесть топчанов из десяти принадлежат им. У каждого тут своя постель, своя смена одежды. «Участок» — их вторая база, и им часто случается оставаться здесь на ночевку.

От печки проходят к столу притихшие девушки в сухих теплых ковбойках, в лыжных штанах не по росту, в больших теплых носках, переданных им ребятами. Мокрые волосы гладко причесаны. Выражение лиц — благостное и умиротворенное.

— В угол — и не смотреть! — на этот раз к ним обращена команда Манжуева. Пришел и наш черед переходить из чистилища в райскую жизнь.

— Надо же! — фыркает Шурка-маленькая.— Мокрые петухи, очень интересно смотреть...

Мы теснимся у печки.

От сброшенной мокрой одежды, от разогревшихся у огня мокрых сапог густо идет прелый дух. Железная бочка раскалена докрасна, жесткое мохнатое полотенце жжет кожу. Господи, что за несравненное наслаждение! Мы влезаем в сухие майки, сухие трусы. Штаны Сергея едва сходятся на мне в поясе и кончаются чуть ниже колен; рубаха Николая тоже тесна; все смеются и состязаются на мой счет в остроумии. Один Толя не принимает участия в общем веселье. Но это не потому, что он мне сочувствует. Он поглощен самим собой без остатка. Кряхтит, ворчит, уверяет, что непременно простудится, и в подтверждение сообщает соответствующие истории из своего прошлого. Меня всегда удивляет, с какой необычайной охотой этот девятнадцатилетний здоровяк из московского Лихова переулка заговаривает о своих болезнях. Если он только не спит, он готов говорить об этом в любое время. Едва познакомившись с девушкой, он может приняться рассказывать ей, как у него однажды нога болела, как зуб болел, как — после выпитого кумыса — был расстроен желудок, какой однажды чудовищный был у него насморк, как кололо в ушах и болел лоб в самолете, когда летчик чересчур быстро сбрасывал высоту...

Еще он любит унылые истории, которые обычно начинаются так: «А он тогда подходит к Витальке и говорит: «Это ведь мировая труба». А Виталька ему и врезал...» Никому не известно, кто они таковы — «он» и «Виталька» — и почему все рассказанное может быть существенно для Толиных собеседников. Но Толя продолжает рассказ, и при этом выясняется, что явившаяся предметом столь темпераментного спора труба на самом деле была человеком — музыкантом из слышанного им во Дворце спорта джаза Бенни Гудмана, а на гастроли всех джазов Толя ходит непременно, он любит музыку и часто изображает слышанные мотивы тем именно способом, что и все «стиляги» из фельетонов последних лет: «Лаб-дыб-даб. Лаб-дыб-даб-дыб-дыб...»

Кроме того, Толя считает, что он, несомненно, мог бы писать стихи и киносценарии, а также быть режиссером и ставить художественные фильмы. Композитором он мог бы стать тоже. Но во все это он неукоснительно верил вовсе не потому, что умел и собирался трудиться в искусстве; нет, он умел только воображать самого себя — писателем, композитором, кинорежиссером; конечно, с деньгами в бумажнике; конечно,

в своей машине, и из вечера в вечер «лаб-дыб-даб» на дружеской вечерушке; конечно, перед всеми головокружительными и доступными его представлению соблазнами славы. Но все это — без каких-либо трат души, без всякого представления о том, что же именно ради достижения всего этого способен он дать миру. Ведь он хорошо знает, что труд и талант, которые ведут к славе физика или конструктора, ему недоступны; от одного представления о труде и риске, предшествующих славе астронавта, у него нехорошо дрожат поджилки. Но слава в искусстве кажется ему плодом общедоступных развлечений и легкого везения.

Истинное призвание художника слышат в себе немногие. Но как же часто подрастающий мещанин принимает за такое призвание неотступно звучащий в нем голос: «А чем я хуже?»

И беда, если имя кого-либо из сверстников, знакомых ему по школьному классу или по дворовой игре в расшибалочку, замелькает вдруг в молве, в печати или на афишах. Тот же вопрос — «чем я хуже?» — превратится тогда в раскаленный уголь и обожжет дремучее сердце мещанина жестокой ревностью. Какое великое множество свирепо целеустремленных пустозвонов гонит эта ревность на пороги искусства, и как укореняет она в дремучих сердцах представление, будто бы искусство — просто-напросто заговор немногих и недобрых людей, плотно загородивших своими мускулистыми спинами некий соблазнительный (а вообще-то, как твердо убеждены они, любому приходящийся по зубам) легкий и сладкий пирог. И, гонимый неотвязной ревностью, рвется завистник к этому пирогу. И вдвойне беда, если при этом он не ленив, если честолюбие его деятельно. Потому что как раз такие деятельные ревнители и пытаются создавать вокруг искусства глухую стенку, превращая его из отдачи, какою оно является по самому своему естеству, в добычу.

К счастью, Толя ленив. Никуда проталкиваться он не станет. Будет потом утешаться своей «неудачливостью» или «законом мирового свинства».

Притом он груб и жадно эгоистичен.

Он может, не задумываясь, переложить к себе на постель подушку соседа: «Мне так удобнее. Не люблю, когда низко...» Так было в гостинице при нюрбинском аэропорте, и сосед, закипев, чуть не стукнул Толю, но тот только изумился: «Что здесь такого?» Он может болтать про свои болезни и про злоключения и подвиги неведомого Витальки, валяясь на любой чужой койке и не замечая при этом, что мешает работающему рядом человеку. Это мы видели утром в поселке, когда пришли за Толей к ребятам, у которых он ночевал. Сев за стол, он может сам съесть все, что поставлено хозяевами, даже не подумав о других. Так бывало уже не раз.

Вот и сейчас: он придвигает к себе разогретую на печурке банку с тушенкой, явно не собираясь ею ни с кем делиться. И решительно облюбовывает самую большую кружку. И, захватив пригоршню сахара, опускает все, что смог захватить, в налитый чай.

Впрочем, даже эта беспардонная бесцеремонность — еще не самое худшее в нем.

Леность ума, готовность без труда собственной мысли подчиниться чужим представлениям, привычка слышанными со стороны словами хвалить фильмы и книжки (которых сам не читал или едва заглянул, так ничегошеньки и не поняв), — только потому, что их хвалят все приятели из «его круга»; стремление порицать то, что «все» порицают, принимать однажды узнанное за то, что дано раз и навсегда, быть настороженно враждебным ко всему, что заставляет задумываться, искать, приходить к новым выводам,— вот они, опасные для общества черты мещанина. И я с тревогой наблюдаю у Толи эти черты — если не в законченной форме, то, во всяком случае, в очевидном и слишком ясно проявляющемся задатке.

От него то и дело можно услышать общедоступный, затасканный афоризм. Из набора таких афоризмов складывается его мораль. «Работа — для пещерного человека», «Думать лошадь будет — у нее голова большая», «Любовь мне нужна, как рыбке хромовые сапожки»... И так же, как «мода» заменяет ему мысли и знания, так кино (а в городе еще и телевизор) рождает суррогаты его чувств. Ведь он только говорит о Ремарке и Хемингуэе, а всю дорогу читает книжки о диверсантах и контрразведчиках — такие же затрепанные и засаленные, как его афоризмы. И в конце концов становится понятным, что немудрящие погони, выстрелы и смерти, простые, как чихание, возмещают ему отсутствие собственных страстей. Из него вырастает косный себялюбец, предпочитающий стоялую, болотную ряску текучей глубокой воде.

И это становится еще очевиднее и огорчительнее, когда и здесь, на участке, обнаруживается несомненный Толин двойник.

## 11

Обогретые, обсохшие, мы сидим за большим столом.

Железная кружка обжигает губы. Но и это тоже приносит наслаждение. Оказывается, что в этих широтах — при здешнем образе жизни и характере человеческого труда — чувство истинного и чистого наслаждения жизнью становится куда доступнее и испытывается куда чаще, чем во многих других местах. Впрочем, ровно настолько же доступнее и чаще, как и те испытания и тяготы, после которых это наслаждение приходит. Наверно, об этом как раз и говорила Марина, и доста-

точно было прийти в теплый барак после холодного ливня, чтобы убедиться в ее правоте.

Хозяева комнаты чаевничают вместе с нами.

Высокий спортсмен назвался Володей. Он работает на небольшой обогатительной фабричке, построенной на этом участке, чтобы промывать кимберлитовую породу, обнаруженную геологами в окрестностях. На обогатительной работают и двое его соседей по койкам. Четвертый — электрик, москвич — окончил недавно Энергетический. Представляется по-школьному: «Пулькин Олег...» Подумав, добавляет: «Леонтьевич...» Еще подумав, разрешительно уточняет: «В общем, Алик». Росточком он невелик; в черных глазах — нахалинка; облик — цыганистый. Сегодня Пулькин Олег, он же Алик, дневалил по общежитию и потому с такой нескрываемой неприязнью глядит на оставленные нами по всему полу следы, на беспорядок у печки, на лужи, растекающиеся из-под мешков с кимберлитом, который успел превратиться от дождя в сплошную синюю грязь.

— Стоило медяшку драить,— сокрушается Пулькин.— Стараешься, как для порядочных, а разве тут приличного гостя дождешься?!

Но с Толей они мгновенно находят общий язык.

Непосвященным этот их особый язык недоступен. Алик и Толя изъясняются друг с другом странно звучащими словами, среди которых можно порою уловить названия московских улиц, чьи-то клички, упоминания о неких условных, им обоим хорошо известных местах, где, вероятно, сходятся посвященные, принадлежащие к их «кругу», к их «ордену». Поначалу это и не беседа даже, а как бы взаимная проверка. Пароль и отзыв... Ну что же. Все сходится. Отзыв отвечен точно. И чем дальше, тем очевиднее наслаждаются оба. Из тундры они перенеслись в иной, покинутый мир, который считают наилучшим. Должно быть, именно так мог наслаждаться Робинзон Крузо, когда после многомесячного общения с Пятницей — никак не умевшим постигнуть, что же такое «дьявол»,— он покинул свой остров и смог завести на плывущем корабле первый неторопливый и когда-то привычный разговор с испанскими купцами.

И вот после испытательного диалога Робинзон-Пулькин объясняет Толе, как ужасно не повезло ему после окончания института, при распределении выпускников. Конечно, он не любитель «толкать речуги», он не какой-нибудь активист из ловкачей. Те-то сумели отправиться в края потеплее, а то и в Москве остаться. А простому человеку Пулькину — куда деваться? «Давай хиляй в Якутию. И — концы! Железно, не отобьешься...»

— Какое дело?! Пулькин — простой человек, хоть и чувак-экстра. Он приехал. Он свой срок отбудет. А там...

«Там» Пулькину видится заслуженный рай. Рай похож на магометанский. Только гурии в нем зовутся «чувихами» или еще позабористей. И вино, конечно, разрешено.

Пулькин говорит о себе, то и дело прибедняясь, называя себя в третьем лице, напоминая, что он — «простой человек». Но попытки отнестись к его особе неуважительно он обрывает:

— Но! Без лажи! Железно!

Видно, что и соседи по бараку, и Гусаров со своими спутниками успели привыкнуть к этой манере общения.

Только Марина ворчит неодобрительно:

— Опять завел бедный Пулькин...

«Бедный Пулькин» — именно так он сам себя называет и так называют его другие. Один Гусаров обращается к нему, не изменяя постоянной своей системе.

— Олег Леонтьевич,— говорит он, отставляя пустую кружку,— а ведь пожарный инспектор опять на вас жалуется.

— Это насчет изоляторов? Что ж бедному Пулькину остается? Завтра кошки наденет и — по столбам... — Покорной, самоуничижительной интонации снова противоречит нахальный взгляд. Но с прежней жалостливой просительностью в голосе «бедный Пулькин» продолжает: — А только, между прочим, все эти жалобы — чепуха. «Огнеопасно...» Делать пожарному инспектору нечего, вот он для других работенку ищет...

— Нет, прошу вас, Олег Леонтьевич, — со всей доступной ему категоричностью говорит Гусаров. При этом он густо краснеет. — Изоляция у нас никуда не годится. Это каждому видно. И столбы совершенно тут ни при чем. Речь идет о фабрике. Нужно выполнять внутренние работы.

Покосившись на Пулькина и оценив ситуацию, Володя приходит Гусарову на помощь. Он придвигает к нему кружку, которую Шурка-маленькая снова наполнила крепким — дочерна — чаем, и произносит с угрожающей вескостью:

— Бедный Пулькин все сделает. Уж я сам прослежу, не сомневайтесь.

Чай пьют сосредоточенно. Разговор идет деловой. Поначалу вялый, он становится все оживленнее, по мере того как согреваются и приходят в себя иззябшие собеседники.

Шурка-маленькая обращается к Гусарову:

— Василий Тимофеевич, мне как? Сегодня возвращаться или можно тут переночевать?

Она говорит это с такой будничной готовностью отправляться, если надо, немедля, что даже не вспомнишь сразу, какой дождь идет там, за дверью, и какая глухая стоит темнота.

Гусаров спрашивает:

— А возвращаться есть с чем?

Она отвечает цифрами и непонятными мне техническими словами.

Он задает уточняющие вопросы на том же языке и, видимо, остается удовлетворенным. Потом говорит общепонятно:

— Что ж, с утра попробуем сегодняшний кимберлит. Может, что́ и прибавится... Сразу со всем и пойдете. А сейф опечатали?

Шурка-маленькая подтверждает, что да, сейф она опечатала.

И тут выясняется неизвестная мне до сих пор сторона деятельности экспедиционного минералога (именно в этом качестве работает в геологической партии Шурка-маленькая).

Точно так же, как и Марина, она окончила недавно институт. Училась в Свердловске. Вышла замуж за выпускника-топографа. Защитив дипломные труды, оба уехали в Якутию. Место выбирали сами. Но в отличие от Марины и Сергея работа у них разная, расставаться приходится часто и порою надолго. Вот и сейчас ее топограф уже третий месяц расставляет триангуляционные вышки в бассейне реки Оленек, а жена работает в лаборатории, и, кроме того, на ней лежит обязанность доставлять алмазы с участка в поселок. Оттуда их забирают самолеты.

Расстояние от участка до поселка не так велико. По прямой километров пятнадцать. Груз тоже небольшой: крохотные камешки, завернутые в вату и зашитые в полотняный мешочек. Ходить приходится раза два в неделю. Но ходит она одна, и идти надо лесом. Длинные светлые дни стоят тут недолго. Чаще ее походы совершаются в мокром, дождливом сумраке или в морозные ночи, освещенные неверными вспышками сполохов. Трещат в стороне ветки. Может, просто так трещат, от мороза. А может, идет кто стороной — то ли зверь, то ли человек. И не́ поймешь, кто может оказаться страшнее.

Впрочем, Шурка-маленькая уверяет, что страха не испытала ни разу.

То есть не то чтобы ни разу в жизни не испытала. Нет, ей всяких вещей случалось бояться. И когда учили на лыжах с трамплина прыгать, и когда отец пьяный домой приходил, и когда на экзамен шла, и когда в первый раз на самолете летела (почему-то казалось, что непременно он упадет). А в лесу что ж такого? Медведь? Ну и что, что медведь? Она его трогать не станет, и ему до нее дела нет. Не медовая. Охотника он, если раненый, может задрать, верно, а остальное все сказки. Ни с того ни с сего он человека не тронет. А люди? Их ей бояться нечего. Если кого и встретит — только обрадуется: ведь, конечно, знакомый. Ну, а если и чужой вдруг окажется, откуда ему знать, что у нее с собой к а м н и?

Алмазы она только так и называет: «Камни».

И звучит это слово в ее устах совершенно обыденно. Видно, что оно не вызывает у Шурки-маленькой решительно никаких эмоций, кроме привычно минералогических и сугубо служебных.

Это я замечаю в здешних местах уже не впервые.

Так говорили об алмазах и в Мирном.

Слышался, правда, оттенок того, что можно бы назвать «социальной гордостью»: торчим, мол, у черта на рогах, зато у всех на виду. Даем стране драгоценности. «Алмазы—родине!» А для себя эти драгоценности— просто «камни».

Один только раз, в тот день, когда мы только что прилетели в Мирный и нас повели на одну из буровых, расставленных вдоль трубки Удачной, я подметил нетерпеливый охотничий огонек в глазах одной из попутчиц и слишком уж явственный, специфический интерес к «камням», которые здесь добывают.

Она была москвичка, сотрудница какого-то из центральных управлений. Приехала сюда в командировку.

Своей охотничьей страсти она, впрочем, даже и не скрывала.

— Я найду алмазик,— говорила она.— Вот увидите. Мне всегда везет. Мне должно повезти...

И она нагибалась к кимберлитовым отвалам, копалась в синих комках у одной буровой, а потом у другой и у третьей. Она перетирала эти комки своими ухоженными длинными пальцами, ломая ногти и не обращая на это внимания. Все посмеивались над ней, подшучивали, но москвичку ничто не брало. Она продолжала искать. И что же вы думаете? Нашла! У самой проезжей дороги, где с загруженных доверху самосвалов кимберлит сыпался на дорогу как самый обыкновенный грунт, москвичка подобрала небольшой камешек весом с полкарата. В нем оказалась дымчатая желтинка, виднелись трещинки— это был, как здесь говорят, не ювелирный, а технический камень. Но все же алмаз, самый настоящий алмаз. Как она счастливо вскрикнула, подбирая с земли этот невзрачный кристаллик, как показывала всем, доставая из сумки! Даже обломанные ногти не огорчали ее, а радовали, свидетельствуя о том, как нелегко досталась победа. А когда к вечеру мы возвратились к домикам управления, геолог, который водил нас по Мирному, сказал москвичке смущенно, но непреклонно:

— А камешек-то придется сдать.

Это ошеломило москвичку.

— Ведь я нашла это, сама нашла.

— Такой порядок, — сказал геолог. —Кто нашел, тот сдает.

— Но я хотела на память.

— А тут запишут ваше имя, кто сдал, когда нашел, — всем будет память.

Спорить было бесполезно. В самом деле такой порядок, иначе быть не могло; москвичка сдала алмазик, ее имя записали в книгу, отметили вес; мы все ходили с нею сдавать алмаз, и я успел увидеть, что имен в книге было уже много.

Когда мы вышли из лаборатории, где без особой торжественности происходила вся эта процедура, москвичка грустно вздохнула, успев утешиться:

— А мне все равно везет.

Правда, на испорченные в кимберлитовом отвале ногти она глядела теперь с видным сожалением.

Это приключение повело тогда за собой разговор: а бывают ли случаи утайки алмазов? Тему собеседники подхватили с готовностью. Наверно, привыкли. Приезжие об этом заговаривают часто, ответы готовы. Девушки-лаборантки, выходившие вместе с нами, сказали, что такие случаи здесь были, и рассказали две или три истории, которые обладали сюжетной отточенностью, как добротный, многократно рассказываемый анекдот. Там был рассказ про одну девушку. Она приехала сюда, говорили мне, года четыре назад, стала работать вот в этой же лаборатории, работает и теперь. Ее можно увидеть. Так вот, она получила тогда комнату. До нее в этой комнате другая лаборантка жила, у той кончился договорный срок, и она возвратилась на материк... Наступила для новенькой первая зима, в комнате оказалось прохладно. Между прочим, сильно дуло из-под окна. Новая лаборантка принялась утепляться. Пришлось для этого сорвать подоконник. И там, под доской, оказалась дюжина алмазов. Завернуты в газетный клочок и положены в папиросную коробку. А сами алмазики — ничего. Хорошие были алмазики...

— Ну и что же?

— А что? Сдала, конечно.

— Так кто же их там прятал? Та, что уехала?

— Наверно, она.

Ответили безразлично, пожимая плечами.

— Почему же она их с собой не забрала, эти алмазы?

Какой-то шерлок из приезжих построил сложную догадку:

— Простое дело. Думала через несколько лет приехать и тогда уж потихоньку забрать.

Его опровергли ироническим вопросом:

— Из чужой квартиры?

Но девушки высказались определеннее:

— А чего их брать-то? Что с ними делать?

Приезжие снова спросили:

— Ну, а потом как же? Нашли ее?

Отвечали так же равнодушно, без интереса:

— Кто ее знает. Может, нашли.

Рассказано было еще про какого-то парня, который перед

отъездом на материк несколько алмазов в пиджак зашил. Но про того, наверно, заранее было известно. Может, кому-нибудь сам сболтнул, может, очень уж нахально сработал. Но только долетел до Читы — его на аэродроме пригласили в милицейскую комнату и сразу вынули из-за подкладки алмазы.

— Дурак,— с тем же непритворным пренебрежением прокомментировали лаборантки этот рассказ.— Что он мог со своими камнями сделать?..

Но и в истории с москвичкой, которая, в общем-то, расставалась с найденным алмазом очень легко, и в том, как рассказаны были оба случая с украденными камнями, была одна общая и главная черта. Ведь командированная москвичка искала свой алмаз не из алчности, не из страсти к драгоценностям, но ради того лишь, чтобы утвердиться в сознании собственной удачливости. Я представляю, что и боровик в лесу она могла бы искать с таким же упрямством, вороша прелые листья и ломая ногти,— чтобы потом с легким сердцем отдать свою находку встречному мальчишке с лукошком, но зная при этом, что все же он был — «ее боровик», ее удача. Девушки же говорили о камнях, зашитых в пиджак и упрятанных под доску подоконника, с тем недоуменным любопытством, с каким относятся нормальные люди к исковерканной психологии любого преступника, — у них же самих интерес к камням, точно так же, как и у Шурки-маленькой, был только служебный.

И это, пожалуй, самое примечательное в недавно открытых алмазоносных районах Якутии и (как потом оказалось) в новых золотоносных районах Чукотки. Эти камни и этот металл (именно так на Чукотке привыкли называть золото) вошли в жизнь страны, не создавая никакой лихорадки, не уродуя ничьей психологии. Вошли просто, как новое поле работы в общем деле. Девушки-лаборантки приехали «на алмазы» точно так, как другие их сверстницы отправлялись «на целину». И здесь и там палаточные городки лишь по внешности могли напоминать о Клондайке или о старом Алдане времен «золотой лихорадки». Однако «на алмазах», как и на целине, не было никакой погони за личным обогащением.

От времен «лихорадки» — да и то от поздней поры ее угасания — попался мне на всем длинном сибирском пути лишь один осколочек.

Было это в Якутске.

Сидел там у ресторана чистильщик сапог — в черном кожаном фартуке, с тощим клином длинной черно-седой бородки (церковные псаломщики в старину любили такие бородки). Он рассказал между делом, что приехал в эти края лет сорок назад из Вятки — «стараться на золотишке».

— Три раза по семьдесят пять тыщ брал.

А потом «дела не стало».

Выходит, и дело прежде понимали совсем по-другому. Оно было только свое, мерилось добытыми «тыщами». А до других дела не было, не то что у Шурки-маленькой.

А вот Шурка-маленькая теперь довольна. Ей сегодня не надо брести снова в поселок. Камни в сейфе. Можно поболтать с подружками. Может, и потанцевать нынче вечером еще удастся.

У девушек, у всех троих, тоже есть на участке свои койки — в женском бараке, невдалеке отсюда.

В том бараке живут и две лаборантки, которые только что заглянули к нам на огонек. Одну зовут Аустра, другую Кира. Они прибежали в прозрачных городских дождевичках, потому что ливень все еще не прекратился; перецеловались с подружками и чинно познакомились с приезжими. Рука у Аустры огромна, и ее пожатье оказалось крепким — до боли. Аустра знала, что у нее неприличное имя, и, чтобы не переспрашивали, произносила его громко, отчетливо, низким грудным голосом, закругляя первые гласные: «Ау-у-стра!» И сама она была высокая, могучая, с широкой костью. И ноги в заболоченных сапогах были у нее мужские. А все же, когда шла она через просторную комнату к столу — такая большая, сильная и коротко остриженная,— никакого представления о мужеподобии не возникало; напротив, являлось милое ощущение женственности и почему-то казалось, что в тайге девушки именно так и должны выглядеть. Напротив, мужеподобной скорее можно было счесть Киру с ее сухощавостью, востроносостью, большим тонкогубым ртом.

Кира сразу же поддержала Шурку-маленькую:

— Чего сидеть? Танцевать надо.

Танцевали. Володя поймал по радио какой-то душераздирающий джаз. И как же сразу устремились друг к другу Шурка-маленькая и взрывник Николай. Похоже было, что музыка, внезапно обрушась, лишила их собственной воли и вдруг завладела ими чужая неодолимая сила. И когда пошли они вместе, положив левые руки друг другу на плечи, а правые — крепко и нервно сплетя, ясно стало, что все вокруг них исчезло, что сейчас они двое — один на один — в кромешной пустоте, и только нельзя было сразу в точности догадаться: счастье ли это или черная беда? И я заметил, как смотрят на них, будто стараясь не видеть, все остальные. Ах, да ведь вспоминали же сегодня Шуркиного мужа, который ставит по реке Оленек триангуляционные вышки. Ведь шипела же вчера с ужимкой бухгалтерша: «А взрывник-то Николай к Шурке-маленькой...» Им все стало нипочем: «Была не была, пусть видят, пропади все пропадом!»

Ничего они не решили — Шурка и Николай. В том-то и де-

ло, что ничего не решили. А геодезисты должны уже возвращаться через пять дней.

Шурка и Николай танцевали. Хороши танцы!..

А как же здесь к ним двоим относились?

Все можно было прочитать без труда:

Марина — с жалостью.

Сергей — с осуждением.

Женя — растерянно и изумленно.

Саня Манжуев — с неприязненным беспокойством: того и гляди, «персоналку» придется расхлебывать на бюро. А он был не из тех, что любят копаться в подобных делах. Чего хорошего? И геодезиста он мало знал: черт его знает, что за характер у парня, разве угадаешь, как выйдет? Может, случится драка, может, запьет парень. А то, чего доброго, еще и с ножом на Кольку полезет. В здешних местах всякое приходилось слышать. А комсоргу расхлебывать: все трое — комсомольцы.

Кажется, один Гусаров смотрел на Шурку и Николая с грустным пониманием. Такие стеснительные и совестливые, как он, всегда все умеют понять и объяснить. Но только на самом деле ничего они не понимают. Ведь с самим-то Василием Тимофеевичем никогда ничего похожего не было. Конечно, не было. Откуда?!

Но вчера Марина и Женя перешептывались о каком-то письме, которое получил Гусаров. И о том, что ему «опять будет трудно». Кто знает, что там было, а чего не было.

Танцевали еще три пары. Марина с Сергеем — легко и весело. Женя с Саней — как-то деловито, обстоятельно; тут все было ясно, у них все решено, и все это знают: выдастся время посвободнее — слетают в Нюрбу, распишутся и вернутся. Здесь-то пока расписаться ведь негде. А Кира танцевала с Володей.

Алик и Толя сидели у приемника и отпускали замечаньица:

— Детский сад.

— Карена знаешь? Его бы сюда.

— Да, он бы им показал самбу-мамбу.

— Железно!

Так все было, покуда джаз не оборвался и не пошла какая-то японская болтовня. Толя завертел вариометр, торопясь отыскать подходящую музыку на другой волне. Что-то гремело, скрежетало, пищало, прорывались обрывки разноязычных фраз, кто-то проповедовал на скверном русском языке — оказалось, православный поп из Сан-Франциско, ну надо же,— потом скрипач играл Листа, наконец рядом с Листом снова обнаружился джаз, и четыре пары опять стали вышагивать у печки-бочки. Толя зашептался с Аликом в углу, на койке. Аустра

сидела за столом рядом со мной, тяжело положив подбородок на огромную руку.

— Отчего не танцуете? — спросил я.

— Ладно, пойдемте,— сказала она равнодушно, не поднимая головы.

Пришлось признаться:

— Я не умею.

— Очень прекрасно, — сказала она не то иронически, не то с искренним облегчением.

В ее речи слышался латышский акцент.

Я сказал об этом, и Аустра подтвердила: да, приехала из Риги в прошлом году. Сперва в Нюрбу, потом послали сюда, в поисковую партию. Уже четвертый месяц пошел, как из Нюрбы прилетела.

Она сама угадала тот естественный и ни к чему не обязывающий вопрос, который я собирался задать ей, и ответила на него, не дожидаясь:

— Такой у нас народ. Латыши любят путешествовать. Знаете, сколько у нас морских капитанов? Это даже нельзя представить.

Аустра выговаривала слова старательно и неторопливо. Согласные жестко шуршали. Она подняла голову от стола, и я увидел ее серые большие глаза. В них была та же металлическая жесткость, что и в манере разговора.

— Очень много морских капитанов,— повторила Аустра.— А женихов мало. Когда рассказали, что сюда можно поехать, я так подумала: может быть, в этой Якутии капитанов меньше, а женихов больше?

Аустра говорила с таким прилежанием, что тщательной казалась и сама ее откровенность. Не то чтобы девушка отворила свою душу вдруг, по лирическому наитию,— нет, она просто исчерпывала предложенную тему начистоту, до конца, чтобы не оставалось больше никаких лишних вопросов.

Она сказала:

— Я хорошая для баскетбольной команды. А для обыкновенного дома я, наверно, очень большая, да?

Вероятно, это была привычная шутка, потому что и засмеялась Аустра привычно — скучным движением лицевых мышц.

## 12

Дождь.

Северушка по-человечьи, громко храпит в холодных сенях.

Ребята пошли провожать девушек.

Только двое обогатителей и Толя остались, легли спать и уже заснули на своих койках.

Василий Тимофеевич рассказывал о происхождении алмазов. Про дождь он сказал, что если выдует ветром тучи из котловины, то дождь перестанет. А если «зацепятся», то так и будет идти.

— Долго?

— Бывает, долго.

И он тоже заснул.

В центре комнаты горела под потолком яркая лампа без абажура.

Над отведенной мне койкой висела книжная полка. Я протянул руку и достал последний том Мамина-Сибиряка. Я взял именно эту книгу не потому, что люблю этого писателя, а как раз потому, что мало его знаю и книга оказалась поближе. Именно в последних томах своих собраний, в заметках и письмах, писатели всего полнее и неожиданнее раскрываются перед читателем. К тому же никто не собирался выключать лампу и многие жильцы еще не вернулись в комнату — можно было почитать перед сном, и, взяв книгу, я раскрыл ее наугад. Я подумал, что здешние ребята, наверно, решили, что правильно будет читать здесь, на сибирском Севере, книги писателя, назвавшегося Сибиряком,—оттого и подписались на собрание его сочинений. Но он писал об Урале и о самом ближнем Зауралье, а в здешних местах и не бывал никогда. На той странице, что открылась, даже и об Урале речи не было. Там оказалось письмо к брату, помеченное 3 марта 1884 года.

«...весь твой крестовый поход против «новых беллетристов»,— писал Мамин-Сибиряк брату Владимиру,—одна из тех несправедливостей, которые делаются только в юности. Мы, русские, можем справедливо гордиться такими именами, как Глеб Успенский, Златовратский, Салов и т. д. Они отринули все лохмотья и декорации старинной выдохшейся эстетики и служат боевую службу, которая им в свое время зачтется. Важно то, что ни в одной европейской литературе ты не найдешь ничего подобного, например, «Власти земли» Успенского. Что вся эта школа слишком серьезно взялась за изучение народа и не хочет преклониться перед порнографически-эстетическими требованиями публики — в этом я полагаю особенную их заслугу».

Тут ничего не говорилось о Сибири. Но слова эти как-то связывались с оборвавшимся разговором, затеянным Василием Тимофеевичем неподалеку от «участка». Я читал дальше. Мамин-Сибиряк говорил в своем письме о тех, кто «ввел мужика в салон». Он говорил, что «время салонной эстетики миновало, да и салонные беллетристы тоже».

Признаюсь, для меня неожиданным был темперамент старого литературного спора, притом и отстаиваемая позиция оказалась далеко не архаической.

«Итак, сиволапый беспортошный мужик торжествует в литературе к ужасу эстетической надушенной критики... Но это не так ужасно, как кажется на первый раз, потому что этот мужик является подавляющей девяти-десятимиллионной мас-

сой сравнительно с тоненькой и ничтожной салонной пенкой. Обрати на сие особенное внимание, ибо здесь уже говорит арифметика.

Но вышеуказанным я еще не думаю отрицать «художество», конечно, за вычетом тех волчьих ям, которые вырыты нашей несчастной критикой. Только я расхожусь с тобой вот в чем: есть такие вопросы, лица и события, которые, по-моему, должны быть написаны в старохудожественной форме, а есть другой ряд явлений и вопросов, которым должна быть придана беллетристико-публицистическая форма. Именно так я и пишу: кесарево кесареви, а богово богови. Прогресс в том и заключается, что мы видим длинный ряд процессов дифференцирования, и литература переживает то же самое — чистое художество и художество прикладное, ибо довлеет дневи злоба его».

Потом он вспоминает о своей «Золотухе», называет ее «любимым детищем» и заключает:

«Мы — рядовые солдаты, и только».

Закрыв книгу и поставив ее на место, я еще думал о том, что трудно себе представить, как бы русская литература стала тем, чем явилась она для всего читающего мира — без своего пристального внимания к «мужику», свойственного даже такому горожанину, как Достоевский, или рано покинувшему родную почву «европейцу», как Герцен. И солдатское отношение к литературному делу — это тоже очень русское свойство.

Не следует только путать боевое оружие и парадный кортик. А это порой случается.

С тем я и заснул, не услышав уже, как возвратились Сергей и остальные.

А когда проснулся, все были на обогатительной. Юра и Толя отправились туда тоже, чтобы попытаться снять для своего фильма, как происходит промывка алмазов. Но они скоро пришли, рассказали, что снимать там нечего, потому что все это выглядит очень убого и скучно. В цехе темно и безлюдно. Течет вода по лоткам, уносит с собой грязь, а больше ничего не увидишь.

Днем все мы возвратились с участка домой.

— Теперь-то ясно,—сказала Марина, разогревши свинину с горохом.— Поселок здесь будет. И пусть он называется Веселый.

— Веселый так Веселый,— согласился Саня Манжуев.

— Безыдейное смехачество,— сказал Сергей.

— Да сколько их уже, этих Веселых,— усомнился и Гусаров.— У нас вот, в запорожской степи, тоже есть Веселый. Ничего хутор. Красивый.

Но, видно, это воспоминание было приятно ему, он подумал и тоже согласился:

— Ну что ж, ладно, пусть будет и здесь Веселый.

# ЗА ДВЕНАДЦАТЬЮ МОРЯМИ

## 1

Выбирать свои дороги по душевной склонности удается человеку далеко не всегда. Но всякий раз, когда мне выпадала такая счастливая возможность, я отправлялся на Север. Началось это очень давно, чуть не полвека назад, в мальчишеские мои годы, и прошло через всю жизнь, до самых последних лет.

Теперь мне кажется, будто я с самого начала понимал — на Север надо торопиться: то, что сегодня еще увидишь, завтра уйдет без следа. Нехоженое, нетронутое станет заселенным и, может быть, даже многолюдным, обыденно цивилизованным, как все привычное твое окружение.

Но если припомнить, как оно было на самом деле, то окажется, что никаких дальних перспектив я не пытался, да и не умел себе представить — просто захватывало и соблазняло все читанное и слышанное о дальних, пусть трудно, но все же достижимых местах, где и природа, и сам человек раскрываются неожиданно и непривычно. И самую первую, самую длинную — до сих пор самую длинную — свою дорогу я тоже прокладывал на Север, хоть и не сумел в тот раз пройти ее до конца.

От первой дороги у меня остались три толстые тетради дорожных дневников, я долго в них не заглядывал, считая, что и без того все тогда пережитое и записанное живет в моей памяти. Но как-то раскрыл тетрадь, перелистал несколько страниц, и оказалось, что в беглых мгновенных записях проступают черты почти забытого, иного, давно исчезнувшего мира, где другими были и вещи и мысли, все приметы давно прошедшей юности. С тех пор старая мечта осуществилась, я видел русский Север на всем его протяжении — от Рыбачьего полуострова до мыса Дежнева — в разные годы и во множестве поездок, полетов, плаваний, переходов. Пройден был Север, но пройденной оказалась и жизнь. Старые тетради я стал читать нынешними глазами, и мысли при этом приходили такие,

какие прежде прийти не могли. Я стал записывать их как бы на полях ветхих тетрадей, припомнив сперва, с чего же на самом деле начиналась для меня эта давняя и дальняя дорога.

Пожалуй, началась она со случайно подвернувшейся книги.

Наверно, у каждого начинается по-своему.

Валера Безруков, с которым познакомился я в Певеке, когда он только что оформился крановщиком в строительно-монтажное управление, говорил мне, будто он и на карту не посмотрел, когда решил сюда ехать. Просто разговорился в Мытищах с соседом. Того года три дома не было, и вдруг объявился. Оказалось, возвратился с Чукотки. Договор отработал сполна. Одет, обут, вроде бы еще и при деньгах. К телевизору приценивался, к аккордеону. Может, всерьез. Но, может, просто для форсу. Спросишь, собирается ли возвращаться,— говорит, что и сам не знает. Вернуться, говорит, безусловно выгодно. Конечно, если человек способен выдюжить. Первые три года выдюжить нелегко. Но дальше должно пойти полегче. Тем более и Чукотка теперь совсем не такая, какою была, когда он там в первый раз сошел с самолета.

Валера послушал его рассказы и соблазнился. Решил, что выдюжит. Съездил в Москву, сходил в Оргнабор, подписал соглашение на те же три года и прибыл.

«Говорили, «край земли». А какой тут край? Тут слышишь — край в Уэлене. А туда еще самолетом — вон сколько! Там, наверно, действительно да, глухомань».

Но и в Уэлене мне говорил Роман Гулько:

— Сошел с корабля, вижу: завезли— дальше некуда. Помалу все же осмотрелся. Что ни говори, а земля круглая. Может, наше полушарие тут и вправду кончается, но ежели в хорошую погоду за море поглядеть, другое полушарие отсюда видно. И все вроде ничего, люди живут. Привыкнуть можно.

Но есть и такие, кого не расчет, не жребий, но именно карта, — мечта, чтоб добраться до последнего ее предела, — сюда и привела.

И меня тоже манила карта.

Это было очень давно. Пришлось прождать много лет и много раз сызнова начинать дорогу, чтоб добраться наконец до этих последних пределов.

Однако началось не с карты, а, как я уже сказал, с книги. На карту я впервые со щемящей мечтой смотрел в Мариуполе; теперь и города такого не существует, теперь он называется Жданов. А книга появилась у меня пораньше, в Харькове, году в 1926-м.

Тогда по воскресеньям на харьковском Благбазе — так, по тогдашней привычке к телеграфным сокращениям, именовался

городской Благовещенский базар — торговала необозримая галдящая барахолка.

Там можно было отыскать самые неожиданные, странные и бесполезные вещи — от сравнительно нового фрака или старинного перстня-печатки с масонской эмблемой до ржавых амбарных ключей и мотков многократно использованной, полусгнившей бечевки.

Невдалеке от краснокирпичного Благовещенского собора, по которому и назывался базар, тянулся длинный книжный развал. Рядом со знатоками своего товара, пожилыми дельцами в залоснённых поддевках, торговали там мальчишки, торопливо растаскивавшие отцовские библиотеки; старые дамы из бывшего общества раскладывали на тряпье подарочные девриеновские и вольфовские издания, полученные ими в ранней юности за благонравное поведение и успешные переходы из класса в класс в институтах для благородных девиц, в казенных и частных женских гимназиях. Чистенькие старушки сентиментально прощались с сувенирами далекого прошлого и непременными приметами интеллигентных домов — приложениями к «Ниве», полными собраниями классиков в массивных золоченых издательских переплетах. Из шкафов в реквизированных комнатах книги и старые журналы откочевывали сперва на чердаки, потом на Благбаз. Наваленные груды таили в себе множество удивительных и разнообразных сюрпризов. Рядом с пестрыми потрепанными выпусками приключений грозного мстителя Антонио Порро и великодушного разбойника Чуркина мерцали золотые обрезы пухлых юбилейных томов, выпущенных к трехсотлетию царствующего дома Романовых, к столетию Отечественной войны, к полувековой годовщине отмены крепостного права. И тут же могли обнаружиться под источенным червями кожаным переплетом XVIII века какие-нибудь «Похождения Клевеланда, Кромвелева сына», или трогательная «Любовь Кариты и Полидора», или заключенный в побелевшую свиную кожу латинский трактат XVII века, набранный с утраченным изяществом и соразмерностью, украшенный алыми буквицами и гравированными заставками. Под приложением к «Ниве» оказывался редкостный выпуск новиковской «Древней российской вивлиофики», или томики альманахов пушкинской поры в зеленом сафьяне, или тоненькая тетрадка под заглавием «Мы», выпущенная в 1921 году издательством московского союза поэтов «Чихи-пихи». Да мало ли что там попадалось, на радость старым книголюбам и зеленым юнцам, впервые потянувшимся к книге, еще не умея толком в ней разобраться.

С этого развала я однажды унес, вместе с объемистым томом мадам Блаватской, рассказывающим о духовных сокровищах тибетских пещер, и с отпечатанным на узорных обоях

сборником футуристов, растрепанную книжку в темно-зеленой бумажной обложке. Выпущенная незадолго до первой мировой войны, она называлась «К познанию России», и автором ее был Дмитрий Иванович Менделеев.

В этой-то книге я и прочитал поразившую меня своей неожиданностью мысль, не вполне мне тогда понятную, — о том, что истинным фасадом своим Россия обращена на Север, к тысячеверстным пустынным побережьям Ледовитого океана.

«Какой же это фасад, — усомнился я, — если попытки выйти к нему сопряжены со смертельной опасностью? Разве не погиб в одной из таких попыток Георгий Седов? И сколько других исследователей заплатили жизнью, силясь пройти вдоль этого фасада и так и не достигнув своей цели».

А вскоре после того, как я прочитал о северном фасаде России, первые страницы газет заполнились сообщениями о том, как корабли и самолеты пробиваются к дирижаблю Умберто Нобиле, потерпевшему аварию не в таких уж дальних арктических областях, но у самой западной оконечности этого фасада — у первых же его ворот, обращенных к высоким широтам.

И только потом, годы спустя, начала становиться все более ясной провидческая справедливость слов русского ученого, который сумел рассмотреть фасад своей отчизны, воздвигнутый самою природою у отдаленных и труднодоступных пределов, к которым ему самому никогда не пришлось приблизиться, хоть это и было его многолетней мечтою. Он писал графу Витте: «Следя за описаниями полярных путешествий и многое узнав о них от покойного моего друга Норденшельда, совершившего ряд славных экспедиций в области льдов, я получил полное убеждение в возможности решительной победы над полярными льдами при помощи соответственных для того приспособлений и, главное, ясного понимания сил, до сих пор препятствовавших кораблям проникнуть в неведомую околополярную область, занимающую пространство около четырех миллионов квадратных верст, то есть близкую по величине к Европейской России».

Он спорил с адмиралом Макаровым, обсуждая проекты ледоколов, думал, как может быть переоборудован и улучшен «Ермак», составлял планы несбыточных экспедиций, писал сенаторам и министрам — и все напрасно.

Что же, скрытое от других, было ему известно про области, названные им фасадом России?

Быть может, аналитический ум творца периодической системы элементов — вслед за давней догадкой другого гениального провидца и аналитика, Михайлы Ломоносова,— постигал, что едва ли не все химические элементы, на какие может быть разложен и сам человеческий организм и вся окружаю-

щая нас вселенная, скрыты в необъятной сокровищнице: за чертой ледяного припая арктических побережий, под многометровым панцирем вечной мерзлоты, облегающим заполярные недра.

С той поры, когда попала мне в руки зеленая книжка, чуть ли не каждый новый год стал приносить известия о находках геологических экспедиций, отправлявшихся к Полярному кругу и за его пределы. За открытиями А. Е. Ферсмана и его спутников, сделанными в недрах Кольского полуострова, последовали нефть и уголь Воркуты, открытые отцом и сыном Черновыми; потом — руды Таймыра. Где-то в середине тридцатых годов можно было прочитать, как корабль, не успевший за одну навигацию пройти по Великому Северному пути, зазимовал у мыса Нордвик; команда обнаружила там на самой поверхности, невдалеке от береговой кромки, выходы угольных пластов, загрузила этим углем корабельные топки (ходили еще на угле, дизельные двигатели на судах только начали появляться), и на этом топливе судно продолжало свой путь на Восток. После войны обнаружились алмазы под мерзлотой Якутии; совсем недавно — нефть и газ на Ямале. А вместе с золотом, алмазами, нефтью то и дело обнажались из-под вековых покровов иные редкостные и драгоценные элементы менделеевской таблицы, без которых не обойтись нынче ни инженеру, ни врачу, ни исследователю, ни солдату. Поэтому за геологами шли на Дальний Север строители. Порой самолеты доставляли их в такую первозданную глушь, что студент из прилетевшей на время летних каникул строительной бригады отпускал академическую шуточку, в которой была и доля правды: «Да ведь тут еще и не начиналась жизнь белковых веществ!»

Вскоре на картах Севера, на недавно еще белом, не обжитом людьми пространстве, появились обозначения новых городов, и уж тот, кто попадет сегодня в Норильск, а завтра в Певек на Чукотке,— не говоря о заполярном первенце Мурманске,— тот не усомнится, что вышел к истинному фасаду своей страны.

Дмитрий Иванович Менделеев разглядел из своего времени историческую необходимость и целесообразность того, что сможет осуществиться лишь впоследствии, на протяжении грядущего полувека, в условиях, которые будут созданы социалистической революцией. Когда мне впервые случилось прочитать его книгу, тяга на Север только начиналась; слова «полярная зимовка», вновь услышанные, сразу стали влекущими, приобрели магическую силу, подчиняя себе юношеские стремления.

Первые зимовки располагались на Диксоне, на Новой Земле. Самая дальняя на Востоке была организована на острове Врангеля, где в 1926 году — с небольшой группой молодых

специалистов и с несколькими семьями чукотских эскимосов — высадился Георгий Алексеевич Ушаков, один из родоначальников того удивительного племени, для которого слова «Арктика», «мужество» и «приключение» читались как синонимы. Эти синонимы, однако, не означали отвлеченной самоцели. Цель была та же, что увлекала тогда думающую, спорящую, рвущуюся к делу молодежь на всех участках жизни: служение делу революции, строительство нового общества.

Штурм Арктики оказывался таким же конкретным делом в достижении этой цели, как участие в строительстве Днепрогэса, или Горьковского автомобильного, или Сталинградского тракторного. Только попадали на зимовку немногие и самые упорные счастливчики. Причастность к узкому кругу избранных была особым соблазном.

По всей огромной протяженности северного фасада на географической карте первые зимовки мерцали немногими и очень редкими точками.

Еще трудно было догадаться, во имя какого стратегического замысла создаются эти предмостные плацдармы вдоль арктических пределов. Лишь очень немногие знали, что это загодя идет подготовка к атаке на Северный полюс, к освоению последних недоступных пространств нашей планеты.

Но о карте говорить еще рано.

От прочитанной с недоумением зеленой книжки до особой приглядки к географической карте должно было пройти еще некоторое время.

Карта висела на стене маленькой комнаты мариупольского постоялого двора, именовавшегося, как во всех украинских провинциальных городках той поры,— «сельбудынком». В той комнатке обитал не заезжий гость, но постоянный жилец, не имевший в Мариуполе другого притулка. Его звали Лебедев. Женька Лебедев, так он сам представлялся.

Меня поселили рядом, в соседнем номере. Вдоль беленых стенок тесно стояли там четыре койки. На всех четырех размещались командированные, прибывшие в Мариуполь по разным делам, и ночью меня пинал пятками в пятки долговязый усатый кооператор. Он спал неспокойно и временами принимался ужасно громко храпеть. Храп будил землемера, спавшего у противоположной стенки. Тот поднимался и переворачивал кооператора со спины на бок. К середине ночи всех четверых сгоняли с постелей клопы. Бывалый кооператор добыл жестяные мисочки и, наполнив водою, погрузил в них ножки своей койки. Но клопы беспрепятственно ползли к нему с моего тюфяка и изловчались падать с потолка на любую намеченную ими жертву. Какое-то время мы хлопотали, чесались, чертыхались, но потом организм брал свое, и мы крепко засыпали, ни на что не обращая внимания. Мне было семнадцать лет, и по-

ездка в Мариуполь была моей первой командировкой от редакции харьковской газеты, где я недавно начал работать.

Командировочные дела приводили меня в цехи большого металлургического завода, протянувшегося вдоль берега Азовского моря. Там я встречался с доменщиками, литейщиками, прокатчиками. Такой завод я видел впервые, жадно записывал рассказы доменщиков, вечерами переписывал записи на тесном столике в номере сельбудынка, не все понимая в том, что слышал от собеседников, но стесняясь просить объяснений.

Когда время уже близилось к одиннадцати, на пороге появлялся Женька Лебедев и уводил меня к себе.

Он работал в Мариупольском порту, встречал и провожал иностранные пароходы, которые сюда приходили, чтобы выгрузить из трюмов ящики с машинами, заказанными для наших строек на иностранных заводах, а потом нагрузиться полтавской пшеницей и запорожским марганцем. Смазливый балагур, немногим старше меня, лет двадцати трех или двадцати четырех, Лебедев заявлялся домой, обычно прихватывая с собою квадратную бутылку заморского джина, купленного у которого-то из пароходных буфетчиков, и распространяя по комнате медовый дух трубочного кепстена. О себе Женька рассказывал, что приехал сюда из Одессы, вырос там на окраинной улочке у портового спуска; с детства, бегая следом за матросами, приобрел уменье изъясняться обрывками многих чужестранных языков, ни одного толком не зная; с этим своим уменьем начал он портовую службу, освоил сравнительно нехитрую технику диспетчерского дела и кодекс морского гостеприимства и вот уже третий год работает в мариупольском капитанате. Комнату ему обещают, да никак не дадут. Город живет оседло, прочно. Новые дома еще не строятся. Так и холостякует Лебедев на постоялом дворе, а порт платит за его койку.

Вечерами он рассказывал о своих планах. Чаще они касались его работы. Тут все должно было перемениться. Береговой службе должен прийти конец. Женька мечтал о море. Холостяцкая жизнь, как видно, его устраивала. Разговору об этом не было. Девушек он не вспоминал почти никогда. Даже после джина.

Как-то я увидел на его столе аккуратно нарезанные полоски бумаги, исписанные короткими фразами. Буквы были крупные и круглые — старательный почерк школьника. Увидев, что я приглядываюсь к листкам, Женька подвинул ко мне всю стопку. На аккуратном билетике, помеченном сверху «греч.», я прочитал написанное русскими буквами: «Эхете орейа хериа». И перевод: «У вас красивые руки».

Я читал дальше, и по шпаргалкам выходило, что Женька умеет пожелать по-гречески доброй ночи и приятного сна: «Онираглика».

Он может сказать: «Паше мари».— «Иди со мной». «Спать».— «Кимуме».

Может спросить: «Пос сас лене?» — «Как тебя зовут?» И может даже посулить неисполнимое: «Та сас грапсо грама».— «Я тебе напишу письмо».

Те же фразы были у него записаны по-английски, по-итальянски, по-румынски. Даже по-португальски.

— Учишь?

— Повторяю,— ответил Лебедев скромно, но с достоинством.

И налил джин в граненые стаканы.

Тогда был январь, стояли в Мариуполе необычные для юга морозы, Азовское море замерзло, покрывшись зеленоватыми застругами льда и грязным, подкопченным снегом. В одно из воскресений, когда на завод мне идти не нужно было, Лебедев прихватил меня с собой в порт, и мы прошли вместе по всем трем кораблям, вмерзшим в азовский лед в январе 1927 года.

Там стоял тогда английский грузовоз «Хемпстед», небольшой пароход, тысячи на три тонн водоизмещения, и еще два грузовоза поменьше: турецкий «Караван» и насквозь проржавевший «грек», носивший, наверно, имя своего владельца или, выражаясь с морской изысканностью, арматора: «К. Лирос».

Все три парохода уже погрузились, сидели в нечистом льду ниже ватерлинии и ждали прибытия перегнанного из Белого моря ледокола «Соломбала», чтобы он вывел их за Керченский пролив в незамерзшую воду.

На «Караване» седой маленький капитан, левантинец Исмаил Рахим-бей, сам варил для нас кофе в высокой медной кастрюльке с перехваченной узкой талией, держа ее за длинную ручку над синим огнем спиртовки. Мы сидели у стола на прочно принайтовленных к палубе тяжелых табуретах. Вода со льдом стояла подле крошечных чашечек с крепчайшим горячим кофе, а Исмаил Рахим-бей, похожий и на мирного пастушьего патриарха и на одряхлевшего вкрадчивого пирата, длинно жаловался на то, что дожидается выхода в море уже пятый день, а «Соломбалы» все нет, а каждый лишний день ожидания влетает ему в копеечку. Лебедев отвечал по-турецки. Впопад ли отвечал и понимал ли его Рахим-бей, я бы не поручился. Но монотонные жалобы продолжались; при этом с лица капитана не исчезала сладкая, как рахат-лакум, и вместе с тем грустная, как скрипичное соло, улыбка, и с нею Рахим-бей проводил нас до трапа, прощаясь.

Обернувшись, мы могли увидеть, как он смотрит нам вслед, будто неслышно повторяя одними губами заветное слово: «Соломбала». Красная феска была сдвинута на затылок. Это была вольность, доступная лишь у чужих берегов, Президент Ке-

маль запретил носить фески в Турции, как Петр Первый запрещал в России ношенье бород. Алая феска с черной кисточкой на макушке стала символом отсталости, знаком былой отгороженности страны от всего прочего мира, дурной привычкой стариков и эмблемою ретроградов. Но, видно, Рахим-бей упрямо укрывал свою заношенную феску в дальних похоронках капитанской каюты, и вот она вызывающе алела над мариупольским причалом, а под нею узкие стариковские губы продолжали беззвучно открываться и закрываться: «Соломбала»... Где «Соломбала»?..»

На борту «К. Лирос» кофейная церемония повторилась снова.

«Грек» еще догружал последние тонны каустической соды, но о сроках появления ледокола капитан допытывался с той же неотвязной настойчивостью. Только, не в пример старому Рахим-бею, капитан Коста Ксалидис обладал неукротимым темпераментом зрелого, исполненного сил прямого потомка приходивших некогда в Черное море искателей золотого руна.

Ксалидис жестикулировал по-левантински и ругался по-русски.

Женька отвечал ему по-гречески.

И опять мне было неясно, понимают ли они друг друга.

Вряд ли Лебедев обещал Ксалидису, что будет писать ему письма, и едва ли хвалил его руки. Впрочем, может быть, Лебедев умел без шпаргалки говорить по-гречески и какие-то другие слова.

Из тесных кубриков «К. Лирос» выбивались в узкие коридоры и даже наползали на трапы пестрые пухлые узлы с торчащей рваниной и запахом ночлежки; по переборкам сонно шевелили усами огромные черные тараканы.

На полубаке надтреснуто пробили полуденные склянки. В открытые двери было видно, как в кубрике два матроса с оливковыми лицами и одинаковыми подстриженными усиками под одинаковыми тонкими хребтистыми носами, похожие друг на друга как братья, торопливо расстилают молитвенные коврики и опускаются на них, лицом к восточной переборке, чтобы совершить намаз.

— Ливанцы,—объяснил Лебедев.— Или сирийцы. Здесь ведь экипаж откуда только не набран. Бывает — кому до дому добраться надо, занесло морским ветром, а платить за дорогу нечем. Вот и нанимаются — из Галлиполи до Александретты, через Мариуполь. А в Александретте спишется человек, а к капитану придет замена: до Констанцы через Одессу...

У камбуза кок в грязном колпаке и матрос с кочегарской ветошкой, обмотанной вокруг шеи, стучали по столу большими костяшками домино, подкованными красной медью. Завидев

Лебедева, кок вскочил, потащил Женьку за руку, зажал его в угол и стал что-то жарко шептать ему в ухо, одной рукой отрывая пуговицы от лебедевского кителя, а другою живо жестикулируя в немыслимом диапазоне и темпе. Лебедев отрицательно мотал головой, не успевая произнести ни слова, кок настаивал, предлагал что-то новое, настаивал снова. Женька мотал головой так, что казалось — сейчас у него отлетят уши. Я мог лишь понять, что кок с пулеметной частотой выстреливает в Лебедева длинными очередями свои бурно рождающиеся коммерческие прожекты.

Впоследствии Лебедев подтвердил. С его помощью кок мечтал выгодно сбыть:

греческую водку — ракию в количестве трех бутылок;
тридцать или сорок пачек греческих сигарет;
несколько килограммов маслин;
снятую с себя полосатую застиранную сорочку;
семь десятков морских губок;
свой немыслимо пестрый, засаленный галстук;
килограмма полтора фиников.

Он хотел с выгодой приобрести:

русскую водку;
русские папиросы;
керченскую селедку;
новую зефировую сорочку-апаш;
не менее тридцати метров габардина.

Кроме того, если сегодня не придет «Соломбала», кок хотел бы к вечеру познакомиться с красивой мариупольской девочкой (он не преминул стремительным, но внятным жестом показать, каким формам он отдает предпочтение) и пригласить ее на танцы.

Лебедев пересказал этот разговор, когда я помог ему вырваться из греческого плена и мы шли от борта «К. Лирос» к двухэтажному деревянному домику капитаната, увенчанному невысокой башенкой и мачтой с короткими перекладинами, на которых вывешивались штормовые сигналы.

Сейчас никаких сигналов на перекладинах не было.

Море было покрыто льдом. Лед простирался до самого Керченского пролива, и дежурный показал Лебедеву радиограмму, только что принятую с борта ледокола «Макаров»:

«ПП 1963».

Это означало, что от Мариуполя-порта и до самого Черного моря лед лежит сплошным покровом с редкими промоинами.

Кроме того, стало известно, что на вывод грузовозов из Мариуполя на чистую воду направлен вместе с «Соломбалой» также и сам «Макаров», а из Севастополя следует к проливу ледорез «Федор Литке», «Макаров» и «Соломбала» уже на подходе.

За ними идет в Мариуполь, чтобы принять в свои трюмы пять тысяч тонн каменного угля, французский грузовоз «Мари л'Эспиналь». А «Литке» подоспеет к утру и пробьет дорогу для «Лироса» с его каустиком, с его предприимчивым коком, с богомольными ливанцами и нетерпеливым Костой Ксалидисом.

К трапу «Хемпстеда» Лебедев подходил бодрее. Теперь он мог давать ясные и твердые обещания.

Вахтенному у трапа он почему-то представился не то по-итальянски, не то на эсперанто:

— Ассистенто де капитано де порто.

Матрос, отправленный вахтенным для доклада помощнику капитана корабля, гулко прогрохотал по трапу на спардек. Вскоре появился какой-то офицер, и нас пропустили. На этом корабле, в отличие от двух предыдущих, царил строгий морской порядок. И Лебедев был уже накоротке со всеми, кто нам встречался на палубах и в каютах. Он представил мне норвежца-боцмана Кристианссена, негра-рулевого, который назвался Джорджем, похлопал по спине продрогшего от непривычных морозов трюмного — корсиканца Беретти; наконец, поздоровался по-украински с шип-карпентером, корабельным плотником Дэном. Оказалось, что Дэн — сокращение от Данилы, а фамилия плотника — Коваль; родился он возле Новгород-Северска, в Полесье; в девятьсот пятнадцатом попал с русским экспедиционным корпусом во Францию, оттуда занесло Коваля в Англию; в Ливерпуле он женился, потом нанялся на корабль, и вот после двенадцати лет впервые ступил на родную землю, да и то ненадолго: ни осмотреться как следует, ни про своих разузнать.

— Завтра уйдешь,— подтверждает Лебедев.

А Дэн — уже с заметным, никуда не денешься, английским акцентом — говорит, что так ему в Северск хотелось съездить, душа болела, остаться бы в Мариуполе и отсюда махнуть, хотя б поглядеть, где хата стояла. Но там и родных теперь никого уже нет, наверно, а в Ливерпуле жена, дочке седьмой год, Машкой звать. Ну, для матери, конечно, Мэри, а ему — Машка. По-русски, правда, девчонка не знает, отец дома бывает редко, море держит, не то что в полгода раз, а даже и не всякий год приходится заглянуть. Да, мало он с Машкой говорит, вот только песни ей поет, когда вместе бывают,— какие с детства запомнил.

— Да и то, понимаете ж, трезвый не запоешь. Так разве, с пьяных глаз поведет...

Шип-карпентер сказал вдруг:

— Взять наш «Хемпстед». Ноев ковчег. Всякой твари по паре, тридцать две души на борту, а в Англии только трое родились. Капитан со старшим помощником да еще один парень, Стив, трюмный матрос, мальчишка еще, сопляк, а

сволочь порядочная, рта при нем не открывай. А остальные, кого ни возьми, отовсюду намело, так же как и меня. Но есть, конечно, и ничего, всякие. В общем, жить можно.

К Лебедеву подошел пожилой толстячок, похожий на сытого кота с подпаленными усами.

— Третий помощник,— объяснил Коваль.— Тоже ничего мужичок. Не вредный. Из Роттердама сам, голландец. При мне пришел, третий год плавает.

«Ассистенто де капитано де порто» стал объяснять третьему про ледоколы. Дэн услышал, спросил по-английски:

— Значит, завтра пойдем?

Третий кивнул на Лебедева:

— Если он верно говорит, пойдем завтра, в три пополудни.

— Тогда на берег сходить, что ли, в последний раз,— сказал Дэн.

— Идите,— согласился третий.

Коваль сошел на причальную стенку вместе с нами. У проходной он остановился в сомнении; подумав, торопливо простился и пошел один к улице, что поднималась от портовых строений круто вверх, к центру города.

Через несколько часов Дэн повстречался мне снова. Я стоял на окраинной площади у автобусной остановки, куда раз в час подходил раздрызганный красный лейланд, один из двух, что имелись в распоряжении местного автопромторга. Начинало смеркаться. Посреди площади, окруженная небольшим сквером, стояла церковь. Купола другой виднелись в дальнем конце улицы, на противоположном краю города. Рядом с остановкой на покосившейся круглой тумбе была налеплена яркая афиша с изображением женщины, которую от пяток и до самой шеи тесно обвивала толстая змея с сонными глазами. Из-под змеиных колец виднелось алое трико и в нем — пышный бюст, очень узкая талия и очень широкие бедра. Голова змеи и мучнистое лицо женщины были рядом,— лицо с узкими, подвитыми кверху локонами на висках, с удлиненными тушью глазами и большим ярким ртом, по которому тузом червей нарисовано сердце. Афиша звала в заводской клуб и обещала «захватывающее зрелище»: будут показаны королевский питон и его укротительница, мисс Суффетти Боа; выступят также жонглер, силач и трио бандуристов. Портреты всех участников размещались на афише пониже изображения мисс Боа и форматом поменьше. Но и на небольшом портрете силач выглядел очень соблазнительно: большие усы, гороподобные бицепсы, множество медалей на широкой ленте, пересекающей необъятную грудь. Две девчонки остановились у тумбы, топчась на снегу, чтобы согреться.

— Это ж надо,— сказала одна.— Саму себя нужно выдрессировать, чтоб так со змеей...

— А танцы будут? — поинтересовалась вторая.

Мороз ослабевал, пошел крупный влажный снег, фонари зажглись, и я увидел, как выходит из церкви Дэн Коваль. Он перешел на другую сторону сквера, где стояло у изгороди несколько извозчиков, и сел в небольшие санки с овчинной полстью, крытой ветхим сукном. Извозчик сказал: «Н-но, поехали», лошадь тронула, теплый кизяк задымил на снегу, бубенчики глухо задребезжали, санки скользнули к спуску, ведущему к портовым причалам.

Порт был хорошо виден с пригорка, от церкви, и можно было различить все три парохода, ошвартованные у деревянной причальной стенки: «К. Лирос», «Караван» и — чуть побольше — «Хемпстед»; все три черные на снегу, который отсюда казался белым, а может, и в самом деле свежая пороша прикрыла заводскую копоть на льду.

Три старых парохода — три разных и чужих бытовых уклада, девяносто похожих только общей нескладностью человеческих судеб, сведенных морем на этих, как сказал Коваль, ноевых ковчегах.

Почему же, несмотря на всю эту нескладицу, обладает море с самых давних времен такой неистребимой притягательной силой?

Помню рассказ, услышанный невесть когда, в приморской деревушке неподалеку от Батуми. Старый крестьянин-аджарец вспоминал, как приехали к нему в гости тбилисские родственники и привезли с собою девятилетнего сына.

У моря мальчик оказался впервые.

Он был очень близорук.

Щурясь, пристально всматриваясь, не умея различить новые лица, разглядывая непривычные с виду дома, еще неизвестные ему цветы и деревья, мальчик нетерпеливо допытывался: где море?

Он хотел увидеть немедленно: где море? Какое же оно, море, о котором он столько слышал, подрастая в горах, над желтой гремящей камнями Курой?

Городского мальчика повели за руку, берег был рядом. И тут открывалось необозримое колебание пространства, отсвечивающего небом и солнцем, пахнущего йодом и солью. Мальчик вырвался, побежал по крупной горячей гальке босыми ногами. Потом галька стала прохладной и скользкой, вода плеснула у щиколоток. Мальчик ступил глубже, нагнулся, зачерпнул ладошкой, поднял горсть к самым глазам, разглядывая воду, уходящую сквозь пальцы, и разочарованно, горько сказал:

— Так это и есть море?

На вид вода оказалась точно такою же, как та, что течет в городе из водопроводного крана. Никаких тайн не могло быть в этой воде — ни штормов, ни затонувших галеотов, ни плава-

ющих чудовищ. И когда мальчик слизнул с ладони последние капли скатившегося моря, на языке остался все тот же горько-соленый вкус разочарования.

Его влекло море книжных приключений, море чужих рассказов, а увидеть его он смог только в своей пригоршне, и потому все, что он представлял, к чему готовился,— оказалось для него неправдой.

Но причиной разочарования может оказаться не одна лишь близорукость.

Точно так же, как существует близорукость и дальнозоркость, есть у людей и различное ощущение пространства, разное отношение к нему. Одних оно волнует, других — нет. По-разному проявляется это отношение уже и впервые; наверно, у каждого по-иному.

С мариупольского пригорка было видно: на самой границе акватории порта дымит приземистый ледокол, грузный, с широко раздавшимися боками. За ним темнеет пробитая во льду дорожка, ее тут же затягивает шуга, но по этой дорожке можно дойти до незамерзающих вод Черного моря и прокладывать курс дальше — к Босфору, в Мраморное, Средиземное, в жаркое Красное море, где и сейчас можно купаться, если только поблизости нет акул. Сколько портов придется пройти Ковалю, чтобы попасть отсюда в Ливерпуль, к своей Машке? Молился ли он сегодня, выстояв вечернюю службу, слушая густой монотонный речитатив дьякона, снова, впервые за двенадцать лет, вдыхая воздух, насыщенный запахами топленого воска, ладана и старой одежды? Нет, вряд ли молился. Наверно, и церковь, и санки, и мокрый сегодняшний снег были для него чем-то вроде темной дорожки, проложенной ледоколом по заледенелому морю и ведущей в полузабытое, прадавнее новгород-северское детство.

Ближе подойти к таким приметам этого детства, как желтый свет фонаря на снегу, старушечий голос в церковном хоре, дымящиеся конские кизяки по следу полозьев, снова удастся ему нескоро. Завтра «Хемпстед» будет в открытом и, скорее всего, бурном море, еще через сутки бросит якорь в Золотом Роге, а там уже не будет ни снега, ни украинской речи на улицах, ни всех тех примет еще непонятной ему, иной, чем в детстве, жизни, которые он впервые увидел здесь, в Мариуполе, и которым не переставал удивляться.

Коваль пошел в море не по влечению. Просто — так сложилось. И скорее всего, была б его воля, он предпочел бы иной жребий.

К приметам новых мест, куда его заносило, он не проявлял особого интереса. Чувство пространства было ему несвойственно. Он был по природе человек оседлый.

Другое дело — Женька Лебедев.

Этот знал море не по книгам. Оно вошло в его жизнь с самого детства. Он рос среди рыбаков и матросов, а теперь моряцкая жизнь была ему открыта без всяких прикрас и, что называется, с самой изнанки. И море притягивало его неодолимо.

Притягивало, но не давалось.

Отойти от берега Женьке случалось разве что на рыбачьем ялике.

Даже из Одессы в Мариуполь он прибыл поездом, по суше. Так случилось, что ехать нужно было в такое же, как теперь, зимнее время и пароходы еще не ходили...

Когда я возвратился из города на постоялый двор, там Лебедев трепался с дежурной. Он потащил меня в свой номер, где на всех четырех по-деревенски побеленных известкой стенах было пришпилено множество пестрых открыток и на каждой из них сипело небывало-глянцевитое море, ядовито зеленели пальмы и — среди анилиновой синевы и зелени — торчали очень белые дома, иногда большие, многоэтажные, с длинными балконами-террасами по фасаду; иногда маленькие, на одну семью,— один белоснежный куб на другом. Одни здания украшали витиеватые мавританские колонки и аркады, у других были большие прямоугольные окна, затененные яркими полосатыми жалюзи, а над витринами первых этажей пестрели еще более яркие маркизы. Ривьера, Барселона, Египет, Бразилия были неразличимо похожи на этих открытках, как неразличимо похожи длинноногие красавицы на принесенных с кораблей журнальных картинках, рекламирующих мыло «Кадум» и женское белье от Ворта. Но Женьку Лебедева притягивали к себе, как магнит, и нахальная синька морского прибоя под зеленью пальм, и глянцевитые красавицы, погруженные ради рекламы в мыльную пену.

Кроме Мариуполя и Одессы, Женька нигде больше пока еще не бывал.

Он мечтательно выговаривал названия островов Барбадос и Рапануи и дожидался своего часа, чтобы произнести наконец перед кем-нибудь заветные слова: «Ю'в сач хэндсом хэндс. Ай'л райт э леттер ту ю». Что́ дались ему эти дурацкие «красивые руки»? Ведь можно бы при знакомстве похвалить и что-нибудь другое. Глаза, например. Или волосы. И почему он поверил, что обещанное письмо обладает такой магической силой?

Странный словарик, которому отдан был долгий и кропотливый труд, позволял угадать, что Женькины представления о море возникли не из книг, их рождали байки одесских «бичей» — слоняющихся по берегу и давно списанных со своих кораблей матросов. Море в этих байках крашено тем же ядовитым анилином, что и на пришпиленных по стенкам лебедевского

номера открытках. Портовые мифы полны терпких соблазнов, и вера в их истинность была у Женьки непоколебимой. Он мечтал о том, чтобы своими глазами увидеть белые дома среди пальм и самому пережить все то, чем поражали его в своих рассказах случайные портовые собутыльники и чего на самом деле никогда и ни с кем не бывало.

Сегодня на его столе стояла бутылка мутноватой, похожей на самогон греческой ракии с «Лироса»; Лебедев налил ракию в граненые стаканы и опять стал говорить о том, что я слышал от него всякий раз, когда он приводил меня к себе. Он повторял, что в Мариуполе останется не больше, чем на год,— вот поступит на курсы, сдаст экзамены на рулевого, получит диплом и уйдет в море.

Но про курсы Женька говорил только за выпивкой.

Трезвый, он почему-то забывал об этих планах.

Как-то я сказал, что видел на тумбе объявление: документы на курсы рулевых принимались уже с прошлой недели, а завтра прием заканчивается. Женька промычал в ответ что-то невнятное. Не то он отнес заявление уже несколько дней назад, не то ему эти курсы вообще не нужны. Там выпускают рулевых каботажного плаванья, а будут еще и другие, учиться там на два месяца больше, зато диплом как надо, туда он и пойдет.

Похоже было, что весь этот разговор вообще ему неприятен.

Над его столом висела школьная карта Советского Союза. Блеклая голубизна, разлившаяся по ней небольшим озерком и означавшая ничтожные глубины Азовского моря, приходилась прямо перед моими глазами.

У кромки этой голубизны выцветшим, порыжевшим кружком отмечен был Мариуполь. Мне вдруг почудилось, что от кружка вниз, туда, где за узким Керченским проливом, расширяясь, темнела глубокая синева Черного моря, потянулась та самая затянутая шугой дорожка, которую проложила сегодня «Соломбала» по акватории порта. Когда я смотрел на нее из города, с пригорка, дорожка уходила туда, где уже ничего нельзя было рассмотреть простым глазом и сплошной лед простирался, казалось, до самого горизонта. Здесь, глядя на карту, я представлял себе, как узкий путь, пробитый для кораблей, уходит по бледно-голубому пятну вниз, выходит на синеву, ползет по ней дальше книзу и исчезает за пределами бумажного листа, чтобы появиться затем снова — далеко с правой стороны, на востоке. Там он круто поднимается кверху, к самому краю материка, к краю земли.

По всей верхней части карты протянулись очертания тех берегов, которые в зеленой книжке были названы фасадом страны.

К той книге карта приложена не была. Здесь, при взгляде на карту, мне сразу вспомнились слова Д. И. Менделеева, и я впервые увидел, как — даже на этой школьной схеме — огромен, причудливо изрезан и жутко пустынен край, выходящий к морям Северного Ледовитого океана.

Я всматривался в эти белые пространства, в прилегающие к ним тайгу и тундру и не мог отвести глаз. Я начинал чувствовать, что заболеваю так же безнадежно, как Лебедев. Только мое море было совсем другим, непохожим на яркие картинки по стенкам; какое оно, я еще не умел представить, только смотрел и смотрел на Женькину карту. Если это фасад, думал я, то в нем должны быть въезды-ворота, где же они?

На западном, самом левом краю они обнаружились сразу. Там лежал Кольский полуостров, на нем был отмечен порт Мурманск. От Мурманска железная дорога вела в Ленинград. Конечно, это ворота в страну.

Архангельск тоже был воротами. Но они вели, в общем, в те же места — к Центральной Европейской России. Я посчитал их за одни и стал искать следующих. Но дальше тянулись необжитые места, не помеченные никакими кружками. Ни Амдермы, ни Хатанги, ни Норильска еще не было на тогдашней географической карте. Вероятно, воротами следовало считать устья больших сибирских рек: Оби, Енисея, Лены. Устья эти тоже оставались тогда пустынными. Северного Морского пути еще не существовало. Широкая бухта Тикси привлекла мое особенное внимание: она находилась как бы в центре, над просторами Сибири, и там я разместил свои вторые ворота. Фасад должен был быть симметричен. Ему нужны были третьи и последние ворота. И они, естественно, расположились на крайнем полуострове Востока, на Чукотке.

Так я сам нарисовал для себя обозначенный Менделеевым фасад и как раз к третьим воротам вывел в своем воображении темную дорожку, пробитую сегодня ледоколом для трех кораблей.

Никак нельзя было избавиться от представления об этой темной и неширокой дорожке, где битый лед почти скрывал чистую воду. Никогда прежде мне не приходилось так ясно чувствовать, как далеко уходит и как сильно может звать к себе море. Никакой открытый простор не действовал так, как эта воображаемая темная линия на блеклой краске. Женькина мечта перестала мне казаться мальчишеской дешевкой, я забыл его глупые шпаргалки, не видел слащавых открыток на стенках, не слышал его пустой болтовни и даже позавидовал Лебедеву, поверив, что он в самом деле сумеет добиться своего, выучится на рулевого и окажется на другом конце карты раньше, чем я.

За этот его успех мы выпили свою ракию и попрощались, потому что дело мое в Мариуполе подошло к концу и на другой день мне предстояло возвращаться в далекий от всех морей Харьков — город на трех речках: на Лопани, Харькове и Нетече, по которым летом ходили вброд куры и о которых местные острословы уже не первый век шутили: «Хоть лопни, а Харьков не течет».

И может быть, там я и вовсе позабыл бы дорожку, привидевшуюся мне на листе Женькиной географической карты, если бы вскоре после возвращения не появился в моей харьковской комнате знакомый рыжий сеттер по имени Ральф, ведя за собою своего хозяина— Сашка Кривобуду.

## 2

Сашка́ Кривобуду я узнал в Одессе.

Он поражал меня неожиданностью и разнообразием своих познаний. Он научил меня строить самодур для ловли бычков и баламута, как называли там скумбрию. Про самодур надо было говорить именно так: не «делать», а «строить». А когда мы закидывали лески за борт старого полурассохшегося ялика, добытого у его знакомого рыбака, Кривобуда показывал, как выглядит «латинский парус», учил различать оснастку брига от парусного вооруженья фрегата, вспоминал истории давних загадочных кораблекрушений, пересказывал запорожские летописи Самойла Величко. Едва справляясь, я пытался вычерпывать из ялика воду, хлеставшую промеж всех досок, а Сашко перечислял местные названия ветров: горишняк, низовка, левант, широкий... Широким ветром называют здешние рыбаки теплый зюйд-вест, который легко наполняет паруса и, лишенный коварства, никогда не угрожает внезапным штормом. Зато черногор налетает прямо с юга; он часто дует по нескольку дней кряду, и тогда рыбачьи шаланды из Куцуруба и Анчекрака, из Бейкуша и с Кизьего мыса с трудом пробиваются против ветра в открытое море, к местам лова скумбрии и бычка.

Сашко пытался разъяснять мне теорию относительности, читал наизусть множество стихов и умел назвать по имени любую звезду в неисчислимой массе, мерцающей на низком и черном небе южного лета. У него был огромный запас увлекательных устных рассказов об охоте на уток в днепровских плавнях и на камышового тигра в непроходимых тугаях Амударьи.

И еще одно неясное воспоминание той давней поры нашего первого знакомства: смутная память о цветах и запахах, о пестрых и легких платьях, о загорелой женской коже, об атмосфере необременительной, но как бы вязкой чувственности, какая постоянно существовала вокруг Сашка,— навер-

но, по той причине, что он тогда ставил картину на кинофабрике, располагавшейся в старом ханжонковском ателье на Французском бульваре, и многие молодые одесситки искали его внимания, чтобы попасть хотя бы в массовку и появиться на экране кино.

Теперь бывшее ателье разрослось, оно называется студией, но тогда и в искусстве предпочитали индустриальные названия; молодые театры именовали себя мастерскими, студии становились фабриками, литературоведы доискивались производственных рецептов — с искренней верою в то, что достаточно знать, как сделаны «Мертвые души», чтобы ставить изготовление подобных книг на конвейер.

Узнав Кривобуду, я посчитал его стариком: он был лет на двенадцать старше меня, ему было за тридцать, и за его рассказами мне представлялась невероятно долгая и полная странствий и приключений жизнь.

Оглядываясь назад из нынешнего времени, я могу отчетливо разглядеть всю его тогдашнюю ребячливость, гимназическое мальчишество, в котором он задержался сверх срока.

Из картины, которую Сашко ставил в Одессе, ничего путного не вышло. Впрочем, этого и следовало ждать, потому что в сценарии не было ни слова правды, ни тени живой жизни; там рассказывалась начисто выдуманная, книжная история о романтической девушке на борту маленького корабля — история с любовью и ревностью, заимствованными с книжной полки.

Эту свою неудачу Сашко встретил легко: тогдашние «старики» на самом-то деле были молоды и еще сохраняли уменье по-молодому легкомысленно относиться к препятствиям на своем пути. Молодо было само время; мир вокруг нас существовал еще лишь в первом своем поколении, Адам не успел родить ни Авеля, ни Каина. Люди нужны были везде до зарезу; чтобы испробовать свои силы в любом деле, никуда не приходилось проталкиваться,— берись, делай и покажи, на что ты способен. Именно так Сашко попробовал стать режиссером кино. Из этого ничего не вышло, и Кривобуда просто исчез, испарился — надолго и неизвестно куда.

Можно было догадаться, что решил где-то пробовать себя по-другому.

Его Ральф появился в моей харьковской комнате совершенно неожиданно, и притом в самых неподходящих обстоятельствах. Вот уже несколько дней я не выходил из дому, пытаясь написать для одного журнала о том, что видел во время своей мариупольской поездки. Очень хотелось пересказать слышанное от старого доменного мастера: как скрыто и непостижимо происходит в доменной печи процесс плавки металла, угадываемый лишь воспитанной годами интуицией. Мастер не знает,

а чувствует, когда нужно пробивать летку, чтобы выпустить из печи готовый чугун. Чувство должно быть идеально точным. При самой малой ошибке можно «закозлить» домну, и тогда придется ее останавливать, разбирать, чтобы освободить от до времени застывших в ней тонн испорченного металла. Мастер рассказывал об этом захватывающе интересно и просто, а писать оказалось очень трудно: не хватало тех лет опыта, что были за его рассказом. Я в который раз марал написанное, брался заново, в доме не было ни еды, ни денег, и я, чтобы не уходить от письменного стола, уверял себя, что сегодня обойдусь тем последним куском хлеба, который у меня еще оставался. Это была очень черствая горбушка, и я грыз ее в ту самую секунду, когда в дверях показалась ушастая рыжая голова сеттера и пес с любопытством оглядел меня своими влажными женскими глазами. Я мучительно застеснялся и торопливо сунул свою горбушку под диванный валик. Вслед за Ральфом появился Сашко в хорошо знакомой мне щегольской бекеше с узким смушковым воротником.

Оказалось, что после неудачи с картиной он на год уехал к тому самому краю географической карты — к третьим воротам, куда так потянуло меня недавно из комнаты случайного соседа на постоялом дворе приазовского города. Сашко рассказал, что около года работал на охотничьей фактории, близ бухты Провидения на Чукотке.

Сперва его занесло в Хабаровск. Там случай свел Кривобуду с молодым парнем, который в Хабаровск был прислан с Урала, а в Приморском крае получил направление на Чукотку.

— Советскую власть устанавливать,— так объяснил он суть порученной ему миссии.

Кривобуда с ним встретился, когда парень подбирал, как он сам выражался, «команду».

«Команда» сколачивалась пестрая.

— Давай с нами,— сказал парень Кривобуде.

— Ты это серьезно?

— А ты думал?

— Ну что ж.

Сашко рассказывал, что в одно время с ним был зачислен в команду пожилой рыжебородый старатель, который несколько лет без успеха пытал счастье, пробуя мыть золото на Алдане. Прослышав о Чукотке, надумал подаваться туда.

— Чем черт не шутит?! Аляска ведь рядом. Почему бы и на Чукотке золоту не найтись?..

У старателя была жена, рыхлая домовитая женщина, с виду никак в ней не предположишь охоту к дальним дорогам, способность безропотно переносить лишения, болтаться в штормовом море, пробиваться сквозь буран на запряженных собаками нартах.

— Но и Аввакумова попадья, наверно, тоже была рыхлая и домовитая, с виду не скажешь, на что способна,— допустил Сашко, помогая мне яснее представить эту его попутчицу в очередной авантюре.

Жена старателя вызвалась ехать «мамкой». Так в артелях золотопромышленников зовутся женщины, которые готовят мужикам пищу, обстирывают всю артель, латают прохудившуюся одежду. И так же, как все старатели, зависят «мамки» от изменчивого фарта: ежели пофартит артели, то и хозяйке от намытого золотишка причитается доля. Не пофартило — погорела, как все, добирайся домой, как сумеешь. В иных артелях «мамки» попадаются молодые. Но с такими — не оберешься хлопот. И Сашко тут же выложил мне добрый десяток историй, порою кровавых, порой забавных и достойных «Декамерона». Все они поясняли, почему опытный и степенный старатель всегда предпочтет молодой вертунье пожилую «мамку» и «чем она на лицо страшней, тем спокойнее».

Слова «фарт», «золотишко» Сашко произносил так, будто над старательским лотком успел он прожить целую, новую, еще неизвестную мне, свою жизнь.

Но опыт и на этот раз был чужим. Он весь был почерпнут из случайной встречи с тем единственным старателем, что очутился в «команде». Да и его Сашко вскоре потерял из виду.

Издали, с берегов Амура, по такой же географической карте, как та, что была у Женьки Лебедева, Чукотка казалась совсем небольшим и не очень дальним пятачком, который под силу объехать и обжить полутора десяткам человек, случайно собранным в «команду» беззаботным и решительным уральским парнем.

Кроме старателя и его жены там был «красный купец» посленэповской формации — партийный работник, направленный в торговлю. Ему поручено было разведать на Чукотке, в чем нуждается местное население, можно ли там скупать пушнину и что следует предложить взамен.

Из Хабаровска и Владивостока добирались в те годы до Чукотки лишь очень немногие люди. Да и добирались-то они преимущественно до южных пределов — до старого Анадырского острога, где издавна находился административный центр труднодоступной и малонаселенной земли. Ну а в северные бухты — со случайными небольшими грузовозами, которые еще лишь разведывали высокие широты,— попадали, по словам Сашка, только считанные смельчаки, которые делились на рыцарей, по призванию прокладывающих трудные дороги, и на небрезгливых и алчных искателей добычи. Случалось, говорил Сашко, что ушедшие в сторону Берингова пролива надолго исчезали, не подавая о себе никаких вестей, а потом их обнаруживали в чукотских или эскимосских селеньях — опустившимися,

спившимися до белой горячки, и, когда их вновь доставляли на материк, они толком ничего рассказать не могли.

Но бывало и так, что сгинувшие с глаз люди оказывались настоящими подвижниками идеи, они делали на Чукотке большие дела, порою трагически погибали, и об этом становилось известно только через годы, а то и вовсе не становилось известно.

Лишь много времени спустя после описанного здесь харьковского утра я прочитал записки первых учителей, первых организаторов «красных яранг», отправлявшихся на Чукотку примерно в то же самое время, когда собиралась туда странная «команда», в которой очутился Сашко Кривобуда.

Насчет полученных им полномочий «установить на Чукотке советскую власть» либо уралец прихвастнул, либо Сашко бездумно преувеличил. Советская-то власть на Чукотке тогда уже существовала, и к тому же не первый год.

Отыскивая все, что можно было прочитать о третьих воротах, я узнал и о том, как в конце 1919 года на грузовом пароходе «Тобольск» в рейс, организованный колчаковскими эмиссарами, сумели пойти под вымышленными именами два большевика-подпольщика: Михаил Мандриков и Август Берзин. Они отправлялись с Камчатки, с тем чтобы организовать в Анадыре первый подпольный ревком. В декабре этот ревком уже действовал, и не только русские объединились вокруг него, но и в чукотских стойбищах — на своем родном языке — слушали чукчи и эскимосы слова воззваний этого ревкома. Опыт революционного подполья у Мандрикова и Берзина был немалый, помощников они находить умели. Однако обстановка в тогдашнем Анадыре была особая. Там очутилось довольно много колчаковцев и участников бочкаревских дальневосточных банд. Все они удирали через Камчатку от войны; Анадырь им виделся как последнее тихое пристанище, где можно не только сохранить жизнь и пересидеть до лучших, спокойных времен, но и — в расчете на эти лучшие времена — кое-чем разжиться. Тут, главным образом, была у них мечта о дорогих мехах, за бесценок добытых у чукотских «туземцев». Когда же появились в Анадыре листовки ревкома и дошли вести до стойбищ, что ревкомовцы действуют и там, местные купцы и заезжие белогвардейцы поняли, что надежды их оказались под серьезной угрозой.

В конце января 1920 года Мандриков и Берзин были обманом схвачены, а 2 февраля их убили на льду замерзшей речки Казачки.

Еще долгие годы должны были пройти до того времени, когда я своими глазами увижу немудрящий памятник первому ревкому, поставленный над берегом Казачки. Но, слушая рассказ Кривобуды, я еще ничего не знал об этой трагедии. Ве-

роятно, он и сам не знал об этом. Ведь он попал на Чукотку, минуя Анадырь. Лишь вскользь упоминал он о том, как канонерская лодка «Красный Октябрь» отправлялась в 1924 году из Владивостока, чтобы поднять советский флаг над островом Врангеля и высадить там первых зимовщиков во главе с Арефой Минеевым. Даже и после этой высадки продолжали ходить аляскинские купцы на своих небольших, но ходких суденышках через узкий Берингов пролив к прибрежным чукотским стойбищам. Правда, ходили они теперь украдкой, но все же ходили. И эскимосы на своих обшитых тюленьими шкурами байдарах продолжали добираться до факторий Малого Диомида и даже до мыса принца Уэльского, чтобы выменять там охотничьи винчестеры и рыболовную снасть, получить спирт, ром, табак, чай и консервы, платя песцовым мехом и шкурками морского зверя.

Владельцем торговой компании был Олаф Свенсон, и цены он установил такие: приказчик его фактории клал на прилавок винчестер, а эскимос должен был вдоль длинного ружья — от основания приклада до мушки — плотно уложить песцовые шкурки. Не в длину, конечно, а поперек. Сколько уместится, столько и отдавай.

— С этим пора кончать. Нам там во всем разобраться придется. А ты — человек грамотный. Это для нас — во как важно! — так, по словам Кривобуды, разъяснил ему уральский парень миссию всей «команды» и собственное его, Кривобуды, главнейшее жизненное предназначение.

В этом смысле, вероятно, и следует понимать слова об установлении советской власти: в ту пору надо было «во всем разобраться» и кончить с набегами купцов из-за Берингова пролива.

Сашко оказался приданным в помощь «красному купцу» для организации новой торговой фактории, которой и предстояло вытеснить с Чукотки незванных аляскинских гостей.

Примерно теми же речами был соблазнен в неблизкий путь и учитель, преподававший в нанайском селении, невдалеке от Хабаровска.

— А что тебе тут на готовеньком киснуть?! Там все сызнова сможешь начинать. Благородное дело, нет?!

Надо бы и еще одного учителя, — мечтал уралец. Но другого он так и не нашел. Нашел счетовода. («Я тебе покамест сказать не могу, чего там делать придется. Вот приедем, тогда на месте сообразим».) Нашел фельдшера и велел ему составить список медикаментов, которые надо добыть и повезти с собою, хоть не сумел ничего рассказать о том, с какими болезнями может повстречаться на Чукотке невиданная прежде в тех местах медицина.

— Чему-нибудь же тебя учили? — осведомился уралец у фельдшера.— Значит, как-нибудь разберешься. Читай пока книжки...

Но в большинстве оказались в команде такие, кого уралец определял так же, как определил он и Кривобуду. Это были «люди грамотные», но все еще не нашедшие своего места в жизни, хоть многим из них было уже немало лет. В дорогу они пускались легко и охотно, но вскоре с такою же легкостью снимались и с нового своего временного насеста, не умея пустить корни поглубже, привязаться к какому-нибудь определенному делу. Они настолько привыкли к беспорядочному таборному быту, что неизбежный ритм любого полезного труда становился для них нестерпимым, и они вновь принимались высматривать журавля в небе, пренебрегая любой синицей, дающейся в их небрежные руки.

В Харьков Сашко приехал, довольный прожитым годом, переполненный новыми устными рассказами, где правда смешивалась с небылицами, увиденное с прочитанным, и Сашко был преисполнен веселой уверенности в том, что сумеет все это с легкостью записать, напечатать, превратить в книгу. Но ведь и для этого следовало подчинить себя ритму работы, а это было не в его силах. И еще одно неодолимое препятствие возникало перед ним на пути к ненаписанной книге. Неодолимым оно оказалось именно потому, что сам он не мог его разглядеть, оценить и преодолеть. Не видел его тогда и я. Слушая рассказы Сашка о Чукотке, о приключениях старателей, о жирниках, мерцающих в яранге, о лежбищах котиков и о штормующих на пути к этим лежбищам кораблях, я еще не знал, что обо всем этом можно прочитать в уже давно написанных книгах. Мне эти книги прежде не попадались. Я знал только слова о северном фасаде страны и видел географическую карту с воображаемыми «третьими воротами» на ней, которые стали моей неотвязной мечтой.

Сашко рассказывал о прочитанном не потому, что сам увидел чересчур мало. Нет, своих впечатлений было у него предостаточно. Но достойным внимания и пригодным для будущей книги ему казалось лишь то, что сходилось с описанным в других книгах. Он считал, что если книга его будет похожа на другие хорошие книги, то тем самым и она будет хороша. И даже живые впечатления дороги особенно радовали его, если в них оживало, подтверждалось то, что ему было известно из прочитанного. Есть такой род путешественников. Они стремятся увидеть Париж, а когда их мечта осуществляется, они со всех ног спешат к Собору Парижской богоматери, о котором так много читали и на который насмотрелись в кино, и одно то, что все оказалось правильным: собор именно такой, каким он столько раз был описан, и химеры — вот они, на своих местах,

и давно знакомые вековые камни ступеней можно наконец попрать собственными ногами,— одно это приносит им полное удовлетворение. Но что разглядели они такого, о чем еще никто не сказал?

Приобщенье к прославленному тешит гордыню. Это слабость сравнительно невинная, и ей может быть подвержен любой человек, в том числе и художник. Но истинный-то художник раскрывается лишь в таких озарениях, какие позволяют ему в давно известном и многократно описанном рассмотреть новую, прежде незамеченную грань и по-своему рассказать о ней людям. Не пересказать своими словами, а сказать о своем, важном для многих, впервые открытом им в том, что не раз до него открывали другие.

Перед годом, проведенным на Чукотке, Сашко был отравлен годом работы в кино.

Индустриализация кинематографии выражалась не только в том, что студии назывались фабриками.

Работу над сценарием фильма пытались ставить на конвейер. Острый сюжет был первым и непременным требованием, которое предъявлялось к драматургии сценария. И у кинематографистов получила распространение теория, гласившая, что все возможные ситуации, перипетии столкновений и положения характеров давно исчерпаны литературой, нового ничего больше придумать нельзя; обновлять можно только комбинации слагаемых, и потому остается составить подробный каталог и, пользуясь перенумерованными аннотациями сюжетов, конфликтов, обстоятельств и трюков, варьировать известные положения в новых сочетаниях, в иной социальной среде и в любых исторических костюмах. Для новичков такая теория была особенно удобной, соблазнила она и Кривобуду. Он собрал свою первую картину из готовых деталей, и это ее погубило. В старом анекдоте студент-медик доверительно говорит профессору: «Ведь мы-то с вами прекрасно знаем, что никакого пульса на самом деле не существует». Так и Сашко утверждал, что в кино есть ремесло, и только оно. А об искусстве пусть толкуют шаманы.

Из готовых деталей намеревался он собрать и книгу своих рассказов о пребывании на Чукотке. Но и деталей таких было в его распоряжении не так много. Книги, написанные об отдаленной земле, исчерпывались в ту пору каким-нибудь десятком названий. Еще лишь бегло прочитанными, а то и вовсе нетронутыми лежали в архивах записи мореходов, три века назад первыми ступивших на чукотскую землю. Ни в каких книгах нельзя еще было прочитать, например, скорбную челобитную красноярского казака Ивашки Ерастова с товарищами, где впервые упомянута была встреченная ими у реки Колымы

«оленная самоядь» — «чюхчи мужики с тундры, со своими роды».

Ивашка сообщал, что в 1641 году он и еще три енисейских казака «поставили зимовье на край тундры и косым острожком обгородили» и, как он пишет дальше, «учали у чюхчей просить ясаку в твою, государеву, ясачную казну». А «чюхчи учали нас, холопей твоих, с обеих сторон стрелять».

Легко понять, что у чукчей был свой резон для такого, на взгляд казаков, вероломного поступка.

Наверно, и сами казаки не так уж вежливо «учали их просить». Да если даже и просили, то с какой такой стати, за здорово живешь, отдавать соболей в неведомую, за тридевять земель, государеву казну, от которой «чюхчам» никакого прибытку.

Впрочем, прибытку и казакам не было.

Об этом рассказывает грустный конец челобитной.

«Вот уже девять лет,— жалуется Ивашка Ерастов через якутских воевод царю Михаилу Федоровичу (того не зная, что челобитная его доберется до Москвы, когда Михаил Федорович будет уже почивать под плитами Архангельского собора, а на престоле воцарится Алексей Михайлович),— не имывал я, холоп твой, твоего государева денежного и хлебного жалованья». Лишь однажды, признается он дальше, «я, холоп твой, взял только один рубль, а достальных денег и хлеба и на тот год не имывал...».

Но хотя единственный рубль, да и то самовольно взятый, оставался первым и последним вознаграждением казаку за все девять лет, служба его шла и ясак из дальних острожков неуклонно отправлялся в Якутск, а оттуда в Москву.

«И от тех твоих государевых служб, что мы, холопи твои, служили без твоего государева жалованья, обнищали и задолжали великими долги и стоим на правеже...»

Тут уже не только отчаянье слышится, но и едва скрытое возмущенье. Правда, к самому концу челобитчики смиряются и вновь переходят к покорной мольбе:

«И пожалуй нас, холопей своих, за нашу к тебе, государю, службу и за раны и за голодное терпение своим царским денежным и хлебным заслуженным жалованьем и послугою, чем тебе, великому государю, бог известит».

Команда Кривобуды, как теперь видно, имела долгую — трехвековую — и сложную родословную. Но докопаться до этой родословной было нелегко. Не входила еще в напечатанные книги и «скаска» служилого человека Михаила Стадухина, ходившего на ту же реку Колыму и в Анадырь. Сказку его записывал 26 апреля 1647 года дьяк Петр Стеншин, когда сам Стадухин стоял на расспросе перед якутскими воеводами Василием Пушкиным и Кириллом Супоневым.

Снова речь шла о «чюхчах», об их морском промысле, о том, как чукчи переезжают зимою от своего жилья по замерзшему морю на Камень-остров — «на оленях одним днем». И на том-де «острову они побивают морской зверь морж, и к себе привозят моржовые головы со всеми зубами, и по-своему де они тем моржовым головам молятца, а он де, Стадухин, моржового рыбья зубу у них не видал. А промышленные де люди ему сказывали, что они у тех чюхчи тот моржовый зуб видали, кольцы де у них оленных санок все того одного моржового зуба. А у тех де чюхчи соболя нет, потому что живут на тундре у моря, а доброй де самый черный соболь все по Колыме. И та де река большая ж, и собольная ж, и иноземцев де по ней много ж, а язык у них свой же».

Иноземцами зовут здесь не пришлые с иных земель люди, а, напротив, местное население. Они — иноземцы для казаков, пришедших на Колыму из Сибири.

На другом таком же расспросе служилый человек Лаврушка Григорьев рассказывал о встречах своих с торговыми людьми из племени наттов. Натты же, в свою очередь, говорили ему о своей торговле с соседями. На своей земле натты добывают серебро. А серебро и одекуй, то есть крупный бисер, они продают на неблизкой тундровой реке, где живут люди, «род свой, рожи у них писаные. А те де писаны рожи наттам продают олени да бабы».

Эскимосов с раскрашенными, «писаными» лицами видели еще ссыльные революционеры в конце прошлого и даже в начале нынешнего века.

Триста лет назад у третьих ворот существовал сложившийся быт проживавших здесь племен и народцев. Наслаивалась история, которую некому было записывать: следов какой-либо письменности в этих местах не обнаружено, а пришлых людей интересовала не жизнь местных племен, а добытые ими соболиные шкурки и моржовый зуб.

Для сибирских казаков северная служба длилась долгие годы, а то и десятилетия, и была она трудна и опасна.

Семен Дежнев, оставивший свое имя навечно на географических картах, но в приказных делах именуемый уничижительно Сенькой, или государевым холопом Семейкой, — жалуется на свои обиды так же горько, как Ивашка Ерастов.

Челобитные, лишь недавно прочитанные и собранные в книгах, повествуют о морских бурях и жестоких вооруженных схватках, о телесных болезнях и принятых на душу, государевой службы ради, грехах.

Писали царю Алексею Михайловичу «холопи его Матюшка Кальин да Мишка Клубуков да Петрушка Иванов сын Пустодом»:

«Подымались мы на ту твою, государеву, службу на Анадырь-реку своими заводишки и ставили нам, холопам твоим, большие подъемы для того, государь, что был зимной путь, друг друга ссужали, пуд муки покупали по десяти соболей, а пороху фунт по шти соболей, а фунт свинцу по соболю и по полутора соболя, лыжи по два соболя и больши. И с реки на реку переходя, дважды море било и заводишки разметали, а иные и море потопило, и голод терпели, и души свои сквернили, а тебе, государь, служили и раны от иноземцев и увечье принимали, ран по пяти и по шти, и по десяти на человека, а у меня, государь, холопа твоего, у Мишки Клубукова, глаз выстрелен. И многих, государь, побито нас, холопей твоих, на дорогах и на переходах, и на морском разбое, и на аманатском имке, и с голоду померло тридцать семь человек, а всех нас было пятьдесят, а ныне, государь, осталось тринадесять».

Челобитная полна человеческого достоинства и вместе с тем глубокой горечи от внезапно осознанной тщеты всех потраченных усилий и пережитого риска. Брать аманатский имóк, то есть определенную с туземцев государеву подать, ходили на самый край земли пятьдесят казаков-кондотьеров; в живых осталось из них тринадцать. Челобитную пишут трое из этих немногих; пишут со сдержанной яростью, государю выкладывают всю правду, говорят с ним на равных, хоть и вынуждены сохранять по отношению к себе непременную формулу — «мы, холопи твои». И пусть один из них потерял глаз в вооруженной схватке, а другие изранены, «по шти, и по десяти ран имеют», но прежде физических увечий поминают они о том, что ради мягкой рухляди,— ради добытых для царской казны соболиных шкурок,— битые стрелами, трепанные штормами, моренные голодом казаки души свои сквернили. Моральный урон для них тяжелее физического.

И эти люди, называющие себя Матюшкой, да Мишкой, да Петрушкой, совершенно ясно понимают, сколь велик понесенный ими — в схватках с «чюхчами» — моральный урон.

Это в челобитной самое примечательное.

Но все негромкие, сдержанные свидетельства боли душевной и многих обоюдных кривд, трудов человеческих и лишений еще дожидались в архивах своего исследователя, а у Сашка Кривобуды была под рукою одна-единственная книга: этнографические очерки, написанные за четверть века перед тем В. Г. Таном-Богоразом.

Впервые Владимир Богораз попал на Колыму как ссыльный, после трех лет заключения в Петропавловской крепости. Петербургский полицейский чиновник напутствовал его следующими словами:

— О Средне-Колымске мы ничего не знаем, кроме того, что жить там нельзя. Поэтому мы вас туда и направляем.

Там, где «жить нельзя», очутилось полсотни молодых ссыльных; они стали жить коммуной, много работали и именно благодаря каждодневному физическому труду смогли выжить. Владимир Богораз много ездил по чукотским стойбищам и старым русским острожкам, бродил с охотниками и оленьими пастухами, записывал обычаи и фольклор местного коренного населения, составлял словарь русского наречия, на котором разговаривали потомки тех самых казаков и служилых людей, что стали оседать на северо-востоке Азии с конца XVI века. Его первые рассказы появились в короленковском «Русском богатстве», потом составили несколько книжек. Прозу свою он подписывал «Тан», научные работы печатал под настоящей фамилией: «Богораз» — и потому шутил о себе, что он, мол, «человек двуличный».

После освобождения он приезжал на Чукотку снова — в составе научных экспедиций.

Много лет его книги оставались если не единственным, то главным источником сведений о Чукотке и чукчах.

Во всяком случае, именно у него обнаружил я впоследствии рассказ о том, как дети, выполняя сыновний долг, душат своего старого отца ременной упряжью по его собственному, отцовскому, наказу. Так уходили тамошние старики из жизни, чтобы не становиться обузой. В Харькове Сашко говорил, будто сам оказался свидетелем такой сцены. И говорил почти теми же словами, какие впоследствии прочитал я у Тана.

У него же я вычитал затем историю про обычай чукчей предлагать гостю собственную жену,— историю, которую Сашко, ошеломив меня, тоже выдал за пережитое им самим приключение.

Вероятно, такое водилось. Тан был добросовестным этнографом. Но к тому времени, когда и я добрался до своих третьих ворот, там уже передавались рассказы совершенно иного рода. В нескольких селеньях я слышал истории трагедий, возникавших на почве ревности, и в этом арктическом краю могли заканчиваться они, к сожалению, так же печально, как заканчиваются порою и в южных широтах. Я узнал об одном случае, когда ревнивый муж застрелился из охотничьего ружья, и о двух случаях, когда из ревности были застрелены жены.

Про обычаи, подобные отмеченному Таном и еще застигнутые, по его словам, Кривобудой, речи уже не было.

Повествуя о своем приключении, Сашко не щадил себя. Чукчанка, с которой он оставался в яранге, не была в его рассказе ни молодой, ни привлекательной. Это была пожилая, утомленная женщина, которой предстояло выполнить еще одну домашнюю обязанность, такую же, как разделка оленьей туши или починка прохудившейся мужней кухлянки. Сашко весьма красочно живописал свою растерянность. И во время этого его

рассказа в комнате послышался громкий стук и недовольное рычание Ральфа. Красавец сеттер яростно мотал головой и стучал по полу сухарем, который он обнаружил и вытащил из-под диванной подушки; черные глаза смотрели на меня с укоризной и жалостью.

К счастью, Сашко не разобрался в происшедшем.

Он лишь строго сказал собаке:

— Отдай. Фу.

И Ральф бросил свой сомнительный трофей к ногам хозяина.

Я спросил, что же стало потом с «командой», которую собрал и вывез на Север уралец. Как действовала она на Чукотке? Что сумела там сделать?

Выходило, что команда разбрелась по указаниям местных работников кто куда. Все-таки советскую власть на Чукотке они застали, и притом достаточно прочно укоренившуюся. Однако работы хватало и надобность в людях была велика. После разлуки связь друг с другом поддерживать было трудно, и Сашко, добравшись со своим «красным купцом» до стойбища Рыркайпий, потерял остальных из виду.

В Рыркайпии они застали следы уже покинутой фактории, построенной людьми Свенсона. Два домика были сколочены из старых ящиков, третий — собран из принесенных морем досок, утеплен и даже не лишен известного комфорта. Однако все домики обветшали, жить в них нельзя было, пришлось разместиться у эскимосов. Выяснилось, что привезенных с собою муки и консервов хватит ненадолго, что для обмена надо было брать в дорогу боеприпасы для винчестеров, которыми вооружены все местные охотники, или заменить винчестеры на новые, наши охотничьи ружья и опять-таки везти для этих ружей побольше боеприпасов. Не хватало там капканов для ловли песца и лисиц и сетей для морского промысла. Но во всем этом приезжие разобрались чересчур поздно. Навигация там недолгая. Успеть обернуться на материк за новыми грузами и возвратиться с ними на Чукотку в течение одного лета было невозможно. Сашко не признавался впрямую, но нетрудно было понять без его объяснений, что он и его начальник — на то время, что прожили они в Рыркайпии,— просто прибавили своим хозяевам два лишних рта, не принеся взамен никакой существенной пользы. Однако для себя — наука была. И даже такая наука — при тогдашних туманных представлениях о том, как живет и в чем нуждается Чукотка, — была весьма полезной.

Сашко рассказывал, как в ясную погоду видел он очертания островов Диомида — Большого и Малого, словно оторвавшихся от мыса Провидения, отплывших на запад и замкнувших собою Берингово море.

Тут он снова возвращался от виденного к прочитанному, книжная полка брала верх; всё вытесняли колдовские названия и ритмы киплинговской баллады о котиколовах:

И вел их свет ночных планет, карта северных звезд,
На норд-норд-вест Западный крест, за ним Близнецов мост.
Эти точки достаточно точно определяют путь
В дни, когда маток на лежбище секачи ведут отдохнуть.
Айсбергов треск и китов плеск чуяли сквозь туман,
И котиков рев от берегов, слышный и в ураган,
И ярость ветров меж островов (ее там зовут «пургой»),
Где на север — остров Георгия, на запад — Павел Святой...

Возможность видеть себя в этом экзотическом антураже тешила его гордыню; он и рассказывал о треске айсбергов и плеске китов, о Близнецах над его головою, о том, как ревут котики на лежбищах, куда он подходил на байдарах с охотниками-эскимосами.

Все услышанное я принимал на веру, испытывая нестерпимую зависть.

Впрочем, оснований для зависти хватило бы даже и в том случае, если бы только половина рассказанного оказалась правдой.

С «красным купцом» у Кривобуды отношения, видимо, не сложились.

К открытию навигации в Нунямо добрался на запряженных собаками нартах, откуда-то с севера, знакомый старатель со своей «мамкой». Сашко тоже был в это время в Нунямо. Старатель хмуро рассказал о своих неудачах, о несбывшихся надеждах. Снова забегая на годы вперед, можно теперь сказать, что ему не пофартило на той самой земле, где впоследствии обнаружились редкостно богатые золотые запасы, на которых возникли десятки приисков и многолюдных поселков.

Такая маленькая на карте, Чукотка оказалась слишком просторной для одинокого искателя фарта.

Да и для десятков оснащенных техникой геологических партий, которые работали здесь потом, понадобились многие месяцы и годы, чтобы исследовать этот на самом деле обширный и труднодоступный край и обнаружить в его недрах все то, что было тут обнаружено.

Старатель же выходил со своим лотком не на те реки и ручьи. Ему действительно не везло. Золотоносные пески оставались в стороне. И, добравшись наконец до Нунямо, он проклинал несчастный, впустую прожитый год и торопился вернуться на заветный, вдоль и поперек исхоженный им Алдан.

Ни учителя, ни фельдшера Сашко больше не встречал, и об их судьбе ему ничего не было известно.

Об уральском парне он тоже знал не многое. По рассказам чукчей. приезжавших в Рыркайпий из Уэлена, можно было

догадаться, что парень побывал у них, потом ушел на запад, к мысу Сердце-Камень; затем следы его терялись в тундре.

Пароход, зашедший в июле из Гижиги в бухту Святого Лаврентия, принял на борт Кривобуду и чету старателей, чтобы доставить их во Владивосток. С парохода же сошли на чукотский берег новые люди. Вероятно, им было известно об этой земле уже много больше, чем прошлогодней команде. Во всяком случае, груз их был обильнее и подбирался с бо́льшим знанием дела. Ружья и боеприпас для звероловов, снасть для приморских чукчей и эскимосов они с собою везли. В несколько ящиков было упаковано лабораторное оборудование и медикаменты для борьбы с трахомой. Кривобуда напутствовал нескольких врачей и учителей, которые прибыли с этим пароходом, и это было его последнее знакомство на чукотском берегу.

Далекая земля, о которой я услышал в то харьковское утро, ничего о ней не читавши прежде, казалась мне белым пятном, только лишь начинающим приобретать определенные очертания. В рассказе Кривобуды звучали интонации Марко Поло, повествующего потрясенным венецианцам о своем путешествии в таинственные края неведомых богов и владык — к острову Чипингу и в северную страну Тьмы, где водятся горностаи и черные лисы и куда подходит, как говорил Поло, Великая Россия, населенная рослыми и статными людьми с голубыми глазами.

Вскоре Сашко и Ральф покинули мою комнату, а я остался в том же потрясении, какое испытал уже однажды, представляя на лебедевской карте возможное продолжение темной дорожки, пробитой ледоколом в азовских льдах.

Я видел оленьи стада в снежной тундре, охоту на морских котиков, ветхие домики покинутой фактории, описанные Кривобудой, чадящую плошку с тюленьим жиром в яранге, которую даже не умел себе представить. Видел, как маленький старичок с ноготок в одежде из оленьего меха выходит на охотничью тропу в последний свой путь, и его провожают два почтительных сына с сыромятными ремешками в руках.

Через несколько дней на стене моей комнаты появилась карта — такая же, как та, что висела у Лебедева.

В ее верхнем правом углу материк Евразии оканчивался невидимым магнитом, не отпускавшим мое воображение.

## 3

Ту, старую карту с нынешней не сравнить. Как пустынны были на ней огромные просторы азиатского Крайнего Севера. По верхнему краю большого листа взгляд блуждал, не встречая ни кружка, ни даже черной точки. Типографские буквы

складывались лишь в названия рек; их прихотливо извилистые линии вели к морям Северного Ледовитого океана. Названия звучали еще непривычно и странно: Омолон, Индигирка, Большой Анюй... А океан, в котором сужающимися кругами очерчивали полюс высокие широты, приводил на память длинный синодик имен мореплавателей, терпевших бедствия и погибших при попытке проложить здесь путь своим кораблям.

По карте труднодостижимые края эти представлялись еще более заледенелыми и безлюдными, чем они явились — долгое время спустя — первому взору.

Но от этого притягательность их становилась еще сильнее.

В то самое время и промелькнуло небольшое газетное сообщение о подготовке экспедиции на крайний северо-восток Азии, к острову Врангеля.

После мариупольской поездки прошло уже два года.

И вот из тассовской телеграммы стало известно, что в марте 1929 года в заветный уголок географической карты, завладевший моим воображением на мариупольском постоялом дворе, отправится из Севастополя (конечно же не иначе, как по той темной дорожке, что привиделась мне там, уводя воображение за пределы азовского льда) ледорез «Федор Литке». Тот самый, которого так нетерпеливо дожидались капитаны в Мариупольском порту и которого я тогда так и не успел увидеть. Ему предстояло дойти до Владивостока, а оттуда пойти к Чукотке и дальше. На острове Врангеля следовало как можно скорее сменить группу зимовщиков; произвести эту смену пытались уже в течение трех лет; все попытки были безуспешны. Если не удастся и на этот раз, жизнь зимовщиков окажется под угрозой и ко множеству трагедий, разыгравшихся в высоких широтах, может прибавиться новая.

Уже февраль кончался, когда первое упоминание о предстоящей экспедиции появилось в газетах. Меньше месяца оставалось до выхода ледореза. Множество самых разнообразных и труднооодолимых препятствий отделяло меня от севастопольского причала, откуда «Литке» должен был начинать свой долгий путь. Но, может быть, именно потому, что таким неосуществимым и таким неодолимо желанным казался мне прыжок с берегов Нетечи на борт ледореза, все и разрешилось с неожиданной быстротой и легкостью. Впрочем, если подумать, то была и еще причина. Не в моем судорожном напоре, а в том всеобщем интересе к Северу, который пробуждался тогда все с большею силой.

Спасение экипажа дирижабля «Италия», эпопея поисков, подвиг «Красина» еще не выветрились из памяти. Задачи освоения Арктики и прокладка Северного Морского пути между тем вышли из сферы сугубо научных интересов и стали делом

государственным — одной из насущных народнохозяйственных задач, как мечтал Д. И. Менделеев. К тому же, пряный налет романтической экзотики повышал аппетит газетчиков к этой теме, и потому редакции, в том числе и моя, стремились добыть корреспондентские места на кораблях, уходящих в арктические плаванья. Капитаны, однако, не могли принимать на борт пассажиров, зря занимающих место. Они могли зачислить человека в команду, с тем чтобы он не только числился в судовой роли, но и делал то, что ему по этой роли положено, работал, как каждый член экипажа. Пусть в свободное время, если это ему нужно, выполняет еще и свои журналистские обязанности. Надо ли говорить, с каким мальчишеским восторгом принял я это ультимативное условие?

В середине марта, еще не отдышавшись от беготни и хлопот, я стоял в управлении Севастопольского порта. Передо мною, на конторском столе, лежала темно-синяя мореходная книжка, украшенная тисненным золотом якорем и гербом Советского Союза. Сквозь прозрачный целлулоидный прямоугольник виднелось мое имя, каллиграфически выписанное черной тушью. Оставалось приложить большой палец левой руки к штемпельной подушке и затем сделать оттиск в пустом квадрате на положенном листке мореходки. В судовую роль, то есть в список команды ледореза, меня записали матросом второго класса. То, что я им сумею стать на самом деле, мне еще предстояло доказывать. Но перспективы меня не беспокоили. Если говорить на берéговом, и притом на нынешнем, языке,— матрос второго класса это нечто вроде разнорабочего в боцманской команде, никакой особенной квалификации тут не требуется. Только сноровка: надо будет скатывать палубу из шланга, орудовать голикóм, укладывать в аккуратные бухты душистые манильские «концы», до блеска драить медяшку,— искусство нехитрое, справиться можно.

Корабль еще стоял в сухом доке. Через два-три дня он будет спущен на воду.

Я получил койку и шкафчик. Старпом выкроил место не в общем кубрике, а в тесной каютке на четверых, чтобы легче было изловчаться и вести дорожные записи. Это была единственная привилегия, но и ее я принял не без угрызения совести.

У меня появились товарищи. Митя Золкин, бывалый матрос, классом выше, чем я, умеющий управиться и за рулевого, охотно наставлял меня в те немногие дни, что оставались до выхода в море. Им владело высокое чувство ответственности, и беда была попасться ему на глаза, слоняясь без дела.

— Все сачкуешь, салага? — осведомлялся он с недоброй ухмылкой. — Ты все сачкуешь, а вентиляторы некрашеные стоят?! Давай по-быстрому к боцману, бери краску.

Белизна вентиляторов казалась мне безукоризненной. Я не мог взять в толк, какого рожна их надобно еще красить. Но ослушаться не смел и, возвратившись от боцмана с банкой белил и малярной кистью, убеждался, что Митя уже успел сбить с вентиляторов все пустотелые, незаметные с первого взгляда пузыри, которыми вздулась старая краска под весенним севастопольским солнцем, и теперь эти облупившиеся раструбы нещадно уродуют празднично-нарядный облик нашего белоснежного корабля, которым я уже привык гордиться, как собственной обновой.

«Федор Литке» до сих пор остается в памяти одним из самых красивых кораблей, какие мне случалось увидеть за всю мою жизнь. Весь устремленный вперед, с узким острым форштевнем и неширокой кормой, с высоко поднятыми надстройками красного дерева, со слегка отклонившимися назад мачтами, которые еще не превратились в пустое украшение, но готовы в любой момент принять на себя полное парусное вооружение, уложенное до времени в ящики, вытянувшиеся в линию вдоль борта,— этот корабль, собранный и поджарый, как борзая, соразмерный в каждой своей подробности, словно античная статуя (весь — воплощенная стремительность, он вызывал в памяти представление о Самофракийской Нике), корабль наш сохранял в своем облике утраченную красоту и благородство ушедших в давнее прошлое каравелл и фрегатов.

Говорили, и это потом подтвердилось виденными мною корабельными документами, что «Федор Литке», прежде чем стать ледорезом нашего флота, носил другое имя и был прогулочной яхтой, построенной по заказу какого-то американского богача. Яхта называлась «Серый орел». Наши торгпреды купили эту яхту в 1923 году; ленинградские кораблестроители укрепили ее форштевень, и яхта стала ледорезом. (В отличие от ледоколов, которые своим тупым и тяжелым носом вскарабкиваются на закраины ледового покрова, давят на него и разрушают собственной тяжестью, ледорез разрезает и раздвигает перед собою ледяное поле.) «Литке» стал первым у нас и, пожалуй, вообще единственным кораблем такого класса. Во время того севастопольского ремонта, готовя корабль к плаванью в высоких широтах, судостроители укрепляли нос его еще надежнее.

Все же, несмотря на тщательность подготовки, наш капитан не мог избавиться от беспокойства. Как-то я услышал его слова, с сомненьем обращенные к старпому:

— Не знаю... Со здешними-то льдами он, конечно, управится. А там как будет?..

Чукотские льды неотвязно его волновали, хотя до встречи с ними было еще далеко. Старый дальневосточник, капитан Константин Александрович Дублицкий, был слишком хорошо

знаком с ними. Так же, как и Владимир Михайлович Стехов, старший помощник, приглашенный капитаном в этот поход еще во Владивостоке. Им обоим не раз приходилось зимовать во льдах, и оба они на опыте знали, как часто и как внезапно может возникнуть неизбежность такой зимовки.

— Конечно, год году рознь. Можно и проскочить...

Дальневосточником был и стармех, по-корабельному «дед»,—Иосиф Антонович Гейн. Он появился на корабле сразу же после того, как «Литке» стал в севастопольский док, чтобы с самых первых шагов придирчиво следить за тем, как будут готовиться к походу котлы и машины. «Дед» получил свои подъемные и в течение долгих двух недель пересекал всю страну по железной дороге от Тихого океана к Черному морю не по капризу капитана, не по прихоти земляческого подбора. Маневр корабля во льдах зависит от опыта стармеха не в меньшей мере, чем от искусства навигаторов. Капитан может обрести сравнительное спокойствие только в том случае, если он уверен в своем старшем механике. А тот, в свою очередь, должен иметь полную уверенность, что корабельные машины будут слушаться его так же, как слушаются собственные руки и ноги.

Тихоокеанская тройка давно и надежно, как говорят моряки, «сплавалась» друг с другом. Деловые разговоры их всегда были кратки, состояли из одних терминов и междометий, понятных каждому из них без пространных расшифровок. И при этом все трое — и внешностью, и характерами — были совсем непохожи один на другого.

Сходство было в одном: все они были старыми моряками. Плавали по двадцать, по тридцать лет. Моложе остальных с виду был «дед». Он, похоже, только начинал пятый десяток, а капитану было уже за пятьдесят; может быть, даже и далеко за пятьдесят. Старший помощник, Владимир Михайлович Стехов, был где-то между ними: лет сорока пяти. Невысокий, плотный, он двигался по-морячки, враскачку, на кривоватых крепких ногах, почти не отрывая подошв от палубы. Глаза были хитрые, насмешливые. Старпом любил потравить вечерами в кают-компании, и всегда была у него про запас новая история, полная необычайных, поражающих воображение подробностей. То расскажет, как принимал розы у богатой пассажирки каюты в рейсе из Владивостока в Хакодате, то вспомнит, как во время зимовки во льдах на небольшом паровом баркасе умер от сердечного приступа второй помощник. Пробить толстый лед не удалось. Гроб поставили прямо на льдину. Год спустя этот гроб на льдине повстречали близ Командорских островов.

Стехов часто вспоминал свой владивостокский дом, жену, сына. И еще вспоминал, какой у него дома есть редкостный

стул — на четырех ножках из окаменелостей морского происхождения и не вполне пристойного свойства.

— Прибудем, зайдете в гости, сами посмотрите. Особенно интересно, когда на этих четырех ножках девицы сидят, ничего не подозревая,— от души хохоча, уверял Стехов.

«Дед» был худ, сух и неразговорчив. Заботы о корабельных машинах поглощали его без остатка. Как и Стехов, он простился со своим домом на полгода и, наверно, вспоминал его так же часто. Но не заговаривал об этом никогда. Порою мне казалось, что общению с живыми существами «дед» предпочитает свои молчаливые встречи с корабельными машинами. Те умеют рассказать ему о себе все, не прибегая к словам. Почти без слов обходился «дед» и в отношениях с машинистами и «дýхами» (так называли на паровых судах кочегаров, дочерна закопченных у корабельных топок).

Капитан был личностью куда более сложной и тонкой, чем оба его земляка. Несравненно более изысканно были сработаны и внешние его черты. Константин Александрович принадлежал к той, почти вымершей, породе старых морских офицеров, что описана в повестях и рассказах К. М. Станюковича. Он и первые шаги в своей морской жизни делал под началом тех самых людей, из чьей среды писатель выбирал своих героев; да и маршруты плаваний у него долго оставались теми же, что у них. Сан-Франциско, к примеру, он знал не хуже своего Владивостока. Не раз он ходил в кругосветки, и, пожалуй, не было на всем земном шаре мало-мальски приметного порта, где ему не случалось бы побывать. И на парусниках Дублицкий успел поплавать немалое время.

Высокий, представительный, он был красив без слащавости. Привычка к представительству оставила на нем печать особой морской светскости и даже некоторой барственности. Он свободно говорил по-английски, умел сговариваться с собеседником по-французски, а в случае особой нужды и по-немецки.

Ко всем людям, в том числе и к портовому начальству во время заходов корабля, наш капитан относился несколько свысока. Это начальство ему приходилось на каждой стоянке угощать в своей каюте. Подавались коньяк, виски с содовой, приготовленные нашим коком холодные закуски и, конечно, зернистая икра на льду. И мне запомнилось, как перед заходом в Сабанг — порт на острове Пуло-Вэй, у северной оконечности Суматры,— второй помощник доложил капитану, что икру уже всю съели.

Константин Александрович несколько секунд помолчал, пожевав пухлыми губами, потом пренебрежительно, без улыбки отозвался:

— Скажите баталеру, пусть откроет пару банок баклажанной. Только чтоб положил в хрустальную вазу. И конечно, со

льдом. Сойдет. Много ли они в зернистой икре понимают?..

И впрямь сошло.

В биографии Дублицкого были, однако, страницы, которые с его барственной пренебрежительностью не очень вязались.

Кажется, в 1920 году, когда во Владивостоке еще шла не на жизнь, а на смерть борьба с казачьими генералами, белогвардейскими офицерскими отрядами и японскими интервентами, захватчики пытались угнать из порта последние, немногие корабли. Один из этих кораблей, несший в порту ледокольную службу, был вопреки приказам перегнан командой на юг, в какой-то китайский порт, а затем в целости и сохранности тайно выведен оттуда и передан советской власти только что созданной Дальневосточной республики. Корабль этот был впоследствии превращен в канонерскую лодку. Он получил новое имя «Красный Октябрь» и открыл собою список судов советского Тихоокеанского военно-морского флота. Угон и возвращение корабля требовали решимости, отваги и — главное — ясного и трезвого выбора своего места в происходившей борьбе. Среди людей, игравших в той истории главную роль, называли и Константина Александровича Дублицкого. Свое место он определил тогда раз и навсегда. И оставался на этом месте самим собою. Свои годы он чувствовал. Возраст, наверно, уже утомлял его. И может быть, то, что я принимал за барственность, усугублялось именно утомлением.

Кроме троих дальневосточников, весь остальной экипаж корабля был набран уже на месте, в Севастополе, — из черноморцев.

В разных широтах по-разному воспитывались у людей и привычки. Это порою рождало странные, неожиданные конфликты.

Как-то раз, когда мы уже были в экваториальных водах, рядом с капитаном остановился у бортового планширя корабельный доктор. Океан в тот день был на редкость спокоен; даже малая зыбь не возмущала его похожую на полированный зеленоватый металл поверхность.

— Какая благодать! — позволил себе восхититься доктор, старый толстяк, не лишенный сентиментальности.

Капитан резко повернул к нему тяжелую, седеющую голову, низко посаженную на бычьей шее. С доктором они были ровесники и даже плавали однажды вместе на паруснике «Товарищ». Беседы их чаще всего успащались незлобивыми шутками, но на этот раз капитан откровенно рассердился.

— Не люблю, когда при мне хвалят погоду. Не терплю, доктор.— Он стал распаляться все пуще.— С барышней, когда в сквере сидите, пожалуйста. А в море, извините, не переношу.

Но перед выходом в море даже на ссоры не хватало времени.

Мы уже вышли из дока и стояли на рейде, напротив белой колоннады Графской пристани. За колоннадой начинался Приморский бульвар, с еще не проснувшейся слабой зеленью и первыми цветами на клумбах. У набережной поднимался из воды монумент в память кораблей, затопленных в этой бухте в дни Севастопольской обороны 1854—1855 годов. Монумент и похож был на обломок затонувшего у самого берега корабля. В аллеях бульвара белели голландки военных моряков и пестрели девичьи платья. Но мне было не до весенних примет: оказалось, что красить вентиляторы под неусыпным надзором Мити Золкина вовсе не такое простое дело.

— Как ты белила кладешь? — измывался он.— Тут у тебя старые пятна светят, а здесь наляпал ты краски чуть не полметра. Неужели ровненько положить не можешь? Тебе всей вахты и на один вентилятор не хватит. А про нескатанную палубу что́ я Августу скажу?

Служебные слова, не несущие смысловой нагрузки, я опускаю.

Что же до Августа Карта, то он был нашим боцманом. Эстонец, родом из Ленинграда, медлительный и дотошный, он говорил, словно ворочал во рту крупные, неподатливые камни. Сердясь, боцман никогда не повышал голоса, даже и ругался негромко, но зато необычайно затейливо и длинно,— крыл во весь такелаж и корабельные переборки, в сонмы херувимов и в святейший синод. Оттененное жестким акцентом, каждое слово боцманского загиба звучало с особенно обидной отчетливостью.

Но на этот раз Митя опасался Августа напрасно.

На корабле все шло своим чередом, и, чтобы скатить палубу, явился в положенное время Степан Байраченко.

Он разделся до пояса, открывая любопытным взглядам часть надписей и рисунков, наколотых разноцветной тушью и покрывающих, как говорили, все его небольшое загорелое, мускулистое тело. Через всю грудь четкие печатные буквы: «Вѣчный удѣлъ моряка искать счастье и не находить его». И дата: «1916 годъ, Кронштадтъ». От него самого я знал уже, что ему тогда было двадцать лет (следовательно, теперь — тридцать три) и что он служил на балтийском крейсере. На правом его предплечье — заповедь, уже по новому правописанию: «На море ходи по ветру, на людях живи как человек». Вокруг надписей — затейливые изображения. Черный степной орел шевелит крыльями, когда Байраченко напрягает бицепсы. Красная пагода высится средь зеленых пальм. И между цветами, сказочными животными, рыбами и драконами — множество женских имен: «Зина Т.», «Нюрочка», «Маргоша»... Ребята, изучившие кожу Байраченко, как картинную галерею,

уверяют, что если он разденется вовсе, то можно помереть со смеху: откроются у него в тайных местах такие фигурки, что стоит Степе поиграть мышцами, и они способны изобразить черт-те что. Но, чтобы увидеть это своими глазами, придется ждать до тропиков. Сейчас Байраченко хмуро орудует шлангом, норовя обдать сильной струей каждого, кто попадется ему на пути.

— Поаккуратнее,— усовещивает его Митя.— Не видишь, с вентилятора краску смоешь.

Байраченко уходит. Митя сам драит следом за ним свежескатанную палубу, а я успеваю управиться с вентилятором к той самой минуте, когда матрос первого класса Федор Иванович Чумак отбивает двойным ударом склянки, возвещающие конец нашей вахты.

Федор Иванович за те немногие дни, что я его знаю, успел прочно занять в моей жизни большое и важное место. Я изо всех сил стараюсь, чтобы он оставался мною доволен. И вместе с тем никогда еще не испытал с ним той неловкости, какую привык чувствовать, общаясь с пожилыми людьми, то есть с теми, кому уже за тридцать. А ведь Чумак гораздо старше: ему уже много больше сорока лет. Легкость отношений возникает из-за его неизменной естественности, непринужденной обстоятельности, прирожденной, исполненной внутреннего такта общительности. Не лихой Байраченко, даже не наставляющий меня Митя Золкин, а именно он, Федор Иванович, сразу стал для меня образцом настоящего моряка, хоть никакой лихости нет у него и в помине, о приключениях он никогда не распространяется и на всем его огромном и сильном теле нет ни следа татуировки.

Седая щетина его густо пересыпана морской солью и блестит на багровом лице.

По корабельной палубе этот грузный человек движется, едва касаясь палубных досок. Он ступает на носки, как балерина. Наверно, эта воздушная походка выработалась у Федора Ивановича потому, что он многие годы был водолазом, привык к пудовому снаряжению, теряющему на глубине свой вес, привык ходить по морскому дну, преодолевая сопротивление плотной массы морской воды; а теперь здесь, на палубе, непривычно чувствует себя почти невесомым.

Федор Иванович первым отыскал близ Севастополя останки «Черного принца». Это он, бродя по затопленным корабельным помещениям, нашел и принес на поверхность первую (она же оказалась и предпоследней) английскую монету, разрушив долголетнюю алчную мечту кладоискателей о похороненных в море золотых сокровищах британской казны.

Выпало Федору Чумаку начинать под водою закладку знаменитого туапсинского мола,

Однажды я ненароком услышал, как он, стоя у борта, тихонько напевает украинскую песню:

Казав менi батько:
В море не ходи,
Сиди, синку, вдома,
Хозяйство гляди...

Слышал я со стороны и одну из его бесед со Степой Байраченко.

А с Байраченко, о чем ни заговори, он непременно через несколько фраз перейдет на предмет, к которому постоянно обращены едва ли не все его мысли. О чем бы ни зашел разговор, Степа всякий раз принимается толковать о «чюдачьках». Так, на одесский манер выговаривая слово, называет он мимолетных подруг, к которым его неодолимо влечет, когда корабль приближается к земле и у матросов появляется нетерпеливое ожидание скорого выхода на берег. Реже упоминает он в своих рассказах другую разновидность того же пола. Но если упоминает, то сдержанно, со смешанным чувством любопытства и уважения. Этой второй разновидностью являются, по его терминологии, «женьшины».

О «чюдачьках» своих Байраченко повествует охотно, не пренебрегая подробностями. Эпитеты, к которым он в этих случаях прибегает, разнообразны, но превосходную степень всегда выражают слова: «горячая была». О «женьшинах» Степан говорит скупо, вспоминает как бы с опаской; тут подробности отсутствуют, а превосходная степень имеет совершенно иное определение: «самостоятельная». Из рассказов видно, что с такими «самостоятельными» Байраченко прощался без охоты; чаще, быть может, даже и не по собственной воле. «Женьшины» сами уходили от него; импульсам могли подчиняться «чюдачьки», а «женьшинам» Степан должен был казаться чересчур ненадежным. А он-то, повстречавшись с «самостоятельной женьшиной», чувствовал себя с нею как за каменной стеной; уверенность эта привлекала его, но в конце концов привычка к холостяцкой, казацки-независимой жизни пересиливала, брала верх; он пугался — как бы не присохнуть надолго, через силу отрывался и исчезал. Если же случится когда-нибудь Степану остепениться, бросить якорь, то причиной тому непременно будет не «чюдачька», а именно «женьшина», не порыв страсти, но спрятанное где-то глубоко под татуированной кожей врожденное крестьянское стремление к обстоятельности, к устойчивой прочности жизненного уклада, уступившее искусственной, наносной позе.

Может, потому и тянуло его к беседам с Чумаком. Может, это подспудное и сближало двоих, таких непохожих людей.

Федор Иванович Чумак не только слушал байраченковские байки, но и сам объяснял степенно, что он, мол, тоже парубковал до тридцати пяти лет, но вот уже десять лет как женился и барышню свою,— так он неизменно говорил о жене,— оставил на хозяйстве, в селе Мошны.

— Это у Канева, над Днепром, красивое наше село, — говорил он, добавляя с завистью: — Теперь там уже, наверно, сеять кончают...

И могучее тело его как-то само разминалось, будто вспоминая и повторяя движения, память о которых не могли вышибить годы работы в водолазном скафандре и в матросской робе.

Мне странно это слышать, но Байраченко охотно подхватывает разговор, начатый Чумаком.

Он тоже хвалит свою станицу («По всей Кубани лучше нашей Троицкой нет»), и оба они, распаляясь, перебивая друг друга, споря, вспоминают, как узнавать весною, готова ли почва принять зерно, потом переходят на то, как откармливать свинью к пасхе и как лучше колоть ее: ударом под сердце или же в горло; и потом Чумак хвастает, какие в днепровских старицах ловятся крупные сомы, а Байраченко уверяет, что нет реки, какая превзошла бы Кубань обилием крупной и сладкой рыбы...

Интересы Федора Ивановича Чумака так же неожиданны, как легкость, с какою он преодолевает палубы и трапы.

Когда корабль еще находился в доке, накануне первого нашего свободного воскресенья, он сообщил:

— Завтра поеду в одно местечко. Подумать только: две тыщи лет назад люди там жили, ничего от них не осталось, весь город под землю ушел, а теперь снова его на свет выкопали, и можно смотреть. Интересно же...

Я попросился ехать вместе, до окраины Севастополя нас довез игрушечный трамвайный вагончик, потом мы немного прошли и увидели небольшие плакаты на деревянных столбах:

В ХЕРСОНЕСЕ ТАВРИЧЕСКОМ КУПАТЬСЯ ВОСПРЕЩЕНО
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ХОДИТЬ ПО СТАРЫМ СТЕНАМ.
ТРОГАТЬ СТАРЫЕ КАМНИ.
ЕЗДИТЬ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Под лопатой археолога от Херсонеса отступила скрывавшая его веками земля, обнаруживая стены одноэтажных строений, рухнувшие колонны храмов, очертанья дворов, следы скученной жизни, надгробья, отбросы, намусоренные людьми. Под стеклом музейной витрины можно было увидеть хлеб, обугленный в каком-то древнем пожаре, стеклянные и бронзовые безделки, монеты со стертыми лицами правителей, выбитую на мраморе переписку местного управления с римской курией о налоге с публичных домов, амфоры для вина и зерна, светильники с такими же наивно-непристойными изображениями,

как татуировка на теле матроса Байраченко. Камни сохраняли высокий слог манифестов и память о хитроумных уловках торгашей, бежавших от уплаты податей. Слова об объявленных войнах и о заключенных затем — на вечные времена — мирных договорах. Хвалу умершим и угрозы живым.

Камни обнаруживали следы мастерских и храмов, монетного двора и бани, жилья и лавок.

Несравненная дуга замкнутого залива — Прекрасной Гавани древних, называвшейся потом Ак-Мечетью,— была неподалеку, и можно было представить, как роняли там паруса корабли, пришедшие от берегов Фригии и Эллады.

Просторы моря и степи, наверно, и тогда, как теперь, пахли разогретыми солонцами и чабрецом, и в это душистое приволье контрастно вписывались скученность и замусоренность человеческого жилья, откопанного археологами.

На одной из расчищенных мраморных плит высечены слова присяги, приносимой каждым совершеннолетним херсонаситом:

«Клянусь Зевсом, Землею, Солнцем, Девой, богами и богинями олимнийскими и именами героев, что владеют Городом и землей и крепостями херсонаситов. Буду я блюсти благосостояние и свободу Города и граждан и не предам ни Херсонеса, ни Керкинитиды, ни Прекрасной Гавани, ни других крепостей, ни других земель, которыми херсонаситы владели и владеют,— ничего никому: ни эллину, ни варвару, но хранить буду для народа херсонаситов...

...и дара не дам и не приму, что повредил бы городу и гражданам...

...и хлеба, вывезенного с Равнины, не продам и не вывезу в другой город, но только лишь в Херсонес...

...Зевс и Земля и Солнце и олимпийские боги, если сдержу я клятву, да принесут благо мне и роду моему и близким моим, а не сдержу,— зло да будет мне и роду моему и близким моим, и да не принесет мне плода ни Земля, ни Море, и да женщины не рождают мне прекрасных детей».

Высечена на мраморной стеле купчая на земельный участок.

На надгробьях, открываемых снова и снова,—надписи:

«Лаодику, дочь Тита Флавия Аполлона, сына Тита Флавия Аристона, Тит Флавий Аристон свою внучку и Тит Флавий Аттина сестру свою, почтили этим надгробьем за собственные средства».

«Душам погибших. Аврелий Виктор, солдат I италийского легиона жил XXXVI лет. Воинскую службу нес XVIII. Валерия Мерца, супруга его, и дочь Валерия Бесса, ему достойному воздвигли».

«Сопол, сын Сириона, прощай».

Эллины и римляне обрели мир в соседних могилах, далеко от родной земли.

Федор Иванович Чумак спросил:

— А ты что пишешь?

— Записываю, чтоб не забыть. Интересно.

— Так и я ж говорил: интересно. А вот еще две тыщи лет пройдут, что про нас запишут?

К самому берегу Херсонеса подходила пустынная степь, уже разогретая апрельским солнцем, уже волнующе душистая, хотя молодые травы только-только пробились и зазеленели.

Через неделю я отправился туда снова. Корабль вышел из дока и стал к причальной стенке. Когда я вернулся из Херсонеса, несмотря на воскресенье, заканчивалась погрузка. Палубы над заполненными угольными трюмами были черны; я появился в самую пору: Август объявил всей палубной команде аврал на уборку. Тем временем сам он вместе с Митей принимал в приготовленные на корме клетки полдюжины живых свиней. Те упирались и ступали на корабль с пронзительным плачем и визгом, будто укоряя матросов за то, что они не собираются обходиться в походе одними консервами. Под шутки команды грузчики вносили ящики с бутылками: в трюмах каждый будет получать к обеду стакан красного вина; в день полбутылки на человека, эта пайка заведена со времен парусного флота — для предупреждения желудочных заболеваний.

— А нельзя раз в неделю всю порцию разом?

Это, конечно, голос Степы Байраченко.

Завтрашним утром назначен выход в Южную бухту, на уничтожение девиации компасов. Послезавтра — в море.

Заглядывая в штурманскую рубку, как во внезапно открывшееся мне святилище, я снова и снова прочитывал названья на корешках толстых книг в синих, красных, желтых переплетах: лоции морей, по которым нам предстояло пройти. За Черным — Мраморное и Эгейское. Потом Средиземное, Красное, Аравийское, Индийский океан. Дальше — Тихий, или Великий. Южно-Китайское, Желтое, Восточно-Китайское, Японское, Охотское моря... Каждое название можно было пробовать на язык. Томами лоций уставлена была длинная полка.

Нам следовало торопиться, чтобы поспеть в высокие широты к тому времени, когда льды откроют дорогу к острову Врангеля.

Мы знали, что положение там становится все труднее. Радиостанция в поселке вышла из строя, и у зимовщиков прекратилась всякая связь с землей. Несколько недель тому назад эскимосы доставили собачьей упряжкой с Врангеля на материк заболевшего доктора, и он сообщил из Уэлена, что на зимовье кончаются продукты.

В радиограмме еще говорилось, что на острове родились трое детей. Кажется, в семьях эскимосов-колонистов, которых переселил с материка начальник острова Георгий Алексеевич Ушаков.

В весеннем Севастополе далекая и трудная жизнь покрытой снегом и льдом земли все больше становилась частью собственной нашей жизни.

Хотя представления наши были весьма умозрительны.

Мы знали, что лед у берега держится там примерно до 22 августа. Потом его отгоняет, и море остается чистым до середины октября. Бухта Роджерса бывает свободна ото льда до начала ноября. За это короткое время нужно успеть прийти, сделать все и уйти обратно.

Летом на Врангеле температура колеблется от плюс девятнадцати до минус четырнадцати по Реомюру. Зимой же нередки морозы до шестидесяти четырех градусов. Это тоже по Реомюру. (К Цельсию тогда еще не привыкли. Метрические меры, а с ними и Цельсиевы термометры, были только что введены.) Домики станции пурга заносит по самую крышу. Ночь длится два месяца. Сейчас она уже кончилась. Зимовщики охотятся на уток, питаются дичью и мясом добытого морского зверя. Однако промысел вести трудно.

Все это мы уже знали.

Но представить себе, какова эта жизнь в своих повседневных, будничных формах, никто из нас, конечно, не умел.

Может быть, капитан, старпом и «дед», которым случалось бывать в подобных местах, представляли себе это яснее и потому так торопились сейчас выходить в море. А мы не умели. Встреча с белым медведем — вот что казалось нам самым опасным. Изжелта-белый медведь, поднявшись на задние лапы, идет на тебя. Это мне даже снилось на корабельной койке.

Почти десяток лет спустя я слушал рассказ Эрнеста Кренкеля о первой зимовке на дрейфующей льдине после высадки на Северный полюс. Ему наперебой задавали вопросы, он отвечал охотно, подробно, еще не пресытившись, с умной и памятливой наблюдательностью.

Кто-то спросил:

— А что было тяжелее всего?

Мгновенный ответ на этот вопрос был совершенно неожиданным, и я его навсегда запомнил.

— Нас было четверо,— сказал Кренкель.— Друг друга мы успели узнать как облупленных. Все переговорено. Завести разговор трудно. Сидим, молчим. И я уже знаю, про что каждый молчит. Вот это и было самое тяжелое.

А ведь и белые медведи приходили, и льдины трескались, и запасы заливало водой,— чего только там не было. Но то, о чем никто не догадался бы и подумать, чего нельзя было

вообразить, не похлебав самому,— эта обрыдлость переговоренного десятки раз, она и в самом деле должна быть самой нелегкой.

Капитан наш думал о более материальных вещах. О том, что на острове трое грудных детей и что жизнь всех зимовщиков, и больших и малых, зависит от того, как скоро будут туда доставлены мука, бекон и овощи. Он думал, что, если не выйти из Владивостока в начале июля, можно и на этот раз не пробиться к бухте Роджерса.

Дублицкий торопил ремонтников, грузчиков, команду.

Он снова и снова радировал на Дальний Восток, требуя, чтобы для ледореза был заблаговременно заготовлен уголь — в Петропавловске-Камчатском, в бухте Провидения и в Уэлене.

Его заверяли, что все распоряжения отданы.

Он ворчал:

— Знаю я, как там ваши распоряжения выполняют.

И радировал снова.

Заходов в порты по маршруту нам предстояло немного.

И все они были сокращены до последней крайности. В Стамбуле — сутки. В Порт-Саиде — пока пропустят в Суэц. Ни часу больше. Значит, тоже день, может быть, два, не больше. Аден, Коломбо,—то ли зайдем, то ли нет, еще неизвестно. «Постараемся, чтоб не заходить»,— сказал капитан кочегару Утятникову, председателю судкома. «Ваше дело объяснить». И все мы поняли, что не видать нам Коломбо как своих ушей. А первая большая стоянка будет в Сабанге.

— Зайдем дня на четыре, меньше не управиться. Уголь там корзинами носят, погрузка вручную, — объяснил всезнающий Митя Золкин.— А что в том Сабанге делать? На берег голландцы все равно не выпустят, это точно, два раза мне уж приходилось. Да хоть бы и выпустили,— городишко хилый, желтая лихорадка, и ничего больше, даже пива приличного нет...

Я отыскал Сабанг на карте.

Маленькая точка к северу от Суматры. Крохотный островок, и на нем — якорьком у черного кружка — обозначен порт.

На открытках у Женьки Лебедева был и Сабанг.

Пальмы, согнутые до самой земли сильным ветром, вытянувшиеся вдоль береговой полосы. Пальмы на улице, над небольшими, но затейливыми домами, выкрашенными в темно-коричневый цвет. Уголок порта: два-три парохода, серебристые цистерны на берегу. Такие же серебристые, рифленые крыши складов. И опять — пальмы.

Сперва только это мне и вспомнилось.

Потом обожгло: ведь это та самая «Голландская Индия», о которой читал я у Джозефа Конрада и Мультатули. И мне стали мерещиться коралловые атоллы, бешеные припадки амока, плевки красной — от бетеля — слюны, острые крисы малай-

цев за поясами полосатых саронгов. «Сабанг,— повторял я про себя,— мы выйдем в море и после долгого пути под невиданными прежде звездами придем в Сабанг. . .»

Последняя перед Владивостоком стоянка: неделя в Килунге.

Где же этот Килунг?

Он отыскался там, где дорога на карте уже начинает подниматься кверху, заворачивая к заветному правому углу. У поворота лежит тот самый остров, при виде которого, выйдя из многодневных бурь, трепавших корабли в океане, португальские мореплаватели, одними из первых обходившие тогда вокруг света, восхищенно вскричали:

— Терра Формоза!

— Прекрасная, благословенная земля!

Приветливым, цветущим и дружелюбным открылся им неизвестный остров. Хозяевами его оказались китайцы. Остров давно был окрещен ими; название скользило в голосовых связках легко и непонятно, как птичий голос: «Таивань, таи-вань. . .» Европейцы не обременяли себя запоминанием чужих слов. Для них остров так и остался Формозой. Этим именем продолжали называть его и голландцы, захватившие остров в 1624 году и считавшие его своим на протяжении нескольких десятков лет. Потом туда возвратились китайцы, и остров снова стал зваться Тайванем. В ту пору, когда мы собирались выходить из Севастополя во Владивосток, остров этот уже три десятка лет был японской колонией, а на всех европейских картах по-прежнему именовался Формозой.

«Кирун»,— не умея произнести букву «л», выговаривали тогдашние хозяева названье Килунга. Там он, Килунг,—на Формозе. И мы зайдем туда под конец первого нашего перехода и простоим в Килунге неделю.

— На берег там наших пускают,— пообещал Митя Золкин.— Японцы везде пускают. Только шпионят за каждым. По пятам ходят. А вот не помню: был я в Килунге ай не был? Вроде, кажется, был. Маленький вроде портишко. Ничего особенного. . .

И вот уже последний севастопольский вечер.

Открытые вагончики древнего, невсамделишного трамвая. Голоса газетчиков, только что получивших в типографии пачки помеченной завтрашним числом газеты «Маяк».

— «Маячок» на завтра! — выкликают мальчишки.— «Федор Литке» уходит на остров Врангеля! Пожар на Корабельной стороне! Ужасный пожар на Корабельной стороне! А ну, навались! «Маячок» на завтра! . .

А нас завтра здесь уже не будет.

В последний раз можно поглядеть от Графской пристани на севастопольский рейд. От крейсера «Червона Украина»

отваливает баркас с увольняющимися на берег матросами. Маленькие солнца вспыхивают у одновременно рассекающих воду весел. Вдалеке, в Северной бухте, на корабельном кладбище, видны два больших старых корабля, давным-давно списанных на слом и уже годами дожидающихся своего смертного часа. Военные моряки прозвали их: «пятнадцать боевых единиц». Но когда-то их имена произносились с уважением, — это «Три апостола» и «Двенадцать святителей», военные корабли, с доброй боевой славой.

На рейде пустовато.

Чайки кричат, охотясь за рыбой.

«Торгаши» сюда не заходят. Только поднятые паруса трехмачтового брига «Кодор» маячат на горизонте и вертятся в ожидании курортников свежевыкрашенные ялики с завлекательными именами: «Красотка морей», «Джалита», «Надежда моряка»... Еще рыбачьи дубки видны на спокойной воде, и от Евпатории заворачивает к причалу небольшой пассажирский пароход.

До чего же красив — белый на густой синеве — наш «Федор Литке»!

Не к лицу ему мужское имя. Недаром в английском языке, где почти все имена неодушевленных предметов принадлежат к среднему роду, для корабля сделано исключение. Корабль — это слово женского рода. Тем самым он не только причисляется к прекрасному полу, но и как бы одушевляется. Наш «Литке» кажется мне невестой в утро венчания. И вентиляторы, едва различимые с берега, кажутся мне особенно белыми, ослепительно белыми, заглядеться можно.

## 4

Выход на девиацию — на последнюю перед походом проверку компасов — ознаменовался неожиданным приключением. На корабль не явился с берега третий помощник.

В суматохе последних дней я не успел его разглядеть. Кажется, плотный, коренастый мужик, с виду спокойный, ровный. С матросами только о дисциплине и говорил. Даже примерному Мите от него доставалось. Что же с ним могло приключиться? Говорят, его уже дня три не было видно.

Матросы-севастопольцы ухмылялись: да ничего особенного и нет. Прощался и не проспался. Как-никак дом у него свой на берегу. Друзей хватает. Адрес известен, сбегаем и приведем...

Но капитан вышел из себя. Он сказал, что в таком походе безответственные люди ему не нужны. Разговоры излишни, точка.

Все же заступники ходили к нему, к старпому, ручались, что в море ничего такого с ним никогда не бывает, что моряк

он — каких поискать, но никакие слова не помогали. Стехов, старпом, сказал, что, случись такое во Владивостоке, там бы он разобрался быстро и знал бы, что решать. Всех мореходов до самого донышка знает. А тут — еще никого сам на рюмку не проверял и ничьим словам не поверит. Раз человек умудрился подвести в последние часы перед выходом в море,— значит, положиться на него нельзя.

Закончил по-капитански: разговоры излишни, точка.

Третий помощник был списан, и замену ему следовало находить без промедления, в оставшиеся вечерние часы.

Так появился на нашем корабле Шера.

Это было прозвище, прочно прилепившееся к крохотному старому человеку в поношенном морском кителе, свободно болтавшемся на его тощей фигурке. Кто-то в незапамятные времена произвел это прозвище от французского «шер ами» — милый друг. Словечко-то было его собственное. Так он привык ко всем обращаться. А по-настоящему звали его Баласогло. Александр Александрович Баласогло, ветеран-мореплаватель из балаклавских греков. «Старый моряк, всю соленую воду выпил»,— сказал про него прыщавый иронический паренек, который покуривал у кадки, вкопанной в землю перед зданием управления порта. Нашему старпому Шера подвернулся случайно, в уже опустевшем к вечеру управлении. Среди нескольких других таких же он наведывался туда по привычке, в поисках работенки, но без надежды на удачу, потому что в жизни ему никогда не везло, а теперь, когда он постарел, и подавно. У него было звание капитана каботажного плавания, год назад он водил катерок на линии Одесса — Дофиновка, но катер списали за полной негодностью, а заодно списали и капитана, и он возвратился в Севастополь, к жене и двум дочерям, которых надо было кормить.

Так, ничего не ожидая, завернул он в порт и на этот раз, и надо же — подвернулся в то самое время, когда там бушевал Стехов, а никого мало-мальски подходящего на виду не было.

— Вот Баласогло,— нерешительно сказал управленец.— Что-что, а работящий. Может, не шибко грамотный, это, конечно, есть. Да не велика же и птица — третий. Много ли ему грамоты нужно? Ты, Шера, не обижайся, сам знаешь, дело говорю, и тебе же на пользу.— Он снова повернулся к Стехову: — Грамотеев вам и без него хватит. А этот, по крайней мере, не подведет. И характер невредный.

Так рассказывал потом Яша Утятников, ходивший со Стеховым. Может, было и по-другому. Но только Шера очутился у нас.

Дочки пришли вместе с ним на корабль, все еще не веря, что отец в самом деле уходит на рассвете в долгое и дальнее плаванье — «в Японию». Так они почему-то говорили.

А возможно и сам Шера не разобрался еще толком, куда лежит его путь. Слишком неожиданно свалилась на него эта удача.

Впрочем, о существовании Чукотки, а тем более острова Врангеля он мог ничего и не знать. Скорее всего, старпом уговаривался с ним только до Владивостока, с тем чтобы там заменить Шеру кем-нибудь понадежнее, из моряков, с которыми ему уже приходилось ходить.

Дочки робко заглянули в отцовскую каюту, еще не обжитую, с нераскрытым фанерным чемоданчиком посредине, с наспех брошенным на спинку кресла выгорелым прорезиненным плащом. Потом, осмелев, они скользнули в верхний салон,— обе тихие, востроносенькие, отмеченные тем же невытравимым привычным неблагополучием, что и отец. Старшая выглядела лет на двадцать шесть, другая — чуть помоложе. Но уже печать безнадежного стародевичества лежала на тусклых лицах обеих.

Увидев в салоне пианино красного дерева, младшая подсела к инструменту и, аккомпанируя себе одною рукой, тихонько запела есенинское «Письмо к матери». Тогда его везде пели. Шера украдкой наблюдал за присутствующими: «Какова, а?!»

— Что же вам привезти, девочки? — спросил он с жалкой, деланной бодростью, когда дочь доиграла и поднялась с принайтовленной табуретки.

— Платочек,— сказала младшая.

— Шаль привези,— сказала вторая.— В Японии есть хорошие.

Они по очереди клюнули отца в лоб и собрались на берег.

— Мать берегите,— сказал Шера.

Он поднял желтую сморщенную ручку не то, чтобы погладить дочерей, не то, чтобы перекрестить их на прощанье, да так и опустил, не сделав ни того, ни другого.

Вскоре я столкнулся на спардеке с Митей Золкиным, начиненным последними новостями. Он успел узнать составленное старпомом, но еще не объявленное вахтенное расписание.

— Так тебе и надо, салага,— злорадствовал он.— Тебе — наука. Ну а мне-то за что? Стоим мы с тобой собачью вахту, а начальником у нас самый бравый моряк. Новенький. Третий.

«Собачьей» зовется вахта с двенадцати до четырех. Днем она приходится на самое пекло. В тропиках это особенно дает себя знать. Ну, а ночью — стой, когда больше всего спать хочется.

— Ты еще моря не хлебал. Тебе, салаге, полезно. А мне пора бы пожить поспокойнее.

Митю утешало лишь то, что ту же вахту стоит вместе с нами и Федор Иванович Чумак.

— Иваныч порядок знает. С ним Август не подкопается. Можно жить спокойно, не пропадем...

На рассвете захлопотали «духи», адовы служители, корабельные кочегары. Послышался дробный мерный перестук работающих машин. Задрожали переборки, заиграли на подволоке отсветы воды и солнца. На лаг начали наматываться первые мили из тех пятнадцати тысяч, что отделяли «Федора Литке» от арктических льдов.

Наутро наступившего дня мы не увидели берега.

Корабль шел в открытое море. Он лег на курс к Босфору, а сутки спустя, ночью, замерцал в тумане огонь маяка, потом туман внезапно растаял, и открылись рыбачьи фелюги под парусами, плотно набитый людьми морской трамвайчик-ширкет, который перевозил пассажиров с азиатского берега на берег Европы, большие и малые пароходы с разноязычными именами, приписанные к портам обоих полушарий земли. И тут же у самой воды показались глинобитные хижины турецких селений, которые как бы раздваивались по обоим берегам: если на одном были Кава́ки-Анатоли́, то есть Каваки азиатские, то на другом берегу стояли точно такие же Кава́ки-Румели́, что означало — европейские Каваки. И даже развалины средневековых крепостей словно отражались в зеркале: Анатоли́-Гисса́р, а напротив — ровно настолько же разрушенная временем Румели́-Гиссар...

Четыре флага были подняты теперь на нашем корабле: кроме государственного, мы отдавали честь Стамбулу турецким флагом; желтый показывал, что мы еще не прошли карантин; четвертый свидетельствовал, что капитан вызвал лоцмана, чтобы, соблюдая морской порядок, пройти через Босфор в Золотой Рог. Лоцмана мы приняли, на минуту застопорив ход и опустив трап навстречу лихо подлетевшему катерку. Тут же машины заработали снова в полную силу, а полчаса спустя корабль отдал якорь напротив полускрытого зеленой лавровишневой зарослью и раскидистыми верхушками пиний белого султанского дворца Долма́-Бахче́.

Здесь надлежало пройти все формальности, прежде чем нас поведут в Золотой Рог и выпустят на берег.

Ледорез наш был уже плотно окружен крикливым плавучим базаром на каяках, с которых протягивались настойчивые руки к ступенькам спущенных к воде трапов, на нижние палубы и в открытые иллюминаторы нижних кают. Торговцы предлагали пачки сигарет и бритвенных лезвий, дешевые мундштуки и пестрые шали, уличные сласти и фрукты, развернутые веерами глянцевитые открытки с видами города и изображениями раздетых красоток. Холодный сапожник, зачалив свой каяк за ступеньку трапа, успел расположиться на полубаке и уже принялся за работу. И конечно, первыми появились на судне менялы. Первыми они встречали потом матросов и на берегу.

— Ты не спеши,— степенно наставлял бывалый Митя.— Кто вперед всех пробился, тот непременно мошенник. Ты пока погоди.

А когда мы бросили якорь в Золотом Роге и шлюпки свезли нас на берег, он завел меня в какую-то уже известную ему лавчонку на ближней улице и там, у чинного старика в пенсне и с пегой бородкой, мы выменяли несколько мятых турецких кредиток и пригоршню мелочи, с которой можно было передвигаться по городу.

Город, как и первые увиденные нами деревушки, тоже лежал на двух материках, разделенный Босфором. Европейскую часть, в свою очередь, делил надвое Золотой Рог. Чтобы перейти из современных кварталов в старую Галату по Новому мосту, надо было по средневековому обычаю уплатить медный гуруш сборщику, сидящему в будке. Не то акцизный, не то полицейский, одетый в неизвестную нам униформу, принял наши монетки, пересчитав проходящих. Тем временем рядом остановились большой светлый мерседес и закрытая карета в пароконной упряжке. Легкие занавески на окошках черной кареты были откинуты, и за ними виднелись лица двух турчанок — пожилой и молоденькой — в черных же платьях и шалях. Шофер и кучер протянули в будку по десять гурушей — с экипажей пóдать больше, чем с пешеходов,— и одновременно тронулись по длинному, неширокому мосту.

После людной, но узкой Гран рю дю Перá, с обеих сторон стиснутой выстроенными в начале века домами в пять — семь этажей, со множеством расположенных вдоль тротуаров магазинов, лавчонок, кофеен с яркими разноязычными рекламами в витринах Галата раскидывалась привольно. Азиатские дома выходили к улицам сплошными глухими и слепыми стенами; только на вторых этажах были окна, всегда занавешенные и защищенные от жаркого света полосатыми навесами и пестрыми жалюзи.

Вдали показались минареты и купола, и, когда мы к ним направились, я уже — по множеству виденных фотографий и читанных описаний — знал, куда они меня приведут.

Нет, наверно, не следует упрекать тех, кто начинает знакомство с городом, устремляясь к его знаменитым камням.

Они сами к себе приводят.

Разве не к тому и стремились зодчие, воздвигая эти здания, сохранившие славу в веках?

Попробуй обойди в лугах, в чистом поле, не услышь, как зовет к себе церковь Покрова на Нерли.

Но там свой магнит: чистота, ясность форм, светлая легкость. Это красота без гордыни, может быть, самая покоряющая, влюбляющая в себя красота.

У Софии Константинопольской — тоже свое, и совсем другое; она поражает величественностью, царственной пышностью, мощью.

К ней и пошли мы, перейдя за гуруш по Новому мосту, в Галату.

Знаменитая площадь оказалась пыльной. Молодые листья на деревьях скверика успели пожухнуть, скорежиться. Может быть, это оттого, что здесь недавно сильно горело, — пожарище у самого сквера казалось совсем свежим,— выгорело там дома четыре, и чем ближе к деревьям, тем сильнее горело; даже стены не устояли, рухнули на почерневшую землю. Ничего еще не было прибрано. Наверно, даже и погорельцы не так давно унесли отсюда свои уцелевшие вещи.

На всех изображениях эта площадь представала обычно в самом парадном виде. Нельзя было увидеть не только замусоренного пожарища, но и тех небольших убогих домов, которые стояли тут прежде, а теперь были уничтожены пламенем. Именно мелкие подробности, которых не ожидал здесь найти,— обугленные стены, нищий у сквера, драка воробьев на мостовой, кучка людей у трамвайной остановки, беседа двух женщин с кошелками — делали главное живым, вписывали его в веками текущую жизнь. Не на Айя-Софию смотрел я сперва, а на здание, открывшееся невдалеке от пожарища и тоже показавшееся удивительно знакомым, хотя ни на одной из фотографий здания этого не было видно. Знакомо оно было по простой причине: в любом большом европейском городе можно встретить такие домищи — с претензией на представительную величественность. Иногда это банк, а иногда военный штаб,— серый гранит, черная мраморная облицовка по первым двум этажам; стремление к пышности отяжеляет портики и колонны, придает облику здания безликую респектабельность фрака на официальном приеме. Такие фасады знакомы каждому, кто проходил в Москве по Ильинке, в Вене — по Пратеру, в Милане — мимо банкирских контор и пароходных компаний, в Харькове — по Сумской, мимо треста «Донуголь» и домов страховых обществ. Здесь, в Стамбуле, у колонн здания, поднимавшегося за сквером, выхаживали друг другу навстречу, расходясь и снова встречаясь, два солдата с винтовками, черные как жуки. По караулу можно было догадываться, что в здании помещается какое-то высокое военное учреждение.

Лишь привыкнув к площади, к ее несуматошной жизни, не остановленной фотографическим кадром, я снова взглянул на Айя-Софию и уже больше не мог отвести глаз.

Чуть ли не четырнадцать веков назад было сказано старым историком и поэтом, что храм этот парит над Константиновым городом, как корабль над морем. И так оно виделось и теперь, с площадей и улиц Стамбула. Не зря именно кораблем

называлась в византийских храмах их центральная часть, где собирались верующие. А парусами звались взнесенные над нею перекрытия куполов, как бы набравшие ветра в свои округлые формы.

С детства я знал младшую сестру этой Софии — Софию Киевскую.

Третью сестру, Софию Новгородскую, мне случилось узнать через несколько лет после посещения Стамбула.

Внешнее сходство между ними поначалу, несомненно, было. Но по прошествии веков оно улавливалось с трудом.

Творение Анфимия из Тралл и Исидора из Милета, завершенное в 537 году нашей эры и через полтысячелетия вдохновившее киевских и новгородских строителей, перестраивалось с тех пор много раз. Ранние перестройки производились с заботой и тщанием, как это было в X веке, когда армянский зодчий Трдат восстанавливал рухнувший во время катастрофического землетрясения купол собора. Но после того, как в XV веке Византийскую империю поглотили нахлынувшие из Малой Азии оттоманские турки, новые хозяева стали утверждать в старых храмах символы своей веры. Пышно украшенные византийские храмы были не только чужды, но и враждебны суровой пастушеской вере, возникшей среди раскаленных песков, в оазисах малоазиатских пустынь. Догматы этой веры аскетичны и нетерпимы ко всякому инакомыслию, как всякие, впрочем, догматы. Рай этой веры отдален и зыбок, словно мираж водоема и рощи, возникающий перед караваном, долго идущим по пустынной тропе. Главная примета этого рая — обещанье прохлады; древесная тень и проточная, свежая вода. О гуриях и яствах в коране сказано также, однако без того вожделения, каким исполнены слова о воде и прохладе. Зато если пророк обещает в будущей жизни воду и неверным, то он имеет в виду лишь кипяток. А если суждено неверным увидеть на том свете деревья, то лишь такие, что не дают тени.

Читая коран, изданный у нас не так давно в переводе академика И. Ю. Крачковского, блистательнейшего из русских арабистов, я нашел в суре, озаглавленной «Мухаммад», нижеследующую заповедь:

«А когда вы встретите тех, которые не уверовали, то — удар мечом по шее, а когда произведете великое избиение их, то укрепляйте узы».

Нечто подобное произвели победившие оттоманы и над великолепным святилищем «тех, которые не уверовали»,— над храмом святой Софии, сооруженным в захваченном ими Константинополе еще до рождения Мухаммада. Сравнивая увиденный мною облик посвященной пророку мечети с чертежами и рисунками, восстанавливающими первоначальный вид храма,

я мог распознать следы усеченных глав, исчезнувших абсид, стесанных фризов. Зато часовыми, стерегущими пленницу, поднялись по углам минареты причудливой формы. Теперь те, кто готов разглядеть в раскопках финикийского Гелиополиса остатки древнего космодрома, упоминают в своих книгах и об удивительных минаретах Айя-Софии. Они поражаются тому, до чего эти минареты похожи на современные космические снаряды, устремленные в межзвездный простор. Особенно это относится к одному из минаретов — к тому, что стоит несколько поодаль от прочих, слева от главного входа. В нем даже угадываются утолщения патрубков, под которыми вот-вот готово вспыхнуть пламя взрыва, посылающего ракету в полет. Если теперь посмотреть на фотографию, нельзя не согласиться: до удивленья похоже! Но сорок лет назад, когда я, выйдя к превращенному в мечеть собору, увидел этот минарет своими глазами, такое сравнение не могло прийти в голову: космических ракет еще никто никогда не видел, и окружающий мир не похож был на нынешний; он был совершенно иным.

Другими были географические карты; по-другому и в совершенно иных ритмах текла жизнь.

Космические легенды связываются с исламом не впервые. Ведь и о священном черном камне Каабы говорилось, что он залетел на Землю из звездного мира.

Думаю, однако, что безвестные оттоманские зодчие, воздвигая свои минареты рядом с созданием византийцев Анфимия и Исидора, знали о космических ракетах не более, чем знал я, когда майским днем 1929 года вышел вдруг к Айя-Софии — на пути из Севастополя к острову Врангеля. Поиски формы, стремительной и мощной, олицетворяющей порыв и движение, привели мусульманских архитекторов XV века к тем же идеально обтекаемым очертаниям, какие были выведены инженерами в XX веке, на основе законов аэродинамики. Эстетическое чутье опередило технологическую мысль, как это не раз можно увидеть в истории искусств.

Но высокое эстетическое чутье не помешало им нанести византийскому храму безжалостные удары «мечом по шее».

Оттоманы обкорнали Софию, нарушили пропорции архитектурной массы, обстроили храм не только минаретами, но и совершенно чуждыми ему павильонами. Впрочем, минареты и павильоны строили, наверно, разные мастера и в разное время. Пяти веков хватило для множества перестроек.

Особенно изменилась внутренность храма. Мечеть пророка изгнала отсюда всю живопись и мозаику, всю позолоту, все цвета, кроме белого и черного. Затепленные византийцами свечи давно были погашены здесь, и только естественный свет проникал внутрь косыми столбами — сквозь переделанные окна в стенах и барабанах куполов. Виднелись какие-то

возвышения, чаши, балюстрады, сооружения для незнакомых мне обрядов. Живопись заменили теперь несколько огромных щитов, водруженных на тонкие колонны; вычурной арабской вязью каллиграфически начертаны были на этих щитах изречения из корана.

Митя Золкин, вошедший в мечеть вместе со мною, проклинал нескладные войлочные шлепанцы, которые пришлось перед входом напялить поверх наших ботинок. Шлепанцы то и дело сползали, ветхие завязки не хотели держаться; Митя тащил меня прочь из мечети, на свежий воздух.

— Что ты здесь потерял? — сердито шептал он мне в ухо.— Может, если б служба была, интересно бы посмотреть. А так ничего тут такого нет.

Я покорился. Когда мы вышли, я попробовал напомнить ему про щит князя Олега на воротах Царьграда, про то, как княжеские ладьи — числом две тысячи, и в каждой по сорок человек — спускались по Днепру, переваливали через пороги, а потом пересекали Черное море; про то, что София, из которой мы только что вышли, стояла тогда уже четыреста лет и что вскоре после походов в Царьград такие же церкви принялись строить в Киеве и Новгороде. Я пытался вообразить и описать, как это все выглядело. Мне уже стало казаться, что, возвратившись из Галаты в Золотой Рог, мы там увидим киевских воинов, стриженных под горшок, с длинными вислыми усами, и киевского князя в кожаном нагруднике поверх такой же, как и у остальных, длинной холщовой рубахи, и с такими же вислыми усами, и в кожаном островерхом шлеме. Я хотел, чтобы Митя все это увидел тоже. Но он, который обычно живо откликался на подобные разговоры и сам любил затейливо пересказывать прочитанные им книги, на этот раз оставался равнодушным.

Его заинтересовала только одна подробность:

— Говоришь, на лодках войско привел? Сколько ж они веслами шлепали? Или под парусами они бежали? Не знаешь? Мы вон на каком корабле, с какой машиной, и то больше суток идем. А сколько ж они? Неделю? Больше? А чего они в открытом море рубали? На сухом пайке? Камбузы-то на лодках навряд у них были...

Этого я не знал.

— Развел тут: история, история...— пренебрежительно устыдил меня Золкин.— А в истории такой же ты салага, как на палубной вахте.

Он высказал несколько энергичных предположений насчет того, как воины Олега обходились с турчанками, покуда князь приколачивал щит на городские ворота.

О том, что турчанок здесь тогда еще не было, я говорить не стал.

На подворье мечети, в тени старых, больших платанов, как в обещанном правоверным раю, стояли под пестрыми зонтами столики двух или трех кофеен. Там галдели туристы, высыпавшие из нескольких открытых автобусов, а между столиками сновали два пожилых турка в очень широких штанах из черного шелка. На их подносах я увидел такие же медные кофейники с длинными ручками, как тот, в котором капитан «Каравана» позапрошлой зимой кипятил кофе для нас с Женькой Лебедевым. («Интересно,— ревниво подумал я,— ушел Женька в море или все еще собирается поступать на курсы?» Почему-то мне было приятно думать, что он так и торчит на мариупольском постоялом дворе, а мой корабль стоит на якоре в том самом Золотом Роге, который ландринными красками изображен на одной из открыток, пришпиленных на Женькиной стенке. «Завтра мы выберем якорь и уйдем в Мраморное море. Мы уйдем в Мраморное море, а Женька будет дрыхнуть на койке в своем постоялом дворе». Это ощущение своего торжества было подлым и отвратительным, но я не мог от него избавиться.)

— Садись,— кивнул Митя на свободный столик у самого ящика, куда мы только что сбросили музейные шлепанцы.— Кофе копейки стоит, жаться не будем. Вот только человеческого чего-нибудь выпить — хрен тут получишь, все-таки мечеть, а пророк не велит. Надо было идти, куда люди ходят. Ну, это ты сам виноват, чего тебе в этой мечети понадобилось...

Под платанами было прохладно, крепкий кофе обжигал рот, в стакане с водой таяла большая ледышка,— и впрямь мусульманский рай под сенью Софии-премудрой.

Странные сутки прошли у меня в этом городе.

Мы возвратились с Галаты на Истикляль-Джаддесси (так только что была тогда переименована Гран рю дю Пера́) и там возле садика, приткнувшегося к какой-то старой стене, столкнулись со старпомом и «дедом».

— Смотри, еще трезвые,— удивился Стехов.— Время теряете, а ведь не так его у вас много.

Но не так уж и мало оставалось нам времени.

На корабль приказано являться в четырнадцать ноль-ноль. Впереди еще вечер, ночь и целое утро.

Помню, что так же внезапно снова сталкивались мы с нашими и опять расходились, даже удивительно было, что в таком большом городе нельзя потеряться, упрятаться друг от друга. То степенный Чумак встретится со степенным боцманом Картом. То мелькнет Байраченко. А то вдруг хорошие уже, веселые «духи», непривычно чистенькие, отмытые добела, при новеньких галстучках-удавках, перегородят целой шестеркой весь неширокий тротуар. Помню, что Митя куда-то исчез, мы уже ходили втроем — с Федором Иванычем и молчаливым, но раскрасневшимся Августом. Потом опять откуда-то появился

Митя. Помню минареты мечети Ахмадийе. Туда мы уже не заходили. А может, и не пускали туда. Помню совсем новый, видно, только что поставленный бюст Кемаля посреди тощего скверика.

Помню русские вывески в закоулках Галаты: «Андреевское подворье», «Афонское подворье» — когда-то монастырские гостиницы для православных паломников, отправлявшихся через Константинополь на богомолье — на Афон-гору или в Иерусалим; потом через эти подворья прокатилась на пути в Сербию, в Бизерту, в Париж пестрая толпа, бежавшая от революции на пятачок занятого Врангелем Крыма и сброшенная оттуда в Черное море, в эмигрантскую долю. Остатки этой толпы ютились там еще и тогда, когда мы с Федором Иванычем дивились русским буквам на вывесках турецкого города и привычным уездным железным навесам над застекленными дверями подъездов, ведущими к широким чугунным лестницам.

Было еще совсем светло, когда мы очутились у невысокой, местами осыпающейся длинной глиняной стены. Из-за нее доносился слитный гомон, его прорезывал перестук молотков, слышались звоночки, исполненные ужаса вопли ослов, певучие выкрики торговцев. Под аркой, пробитой в стене, толпились люди. Мы пошли за толпой и очутились на базаре, где улица гончаров пересекалась с улицей оружейников, а улица столяров — с улицей чеканщиков.

Улиц этих было несметное множество, они тянулись, образуя крытые коридоры; в куполах на перекрестках были прорезаны отверстия; под ними стояли, упираясь в щербатый глиняный пол, косые столбы солнечного света, словно прозрачные, но вполне материальные опоры. Золотистая пыль вихрилась в этих столбах, построенных из движенья и света. Местами открывались прохожему небольшие квадратные площади. Там, у чахлых деревьев, можно было увидеть ослов, верблюдов и лошадей, на которых торговцы добирались до стамбульского базара не только из ближних деревушек, но из отдаленных сирийских, месопотамских, даже из курдских селений. Двери лавок были открыты, в глубине виднелась вторая дверь, за нею находилась мастерская ремесленника: только что сделанный товар — женский браслет, украшенный чеканкой кинжал, прочно сколоченный стул или шкаф, глиняный кувшин, медный таз, нитки бус — тут же выставлялся на продажу. Нередко гончар или плетельщик корзин работали прямо на краю протекавшей мимо толпы, у входа в свою лавку.

В толпе мелькали мальчишки. Они держали на макушке подносы с высокими пирамидами стаканов. В стаканах был сладкий шербет, крепкий чай или просто холодная вода. Во всех лавках варился кофе, всякий торг начинался с угощенья

и долгого разговора о не идущих к делу вещах. Одуряющие запахи улицы мясников притягивали стаи бездомных псов. Коты шмыгали по улице рыбников. Вдруг оказывались мы в длинном ряду ковровщиков, оттуда попадали к галантерейщикам, выходили к лавкам, пестревшим шелками. И снова квадратный дворик, над ним синее небо; у деревьев, не дающих тени,— ослы и верблюды.

Все запутывалось нескончаемым лабиринтом, из которого, казалось, выход найти невозможно. Столбы света под куполами начинали меркнуть. В лавках замерцали керосиновые лампы и плошки. Можно было думать, что они не погаснут всю ночь и мы так и будем обреченно блуждать до нового утра из улицы в улицу, везде встречая новые приметы чужой, незнакомой нам жизни и наблюдая уже сонный, но никак не желающий засыпать торг.

Еще одна площадь открылась.

Два верблюда с пустыми, сбившимися набок горбами стояли там у стены, отворачивая от людей презрительные морды; отвислые губы шевелились, словно произносили неслышно какие-то черные верблюжьи слова. Еще два таких же лежали рядом на вытоптанной земле, и старые крестьяне, наверно муж и жена, дочерна обожженные солнцем, приторачивали меж худых горбов облезлые, латаные хурджины с несбытой, а может, здесь уже купленной кладью. Потом мы снова вошли в улочку, темную и пустую, где двери лавок уже были заперты висячими замками; мы прошли ее и вдруг оказались у такой же арки, как та, через которую мы вошли. Но улица за нею была незнакома.

Выбрав прохожего постарше и посерьезнее с виду, Золкин вступил с ним в оживленную и удивительную беседу. Митя жестикулировал как итальянец и говорил с кавказским акцентом, избегая при этом употреблять склонения и падежи. Такой своеобразной формой международного языка пользуются куда чаще, чем эсперанто, и на той же, в общем, основе возник бэйзик-инглиш,— язык, созданный англичанами для общения с туземцами островных колоний. Как бы там ни было, Митя сговорился довольно быстро, поблагодарил старика и уверенно повел меня к столбику, на котором красовалась прямоугольная табличка с пятью латинскими буквами: «Durak». Не очень приятно было стоять под такой табличкой. Но слово это обозначало трамвайную остановку, и к ней вскоре подкатили вагончики: красный — первого класса и два зеленых — второго. Всеведущий Митя без колебаний поднялся в зеленый, и через несколько минут мы увидели белые корабли на темной вечерней воде Золотого Рога. Уже зажглись бортовые огни и негромкий перезвон склянок прокатывался над бухтой. И «Федора Литке» можно было различить у дальней причальной

бочки. Его силуэт заставлял опять и опять вспоминать слова, которыми Гончаров говорил о своей «Палладе»: «Если бы вы знали, что это за изящное, что за благородное судно...»

— Ни к чему нам домой,— сказал Митя.— Пойдем-ка лучше на берегу подрубаем.

Есть не очень хотелось. На базаре мы схарчили у какой-то жаровни люля-кебаб с лепешками, потом пили кофе, присоседившись к краснобородому персидскому купцу, и в других лавках пили шербет и чай и снова шербет. Я много раз убеждался, что ничего не бывает вкуснее, чем еда в обжорных рядах на восточных базарах. Да не об еде же и говорил Митя Золкин. Уже по глазам его было видно, как не хотел бы он огорчить старпома и «деда», если они еще раз повстречаются с нами на берегу. И куда нужно сейчас идти нам, он знал хорошо. Во всяком случае, никого он не стал расспрашивать, решительно сворачивая в какой-то боковой переулок.

Это было первое мое плаванье и первый в жизни выход на берег; все матросские россказни полны были приключений, пережитых во время стоянок в чужих портах. Пусть рассказы были банальны, пусть приключения, описанные в них, почти не отличались одно от другого,— все же я не переставал ожидать встречи с чем-то внезапным и удивительным.

Не было у меня ни малейшего представления о том, что именно могло бы случиться. Скорее всего, ожидание было частью непроходящего мальчишеского восхищения тем, что я стал обладателем мореходной книжки, что на большом и красивом корабле, отправляющемся в дальнее плаванье, у меня есть свои обязанности. И вот — первый выход на чужой берег. Как же тут не ждать приключений?

Едва мы свернули за Золкиным в переулок, как тут же послышались знакомые голоса:

— Видал? Палубные на тартýш канают. И не иначе — по второму разу.

— Как бы не по третьему,— кто-то радостно отозвался.

Оказался Степан Байраченко и с ним два «духа» — Гена Иванников и Ленька Луцевич.

Похоже было, что они уже поднабрались. Правда, не очень сильно. Может, Степан чуть больше, чем остальные. Денег пока еще у всех было мало. Плаванье только начиналось. Перед выходом ревизор роздал небольшие авансы — на берег съехать, за трамвай заплатить, на чепуховый какой-нибудь сувенир да на бутылку-другую пива. Больше вроде бы не развернуться. Но ребята были не промах, большинство в Стамбуле не по первому разу, соображать умели не хуже, чем Митя.

И тартуш был им известен.

Спира сказал:

— Если туда только так, подразнить гляделки,— днем надо было гулять. А в вечернее время можно и по шее схлопотать или даже похуже влипнуть.

Ленька тоже предостерег:

— Аккуратней, братва. Судком, наверно, тоже поблизости наблюдает. А не засечет Утятников лично,— кто-нибудь ему настучит. Тогда проповедей о моральном разложении на все плаванье хватит.

Митя попробовал объяснить, что и не думали мы идти на тартуш.

Но они-то шли оттуда. И, похоже, не насмотрелись, не прочь были подивиться снова.

— Да ты-то, конечно, видал, тебе ни к чему,— согласился с Митей Иванников.— Но ведь салага твой в первый раз в этом городишке. Надо ему показать. Такого он больше нигде не увидит.

— Ну, да ведь и в Сан-Па́ули же то самое. Может, еще и похлеще,— не преминул щегольнуть своими познаниями Митя.

— Так то ж в Гамбурге. А мы теперь куда, в Гамбург, что ли, пойдем или в Красное море?

Про тартуш я слышал не раз еще в Севастополе. Незадолго до выхода оказались мы с Митей в компании братишек с «Червоной Украины». Те стали рассказывать, как ходили они на своем крейсере в Стамбул с международным визитом. По улицам маршировали там кучей. Город смотрели, ну и себя, конечно, показывали. Одеты «по форме раз»: все белое, только воротники синеют, да гюйс на бескозырке черный и буквы на нем золотые. Шаг печатали так, что пацаны на тротуарах рты поразевали — чайка могла влететь. Шли группами, человек по двадцать. Группа, в которой оказался и наш случайный знакомец, возвращалась из города к Золотому Рогу. Нечаянно они забрели в какой-то квартал. Ничего особенного они там сперва не заметили. Только девиц было побольше, чем им до сих пор встречалось. «И вдруг мы распетрили, — сказал матросик, — что девицы эти. . .»

Компания, в которой мы слушали его рассказ, была исключительно мужская. Браток с крейсера ни в выражениях, ни в жестах не стеснялся. Он очень понятно объяснил, какие же именно там оказались девицы и какую они с матросами повели на пальцах беседу. А одна вдруг выскочила на мостовую, сорвала с нашего рассказчика бескозырку,— он с самого краю шел, на правом фланге,— и утащила к себе в конуру. Всем скопом ее упрашивали, чтоб дурочку не валяла, возвратила казенное имущество. Но она ни в какую — дразнилась и лопотала в том смысле, чтоб матросик зашел к ней, а там, мол, они сумеют сами договориться. Так и пришлось уходить не по

форме, — доведись кому козырнуть, а руку приложить не к чему. Пустой головой, выходит, светил наш друг, дискредитировал свою команду в международном масштабе. На корабле, в каптерке, едва выпросил, чтоб бескозырку до срока выдали,— и то получил не новую, а завалящую, кем-то ношенную, как говорится, «бэу». Еще и баталер, гад, поддевал:

— В другой раз не суй башку куда не надо.

— А я знал?

И тот, что группой командовал, тоже не знал. Не знали они даже вовсе, что такое на свете бывает.

Конечно, всякий непорядок на корабле они именно этим словом ругали — на букву «б». Но, кроме абстрактного понятия, ничего иного это слово для них не обозначало. А в том галатском квартале — среди знойного белого турецкого дня — как раз никакого непорядка с первого взгляда и не наблюдалось. Никакого бы вроде тебе бардака...

Квартал, ему памятный, браток с крейсера и называл тартушем.

— Впятером и вечером туда подойти можно,— невзначай обронил Байраченко.— Пятерым ничего же не сделают.

Неяркие лампочки светили в клетках-лавчонках, тянувшихся вдоль тротуаров горбатого узкого переулка. Странные это были лавчонки — без прилавков, без витрин, без товару. Ничего в них не было, разве один стул какой-нибудь хромоногий. В глубине — занавески. Из пестрого ситчика или — по-восточному — из длинных бус. Если занавеска откинута, видна за нею кровать. Ну, там столик. Больше с улицы не разглядишь. И в каждой конуре или перед дверью, на вытащенном на узкий тротуар стуле, сидела женщина. Почти все они были в одних ночных рубашках с убогими кружевцами на щедро открытой груди. Некоторые похаживали на своем пятачке особенной такой походочкой, показывая себя. Были тут молодые, совсем девчонки; были и такие, чей возраст никакая краска не скроет. Редко которая окликала прохожих. Больше сидели и бродили молча. Или собирались по две, по три, судачили про свое, пересмеивались без веселья. Очень все просто. Это и был здешний товар.

Кое-где у дверей суетились нахальные какие-то мальчишки, с длинными бачками, с аккуратными усиками; вот эти цеплялись к каждому, посверкивали золотыми зубами, показывали на женщин, зазывали, похабно жестикулировали. Купцы, что ли, они были? Хозяева, что ли, этому товару?

— Коты,— объяснил Золкин со всем презрением, на какое был он способен. И добавил для ясности одесское словечко: — Супники.

Подгулявшие компании показывались то и дело на этой улице, заглядывали в конурки, переговаривались с женщина-

ми. Кое-кто исчезал за дверью, тут же дверь закрывалась, полоса тусклого света на тротуаре почти сразу гасла. Другие шли дальше, взбадривая себя неестественно громкими голосами, выкриками, куплетом нетрезвой песни. По детским шапочкам с помпончиками можно было различить французских матросов. Но и те, что галдели по-английски, по-немецки и бог знает, на каких еще языках,— тоже были моряками. Походочка их выдавала, какие-то затейливые свитерки, курточки, шарфики. Да так оно и должно было быть: весь этот тартуш и существовал для корабельных бродяг, которые сходят в большом порту со своих посудин, намаявшись в море, нагорбатившись, намечтавшись о береге. А «берег», «отдых» и «женщина» — это всё для них слова в рифму. Слова, которые раздельно не существуют...

Дорога к приключению оканчивалась в горбатом квартале лавок, торгующих женской плотью.

Говорят, старый стамбульский тартуш давно кончился. Конурки то ли снесли, то ли там теперь обыкновенная — еще одна — торговая улица, где по соседству с Золотым Рогом раскинута в витринах, на соблазн матросам, всякая галантерейная заваль.

Хорошо, если нет больше тартуша.

Но только придумано, наверно, вместо него для той же цели что-нибудь другое, в ногу с веком, принаряженное попестрее, что-нибудь синтетически-кибернетическое, еще более лицемерное и гадкое.

Когда мы вышли из переулка, Митя Золкин помалкивал. «Духи» куда-то отвалились. Мы снова остались вдвоем.

— Почуфанить бы надо,— вдруг вспомнил Митя о наших первоначальных намерениях.

Словечко это — чуфанить — было завезено нашими дальневосточниками, а от них распространилось на весь корабль. На владивостокском портовом жаргоне «чуфан» означало еду. Из харчевен Китайской улицы забрело слово. И мы тоже теперь так говорили.

Есть после нашей прогулки хотелось еще меньше, чем до нее. А вот выпить было бы в самый раз.

Золкин свернул в одну улицу, потом в другую, толкнул какую-то дверь. Задребезжал колокольчик. Я успел заметить французские слова на вывеске: «La rose noire» — «Черная роза». Переступив порог, мы очутились в тесном прокуренном зальце, где столы были покрыты серыми мраморными досками, похожими на могильные плиты. Тяжелые стулья на чугунных ножках, незаменимые в хорошей драке, беспорядочно теснились у столиков, на посыпанном грязными опилками полу. На мраморных столешницах стояли невытертые пивные лужи, щедро присыпанные табачным пеплом. Людей за столиками

было немного, и почти все они спали глухим сном, уронив головы в разлитое пиво, тяжко всхрапывая и бормоча.

Трудно было понять, что влекло сюда Митю. А он вспомнил этот именно кабачок еще у Большого базара и оттуда уверенно и точно, прямо к нему направился.

Однако объяснения долго ждать не пришлось.

— Зоя, — обратился Митя к худенькой немолодой женщине в нечистом фартучке поверх застиранного ситцевого платьишка.— Здравствуй, солнце мое. А ты все еще здесь?

Женщина взглянула на Золкина, явно его не узнавая. Но тут же спросила, стараясь не показать, что ничего не может припомнить:

— Опять пришел? Давно тебя не видала.

Нет, романа тут не было никакого.

Митя обстоятельно рассказал, куда мы идем и на сколько пришли в Стамбул. Упоминание об острове Врангеля удивило Зою. Врангеля она знала только одного — того, что у нас звали «черным бароном»,— и никак не могла взять в толк, откуда мог у нас оказаться остров, названный его именем. Митя объяснил, Зоя вежливо, но не проявив интереса, выслушала, и, покуда она уходила, чтобы исполнить наш нехитрый заказ, Золкин сказал мне:

— Смотри, по-русски не разучилась. А ведь девять лет уже в Стамбуле живет. Похоронила здесь мужа. Из донских казаков он был, но на германском фронте служил в пехоте, дослужился до штабс-капитана, летом семнадцатого солдаты из окопов разбежались, двинул и он в свой Новочеркасск, до дому. Служил у Каледина, разделали их, как бог черепаху, подался штабс-капитан к Врангелю, с врангелевцами отходил за Сиваш, пока не уперся в корабельные сходни. А с того корабля сошел на турецкую землю. В Новочеркасске, в самую заварушку, встретились они с Зоей и поженились. Не знаю, венчаные ли, нет ли, но сами считали, что муж и жена. В Новочеркасск Зоя попала со Смольным институтом. Очень гордится, только от нее и слышишь: «Смолянка я, смолянка». Их в войну на Дон из Питера эвакуировали, что ли, а потом закружило, понесло — штабс-капитана в одну сторону, Зою в другую, и опять столкнуло в Стамбуле, когда уж и надежды на встречу никакой не было.

Грустную хронику Зоиной жизни Митя знал во всех подробностях. По его словам, он зашел в «Черную розу» случайно, года четыре назад, когда корабль его бросил якорь в Стамбуле не на сутки, как наш, а дней на десять. Зоя выговаривалась тогда перед ним до самого донышка не потому, наверно, что Митя пробудил в ней какое-то особое доверие, и не потому, что потянулась она к нему своим полумертвым от всех испытаний сердцем. Напротив, знала, что как пришел, так и уйдет; гово-

рила, как в вагоне говорят с попутчиком, встреченным на недолгое время. Он хорошо слушал, интересна была эта незнакомая ему, горькая жизнь. Он Зою пожалел, и ей хорошо было говорить о себе с чужим человеком по-русски, чего давно не случалось.

Зоя рассказала, как перебивались они с мужем, нищие и почти всегда голодные; русских тогда в Стамбуле было много, хватило бы на порядочный уездный городок. Те, что сумели сюда добраться с деньгами, с вещами, с камешками и золотишком, сразу всплыли высоко вверх; землякам было до них уже не добраться, а тем до других не было дела. Штабс-капитан со своею «смолянкой» пытались как-то устраивать свою жизнь, перебивались, барахтались, надеялись, но все срывалось у них, осталось только отчаяние; неумолимая чужбина погружала их на свое дно. Когда Митя Золкин спрашивал Зою, от какой болезни умер ее муж, ведь он был не такой старый, она пожимала плечами и отвечала: «С тоски он умер». И голосом, в котором не оставалось и горя, добавляла: «А меня не берет...»

Вскоре после смерти мужа Зоя стала жить с лавочником-армянином. Ему было за пятьдесят, ей под тридцать. Два взрослых сына и незамужняя дочка жили вместе с ним; они встретили Зою недружелюбно, и поделать с этим она ничего не смогла. По ее словам, лавочник, хоть и совсем плохо, говорил по-русски и был не злой. Только это она и могла рассказать о своем сожителе. Он хотел, чтобы Зоя родила ему еще одну дочку, но ни дочки, ни сына у них не появилось. В доме было сытно, впервые за всю свою стамбульскую жизнь Зоя не ходила голодной, она сшила себе новое платье и купила готовое недорогое пальтишко, но в комнате за лавкой ей стало так скучно, что, встретив случайно на улице новочеркасскую землячку, Зоя кинула все и ушла жить к едва знакомой женщине, такой же одинокой и неприкаянной, как и она сама. Та работала на Галате, в русском трактире «Эльдорадо», а Зое помогла устроиться в «Черную розу», которую держал грек, знакомый ее хозяина.

За время стоянки Митя заходил к ней несколько раз, она угощала его ржаным хлебом, который выпекали на продажу монашки в одном из православных монастырских подворий. Это было для них обоих лакомством, имеющим заморский вкус недостижимого родного дома; черный хлеб трудно было отыскать в этом городе, не пекли его даже и на корабле, на котором служил Митя,— у кока была лишь пшеничная мука. Года два спустя, когда Золкин снова очутился в Стамбуле, он сразу стал искать «Черную розу»,— не то, чтобы повидаться в чужом городе со знакомым человеком, не то в надежде на черный хлеб. Он нашел и то, и другое.

Пока он прихлебывал кислое турецкое пиво, закусывая ржаным хлебом с копченой кефалью, и пил из мутной граненой стопки желтоватую, самогонного вкуса ракию под маслины, Зоя выспрашивала, как живут люди в России.

Не случилось ли Мите быть в Новочеркасске, спросила она.

Нет, не случилось, ответил Митя.

Те же вопросы задавала она нам и теперь. И стало вдруг понятно, что спрашивает она как бы для порядка, как бы утверждаясь в своей внутренней убежденности, что никакой России за морем больше не существует. Все там кончилось для нее. Оставались на земле только те русские, которых встречает она в Стамбуле. Их стало гораздо меньше, чем прежде,— несколько сот, может быть, тысяча-другая людей, которые в большом чужом городе жили отдельной замкнутой жизнью, изо всех сил охраняя привычки обитателей старой, провинциальной России. Изредка собирались компанией, пели прежние песни, декламировали прежние, уже забытые в нашей России стихи. Мышастенький гимназистик или гимназистка в застиранном фартучке, из частных здешних, уже исчезающих русских гимназий, читали стихотворение Дмитрия Мережковского «Сакья Муни» или стихотворение Морица Гартмана в переводе Михаила Михайлова «Белое покрывало», выученные по затрепанным «Чтецам-декламаторам». Те же стихи читались лет пятнадцать назад на всех вечерах мужских и женских гимназий русских уездных городов. Здесь их читали не только гимназисты. Многие русские дети учились тут во французских католических лицеях и английских колледжах, но родители изо всех сил старались, чтобы, несмотря ни на что, дети их вырастали русскими.

Это рассказала Зоя, когда я выспрашивал ее о быте стамбульских россиян.

— А твой айсор как? Живой-здоровый? — справился Митя, когда Зоя возвратилась к нашему столику с подносом.

Пока Зоя уходила, Золкин успел рассказать мне и об айсоре. Из его рассказа я понял, что он мог быть и не айсором вовсе. В глазах Зои это была не национальность, а профессия. В Новочеркасске все чистильщики сапог были айсорами. А к тому времени, когда Митя видел Зою в последний раз, она сошлась именно с чистильщиком. Он мог быть курдом, сирийцем, даже турком, но для нее он все равно был айсором.

— Нету его,— ответила Зоя.

— Ушла, что ли? — спросил Митя.— Опять не сладилось?

— Умер,— сказала Зоя.

В ответе не было горя. Никаких чувств вообще не было. Ее спрашивали, она сообщала. А для чувств не оставалось места: все выгорело.

— Умер,— повторила она.— Это я виновата. Я приношу людям несчастье. Я сама стала несчастьем.

Она говорила без аффектации, даже без вздоха. Своя судьба утвердила ее в этом убеждении, и Зоя давно с ним свыклась.

Бывшая «смолянка» поставила на наш столик турецкие лепешки, графинчик ракии, тарелки с дешевой трактирной закуской. Из разных концов небольшого, тускло освещенного зальца все еще слышались всхрапывания и бормотание нескольких матросов или бродяжек, сморенных в пьяный, непробудный сон. Новые посетители появлялись все реже. Шел уже второй час ночи. До возвращения на корабль нам оставалось не так много времени. Зоя отходила, разговаривала о чем-то с гардеробщиком, похожим на состарившуюся, но еще полную опасной силы человекообразную обезьяну, снова возвращалась к нам и продолжала расспросы.

Больше сорока лет прошло уже с того стамбульского вечера, странного, но ничем, в общем, особо не примечательного. Кабак как кабак. Ну, поунылее, чем другие. Еще одна нескладная, грустная женская судьба. Но приходилось выслушивать рассказы куда более пронзительные. Так почему же так помнятся эти несколько часов — чуть не каждым услышанным тогда словом, чуть не каждой подробностью?

Все было записано на следующий день в корабельной каюте. Но и не заглядывая в старую записную книжку, я помнил тот вечер, будто вчерашний, и годы не стирали его из памяти.

Может быть, потому так он запомнился, что впервые тогда я увидел, какою тупой и неуничтожимою болью может терзать человека ностальгия. Есть, наверно, люди, не поддающиеся этой болезни. Но, помноженная на сознание непоправимости искалеченной судьбы, она становится смертельной. Я не встречался после плаванья с Митей Золкиным, никогда не слышал больше о Зое, ничего не знаю о ее судьбе. Но безвыходную ее обреченность я ощутил тогда так остро и ясно, как это больше не случалось никогда, ни при каких других встречах.

В «Черной розе» мы пересидели какую-то внезапно вспыхнувшую вялую драку. Гардеробщик привычно вышибал дерущихся за дверь. На мостовой узкого переулка драка продолжалась: те же вялые тычки и невнятное, неприязненное бормотание.

— Осточертело все,— сказала Зоя.— Изо дня в день, из вечера в вечер. Тупая, дурацкая канитель. И зачем, спрашивается, тяну?

Она становилась недоброй и раздражительной. Может быть, потому, что успела выпить у нашего столика стаканчик ракии, улучив момент, когда гардеробщик был занят и не смотрел в нашу сторону. Через несколько минут я увидел, как она пьет у другого столика, где сидели трое вертлявых мальчишек в

облегающих свитерках и в белых чепчиках с помпонами. Они скалились и, глядя в упор на Зою, отпускали какие-то шуточки. Французских слов я не понимал, но Зоя отвечала им по-французски же — знай «смолянок»; она улыбалась, показывая при этом плохие зубы, и лицо у нее было жалкое. К нашему столику она подошла, только когда мы собрались уходить и Митя ее окликнул. С привычной деловитостью рассчиталась и спросила у Золкина:

— Придешь еще?

— Нет, утром уходим.

— В Россию?

— Нет, в Порт-Саид.

— Ну, счастливо. Если когда занесет, заглядывай.

Она заметно подвыпила, но держалась еще молодцом.

В пустом переулке было прохладно и пусто.

Мы вышли к Золотому Рогу.

Из яликов рыбаки выносили привезенные на базар корзины с камбалой и бычками. Амбалы выгружали ящики с фруктами, доставленными из садов азиатского берега Босфора. Подгулявшие моряки искали перевозчиков, чтобы возвратиться на свои корабли.

«Федор Литке», очень красивый и белый, воплощение дисциплины и трезвости, стоял у причальной бочки, невдалеке от берега. Небольшой и ладный, конечно же он был красивее всех своих соседей. Мы показали на него яличнику, тот кивнул с готовностью, я хотел уже прыгать в лодку. Митя остановил меня. Деловитость и обстоятельность не изменили ему; он справился о цене и начал торговаться на пальцах. Не сойдясь, Митя повел меня к живописному пожилому оборванцу, сидевшему в утлом челне, где воды было по самые икры, и тот высадил нас прямо на трап, уже осажденный по-вчерашнему шумной армадой ремесленников и торговцев.

На борту первым повстречался нам Федор Иванович. Он был выбрит, свеж, выглядел хорошо отдохнувшим и выспавшимся. На меня он посмотрел с нескрываемой брезгливостью.

— Оморячивался, салага, на чужом берегу? Не с того конца начинаешь.

И Золкина он не одобрил:

— А ты тоже хорош, наставничек... Нашелся экскурсовод-любитель.

Митя возразил, но с подобострастием:

— Так мы ж, Федор Иваныч, в полном порядке. Хоть счас на вахту.

— А в порядке, так будете вы у меня оба сегодня гальюны чистить. Тогда я увижу, какой у вас порядок.

— Несправедливость судьбы,— Митя пожал плечами.— Ваша воля, Федор Иваныч. Велите, он, конечно, почистит,— Зол-

кин показал на меня. — А за порядком я, что ж, послежу.

Это были привычные шутки. За две недели к ним можно было привыкнуть. К тому же только позавчера, в Севастополе, вся палубная команда, и мы с Митей в том числе, занималась этой унылой работой, норовя для забавы оплескать друг друга вонючей хлоркой. Сегодня угрозу Федора Ивановича можно было не принимать всерьез.

Мы прикорнули в своих кубриках и часа через полтора проснулись от посвиста боцманской дудки. «Федор Литке» снимался с якорей.

Ото всех трапов доносился громкий и частый перестук тяжелых матросских башмаков. Мы с Митей тоже бездумно бежали, куда нам было положено. Корабельное расписание тем и хорошо, что, заучив его, каждый автоматически делает в нужный момент именно то, что надо ему делать,— без суеты и лишних размышлений. Заняв свои места у носового брашпиля в восьмерке других матросов, мы принялись вирать тяжелую якорную цепь. А корабль уже разворачивался; уже отходил все дальше за корму белый дворец Долма-Бахче; уже двигался корабль прямо на Олеандровую башню, на Скутари, и куполами ярко-зеленых деревьев открывались среди пронзительного ультрамарина Принцевы острова в Мраморном море.

Черное море было пройдено, морские мили продолжали наматываться на лаг, Чукотка становилась все ближе, хоть шли мы вовсе не на Север, а в знойные тропики.

## 8

К рассвету мы прошли Дарданеллы, а затем весь следующий день и всю ночь пересекали Эгейское море по курсу, проложенному среди бесчисленных островов Архипелага. Лемнос оставался по правому берегу, Митилини — по левому. Псарра, а за нею Хиос возникали по носу, и становились видимы без бинокля рыжие берега, редкий кустарник, рыбачьи хижины с развешанными по изгородям сетями и вьющиеся, узкие тропки, сбегающие от жилья к морю среди обрывистых скал. За полночь Митя поставил меня к штурвалу, и я испытал счастье, поразившись тому, как легко слушается моей неумелой руки большой корабль. Картушка компаса плавала у меня прямо перед глазами, и по ней можно было убедиться, как связаны сейчас между собою моя рука и корабль, какого ничтожного усилия достаточно, чтобы ледорез покорно выполнил заданный ему рулевым маневр. Право же, управлять кораблем оказывалось легче, чем править днепровской прогулочной лодкой. Но это счастливое заблуждение тут же разрушил Митя.

— Ты чего рыщешь? — справился он непривычно мягким, зловеще спокойным голосом.— Ты посмотри за корму, дурачок.

Я покорно обернулся.

За кормою на спокойной воде отчетливо виднелись прихотливые вензеля, расчерченные так славно подчинявшимся мне кораблем. Он-то был послушен, да приказы свои я отдавал, хоть и упоенный собою, совсем неумело.

— С таким рулевым угля нам вдвое понадобится, — мрачно заключил Митя и перехватил у меня шпаги (так щегольски называл он рукоятки штурвального колеса).

Курсовая черта установилась точно на заданном румбе, не уклоняясь ни вправо, ни влево, и когда я снова обернулся к корме, то увидел безукоризненно прямой след, проложенный будто бы по линейке.

— Ты не жди, пока у тебя корабль с курса уйдет,— сказал Золкин.— А ты ждешь и потом поправляешь, вот он у тебя и рыщет, как необученный щенок на первой охоте. Ты почувствуй, когда он только собирается сбиться, и удержи. Все время на румбе удерживай, вот и вся наука.

Это казалось простым и понятным, но для того, чтобы этому научиться, должна была понадобиться еще не одна ночная вахта. Только в Красном море Митя решился отдать мне шпаги среди белого дня, когда на верхнем мостике стоял сам Дублицкий. И тогда все прошло так гладко, что капитан даже не обратил внимания на то, кто из матросов стоит у штурвала.

В ту ночь, когда Митя впервые принялся обучать меня рулевому делу, к нам подошел начальник нашей собачьей вахты Шера Баласогло. Он стал у леера, пристально вглядываясь в ночное море. На бесчисленных островках Южных Спорад мигали, каждый по-своему, маячные фонари. То слева, то справа тусклой россыпью возникали вдали огоньки селений и городков. Мы проходили Икарию и Патмос, Калимнос и Астипалею, Стакиду и Кос. Названия, прочитанные накануне в лоции, звучали магией античных мифов, медью гомеровских строф. Оказалось, что Шера думает о том же, но для него это волшебное звучание имело, как видно, иной, очень личный оттенок. Маленький, щуплый, он вдруг оборотился к нам и, кивая в непроглядную забортную тьму, сказал с какою-то грустной гордостью:

— Там земля моих дедов.

Меньше всего ожидал я услышать от него такие слова. Но он их сказал. И именно с такой интонацией сказал. Водитель морского трамвайчика, бегавшего у одесских Фонтанов, он не переставал себя чувствовать потомком пиратов с Архипелага, и это питало в нем внутреннее достоинство и слабые ростки жизненных сил. Фамилия Шеры говорила скорее о турецких его предках, нежели об эллинских. Но вырос он в Балаклаве,

с детства слышал в семье и в кругу сверстников греческую речь и сам ощущал себя сыном и наследником Эллады. С этим следовало считаться. Я понял, как важно для него испытываемое им самоощущение, и постарался уберечь Шеру от неуместных шуток по этому поводу. Он отплатил мне тут же, не обратив внимания на отчаянные зигзаги, которые стал выписывать корабль, едва Митя Золкин снова уступил мне место у штурвала.

Слова Шеры о земле предков навели на воспоминания и Митю. Он принялся травить нескончаемую байку про своего деда. Тот был волжским лоцманом и погиб на сто двадцать втором году жизни: отпраздновал день рождения, а наутро, не успев протрезвиться, пошел рыбачить, поскользнулся на мокрой осенней глине, упал в холодную воду и утонул...

Так в водах Эгейского моря эллинский эпос столкнулся с традицией волжских богатырских преданий.

За обедом из разговора в кают-компании выяснилось, что вот уже час, как мы вошли в Средиземное море и древним путем финикиян следуем к африканским берегам.

Перечитывая свои дорожные дневники почти через сорок лет, я чуть не на каждой странице убеждаюсь в том, что это было путешествие в ином мире, совершенно отличном от нынешнего. Пусть и сегодня корабли на этих путях прокладывают те же самые курсы, пересекают те же меридианы и параллели, но обжитые людьми пейзажи возникают перед взором моряка совершенно другими, и право же можно подумать, что это другая планета, похожая на прежнюю Землю не больше, чем похож на нее какой-нибудь Марс. Я не возьмусь сравнивать и заключать, который из этих двух миров видится лучше или милее. Они просто совсем различны и уже по одному этому несравнимы. Тот мир, в котором мы тогда плыли, был устроен неразумно и уродливо. Резко повернув к зюйд-зюйд-осту от Крита, мы вошли в зону, которая на географических картах и школьных глобусах была обозначена красками, повторяющими на огромных пространствах те же цвета, в какие были окрашены небольшие пределы нескольких европейских стран. Зеленая краска Англии заливала наибольшую часть этих пространств. Цвет маленькой Бельгии покрывал во много раз бо́льшие территории африканского континента, где на сегодняшних картах отмечено несколько молодых самостоятельных государств, возникших за два последних десятилетия. Желтый цвет Голландии, которую можно из конца в конец проскочить на машине за несколько часов, вновь возникал за тысячи миль от нее, окрашивая архипелаг тысячи островов в водах Индийского океана, в том числе и Суматру, чьи берега нам предстояло вскоре пройти. Мир формировался таким после эпохи великих мореходов, исходивших мировой океан на своих

парусных посудинах и по возвращении поражавших обитателей Европы своими рассказами об увиденном.

Итальянский дворянин из Виченцы Антонио Пигафетта, спутник Фернандо Магеллана, избегал небылиц. Он вел в плаванье дневник и старался в нем строго придерживаться фактов. Может быть, иногда он сам оказывался слишком доверчивым. Но представим себе земляков, читающих его записи.

Вот он повествует о высадке на один из островов близ Суматры:

«На этом острове, откуда властитель явился к нам на корабль, можно найти куски золота, стоит только просеять землю. Все блюда тамошнего властелина сделаны из золота, из золота сделана также часть его дома,— так рассказывал нам он сам».

Вот говорит Пигафетта об удивительной фауне дальних земель:

«Морские волки разной масти, они таких же размеров, как корова, с коровьей головой, маленькими круглыми ушами и большими зубами. У них нет лап, а только подошвы с маленькими когтями у самого туловища, похожие на наши руки, а между пальцами у них перепонка, как у гусей. Умей они бегать, они были бы весьма свирепы. Они плавают и питаются рыбой».

Зверь ли это из матросских побасенок, или действительно существовавшее животное, какой-нибудь подвид сирены или дюгоней? Родич морской коровы, впервые встреченной и описанной близ Камчатки в 1741 году, а пятьдесят лет спустя начисто уничтоженной охотниками, хотя встречались они стадами в сотни голов?

Но увлеченнее всего Антонио Пигафетта рассказывает о том, как достигли их корабли островов Молуккского архипелага, на которых произрастают пряности.

Он описывает посещение островов Бутуан и Калаган, где растет, по его словам, «самая лучшая корица». И с каким сожалением он отмечает: «Задержись мы тут дня два, жители нагрузили бы наши корабли корицей, но мы не хотели откладывать отъезда, намереваясь воспользоваться благоприятным ветром для того, чтобы обойти мыс острова и некоторые лежащие неподалеку от него островки». Далее Пигафетта подробно живописует коричное дерево, называет его размеры, старается самыми точными словами объяснить, как оно выглядит и как пахнут его древесина и листья. А через несколько страниц, кратко отметив прибытие на остров Жилоло, он останавливается перед гвоздичным деревом и описывает его столь же подробно, почти вожделенно:

«В тот же день я высадился на берег посмотреть, как растет гвоздика. Гвоздичное дерево высокое, толщиной оно с челове-

ческое тело или около этого. У середины ствола ветки широко раскинуты, а на верхушке они имеют форму пирамиды. Листья похожи на лавровые, а кора темного цвета. Гвоздика растет на концах веточек, по десять или двадцать штук вместе. На гвоздичных деревьях бывает больше плодов то на одной, то на другой стороне, в зависимости от времени года. Побеги гвоздики белые, в период созревания они красного цвета, а высушенные — темного. Их собирают дважды в год: в рождество господа нашего спасителя, и другой раз ко дню Иоанна Крестителя, так как климат становится более умеренным в эти два времени года, особенно ко времени рождества нашего спасителя. Если в течение года стоит жаркая погода и бывает мало дождей, то здесь на каждом острове собирают от трехсот до четырехсот бахаров гвоздики. Гвоздичные деревья растут только в горах, когда же их высаживают в долинах вблизи гор, они погибают. Листья, кора и древесина издают такой же крепкий запах, как и плоды гвоздики. Если не собрать их, когда они созрели, то они становятся больше и такие твердые, что пригодной остается только ее шелуха. Гвоздика не водится нигде на свете, кроме как на пяти горах, на этих пяти островах; правда, несколько гвоздичных деревьев обнаружено было и на небольшом островке между Тадором и Мутиром, по названию Маре, но плоды их не так хороши. Почти каждый день наблюдали мы, как спускался туман, окружая то ту, то другую из гор на этом острове; благодаря этому туману гвоздика становится лучше качеством. У каждого туземца имеются гвоздичные деревья, и каждый из них оберегает свои собственные деревья, но они не разводят их».

Так Антонио Пигафетта рассказывал о гвоздике, а еще дальше с тем же живейшим интересом присматривался он к мускатному ореху. Его словно бы завораживают все эти небольшие деревца на горных склонах, с виду невзрачные, не привлекающие внимания, но несущие на себе плоды или даже кору, которые на их родине ценились дороже золота.

Ведь именно пряности островов Индийского океана, золотые и серебряные рудники Ост-Индии, слоновья кость и черные рабы Африки были той приманкой, ради которой корабли покидали старые гавани Европы и устремлялись навстречу неведомому, в длительные плавания,— как писал в своем дневнике тот же Пигафетта,— «по Океану, на котором повсеместно свирепствуют неистовые ветры и сильные бури». Вернувшиеся мореплаватели не только рассказывали об увиденном на океанских путях. Голосами сирен они звали королей к захватам заморских земель, прельщая доступностью и безнаказанностью таких захватов.

Быть может, одним из самых откровенных в своих призывах был сэр Уолтэр Рэли, современник Шекспира, царедворец

Елизаветы Английской, ученый и философ, поэт и пират. В своей книге «Открытие Гвианы», изданной впервые в 1596 году, обращаясь к первым советникам королевы, он прямо говорил о Вест-Индии: «...захватить лучшие части этой страны легче, чем это обычно делается». Не беда, считал он, что там конкистадоры уже утвердили другой флаг и король Испании и обеих Кастилий вот уже почти сто лет назначает туда своих губернаторов. «Король Испании, как мы полагаем, не слишком обедняет, если захватить три или четыре портовых города в Америке...» Неисправимый острослов, он и здесь не смог удержаться от вальяжной шутки, от поэтического образа и продолжал только что приведенную фразу так: «...да и богатства Перу и Новой Испании не оставлены на берегу так, чтобы их могло легко смыть большое наводнение или высокий прилив, и они не осыхают на песке при отливе. Портовые города малы и бедны по сравнению с теми, что внутри страны, и плохо защищены, и только тогда богатеют, когда приходит из Испании флот за сокровищами. И мы сочли бы испанцев большими простаками, если бы они, имея так много лошадей и рабов, не смогли бы, предупрежденные за два дня, перевезти все золото, какое у них есть, во внутреннюю часть страны, достаточно далеко от тех мест, куда могут дойти наши пехотинцы, тем более что Индии по большей частью гористы, обильны лесами, реками и болотами».

Так, в шуточку, предлагалось начать заморскую войну, высадить на новооткрытых берегах «наших пехотинцев». И в том, чтобы маскировать цели такой войны, не было решительно никакой надобности. Цель называлась напрямик, откровенно: ею были богатства далеких земель, такие достижимые,— их можно «захватить легче, чем это обычно делается...». «Король испанский не обедняет...»

О подлинных хозяевах даже не упоминалось, их просто не принимали в расчет. Заслуживают ли разговора дикари, от которых можно откупиться ниткою бус или, в случае сопротивления, уничтожить, не испытывая угрызений совести. Ведь нехристи ничем не лучше диких зверей.

Проекты, подобные изложенному сэром Рэли, осуществлялись быстро. Чужие земли перехватывались из рук в руки. Именно в те годы несколько европейских государств сумели завладеть заокеанскими колониями, которые во много раз превосходили по размерам территорию своих метрополий. На протяжении последующих четырех веков географические карты перекраивались не раз. Соображения при этом оставались все теми же: король испанский (или португальский, или королева голландская, или герцог фландрский) не обедняет, а в нашем хозяйстве лишний серебряный рудник (или кофейная плантация, или каучуковая роща, или алмазные россыпи, или все это

и многое другое вместе) весьма пригодится. Передел мира был сперва произвольным и самочинным, затем о нем договаривались на конгрессах и совещаниях, открыто или же тайно. Но главное не изменялось. Огромный мир был захвачен и разделен между немногими державами, занимавшими малую часть европейского континента. Львиная доля досталась при этом островной Англии; из этой-то доли и составилась держава, именовавшаяся Великобританией. Путь «Федора Литке» от Средиземного до Южно-Китайского моря вел мимо берегов ее владений.

Мир этот уже приближался к своему концу. Предчувствовать это было еще очень трудно. Были, правда, люди, которые не только предчувствовали близкий конец изуродованного мира, но и ясно видели, какими путями придет этот мир к своему неизбежному и заслуженному крушению. Им показал это Владимир Ильич Ленин, уже в 1915 году, в разгар первой мировой войны выпустивший книгу «Империализм, как высшая стадия капитализма». До наших дней продолжает она оставаться классическим программным трудом для революционеров всех стран, борющихся за свое освобождение от колониальной зависимости. В. И. Ленин готовил свою работу на небольшом мирном островке, каким оставалась в охваченной войною Европе Швейцария. В поисках выводов накапливалось множество тщательно изученных материалов, были законспектированы груды книг. Тетради, с которыми Владимир Ильич отправлялся работать в библиотечные залы, он обозначал для себя греческими литерами от альфы до омикрона. Еще многие тетради остались без обозначения. Теперь мы получили возможность знакомиться с их содержанием в Полном собрании сочинений, поражаясь титаническому труду, далеко не полностью в них отраженному: ведь не все прочитанное заносилось в конспекты. Так вот, в тетради, помеченной буквою «ни», мы можем обнаружить таблицу, составленную Лениным при чтении книги Альбрехта Вирта «Новейшая история современности», изданной незадолго перед тем в Лейпциге. Это подробнейшая таблица колониальных захватов и войн с 1873-го по 1914 год. В книге она занимает пять страниц убористого текста. Колониальный вопрос Владимир Ильич изучал пристально, обращаясь ко всем доступным ему источникам. А через четыре года после опубликования труда об империализме, в Москве, которая за это время уже стала столицей Страны Советов, В. И. Ленин делал доклад на Втором съезде коммунистических организаций Востока. Это было 22 ноября 1919 года. В докладе Ильич говорил о колониальном вопросе в связи с проблемами социалистической революции.

Он говорил, что социалистическая революция неизбежно станет борьбою всех угнетенных империализмом колоний

и стран, всех зависимых стран против международного империализма. Он, как всегда, произносил слово «колонии» как синоним слова «грабеж», и при этом сказал следующее:

«Когда говорят о раздаче мандатов на колонии, мы прекрасно знаем, что это раздача мандатов на расхищение, грабеж, что это раздача прав ничтожной части населения земли на эксплуатацию большинства населения земного шара».

Но Ленин говорил не только о тех процессах, какие уже можно было наблюдать в окружающем мире. Он проникая своим взглядом далеко вперед, и, обращаясь в зал, где рядом с представителями советских республик Средней Азии, полыхающих огнем гражданской войны, сидели также индийцы и китайцы, латиноамериканцы и африканцы, он сказал также и о процессах, различимых лишь в отдаленном будущем. О процессах, что станут происходить много позже, уже на наших глазах, в предпоследней трети нашего века, он говорил:

«Вам придется базироваться на том буржуазном национализме, который пробуждается у этих народов, и не может не пробуждаться, и который имеет историческое оправдание».

За сорок лет, что минули со времени плаванья «Литке», географическая карта переменилась неузнаваемо. На материках Азии и Африки обозначены теперь десятки молодых независимых государств, и уже никто не вправе выдавать кому-либо мандаты на их грабеж и расхищение. История возникновения этих государств всякий раз подтверждала справедливость слов, обращенных к коммунистам Востока еще в ту пору, когда к югу от Москвы Красная Армия билась с деникинцами за советский Курск, на Западном фронте освобождали Гдов, в Сибири шли бои с колчаковцами за Омск, а в ханской Хиве было поднято красное знамя восстания.

Даже в 1929 году осуществление ленинских прогнозов, предсказывавших борьбу угнетенных народов против колониализма, путешественнику, имеющему возможность видеть лишь самую поверхность открывавшейся ему чужой жизни, казалось очень еще отдаленным. Мир, по которому мы проходили, внешне выглядел устоявшимся и безмятежно спокойным. То была весна, одна из таких редких в истории человечества, когда, кажется, ни в одном уголке земного шара не было вооруженных схваток, и если где-либо проливалась человеческая кровь, то виновному угрожало уголовное преследование по законам мирного времени.

С великобританской администрацией мы впервые столкнулись у берегов Египта, в Порт-Саиде.

В Египте англичане, что называется, старательно темнили.

Они широковещательно отказались от предоставленного им в 1919 году протектората над этой страной и объявили ее независимым королевством. Но из Египта они не ушли и по доброй

воле уходить не собирались. Не король Фуад I и не существовавшие при нем парламент и кабинет министров правили государством; его истинным правителем оставался английский верховный комиссар Ллойд. Английские войска продолжали занимать свои прежние базы, как говорилось вслух,— для охраны международных коммуникаций и иностранных резидентов. В то время, когда «Литке» бросил якорь в воду у знаменитого порт-саидского мола, египетский парламент был распущен, а действие конституции прекращено на три года. Соответствующие акты подписал премьер Мухаммад Махмуд-паша. Но поступал он по прямому указанию Ллойда. Поднявшиеся на борт нашего корабля полицейские были по национальности египтянами. Но распоряжения, которые мы от них услышали, были точно такими же, какие действовали потом на нашем пути во всех портах, принадлежавших Великобритании. Так было и в Адене, и в Сингапуре. Нам было объявлено, что команда советского парохода на берег выпущена не будет. Исключение делалось лишь для капитана и первого помощника — чтобы дать им возможность совершить все формальности, положенные перед входом в Суэцкий канал, и сделать закупки угля и продуктов, необходимых для продолжения плаванья.

Таким образом, встреча с истинными властями была лишь заочной.

А город, который открывался нам с моря, казался вполне примирившимся со своей судьбой. Это был большой, очень оживленный город. К набережным подступали белые здания отелей и банков, построенные в мавританском стиле; с улиц доносились задорные звоночки влекомых пароконными упряжками вагонов конки; кварталы, выходящие к морю, были весело расцвечены полосатыми тентами, прикрывающими от солнца витрины, и пестрыми зонтиками бесчисленных открытых кофеен; среди зелени эспланад можно было различить неторопливо прогуливающихся людей в легких белых одеждах.

Полицейский катер подошел к трапу, едва мы бросили якорь. С него поднялся на борт здоровенный парень, подобный атланту, облаченный в красную феску, в белый френч, тесно облегающий могучую мускулатуру, и в необъятные белые штаны. Он оставался у нас три дня, до тех пор, пока мы не вышли из Суэца. Звали его Эль Кади. Палубу он покидал, чтобы наведаться к коку и получить какое-нибудь угощение или чтобы спуститься в кубрик, к отведенной ему койке, и прикорнуть на несколько часов. Такие экскурсии Эль Кади совершал довольно часто. Остальное время он проводил в болтовне, объясняясь с нашими матросами главным образом при помощи жестов и энергичных междометий. Несколько раз его собеседником оказывался и я. Меня поразило, что, сам египтянин, он неизменно отделял себя от своих соотечественников, называя их

«они» или даже «эти египтяне». При этом в его словах явственно слышался оттенок презрения.

Должно было пройти еще очень много времени и понадобился весь жизненный опыт, в том числе опыт пережитой четверть века назад войны, чтобы понять, сколь часто порабощение именно таким образом ломает людей, слабых духом, лишенных принципов и морали. Они способны уважать лишь то, что считают истинной силой. А на их взгляд, истинной силой обладает именно поработитель. Они подделываются под него, усваивают его привычки, манеры, его язык и начинают презирать своих потерпевших поражение собратьев. Эль Кади силился выглядеть в наших глазах англичанином, а не египтянином, и это красноречивее всего говорило о том, где мы находимся и кто хозяин на этой земле.

Что мы видели со своей палубы?

Мол. Длинным языком выдавался он в море, и у оконечности его высился памятник строителю Суэцкого канала Фердинанду Лессепсу, зеленый, словно из патинизированной бронзы. Впрочем, может быть, это и в самом деле была патинизированная бронза. Теперь этот памятник уже не существует. Его сбросили сразу же, как только страна получила независимость. Египтяне больше запомнили Лессепса не инженером,— дельцом. Он не мельчил, затевал крупные дела — Суэц, Панама,— и всякий раз вокруг него как бы сами собою возникали какие-то темные истории, полузамятые скандалы, и память о Панаме дожила до наших дней синонимом коррупции и подозрительных махинаций. Во всяком случае, памятника ему больше нет, и в этом, вероятно, сказалась историческая справедливость. Но мы его видели, и нам он казался очень эффектным.

Еще мы видели устья трех больших улиц, словно впадающих в ярко-синее море. Эль Кади сообщил их названия: улица короля Фуада, улица принца Фарука и Торговая улица, Коммершлстрит. Коммерция была здесь возведена в самый высокий ранг и роскошью подавляла владения королей и принцев.

Внезапно и очень быстро наступил вечер, на рейде зажглись топовые и бортовые огни кораблей, ожидающих вместе с нами очереди на вход в Суэцкий канал, отражения освещенных иллюминаторов рассыпались по спокойной воде. С соседнего парохода еще громче стали доноситься песнопения паломников-магометан, отправлявшихся через Одессу в Мекку. Над городом засуетились пестрые электрические рекламы:

заулыбался знакомый еще по Стамбулу младенец, которого моют только мылом «Кадум»;

запрыгали буквы, объявляющие о ежевечерних танцах в казино Палас-отеля;



19-3

зашагал старомодный джентльмен в цилиндре, напоминая о «самом лучшем» шотландском виски «Джон Хейг»;

с ним заспорили рекламы другого виски, и разных сортов джина, и многих марок коньяков и ликеров;

над крышами появились курильщики сигар, сигарет и трубок.

Трезво и твердо светилось среди всей этой неразберихи огней короткое слово «Нестле»: детская мука, шоколад и какао.

И все надписи были на английском, реже на французском языке. Нигде не было видно ни одного арабского слова, ни даже арабской буквы. К египтянам тут не обращался никто. Нас тоже этот город никуда не звал, ничем не манил; земля эта была для нас запретной, и нам оставалось лишь, поглядев на нее издали, расходиться по койкам и спать.

Жарким утром стихия раскаленных синевы и белизны, в которую погружен был корабль, дробная пестрота недоступных улиц и пальмы на таких же недоступных набережных, окаймленных белой пеной прибоя, еще больше напомнили открытки на стенках мариупольского номера Женьки Лебедева. Торговцы с фелук бойко торговали точно такими же видами. Тут был и зеленый Лессепс у оконечности длинного мола, и вагоны конки на улицах Фуада и Коммерции, и пальмы в аллеях Говернор-гарден и Грейт-гарден, и мавританские колонки под зелеными индийскими куполами, венчающими дом компании Суэцкого канала, и дворец Британского угольного депо, так хорошо видимый с нашей палубы. Эль Кади, выспавшийся и сытый, был уже наверху. Он разглядел у меня в руках только что купленную открытку и помог навести бинокль на то самое здание, что было на ней изображено.

Навел. Вижу длинный, выкрашенный в желтый цвет массивный дом с мощными контрфорсами. Глубокие ниши окон в трех его этажах позволяют судить о толщине стен. Шесть старинных мортир выстроились по три в ряд по сторонам угрюмого входа. Одинокая пальма чахнет в асфальте перед замкнутыми воротами. Два часовых в красных мундирах и, несмотря на палящее солнце, в высоких медвежьих шапках вышагивают у этих ворот навстречу друг другу, сходятся, расходятся, поворачиваются, как заводные, и снова маршируют один другому навстречу. Желтый дом — порт-саидская цитадель. Красные фигурки в черных мохнатых шапках — солдаты его величества короля Великобритании Георга V.

Веду бинокль дальше.

Вижу косые паруса рыбачьих фелук, потом упираюсь взглядом в высокий борт с многократно увеличенной сильными линзами надписью «Розалинда. Роттердам»; обхожу надпись и будто сам оказываюсь на песке неширокого пляжа. Три ряда

будок, обшитых пестрой холстиной, полосатые шезлонги и понатыканные там и сям яркие зонтики. Но людей почти нет. Время раннее, да и сезон еще не начинался. Люди гуляют за полосой пляжа, там, где начинается мол. Неторопливо проходят они от зеленого Лессепса к маяку, смотрят на фелуки и пароходы и так же неторопливо уходят. Эль Кади говорит, что через час, когда солнце поднимется выше, здесь уже никого не будет, а новое гулянье наступит после семи часов вечера, когда зной немного спадет. Собственно, тогда-то и будет гулянье, объясняет мне полицейский. А сейчас что? Так, случайные прохожие.

Но их не так мало. Вот неторопливо проходит араб в легкой белоснежной накидке; я могу рассмотреть в бинокль его лицо, молодое, с небольшими, аккуратно подстриженными усиками. Джентльмен в пробковом шлеме цвета хаки сопровождает двух женщин; лица их скрыты от меня зонтиками, но фигуры, походка позволяют предположить, что это мать с дочерью. Пауза. Никого. В линзах маревом струится разогретый воздух. Появляется католический священник в причудливом котелке с очень длинными полями, срезанными по бокам прямой линией. Английский офицер. Стайка мальчишек. Два араба с газетами в руках. Еще один английский офицер. Степенный толстяк в костюме из легкого тропического материала.

Пауза.

Я попытался представить, о чем они думают. Вообразить их заботы.

Но утренний пляж казался праздничным и беззаботным.

Может быть, если б удалось побродить по берегу...

Чушь. Много ли я разглядел в Стамбуле?

Вспомнились алжирские рассказы Мопассана. Пейзаж был похож. Было уже описано и это солнце, «изливающееся огненным потоком на белоснежные стены». Описаны «огромные опахала» финиковых пальм, вроде той, что поднялась перед цитаделью. И косые паруса фелук, «похожие на крыло», тоже изображены в этих рассказах. И женщины в шароварах и покрывалах,— женщины с тщательно закрытыми лицами, «похожие на большие клубки из белых тканей», как похожи сейчас те, которые большой группой — их там шесть или семь — медленно проходят сейчас по улице принца Фарука. Клубки навиты плотно. Кто заключен в них? Старухи или девушки? Красивы они или безобразны? Можно было различить лишь едва заметные повороты головы в сторону мужчин, приближающихся к ним навстречу. И когда среди этих встречных показался немолодой турист в баварском костюме, в кожаных шортах с детскими вышитыми бретельками, в шляпе с перышком и с фотокамерой, которую он нацелил на экзотическую стайку,—

все клубки приосанились, как по команде, и покатились еще более степенно и плавно.

«Пейзаж и жанр»,— записал я потом в блокноте, повторяя определение, принадлежащее Николаю Семеновичу Лескову.

Затем в этом старом блокноте, исписанном в неурочные часы в кают-компании «Федора Литке», следуют многочисленные варианты сюжетов, почерпнутых якобы при рассматривании чужого города в морской бинокль с корабельной палубы.

Перечитав их через много лет, я мог только порадоваться тому, что в свое время так и не соблазнился ни одним из них. Все они были вторичны, литературны. А ведь, когда я их записывал, мне казалось, что это — плод живого воображения. Не надо было самообольщаться: увиденное на поверхности способно было будить лишь память о прочитанном. Иначе и быть не могло, ведь живого опыта не было, только прочитанные книги и заменяли его. Поддаться этому — значило стать на путь Кривобуды.

Берег был подернут дрожащим, переливающимся маревом. В этом мареве возникал недоступный город. Таким ему и суждено было оставаться в моей памяти.

А на корабле шла своя жизнь.

К борту причалили большие баржи британской угольной компании. Грузчики, перемазанные угольной пылью и одетые только в тряпье, обмотанное вокруг бедер, таскали огромные мешки от барж к корабельным трюмам. Распоряжался ими здоровенный десятник, он громко считал по-английски, задавая работе четкий маршевый ритм. Я не увидел, действовала ли при этом его плетка. Но, вероятно, он не расставался с нею не зря.

Среди грузчиков я разглядел поджарого, но крепкого паренька лет шестнадцати. Он таскал такие же мешки, какие вскидывали на спину и все остальные. Вероятно, паренек перехватил мой пристальный взгляд и, когда выдался роздых, подошел..

Не снимая со спины упора-скамеечки,— чтобы мешки ложились удобнее,— он заговорил, и у него оказались три просьбы. Не без труда мы с Митей разобрались в их существе. Паренек хотел:

чтобы его сфотографировали и уплатили за это несколько пиастров;

чтобы его имя — Мухаммад-Хасан-Али — написали ему русскими буквами.

И наконец:

чтобы его угостили.

Так как все наши фотоаппараты были на время стоянки опечатаны в ходовой рубке, пришлось ему удовлетвориться одними пиастрами, без фото.

Имя было написано, и пареньку показалось, что оно выглядит достаточно внушительно и красиво.

Митя Золкин спроворил на камбузе кусок холодного мяса и краюху хлеба, и Мухаммад-Хасан-Али сказал по-французски:

— Мерси.

В шестом часу вечера мы выбрали якорь и двинулись ко входу в канал.

Перед нами входили туда голландская «Розалинда» и английский «Оксфорд». Следом за нами шел земляк «Каховский», приписанный к Одесскому порту и ошвартовавшийся рядом с нами глубокой ночью. Корабль с паломниками тоже следовал в нашем караване, и песнопения на нем звучали все торжественнее и громче. Их цель уже приближалась, а до нашей предстояло обогнуть еще с полглобуса.

Канал — неширокий. В нем могут разминуться два корабля. Но практически это делается иначе. На равных дистанциях одна от другой устроены небольшие пристани, ничем почти не отличающиеся от днепровских. Разве только дебаркадеры поменьше. Корабли, идущие в Красное море, кидают чалку и останавливаются на несколько часов, а встречные отходят к Средиземному морю. Первая стоянка — Раз эль-Эш.

Параллельно каналу проложено шоссе. Бегут велосипеды, машины, автобусы. Почти все, что движется мимо, окрашено в белый цвет. За шоссе проходит железная дорога, и поезд идущий по ней, тоже белый. Несколько крохотных вагончиков резво бегут за веселым паровозом и враз останавливаются у семафора. Там тоже станция.

Земля — желтая. Кое-где видны у берега пальмы, кое-где очень зеленые раскидистые деревья, которые Эль Кади называет незнакомым словом «саят». На рассвете, когда заканчивается наша вахта, я вижу за насыпью канала лагуну, заросшую тростником, а по мелководью — группки неподвижных фламинго. По правому борту у нас Африка, по левому — Азия, и когда поднимается ветер, он несет через канал, через палубу песок пустыни. Песок сечет нас по лицам, хрустит на зубах, от него некуда деться. После первой ночи, после долгих стоянок и коротких отрезков пути — перед глазами снова неширокий канал, черные шары и треугольники над небольшим дебаркадером (на этот раз он называется Тусуан), лагуны, тростники, черепичные крыши над розовыми домиками. И вдруг этот тростник у спокойной воды, и разогретый солнцем песок, и сочная зелень рощ начинают казаться давно знакомыми, не раз уже виденными; все это — вместе с дебаркадером и лоцманскими знаками, поднятыми на мачте, и буйками, едва колеблющимися вдоль фарватера,— удивительно похоже на днепровский рукав, где-нибудь между Херсоном и Каховкой.

Может быть, тут дело даже не в сходстве пейзажа, а в том же ощущении покоя и умиротворенности, какое я испытывал, отправляясь с дорогим своим другом на утиную охоту в днепровские гирла, и вот вновь испытал на палубе «Литке» во время перехода из Тусуана в Шалуф.

Теперь друга нет уже среди живых, на местах нашей охоты раскинулось подернутое ряской Каховское море, но память о счастливых минутах жизни неистребима.

Байдара, которая входила в зеленые лабиринты под ветвями днепровского верболоза, и неспешное движение «Литке» в той же стихии солнечного света, спокойной воды, ясного неба и сочной зелени, буйно разросшейся по берегам,— одинаково принесли мне это навсегда живое ощущение полного счастья.

В нынешние дни дикой и даже кощунственной может показаться попытка сочетать слова «покой» и «Суэц», «Шалуф» и «умиротворенность». В те самые дни, когда мне вспоминается последний переход по каналу перед выходом в Красное море, я читаю в газетах корреспонденции, где говорится о полузатопленных или ржавеющих на плаву кораблях, застигнутых в Суэцком канале войною пять лет назад. С тех пор канал бездействует. Как было в то время, когда канал еще не был построен, суда снова идут вокруг Африки: огибая Мыс Доброй Надежды. Читаю о разрушенном Порт-Саиде, где не осталось и десятой части прежнего числа его жителей. Из беззаботного города, каким он мог казаться, он стал городом трагическим, прошедшим тягчайшие испытания.

Но я уже говорил, что плаванье наше происходило не только в иное время, но и в ином мире, который доживал тогда свои последние годы в предгрозовом затишье.

Причем приближение грозы можно было предсказать лишь с помощью очень чутких и точных инструментов.

Итак, все сто шестьдесят километров канала были уже позади.

Полицейский сержант Эль Кади, лоцман с помощником, карантинный врач — все наши спутники, остававшиеся на корабле с того времени, как мы покинули Порт-Саид,— попрощались с нами и спустились к своим катерам.

Уже вечер.

Уже остался за кормой маяк Рас-Шериб. В густой тьме мы нащупываем слабый луч маяка Ашрафи.

Перед нами Красное море.

Девять суток, как мы вышли из Севастополя.

До Владивостока еще добрых пять недель.

А до острова Врангеля?

Не узнал бы капитан об этих моих расчетах. Как всякий моряк, он терпеть не может, когда при нем загадываются сроки. Для него море наделено свойствами живого существа.

Существо это может с симпатией относиться к одним, с неприязнью, даже с ненавистью — к другим. Оно коварно. Всевозможных сюрпризов в его загашнике — предостаточно. И поэтому не следует дразнить его преждевременными планами, которые с такой легкостью могут быть сорваны, если море того пожелает.

Идем и идем. Ладно. А загадывать нечего.

О Красном море в дорожном дневничке почти ничего не записано. Ничего там и не было, кроме дикого, изнуряющего, нестерпимого зноя. Оставаться в кубриках и каютах было невозможно. Все ползали по трапам и палубам в одних трусах. На баке испарялись обильные лужи, потому что, едва выдавалась свободная минута, каждый норовил освежиться под шлангом, и палубный у этого шланга был первым человеком на корабле: смилостивится — облагодетельствует, обольет. Но забортная вода тоже была теплой и испарялась мгновенно, оставляя на коже белый соляной налет. В кочегарке был форменный ад, в котором изнывали грешные «духи». Выдержать там полную вахту было теперь невозможно. Нас всех гоняли туда на подмену.

Шера как-то сказал:

— Вот черт. Пьешь чай, а стакан все полный. Пот наливается, только сахару подбавляй...

После захода солнца становилось чуточку легче, но даже и на ночной вахте трудно было дышать. И песок, песок,— от него некуда было деваться, хотя шли мы в открытом море и ни африканских, ни азиатских берегов не было видно. Не освежал и ветер. Жаркий, он сек тело песком.

И все-таки после заката люди оживали.

На полубаке, за перекуром, даже заводилась привычная, хоть и ленивая травля. Митя привычно схватывался со Степаном Байраченко, продолжая старые споры, начатые еще в севастопольском доке. У Байраченко была теперь на виду почти вся его знаменитая картинная галерея, и, когда Степан в поисках прохлады укладывался под тентом, прямо в лужу, оставшуюся после устроенного ему Митей душа, рассматривать Байраченкову татуировку собирались целые экскурсии. Митя предлагал скинуться и дать Степе денег, чтобы тот снял трусы и показал все свои картинки без утайки. Степан отказывался. В такую жару каждое лишнее телодвижение было дороже денег.

К собравшимся подошел как-то «дед». Покряхтел, что от духоты спать не может. Постель, мол, жжется. А полежишь минуту — плаваешь в поту, как в бассейне. «Хочешь — саженками, хочешь — кролем».

Посидел, покурил, стравил одну байку и пошел.

А байка была такая:

— Давно было. А шли, как сейчас,— в Аден. Только не из Красного моря шли, а от Коломбо, по Индийскому океану. Пришли. Дыра. Жара. И ко всему, еще и воды тогда в городе не хватало. За стакан воды мальчишки драли, как за бутылку пива. Все свои шиллинги на воду извел, но все ж таки сувенир какой-нибудь купить надо,— пошел на базар. Смотреть и прицениваться. Ну, на базаре что́? Какие-то чудища морские сушеные. Безделки всякие, тряпье. Стояли тогда в порту корабля четыре, и моряков по этому базару шаталось много. Со мной рядом все какой-то бельгиец оказывался. Куда я, туда и он, и тоже прицениваемся. Разговорились. По-морскому, конечно, беседовали. Слово английское, слово французское, а больше — на пальцах. Но друг друга понимали. Понюхали мы с ним у какого-то старика четки, повертели здоровенную раковину, а бельгиец мне тем временем объяснил, что смотрит он просто так, для оттяжки времени, а задача у него определенная, только он не знает, как к ней подступиться. «Какая же это задача?» — спрашиваю. И понимаю, что девушка его на прощанье попросила, чтобы он привез ей подарок. Негритенка живого. И он обещал. Ну, думаю, ничего подарок. Как же ты его купишь? А сам в шутку и говорю: «Это надо было шипчандлера просить, тот бы сделал».

После Стамбула и Порт-Саида слово, сказанное «дедом», мне уже было понятно. Я успел узнать, что шипчандлерами называются торговые агенты, которые являются к капитанам в каждом порту, чтобы помочь скорее и выгоднее сделать все необходимые закупки.

«Дед» продолжал:

— Я это шутя сказал, а бельгиец кинулся мне руку жать. «Верно, говорит, с этого и начинать надо было. Спасибо, механик механика всегда выручит». А мы уже друг о дружке узнали, что оба на своих кораблях служим механиками. Коллеги. На рейде наши пароходы стояли рядом. Вечером он меня на палубе рассмотрел, окликнул и показывает: мол, порядок. Заказал. И заказ принят. Я подумал, что он просто шутку мою подхватил и сам таким же макаром шутит. Оказалось, ничего похожего. Полный серьез. Утром опять окликает: «Мистер Осип!» Оглядываюсь. Стоит у борта мой бельгиец, а с ним рядом — черный мальчонка. И надо же, сам черный, а волос у него рыжий, курчавый. И коллега мне показывает: полюбуйся, дескать, какой экземпляр. И тут же объясняет, что уплачена за экземпляр гинея и еще десять шиллингов. А мальчонка глазами зыркает, но стоит смирно. Постояли они так и ушли. Бельгиец показал, что отмывать надо мальчонку, и повел свое приобретение в душевую. В тот день я их больше не видел. А утром опять слышу: «Мистр Осип!» Стоит мой бельгиец один и вроде невеселый. Пошли в ход пальцы, и я узнал, что вчера

перед сном отправился мой коллега в свое машинное отделение, что-то там поглядеть, проверить, покопаться. А покупку свою запер в каюте и ключ унес с собой, в кармане. Возвращается. Каюта закрыта, а вошел — парня нет. Иллюминатор-то оставался открытым. Тот, значит, выскользнул и поплыл. Добро, если акулы не съели. А могли и сожрать. Плакали, выходит, у коллеги его гинея и десять шиллингов.

— Второго не стал покупать? — поинтересовался Митя.

— Этого не знаю,— ответил «дед».— Может, и купил. Только мне он об этом не рассказывал.

Посмеялись.

Думали, так, «дедова» травля.

А совсем недавно я читал записки итальянца, путешествовавшего по Африке, не в какие-то там незапамятные времена, а в наши дни, в пятидесятые годы. Он очень достоверно, как свидетель, описывает разветвленную и хорошо организованную систему поимки невольников и перевозки их через Красное море, туда, где еще существовали в ту пору, хоть и полулегальные, невольничьи рынки. А мальчонку и подавно могли продать. И его тем от голода спасали. И для родителей полтора фунта стерлингов означали, что, по крайней мере, в течение месяца изо дня в день они смогут хоть по шиллингу тратить на еду. Мальчишка не сумел этого понять. Ему хуже.

Первую акулу я увидел на другой день после того, как «дед» рассказал свою историю. Черная, блестящая спина, изгибаясь, метнулась от носа к корме. В тот же день появились летучие рыбы. Небольшие, с маленькую кефаль, рыжеватого цвета, они выпрыгивали из воды метров на пятнадцать кверху, целыми стайками, и так же стайками — плюхались в море. Несколько рыбок хлопнулось на шкафут, а одна угодила на полуют, к самому камбузу. Спира Жученко восхитился:

— Вот это да! С доставкой на сковородку!

Но знатоки объяснили, что на сковородке гостья эта совершенно ни к чему. Жесткая, и никакого от нее удовольствия.

В одну из первых душных ночей в Красном море, когда я стоял у штурвала, на мостик пришел Стехов, старпом, и сообщил, что мы пересекли тропик Рака. Звучало торжественно, но никаких видимых перемен не случилось. Все шло, как обычно. Только небо над нами, по мере приближения к экватору, постепенно менялось. Знакомые, привычные звезды словно откатывались к северному горизонту, а из-за противоположного края показывались незнакомые, невиданные прежде созвездия.

В часы нашей собачьей вахты мы теперь не так одиноки, как прежде. Духота многих лишила сна, и в надежде на свежее дуновение эти страдальцы являются к нам потрепаться в самое глухое время ночи. Из машинного поднимается третий механик Яков Лукич Жабенко. «Торбой» его прозвали за

огромный, вислый живот. Но стоило узнать Жабенко поближе, и всякий убеждался, как метко и прочно приложилось к нему его прозвище. Он был фантастически жаден. Вестовые в кают-компании рассказывали, что Жабенко задерживается за столом, чтобы собрать с чужих тарелок объедки и расправиться с ними до последней крошки. На берегу он не тратил ни копейки и старался вовсе не выходить с корабля, чтоб и соблазну не было.

— Напоследок к ювелиру зайдет,— уверял меня Митя.— Серьезную вещь купит, вот увидишь.

Не знаю, может быть, в последнем порту так и было.

Говорили, что в каюте у Торбы стоят несколько пустых четвертей, и он туда сливает причитающуюся ему в тропиках пайку: полбутылки красного вина на день. Рассказывали в присутствии «деда». Тот хмыкнул, покосился на Торбу и сказал деловито:

— Уксус приготовляешь? Что ж, уксус — это, конечно, вещь. Недорогая, правда. Дешевле вина...

Торба промолчал. Но вино продолжал уносить с собою. В кают-компании не пил никогда. Только допивал чужое, если кто оставит.

С Шерой они были знакомы еще по Одессе. Кажется, Торба тоже имел какое-то отношение к «дофиновскому флоту», то ли чинил он эти морские трамвайчики, то ли в трудную минуту жизни на одном из них плавал; во всяком случае, Шеру он давно знал и относился к нему свысока, с нескрываемым пренебрежением.

Антиподами они были во всем. Чуждый своекорыстия, по-птичьему беззаботный, Шера тоже не тратил на себя ничего. Но он и не берег денег. Если кто-нибудь просил у него «взаймы, до получки», он испытывал удовольствие, давая деньги. Правда, он всегда говорил при этом:

— Ты смотри не забудь, отдай.

Но тут же сам забывал о долге и даже удивлялся, если ему его возвращали. Дома, вероятно, привык отдавать все заработанные деньги жене, а потом старшей дочке, и не интересовался, на что они уходили. Тощий, субтильный, Шера говорил редко и мало, и голосок у него был едва слышный. Зычный голос Торбы разносился в ночной тишине, как команды старшины взвода.

— Баласогло! — произносил он, поднявшись на мостик.— Не спишь? Ты куда нас ведешь? В Аден? Или, по привычке, на Большой Фонтан?

Шера отмалчивался.

— Баласогло! — снова возглашал Торба.— Не иначе, тебя посреди океана спишут и доставят на баркасе, как Робинзона, на необитаемый остров. Что будешь делать?

Шера молчал, только посапывал.

За своего вахтенного начальника вступался Митя.

— Сан Саныч-то управится и на необитаемом,— говорил он.— А вот ежели вас списать, Яков Лукич, вам жиров до нормы определенно не хватит. И охотник из вас навряд ли выйдет. Фигура не способствует.

— Во-во! — радовался Шера.— Это ты его в самую точку. Без жиров ему хана́. И ты, Яша, не обижайся. За правду какая обида?

Это была главная его забота: чтобы никто ни на кого не обижался, чтобы все было мирно. А что его самого Торба задирает, к этому Шера привык. Еще и не так бы задирал, если б не жара.

Какие-то островки появлялись из тьмы и снова исчезали. Светились на них редкие огоньки рыбачьих деревушек. Лодка с косыми парусами вывернулась вдруг из-под самого носа. Послышались испуганные возгласы. Митя перехватил у меня штурвал, резко отвернул. Выругался.

На мостик поднялся Стехов.

— Что значит, давно в здешних широтах не бывал. Забыл. Все забыл. Всегда ведь тут такие истории. Ходят сонные, еще и огней не зажигают. Того и гляди, рыбака задавишь.

Он так и сказал — как городской таксист про пешехода. И велел мне:

— Давай-ка, постой впередсмотрящим. Что зачернеется, сразу кричи.

Когда я уже сбега́л по трапу, Торба сказал вдогонку:

— Этот тебе покричит. Он крикнет, когда там купанье уже вовсю пойдет. Раньше рыбака услышишь, чем этого впередсмотрящего.

Остаток вахты я простоял у обвеса на полубаке.

Чернота впереди была непроглядная, я всматривался до боли в глазах, но так ничего и не увидел до той минуты, когда слабый рассвет начал распространяться над морем. Где-то по правому борту должен был остаться эфиопский порт Масауа, и теперь там тянулась невидимая нам, памятная не по учебнику географии, а по стихам, которые мы когда-то повторяли, пустыня Данаки́ль. По левому — самое время быть Ходейде. И тоже вспомнилась стихотворная строка:

...На невольничий рынок Ходейды, в цепях...

Но, кроме одной этой строки, я больше ничего припомнить не мог. Даже, с чем рифмовались цепи, не вспоминалось. Зато начало стихотворения пришло на память сразу:

Здравствуй, Красное море, акулья уха,
Негритянская ванна, песчаный котел!
На утесах твоих, вместо влажного мха,
Известняк, словно каменный кактус, расцвел.

Повторяя про себя стихи, я смотрел в темноту, и мне казалось, что если там будет двигаться даже целая флотилия рыбачьих фелук, я ничего не смогу разглядеть. Торба окажется правым. Я смотрел и слушал. Слышно тоже ничего не было, кроме нашей машины.

Но все кончилось благополучно. Наступил рассвет, а с ним кончилась моя вахта.

За все время пути мы не видели двух одинаковых восходов и закатов солнца. Иногда думаешь: останься на месте — и, может быть, все повторилось бы снова, как было вчера. Но это, наверно, не так. И на вчерашнем месте сегодня все по-другому. Дело тут в необычайном богатстве палитры неба, в бесчисленности доступных перемен. Последний закат в Красном море был окрашен нежнейшей лимонной пастелью. Царственный пурпур властно вторгался в этот лимонный цвет густыми пятнами. Где-то за краем размытого, стремительно меняющегося рисунка скапливалась плотная, почти грозовая синева, в нее погружался огромный пылающий диск; и едва он опустился за край горизонта, наступил сумрак и в нем зажглась россыпь портовых огней на острове Перим, который пробкой торчит в узком горле Баб-эль-Мандебского пролива.

В самолете очень трудно засечь момент, когда колеса отрываются от земли и пробег переходит в полет. На корабле точно так же ускользает момент перехода из одного моря в другое. Когда было пройдено Красное море и мы вышли в Индийский океан, ничего не переменилось. Только в штурманской рубке была убрана со стола лоция, какою мы пользовались четверо суток, и на ее место легла новая. А то, что шум волн стал более тяжелым и гулким и что окреп и стал резче дующий от экватора встречный ветер,— это мне, наверное, только почудилось.

В Адене британские власти не прибегали ни к какому гриму. Поднявшийся на борт лоцман был англичанином. Присоединившийся к нему полчаса спустя полицейский тоже был англичанином. Карантинный врач, таможенники, чиновники из портового управления — все они были англичане. Притом выглядели они именно так, как рисовали колонизаторов наши газетные карикатуристы. На них были шорты, легкие просторные куртки с короткими рукавами и пробковые тропические шлемы. От одного из таких молодых людей,— в шлеме и в шортах, с чаплинскими усиками под носом,— мы узнали, что и Аден, как было в Порт-Саиде, нам разрешено будет разглядывать только издали, с палубы своего корабля, который останется на рейде, у причальной бочки. И, как то было уже и в Стамбуле и в Порт-Саиде, сразу после того, как мы пришвартовались к бочке, вокруг корабля столпился огромный, крикливый и пестрый плавучий базар. Он отличался от прежних.

Торговцы протягивали здесь матросам со своих фелук удивительные, никогда прежде не виданные дары моря. Тут были странные рыбы с синими плавниками, щетинившимися на ярко-зеленом туловище. Были омары-великаны, чуть не в метр длиною, с огромными, радужно переливающимися усами.

Не к этим ли берегам отправлялись когда-то европейские мореплаватели со стеклянными бусами, в надежде обменять их на черных рабов и слоновую кость, на пряности и драгоценные камни? Но теперь именно бусы протягивали с трапов матросам приходящих сюда кораблей местные продавцы. Они, как везде, торговали открытками с изображениями своего города, сигаретками и бритвенными лезвиями, нахваливали японское белье, которое стоило копейки, но никуда не годилось после первой же стирки.

Еще торговали тут страусовыми перьями, чьими-то затейливыми рогами, очень крупными черепахами, раковинами, метровыми челюстями пилы-рыбы, живыми обезьянами и попугаями, опахалами, идолами, ритуальными бубнами и барабанами неизвестных мне африканских культов.

Но живописнее всего своего товара были сами торговцы, заполонившие все палубы нашего ледореза.

Цвет их кожи варьировался от окраски шелковистой, гладкой древесной коры до того безукоризненно черного пигмента, что в библейских метафорах именовался цветом эбенового дерева. Между смуглым и черным было множество разнообразных оттенков. А что за одежды! Казалось, без художника-эксцентрика, поработавшего в полную силу незаурядного таланта, такого и не придумать. У большинства вокруг бедер — пестрополосатые юбки. Точнее, куски ткани тесно обмотаны в виде юбок. Словечко «мини» тогда еще не родилось, но это были именно полосатые мини, чуть выше колен, и из-под материи виднелись у всех этих черных мужиков удивительно стройные и сильные, голенастые ноги. Одинаковыми были только юбки. Все же прочие части облачения были умопомрачительно разнообразны. Мне повстречался старик в итальянской военной куртке, парень в женской кофте, другой — в почти пристойном смокинге, вольно наброшенном на голое тело. Я видел очки без стекол, а за ними — глаза, обведенные белой краской. На многих не было ничего, кроме набедренной повязки, но и нагота не была монотонной, ибо кожу украшала затейливая татуировка, демонстрируя обычаи и искусство многих африканских племен. Обильная татуировка аденских торговцев и появившихся вслед за ними грузчиков отличалась от матросской: тут не было ни наколотых, ни нанесенных краской рисунков. Насечки на коже, подобные застарелым шрамам разной величины и формы, чередовались в прихотливом ритме, как недоступные нашему пониманию условные письмена, имеющие тайный смысл.

То были пожизненные знаки, оставленные обрядом посвящения в мужчины, и говорили они о суровых испытаниях, недоступных чужому любопытному взгляду,— испытаниях мужества и терпеливости, отваги и ловкости, испытаниях болью и кровью, через которые все они прошли под сенью экваториального леса.

Смокинг же, салоп, отрепья мундиров, разбитые очки, засаленная фетровая шляпа, потертый котелок, фабричные ожерелья и запястья, пестрые ситцевые чалмы, тропический шлем в сочетании с намотанной вокруг бедер домотканой материей — все это несомненно являлось признаками иного посвящения. То была мета лишенного какого-либо таинства приобщения к чужой, недавно заглянувшей сюда цивилизации. Приобщение начиналось на побережье, в портах, и распространялось в глубь материка, в лесные дебри. Внешние знаки цивилизации выглядели жалко и смехотворно, однако, хоть это может показаться странным, именно эти нелепые знаки рождали предчувствие неизбежного, куда более сложного и совершенно отличного процесса, который вскоре должен начаться, а может быть, уже и происходит подспудно и в конце концов приведет к куда более глубинному проникновению подлинно современной цивилизации, не ограниченному появлением всевозможных заморских обиходных предметов. Предчувствовалось, что старым котелком дело не ограничится, что, начавшись с этого, процесс вслед за вещами принесет новые знания и новые мысли, разбудит национальное самосознание и вместе с тем приобщит людей, на долгое время остававшихся отъединенными от исторического движения, которое охватывало остальной мир,— к эволюции и борьбе, общим для всех народов нашей планеты.

Именно потому, что с представлением о сложных мировых процессах, о борьбе идей, о самоопределении во все усложняющемся мире так не вязались причудливые картинки, которые замельтешили перед нами в далеком южном порту, — именно потому отвлеченные мысли эти возникли с особенной остротой.

На берегу видны темно-коричневые горы, лишенные растительности, совершенно голые. Горы пустыни. Видны коттеджи, взбегающие на склоны, а невдалеке от порта — несколько горбатых улочек, застроенных невысокими, в два-три этажа, нарядными домами. Светлые тона. Колонны и лоджии. Все это лишено национальных черт и несет отпечаток безликого — колониального — стиля. На пятачке городской площади разбиты цветочные газоны и пестреют зонты над столиками открытого ресторана. На глянцевитой открытке, купленной у худого, высокого берберийца в пышной цветастой чалме, написано, что площадь эта называется — Крещент. Слово напоминает о киевском Крещатике, по которому ходил месяца полтора назад, будит воспоминания, милые сердцу. Но по-английски «кре-

щент» обозначает лишь внешнюю форму, подобную лунному серпу; на здешний серп выходят дома двух гостиниц и еще какое-то казенное здание, тут же за ними город кончается, как бы и не начавшись, громоздятся резервуары для привозной воды, по голой горе вьется узкая лента дороги, на крутых завитках серпантина видны два мотоцикла да небольшой открытый автобус.

Берберниец, продающий открытки с видами Адена, перехватывает мой восхищенный взгляд, устремленный на его чалму. Он тут же предлагает купить эту чалму, называет цену. Я не понимаю его слов, но догадываюсь, что это лучшая чалма на Аравийском побережье. Цена копеечная, а соблазн велик. Чалма из Адена, такая красивая чалма, к тому же с головы настоящего берберийца. Конечно, я ее покупаю, она моя, бывший хозяин снимает эту мою чалму со своей головы, и тут же она превращается в ветхий, засаленный ситцевый платок, из которого я уже никогда не сумею соорудить тот прекрасный, затейливый, пышный убор, что покорил мое воображение, когда я увидел его на голове настоящего хозяина.

Еще покупка. Команда, скинувшись, покупает двух обезьян. До острова Врангеля идти еще долго. С обезьянками в море будет веселее. Это две макаки: совсем молодой самец и старая, хмурая самка. Придумывать имена не надо. Покупать обезьянок в Адене — давняя корабельная традиция. И имена традиционны: Яшка и Машка. Правда, неизвестно, как макаки будут себя чувствовать в Ледовитом океане. На худой конец, можно будет подарить их зоологам во Владивостоке (там, вероятно, собралось уже порядочное обезьянье стадо!). Во всяком случае, мы от традиции не отступили. К экватору «Литке» пойдет, имея на борту Яшку и Машку. С окруживших ледорез лодок протягивается к нам целый лес банановых ветвей, отягощенных незрелыми плодами. Теперь запас бананов нам необходим — это корм для Яшки и Машки. На палубе, под тропическим солнцем, бананы будут доходить превосходно.

Хорошо бы на берег.

Нельзя.

Хорошо бы искупаться.

Но воду залива то и дело прочеркивают стремительные акульи плавники.

Возле десятка кораблей, что собрались сейчас на акватории порта, местные подростки устраивают гладиаторские состязания: ныряют в «акулью уху» за монетками, брошенными с борта.

Зрелище, как говорится, не для нервных. Палубы кораблей превратились в амфитеатр Колизея. Публика шумит, подстегивает ныряльщиков неистовыми возгласами, и кажется, не ныряльщиков подстегивают, а акул, которые не подходят близко,

но предпочитают держаться на почтительном расстоянии. Ах, как хочется зрителям, чтобы случилось что-нибудь остренькое, сдобренное кровью. Совсем близко от нас — кормовая надстройка большого нефтеналивного судна «Аннализа» из Бремена. Высокий парень в белоснежной рубашке с закатанными рукавами следит за лодкой, что вертится у самого танкера. Гребец сидит в лодке, другой мальчишка — в воде. Он держится рукой за борт лодки и смотрит вверх, на палубу танкера. Оттуда немец в щегольской рубашке швыряет снова и снова легкие никелевые монетки. Они тонут медленно, тускло поблескивая и словно бы увеличиваясь в воде. Мальчик ныряет следом за каждой и ловит монетку у самого дна. А острые спинные плавники идеальной аэродинамической формы продолжают мелькать у башенки маяка.

Бывший хозяин моей чалмы говорит доверительно, будто раскрывая секрет торговой фирмы:

— Акула черного нипочем не съест. Она только белых людей ест, а черного мальчишку никогда не тронет.

Внезапная ли это импровизация или бытующая здесь легенда?

Хорошо, что этих слов не слышит парень с танкера.

Он бросает и бросает свои монетки, и напряженное ожидание написано на его лице.

Тем временем погрузка угля заканчивается. Боцман свищет: «Палубные на брашпиль!» Якорные цепи грохочут в клюзах, и еще засветло мы выходим в открытый океан, оставив через несколько часов остров Сокотру по левому борту.

Машинисты нашли в своем кубрике едва живую саранчу, залетевшую к ним, наверное, еще во время перехода через Красное море. Последняя памятка с африканского материка.

Еще один мельком увиденный, будто в приоткрывшуюся щелочку подсмотренный, мир остался позади.

Из Адена капитан связывался по радио с управлением Главсевморпути, запрашивая, нет ли новых сведений с Врангеля. Ответили, что никаких сведений нет, радиостанция на зимовке по-прежнему не работает и, вероятно, не будет работать до нашего прихода. Налаживать ее, кроме наших радистов, некому. Рассчитывать на какие-либо сообщения можно только в том случае, если кто-нибудь из зимовщиков попадет по льду на материк и сумеет связаться с Москвою из Уэлена или из бухты Лаврентия. Но надеяться на это трудно. Путь с острова на материк и в хорошую-то погоду нелегок, а сейчас там ранняя весна, пора метелей и штормов. В общем, «от вас первых известий и ждем», — сказали в Севморпути капитану. А нам идти еще долго. Для сокращения времени мы отказались от захода в Коломбо — пойдем прямо на Суматру,

в Сабанг, и снова ограничимся там самой краткой стоянкой. Расстояние от Адена до Сабанга — почти три тысячи миль, это означает для нас при самых удачных обстоятельствах двенадцатидневный переход. А сколько еще остается?! Капитан, наверно, прав: в море загадывать не следует. Это не суеверие, а плод жизненного опыта.

Выйдем же доверчиво, без ненужных расчетов, в открытый океан — на дорогу неожиданно осуществленной ребячьей мечты.

•

Вчера Шера показал мне над горизонтом звезды Южного Креста.

Звезды как звезды.

— Откуда вы знаете, Сан Саныч? Разве вы плавали здесь?

— Доктор сказал.

Как бы то ни было — событие: увидели Южный Крест.

Но в водах, осененных Южным Крестом, приходится прежде всего браться за постылое матросское дело. Боцман вспомнил, что вентиляторы крашены еще на севастопольской стоянке; солнце Красного моря сделало свое дело,— надобно красить их снова. Здесь это занятие совсем иное, чем когда корабль стоит в бухте на якоре. Там все было спокойно и просто; здесь же несложная процедура выглядит совершенно иначе. Вместе со всем корпусом корабля вентилятор раскачивается на океанской волне. Счищая старую краску скребком, я сижу верхом не на хорошо знакомом мне неодушевленном предмете, а на живом существе, которое почему-то возненавидело меня и испытывает на мне свой отвратительный, вздорный характер. Оно взбрыкивает подо мною, силится сбросить, заставляет уронить скребок, искать его на уходящей из-под ног палубе, а потом снова карабкаться наверх. Но врешь. Долго ли, коротко ли, а краска счищена. Теперь надо наносить новый грунт. И опять начинается злая игра. Я стою на узком бруске планширя с малярной кистью и пытаюсь дотянуться до вентиляторного раструба. Крен право — и вентилятор валится на тебя, толкаясь, силясь свалить меня за борт. Крен лево — и приходится, обхватив вентилятор руками, падать на него всем телом, не выпуская при этом кисти. Краска же, несмотря ни на что, должна ложиться ровно, иначе не избежать мне Митиных насмешек и «словесности» боцмана.

На вечерней вахте почти прохладно.

Впервые после парилки, испытанной при переходе через Красное море, на палубах снова слышатся неторопливые беседы. Перед наступлением темноты мы с Митей скатываем желающих забортной океанской водой из шлангов, и теперь эта свежесть не улетучивается сразу бесследно; ее хватает на

некоторое время, и среди освежившихся даже находятся желающие сыграть в шахматы или забить морского «козла».

За шахматной доской способны сидеть часами два молодых ученых: океанолог Валентин Горобов и планктонолог Сергей Прохоренко, сонный с виду и медлительный в движениях. С ними пробовали состязаться другие — штурман, доктор, радист. Но вскоре отваливались, разбитые наголову.

— Это даже неинтересно,— протянул доктор Шатров, огорченно вытянув губы в трубочку. — Вам с гроссмейстерами играть, а не с нами, грешными.

— Играли,— радостно сказал Горобов своим высоким мальчишеским голосом.— С Ильиным-Женевским две партии вничью свел.

Еще в Севастополе было известно, что с нами пойдут три научных работника, ленинградцы, чтобы вести свои исследования на пароходе, и главным образом в морях Восточной Арктики, до сих пор очень мало изученных. Кроме двоих шахматистов был в их группе еще третий,— кажется, биолог, необыкновенно миниатюрный и прозванный за эту свою миниатюрность «оловянным солдатиком». У него и ручки были крохотные, и ножки, только разговаривал он неожиданным густейшим басом и выпить умел столько, что принятая им порция слона бы под стол свалила. Но это все выяснилось гораздо позже. А в первые дни перехода их почти не было видно; они появлялись в кают-компании, здоровались, прощались и исчезали, объяснив свое отшельничество тем, что нужно приводить в порядок научную аппаратуру и приборы.

Скорее всего, мрачное настроение одолевало их после монолога, произнесенного капитаном еще в Черном море, чуть ли не за первым же ужином после выхода из Севастополя.

— Удивительное дело,— сказал тогда Константин Александрович,— никогда у нас не бывает общего правильного представления о том, за что боремся. Вот послали корабль менять зимовщиков в высоких параллелях. Так уж, кажется, всякому должно быть ясно: дело срочное, никаких затяжек не терпит и все этой срочности должно быть подчинено. Но нет же, отнюдь не всякому это ясно. Весьма уважаемая и высокоученая инстанция, принимавшая участие в подготовке нашей экспедиции, не принимает во внимание все мои протесты и прикомандировывает к нам научную группу. Да ведь мы же с вами ссориться будем всю дорогу, дорогие товарищи...

— Зачем же нам ссориться? — попытался примирительно сказать Оловянный солдатик, старший по возрасту из ученой тройки.

— А это я и им говорил, и вам говорил, и еще раз скажу,— откликнулся капитан, подчеркивая свое долготерпение.— Ведь

я с вашим братом плавал, и работу вашу приходилось видеть. Вы будете просить, чтоб я вам устраивал станции. А я вынужден буду в этом отказывать. Потому что каждая станция — это задержка. Пусть на два, на три часа, но — задержка. А у меня на такие задержки времени нет.

— Мы скромные,— сказал от волнения чуть ли не дискантом Горобов.— Нам много станций не нужно. До Владивостока — четыре.— Он перехватил взгляд капитана и тут же поправился: — Одну счеркнем. Три.

— А это полсуток,— подытожил капитан и, поднявшись, оборвал разговор.

В Красном море ходил к капитану Сливинский, Оловянный солдатик. Задрав кверху свою мефистофельскую бородку, он просил устроить станцию.

— Хоть на час. Даже за полчаса управимся,— смущенно откашливаясь, басил он.

Капитан отказал.

— Команда вконец измучена. А тут еще маневрировать придется. И в Аден чересчур поздно придем...

Зато в Индийском океане троица оживилась. Капитан сам пообещал устроить станцию, где им будет удобнее.

— Определяйте сами. Где-нибудь на подходах к Суматре. Годится?

Годилось.

После этого разговора и началась шахматная горячка. Горобов и Прохоренко играли примерно в равную силу. Но у Горобова был пока перевес в две выигранных партии. Прохоренко добивался реванша.

За партией наблюдал Митя, голый до пояса. Только недавно я увидел, что и у него есть наколка на предплечье. Корявыми буквами вытатуировано красной тушью:

«Помни дни бушующаго моря».

Освеженного океанским бризом, его тянет на воспоминания. Он спускается в кубрик и, вернувшись, выносит добытый из укладки альбом. Фотографии тщательно расклеены в нем, и каждая подписана каллиграфическим почерком:

«Отец и мать».

«Отец, мать и братья».

«Клава Румянцева».

«Корешки».

За корешками — поясной портрет без подписи: чернявая девушка с поджатыми губами и взглядом, устремленным в объектив. На коротко подстриженных волосах — веночек из полевых цветов.

— Тут у меня вроде любовь была,— выдавливает из себя Митя.

Правда, он еще раз произносит ту же фразу, слово в слово, когда через несколько страниц нам встречается фотография веселой толстушки в купальнике.

Он только добавляет:

— На Омеге жила. Каждый день ездил...

Есть такой выселок в Севастополе — Омега...

Альбом с фотографиями, добытый из матросской укладки, это и картинки устойчивой береговой жизни, и подмена неверной, изменчивой памяти, и внезапное установление подспудных связей между разорванными случайностями собственного существования.

Следуя за Митей по листам его альбома, я понимаю, что он ведет от фотографии к фотографии не меня, а себя самого и что потребность в таком путешествии по стране памяти возникает у него не из сентиментальных побуждений, а вместе со стремлением в самом себе разобраться.

Но вот на одной из открыток — вместе с кем-то из корешков, а может быть, с одним из братьев — я с трудом узнаю и самого Митю.

— Ты ли это?

— Это прошлый год домой приезжал. С Петькой Кравцовым к фотографу сходили.

Два парня сидят на составленных рядом стульях. Темные пиджаки накинуты на плечи. Тесные воротники сорочек затянуты трикотажными, узкими — по моде — удавками с белой полоской посредине. Волосы разделены на пробор, чего я у Мити никогда не видел. И рачьи — это у Мити-то, у иронического, живого Мити! — тупые, рачьи глаза застыли, лишенные всякого выражения. Четыре руки, в каждой на вид по пуду, лежат на коленях.

— Хотели с Зинкой и Верой сняться,— ухмыляется при воспоминании Митя,— а они ни за что.

Значит, и удавки были надеты, и проборы расчесаны, и рачьи глаза изображены ради покорения Зины с Верой. И фотограф, в меру своего разумения, помогал им в этом предприятии.

Теперь и эта фотография осталась звеном в общей цепочке: приезжал домой, куролесили с Петькой, подъезжали к девочкам, жизнь шла своим чередом. А потом будет Севастополь, вахты на «Литке», плаванье на Север, к острову Врангеля...

В долгом переходе без берега корабельный быт густеет, устаивается. Вечерние рассказы в кают-компании приобретают все более беззастенчивый мюнхгаузеновский оттенок.

Вчера, например, ключ зажигания повернул капитан. Он сказал:

— В такую жарищу — рюмку коньяку с лимоном! Отлично, знаете, температуру снижает.

Старпом немедля завелся:

— Известное дело. Помню, на Черной Речке... Такой тогда знойный август был. Не поверите, стол в воду поставим, рассядемся вокруг голышом и чаи гоняем. Вот за этим столом опрокинул я раз рюмку коньяку. Взял, натурально, лимон с сахарной пудрой.— На морщинистом личике старпома изобразилось непередаваемое наслаждение. Он выдержал паузу, чтобы усилить впечатление, и продолжил: — А минут через десяток брат меня толкает: «Володька, что с тобой, ты же синий совсем?» Вывели, уложили, стали температуру мерять. Хотите — верьте, хотите — нет. Тридцать четыре и две десятых. По Цельсию.

Никакой реакции. Только «дед» сказал:

— Снижает коньяк. Это каждому известно, снижает. А вот ром — он повышает.

— И водочка,— поддержал Шера.— Тоже повышает.

Казалось, за вечерним столом преднамеренно говорят обо всякой ерунде, запрещая себе, начисто выключая ту единственную тему, какая на самом деле всех волновала: о людях, что дожидаются нас в верхнем правом углу географической карты.

Играли в известную детскую игру: «белого и черного не называйте...» Ерунда разливалась безбрежно. Среди действующих лиц вечерних побасенок, наряду с бесчисленными капитанами, штурманами, чудо-матросами и хитроумным шипчандлером из Гонолулу, появился наконец штык-юнкер в отставке. Он был примечателен тем, что охотился с борзыми на кенгуру в Самарской губернии.

— И такой, понимаете, редкий был оболтус, что даже до портупей-юнкера не дослужился. Так штык-юнкером и преставился...

Зато белого и черного не вспоминали.

Что-нибудь новое находилось каждый вечер у Шеры.

Он не выдумывал. Он только преувеличивал. Нынче он рассказал про электрического ската, которого ясно разглядел с кормы. Скат был в длину с нашу кают-компанию, а в ширину побольше, чем с ее половину.

Второй механик, Торба, принялся его обидно высмеивать. Но Горобов и Сливинский вступились. Они тоже видели ската.

— Минут через десять после полуденных склянок?

— Не обратил я внимания на склянки,— смутился Шера.— Может быть. Пожалуй, так должно было быть...

— Был скат. Не такой, правда, большой. Но вполовину — был...

Еще он стал рассказывать, как в Одессе решили, что капитанам дубков следует выдать дипломы на право кораблевождения. «Дубок» — это разновидность шаланды. Их рабочий сезон наступает в августе и сентябре, когда эти большие, тяжелые лодки снуют между Одессой и степными портами в низовьях

Днепра и Буга, чуть не по самый борт притопленные грузом арбузов и дынь, огромными корзинами с гроздьями винограда, ящиками и бочонками закопченной в рыбачьих коптильнях скумбрии. Водили эти дубки хмельные капитаны, немолодые люди, выросшие в здешних селах. У каждого было по одному или по двое подручных-подростков, вот и весь экипаж. Никакой науки эти капитаны никогда не проходили. Но с детства усваивали они сотни примет, из которых и складывалась неписаная местная лоция, воспитывалось искусство кораблевождения. Когда-то по этим приметам не только в Одессу и Херсон ходили, но добирались до Босфора, до Синопа и Варны.

Наступил, однако, день, когда принято было решение отставить от каботажного плаванья всех, кто не сумеет сдать экзамен по основам навигации и лоции и получить специально учрежденный диплом.

Комиссия приезжала в большое рыбачье село, в какой-нибудь Анчекрак, к примеру. К облюбованной ею хате собирались десятки окрестных мореходов и облегали хату многочасовой осадой, усевшись на корточки и дымя махоркой. Вызывали по трое. Жены с маленькими детьми, престарелые отцы и матери испытуемых толпились у распахнутых по-летнему окошек, заглядывали в горницу и передавали по цепочке:

— Христина, твой фамилие написал.

Это был не самый легкий этап испытаний.

Еще работал в ту пóру ликбез. Еще учеников для его классов хватало. Если кому приходилось расписываться, многие ставили вместо имени крест. И корабельный журнал велся зарубками. Стояла у вахтенного (а им бессменно был все тот же хозяин дубка, именовавший себя капитаном) деревянная модель компасной картушки, и на ней он перочинным ножиком засекал, каким шли курсом и сколько часов. А мог и не засекать, ежели лень было. Так, наверно, и Одиссей плавал, и так же отправлялись на поиски золотого руна. Кстати, все это происходило поблизости.

— Слышь, Мотря, а с твоего чего-то смеются,— шло от окошка.

Не нравилось это капитанам. Сильно не нравилось.

Шера вспоминал экзамены в Сухой Балке. Выходило неясно: не то он там был в комиссии, не то сам экзаменовался. К концу первого дня в длинном списке явившихся — против каждой фамилии стояло по тощему, нахально-враждебному колу.

Капитаны собрались у сухорукого Даньки. Был выставлен самогон, заготовленный на случай любого исхода испытаний — для торжествующих и погоревших. Но торжествующих не оказалось. Сухорукий Данька, Микола Тягнибеда и грек по имени Ангел были избраны делегатами. Они отправились к членам

комиссии, которые, освободившись от своего дела, тоже пили самогонку у хозяина выделенной им хаты. Делегатов пригласили к столу, они выпили еще по стакану и включились в хор, исполнивший песню про «рыжие локоны, черные глазки». Но про порученное им общественное дело они не забыли. Комиссии был предъявлен категорический ультиматум:

— Дадите дипломы — порядок. Не дадите — снимем штаны, набьем по тому самому месту и без штанов отправим домой.

Комиссия посовещалась и, поразмыслив, решила не рисковать. Попытались, правда, отказать в дипломах тем, кто не умел расписаться.

— А что? — возразил председателю сухорукий Данька.— Дед Трофим хуже тебя море знает? Помирать, дубок и души губить по своей воле никто не захочет. А если что, так апостол Петр росписи не спросит. И до раю нам все равно ходу не будет — и кто грамотный, и кто крест ставит. Может, с крестом еще и лучше.

С Данькой спорить никто не стал, и дипломы выдали всем.

Дослушав рассказ, Торба не упустил случая и поддел Шеру:

— С этим дипломом и сейчас ходишь?

Шера без обиды дал точную справку:

— Я в гимназии четыре класса прошел и в Одессе мореходку закончил.

— Училище?

— Ну, курсы.

Капитан едва заметно улыбнулся.

— Для капитана дальнего плаванья совершенно достаточно.

От продолжения неприятного разговора нас избавил старпом. Он привычно подхватил упущенную нить ни к чему не обязывающей ленивой вечерней травли:

— А я фельдшерские курсы кончал.

И стал рассказывать, как случилось ему принимать роды на переходе из японского порта Кобе в Петропавловск-на-Камчатке. Оказались двойняшки. Сейчас им лет по двенадцати, и они вместе с матерью на каждое рождество и на пасху пишут ему письма.

— По-русски пишут? — справился Торба.

— По-японски,— не запнулся старпом.— У меня в доме сосед японец. Переводит.

«Дед» выдал рассказ с привидениями.

Капитан поднялся из-за стола.

— Доброй вахты, — пожелал он нам с Шерой. И остальным: — Покойной ночи.

В самом деле, была уже без пяти минут полночь.

Наступило время полной луны, ночи стояли не по-южному светлые, и океан фосфоресцировал так сильно, что казалось, будто поверхность воды и есть главный источник неверного, зыбкого света, в котором плывет наш корабль, никого нынче не встречая на своем ночном пути. Ни парохода, ни даже рыбачьей лодки. Невысокие, но просторные волны катятся и катятся одна за другой, и на их широких гребнях мерцают мириады зеленоватых чешуек. Океан похож на звездное небо, но и звезды в нем текучие, влажные, под стать стихии. Я простоял в ту ночь всю свою вахту за штурвалом, курс не менялся ни разу, не менялась ни сила, ни направление ветра; нужно было только посматривать, чтобы острие стрелки на компасной картушке не отходило с предписанного румба, чтоб корабль «не рыскал».

Что ж, он уже и не рыскал.

Мне наконец стало это удаваться, и Митя, удостоверившись в этом, примостился на ящике у борта и начал подремывать.

Подправляя шпаги штурвального колеса то вправо, то влево, я попытался припомнить ту ерунду, вокруг которой — весь нынешний вечер! — вертелся разговор в кают-компании. Ведь накануне же было иначе. Накануне, едва унесли чай, Сливинский подсел к пианино и стал играть Скрябина. Они с Горобовым заспорили о новой музыке. Горобов, ворча, соглашался принять Равеля и Дебюсси, но начисто отрицал Стравинского. Капитан сказал, что если ему разрешено будет высказать свое мнение, то для него самая новая музыка это Шопен и Чайковский. Сливинский, может быть, горячее, чем следовало, возразил, что это то же самое, как если бы он взялся утверждать, что корабли Кука — последнее и самое совершенное слово в мореплавании. Капитан, тоже с несвойственной ему запальчивостью, сказал: «А что? Верно. Не такие уж плохие были у Кука корабли». Он сказал, что на фрегате вроде «Паллады» он бы отправился выполнять нынешнюю свою задачу с большей уверенностью в успехе. Конечно, конструктивные перемены для плавания во льдах понадобились бы. Но выполнить их не так сложно...

Тут Горобов вспомнил «Персея», экспедиционное судно, которое плавало в арктических широтах западного сектора. Он вспоминал своих профессоров, с которыми ходил на «Персее» к Шпицбергену и Новой Земле, в Маточкин Шар и к Земле Франца-Иосифа. «Персей» был его первой морской любовью. Но все это оказалось лишь трамплином, достаточным, чтобы перепрыгнуть от разговора о новой музыке к зимовщикам острова Врангеля. И тут догадок, прогнозов, оптимистических и пессимистических предположений, на которых перессорились друг с другом чуть ли не все присутствующие, хватило на весь остаток вечера.

Ничего не поделаешь. Каждый из нас был всеми мыслями там, за тысячи миль отсюда. Никуда от этого не уйти.

Попыткой отделаться от неотступных мыслей была вся словесная требуха только что минувшего вечера. Никому она не помогла.

— Маркони! — сказал напоследок старпом радисту. Все корабельные радисты зовутся «маркони». — А не попытаетесь ли вы узнать, что новенького на интересующем нас острове?

— Пытался, — подтвердил радист. — Велено до Владивостока попытки отставить.

Он объяснил полученное указание, выразив понимание и сочувствие:

— Они ведь там тоже переживают, в Москве. Теперь на нас вся надежда.

Курс наш был все еще проложен на юго-юго-восток.

По карте линия экватора пролегала уже не так далеко. Но пересекать ее мы не собирались.

В нескольких километрах от экватора путь наш свернет к северо-востоку, а потом и прямо на север, и тогда приближение к цели начнет становиться все более ощутимым. Но пока мы все еще идем к югу, к югу, и наша главная цель остается призрачной.

Мы миновали Цейлон, поспешая и отворачиваясь, как прохожий с пустым карманом поторапливается по проспекту мимо зовущих его витрин. Мы помнили фотографии Коломбо: парки и рощи, о которых говорилось, что это и есть остатки библейского рая, нарядные дома среди зелени пальм, рикши на асфальте людных улиц. Но увидели мы лишь дальние абрисы синих берегов и белый силуэт южного маяка. Да еще испытали на траверзе Цейлона внезапный и короткий порыв налетевшего шквала, который свалил со столов и перебил несколько бутылок и погасил на корабле электрический свет. Шквал принес с собою тропическую грозу, и в течение получаса мы шли под арками молний, расчеркивавших небо от горизонта до горизонта. Молнии сверкали так часто, что при их свете можно было читать без всяких пауз. А гром тонул в непрерывном шуме океана, и его не было слышно.

Но теперь было тихо.

На горизонте все чаще начали появляться дымы других судов, напоминая о том, что мы идем по одному из самых оживленных корабельных путей. Заканчивая вахту и сдавая ее второму помощнику, Шера сказал, как всегда:

— С добрым новым днем.

И ушел отсыпаться.

Дневные сборища сами собою перенеслись теперь к тенту, сооруженному на полубаке для Яшки и Машки.

Макаки не обращали внимания на шумное окружение. У них были свои дела, и они продолжали ими заниматься. Бо́льшую часть их времени поглощало выискивание блох друг у друга.

Их позы, движения, взгляды были так похожи на человеческие, что смотреть на обезьян становилось неприятно: это была очень верная, но и очень злая карикатура. Еще более злою она делалась, когда разморенные зноем макаки засыпали в небольшом гамачке, одна возле другой. Матросы отворачивались, словно в смущении. Яшка был много моложе своей случайной попутчицы. Она к нему и относилась, как к мальчишке: немного презрительно, слегка покровительственно, и, как бы нехотя, учила его тому, чему он еще не был обучен.

Люди у обезьянника почти так же голы, как наши макаки, и так же откровенны. Во всяком случае, в разговорах.

Как было уже в Красном море, здесь снова открыта выставка, где представлены самые разнообразные, порою весьма затейливые татуировки.

Хилый якорек обнаружился даже у профессора Сливинского на неожиданно могучем предплечье. Говорит: «В Архангельске подпоили и сонному накололи». Может быть, может быть, так и было...

В своем обычном строгом костюме он казался тщедушным. Малорослый. Чересчур иронический, что редко свойственно сильным людям. Неравнодушный к спиртному и не по объемам умеющий пить. Бородка клинышком, которую он, по собственным его словам, отрастил только потому, что не умеет чисто выбривать подбородок. В общем, слабосильный городской Мефистофель.

Но, разоблачившись в тропиках, он вдруг оказался похожим на японского борца,— с развернутой грудью, на прочных ногах, с хорошо развитой мускулатурой.

Чернозубый кочегар Гражданкин, которого в Севастополе капитан вместе с судкомом — за два дня до выхода в море — отпрашивали у милиции после какой-то поножовщины, рядом со Сливинским показался вдруг слабаком. У Гражданкина во всю грудь наколото синее распятие. К обезьяньему тенту он приходит с гитарой. Голос у него довольно приятный, несмотря на то что, собираясь петь, Гражданкин искусственно понижает тембр до несвойственного ему баритонального звучания. Он сам предупреждает свое пение словами:

— Сделаем баритон...

Репертуар у него обширный, но не слишком разнообразный. Душещипательные окраинные романсики вроде:

Глазки серые, губки бантиком,
И одета прилично она,
Шляпка красная, с черным кантиком,
И красивая также была...

Иногда это романс-признание:

Я тебя, чертенок, горячо люблю,
Больше всех девчонок, лишь тебя одну...

В одной из его песен звучит откровенная жизненная программа:

Дуся — рубль, Люся — два, а Маруся — полтора,
Вот тебе и новые ботинки!..

Похоже, что этой программы он старался придерживаться весьма последовательно. Бесчисленные его воспоминания, которыми он так любит делиться, не скупясь на подробности, всякий раз это подтверждают. Степеннейший Федор Иванович Чумак, который и с забубенным Степой Байраченко способен отыскать общие темы для беседы, брезгливо сторонится Гражданкина. Это, по его мнению, совершенно нестоящий, безнадежно конченный человек. Но и Гражданкин, в свою очередь, вовсе не интересуется мнением Чумака. Если бы известна была Гражданкину современная социологическая терминология, он причислил бы Чумака к рядовым «поедателям хлеба». Это было бы неверно, потому что Федор Иванович по всему своему складу был именно не поедателем, а хлеборобом, в самом полном значении этого слова. Только долгая цепь случайных и сложных жизненных сплетений отогнала его с черных земель на Черное море. Гражданкин же называл его по-своему, и еще более неверно: салотóп. В словечке этом сливались и пренебрежение тощего, в собственном самосознании тощего, кочевого человека к непременному жирку оседлости, и опасливая настороженность городского люмпена по отношению к деревне, которую он привык связывать с заплывшей салом косностью, с кулаческим накопительством, и враждебное отталкивание от сытого морализаторства, какое он усматривал в том, что было для Чумака естественной и активной жизненной позицией.

Чумак и Гражданкин были антиподами настолько, что даже столкновение между ними было невозможно. Не могут же столкнуться Северный полюс и Южный.

Федор Иванович с Гражданкиным и не сталкивались. Злой «дух» пребывал в своей преисподней, а старый матрос следил на верхних палубах за тем, как мы с Митей управляемся со скребками, флейцами и голикáми, доводя доски обшивки до восковой желтизны и надраивая медные части до золотого сверкания. Если же наш наставник оказывался невдалеке от Гражданкина во время каких-либо сборищ в часы досуга, он тут же уходил. Так ушел он и от обезьяньего тента, едва Гражданкин принялся «делать баритон», готовясь к сольному выступлению.

Перед уходом он сообщил нам, что идет отбивать те самые склянки, что обозначают начало нашей дневной вахты.

Курс корабля оставался прежним: OSO 65°17′.

Но погода заметно переменилась.

Мы вошли в полосу устойчивых муссонов, по океану громоздятся высокие валы, сбивая друг с друга белую пену. Крен достигает пятидесяти градусов, и Чумак, поставив Золкина к штурвалу, посылает меня проверить крепление всех предметов, находящихся на палубе.

Заглянув в рубку, я вижу Шеру. Он склонился над судовым журналом и делает вахтенные записи, от старательности по-школьнически высунув язык. Качка то прижимает его руку с пером плотно к бумаге, то с силой отрывает ее от страницы. Но ежедневная формула выведена каллиграфически:

*12 мая 1929 года.*
*На пути из Адена в Сабангу*
*от полудня случаи.*

«От полудня случаи». Сколько лет этой формуле? К ней прибегали, наверно, вахтенные офицеры на кораблях Крузенштерна. А может быть, ею же пользовался и Витус Беринг.

И тут еще эта удивительная «Сабанга».

Переведенное в женский род, название нашей ближайшей стоянки начинает звучать, как полуфантастические для нашего слуха имена земель, открываемых на пути Марко Поло или Магелланом.

Приняты две радиограммы из Коломбо. В одной — очередная сводка погоды. Она обещает шквальные ветры от берегов Читтагонга, и мы, по крайней мере, хоть это ничего не изменит, можем теперь догадываться, откуда идут высокие валы, по которым переваливается с борта на борт и с носа на корму «Федор Литке». Вторая — просит следить, не покажется ли рыбачье парусное судно, которое считается погибшим в сегодняшнем шторме. Нужно следить и за обломками: на них могут быть люди, потерпевшие кораблекрушение.

Следим.

Чумак сам карабкается в «воронье гнездо» — бочкообразную площадку у самого топа фок-мачты. Он ничего не видит, кроме отдаленных дымов встречных и попутных судов. Одно из них проходит очень близко; это огромный лайнер, один из тех комфортабельных плавучих отелей, которых год от года становится больше на океанских путях. Он оказывается так близко от нас, что можно разглядеть его почти пустые палубы, а напоследок прочитать название на корме: «Герцогиня Иоркская», порт Саутгемптон. Идет, наверно, из Бомбея в Европу.

Принимается новая радиограмма. Она уточняет координаты аварии рыбачьего судна. Это произошло в добрых пятистах милях к северу отсюда, в рассветное время. Чумак может опускаться из своей бочки со спокойным сердцем. Он опускается

по ускользающей, валящейся то вбок, то вперед, то падающей назад мачте.

И сердце ни у него, ни у нас не спокойно. О людях, которые потерпели крушение и, может быть, еще держатся где-нибудь на обломках своего судна, трудно забыть. Сознание того, что они чересчур далеко, не успокаивает. Напротив, оно вызывает досаду и унизительное чувство собственного бессилия.

В корабельных коридорах качка отрывает твои ноги от палубы и швыряет тебя с переборки на переборку. Во время ужина стол в кают-компании огражден невысокими бортиками, которые почему-то именуются «скрипкой»; посуда вставляется в гнезда, но все это помогает мало. Все время что-то звенит, расхлюпывается суп из тарелки, с дребезгом разбивается стекло, и вечерняя травля становится еще более оживленной.

От Адена пройдено уже больше двух тысяч миль, до Сабанга еще суток трое пути. Горобов и Сливинский заводят разговор с капитаном о том, что именно в этой части Индийского океана им более всего нужна была бы короткая станция.

— Право же, совсем небольшая. Часика на полтора станция.

И капитан обещает. Если исправится погода.

— Ведь все равно при шквальном ветре ничего же не сделаете.

С этим приходится согласиться.

Да, конечно, если позволит погода.

Наши ученые заклинают стихии с такой исступленной гипнотической силой, что на следующие сутки, уже глубокой ночью, погода действительно позволяет им провести станцию.

Несмотря на позднее время, в их работе принимает деятельное участие вся свободная от вахты часть экипажа. При тусклом свете фонарей «летучая мышь» за борт опускается на тонких шкертах и проволочках бесчисленное количество хитрых приборов, марлевых сеточек и простых ведер. Горобов, Прохоренко и Сливинский просят менять курсы; корабль выполняет маневр за маневром, приборы поднимаются на палубу, показания их записываются, шкерты опускаются снова, содержимое мешочков, сеточек, ведер разливается по приготовленным стеклянным банкам; наклеиваются сигнатурки с точной записью координат, где был вытащен мешочек или ведро с содержимым банки. Белая пена за бортом и кормою вся искрится холодным огнем фосфоресценции. Даже в брезентовом ведре, вытащенном на палубу, вода все еще продолжает светиться. Станция продолжается два часа, три, три с половиной, восходит солнце, и наконец тройка ученых разбегается по своим импровизированным лабораториям, наспех оборудованным в каютах. Старпом опять задает штурвальному прежний

курс — OSO 65°17′, — и мы продолжаем следовать своим путем, к северной оконечности Суматры.

Еще какое-то время, постепенно затихая, длится возбужденная суета. Спира Жученко и Минас Каракаш шумно уверяют, что они своими глазами видели, как Сливинский доставал из ведра какое-то невероятное, хоть и не очень большое, чудище. Поминают выпученные глаза, похожее на обвисший мешок тело и страшные, колючие плавники. Атакованный любопытствующими, Сливинский наотрез отказывается подтвердить какие-либо сенсационные сведения. Он утверждает, что никаких чудищ, кроме зауряднейшего морского ежа да столь же обыкновенной иглы-рыбы, сегодня не видел. Горобов хвалится рыбой-лентой. Она вьется в банке, продолговатая, светлая, почти прозрачная. Представиться кому-нибудь чудищем она никак не может. Я начинаю понимать происхождение историй о морских змеях и драконах.

Океанологи еще делятся друг с другом свежими впечатлениями, прибегая при этом к малопонятным для непосвященных терминам. Но вскоре заканчивается и это, и Прохоренко с Горобовым, будто позабыв о бессонной ночи, привычно усаживаются за шахматы.

И опять на поверхности океана усиливается волнение, словно в подтверждение того, что короткая передышка дана была, лишь чтобы сделать возможной долгожданную станцию.

Сводка погоды принимается уже не из Коломбо, а из Сабанга. Ничего путного она не обещает, но и пугающего в ней тоже ничего нет. Идут и идут с востока на запад встречные крутые валы, продолжается несерьезная, но скучная качка — балла на четыре по шкале Бофорта. По кораблю мы продолжаем передвигаться под углом в тридцать — сорок градусов по отношению к ускользающей палубе. Со стола в кают-компании не убираются нарядные, но неудобные «скрипки», и вечером снова начинается неизменная травля.

На этот раз доктор рассказал о случае, которому стал он свидетелем, находясь на «Товарище» во время перехода в Южную Америку.

Они покинули Тулон и восьмые сутки находились в открытом океане под парусами. Вечером впередсмотрящий увидел прямо по носу небольшой корабль без хода. Ни на какие сигналы он не отвечал. Людей на палубе не было видно. «Товарищ» подошел прямо к борту встречного судна, но на нем так никто и не появился. Пришвартовались. Юнги с парусника перебрались на загадочный корабль и не встретили ни души. В кочегарку спускаться побоялись; только следующая партия, прибывшая вместе с преподавателями, осмотрела весь корабль, от ноков до трюма. Никого и никого. А в кают-компании и в кубриках накрыты столы. А на камбузе — недавно приготов-

ленный обед. А личные вещи не тронуты и в полном порядке. Радировали о встрече в ближайшие порты. Указали точные координаты. Отшвартовались и ушли.

— И что же оказалось?

— А ничего до сих пор и не знаю.

— А было все это? Или вычитано в романе? Или придумано для развлечения собеседников в такие вот унылые ночи?

— Конечно, было. Вопрос смешной, и даже, говоря откровенно, оскорбительный...

Доктор серьезен. Капитан тоже невозмутим. У всех остальных — ни тени удивления, только живейшая заинтересованность.

Что ж, было так было. Порадуемся тому, что хоть в открытом океане, на глухой корабельной тропе еще можно натолкнуться на неразрешимую таинственную загадку.

Рассказал Торба:

— А мне на ледоколе номер пять геморрой резали. Чтоб больно не было, дали хлороформу и велели считать. Я с собой фляжку спирта взял. Лежу, хлороформ нюхаю и спирт сосу. И считаю. До пятисот досчитал — ничего. Только считаю, пью и матом крою...

— А потом?

— Да ничего, все хорошо получилось. На ледоколе номер пять знаете какой доктор?..

Он с укоризной посмотрел на нашего.

Тот долго краснел, становясь похожим на доброго, стеснительного индюка. Потом сказал:

— Дурак ты, Торба. И сволочь, ничего больше.

— А геморрой же все равно у меня есть. Ничего ваша медицина не умеет.

Торба жирно захохотал.

Неожиданно разговорился Шера.

Он не был рассказчиком; никаких сюжетных историй у него не оказалось. Шера пространно размышлял вслух, пытаясь найти у собеседников поддержку и сообща отыскать ответы на множество вопросов, которые его, видимо, давно уже преследовали.

Первую свою гипотезу он изложил, вытащив из тарелки с рассольником лоснящуюся маслину. За последовавшими его рассуждениями, при всей незначительности внешнего повода, можно было угадать основу куда более широкую.

Разглядывая маслину на своей ложке и предлагая ее всеобщему обозрению, Шера вопросил:

— Ведь должен же наш желудок переваривать этот фрукт?

Доктор удивился:

— Переваривает, это верно. Но почему — должен?

Продолжая именовать маслину фруктом, Шера объяснил:

— Фрукт этот — чужеземный. Но он нам не враждебен. И мы ему не враги. Значит, повредить нам он никак не может. И наш желудок должен это понимать и спокойно его переваривать.

— Мда,— согласился доктор. Вдруг стало заметно, что он изрядно выпил. — Что-то здесь есть...

Мне же показалось, что в тираду о маслине Шера вложил часть своих мечтаний о мировой гармонии — о необходимости принимать и приветствовать все, что нам не враждебно, об уничтожении разлада в окружающем мире.

Затем, с тою же неуклюжестью, косноязычно, Шера толковал о происхождении культуры: она, мол, возникла не потому, что человек старался, к чему-то сознательно стремясь. Нет, просто то, что необходимо было, то само собою и возникло. Я понял, что Шера по убеждениям своим — фаталист. Однако фатализм его неразрывно слит с глубокой и наивной верой в то, что человеческая жизнь устроена разумно и исполнена здравого смысла.

Поэтому, не находя в чем-то смысла и считая это обидным для человека, он, как оказалось, наотрез отказывался принять и дарвиновскую теорию происхождения видов и горячо с нею спорил.

Он уверял, будто ученые втайне предпринимали попытки случить человеческие экземпляры с человекоподобными обезьянами, но ничего у них из этого не получилось.

— Должны же были попробовать. Тут вы мне и не пробуйте ничего говорить. Никак не могли не пробовать.

Шера волновался.

— А почему молчат? Значит, все неверно. Если бы правильно было, получилась бы такая наполовину обезьяна, наполовину человек. Ведь даже от кобылы с ослом потомство бывает, они, это верно, родственники. Хоть мул и неполноценное животное, от него уже никакого потомства. А тут — вовсе молчат. Значит, не вышло. Значит, неправильно. Никакого между человеком и обезьяной родства нет и быть не может.

— У тебя-то точно есть,— сказал Торба.

И тут Шера умолк.

Он заторопился на ходовой мостик, а Торба опустился в свою преисподнюю.

К концу вахты мы уже видели огни десятка маяков на островах, поднимающихся из воды к северу от Суматры. Среди этих островов был Пуло-Вэй, на котором находится Сабанг, один из крупнейших транзитных портов тогдашней Голландской Индии.

Здесь уже случалось бывать Степану Байраченко, и он охотно дает исчерпывающую справку об этом порте:

— Угольных депо — сколько букв в алфавите. Три бардачка японских. Ну, пальмы там, всякие деревья...

— А город есть? Люди там живут?

— Да живут на горé...

К Сабангу мы подошли ближе к полудню, во время вахты старпома. Для палубных был объявлен аврал, и мы принялись привычно выполнять весь обряд, сопутствующий прибытию в чужие территориальные воды. Подняли в честь хозяев голландский государственный флаг, подняли лоцманский и карантинный и бросили якорь на внешнем рейде, дожидаясь прибытия катеров с портовыми чиновниками.

Когда панорама порта открылась взгляду, стала понятна специфическая природа информации, которую уделил нам бывалый Степан Байраченко. Действительно, никакого города отсюда не было видно, и он так и не открылся нам до конца стоянки. Из-под жестких, крупных, словно бутафорских, пальмовых листьев сверкали рифленые металлические крыши и стены угольных складов. Все крыши были помечены вместо цифр латинскими буквами от «а» до «зет». Позади длинных складских корпусов поднимались такие же сверкающие цилиндры нефтехранилищ. Лоцман подвел наш корабль к самому берегу и поставил у причальной стенки, находившейся у внешней стороны прямоугольника, огороженного с трех остальных сторон глухим деревянным забором.

Только поднявшись на ходовой мостик, можно было увидеть часть пространства, открывающегося между забором и подступающим к нему тропическим лесом. Впрочем, деревья эти лишь с первого взгляда могли показаться естественно произрастающим лесом. Стоило присмотреться, и в глаза бросалась унылая регулярность, солдатское построение: одинаковые дистанции разделяли ряды рассчитанных на первый-второй высоких и до блеска гладких стволов, увенчанных аккуратной кроной, как форменным головным убором. Это была плантация каучуковых деревьев. За нею я позже научился различать кофейную плантацию и такую же упорядоченную банановую рощу. Между плантациями и портовым причалом проходила неширокая, но хорошо гудронированная дорога. На ней редко показывались машины и местные телеги на двух очень высоких колесах, с коренастым горбатым быком зебу в упряжке. Часто проносились мотоциклы, оставляя за собой синий дымок; еще чаще обгоняли друг дружку велосипедисты в ярких саронгах и широкополых шляпах, сплетенных из пальмовых листьев. Кое-где из зелени проглядывали дома, но никаких привычных признаков города не было видно. И все же собеседники уверяли нас, что город совсем рядом.

Утонувший в зелени, он должен был быть красивым. Но он — опять! — был для нас недоступен.

Мы простояли в Сабанге двое суток.

В прямоугольник у причала полицейские пропускали небольшие группы торговцев. Они предлагали нам изжаренные в сахаре молодые стебли бамбука, куски жареной рыбы, жвачку из бетеля, открытки с видами Суматры, те же копеечные японские майки на один надёв, какие продавались и в Адене. Еще можно было купить тропические шлемы «тобби» — белые, рыжие или светло-зеленые — и патентованные средства от малярии, которая жестоко терзала здесь всех европейцев.

А за калитку могли выходить только капитан и старпом.

Так же точно встречали здесь и корабль, на котором приходил впервые в Сабанг Степа Байраченко. Вся его информация оказалась вымышленной, и три японских публичных дома он тоже выдумал, исходя из логически верного убеждения, что в портовом городе нечто подобное должно же оказаться. Но, может, они и вправду были.

Невидимый город и на этот раз можно было себе представить только по купленным у малайца открыткам.

Есть они у меня и сейчас. Я вижу на них квартал маленьких одноэтажных бунгало под бутафорскими пальмами. Вижу улицы-аллеи — Ахтервег, Гаванвег. Крыши из красной черепицы и ярко-оранжевого толя. Двухэтажную гостиницу с большой верандой внизу и застекленной галереей на втором этаже. Грузный старомодный лимузин стоит у гостиницы. Дама и господин то ли вышли из него, то ли собираются садиться. Малаец-слуга остановился у громоздких чемоданов, то ли собираясь вносить их в гостиницу, то ли грузить в машину. Это обрывок быта, который нам не дано было увидеть тогда и который больше уже никто и никогда не увидит.

Как в Порт-Саиде, как в Адене, моими собеседниками во время стоянки становятся полицейские, которые, затосковав у калитки, приходят к кораблю, чтобы хоть как-нибудь поразвлечься.

Их трое. Они сменяют друг друга через каждые три часа, днем и ночью, и я их всех уже знаю.

Один постарше, лет под сорок, с коротко остриженными рыжеватыми усами и плотной крестьянской шеей, будто потрескавшейся, как картофельная кожура, под перегревшим ее солнцем.

Второй — молодой, очень бледный, с измученным малярией и бессонницей лицом. Можно поручиться, что ехал он сюда в надежде на легкие заморские заработки и на встречу с поджидающей его здесь удачей, но успел исчерпать весь небольшой запас своих физических и моральных сил и уже мечтает о возвращении в метрополию.

Третий тоже молод, но покрупнее и с виду благополучнее второго. В отличие от первых двоих, разговаривающих только

по-голландски, этот владеет и английским и охотно вступает в беседы.

Сперва он рассказывает про город. Город ему нравится. Здесь у него домик. В будущем году он привезет из Европы семью. «У нас как в Батавии»,— повторяет он очень часто.

А в Батавии, наверно, говорят: «У нас как в Роттердаме». Или — как в Амстердаме.

Полицейский одет в тропическую куртку с короткими рукавами и в шорты. На широкополой соломенной шляпе укреплен большой и затейливый герб, на котором два льва поддерживают щит с изображением третьего, вооруженного мечом и пучком стрел. Под щитом девиз: «Я выдержу». Похоже, что мой собеседник в самом деле решил выдержать во что бы то ни стало.

Он продолжает говорить о городе: сто пятнадцать европейцев, полторы тысячи туземцев, полсотни автомобилей.

— Жизнь недорогая, — добавил он под конец. — Если, конечно, не пить.

Оставив местные темы, он очень горячо принялся мне доказывать, что Бельгия могла бы сделать единственно разумный шаг, выказав добрую волю и присоединившись к Голландии. Так до сих пор и не знаю, почему именно эта тема показалась ему наиболее актуальной для продолжения нашего диалога.

— Что за страна?! — вопрошал он.— Что за язык?

Он убежденно твердил, что фламандцы это такие же голландцы, и язык у них голландский, и экономически они тяготеют к Голландии, а самостоятельная Бельгия не что иное, как нелепая прихоть истории.

— А их колонии? — продолжал возмущаться полицейский.— Их кронпринц отправился в Конго, и оказалось, что там ему негде повернуться. Раз-два все Конго поперек — и он у британской границы. Раз-два все Конго вдоль — и кронпринц чуть не выскочил во французские владения! Какие же это колонии? То ли дело у нас! В своих заморских провинциях мы могли бы запросто расселить вдесятеро больше людей, чем живет в метрополии, и еще осталось бы место... Ну, скажем, для парочки Бельгий...

Эти не вполне точные сведения внушали ему гордость и самодовольство.

Разглядывая Конго в уменьшающие линзы бинокля и оглядывая окружающую его Голландскую Индию в линзы увеличивающие, мой собеседник не только оправдывал смысл собственного существования, но и находил возвышающие его мотивы. При этом ему важно было унизить Бельгию, к которой этот сабангский полицейский, по неизвестной мне причине, испытывал неприязненные чувства. Резоны его были неубедительны: обе страны могли подавиться своими заокеанскими колониями;

обе вели паразитический образ жизни на землях, некогда захваченных ими по древнему пиратскому праву «хватай, что плохо лежит!». И мне-то, в общем, были безразличны все его аргументы: чем черт не шутит? А почему бы Бельгии и впрямь не взять да и не присоединиться к Голландии? Особенно ежели по доброй воле? По крайней мере, не раздражался бы этот полицейский, поставленный у сабангской портовой калитки, чтобы не выпускать меня и моих друзей в городок, скрытый пальмовой рощей и для нас запретный.

Голландская метрополия любила в своих колониях настойчиво напоминать о себе. Все здания в порту даже и по будним дням были украшены государственными флагами. И внутри, и снаружи всех разбросанных у причала будок, конторок, складов смотрела со стен королева Вильгельмина, благообразная и чистоплотная с виду старушка с тремя подбородками и с толстыми, вислыми щеками. Корона выглядела на ней как чепец.

Такие старушки, при всем своем внешнем добродушии, бывают неуступчиво педантичны и способны перепилить надвое всякого, кто посмел бы нарушить заведенный ими порядок.

Сабанг — настолько, насколько он приоткрылся передо мною, со своими чистенькими гудронированными дорогами, красными черепичными крышами, регулярными посадками каучуковых и кофейных плантаций — по части порядка казался образцово благополучным. И королева Вильгельмина взирала с портретов на своих подданных и гостей без укоризны. Однако в город нас не впускала. Это тоже входило в заведенный порядок, и его следовало соблюдать.

На другой день постовую службу на причале нес в утреннюю смену пожилой полицейский с подстриженными усиками. Он завел разговор по-немецки с нашим доктором, а тот потом пересказал мне эту беседу со своими немногословными комментариями.

— Вот уж истинно немец,— заметил доктор.— Тут немецкий характер весь виден. Вся жизнь — по плану. Каждый шаг рассчитан и выверен.

— Но почему же немецкий? — удивился я.— Ведь он-то — голландец.

— Немец, — возразил доктор. — О том он мне и говорил.

И доктор пересказал услышанную им историю одной жизни, весьма знаменательную для своего времени. Но это я понял еще не тогда, а только лет пять спустя, когда читал уже сообщения о том, как поднимался в своей стране и маршировал на арену мировой истории немецкий нацизм. Его вдохновители и вожди опирались на плечи именно таких людей, к каким принадлежал и немец, выбравший для себя в конце двадцатых

годов колониальную полицейскую службу в Голландской Индии.

— Германия должна была победить в прошедшей войне,— убежденно говорил он нашему доктору, прожившему свои университетские годы в Гейдельберге. Доктор учился в начале века — с тысяча девятьсот второго по тысяча девятьсот шестой год; эту пору юности он вспоминал с сентиментальным умилением и рад был упомянуть Гейдельберг, отвечая на вопрос собеседника — откуда он так свободно владеет немецким. Услышав пылкое объяснение, полицейский почувствовал в чужом своем сверстнике почти сородича и разоткровенничался.

— Все было бы по-другому, если бы не удар в спину, который нанесли родине красные как раз тогда, когда Германия была ближе всего к победе. Да, была. Однако факты остаются фактами. Из-за предателей мы оказались разбитыми, а в Версале враги добили нас окончательно. Они уничтожили нашу промышленность и оставили нас нищими. Только теперь мы начинаем медленно подниматься. Нам еще нужно для этого много времени. Нужны умные политики и вожди. Нужны сильные руки и сильные характеры. Об этом я помню всегда. И когда решал завербоваться на эту службу, я знал, что уезжаю лишь на время. Уезжаю, чтобы не оставаться на родине в трудный для нее период, когда всякий лишний человек увеличивает собою толпу безработных и дармоедов.

Вот, значит, какой был у него расчет. Вот зачем надевал он петлички вахмистра голландской колониальной полиции.

Расчет этот оказывался одной из примет, отмечающих конец того периода мировой истории, в каком еще совершалось наше тогдашнее плавание.

Пять лет спустя я вспомнил этого полицейского и подумал, что он, наверно, уже снял с себя собственный запрет, вернулся в Германию; может, стал эсэсовцем, а может, оказался среди сторонников Рема. Если только не доконала его жестокая малярия, которую он глушил бесконечными дозами хинина, даже в часы полицейского дежурства на сабангском причале.

Корзины с углем плыли со склада на борт ледореза по длинной цепочке грузчиков, из рук в руки, как по конвейерной ленте. В цепочке стояли китайцы, яванцы, малайцы, почти все в широкополых конических шляпах из пальмовых листьев, полуголые, перемазанные угольной пылью. Они передавали на поднятых руках высокие корзины под протяжный отсчет старого малайца:

— Уан — ту-у-у...

— Три — фо-о-о...

— Файв — сы-и-икс...

На десяти он обрывал счет, и каждая десятая корзина шла на весы для контрольного взвешивания.

Секундная пауза — и счет начинался снова.

К вечеру второго дня погрузка окончилась.

Грузчики разошлись. Стало видно, что весь причал покрыт ярко-красными от бетелевой жвачки плевками.

Еще зазывали покупателей продавцы жареного бамбука и открыток с видами Сабанга. Мы еще могли вдосталь наглядеться на фотографии сабангских улочек Ахтервег, Гавенвег и Докстраат — на домики с черепичными крышами, спрятанные в пальмовых рощах, на которые нам так и не разрешила поглядеть собственными глазами королева Вильгельмина — «голландский султан», как называет ее население этих островов.

Федор Иванович снова высвистал вахтенных: по местам стоять, со швартовых сниматься.

Мы отходим от причальной стенки, когда солнце садится в океан и расцвечивает небо гигантскими мазками, разметенными вполгоризонта с чудовищной экспрессией. Из широкого сиреневого подтека вспыхивает язык невиданного густо-фиолетового огня, огромное, стремительно меняющее формы багровое пятно размыто зыбко растекающимся лимонным цветом. Только в приполярных широтах можно увидеть такую же щедрую и прихотливую игру красок, какою ошарашивают закаты и восходы невдалеке от экватора.

Еще видны причалы Сабанга.

«Тривия» ушла минувшей ночью. Теперь там стоит пассажирский пароход, курсирующий между индонезийскими островами, и шведское грузовое судно. Навстречу нам входит небольшой военный посыльный корабль. Он включил сильный прожектор, и луч его ложится на отсверкивающий металл нефтяных резервуаров, на рыбачьи лодки с плотными прямоугольными парусами, сделанными, как кажется, из пальмовых циновок, на вереницу складов, помеченных буквами — от «а» до «зет».

Закат меркнет. Но еще виден в последнее светлое мгновение удаляющийся островок Пуло-Вэй, похожий теперь на погружающегося в океан зеленого каракулевого барашка.

Виден мыс Ло Приа Лаот. На его оконечности танцующая пальма склоняется к океану.

Стремительно наступившая тьма поглощает вдруг все, что еще секунду назад имело четкие очертания. На почерневшем небе не сразу становятся видны огромные скопления крупных, низко нависающих над водою звезд. Светятся своим странным внутренним светом волны. За кормою вспыхивают нам вдогонку короткие проблески сабангского маяка, а потом более долгие — с южного мыса Каранг Бардур.

В записных книжках, где чернила начали уже выцветать на пожелтевших страницах, я нахожу заметки, сделанные больше

сорока лет назад. Ссылки на источник сведений — нет. Может быть, это выписка из какой-то прочитанной книги. А может, запись одного из рассказов синьора Альберти, общительного итальянца лет тридцати с небольшим; он был в Сабанге нашим шипчандлером, корабельным поставщиком, и мы несколько раз беседовали с ним, собравшись компанией за бутылкой кьянти из той партии, что была закуплена в Порт-Саиде для пополнения тропического судового пайка. Альберти упомянут тут же, рядом с записью, и, прочитав это имя, я сразу вспоминаю изжелта-оливковое лицо с живыми глазами, и теперь мне кажется, что именно он — впервые с такой простотой и ясностью — объяснил мне самую суть колониальной экономической политики.

«С этих островов,— записано в моей книжке,— голландцы вывозят товары на сумму, втрое превышающую стоимость ввоза».

И тут же перечислено, что именно вывозят они отсюда:

«Уголь и нефть. Индиго и сахар. Каучук и олово. Рис и копру. Какао и кофе. . .»

Названы и другие статьи дохода, перечислять их долго, но главное уже сказано: ввоз втрое дешевле, чем вывоз.

Две трети торгового оборота — чистая прибыль колонизаторов.

Если это не выписка из забытой книги, то скорее всего взято со слов Альберти. Ведь не полицейский же это рассказывал, ему до экономики никакого дела не было. И не Ван-Хоове, поджарый голландец, которому скормили баклажанную консервированную икру вместо паюсной, доеденной в Адене. Ван-Хоове был хозяином нескольких плантаций вокруг Сабанга, ему никакого резона не было сокрушаться, что прибыль от вывоза чересчур — грабительски — велика. А в синьоре Альберти чувствовался коммерсант не по призванию, но по случайному стечению обстоятельств. Я не сомневался, что на Суматру погнали его не поиски выгоды, а авантюристический склад характера.

Но и Альберти, и Ван-Хоове, и Сабанг, и вся Суматра, и весь ее ввоз и вывоз уже оставлены позади.

Мы вошли в Малаккский пролив, и слева показалась береговая линия.

Теперь этот берег называется Малайзией; тогда этого слова еще никто не знал. Но и английское название — Стрэйтс Сэттлментс — было для тамошнего населения совершенно чужим.

Мы проходили Поселения в Проливах (так переводится английское название этой колонии) поздней ночью. На дальнем берегу звездным облаком светился город. Это был Куала-Лумпур — недавняя деревня, которую оживленная торговля каучуком превратила ко времени нашего плаванья в город с двумя

десятками тысяч жителей, а еще сорок лет спустя — в миллионную столицу нового государства Малайзии.

Перед новой вахтой мы с Шерой зашли в кают-компанию попить чаю.

На столе лежал кем-то позабытый спичечный коробок. На желтой этикетке синий пароход шел по аккуратным закругленным волнам. Под волнами мелкими буквами было напечатано название города, где делались эти спички: «Новозыбков».

При этом слове сразу вспоминалось, как минувшей зимой я выходил на станции этого городка во время короткой остановки поезда.

К самому перрону подходило занесенное снегом поле.

Мальчишка в необъятном тулупе продавал чертиков в бутылочках, выкрикивая басовитым от холода голосом:

Карл Иваныч!
Опустись на дно морское,
Пошукáй счастье людское!..

Чертик нырял и снова выплывал — без всякой добычи.

У будки с гретым пивом переминался на морозе выскочивший из спального вагона толстяк в полосатом восточном халате и лисьем малахае.

Когда поезд снова пошел, из соседнего купе послышался настойчивый неумолкающий детский голос:

— Расскажи про зайчика мама расскажи про зайчика мама расскажи...

А за окном был только снег и даже низкое небо было снежным.

Я не знал, что в Новозыбкове делают спички.

А хоть бы и знал, что из этого могло следовать? Не все ли равно, откуда взялась та спичка, от которой ты прикурил и, полусгоревшую, выбросил?

Но оказалось, что это не всегда безразлично.

Все, о чем напомнил коробок в кают-компании, обернулось отсюда недоступным и притягивающим. Само слово «Новозыбков» близ Куала-Лумпура прозвучало для моего слуха так же, как в Новозыбкове прозвучало бы экзотическое «Куала-Лумпур». Снег, зайчик, пиво на схваченном стужей перроне, вспоминаясь, приносят вкус ностальгической горечи.

На рассвете мы оказываемся еще ближе к берегу.

Из воды поднимаются бесчисленные островки — то зеленые, с непременной пальмой, вырвавшейся к самой воде, то торчащие черным безжизненным камнем.

Теконг Симбанг круглится над океаном, как большой зеленый сосок; мы пеленгуем установленные на нем створные знаки и продолжаем следовать по одному из самых оживленных океанских путей. Встречные и обгоняющие нас корабли то

и дело оказываются совсем рядом, а рыжие паруса малайских лодок-аутригеров, где длинный полоз скользит по воде параллельно борту, становятся ярко-красными под солнечными лучами.

До Владивостока нам остался лишь один еще заход в порт. На одних картах этот порт называется Килунг. Цзилун — так произносят китайцы. На других — Кирун. Это японское произношение.

Остров же на всех картах сохраняет данное ему португальскими мореходами латинское имя Формоза — Счастливая земля. Китайские аборигены, издавна населявшие Счастливую землю, называли ее — Тайвань. Старое название укоренится снова, но счастливым остров все еще не станет.

Идти к нему от Суматры нам долго, но еще вчера я достал из чемодана прихваченную в дорогу небольшую книжку в красном коленкоре. Когда-то я купил ее из любопытства на одном из развалов Благбаза. Книжка называется:

РУКОВОДСТВО КЪ ИЗУЧЕНИЮ
ПО-ЯПОНСКИ.

СОСТАВЛЕНО
З. ТАКАСУ,

бывшимъ на службѣ переводчикомъ въ Нагассаки, живущимъ для сохраненія здоровья въ городе Кіото, Японія, № 55, Уситора-мачи, Синмачидовора, Увонатана-Сагару.

---

Токіо,
Изд. книжн. магаз. Гакурейканъ;
типографія Санкіоша, 1897.

В коротком предисловии «для выписывающих лиц» автор объясняет, что он задался целью «пособить к изучению по-японски».

Раздел «Фразы» начинается следующим предложением:

«Я возвращаюсь в родину другой день».

Господин З. Такасу сообщает, что по-японски это должно звучать так:

«Мьоничи ватакуси-ва кокёе каеримасу».

Может быть, для японского слуха перевод стройнее и грамотнее составленного господином Такасу русского оригинала. Но и оригинал, какой он ни есть, трогает меня.

В корявой фразе есть привкус откровенной ностальгии.

Дальше мы узнаём перевод 91 понятия:

— Дождь висит...

— Гроза висит...

— Постельный прибор...

— Понитковая материя.— Мазе оримоно.

— Леденец в головах.— Коризато.

Список «Употребительныя слова въ разговорѣ» начинается так:

— Пристань.

— Ветчина.

— Треска.

— Чемодан.

— Деревянное масло.

— Золотобит.

Вряд ли какое-нибудь из этих употребительных слов понадобится мне в Килунге. Но я вчитываюсь в их длинный перечень, как в условия увлекательной загадки, силясь постигнуть, как возникла в мозгу господина З. Такасу логическая цепочка, вызывая из памяти слово за словом в их необъяснимом порядке, предложенном выписывающим лицам. Всего тридцать два года минуло с тех пор, как в городе Киото, избранном автором в качестве места жительства для сохранения здоровья, вышла эта книжка, купленная в Харькове, на Благовещенском базаре.

Среди фраз есть и такая:

«Ему семьдесят лет, но он еще бодр».

Вполне возможно, что теперь эта фраза относится к самому автору.

Может быть, он до сих пор сохранил веру в целебный климат Киото и все еще живет по старому адресу. Ему семьдесят лет, но он еще бодр...

Может быть, он не забыл, как составлял свое руководство, и даже ответит, если ему написать письмо.

Нет, не буду писать на улицу Уситора-мачи, 55.

Загадку я не решил, но от первой фразы книжки все еще продолжало щемить сердце.

Придет день, и я смогу сказать о себе:

— Мьоничи ватакуси-ва кокёе каеримасу.

До сих пор, уходя на юг, мы как бы все дальше и дальше удалялись от родины. Завтра мы пройдем Сингапур и повернем круто на север.

## 7

Сингапур, увиденный с воды,— обилием зелени, нагромождением зданий, начинающимся от самого берега, отблесками стекол на солнце, бесчисленными разогретыми зноем пляжами — напомнил Киев, когда на него смотришь вот так же, жарким летом, с палубы парохода, идущего вверх по реке.

Курс кораблей, проходящих через Малаккский пролив у Сингапура, проложен в такой близости от берега, что правила обязывают капитанов приглашать здесь лоцмана.

Без лоцмана в самом деле было бы нелегко: приходится лавировать в обширном архипелаге зеленых островков,

сходиться и расходиться с десятками пароходов, долго идти по окраине Сингапурского порта.

За семьдесят два года до нас в этот порт заходил фрегат русского императорского флота «Паллада». На борту его Иван Александрович Гончаров сделал такую запись о пребывании в Сингапуре:

«...По счастью, встретились двое немцев и проводили нас в London Hotel. Вечер был очень темен. Насекомые сильно трещали в траве. Мы спросили в отеле содовой воды и чаю и сели наверху, на балконе. Мои товарищи надумали все же гулять; я было собрался с ними, но так как нужно было идти на ощупь, то мне это скоро надоело и я возвратился на балкон допивать чай... От нечего делать я разглядывал стены».

Тогда путешествовали неторопливо.

Выйдя на берег, останавливались в гостиницах. По вечерам отправлялись компанией побродить по чужому городу. От нечего делать можно было разглядывать стены.

Значит, времени оставалось достаточно и для раздумий.

Теперь время в дороге сжимается все теснее. Пространства, которые в прошлом веке измерялись месяцами пути, уже измеряются сутками. Скоро сутки дороги сожмутся до нескольких часов. Это лишит дорогу подробностей, знакомств, непременной болтовни, а человеку не оставит свободных минут, чтобы разглядывать стены и размышлять.

Размышлениям мешает и толпа — человеческий муравейник, который разрастается вокруг всех нас с непостижимою быстротой.

Гончаров записывал про Сингапур:

«Всех европейцев здесь около четырехсот человек, китайцев сорок, индийцев, малайцев и других азиатских племен — около двадцати тысяч. Это на всем острове».

А семьдесят два года спустя в изданной в 1925 году книге французского журналиста Жоржа Лефевра читаем:

«Я в Сингапуре, английском городе, где живут четыреста тысяч китайцев.

Город огромный и богатый.

Раффлз-Плэйс — содрогающееся сердце Сингапура, квартал крупных экспортных и импортных фирм, консульств, лавочников, коммерсантов и пароходных компаний. Квартал больших магазинов.

Здания по двадцать этажей перед рейдом. Гигантские доки...»

Так семь десятков лет уничтожили возможность услышать треск цикад в высокой траве; уже и корни трав умерли под асфальтом. Сорок тысяч китайцев превратились в четыреста тысяч, а потом в миллион, нахлынувших сюда за нищенским заработком грузчиков, рикш, подметальщиков улиц, слуг, кон-

торщиков, мелких торговцев, содержателей опиумных притонов. Не знаю, во сколько раз увеличилось за это время число европейцев. Многих из них загоняла сюда с другого конца света та же безжалостная нищета. Статистику последних четырех лет узнать было неоткуда, но и за четыре года, прошедшие с того времени, как написал свою книгу Лефевр, город тоже успел сильно перемениться. И людей в нем стало, наверно, еще больше, и среди зданий, поднявшихся на дальнем берегу, есть немало таких, которых Лефевр еще не мог увидеть. Они стоят как гвардия на параде, и во главе шеренг застыли по стойке «смирно» великаны унтер-офицеры с двадцатью и тридцатью рядами окон-пуговиц на мундирах. Окна ослепительно отражают солнце. Пароходные и автомобильные гудки, автоматические сверла в бесчисленных доках создают для этого парада оглушительный аккомпанемент. Смотрю на лаг: мы проходим двадцать две мили, покуда тянется это зрелище. Корабли на рейде стоят в три ряда, и им не хватает этого рейда. Нефтебаза вынесена на остров с отдельным портом для танкеров. Цистерны, нагроможденные на острове, обилием и однообразием напоминают архитектуру термитов. На десятках маленьких островков, возникающих то поодаль, то у самого борта, видны в пальмовых зарослях виллы и казармы, антенны радиостанций и складские бараки.

Лоция подробнейше растолковывает капитанам, где проходят границы военной гавани, и строжайше предупреждает, что проход за пределы этих границ разрешен лишь английским военным кораблям — «men of war»; «мужчины войны» названы они по английской языковой традиции в желтом томе лоции, раскрытой сейчас на штурманском столе. Купеческие же суда должны проходить не менее чем в полукабельтове от этих границ. Если же имеют они специальное разрешение, допускает лоция, то могут воспользоваться им лишь после того, как сигнальщики переговорят с помощью флажков или фонаря Ратьера со стерегущим вход на военный рейд фортом Каннинга и получат оттуда внятное подтверждение.

У нас такого разрешения не было. Да мы и не испрашивали его. Ледорез наш был в экваториальных водах лишь случайным, сугубо штатским прохожим, торопящимся по своим сугубо штатским делам.

Тяжелые утюги броненосцев и крейсеров остались от нас в стороне, в положенном полукабельтове к норду, и где-то за ними виделись в бинокль упомянутые в лоции гора Фабер, и маяк форта Каннинг, и часовая башня рыбного базара Телок Айер, и скалы Тембага.

Небо и вода одинакового синего цвета, в стихии этой знойной синевы уже два часа плывет наш корабль, пока мы не приближаемся к маяку Раффлз — белой башне на таком же

островке, каких мы видели уже несколько десятков. Пальмы спускаются к морю от самого подножья башни. Волны накатывают на песок и подходят к стволам деревьев.

Все в этом пейзаже чужое, и все продолжает казаться знакомым: так же бывает, когда пароход поднимается за Триполье и Днепр разбегается между множеством островков, лозняк и вербы зеленеют на этих островах, волна от пароходного колеса приходит на берег и осыпает песок в успокаивающуюся воду, повторенные водою кусты и деревья вздрагивают, ломаются и снова застывают, потом появляются купола Лавры (в том мире стояла не только колокольня, но и не существующий больше лаврский собор), из зелени появляется город, а пароход плывет между водою и небом одинакового цвета.

Координаты маяка: 1°9′4″ северной широты.

Шестьдесят девять миль от экватора.

Забираться южнее нам нет надобности.

Мы огибаем островок с маяком и, обойдя его южную оконечность, меняем курс, ложась на северо-восток.

Мы вошли в Южно-Китайское море и теперь с каждой пройденной милей приближаемся к юго-восточной окраине нашей страны, к Владивостоку. Маркони уже установил с ним связь через Манилу.

— Спроси, не знают ли они чего оттуда,— сказал ему старпом.

— Спрашивал,— с обидой отозвался радист.— Нет у них связи.

Я снова вспомнил господина Такасу: «Мьоничи ватакуси-ва кокёе каеримасу...»

Южно-Китайское море встретило нас таким же зноем, какой мы испытывали, проходя через Красное. Термометр в кочегарке показывал +72° по Реомюру (напоминаю: к Цельсию в ту пору мы еще не успели привыкнуть).

Кочегарам было нечем дышать.

Океанологи снова осадили капитана:

— Станцию бы...

Капитан сопротивлялся, но в конце концов уступил. Часа на полтора возникла знакомая карусель, со сменой курсов, толчеей на одном месте, забрасыванием в воду сеток, ведер, наполнением приготовленных баночек. Непосвященные ничего сенсационного не приметили. Стехов, на чьей вахте все это происходило, поругивался; не видимое простым глазом он считал несуществующим; возню с баночками — переливанием из пустого в порожнее, и искренне удивлялся тому, как оживленно и радостно обсуждают Сливинский с Горобовым первые впечатления от сегодняшней станции.

— Вы как те портные, что у Андерсена королю платье шили, — говорил он Горобову. — В банке у вас что? Обыкно-

венная океанская вода! А вы вокруг этой банки индейские пляски устраиваете...

Океанологи отшучивались и опять разбегались к своим столам.

Стычки были беззлобны. И капитан, и старпом хоть и называли ученую троицу пассажирами, но относились к ним хорошо и охотно слушали их рассказы о плаваньях «Персея» к Ян-Майену и к Земле Франца-Иосифа, сравнивая тамошние приключения со своими—в восточной Арктике.

Сентенции разнообразием не отличались.

— Что ж, льды — они и есть льды,— говорил обычно в заключение капитан.— Как у нас, так и у вас...

В вечер после станции все было как обычно. Сидели в кают-компании, пили чай, заваренный до густого рубинового цвета. Капитан рассказывал:

— Молодой был. Тридцати не исполнилось. Вернулся из плавания на паруснике. Прошел с англичанами вокруг Австралии — как раз столько, сколько надо было, чтобы получить шкиперский диплом. Получил и пошел третьим помощником на небольшой пароход. Ходили мы больше из Одессы в Грецию, на Афон. Паломников возили и монахам доставляли из России провиант. Ржаной муки там у них не было, красной рыбы. Икру они тоже любили. По провиантским делам мне как раз и приходилось к монахам ходить. Я не возражал. Угостить монахи умели. Поешь, попьешь, отоспишься у отца-казначея в келье — и на корабль. Вот раз — наверно, это в третьем рейсе было — исполнили мы всю программу, а напоследок вывел меня отец-казначей для освежения головы в сад. Дышу и слышу — что такое? — какие-то колокольчики звенят, тоненько так, серебряно. Нежный от них, прозрачный, сказать бы, звук. Ну, думаю, угостили святые отцы. Прямо от трапезы — и в рай. Да вроде мне и рая-то не положено. Неужто нагрешить не успел? Или простил мне все грехи апостол Петр — по молодой моей глупости и по мудрой своей доброте? Иду садом. Качает меня, как в шторм, а колокольчики звенят, цветы пахнут, ветерок дует теплый, а птицы заливаются,— до слез можно умилиться от такого благолепия...

— И не жалко землю оставлять было? — спросил Шера с жадным детским любопытством.

— Да заскучать еще не успел. Иду, думаю. Ангелов глазами ищу и вдруг вижу — что за чертовщина такая! — на ветках по деревьям стеклянные графинчики растут. Деревья вроде бы апельсиновые, а на них графинчики, ветер их раскачивает, а они один об другой и звенят. Тут мои мысли переменились. Может, это вовсе и не рай, а белая горячка? Потянулся я к нижнему графинчику, тронул. Правда — стекло. «Как же это,— спрашиваю у отца-казначея,— почему у вас на деревьях

стекло растет?» А тот смеется, прямо заходится. И объясняя: как только на ветке апельсиновая почка появится, монахи на нее сразу — графинчик. К ветке попрочнее привяжут, и уже апельсин в середине графинчика зреет. Дозреет плод, его вместе с графинчиком срежут, а потом кому надо дарят — водку апельсиновую настаивать. Чтоб знакомые удивлялись: «Как же это вы такой большой апельсин — и в такое узкое горлышко?..»

Но мы не успели вдоволь наудивляться райскому саду и монашеской изобретательности. Вошел маркони, направился к капитану и, протягивая ему бланк радиограммы, сказал:

— Нас догоняет тайфун.

•

«Ежели сдѣлается совершенное затишье, а его называютъ словомъ штиль, суда при такомъ безвѣтренномъ состоянiи — штилѣющими, заштилѣвшими.

Ежели вѣтеръ постепенно усиливаться начинаетъ, тогда говорятъ, что вѣтеръ свѣжѣетъ, т. е. не дѣлается холоднѣе, какъ это могутъ понять неморяки, а сильнѣе, могучѣе. Свѣжiе вѣтры вообще называютъ крѣпкими, штормами, ураганами, тайфунами: это максима свѣжести вѣтра».

*Алфавитный указатель нѣкоторыхъ морскихъ терминовъ. Санктъ-Петербургъ. В типографiи Императорской Академiи Наукъ. 1854.*

Перевод радиограммы:

«Извещение о погоде. Гонконг предупреждает: 25-го 23.25 пред полуночью тайфун неведомой силы, замеченный в шестидесяти милях от тринадцатой северной параллели и двенадцатого восточного меридиана, дует на северо-запад».

Тайфун, собственно, не догонял нас. Он заходил нам в скулу.

Ни слова не сказав, старпом поднялся вслед за Шерой на ходовой мостик. На всякий случай. Для собственного спокойствия. Он не стал отдавать распоряжения вместо Шеры. И подсказывать ему что-либо он тоже не стал. Но так получилось, что Шера начал понимать Стехова с полуслова. Даже с одного перехваченного взгляда.

Шера заметил, как старпом посмотрел на фалик, шедший от борта к фок-мачте. На таких больших кораблях, как «Литке», пеньковый и прочий растительный такелаж давно уже

уступил место стальным тросам. Но эта недавняя яхта все еще сохраняла свое парусное вооружение, и фок-штаги на ледорезе, да и все остальное мачтовое крепление было по-прежнему из прочного манильского троса — из свитых волокон дикого банана. По тому, как туго натянулись сейчас все фалы, видно стало, насколько усиливается ветер. Он налетал порывами, и каждый новый порыв был сильнее, чем предыдущий. Шера достаточно долго плавал на небольших парусных судах, чтобы и здесь сообразить, куда и почему смотрит старпом. Он отправил к борту вахтенного матроса Миненко.

— Попусти, попусти фалики,— сказал ему Шера.— Смотри, как их натянуло. Того и гляди, лопнут...

Не очень похоже было на начальственный приказ. Слишком много слов. И совершенно не полагающиеся в приказе объяснения, к тому же сообщенные вахтенному матросу каким-то оправдывающимся, словно бы виноватым голосом: сам, мол, видишь, какая крайняя надобность. А то бы не побеспокоил...

Но и Миненко служил на кораблях больше десятка лет. Он не стал дослушивать объяснений Шеры.

Корабль уже размашисто клало с борта на борт.

Приспосабливая шаги и весь вес своего тела к увеличивающейся амплитуде колебаний, ступая то под острым, то под тупым углом к железной палубе, то выскальзывавшей, то возвращающейся под ноги, стремясь сохранить вертикальное положение по отношению к взбудораженной поверхности океана, Миненко добрался до борта и протянул руку.

Вдруг рука его быстро проехала по скользкому планширю.

Миненко падал.

Его швырнуло к надстройке.

Вода ослепила матроса. Океан рванулся через него и бухнул в переборку, в палубу, в человеческие тела, попавшиеся на пути. Матроса потащило назад, к борту, протащило под поручни, волна, что накатила на палубу, сровнялась уже, слилась с волнами на поверхности океана. Миненко судорожно ухватился за планширь, и тут борт будто рухнул навстречу, с силой ударил его, привалил, положил плашмя на железо. Еще минута, и борт снова пойдет кверху, поднимаясь высоко над волнами и отрывая обессилевшие руки матроса. Стехов не сбежал, а перемахнул с мостика прямо в пену, покрывавшую палубу. Он инстинктивно подчинял все свои движения ритму разгульной силы, уже овладевшей судном. Старпом успел втащить Миненко на палубу в то самое время, когда борт начал поднимать его тело за собою.

Соленый, горький, разбитый, окровавленный, Миненко сумел ухватиться за леер, протянутый вдоль надстройки, и двигался, потеряв равновесие, падая и поднимаясь, ослепленный волною,

Как оказался перед ним доктор? Грузный, одолеваемый спячкой, он выбирался из своей каюты только для того, чтобы снять пробу на камбузе, поесть в кают-компании, принять участие в «вечерах на хуторе близ Диканьки», как именовалась травля перед собачьей вахтой. Пьяным его не видел никто, но под хмельком он находился всегда. Он был похож на стареющего сенбернара, не расстающегося с бочонком вина, чтобы оказать помощь погибающему под обвалом на альпийском перевале. Погибающим, конечно, оказывался он сам. И все-таки наш Сергей Митрофанович был настоящим моряком. Моряцкое чутье согнало с него сон, вынесло из каюты и повело туда, где он был нужен. Доктор с неожиданной сноровкой и силой потащил Миненко за руку в медпункт, где уже прыгали по углам выброшенные из растворившихся тесных шкафов пакеты с бинтами и на полках звенели в своих тесных гнездах склянки с йодом.

Тайфун ударил нам в скулу раньше, чем мы ожидали.

Но это было только начало.

Волны уже не били в борта, перекатывая корабль с боку на бок. Они накатывали на палубы, ударяли в надстройки и скатывались с противоположного борта. Это были даже не волны, а валы, сами в рост кораблю. В их власти очутилась не только палуба, по которой только что вода таскала матроса Миненко, но и палубы высоких корабельных надстроек; заливало ходовой мостик, и по иллюминаторам рубки тоже стекала уходящая волна, и цвет у нее был не синий, не зеленый, не черный, и прозрачной она тоже не была. Это было что-то невиданное, ни названия, ни сравнения тут не подберешь. Митя что-то кричал мне. Расслышать ничего нельзя было. Океан грохотал оглушительно и непрерывно. Только по жестам я с трудом догадался, что нужно проверить крепления шлюпок правого борта. Сам он кинулся к левому. Волны накрывали с головою. Ноги отрывало от палубы. Хорошо, что вода сама наталкивала на какие-то предметы, за которые можно было ухватиться, пока тебя поднимет на гребень,—не даться, чтобы тебя оторвало, и переждать, пока ноги снова опустит на палубу. Одна шлюпка была на месте, и, кажется, все крепления были в порядке. Второй я не нашел. Ее сорвало и унесло.

Чтобы перевести дух, я возвращался через жилые помещения. Кубрики залило до половины. У коек плавало то, что еще не успело потонуть. Люди хватали промокшие одеяла, подушки и капковые матрасы и удирали повыше, в красный уголок, расположенный в средней надстройке. Там вода переплескивалась только по палубе, но не застаивалась. И конечно, для всех места там не хватало. У своих кают, по колено в воде, хлопотали океанологи. Они искали сухое место для своих записей и пытались пристроить повыше и понадежнее свои склянки.

Сливинский, изо всех сил упираясь ногами и мотаясь из стороны в сторону, держал в руке банку с каким-то мелким глубинным уродцем. Увидев меня, он сказал:

— Как бы им тайфун спирт не разбавил. Экземпляр в этих широтах неожиданный. Хорошо б довезти.

Горобов ядовито подбросил:

— Тайфун не разбавит. За нас с тобой не поручусь.

Здесь тоже гремело и какой-то дикий свист проникал снаружи. Но плотно задраенные двери все-таки приглушали шум, и человека, стоящего рядом, можно было расслышать.

Сливинский сказал:

— Надо было этих тварей по паре брать. Как в ковчег.

Горобов:

— Интересно: Ной всех живыми сажал? Или некоторые экземпляры и тогда спиртовать приходилось?

Сливинский:

— Не стал бы он зря спирт расходовать. Сам не дурак был выпить. Даже с сыновьями у него на этой почве конфликт вышел. Один сынок Хамом оказался.

Оба стояли по колено в воде. И качало немилосердно. Трудно себе вообразить непринужденную болтовню в этакой обстановке. Но человек так устроен, что, если есть дело, он способен приноровиться к любой обстановке и перестать ее замечать. Даже в каюте, где волны переплескиваются от стенки к стенке, промочив тебя по пути всего насквозь.

Задерживаться в этом относительном уюте было нельзя. Надо было возвращаться наверх. Мимоходом я успел заметить, что в кают-компании доктор, как и было положено, развернул пункт медицинской помощи. Стол был накрыт белой простыней. Какие-то ящички и коробки были хитро закреплены, чтобы их не расшвыривало качкой. Миненко уже ушел. Других пациентов не было. Доктора покинула та внезапно возвратившаяся легкость, что позволила ему совершить свой великолепный прыжок, и теперь он сидел в принайтовленном к палубе тяжелом кресле, опять постаревший, грузный, несмотря ни на что одолеваемый обычной сонливостью.

Когда я вернулся, Митя был уже на месте. На проверенном им левом борту все было в порядке. Когда до него дошел смысл моих попыток объяснить про шлюпку, смытую с правого борта, Митя крикнул мне в самое ухо:

— Боцману сам доложишь!

И в это самое время огромный вал навалился на мостик и проломил фальшборт. Вал ушел, крепко поддав нам под коленки, но в пролом нас не смыло, за что-то мы удержались, пена еще раскатывалась по палубе.

Рядом оказалась дверь радиорубки. С трудом отрывая ноги, я переступил через комингс. Грохот ворвался в рубку. С меня

лились потоки воды. Игорь Мешалин, наш тихий маркони, раскачивался на принайтовленном табурете, и наушники уродовали его худое лицо.

— Дверь закрывай! — заорал он. Но я уже закрыл дверь и мне было его слышно.— И не лей воду, куда не надо!

Ему слышен был не только собственный голос, но и вся суматошная какофония, что звучала в наушниках. Свист, вой,— будто тайфун овладел всем эфиром,— прерывистые точки и тире, которыми американский эсминец сообщал о своем выходе с Филиппинских островов на помощь какой-то обессилевшей яхте, обрывки джазовой музыки, торопливые сигналы с яхты, пытающейся связаться с тем самым эсминцем, куплеты душещипательной песни, исполняемой по-французски, свист, вой, опять голос яхты, потерявшей управление и не представляющей, куда ее несет. Какие-то новые тревоги и мужественные точки-тире — обещания тех, кто готов поспешить на помощь.

— Вокруг нас вроде все спокойно,— сказал маркони, сдвигая на секунду наушники, чтобы прочистить замусоренные уши.— Мы ведь на окраине тайфуна. Сейчас там дает, у Филиппин. Похоже, нас не прихватит, пройдет южнее.

Я удивился. Оказывается, нас не прихватило? Но Игорь не слышал. Он снова надвинул наушники плотнее. Синкопы чарльстона пополам с морзянкой, сдобренные диким воем, глушили все. Даже грохот, не умолкавший вокруг корабля.

Удар шторма сам задраивал двери и без помощи трапа выносил матроса на верхнюю палубу, куда ему и следовало попасть. Стало темно. Светлые усы капитана появились при вспышке молнии, чтобы тут же погрузиться в густой мрак. Капитан и старпом, оба были на ходовом мостике.

Я протянул капитану заполненный скачущими буквами бланк предупреждения о погоде и передал на словах то, что маркони говорил о тайфуне.

Капитан проворчал:

— Это я и сам понимаю. Проходит южнее...

Он сказал мне вдруг:

— Не пришлось тебе понюхать настоящего тайфуна. Не очень сокрушайся. Иногда это бывает самым последним впечатлением в жизни.

Почему-то в море всегда так происходит. Если тебе показалось в одном из первых выходов, что вот наконец тебя как следует покачало, тебе непременно скажут:

— Да разве это качка? Ну, поболтало чуток.

Если ты стал гордиться, что вот перенес первый свой шторм и не стравил, все обошлось достойно, как следовало быть, с тебя тут же собьют спесь:

— Какой это шторм? Ну, волнение балла на четыре. На пять от силы.

Так на фронте: добирался до передовой, проходил под артобстрелом Мотку — залив такой, навсегда памятный, — высаживался на полуостров Средний и, кажется, все уже, добрался. А тут только начинается. Сперва полк — землянки в три наката, уют. Опять тылы. Батальон. Тоже быт устоялся, майор из-под койки спирт достает, угощает. Верно: передний край. А все еще не передовая. И только когда доползешь до заставы по простреливаемой ложбинке и темноты не дождаться, потому что стоит полярный день и сумерки придут не раньше, чем через полтора месяца,— отсюда уже подаваться некуда. До первого боя. Тут в самом деле передовая. Но только оказывается, что не очень это заметно; что потравить, потрепаться, развести хаханьки — можно и здесь не хуже, чем в кают-компании на спокойном переходе. Во всяком случае, до первого боя.

И тайфун тоже оказался не тайфуном, а какой-то его дальней околицей, хоть валы и унесли шлюпку, покорежили мостик и наделали хлопот, которые еще долго расхлебывать нашей палубной команде. А настоящий тайфун где-то у Филиппин, куда нам идти — без надобности.

Не знаю только, досталось ли бы в настоящем тайфуне кочегарам больше, чем им доставалось сегодня. Представить это трудно.

Там, в пекле, «духов» швыряет так же, как матросов на палубе. Только бросает их не на облитые водой переборки, а на раскаленные решетки топок. Доктору несколько раз пришлось возиться сегодня с ожогами. И забинтованные «духи», уйдя от него, снова ныряли в свой ад. Для доктора тайфун отдавал запахом цинковой мази. Лиц доктор не видел. Только обожженные руки, плечи, спины— и белые пятна цинковой мази на собственных пальцах и на чужой коже, и бесконечный марлевый бинт...

С рассветом солнце не показалось. Тучи сливались с волнами и были одинаково серого цвета.

На корабле с подволоков лилась вода, смешанная с машинным маслом.

И все-таки в этом ходуном ходящем тесном мирке, несмотря на суматошные швырки, толчки, на внезапно окатывающую воду, усталые люди умудрялись забываться, дремать, свалившись на диваны верхних помещений, припав головою к соленой, мокрой подушке, закатавшись в пропитанное водой одеяло, потому что потребность хотя бы в самом коротком сне была сильнее всего и побороть ее было невозможно.

Приготовить что-либо на камбузе не удалось. Из котлов выплескивался суп, мясо выскакивало из сковород под ноги коку;

те, кто был в состоянии есть, довольствовались консервами и ломтем хлеба.

Склянок не отбивали. Корабельная рында моталась из стороны в сторону, и язык ее — рындабу́лина — звонил непрерывно, путая время.

От доктора вышел Минас Каракаш, его сразу понесло вперед и бросило на стоявшего рядом со мною Иванникова. Минас попытался затормозить, упершись рукой в стенку; его еще протащило малость и оставило в покое. Грудь и спина его были плотно перебинтованы, и пронзительная белизна повязки особенно выделялась на коже, в которую прочно въелась угольная пыль.

— Генка,— сказал Каракаш.

Иванников понял, о чем разговор.

— Ладно.

— Ты еще можешь? Пойдешь, Генка?

— Полчасика попробую. Иду, Миша.

Минаса все называли Мишей.

Он уже отпустил стенку, его сразу понесло вон из коридора. Он только успел крикнуть:

— Там трое осталось! Пар упадет. Надо ребят звать.

Гена Иванников уже проваливался на трап, что вел в кочегарку.

Он только что поднялся оттуда, отстоявши полную вахту, и вот спустился снова, не позволив себе даже недовольной гримасы.

Но на девятнадцатом часу тайфуна не все уже были на это способны.

Минас Каракаш добрался до капитана.

— Не обойтись без аврала, Константин Александрович. Людей внизу не хватает. Пусть идут, кто может. Надо держать пар, пока не упал.

— Люди будут,— сказал капитан.

Но за Минасом появились Игнатьев и Байраченко.

— Вторые сутки пошли,— сказал Байраченко. И остановился.

Капитан ждал.

Игнатьев начал с высокой, почти истерической ноты:

— Поплавано в здешних широтах. Навидались. Такая падаль и пять суток может держать, и неделю. Машины железные, и те захлебываются, а люди не железные ведь!..

Теперь и Байраченко взбодрился.

— Гонконг близко. Чего зря людей калечить? Отстоимся,— утихнет, пойдем куда надо.

— Своими соображениями делитесь? Или вас уполномочили? — осведомился капитан, не повышая голоса.

Дружки предпочли не ответить.

— Почему не в кочегарке?

— Вахту отстояли законно,— Игнатьев протянул к капитану забинтованную руку.— Перекалечим людей, больше времени потеряем. Не на серьезной посуде, на яхте плывем. Не для тайфуна она делана. К берегу надо, пока добираться недалеко.

Капитан опять спросил негромко:

— Это как? Совет? Пожелание? Требование?

Голос его стал малость порезче.

— Я бы хотел, чтоб никто не забывал: ни требовать от меня, ни даже советовать мне здесь никто не имеет права.

Байраченко наглел.

— Полтона ниже, капитан. Не старое время. Судком нас поддержит.

Новый вал накрыл нос. Брызги хлестнули на мостик, Байраченко едва удержался на ногах.

Капитан сказал совсем тихо:

— Вон. С судкомом я говорить согласен. А вы оба — убирайтесь немедленно. Вон.

Он велел вахтенному матросу:

— Утятникова ко мне.

Вахтенным матросом был я. Предсудкома Утятников находился на своем месте, в машинном. Там же, с тех пор как засвежело, бессменно находился и «дед». Он услышал капитанский приказ и сказал Утятникову:

— Иди, Яков, дело недолгое, я пригляжу.

Яша Утятников, едва очутившись на мостике и не спросив даже, для чего вызван, объявил:

— В кочегарке трудно. Аврал надо свистать.

Капитан огорчился:

— Опять совет?

Он хотел, наверно, испытать Утятникова. Не предлагая никаких готовых выводов, ничем не выказывая собственного отношения, он просто информировал о недавних своих посетителях:

— Есть другие настроения. Приходили ко мне. Просятся в порт. До Гонконга, говорят, пятьдесят миль. Так вот чтобы там отстояться, а потом видно будет. Судком, говорят, поддержит.

Яша Утятников оказался на высоте.

— А кто же это со мной говорил? Как это можно — в порт?

— До Гонконга пятьдесят,— повторил капитан.— Для точности скажем — шестьдесят семь. А до Килунга все триста. Как говорится, с гаком. Кое-кому приходится трудно, даже очень трудно, это правда. Но ведь тайфун нас едва зацепил,

штормуем мы пока одни только сутки, какой тут для моряка может быть разговор?!

— Чего объяснять? — согласился Утятников.— Дети, что ли? Лишний заход, — считай, двое суток лишних. Разве можно?

Остров во льдах. Дети, которые там родились Последние сухари съедены. Связи нет. И— лишние двое суток. Вот о чем думал Яша.

— Так не поддерживает судком? — переспросил для порядка капитан.

— Судком их поддержит, дуроломов,— пообещал Утятников.— Запомнят они эту поддержку. Сейчас приведу Ткаченко. Пусть весь треугольник свое слово скажет.

Наш Константин Александрович был капитаном старой школы. Геометрию он запомнил в тех пределах, какие могли ему пригодиться при навигационных выкладках. С треугольником,— в том смысле, какой вкладывал в это понятие Яша Утятников,— капитан повстречался не так давно, и не думаю, что, постигая этот новый смысл, он испытывал удовольствие. Вряд ли он соглашался в глубине души считать такой треугольник равнобедренным, а себя самого — одним из равных его углов. Но ни иронии по этому поводу, ни тем более какого бы то ни было пренебрежения он не позволял себе никогда. С предложением предсудкома он молча согласился, и тот отправился искать парторга Пашу Ткаченко, громко призывая его на всех палубах.

На задворках тайфуна наш благовоспитанный корабль стал злым, неукротимо враждебным к каждому из своих обитателей микромиром. Больно кусались раскаленные переборки, не поддавались тяжелые горячие железные двери, палуба то уходила из-под ног, то подбрасывала человека вверх. Из каюты Шеры донесся жалобный детский плач. Оказалось, там спрятаны смертельно испуганные, дрожащие Яшка и Машка. Макаки жались в углу койки, похожие на чету очень старых и подавленных неудавшейся жизнью лилипутов.

Ткаченко не откликался.

Он обнаружился в угольных ямах. С ним вместе работал Игнатьев. Они выгребали из-под стенок уголь, кидали его лопатами на вагонетки и отправляли в кочегарку. Ткаченко всегда любил прихвастнуть своей незаурядной физической силой. После встреч с ним долго болели спина и руки: он сгребал встречного за плечи, мял, валил, сжимал руку в необъятной, железной своей ладони. Сейчас видно было, что каждое движение дается ему с трудом. Черный, косматый, в одних трусах, он не сразу понял, чего хочет от него Утятников.

— Судком! — крикнул он.— Повернули мы к берегу или нет? И уголь кончается, и люди на пределе.

Игнатьев не зря ему помогал. Напел тут свое. А у Ткаченко от усталости уже и котелок не шибко варил. Так говорил ему потом Утятников. Но сразу он объяснять ничего не стал; только сказал, что их обоих дожидается капитан как раз по этому делу.

— А тут кто будет?

Утятников привел первого, кто ему попался: Сливинского. Профессор, ни слова не сказавши, взялся за лопату.

Прежде чем подняться наверх, Утятников оглядел уголь в трюме: не много, но суток на пять должно хватить. Здесь-то подгребают, но одна яма еще не тронута.

Ткаченко появился перед капитаном, как был, оставляя за собою на планшире жирные следы пропитанной потом угольной пыли. Утятников не дал ему даже окатиться водою: «Искал тебя, наверно, полчаса, а капитан ждет».

На таком заседании мне больше никогда присутствовать не приходилось.

Единственное, что было сравнительно устойчивым в помещении, где оно происходило,— это свет электрической лампочки над разостланной морской картой. То есть раскачивались, конечно, и карта, и лампа, но если самому включиться в тот же ритм, то это перестаешь замечать, и появляется ощущение устойчивости. Снова смеркалось; солнце во второй уже раз проваливалось в неистовый грохот разверзшихся хлябей. Вокруг по-прежнему плясало, прыгало, гудело, дребезжало. Но электрический свет тревожно мерцал только при самых сильных ударах. Каково же было на парусных судах, которые плавали до изобретения электричества? Что могло создавать там иллюзию устойчивости? Я попробовал прибавить к окружающему хаосу еще и пляску мерцающих, пригасающих и вовсе гаснущих фитилей, и от одной этой мысли стало не по себе.

Еще я попытался добавить треск рей и пушечное хлопанье парусов.

Но можно ли было это различить в сплошном реве? Грохота и без парусов хватало. Он достиг предела, который, кажется, уже ничто не могло усилить.

Треугольник был в сборе.

— Вахту стоят считанные люди,— проорал Ткаченко.— Ребята вымотались. Уголь на исходе. Кто может сказать, сколько протянется эта петрушка? День или неделю? Если мы окажемся в дрейфе, это может кончиться катастрофой.

— Попробуем по порядку,— остановил его капитан.— Пока что необходимо держать пар и у топок нужны люди. К Китаю мы пойдем или на Формозу, дела все равно еще хватит. Партийцы, я надеюсь, на месте?

Ткаченко ответил кивком: да. И добавил:

— Кроме обожженных и покалеченных.

— Кроме обожженных и покалеченных,— повторил капитан и продолжал: — Чтобы дойти до Гонконга, нам нужно часов девять. До Килунга ходу — трое, четверо, пятеро суток. Когда тайфун на пути, загадывать трудно. И не морядкое это дело — загадывать. . .

Капитан и тут не изменил себе.

Но он еще не закончил.

— И все же мы должны идти в Килунг, и только в Килунг, и никуда больше. Вы сами все хорошо знаете, но я вам еще раз изложу суть дела. Во-первых, никакого захода в Гонконг нет в нашем плане, с портовыми властями ничего не согласовано, а отношения сложные и, насколько мне известно, Совторгфлот в настоящее время даже не имеет своего представителя в этом порту.

В его манере держаться мне почудилась намеренная и щеголеватая деловитость. Капитан словно бы держал речь на заседании совета пароходной компании, отчитываясь перед акционерами. Я давно успел заметить, что именно такой стиль он избрал при общении с двумя остальными равными углами упомянутой геометрической фигуры. Это как раз и придавало речи милейшего Константина Александровича несколько высокомерный оттенок.

— При помянутых обстоятельствах судно могут там приковать цепью к причальной стенке и не выпустить без долгой дипломатической волокиты. Мне известны такие случаи. И именно в Гонконге. Во-вторых. Пираты в здешних водах — не травля и не детская сказка. В этом году они ограбили одно американское, два датских и несколько японских судов. За последние три-четыре года я мог бы перечислить добрых полтора десятка случаев, когда суда, и отнюдь не маленькие, были угрозой силы остановлены в море и ограблены пиратами. Всякий раз это происходило невдалеке от Гонконга. Мы обязаны считаться с этой опасностью и помнить, что права на такой риск нам никто не давал. И наконец, в-третьих. Все вы, надеюсь, помните главную нашу задачу и сжатость доступных для ее выполнения сроков. Так можно ли при этих обстоятельствах заводить разговор о лишнем заходе в порт?

— Все? — спросил Утятников.

— Могу добавить, — ответил капитан. — Сейчас у нас еще есть уголь, чтобы дойти до Формозы, а если мы свернем в сторону, топлива не хватит и уголь придется докупать в Гонконге и расходовать неассигнованную нам валюту. Это, повторяю, в лучшем случае, если все прочее обойдется благополучно. Теперь все.

— Ясно,— сказал Утятников.— Идем в Килунг. Верно, Ткаченко?

— Какой разговор? — откликнулся тот.— Дело чести для

нашего экипажа. Поднимем всех. Надо объявлять аврал всем здоровым.

Треугольник отзаседал.

Утятников вернулся в машинное. Паша Ткаченко спустился в трюм. Капитан велел вахтенному помощнику объявить аврал для всех, кто способен идти к топкам и в угольные ямы.

— Ну, ты иди, Сашка,— сказал Ткаченко Игнатьеву.— Иди совсем. Отдыхать можешь. Не хуже, чем в Гонконге. Сейчас хлопцы придут. Аврал.

И он взялся за лопату.

Мы с Прохоренко и Горобовым присоединились к Сливинскому. Теперь в угольных ямах работало человек восемь. Там было темно и нестерпимо жарко. Прошло двадцать, тридцать, сорок минут. Лопаты углублялись в неподдающийся уголь; бросало здесь меньше, чем наверху, но броски и толчки были такими же непрерывными и беспорядочными, и трудно было приноровить к ним ритм работы. Набранный на лопату уголь следовало перебрасывать вперед, ближе к кочегарке. Тяжелые куски, срываясь с лопаты, могли угодить в соседа. Горобову один такой кусок раскроил ногу, кровь текла, смешиваясь с угольной пылью, его гнали к врачу, но он не хотел уходить.

Духота.

Воздух, наполненный мельчайшей угольной пылью.

В темноте из угла трюма доносится натужное человеческое рычание: кого-то одолела морская болезнь. И можно разглядеть, как оттуда выбирается человек и снова берется за лопату.

Еще полчаса.

Открывается тяжелая железная дверь, что ведет из угольных ям в кочегарку. В багровом прямоугольнике мерцают отсветы всех топок. В трюм заглядывает Паша Ткаченко.

— Хлопцы! Пар на марке не держим. Давайте хоть двое сюда!

Мы с Прохоренко переходим в кочегарку.

В трюме остаются четверо.

Они работают.

Я проснулся в своей каюте с таким ощущением, будто накануне меня долго били по всему телу чем-то тупым и очень тяжелым. У койки плескалась вода. По иллюминатору, с наружной его стороны, струились потоки; они не успевали стечь, как иллюминатор снова целиком погружался в воду, потом его круто разворачивало к небу, но сбегающая по стеклу вода мешала что-либо разглядеть.

Перейдя вчера в кочегарку, мы с Прохоренко очутились как бы в средоточии нового, огненного шторма. Языки огня выбрасывались из топок. Металлические переборки были так

же раскалены, как в угольных ямах. Тяжелую лопату здесь сменял не менее тяжелый ломик. И каждый удар, направленный в жерло топки, вызывал представление о покушении на убийство.

После часа работы нас подменяли и давали час отдыха.

Этот блаженный час кончился, вот Митя и разбудил меня. Пора было возвращаться.

Я снова оказался в паре с Прохоренко.

Лопата. Ломик.

Бросок. Удар.

Пламя в топках.

Раскаленное железо переборок. Зной и духота, которые уже высушили нас так, что и пота не осталось.

Смена пришла. Вижу Федора Ивановича Чумака, остальных не разглядеть.

Опять возвращение в залитую каюту и мгновенное забытье на койке с насквозь промоченными морскою водою подушками и бельем.

Шторм прекратился на четвертые сутки.

В каюте еще стояла вода. Но ее не носило больше из стороны в сторону,— вода была спокойна, и она уже не доставала до койки, а опустилась до уровня комингса и больше не прибывала. Чист был иллюминатор. За ним голубело, зеленело, по подволоку бежали светлые полосы, как бывает в ясный, спокойный солнечный день. Это было непонятно. Когда нас подменяли в кочегарке, все было по-прежнему — и шторм, и грохот, и раскаленные переборки, и жаркий воздух пополам с угольной пылью, который невозможно было вдохнуть. Все было как прежде, только мы сами стали другими: притерпелись, что ли, перестали думать, когда же это кончится, и даже последние смены показались неожиданно короткими — не ошибка ли? Выходило, что притерпеться можно ко всему, даже к тайфуну. Я посмотрел на часы. Почти пять часов прошло после возвращения из кочегарки, почему же не будил меня Митя? Я заторопился, ступая по палубе, неожиданно устойчивой под ногами, почти как твердая земля. И самым удивительным была тишина, в которой ясно слышались поскрипыванье трапов под ногами, голоса второго помощника и радиста, разговаривавших на палубе, шум работающих машин. Со стола в кают-компании убраны были «скрипки». Завтрак уже окончился, только доктор еще потягивал крепкий, — «морской», как он всегда говорил,— до рубинового цвета заваренный чай.

— Приятно чай пить,— пригласил он меня, произнеся не без чуть заметной иронии усвоенную на нашем судне формулу вежливости военно-морских кают-компаний.

Я поблагодарил и спросил, давно ли кончился шторм.

С никогда не изменяющей ему прелестной беззаботностью доктор ответил, что проспал и не знает.

Много ли у доктора пациентов?

Доктор сказал, что один: сильные ушибы и вывихнутая стопа.

Все вдруг явилось в совершенно ином свете, чем казалось несколько часов тому назад.

Шторм кончился так же внезапно, как начался, и даже вспоминать о нем было уже вроде бы как-то неприлично. Для большинства людей на судне эта трепка была не первой и, наверно, не самой сильной и долгой. Только зеленый салага мог придавать чрезмерное значение тому, что с нами происходило в течение минувших трех суток. Я прочитал это в испытующем взгляде Мити Золкина, когда после полуденных склянок поднялся на вахту. Хоть и не без труда, я сумел не сказать о шторме ни слова. Проломленный волною фальшборт был уже исправлен, нам оставалось лишь наводить поверхностный глянец, и на этот счет Митя отдал мне соответствующие распоряжения. Разговор пошел будничный, ленивый, под стать спокойному солнечному дню. Только Шера позволил себе вспомнить о том, что было, помянув, что и на Черном море его однажды трепало с не меньшею силой — держало на траверзе Тендровского маяка и целую неделю не давало подойти к берегу.

— На шаланде? — беззлобно спросил Стехов.

— Небольшая была посуда,— согласился Шера.— Сказать бы, катерок.

В последнее время, по мере приближения к Владивостоку, старпом как бы присматривался к Шере внимательнее. И капитану, который прежде Шеру словно и вовсе не видел, теперь случалось переброситься со своим третьим помощником несколькими фразами. После такого короткого общения капитан поглядывал на старпома, едва заметно ухмыляясь, и во взгляде его можно было прочитать: «Монстр, конечно, но что-то в нем есть такое...» Я понял, что именно в эти дни по поводу Шериной дальнейшей судьбы принимались важные решения.

Еще в самом начале плавания я увидел, как Стехов наблюдает за Шерой в тот момент, когда для вахтенного помощника наступило время произвести обсервации и определить место корабля в открытом море.

Сам Стехов выполнял эту процедуру легко и весело, будто играючи. Он быстро взглядывал на секстан, отсчитывал показания лага, и вот уже все, что положено, было отмечено на карте. Второй помощник, Георгий Иванович, щеголеватый моряк с коротко подстриженными усиками, чувствуя на себе чужой взгляд, принимался священнодействовать. Облачной

ночью он принимал такие картинные позы, ловя секстаном светила в разрывах туч, он таким каллиграфическим почерком записывал вычисления на приготовленном листке бумаги, что только диву можно было даваться. Округлые цифры и аккуратно выведенные греческие буквы ложились ровными строчками даже при сильном ветре, и вот уже появлялась на карте точка, обведенная двумя ровненькими кружками, будто дело тут не обошлось без циркуля. А Шера всякий раз бросался в эту повседневную процедуру с отчаяньем, с лихостью какой-то, точно начинал выполнять опасный цирковой номер. Так и хотелось выбить барабанную дробь. И к секстану он подходил с опаской, и вычисления свои громоздил неуверенно и коряво, и мне казалось, что в конце концов он ограничивается простейшим арифметическим действием, приплюсовывая новые показания лага к цифре, записанной на предыдущей вахте. Сменявший его на мостике Георгий Иванович, как я заметил, попросту не обращал внимания на Шерины записи. А теперь Стехов стал давать Шере советы и проверять, как он их усваивает.

Может быть, они с капитаном почувствовали в Шере верность и прямодушие, негромкое мужество и ту способность целиком посвящать себя делу, за какое он берется, которая при осуществлении предприятия трудного и сулящего опасность перевешивает и многие другие способности и приобретенные знания.

Похоже было, что в Шериной судьбе внезапно проглянула удача, и не только за него я рад был, но и за себя. После полутора месяцев, прожитых вместе, со многими не хотелось прощаться. А с Шерой особенно.

И к Мите я привык. И к хитроумному Улиссу — старпому. И к доктору. И к Минасу Каракашу. И конечно, к Федору Ивановичу. Когда утих тайфун, я уже не сумел вспомнить, кого видел рядом с собою в угольном трюме и в кочегарке в авральные часы. Но эти часы не только сблизили меня с другими; они изменили меня и научили чему-то, чего сам я еще не понимал и понял только через много лет в простреливаемом кинжальным огнем немецких береговых батарей Мотовском заливе Баренцева моря. Там это пригодилось.

Но тайфун прекратился, будто его и не было. Море успокоилось. Солнце светило с ясного неба.

К полудню показались невдалеке темные прямоугольные паруса большого сампана, непохожего на малайские рыбачьи лодки, к которым мы успели привыкнуть за последнюю неделю. А за силуэтом сампана открылась однообразная линия скалистого берега. Трудно было понять, почему этот остров увиделся некогда морякам обетованной землей — Формозой. Может быть, их накануне трепал в этих водах тайфун позлее, чем

наш, и благословеньем показалась им не только открывшаяся земля, но и само тихое утро, и небесная синева, и эта вода цвета бутылочного стекла, вдруг притихшая, и эти изумрудные отблески на изломах невысокой зыби под внезапно упавшим ветром? Может быть, при виде такой благословенной умиротворенности, задолго до того как поднялся над водою скалистый остров, пришло им на ум веселое слово «формоза»?

Нам идти до острова еще не один час, и до захода в порт нужно еще многое привести в порядок на палубах, покореженных тайфуном.

9

Он. Ятсуки-сан, супруга моя, вишня. Приготовила ли ты ужин для Ватакуси, мужа твоего, для меня?

Она. У меня было много домашних забот, Ватакуси-сан, повелитель мой. Мне не хватило времени, и ужин для тебя я приготовить не успела.

Высокую двухколесную повозку тащат по улице шесть человек в упряжке. Они одеты в недлинные, до колен, просторные кимоно. По мостовой сухо стучат деревянные подошвы их обуви, а высоко над повозкой хлопают по ветру вертикально прикрепленные к древкам узкие белые флаги с черными иероглифами.

Он. Ятсуки-сан, супруга моя, вишня. Солнце поднималось в небе багряной гроздью, когда я вышел к пагоде, чтобы просить подаяния. Солнце уже опустилось багряной гроздью на другую сторону горизонта, придя к закату, когда покинул я это место. У меня затекли ноги, я устал от своего труда, и я хочу есть. Я голоден. Я отыщу крепкий бамбук и поколочу тебя бамбуковой палкой, Ятсуки-сан.

Она. Ты трудолюбивый попрошайка, Ватакуси-сан, я это знаю. Сколько же денег принес ты сегодня домой?

Он. Я принес очень мало, потому что люди стали черствыми и скупыми.

Она. О, Ватакуси-сан, повелитель мой, закоснелый бездельник. Твой бамбук прогуляется нынче по твоей же спине...

День жаркий. Повозка движется неторопливо. Кургузые колясочки рикш обгоняют ее справа, бегут встречным потоком слева; гудят на разные голоса автомобили, пытаясь прорваться сквозь уличную толпу, что окружила повозку и идет с нею рядом, стараясь не упустить слова, которыми обмениваются там люди с лицами, густо набеленными и превращенными в гипсовые мертвые маски. Так же набелены лица и ярко на-

багрены рты у тех шестерых, которые тащат повозку, и у того, что, стоя на облучке, мерно бьет в узкий и высокий барабанчик, зазывая прохожих в театр, где артисты, приплывшие сюда из города Осаки, покажут им сегодня, завтра и послезавтра комедию про Ятсуки-сан, отважную жену, и про Ватакуси-сан, ленивого мужа. Слова диалога и возгласы зазывалы переводит для меня новый знакомец. Он попросил, чтобы я называл его Иваном Федоровичем, и объяснил при этом, что хоть он родом японец, но православный, Иваном наречен при крещении, а отчество дано ему по отцу Феодору, не родному, конечно, отцу, а священнику, совершившему над ним таинство крещения семь лет назад, когда новоявленному моему знакомцу шел уже двадцать третий год и выбирать вероисповедание он мог сознательно и по доброй воле. Отец Феодор тоже был японцем, а крещение принял еще в прошлом веке, от русских миссионеров, которых в Японии было тогда немало. Родовое же имя Ивана Федоровича — Икеми. Икеми-сан.

Обстоятельства нашего знакомства были несколько необычны.

Хотя неожиданными их назвать нельзя.

От тех, кому случилось побывать в Японии, мне давно приходилось слышать, что всякий попавший туда чужестранец сразу обзаводится докучливой тенью, сопровождающей его по пятам,— с первого же часа после прибытия и до самого отъезда. Признаюсь, рассказы эти показались неправдоподобными.

Я думал: приезжих много, откуда же возьмется для каждого такая тень? Ведь все они должны быть служащими, им деньги надо платить, станет ли государство плодить столько бездельников да еще оплачивать их безделье? Нерасчетливо это и накладно. Но я еще не знал, что при помощи простой логики, обращаясь только к здравому смыслу, нельзя объяснить многое из того, что происходит в окружающем нас мире.

Рассказчики оказались правы, а я ошибся.

Как только на «Литке» была опечатана каюта, где килунгские таможенники сложили отобранные у нас фотоаппараты и запасы папирос, превысившие скупые таможенные нормы, и мы получили разрешение сойти на берег, оказалось, что у каждого в самом деле сразу появилась такая тень.

Моей тенью как раз и оказался Иван Федорович Икеми.

Сперва тень была безмолвной.

Я проходил по улицам, застроенным двухэтажными — тропической колониальной архитектуры — домами. У них вторые этажи выступали над всей шириной тротуара, опираясь на грузные квадратные колонны, протянувшиеся вдоль мостовых. Затененные тротуары спасали прохожих от прямых солнечных лучей. Прохлады не было, но была хоть тень. Вторые этажи

были жилыми, а в первых размещались лавчонки, полутемные, нежаркие, с витринами, порой лаконичными (один граммофон, или одна мотоциклетка, или несколько цветных палочек для воскурений, помещенных перед искусно составленным букетом цветов), но чаще переполненными на европейский вкус множеством галантерейных безделок, то привычных и бросовых, то загадочных— лакированный щиток с несколькими иероглифами и неизвестного назначения вещицы, очевидно посвященные чужому, совершенно мне незнакомому богу. Я шел мимо этих витрин, и новая моя тень следовала за мною. Я входил внутрь, а тень оставалась снаружи, чтобы двинуться вслед, едва я выйду на улицу. Это продолжалось час, другой, третий, и я уже понял, что рассказы, казавшиеся мне баззастенчивым вымыслом, оборачиваются чистой, хотя и престранной правдой и что тень моя, сохраняя ту же дистанцию в три шага, проводит меня в вечерней мгле к сампану, перевозящему матросов с причала на корабли, бросившие якорь на рейде, а назавтра с утра появится снова. И я решил проверить то, что считал самым невероятным в слышанных мною рассказах.

Я вышел из лавки с пакетом. В нем были завернуты только что купленные гэта — высокие подставки, покрытые черным лаком с нарисованными по нему белыми и золотыми цветами. Род женской обуви, которая держится на ногах при помощи тесемок, проходящих между большим и вторым пальцами (для гэта здесь и чулки шьют как рукавицы —с отдельно отстоящим большим пальцем). Вряд ли эта покупка могла пригодиться по своему прямому назначению мне или кому-нибудь из моих знакомых. Но вещь точно так же, как и многие другие увиденные сегодня японские обиходные предметы, обладала очарованием произведения искусства. Прелестны были палочки для еды. Обольстительна — ладошка из слоновой кости, надетая на длинную лакированную рукоятку и изготовленная для того, чтобы чесать ею спину. Никакие наши ботинки не поставишь ни на письменный стол, ни на стенную полочку, даже мысль об этом кажется несусветной чушью. А гэта мне захотелось иметь дома перед глазами, вот я их и купил. Пакет получился не маленький. И я, испытав раздражение при виде терпеливо поджидавшей меня на улице непрошеной тени, сказал, когда она двинулась за мною:

— Хоть поднесли бы, что ли? Чего ходить зря?

Удивительным было уже то, что тень поняла мои слова. Она заулыбалась и отозвалась с готовностью, почти по-русски:

— Позарусьта, госиподина морьяка. Рацу ситаратиси.

И, не прибирая улыбки с кругленького лица, тень бережно приняла мой пакет.

Дистанция в три шага уничтожилась. Мы стали сперва собеседниками, потом собутыльниками, а на следующий день — почти друзьями.

Надо принимать мир, какой он есть. Разные профессии кормят людей. Мой килунгский провожатый служил в качестве чужой тени. Он это сам выбрал. Его дело.

Как бы то ни было, Иван Федорович Икеми стал переводить мне уличные вывески и реплики прохожих, названия журналов и книжек на прилавках киосков, афиши кинематографов и возгласы бродячих торговцев.

Когда я купил выточенную из красного дерева округлую фигурку веселого толстяка с хитрым лицом, короткими ножками и большим брюхом, Икеми-сан объяснил, что это божок счастья по имени Хотэи и что, приобретя его, я несомненно поступил правильно. Такого бога полезно иметь в своем доме. И про позолоченного деревянного старичка с длинной узкой бородкой, пляшущего на одной ноге, он тоже сумел рассказать, что это один из мудрецов китайского пантеона; иногда их фигурки режут из дерева, иногда из легко поддающегося резцу мыльного камня, и фигурки эти, если обходиться с ними уважительно, тоже могут приносить счастье. Хотэи от меня давно увели, старичок живет до сих пор, но обхождению с ним я, наверно, за сорок лет так и не научился.

Так мы ходили с Иваном Федоровичем Икеми по улицам двухэтажного городка Килунга: куда я, туда и он. Нет, дружбой наши отношения, конечно, не стали, но было взаимное любопытство друг к другу. Даже по вещам, в окружении которых возник передо мною Иван Федорович Икеми-сан, выходило, что он — обитатель мира, совершенно непохожего на тот, в котором я привык жить. Не антипод даже, а вроде инопланетное существо. Может, и ко мне он присматривался с тем же чувством.

Печать инопланетности лежала на многом из того, с чем я сталкивался на каждом шагу, прогуливаясь по небольшому портовому городу на острове, еще называемом на тогдашних картах Формозой.

И все то, что меня удивляло и в суть чего я пытался хоть немного проникнуть, было заключено в раковину; она плотно захлопывала свои створки перед самым носом любопытного, едва он к ней приближался.

На некоторые свои вопросы я получил ответы много позже, в другой географической точке и в совершенно иных обстоятельствах.

Плаванье ледореза «Федор Литке», о котором я нынче вспоминаю, происходило слишком давно. В старые воспоминания то и дело вторгаются сопоставления с тем, что было увидено и испытано в другие, более поздние годы. Я позволяю себе

слишком много отступлений от давнего маршрута. Но надо ли сопротивляться соблазну и запрещать себе обращения к опыту, пришедшему не в то время, о котором ведется рассказ? Такое ограничение кажется мне ненужным, и я разрешу себе еще одно пространное отступление, уходя от плаванья «Литке» на целых шестнадцать лет.

В последние дни лета 1945 года я снова очутился перед тою же раковиной, на этот раз у берега Желтого моря, в городе, который имел три названия: китайское — Далянь, японское — Дайрен и русское — Дальний.

Попал я туда в составе десантной группы Тихоокеанского военно-морского флота, поднявшейся на нескольких гидросамолетах невдалеке от Владивостока, пролетевшей над Кореей и после пяти часов полета беспрепятственно опустившейся на акваторию Дайренского порта в то самое время, когда Квантунская императорская армия капитулировала перед подошедшими с Севера советскими вооруженными силами.

Мы вылетели 23 августа.

Прошло две недели со дня, когда Советская Армия начала боевые действия против империалистической Японии. Войска Забайкальского фронта с непостижимой стремительностью преодолели труднейшую преграду на своем пути — перевалили через Хинганский хребет и одновременно с частями Первого и Второго Дальневосточных фронтов, наступавшими от Хабаровска и Приморья, развернули наступление на всем протяжении огромного — более четырех тысяч километров — сухопутного фронта. На Амуре и реке Сунгари действовали моряки Амурской флотилии. В морских портах, оккупированных японцами на побережьях Кореи и Маньчжурии, на Курильских островах и Южном Сахалине высаживались десанты Тихоокеанского флота.

Уже пали Расин и Сейсин.

В Маньчжурии взяты были Мукден и Чанчунь, Харбин и Гирин.

Удары были внезапны и сокрушительны.

Еще 14 августа правительство Японии повело переговоры, заявляя о своем согласии на безоговорочную капитуляцию и о готовности отдать приказ о прекращении вооруженного сопротивления. Это оказалось, однако, лишь бесплодной попыткой оттянуть время. Через день после заявления японцы еще порывались предпринять на многих направлениях контрудары, но все они захлебнулись, нигде не принося результата. Наше наступление продолжалось.

Мы подлетели к Дайрену в то время, когда и там, как на многих других участках фронта, уже начиналось разоружение частей Квантунской армии.

Перед посадкой мы сделали над городом три круга и увидели под крылом прямые улицы, бегущие по ним вагоны трамвая, большие сады, работающие фонтаны на площадях. Почти миллионный город был цел, жив, только заводские корпуса выглядели неживыми и почти пусты были портовые причалы.

Стрелок-радист вылез было на крыло с автоматом, осмотрелся и принялся надувать резиновую шлюпку. Но с сампанов, державшихся в приличном отдалении, послышались нерешительные вопросы:

— Перевоза надо — не надо?

— Надо,— отозвался стрелок.

На сампанах десантники переправились к пирсу и встретились с земляками-танкистами, уже оценившими порт.

Над прилегавшей к порту улицей висел транспарант с надписью:

«Да здравствуйте Красная Армия! Как поживаете?»

## 10

Не для того, чтобы рассказать об удивительном Дайрене тех дней, я позволил себе это отступление.

Основанный русскими в самом конце прошлого века, этот город отошел к Японии в 1905 году по Портсмутскому договору, и сорок лет спустя в нем обитало восемьсот семьдесят пять тысяч жителей. Основную массу населения составляли китайцы. Чиновники, полицейские, инженеры, квалифицированные рабочие на местной судоверфи, большом радиозаводе и других предприятиях города, хозяева лучших отелей и универсальных магазинов, учителя и врачи были японцами. Они образовывали всю ту, не очень плотную, но обширную пленку, что держалась на поверхности городской жизни, как это обычно бывает в колониальных городах, где официальные хозяева находятся в меньшинстве.

И была в городе еще одна приметная группа населения, очень пестрая, тысячи в две, две с половиной человек, среди которых можно было встретить и опустившихся к самому дну люмпенов, и мелких ремесленников, и предприимчивых коммерсантов, и магистратских служащих, и шоферов или трамвайных кондукторов, и популярных в городе врачей, и профессора-синолога с мировым именем, и бывшего адмирала царского флота, принявшегося за писание мемуаров в то время, как супруга его с грехом пополам тащила нищий, полуголодный дом, добывая уроки музыки и французского языка в нескольких зажиточных японских семьях.

Эту пеструю и малочисленную часть местного населения составляли русские.

Не много уже оставалось здесь старожилов — из тех русских семейств, что осели в Дайрене полвека назад, в годы, когда город только начинал строиться. Больше было таких, кого занесло сюда двадцатью годами позднее: через всю Россию, через Читу и Владивосток они бежали за Амур, на край света — от революции. Третьи — и их было уже большинство — выросли здесь, не зная России, воспитанные в убеждении, что к северу от Амура и Сунгари никакой России вовсе и не осталось, вся она здесь, со всеми своими традициями, и на эту-то кучку молодых людей, воспитанных в маньчжурских русских гимназиях и миссионерских колледжах, легла святая миссия сохранить ее дух и культуру.

В городе было три быта: китайский, японский и странно законсервированный быт русской провинции начала века, с любительскими спектаклями и благотворительными вечерами, с падеспанью под духовой оркестр, с серпантином и конфетти, с декламацией «Как хороши, как свежи были розы», с виктролами и патефонами, из которых хрипели заигранные пластинки Вяльцевой, Вертинского, Бима и Бома.

Эти три быта существовали рядом без осмоса; они не проникали один в другой. Каждый был замкнут сам в себе. Японский был как бы на поверхности городской жизни и все еще определял собою лицо города.

У местных русских жизнь протекала под спудом, как забранная в трубу и упрятанная под землю речка. Китайцы теснились по нищим окраинам. А в центре города — японскими были архитектура зданий, облик парков и памятников, пагоды храмов, вывески многоэтажных магазинов, отелей и ресторанов, рекламы товаров и ближних приморских курортов. Неповторимый стук японских деревянных башмаков — гэта будил меня по утрам, доносясь с улицы в гостиничный номер. Выглянув в окно, я мог увидеть, как матери несут привязанных за спиною детей, как останавливает полицейский движение, чтобы пропустить перебегающих через улицу школьников. В Килунге почти все виденные мною японцы носили кимоно; теперь же и мужчины, и женщины были в подавляющем большинстве — по военному, небогатому времени — одеты в куртки цвета хаки и в такие же неуклюжие штаны. На многих прохожих надеты были марлевые масочки, скрывающие нижнюю часть лица и предохраняющие от микробов, перенаселивших городской воздух. Население здесь дисциплинированно: если велено ходить в масках, то они наденут их беспрекословно, независимо от того, нравится это им или нет, удобно или неудобно...

Среди деревьев ближнего парка виднелись тории — два массивных столба, накрытых двумя изогнутыми, выпуклостью книзу, поперечинами; это священные ворота, их ставят у входа

в синтоистские храмы. На аллее, ведущей к храму, несколько торий. В парке их и было несколько, различной высоты.

Бродя по улицам, я снова увидел в витринах магазинов и лавчонок вещи, каких не встречал со времени давней стоянки в Килунге и тогдашних своих прогулок с Иваном Федоровичем Икеми.

На этот раз никакой тени у меня не было.

Но снова я испытал ощущение инопланетности подступившего ко мне чужого, совершенно незнакомого быта.

Только раковина, так плотно смыкавшая тогда свои створки, была на этот раз совершенно иною; мускулы у нее обмякли, что ли: створки разошлись, и обнаженное мясо было странно доступно взгляду. Япония только что потерпела сокрушительное военное поражение. На континентальном плацдарме, в Маньчжурии, была менее чем в десятидневный срок наголову разбита и прекратила свое существование главная опорная сила империи — отборная Квантунская армия. На острова метрополии совершили ряд жесточайших налетов американские бомбардировщики и сбросили сперва над Хиросимой, а три дня спустя над Нагасаки — атомные бомбы.

Было это одним из самых кровавых преступлений в истории человечества, притом лишенным какого бы то ни было, и прежде всего военно-стратегического, оправдания. Когда сбрасывались бомбы, японский империализм со всем его военным потенциалом и без того был уже обречен.

Решающим ударом по военному могуществу Японии было наступление советских войск. Американские же атомные удары оказались не чем иным, как бессмысленным уничтожением двух больших городов и десятков тысяч их мирного населения ради испытания нового оружия и устрашения других народов на земном шаре.

Трагические масштабы катастрофы были, как всегда, еще более преувеличены паническими слухами. Большинство из японцев, с которыми я встречался в те дни, имели на островах близких, и ничего не могли узнать об их судьбе. Для частных лиц никаких видов связи еще не существовало. Пассажирского сообщения ни по морю, ни по воздуху не было, и вообще въезд в город и выезд из него были воспрещены. Город оставался на военном положении, но генерал-лейтенант Козлов, на которого были возложены обязанности военного коменданта, потребовал, чтобы японский муниципалитет и подчиненная ему полиция продолжали выполнять свои функции до передачи города новым властям. Оттого во всей этой взбудораженной, суматошной и неясной обстановке оставалась видимость ненарушенной повседневности, текущей по привычному руслу. Ходили трамваи. Торговали лоточники. Парикмахеры брили и стригли клиентов. Врачи посещали больных. На большом местном базаре неопи-

суемо разрослись барахолка и обжорка, точно так же как это было на наших базарах в годы гражданской войны.

От всех знакомств, встреч и коротких бесед тех дней неизменно оставалось впечатление, что для моих собеседников только и существует эта неопределенная смутная реальность быстротекущего дня, а кроме нее не было ничего: все прошлое и все будущее наглухо скрылись в черном грибообразном облаке, о котором все уже слышали, но которого никто еще не умел вообразить.

Никто ничего не назначал «через месяц», даже «через неделю». Нельзя было предполагать, что может произойти за столь долгое время. Сроки измерялись на часы, на минуты. И минуты отвлеченных бесед оказывались самыми успокаивающими, и японцы сами искали любых поводов для ни к чему не обязывающих встреч и для разговоров, которые уводили бы подальше от неотступных беспокойств и забот. Именно в те дни пригласил меня к себе домой художник Нигеи-сан. В условленный час он зашел за мною в гостиницу; довольно долго ехали мы с ним в трамвае, выбрались на загородное шоссе, что вело к пустому теперь и мертвому приморскому курорту Хосигáура, и на этом шоссе, среди других двухэтажных каменных особняков, нашли дом, принадлежащий Нигеи. Пока хозяин отпирал дверь, навстречу нам вышла жена Нигеи, одетая в синий американский комбинезон молодая и миловидная женщина, тоже художница. Оба говорили по-английски. Последовали обычные представления, приветствия, поясные поклоны; мы оставили ботинки у лестницы, надели тапки из рисовой соломы и вошли в просторную мастерскую.

Как во всякой мастерской, здесь было много холстов, повернутых к стенкам, несколько подрамников с начатыми работами, занавешенными материей, перемазанной красками, но работ шесть или семь оставались доступными взгляду, и я подумал, что не случайно на нескольких из этих открытых холстов изображены были харбинские православные церкви, а еще на других художник написал уличные жанровые сценки,— узкие улочки уходили под гору, а на небольших домах, рядом с китайскими бумажными фонариками, можно было различить вывески, где русскими буквами написаны были русские же фамилии владельцев. Пожалуй, эти русские темы художник намеренно демонстрировал своему гостю. Манера письма показалась знакомой. Харбин, увиденный Нигеи, походил на Монмартр полотен Утрилло. Японская живопись в работах Нигеи не сказывалась ничем. Этому не приходилось удивляться. Нигеи-сан начинал учиться в Мюнхене, потом лет шесть прожил в Париже. Там он познакомился и со своей нынешней женой. Когда его учителя и друзья разъехались из оккупированной немцами французской столицы, чета Нигеи перебралась

в Лондон, а оттуда лишь три года тому назад возвратилась в Японию. Каким ветром занесло их в Маньчжурию, они не рассказывали и расспрашивать я не стал.

Было лишь упомянуто, что у жены Нигеи сестра живет в Нагасаки, а у него самого там и родственники, и друзья, ни о ком из них ничего не известно; запретная тема вторглась непрошено и неизбежно, наступило недолгое молчание, а потом жена Нигеи спросила, как я отношусь к Эль Греко, и оживленно заговорила о нем с очевидной любовью и хорошим знанием предмета.

В мастерской было много книг. Преобладали отлично изданные монографии, посвященные старым и новым европейским живописцам. Я попытался заговорить с хозяевами о японской живописи. Они произнесли несколько общих фраз и от разговора уклонились. Я спросил, что пишет жена Нигеи. Она сказала, что давно уже ничего не писала. Только этюды, но они не заслуживают внимания. Тут муж как бы невзначай повернул один из подрамников. Она покраснела, сказала мужу по-японски какую-то быструю, укоризненно прозвучавшую фразу, хотела снова отвернуть от меня подрамник.

— Не стоит внимания, не стоит внимания,—повторяла она по-английски.

Я попросил разрешения рассмотреть этюд, и ей пришлось согласиться.

На небольшом холсте была написана маслом фигура старого японца в черном кимоно. Старик опустил к земле большой старинный самурайский лук и смотрел вдаль странным и грустным взглядом. Фон был едва намечен: деревья с причудливо изогнутыми стволами.

— Кюдо́,— сказал Нигеи-сан, сильно протянув последнее «о». Но незнакомое слово ничего мне не объяснило.

— Вы не видели кюдо? — спросила жена Нигеи.

Я отвечал, что не видел и не знаю, что это такое.

Она посмотрела на мужа.

— Надеюсь, что смогу показать вам кюдо,— произнес Нигеи, подумав.— Завтра вечером позвоню вам по телефону.

Его жена повернула холст и пригласила нас в соседнюю комнату, к чаю.

В отличие от мастерской, обставленной по-европейски, жилая комната была японской — с легко пружинящими под ногой циновками-тата́ми, с низким столом, уставленным тарелочками со сластями, с двумя цветками в высоком кувшине, помещенном в неглубокую нишу. Больше в этой комнате ничего не было. Мы с Нигеи-сан опустились у стола на поджатые пятки. С грехом пополам я приноровился к этой позе, хотя ноги затекли у меня довольно быстро. Жена Нигеи налила в две чашечки светлый горьковатый чай, и всю европейскую непринужден-

ность, какая отличала ее в соседней комнате, с нее словно рукой сняло.

В своем синем комбинезоне, она стояла теперь на коленях за спиной гостя. В руках у нее появился большой веер, и она меня им обмахивала, хотя в комнате вовсе не было жарко. В мужском разговоре она больше участия не принимала, и я понял, каким тонким и непрочным слоем легли на японские традиции и привычки все навыки, что привезла она с собой из Европы. Сцена в жилой комнате ни в коей мере не была спектаклем, экзотическим угощением, приготовленным для чужестранца. Напротив, именно здесь Нигеи-сан и его жена были самими собою. Хотя, конечно, и разговор об Эль Греко, об Утрилло и постимпрессионистах тоже не был искусственным. Просто все это слилось неразделимо, и увлечение Эль Греко вовсе не противоречило этой коленопреклоненной позе хозяйки дома и мерному помахиванию веером за спиною гостя. Но разобраться в том, как происходит такое слияние и какую психологию оно рождает, было очень нелегко. Просто для них естественным было одно, для меня — другое.

На другой вечер Нигеи-сан, как и было обещано, позвонил мне.

После обычных извинений, иносказаний и оговорок он сообщил, что ему повезло. Он уговорился с кем следовало, и присутствовать на кюдо мы с ним сможем завтра же.

Для этого,— снова долгие извинения и оговорки,— нужно очень рано проснуться: кюдо происходит вскоре после рассвета, в парке, неподалеку от гостиницы. Если я не изменил своих намерений, то ему доставит невыразимое удовольствие зайти за мною и отправиться вместе. Новая серия извинений и необходимое объяснение: когда мы придем на место, я должен буду лишь молча смотреть на происходящее, ничем не подчеркивая своего присутствия. Конечно, всем участникам кюдо известно, что мы с Нигеи там будем, и они дали на это согласие, но поскольку правилами присутствие посторонних не разрешается, то нас там как бы не будет.

Мы должны будем вести себя, как слуги просцениума в театре Кабуки: все их видят, они делают свое дело, но для зрительного зала их словно бы нет.

Пусть я не сочту это за невежливость, но никто из тех, кого мы повстречаем, не будет мне представлен и никаких вопросов я никому задавать не должен. Если я разрешу, то все, что следует, объяснит мне, как сумеет, мой искренне преданный друг Нигеи-сан.

Я подтвердил, что изложенные им условия мне понятны и я их неуклонно выполню. Нигеи-сан поблагодарил меня, пожелал доброго здоровья, и мы простились до следующего дня.

Наутро Нигеи позвонил по телефону из гостиничного холла, когда за окнами едва рассвело.

Я был готов, спустился, мы вышли, пересекли площадь, вошли в городской парк. Нигеи-сан сперва повел меня по главной аллее, потом уверенно свернул в сторону, свернул еще раз, еще раз, и когда солнце выходило из Желтого моря, мы пришли в дальний конец парка, где просторную лужайку окружала поросль красной сосны и необхватные стволы высоченных криптомерий. За деревьями виднелся небольшой японский домик с раздвижными бумажными стенками.

На лужайке мы оказались не первыми. С краю, на одной из скамеек сидел человек в темном кимоно; подальше — еще один. Мы с Нигеи отыскали свободную скамейку в сторонке и тоже сели, убедившись, что лужайка видна оттуда очень хорошо.

Оба первых пришельца не обратили на нас никакого внимания. Все было именно так, как предупреждал накануне Нигеи-сан, мы присутствовали здесь как невидимки.

Почти шепотом Нигеи-сан стал объяснять суть происходящего. По его словам выходило, что участники встреч составляют нечто вроде клуба любителей стрельбы из лука. «Кюдо» — это и есть стрельба из лука, ничего больше. Однако мистическое начало преобладает в этих устренних встречах над спортивным. Стрельбе предшествует предварительный обряд, который является едва ли не главной составной частью кюдо: каждому из участников надлежит отрешиться от всех посторонних мыслей, отогнать от себя будничные заботы. Сперва происходит как бы расслабление тела и духа, мышц и мыслей, слияние с окружающей природой, а затем — сосредоточение на одном-единственном желании: послать свою стрелу точно в цель.

Тем временем к лужайке подошли еще несколько человек, одетых в традиционные японские одежды.

Они появлялись, молча кланялись друг другу и рассаживались по скамейкам, в отдалении один от другого. Сидели, полузакрыв глаза, откинувшись на спинки скамеек.

Вокруг стоял неугомонный мелодичный звон: стрекотали «звонари», «мацумуси» — здешняя разновидность кузнечиков.

Когда очередной пришелец занял уже седьмую скамейку, у полуспрятанного в деревьях домика появился подросток, тоже облаченный в строгое темное кимоно. Он стал выносить из домика луки, каждый из которых был вдвое выше его самого.

С первого взгляда видно было, что это не игрушки, а настоящее боевое оружие,

Участники кюдо,— самому молодому из них по виду нельзя было дать меньше пятидесяти лет,— начали подходить к мальчику и разбирать луки и стрелы. Очевидно, лук тут у каждого был свой, постоянный. Подошедший находил его среди других и степенно удалялся в сторону.

Потом мальчик поставил в отдалении мишень: продолговатый щиток из той же бумаги, из какой сделаны были стены домика, с черным кругом в верхней половине.

Старики по очереди выходили к невидимому рубежу, принимали почти балетную позицию, с силой оттягивали тетиву, и стрела уходила, издавая мелодичный звон, сливающийся со стрекотом мацумуси.

Я не решился сказать об этом Нигеи, но невольно подумал, что условия предварительного обряда никто из участников не сумел сегодня выполнить так, как это требовалось. Ни избавиться от посторонних мыслей, ни полностью слиться с природой, наверно, не удалось никому. Тут не стрелок, а время было виновато, и от тревог некуда было деваться.

Во всяком случае, когда стрела только сходила с тетивы, сразу же было видно, что идет она вовсе не к мишени. Тут начиналась новая игра, снова напоминавшая про Кабуки: опустив лук к земле, каждый стрелок провожал свою предательскую стрелу долгим актерски-презрительным взглядом, резко опустив углы губ. Промах — не его вина. Это стрела не захотела поразить цель. Такая сцена повторилась семь раз. В мишень не попал ни один из участников.

Между деревьями бродил мальчик, отыскивая в траве стрелы.

Участники расходились так же молча, как и собирались за полчаса перед тем.

Нигеи-сан рассказал о них: директор местного отделения крупного банка, хозяин универмага, коммерсант, художник-каллиграф, с которым я познакомился через несколько дней, два инженера...

Мальчик собрал стрелы, вернулся за луками. Вероятно, Нигеи знал его. Он повел меня к домику, взял у мальчика один из луков, длинную оперенную стрелу, протянул мне. Я попробовал повторить позу и движения недавно ушедших отсюда стариков, но сумел оттянуть тетиву едва на несколько сантиметров. Это оказалось очень трудным и требовало незаурядной силы.

Нигеи заулыбался.

— Конечно, конечно. Нужна сноровка.

Не то что попасть, даже послать стрелу в белый свет я не сумел.

С Нигеи мы попрощались у выхода из парка.

На дверях домов, тянувшихся вдоль улицы, все еще были

пришпилены знакомые мне с первого дня бумажки с русскими текстами, написанными чернилами или тушью. Тексты были такие:

О ВЫЯВЛЕНИЕ!
ЭТО ЗУБНОЙ ВРАЧ. ВХОД В НЕЕ БЕЗ
ОСОБОГО РАЗРЕШЕНИЯ ВОЗПЛЕЩАЕТСЯ

Подальше:

ОБЩЕСТВО ЖЕЛАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ ЯПОНСКОЙ ОБСЛУЖИВАТЬ
ВСТУПИВШИЕ КРАСНЫЙ ВОЙСКО В ГОРОД ДАЛЬНЕЙ.

Над опустевшим уже несколько дней назад, вытащенным на тротуар длинным столом все еще был протянут кумачовый транспарант:

РАДУШНЫЙ ПРИЕМ. ПОДАЧА ЧАЕВ ДАРОМ
ЯПОНСК. НАСЕЛЕНИЕ

На двери одноэтажного кирпичного домика с крылечком, такого типического для наших южных провинциальных городов, вроде Елисаветграда или Александровска, объявление было неожиданно грамотным и выдавало, что здесь обитает предприимчивый русский эмигрант.

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ ФЛАГОВЪ РАЗНЫХЪ ГОСУДАРСТВЪ.

Директор В. Кошевъ.

У входа в лавку:

ВОИНЫ! В ЭТОМ МАГАЗИНЕ НИЧЕГО НЕТ.
ПРОСЬБА ЕГО НЕ ОТКРЫВАТЬ.

Владелец магазина.

В окне захудалого трактирного заведения:

ЗДЕСЬ ИМЕЕТ ВСЕГДА ПИЩНЫЙ СУП И ПОТЕТО.

Загадочное слово «потето» расшифровывалось просто: это было написанное русскими буквами английское название обыкновенной картошки.

Все эти надписи я уже знал наизусть, но всякий раз, проходя мимо, перечитывал их снова. Пройдет еще несколько дней, быт устоится, и все они без следа исчезнут, а сейчас они составляют неповторимую примету времени, с его путаницей, вывихами, треволнениями и смутными надеждами.

Час был еще ранний. Первые прохожие только начинали появляться на улице. Стук гэта становился все громче. Я вышел к почти пустой площади, где стоял памятник генералу Ояма, окруженный свежевзрытой глинистой землей, ямами

незаконченных бомбоубежищ, которые в этом городе так и не понадобились.

Посреди искореженной земли и обломков асфальта стоял паренек-японец лет шестнадцати-семнадцати в обычном для большинства его сверстников костюме, напоминавшем скаутскую форму, и плакал, закрывая обеими руками окровавленное лицо. Оказалось, его побили китайские ребята.

Такие стычки случались в те дни нередко, и не только между мальчишками.

И хотя парня побили в кровь, я подумал, что плачет он не от боли, не только от боли, но и от психологического потрясения, от страшной обиды за внезапный и крутой поворот судьбы — его собственной и всего его народа. Закономерности исторических сдвигов были для него еще непонятны.

Возвращаться в гостиницу уже не было охоты, и я пошел по направлению к торимм, что виднелись из окна моей комнаты.

Там, у начала широкой аллеи, уставленной с обеих сторон приземистыми и массивными столбами каменных фонарей, тоже встречало объявление, написанное мелком на грифельной доске:

ХРАМЪ.

Сохраняется.

Человетской.

КОСТЪ.

Мрачное упоминание о человеческих костях, скорее всего, обозначало, что при храме есть кладбище с могилами, требующими к себе уважения, или — еще вероятнее — должно было вызвать представление о душах предков, продолжающих здесь обитать.

Подальше, тоже на ветке дерева, болталось в деревянной застекленной рамке старательно написанное крупными четкими буквами на листе бумаги

«КРАТКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ О ХРАМЕ:

ВСЕ ЯПОНЦЫ ОТОЖЕСТВЕННО УБЛАЖИВАЮТ ЭТИ БОГА.
В ЭТОМ ХРАМЕ ОБОГОТВОРЕНЫ РОДОНАЧАЛЬНИКА ИМПЕРАТОРОВ, ПОТОМСТВЕННЫХ ИМПЕРАТОРОВ И ЛОЯЛЬНЫХ ВАСАЛОВ.

ХРАМ СОСТОИТ ИЗ СВЯТИЛИЩА, МОЛИТВЕННОГО ДОМА, СТОЛА ТРАПЕЗЫ, КОНТОРЫ, БУДКИ ДЛЯ РУКОМОЙКИ, ПЛОЩАДЬ ЗЕМЛИ САД НАСТОЯТЕЛЕЙ.

НА УЧАСТКЕ ХРАМА ВОСПРЕЩЕНЫ РУВАТЬ РАСТЕНИЕ И ЛОВИТЬ РЫБКА И ДИЧИ И ВЕРХОМ ЕЗДИТЬ ИЛИ НА ЭКИПАЖА».

Растительность в парке, окружавшем храм, действительно заслуживала заботы. Парк был поменьше, чем тот, где мы сегодня смотрели кюдо, но все же обширен и тщательно ухожен.

Тут тоже поднимались красные сосны и древние криптомерии, но были еще и бамбуковые рощицы, и зацветшие вторым цветением, покрытые сплошной бело-розовой шапкой вишневые деревца; были пруды, где на поверхности плавали крупные вырезные листья незнакомых мне водяных растений, и неглубокие каменные бассейны, наполненные проточной водой, в которой резвились или сонно стояли причудливые многоцветные рыбки. Я остановился у вишневого дерева, увешанного белыми узелками и какими-то пестрыми тряпицами, когда со стороны храма ко мне подошел высокий человек, во всем облике которого ощущалась печать изящества, даже изысканности. Серое кимоно, шуршащее, сшитое из какой-то жесткой, поблескивающей материи, словно бы накрахмаленное, сидело на нем наряднее, чем на всех, кого я видел в этой одежде. На изжелта-смуглом продолговатом лице выделялись развитые скулы; над верхней губой топорщились темные, коротко подстриженные усики. Непокрытая голова позволяла разглядеть высокий, красиво очерченный лоб. Лет ему было, пожалуй, тридцать пять, вряд ли больше. Он заговорил по-немецки. Я по-английски ответил, что не понимаю. Он перешел на английский и спросил, не сможет ли он быть мне полезен какими-либо пояснениями.

Так я познакомился с настоятелем синтоистского храма Хисанаи Мидзуно-сан.

Он оказался широко образованным и умным собеседником, хорошо знающим не только восточную, но и западную философию, отличным знатоком и ценителем японского искусства, и мы с ним стали встречаться довольно часто.

В очень содержательных и наполненных множеством тонких и точных наблюдений и сведений японских записках Всеволода Овчинникова «Ветка сакуры» я прочитал такую фразу:

«Священнослужитель для японцев вовсе не наставник жизни, как, скажем, для католиков, а просто лицо, исполняющее по их заказу положенные обряды».

Спорить с этим утверждением я не могу. В. Овчинников прожил среди японцев дольше и узнал их лучше, чем я. Но, встречая Хисанаи Мидзуно в окружении его паствы,— в то особое и сложное время, о каком сейчас рассказываю,— я наблюдал иные взаимоотношения, чем те, что описаны В. Овчинниковым. К Мидзуно-сан тянулось тогда очень много людей. Все японское население города знало его, и к нему шли не ради выполнения обрядов, а за советом. В. Овчинников прав в том смысле, что это не были поиски пастырских наставлений в католическом или вообще в христианском значении этого слова, не потребность укрепления в вере, а нечто более земное и даже узкопрактическое. К Мидзуно шли именно как к на-

ставнику жизни. Быть может, причиной был не сан его, а личный авторитет. Но так оно было. Те, для кого оборвалась связь времен и исчезло представление о перспективе, приносили к нему теплящуюся надежду на то, что все еще утрясется, и советовались о том, как протянуть дни или месяцы, которые должны еще пройти в неизбежной неопределенности.

И Мидзуно-сан старался не ограничиваться словами, но действовать.

Он сумел войти в контакт с военным комендантом. Генерал-лейтенант был умен, лишен предубежденности, необходимость разговора со служителем культа не показалась ему докучной. Мидзуно явился в комендатуру со школьными учителями и (надо сказать, без труда) получил разрешение открыть учебный год в местных японских школах. Не знаю, когда открывались здесь школы в прежние годы, но в 1945 году учебный год в Дальнем начался по советским порядкам: первого сентября. Кроме того, Мидзуно создавал некие подобия кооперативов, которые открывали столовки для неимущих. Тех, кто вынужден был в поисках прожитка продавать свои вещи, он сводил с теми, кто еще мог покупать. Наконец, для людей, утративших волю к действию, он старался создавать иллюзию жизнедеятельности, и это было самое большее, что можно было для них сделать.

Меня Хисанаи Мидзуно-сан водил по многим домам, устраивал встречи в своей комнатке размеров на шесть татáми, находившейся в пристройке к тому зданию, что называлось молитвенным домом. Он знакомил меня со множеством очень разных людей, и я понимал, что делает он это не только считая, что все эти встречи и беседы будут интересны и полезны для меня, но более всего потому, что хочет отвлечь и встряхнуть новых моих знакомцев.

У Мидзуно познакомился я и с инженером Тодзйо. Он приехал в Дальний из Иокогамы — инструктировать техников здешнего радиозавода. Жил поначалу в гостинице, фирма оплачивала его номер. Теперь он снимает комнату в чьей-то семье, на узенькой улице Минами-тё. Там по обе стороны стоят домики, от земли до крыши обвитые вьющимися растениями. Деревянные, створчатые жалюзи. Раздвижные бумажные двери и окна. Проезд только для рикш. Тодзйо ничего не знает о семье. Семья оставалась в Иокогаме. Там, как говорят, были сильные бомбежки. Уехали ли жена с детьми? Живы ли они? Мидзуно-сан переводит разговор. Хозяйская дочка в кимоно с широким поясом и большим бантом на спине приносит чай...

От Тодзйо, несмотря на позднее время, Мидзуно-сан ведет меня к старому каллиграфу Ясуде. Чтобы не оставаться одному, Ясуда-сан оставил постоянную свою квартиру, поселился

здесь же, на Минами-тё, в одной из комнат просторного дома, где раньше снимали помещения для деловых встреч, для чайных церемоний. В комнатах царит изысканная японская пустота, безукоризненная чистота. После недолгой беседы Ясуда берет продолговатый альбом из сложенных гармошкой листов рисовой бумаги и демонстрирует свое искусство. Перед ним продолговатые кирпичики черной и цветной туши, кисточки разной толщины. Я вижу то быстрые и резкие удары кистью, то движения легкие и плавные; вижу, как на бумаге появляется иероглиф сложный и четкий, а затем Ясуда берется за широкую кисть, и соседний иероглиф заканчивается жирным хвостом, который постепенно сходит на нет: черная тушь постепенно светлеет и незаметно сливается с желтовато-белым цветом бумаги.

Где-то внизу появляется зеленый иероглиф, а в заключение Ясуда-сан берется за нефритовую печатку и оттискивает ее красной мастикой.

Бумажная гармошка развернута теперь во всю свою ширину, и я вижу перед собою произведение подлинного живописного искусства. Каждый иероглиф обладает необычайной выразительностью и множеством оттенков в пределах одного лишь черного цвета. Для зрителя, не умеющего прочитать написанное, изображение остается абстрактным, оно красиво и только, но тот, для кого иероглифы исполнены конкретного содержания, воспримет работу Ясуды в неразрывном слиянии со значением написанного.

Произведение, только что подаренное мне его автором, не было ни пейзажем, ни натюрмортом, ни портретом, ни изображением какого-либо события. Старый каллиграф, с присущим ему великолепным чувством гармонии и цвета, выразил на бумажном свитке определенную мысль. В этом и состояло его, неизвестное нам, искусство.

Было очень поздно. Мы простились и вместе с Мидзуно-сан оставили безлюдную Минами-тё, направляясь к центру. Мидзуно рассказывал о Ясуде, о каллиграфии как о ровеснице и соперница японской живописи. Он задавал вопросы. Я отвечал, думая о своем — о раковине, которая не может привычно захлопнуть свои створки перед посторонним взглядом. Что же с ней происходит?

Человек редко задумывается о своих связях с прошлым и будущим. Но само существование этих связей необходимо ему как воздух. Когда они рвутся, он ведет себя словно выкинутая волною на прибрежный песок рыба. Непривычная откровенность разговоров последних дней объяснялась просто: узнавая собеседников, люди пытались угадать собственную завтрашнюю судьбу, которая, как им казалось, в известной мере зависит от характера и свойств чужих людей, появившихся

с ними рядом. Именно такую тревожную приглядку можно было ощутить во время бесед — и у Тодзйо, и у Ясуды, и у муниципального архитектора, и у старого школьного учителя, и у самого настоятеля синтоистского храма.

## 11

Несколько дней спустя Хисанаи Мидзуно-сан пригласил меня в свой храм на праздник Осени, один из самых больших ежегодных праздников. Особые обстоятельства, при которых он на этот раз наступил, сделали его еще более торжественным и многолюдным, чем обычно.

Перед началом праздника на аллее с каменными фонарями появилось шествие маленьких девочек, одетых в алые кимоно, поверх которых накинуты были прозрачные, белоснежные накрахмаленные накидки. Все дети держали в руках ветки цветущей вишни.

Из пагоды на широкую террасу вышел им навстречу настоятель храма.

Я не сразу узнал его.

Хисанаи Мидзуно-сан, которого я привык видеть в скромно-нарядном серебристо-сером кимоно, на этот раз предстал перед собравшимися у храма облаченным в пурпурные одежды необычайной ширины и длины, волочившиеся за ним по ступеням террасы. Голову его венчал сложный убор: жесткая остроконечная высокая скуфейка накрыта квадратной плоскостью, а сзади была к ней прикреплена и изгибалась над затылком такая же жесткая, довольно длинная, неширокая черная полоска. Я не сразу смог отождествить этот персонаж с человеком, который с такою непринужденностью вступал со мною в вечерние беседы о японской живописи и об английской поэзии, о русском богоискательстве и о роли католицизма в экзистенциональной философии. Но сам Мидзуно-сан, плавно двигаясь в своих странных одеждах, не испытывал, по-видимому, решительно никакого неудобства — ни физического, ни нравственного. Облачаясь, исполняя предписанный обряд, он не лицемерил, не шаманствовал, ни в чем не прикидывался перед верующими; так же, как и вся его обширная аудитория, он ощущал себя, как можно было подумать, не в сфере религии, а в высокой и вместе с тем привычной для него сфере национального искусства. Именно к искусству принадлежал происходящий обряд, и Хисанаи Мидзуно-сан вел себя, как актер, вышедший на сцену, чтобы исполнить перед взыскательными ценителями театра многократно им игранную, но не надоедающую, дорогую для него роль.

Его сопровождали четыре жреца в синих одеждах, в таких

же черных шапочках с длинными полосками, загибающимися назад, и четыре девочки в белых накидках на просвечивающих из-под них алых кимоно, с веточками цветущей вишни в руках.

Сперва у входа в храм состоялся короткий обряд освящения зеленых ветвей, принесенных прихожанами.

Затем все стали подниматься по лестнице к двери храма. За священнослужителями последовали прихожане, заполняя просторное, не очень высокое, отсвечивающее темно-красным лаком внутреннее помещение. Небольшая часть пола в этом помещении была слегка приподнята. Очевидно, эта приподнятая часть представляла собою нечто подобное алтарю православной церкви. Ее охраняли два большеголовых божества с устрашающими лицами и разинутыми пастями— зеленое и синее. Но на площадке не было ничего, кроме обычных золотистых циновок, какие можно увидеть в любой японской комнате, и на этих циновках лежало несколько старинных музыкальных инструментов: два сямисена, несколько других неизвестных мне струнных инструментов и набор барабанов — от маленького, похожего на кухонный глиняный горшок, до очень больших, высотою в три четверти человеческого роста и диаметром в толстую колоду от срубленного векового дерева. У одних барабанов стенки были металлические, у других деревянные, у третьих оплетенные окрашенной рисовой соломой или бамбуковыми полосками. Подсев к одному из сямисенов и сам себе на нем аккомпанируя, настоятель запел высоким, непривычно для европейского слуха поставленным голосом.

Когда песня окончилась, на циновках у инструментов сели, опустившись на пятки, младшие жрецы.

Служка в коричневой мантии, украшенной несколькими иероглифами, вписанными в крупные золотые круги, вынес два больших жезла, увитых широкими пестрыми лентами. На жезлах звенели прикрепленные к ним колокольчики. Принесли также ярко раскрашенную маску. Она изображала голову сказочного чудовища, обладающего чертами льва и тех самых драконов, что охраняли возвышение алтаря.

Никуда для этого не удаляясь, тут же, на глазах собравшихся, настоятель сменил облачение на еще более затейливые золототканые одежды, напоминавшие сценические костюмы древнего японского театра Но. Сняв и отложив в сторону жреческую шапку, Мидзуно надел принесенную ему маску. Размерами она раза в три превосходила человеческую голову. Зеленая, красная, синяя, местами позолоченная, маска эта лежала на плечах настоятеля. Не знаю, должна ли она была по замыслу устрашать паству, но больше, чем устрашающего, было в ней наивного, кукольного, заставляющего вспоминать о существах, встреченных девочкой Алисой в стране чудес, и ско-

рее добрых, чем злых. Раздались резкие, но вместе с тем и своеобразно мелодичные звуки сямисена, раздался суховатый треск нескольких барабанов различной величины и формы, и настоятель исполнил ритуальный танец, в котором величественные и плавные движения то и дело перемежались порывистыми жестами и резкими прыжками. При этом на длинном жезле переливчато звенели бубенчики, а ленты развернулись во всю свою длину и пришли в непрерывное движение, искусно слитое с ритмом пляски.

И при переодевании, и в танце Мидзуно-сан соблюдал спокойное достоинство; он был серьезен и, главное, артистичен в каждом своем движении и жесте. Он не выдавал своих действий за магию, но следовал ритуалу, становясь то музыкантом, то певцом, то танцором. Его танцу аккомпанировали младшие священнослужители в синих одеждах и вместе с ними пожилая женщина, уже знакомая мне. Я встречал ее, приходя по приглашению Мидзуно на наши вечерние беседы. Представляя нас друг другу при первом знакомстве, настоятель сказал, что эта женщина учит японской национальной музыке прихожан храма. Применяясь к привычным нашим представлениям, я понял так, что при храме есть как бы штатная должность учительницы музыки, и удивился этому. Но Мидзуно-сан подтвердил. Он сказал, что труд учительницы оплачивает община из тех взносов, какие делают ученики. Он добавил, что тут есть еще и должность преподавательницы чайного обряда, которая оплачивается таким же образом.

Обеих — и преподавательницу музыки, и знатока по проведению чайных церемоний,— приходя к Мидзуно, я встречал всякий раз. Кроме своей прямой специальности эти женщины в совершенстве владели вдобавок искусством, которое, как я уже не однажды убеждался, японская женщина приобретает вместе с молоком матери. Это уменье — присутствуя, как бы отсутствовать. Учительницам было лет по сорок или чуть больше. Обе носили неизменные черные кимоно. И когда мужчины разговаривали, обе женщины, следуя порядку, с которым я познакомился в доме художника Нигеи-сан, оставались в глубине комнаты, безучастные с виду, но готовые по первому знаку хозяина приблизиться, опуститься за спиною гостя на колени, подать чашку чая или сигареты, зажечь спичку, протянуть веер, поставить на стол поднос со сластями,— словом, исполнить все, о чем мог бы подумать хозяин дома.

Так же, будто две тени, держались они и на празднике Осени.

Весь начальный обряд — освящение ветвей, пение и пляска настоятеля храма — длился не более получаса.

Затем Хисанаи Мидзуно-сан снова стал переоблачаться в те красные одежды, в каких начинал он праздничное богослуже-

ние. И вместо маски на его голове снова появилась черная шапочка с высоким изогнутым отростком, похожим на язычок музыкального инструмента, называемого флексотоном. Зазвучали резкие голоса дудок и редкие удары в барабан. Поднявшись по девяти ступенькам, устланным золотого цвета дорожкой, настоятель отворил скинию. Мне потом объяснили, что скиния, раскрываемая по праздникам, символизирует место, где пребывает божественный дух родоначальницы нации Аматерасу и ее потомков из императорской фамилии. И когда скиния отворена, дух этот как бы посещает каждого из присутствующих.

Возникла минута хорошо отработанной тишины.

Во время войны в Японии была введена ежедневная «минута молчания», обязательная в определенное время для каждого, где бы он ни находился и чем бы ни был занят. Предполагалось, что молчащие переносятся в эту минуту мыслями к тем, кто отдает свою жизнь за императора на полях сражений. Но вскоре «минутой молчания» прозвали дрянные спички, которыми приходилось долго чиркать о коробок, прежде чем они зажигались. Рассказчик, от которого я это услышал, все еще по привычке опасливо озирался. Слишком недавно можно было за такой рассказ угодить в полицейский участок и поплатиться весьма дорогою ценой.

Но вот при «минуте молчания» мне случилось присутствовать перед открытой скинией синтоистского храма какую-нибудь неделю спустя после перенесенного Японией военного разгрома, и я не знаю, куда в эту минуту уносились мыслями те, кто меня там окружал.

Двери храма были распахнуты в парк, и все время слышно было, как подходят молящиеся к священному дереву и каждый отрывисто хлопает два раза в ладоши, что и заменяет молитву. А потом слышно было, как звенит мелочь, брошенная в ящик для подаяний.

Настоятель тем временем начал со своего возвышения выкликать какие-то имена. Он вызывал представителей общин и цехов. Все они поднимались к скинии и оставляли перед нею свои подношения: съестные припасы, домашние сласти, бутылки с рисовой водкой.

Среди вызванных настоятелем я узнал респектабельного японца, которого видел в один из первых дней в приемной полковника из нашей военной комендатуры. Когда японец ушел оттуда, полковник выглядел совершенно растерянным. Он зазвал меня в свой кабинет и начал сбивчиво рассказывать о только что происшедшем разговоре. Оказалось, что ему пришлось впервые столкнуться с социальным кругом, о существовании которого он знал до сих пор лишь понаслышке и никогда не предполагал, что ему придется встретиться с этим кругом

вплотную да еще решать какие-то связанные с ним проблемы. Посетитель, только что покинувший кабинет, оказался одним из уважаемых отцов города. Но занятие его никак не вязалось с таким общественным положением. Японец был хозяином нескольких домов в веселом квартале, у входа в который качалось помещенное в большой обруч чучело павлина. По вечерам в обруче загорались разноцветные электрические лампочки. После визита хозяина к полковнику лампочки больше не зажигались, а на дверях заведений появились выполненные с чьей-то помощью плакатики на русском языке: «Девок нет, дела нет».

Дела хозяина шли из рук вон плохо, но приношения, переданные им настоятелю, были обильны.

Перед скинией дары прихожан простояли недолго.

Не дожидаясь, покуда паства разойдется, их забирали и уносили из храма служки и девочки в белом.

Затем группа гостей, предупрежденных заранее, была приглашена в помещение, где находился упомянутый в «Кратком объяснении» стол трапезы. Туда следовало идти через большую комнату, где находились теперь ритуальные одежды, в которые облачался настоятель; сюда же принесли его маски и музыкальные инструменты из молельной.

Там, в молельной, полы были из гладкого полированного дерева; здесь же их застилали, как в жилых комнатах всякого японского дома, пухлые циновки, на которых выстроились составленные буквой «п» низкие столы. Здесь-то и очутились все приношения душам предков, и именно к этим приношениям были приглашены гости настоятеля. Так как они сами принесли с собою еду и питье, расставленные на столах, получилось нечто вроде посиделок в складчину. Поджав ноги и усевшись на собственные пятки, человек пятьдесят присутствующих разместились у столов.

Рядом с настоятелем сидел мэр города. Черный смокинг и лезвия складок на полосатых брюках не помешали опуститься у стола в традиционной позе промышленнику, принадлежащему к одному из самых богатых здешних семейств. Его отец щедро вкладывал свои капиталы в развитие города, и в благодарность за это ему был поставлен памятник на одной из центральных площадей. Во время сбора цветных металлов на военные нужды статуя была конфискована властями. Временно,— объяснили газеты. Но гранитный постамент с патетической надписью оставался на месте.

Неподалеку от человека, которого я про себя называл сыном памятника, я узнал старого каллиграфа Ясуду-сан. Поздоровался со школьным учителем, который в обычном своем полувоенном костюме походил больше на скаутмастера. Разглядел инженера Тодзйо, вместе с несколькими его коллегами

с судостроительной верфи. Поискал, но не обнаружил супругов Нигеи. На одном из почетных мест снова увидел хозяина веселых домов. Остальные не были мне знакомы.

И вместе со всеми гостями присутствовали в этой комнате незримые души их предков.

Не знаю, верно ли я представлял себе это, но по всем слышанным объяснениям выходило, что каждый из присутствующих должен был мысленно привести сюда с собою своих предков и что в сравнительно небольшом помещении, рядом с сямисенами, барабанами, свернутыми в свитки каллиграфическими изречениями и оскаленными драконьими масками, должно быть сейчас очень тесно от множества душ, окружающих каждого гостя. Не знаю, поступал ли я так же, как остальные, и вообще соответствовало ли это правилам происходящей игры. Но я вызвал в памяти и очень полную, очень спокойную и добрую никопольскую бабушку, и худенькую, словно съежившуюся под грузом неумолимо навалившихся на нее прожитых лет, но подвижную и энергичную бабушку из Черкасс, которая угощала меня необыкновенно вкусным блюдом из растертых с молоком маковых зерен и которая неосторожно посылала меня собирать в саду черешню или малину, а я ни разу не смог принести ей и половины плетеной корзинки, потому что ягоды как-то слишком поспешно сами прыгали в рот и исчезали прежде, чем я одолевал недлинную дорожку из сада в бабушкин дом. Вспомнить черкасского деда мне было очень трудно, он умер, когда я был совсем мал, и оказалось, что я его почти совсем забыл, а никопольского помню хорошо. Помню, как мы ездили на одноконной бричке в степь, которая начиналась сразу же за последней хатой окраины. Мне было лет семь. Конь сам резво бежал по плотно убитому грунтовому тракту; для полноты моего счастья дед передавал мне вожжи и рассказывал о курганах, что поднимались вдоль тракта над высоким чабрецом и ковылями, сами покрытые пожелтевшей от солнца степной травой. Дед показывал странные приземистые фигуры скифских каменных баб, а когда мы возвращались в городок, августовское небо из края в край сверкало безгласными зарницами, и мне было страшно и очень интересно жить.

Очень живо я вспомнил троих своих киевских теток. Одна умерла давно, и с услышанным рассказом о ее смерти в мое сознание впервые вошло незнакомое прежде слово «чахотка», непонятное и угрожающее. А о смерти двух остальных я узнал совсем недавно, всего за какой-нибудь месяц до этого праздника Осени. Получив приказ о своем переводе в части Тихоокеанского флота, я летел из Мурманска через Москву и случайно встретил давнего киевского приятеля, тоже остановившегося на каком-то перепутье войны. Слушая его, я никак не мог вообразить разбитый Киев, несуществующий — мой — Креща-

тик и лежащую в развалинах Прорезную, где жили тетки и где я столько раз останавливался у них и мальчишкой, и взрослым. Там был двор-колодец, окруженный доходными, как тогда говорилось, домами. В центре двора находился бездействующий фонтан с облупившимся гипсовым аистом и пересохшим бассейном. В дальнем конце двора низкая дверь вела на лестницу с неистребимыми запахами многих поколений котов. По лестнице я поднимался на четвертый этаж, к квартире теток. Остались ли эти дома и этот двор, приятель не знал, но судьба теток была ему точно известна. Их убили в Бабьем Яре, и одна из них, как ни старался я избавиться от неподобающего легкомыслия, вспоминалась только в том костюме, в каком я видел ее однажды, невероятно давно, в любительском спектакле. Самая младшая из троих — очень гибкая и худая, наверно в бабушку; она играла тогда мальчишку в матроске и брюках-клеш, и изо всей ее роли я запомнил только, как она неумело затягивалась папироской.

В синтоистском храме все они были со мной.

А более давние предки не были мне известны.

Даже прадедов своих я никогда не видел и не слышал о них ничего, что позволило бы представить их во плоти и пригласить сюда. Но я считал, что к предкам каждого человека следует относить не только тех, с кем состоит он в кровном родстве.

Как предков, передавших мне свои гены, вспоминал я прочитанные в детстве книги.

Я вызывал в памяти школьных учителей.

Появился учитель арифметики, прочный коренастый мужчина в защитном френче с большими накладными карманами на груди и со следами срезанных недавно, окаймленных белосине-красным витым шнурком погон «вольнопера». У него я получил первые свои двойки, потому что никак не мог управиться с поездами, выходящими один другому навстречу со станций А и Б. Выставляя в моем дневнике новую двойку, математик всякий раз радостно сокрушался и укорял меня: «А еще отец — железнодорожник. Как же это ты? Как же так?» Отец мой действительно был помощником начальника станции Черкассы Московско-Киево-Воронежской железной дороги. Но ничего относящегося к условиям задачи я из его работы почерпнуть не мог. Мне лишь случалось видеть, как, узнав по селектору о том, что в Черкассы направляются поезда с соседних станций Золотоноша и Смела, отец надевает красную фуражку и спешит на перрон. И ничего не слышал о том, когда могут эти поезда повстречаться друг с другом и встретятся ли они вообще.

Еще пришел по моему мысленному зову давно покойный учитель украинского языка, который научил меня когда-то ра-

доваться маленькому, но навсегда оставшемуся со мною чуду. Оказалось, что таким же выпавшим на твою долю счастьем, как внезапный грибной дождь, как отысканный в знойный день лесной родник, может оказаться возникающее звучанье стиха, который ты про себя читаешь. Он показывал классу добытый правдами и неправдами, недавно еще запретный украинский «Чтец-декламатор», напечатанный в австро-венгерском городе Львове. Он читал вслух небольшую поэму Леси Украинки «Евшан-зелье», зачарованный внезапными сменами ритма.

— Слушайте,— говорил он нам.— Да слушайте же тихо. Вот это — как колыбельная песня. Разве не правда? А тут — как голос старого вещуна. А тут так торжественно зазвучало, так широко дышится...

И мы начинали слушать стихи и понимать их тайную силу.

Следом за ним пришел и Сергей Антоныч, наш географ и библиотекарь.

— Ну что ж бы тебе дать? — спрашивал он, когда кто-нибудь из нас появлялся в его святилище, уставленном книгами от пола до потолка.

— Да что-нибудь потолще,— часто слышался жадный ответ.

Сергей Антоныч сердито направлялся в угол и приносил огромный справочник.

— Толще не бывает.

Читатель убеждался в подвохе и начинал бессвязно бормотать.

Тогда Сергей Антоныч доставал книгу совсем не толстую и говорил:

— Возьми-ка. Может быть, поймешь. Тогда еще дам, не хуже.

И мы уносили рассказ о путешествиях Миклухо-Маклая или какую-нибудь книжку, добрую как он сам, вроде рассказов де Амичиса, или романы о приключениях, в которые вовлечены были верные, отважные и благородные друзья.

А вместе с учителями появился у стола трапезы и старый военный фельдшер Чуприна, лечивший в Черкассах всех детей от кори, и скарлатины, и коклюша, и ветрянки, и свинки. Чуприна был отцом пяти дочерей; его сад был за нашим забором, и точно такие же груши, как у нас, росли в том саду, но мы предпочитали воровать Чуприниины груши вместо того, чтобы есть собственные; они казались нам слаще, и мы не понимали, что красть груши у доброго человека, который избавлял нас от всех болезней вкусной микстурой, — нехорошо и неблагодарно.

Я не знаю, согласно ли это с предписаниями синтоизма, но к указанному мне месту у стола я садился в обширном кругу

теней, долго и неуклюже стараясь умоститься на татами в такой позе, чтобы ноги не затекли в первые же пять минут праздничной трапезы.

Горсточки риса на небольших тарелках, кусочки сырой рыбы, зеленые побеги неизвестных мне растений стояли перед гостями; подогретая слабенькая, градусов на двадцать, рисовая водка разлита была по маленьким чашкам. Скромная трапеза никак не походила на раблезианские монашеские пиры, происходившие втайне от верующих и потому неизбежно сопряженные с обманом и цинизмом, разъедающим веру. Думаю, что ни у кого из тех, кто приносил сюда свои дары с мыслью о предках, вовсе не было наивно-суеверного представления, будто бы их приношения достанутся именно предкам и будут буквально съедены ими, продолжающими существовать в форме какой-либо материальной субстанции и потому нуждающимися в пропитании. Отбор тех, кого пригласил настоятель, не вызвал сомнений и обид ни у кого из принесших дары, но не оказавшихся в числе приглашенных. Место каждого японца в семье, а затем и на общественной лестнице определяется существующими канонами с самых первых лет его жизни. Эта предопределенность настолько твердо усвоена и нерушима, что даже не вызывает протеста. Так есть, потому что так повелось и так должно быть. Точка. Эта основа японской социальной жизни отчетливо проявлялась и за столом трапезы синтоистского храма в день праздника Осени.

При этом совместной трапезе сопутствовали и формы общения, которые тоже вырабатывались в Японии веками: беседа, отвлеченная от всяческой злобы дня, отрешенная от повседневных забот и суетных мыслей, проникнутая созерцательностью и склонностью к афоризмам. Я видел, как мои соседи по столу обмениваются друг с другом импровизированными тут же короткими стихотворениями — пятистрочьями та́нка и трехстрочьями хо́кку, каллиграфически записываемыми на приготовленных заранее у каждого места листках отличной бумаги.

В писании таких стихов существуют свои твердые правила. Они определяют не только количество слогов в каждой строке, но и ход мысли, тему и ее развитие, структуру образа. Можно ли быть более талантливыми или менее талантливыми в соблюдении канонических предписаний? Вероятно, талант очевиднее всего способен проявить себя в смелом нарушении их. Но дисциплина канонов, испытывая таланты, способна выручать ремесленников. Что происходило за столом трапезы?

Сперва всеобщая высокая зараженность искусством поражает. Потом приходит в голову сомнение: а не противоречит ли самой сути искусства очевидная механичность, сопутствую-

щая столь массовому обращению к классическим формам поэзии, к традиционной живописи, традиционной музыке. Но, не торопясь с ответом, я продолжал исподволь наблюдать соседей по столу.

Все их движения и слова были неторопливы и могли бы показаться непринужденными, если не приглядываться к поведению соседей внимательно. Но пристальный взгляд позволял увидеть, с каким трудом это им дается.

Мысли, которые следовало вытеснить, не поддавались.

И вместе с тем очень немного надо было, чтобы хоть ненадолго вообразить, будто бы все остается на месте.

Судорожно цеплялись они за каждую привычную примету, за незыблемость обрядов, за соблюдение каждого канона, за все, что могло поддержать иллюзию ненарушенной целостности жизни. И от этого хаос обломков, громоздившийся в сознании каждого из них, становился еще очевиднее в своей трагичности.

Внимательнее, чем к другим, я присматривался к Хисанаи Мидзуно-сан. Он совершенно не походил на христианских священнослужителей; в нем не было ничего наставнического, пастырского. Склонности к поучениям я вообще не встречал ни у кого из японцев, даже у тех хмурых и убежденных консервативных стариков, что сходились на рассвете в городском парке, чтобы, отрешившись от суеты, пострелять из лука. Не было учительности и у Мидзуно. Насколько я мог судить, она отсутствует и в самой природе синтоистской религии.

За все время нашего знакомства я мог припомнить лишь один-единственный случай, когда Мидзуно-сан открыто спорил против других убеждений, проявив при этом даже некоторое подобие страсти, — правда, и на этот раз в той особой ее форме, которая облекает собственное мнение в бесчисленные покровы оговорок, извинений и преувеличенно вежливых оборотов речи. Это было, когда Мидзуно заговорил о европейской привычке рассматривать одновременно много картин, висящих в одной комнате и даже на одной и той же стене. Он понимал роль и значение музеев, картинных галерей, но говорил, что ведь так поступает европеец даже и в своей квартире, хотя, на его взгляд, это делает невозможным истинное созерцание произведения искусства. Он, Мидзуно, убежден, что японцы правы, когда вешают в своей комнате лишь одно какемоно — свиток с картиной или произведение каллиграфического искусства.

Оценив этот свиток по достоинству и вдосталь им насытившись, можно его заменить другим. Но даже две картины, повешенные рядом, — «нижайше прошу прощения, что осмеливаюсь вам это сказать», — мешают друг другу.

Именно так, — вешая какемоно поодиночке и выдерживая необходимые паузы, — он показывал мне обширное собрание старых японских картин, хранившееся в его храме в душистых лакированных ящичках.

Больше, на моей памяти, он ничьих убеждений никогда не оспаривал.

В синтоизме искусство, притом именно искусство национальное, является одним из важнейших составных элементов. Потому синтоистское богослужение уделяет эстетической стороне больше внимания, чем это происходит даже в богослужении католическом, наиболее театрализованном изо всех форм христианских обрядов.

Возможно, что в первых своих впечатлениях я несколько преувеличил утонченную поэтичность храма, показанного мне Хисанаи Мидзуно. Я попал туда после посещения нескольких буддийских пагод. В них было много своеобразного и по-своему очаровательного. Но искусство там находило выражение лишь в архитектуре (порою, на европейский вкус, преувеличенно затейливой) и в скульптуре, населившей (и даже нередко перенаселившей) эти пагоды бесчисленными статуями Будды, вереницами каменных слонов, скопищами бронзовых химер и драконов. К тому же виденные мною буддийские пагоды, несмотря на всеобщее здешнее стремление к чистоте и порядку, были весьма замусорены, запущены, убраны множеством грубоватых олеографий. Храм, который так искусно и умно показывал мне Мидзуно-сан, резко контрастировал с виденным прежде и очень при этом выигрывал.

Однако после первых же объяснений возникал вопрос: почему буддизм много веков назад стал одною из мировых религий и успешно выдерживал соперничество с распространявшимися по всему свету христианством и исламом, а синтоизм остался религией одного островного народа? Более того, он стал религией, допускающей двоеверие. Среди японцев нередко встречаются такие, кто совершает одни обряды в синтоистском храме, а другие — в буддийской пагоде. А порою считает себя одновременно и христианином, хотя такое двое- или даже троеверие приходится скрывать от христианского исповедника как смертный грех.

Можно ответить, — и такой ответ будет верным, — что синтоизм никогда и не искал путей широкого распространения, не посягал на обращение инаковерующих за пределами породившей его страны.

Но этот ответ лишь показывает действительное положение вещей, не объясняя его причины. Причину же можно понять, только разобравшись для себя хоть немного в самом существе синтоизма.

Присутствие на празднике Осени помогло мне в этом очень

немного. Я видел только внешнюю сторону. Видел, как это происходит, не зная точного значения символов и внутреннего смысла обрядов. Мидзуно объяснял мне многое, но все-таки это были самые общие определения. Поиски литературных источников оказались малоплодотворными: книг было немного, и они чаще всего тоже уводили в область эстетики, не вдаваясь в философию синтоизма, не помогая узнать его морально-этический кодекс.

А может быть, в отсутствии такого кодекса и было все дело?

Когда-то синтоизм начинался с обожествления окружающей японца природы. Божественными были горы и море, леса и водопады, солнце на ясном небе и дождь, проливающийся на землю, голоса птиц и цветы на зеленых ветвях и стеблях. Потом существо синтоизма стали чаще всего расшифровывать двумя словами: культ предков.

Мысля привычными для нас категориями, мы порою представляем себе, что это культ великих предков — легендарных героев богатырского эпоса и выдающихся исторических личностей.

Это так. Но лишь отчасти.

Точно обозначенного сонма своих канонизированных святых этот культ не имеет. Обожествлены все предки каждого японца, приходящего в синтоистский храм: поколения, неведомые ему и скрытые во мгле далеких времен; его дедушка и бабушка, свои детские игры с которыми он хорошо помнит; его отец и мать, если они уже умерли; предки друзей и друзей друзей. Забвению подлежат только те, кто при жизни запятнал свою честь, отступив от обычаев.

Все это множество почитаемых душ представляет собою, так сказать, основание пирамиды.

Дальше пирамида сужается.

Особое почтение отдается героям самурайских преданий о подвигах, рожденных беззаветной верностью вассалов своему сюзерену,— о жизнях, с легкостью и без колебаний отданных во имя этой верности.

Еще выше находятся все те, кто обозначен на разветвленном родословном древе императорской фамилии.

Венчает пирамиду легенда о богине Аматерасу — олицетворении Солнца и праматери божественного рода властелинов Японии.

Обширный сонм обожествленных мертвецов не мешает живым, а обожествление природы, меняющее свои формы и все более переходящее в область эстетики, не имеет ничего общего с язычеством.

То, что названо выше основанием пирамиды, должно рождать, как мне подумалось, в адептах синтоизма ощущение жи-

вых связей с прошлым, таких необходимых для заботы о будущем. Вспоминая кюдо, которое хоть и косвенно, но тоже связано с синтоизмом, я думал еще и о том, что в этой религии много места уделяется формированию внутреннего состояния человека. Тут создан некий духовный эквивалент того, что преследует индуистская хатха иога в области физического состояния.

Но все это были частности. И чем больше думалось, тем яснее становилось, что главное в синтоизме то, что он национален и — более того — националистичен по всей своей сути.

Не знаю, есть ли у синтоистов книги, где был бы выражен в точных словах и формулах символ их веры.

Отвечая на расспросы, Хисанаи Мидзуно-сан всякий раз ограничивался ссылками на весьма узкий круг легенд, решительно уходя от сферы религиозной догматики в круг эпической поэзии. В данном случае поэзия эта охватывала огромные исторические периоды времени. Восходя к глубочайшей и туманной древности, она достигала новейших, наших времен и снова говорила о том, что бессмертные души предков продолжают жить не в каком-либо потустороннем мире, но в потомках, то есть в каждом из ныне живущих.

Такая форма взаимоотношений с предками создает для потомков весьма сложную систему обязательств, освящает традиции, из которых сформировался на протяжении веков этический кодекс — бусидо, не подлежащий изменениям, строго обязательный для каждого японца и предопределяющий его самосознание и нормы поведения в любых обстоятельствах жизни. Но в этом кодексе совершенно не существует нравственных понятий, которые являются наиболее важными для других религий, а в христианстве составляют его первооснову. Слушая Мидзуно-сан, я ни разу не столкнулся с таким, например, понятием, как «справедливость». Но зато настоятель говорил во многих аспектах о доблести, отваге, презрении к смерти. Я не встретился с попыткой истолковать «добро» и отделить его от «зла», но убедился в том, что как высшее достоинство превозносится самурайская способность беспрекословно и самозабвенно подчиняться воле сюзерена, независимо от природы цели, во имя которой требуется такое безусловное подчинение. Я не увидел трудных поисков «истины» и попыток отграничить ее от «лжи».

В общедоступной книжке, изданной во время войны для японского юношества и переведенной на различные языки для посещающих Японию иностранных туристов, я прочитал следующую простейшую формулу синтоизма: «Почитание предков означает также патриотизм, преданность императору и родине. Человек, который исполняет свой долг по отношению

к предкам, естественно, будет предан и своим друзьям, и своему государю».

Бессмысленно делить религии на «хорошие» и «плохие» и соизмерять степень их «правоты». Любая утвердившаяся религия представляет собою отложения закостеневших догм. А всякое собрание догм, не подвергаемых более анализу, оберегаемых от сомнений и прекративших свое развитие, превращается в бесплодную пустыню. Оставив обожествленную природу поэтам и постепенно перейдя к обожествлению нации, рожденной в окружении этой природы, синтоизм омертвел на такой стадии, и именно это сделало его религией одного народа. Его священным писанием стала история нации, вместе со всеми легендами и мифами, героизирующими историю и обильно перемежающими подлинные исторические факты. Это священное писание не замкнулось на одном каком-либо, давнем периоде. Оно получило продолжение вплоть до самых недавних дней, включая в себя предания всех войн, какие вела нация на протяжении своего существования. Новые легенды становились как бы допингом, поддерживающим кровообращение в пораженных склерозом сосудах.

Невдалеке от храма, где заканчивался праздник Осени 1945 года, на одной из центральных городских площадей стоял гранитный обелиск, посвященный «душам погибших в борьбе за построение сферы взаимного процветания народов великой Восточной Азии». Поравнявшись с памятником, прохожие отвешивали ему поясные поклоны, а в установленные дни к его подножию клали цветы.

Памятник, как мне объяснили, был воздвигнут в честь тех, кто сложил головы в войне против царской России, в 1904—1905 годах.

Это был монумент, рожденный духом синтоизма.

И еще одно своеобразное проявление того же духа я увидел, впервые пройдя за массивные тории у аллеи, ведущей к широкой лестнице синтоистского храма. Там стояли два или три, точно не помню, обыкновенных артиллерийских орудия начала века. Оказалось, что это трофейные пушки, захваченные японцами на полях Маньчжурии в той же войне, сорок лет назад. Они включены в число синтоистских святынь, как наглядное олицетворение победы нации.

В канонизации трофейной пушки проявилась не только странная и даже, на первый взгляд, циническая откровенность, но и несомненная логическая последовательность. Война 1904—1905 годов не могла быть упущена синтоизмом и послужила утверждению его догм с особой силой. Победа, одержанная над одной из мировых держав через какие-нибудь полстолетия после первого выхода Японии на международную арену, послужила поводом для самоупоенных тирад об избран-

ности нации, для создания легенды об ее непобедимости. В продолжение последующих тридцати пяти лет эти новые легенды становились питательной средой, в которой созревали все более широкие планы создания «Великой Восточной Азии» под эгидой Страны Восходящего Солнца. На самом же деле этот лозунг означал превращение восточноазиатских территорий в японские колонии. Уже захват Кореи в 1910 году ясно показал это. После первой мировой войны, в Версале, Япония сумела получить мандат на тихоокеанские островные колонии, захваченные прежде Германией. Во второй мировой войне Япония, находившаяся на восточном конце оси «Рим—Берлин—Токио», стала союзницей гитлеровской Германии. Высаживая десант за десантом, она захватывала теперь одну за другой колонии бывших творцов Версальского договора — Великобритании, Франции и Соединенных Штатов — не только на островах Тихого океана, но и на юго-восточных окраинах азиатского материка.

Настойчиво и последовательно культивируемый национализм, превращенный в государственную религию, непременно рождает безудержную и самоуверенную агрессивность. Священные пушки у синтоистских храмов и культ солдатского подчинения, исключающего сомнения и вопросы и лишенного нравственных критериев, действовали именно в таком направлении. Они успели привить японцам гибельную убежденность в их мессианском предназначении по отношению ко всем другим народам Восточной Азии. Империалистическая политика, какую Япония последовательно проводила в течение почти всей первой половины нашего века, оказалась освященною свыше. Захваты осеняло благословение предков.

Для народа, чье самосознание так долго и последовательно подвергалось воздействию столь сильного и опасного яда, понять неизбежность и закономерность сокрушительного поражения, испытанного в течение двух августовских недель 1945 года, было трудно, даже невозможно. Подавляющее большинство могло воспринять неминуемую расплату лишь как внезапную стихийную катастрофу. И каждый ощущал себя ее жертвой.

Императорский указ о капитуляции читался по радио в течение трех дней. Сперва на том особом, чрезвычайно усложненном языке, на каком он был первоначально составлен и которым владеет лишь элита страны. Затем в несколько упрощенной версии, тоже понятной лишь немногим. И наконец, в общедоступном варианте, понятном каждому японцу.

Существование таких различных форм — особенность японского языка, тоже связанная с древними традициями и имеющая многовековую историю.

Стойкость заповеданных предками канонов была так прочна, обычаи самурайского средневековья в делах чести

(в том числе и самые жестокие обычаи) так усердно насаждались в национальном сознании, что все это формировало и догадки о том, как японцы поведут себя перед лицом катастрофы. Казалось, что в армии, вынужденной капитулировать, особенно в среде старшего офицерства, прокатится волна тех ритуальных самоубийств во спасение чести, какие мы привыкли называть харакири и которые сами японцы чаще называют сэппуку.

Но о самоубийствах, однако, слышно не было.

Переходившие от отцов к сыновьям двуручные самурайские мечи, вместе с небольшими, острейше отточенными ножиками, предназначенными для сэппуку и вложенными в особые гнезда, выточенные для них средневековыми оружейниками в изогнутых ножнах из легкого вишневого дерева, под самой рукояткой меча, покорно складывались к ногам победителей.

Лишь раз мне пришлось стать свидетелем трагической сцены, в которой синтоистское воспитание проявило себя на совершенно особый манер.

Над большим летным полем, где стояло много машин, непрерывно прибывавших в те дни из Хабаровска, Читы, Ворошиловска и Владивостока, появились три японских истребителя. Они пришли на такой небольшой высоте, что были замечены, лишь когда вывалились из-за гряды невысоких холмов и оказались уже над самым аэродромом. Зенитчики даже не успели открыть огонь.

Да и указ о капитуляции читался как раз в этот самый день.

Тройка шла безукоризненным клином, снижаясь к дальней окраине поросшего травой летного поля, где не было в то время ни одной нашей машины. Там истребители, не сбросив скорость и не нарушив строй, резко вошли в пике и одновременно врезались в землю.

Они вспыхнули тремя факелами и взорвались.

Это было сэппуку двадцатого века.

Я так и не узнал, удалось ли установить имена тех, кто его совершил.

Японцы, конечно, узнали. О случае на аэродроме наши им сообщили, а о том, какие летчики поднимались в воздух и не возвратились, им несомненно было известно.

Все произошло в считанные секунды.

Я провожал тогда приятеля, и мы стояли у скоростного бомбардировщика, на котором его обещали «подхватить» до Хабаровска, а оттуда он будет возвращаться в Москву. Его планшет был набит письмами, как сумка почтальона. У китайца, сидевшего на корточках у самого входа на аэродром, мы хватили местного самогону, именуемого ханжой, и были веселы и беззаботны. Война кончилась. Теперь уже совсем кончилась —

и на западе, и на востоке. Мы перешучивались с командиром СБ; его перебросили к Тихому океану из Восточной Пруссии, и он рассказывал, что так и не успел сбросить здесь ни одной бомбы.

— Извозчиком стал,— говорил майор и торопил приятеля:— Садись давай, пассажир. Не задерживай.

Майор прилетел час назад и собирался в обратный путь, когда появились истребители.

Теперь он нервно застегивал кобуру. Он было вытащил ТТ и едва не принялся пулять по японским машинам, пролетавшим над самыми нашими головами.

От рухнувших истребителей доносились последние, уже негромкие взрывы. Наверно, рвались патроны в пулеметных лентах. Огонь трех костров сразу упал. Только дым там стоял, очень густой и черный.

— Надо же,— сказал майор.— В пустой угол. Такое детство. Хоть бы на нас пикнули, я бы понял. Не зря же помирать.

Он снова заторопил приятеля, следом за ним влез в свою машину, дежурный дал ему отмашку флажками, и бомбардировщик зарулил на взлетную полосу.

Это было за какую-нибудь неделю до праздника Осени.

Вспоминал ли кто-нибудь о душах троих мальчишек в храме, где Хисанаи Мидзуно-сан исполнял свою пляску?

Праздник Осени закончился вскоре после того, как гости настоятеля за столом трапезы обменялись стихами.

Мидзуно, и обе учительницы, и служки, и жена Мидзуно, и его дети провожали гостей до нижней ступеньки лестницы, ведущей в парк. Там оставалась снятая при входе обувь.

Удивительно, с какой быстротой и сноровкой разобрались несколько десятков людей во всех этих сандалиях, гэта, туфлях, ботинках, расставленных у ступеней.

Еще долго раздавались прощальные возгласы, слитые в переливчатый птичий щебет. Длилась нескончаемая церемония взаимных поясных поклонов. Потом деревянные башмаки дробно застучали по вымощенной камнем аллее, мимо каменных фонарей и каменных львов с добрыми мордами.

На священных деревьях едва шевелились от легкого ветра белые бумажные узелки с поминальными записями молящихся и предсказаниями судьбы.

Меж стволов маячил черный силуэт старой пушки со стволом, высоко задранным к небу.

Очень громко трещали в кустах цикады.

Полная луна висела над дальним заливом, над черными прямоугольными парусами рыбачьих джонок. А с другой стороны, из города, еще доносились редкие предупредительные выстрелы военных патрулей.

## 12

В Килунге (так назывался город на тогдашних морских картах; японцы же выговаривают это название — Кирун; китайцы — Цзилун) радужная экзотическая раковина так и не приоткрылась передо мною.

Ее мускулы в то время еще были крепки и надежно удерживали плотно сомкнутые створки.

Я мог видеть лишь самую поверхность жизни колониальной Японии в период ее расцвета и непоколебимой уверенности в том, что жизнь в добытых ею владениях устраивается на века и будет идти так всегда, не подверженная никаким катаклизмам.

И по той Японии, которой на самом деле было отмерено еще всего лишь пятнадцать лет жизни, меня неотступно сопровождал Иван Федорович Икеми-сан — само воплощение любезности, доброжелательства, безоблачного состояния духа, неизменной готовности приложить все свои силы, чтобы исполнить любое мое желание.

На килунгском рейде «Федор Литке» бросил якорь на целую неделю. Это была самая долгая стоянка за весь наш рейс. Надо было принять топливо для последнего перехода, привести корабль в порядок после тайфуна. Оказалось, он нам не только лицо попортил, ради этого можно бы и не задерживаться, но кое-что забарахлило в машинном, а до Владивостока на спокойное море рассчитывать не приходилось. Работы на корабле хватало, но и свободного времени у палубной команды оставалось достаточно, и я спросил у Икеми, нельзя ли будет нам с Митей съездить в столицу острова город Тайхоку (по-китайски Тайбэй), отстоящий от Килунга в нескольких часах езды по железной дороге. Митя Золкин как раз и подкинул эту идею: «Все-таки настоящий город посмотрим. Интересно».

— О, это так просто,— мгновенно отозвался Икеми.— Некоторые формальности существуют, конечно. Покорнейше прошу вас повременить до завтра. Я сделаю все, что нужно, и мне доставит величайшее удовольствие сопровождать вас, с вашего разрешения, в этой прекрасной поездке.

Мы продолжали в тот день ходить по Килунгу и заходили в сады, и в пагоды, и в харчевни, и встречали ребят с нашего корабля, и за каждым из них тоже влачилась неотвязная тень. Я несколько раз возвращался к разговору о предстоящей поездке в Тайхоку, и Иван Федорович принимал деятельное участие в составлении дорожных планов.

— Долго ли идет туда поезд? — спрашивал я.

Он отвечал, что часа четыре, но можно взять машину, это будет стоить не слишком дорого, и мы доберемся часа за два, а то и быстрее.

К обеденному времени мы очутились у неширокой речонки, которая разрезала Килунг надвое, в квартале нищих халуп. По висевшей над невзрачной дверью огромной и пышной бумажной метелке из розовых, голубых и зеленых полос, перехваченных сверху тряпицей, я сумел распознать китайский трактир. Я уже знал, что у китайцев такие метелки служат трактирной вывеской, пригласительным знаком, потом я снова увидел точно такие же в Дальнем. Не вняв уговорам Икеми, звавшего нас к пристойным и чистым заведениям городского центра, мы пообедали в людной, прокуренной комнатке акульими плавниками, жареными ростками бамбука, россыпью хрустких и вкусных моллюсков, сдобренными острейшим соусом кусками свинины, запили обед хорошим японским пивом и при этом учились орудовать двумя лакированными палочками для еды, зажатыми между пальцев. Выйдя, мы снова очутились у речки, от берега до берега заставленной сампанами с утлыми дощатыми хибарками, сооруженными на их палубах. В таких хибарках на гнилой и вонючей воде жила едва ли не половина населения города.

Тут Иван Федорович Икеми-сан предложил отправиться в театр, чью бродячую рекламу мы повстречали накануне. Спектакли там, как оказалось, начинаются утром и длятся до позднего вечера, а входить и выходить можно в любое время.

Мне показалось, что он вспомнил о театре только для того, чтобы поскорее увести нас из тайванского квартала.

Квартал этот в самом деле не принадлежал к городскому фасаду и не мог быть казовым козырем колониальной администрации.

На японском острове Формоза, как можно было узнать из статистической справки в путеводителе, почти девяносто семь процентов населения составляли китайцы, причем часть принадлежала к южным племенам континентального Китая и переселилась на остров в давние времена. Другую часть составляли местные уроженцы, принадлежащие к здешним коренным племенам: цулун, атаял, су, ами, пайвань, цоу, пиуль. Японцев в составе островного населения не набиралось и полутора процентов. Конечно, в городах соотношение менялось. В уличной толпе портового города Килунга, особенно в центре, японцев встречалось немало. По белым одеждам часто можно было отличить среди прохожих корейцев, рассеявшихся по всей Юго-Восточной Азии в поисках заработка. Но и здесь преобладали все же китайские крестьяне в конических шляпах из рисовой соломы и мастеровые, у которых иероглиф на спине синей куртки обозначал принадлежность к какому-либо цеху.

Жизнь коренного населения на острове не была спокойной.

Увидеть это за время стоянки в порту и бессистемных прогулок по улицам, конечно, трудно. Особенно при самом первом

знакомстве, без знания местных привычек, бытового уклада, языка, на котором говорит улица.

Поэтому сказанное — не плод собственных наблюдений.

Возвратившись из плавания, я принялся искать в книгах хоть кое-какие сведения о местах, увиденных в долгом пути.

О Тайване можно было узнать следующее.

Оккупируя этот остров в 1895 году, японцы провозгласили, что они приняли на свои плечи трудную миссию — насадить цивилизацию в диком каннибальском закутке земли.

Но каннибалов на Тайване не бывало. Зато остров богат был рудами, каменным углем, плодоносными плантациями. В торопливой хищнической эксплуатации сокровищ Формозы и нашла свое выражение цивилизаторская миссия пришельцев. Точно так же говорили о «бремени белого человека» в захваченных ими колониях британцы. Красивыми словами можно прикрыть все что угодно. Даже подавляя волю народа и применяя ради этого смертоносное оружие, можно уверять, будто только ценою жестокого принуждения и крови можно привести покоренный народ к счастью. Но кто же хочет, чтобы к счастью его тащили за уши? И будет ли действительным счастьем для народа навязанный ему силой чужой образ жизни? Книги свидетельствуют, что тайванцы сопротивлялись колонизаторам как могли. История острова в годы японского владычества представляет собою перечень чуть ли не ежегодных мятежей и восстаний, длинный мартиролог казненных, перечисление карательных экспедиций, высаженных в том же Килунге с японских военных кораблей.

Но во время нашей килунгской стоянки вид японского крейсера, бросившего якорь в дальнем конце рейда и разукрашенного по какому-то поводу веселыми флагами расцвечивания, не внушал случайному здешнему гостю никаких тревог. А из других военных судов можно было увидеть только стоявший по соседству с нами датский учебный парусник «Дана», переполненный здоровыми и веселыми юношами, которые совершали свою первую кругосветку. Городские же улицы, на взгляд приезжего, были многолюдны, шумны и — спокойны.

Тайванский квартал в заречье, куда я забрел случайно, поражал скученностью и откровенной обнаженностью нищеты. Казалось, он отделен от японского сеттльмента непроницаемой стеной смрада, поднимавшегося над рекой.

Многодетные семьи ютились здесь сплошной толпой, разделенной лишь тонкими стенками халуп, сколоченных из ящиков и развалившихся бочек, а большинство жило на полусгнивших сампанах, прямо на воде, в неистребимой промозглой сырости, и казалось, будто из какой-то лягушечьей икры и плесени рождаются все эти бесчисленные дети, орущие на палубах

сампанов, слоняющиеся по берегу на тонких кривых ногах, копошащиеся в кучах мусора и играющие — все-таки играющие — среди слежавшихся в холмы и пригорки отбросов.

На сампанах свисало с веревок тряпье, застиранное в грязной речной воде, на реях болтались выцветшие флаги с иероглифами и драконами, перекликались женщины, разделывавшие рыбу — улов мужей и единственную пищу семьи.

Иван Федорович Икеми-сан торопился увести нас отсюда. Он вспомнил о театре.

Театр приехал на остров из Осаки.

— Очень хороший театр,— уверял Икеми.

Увидеть такой в Килунге — редкостное везение.

Чтобы попасть на спектакль, надо было возвратиться на главную улицу, Ёосисигесю-род.

За мостом, перекинутым через речку, снова стали встречаться рикши со звонкими колокольчиками и немногочисленные машины с разноголосыми мелодичными гудками. Снова стали попадаться в толпе японцы: пожилые — в кимоно и с модными мягкими шляпами на головах; те, кто помоложе,— в европейских костюмах; юноши в сорочках с короткими рукавами и шортах демонстрировали хорошо развитые бицепсы и крепкие икры.

Сплошным потоком катили по мостовым велосипедисты.

Стук гэта на тротуарах казался уверенным и властным. Так стучат солдатские сапоги на улицах завоеванных городов.

Еще настоящее лето не наступило, был май, а над городом стоял сухой и тяжелый зной. Тротуары были затенены выступающими вторыми этажами домов, но тень не давала прохлады. Прохладно было только в крохотных японских садах, разбитых позади каменных лавок; там в искусственно проложенных руслах текли ручейки, миниатюрные водопады низвергались на замшелые камни, затейливо нагибались стволы карликовых деревьев. Но и эта прохлада перестанет чувствоваться через месяц, когда войдет в зенит тропическое лето. Тогда не меньше половины японского населения покинет остров и отправится на виллы, выстроенные на Севере, на островах метрополии,— всеми этими коммерсантами, предпринимателями, владельцами колониальных рудников, шахт и плантаций. Я спросил у Икеми-сан, где он проводит свой отпуск. Оказалось, что на виллу его заработков не хватало. С женой и дочкой он ездит к своим родителям в деревню. Деревня расположена неподалеку от города Вакамацу, в самом центре острова Хонсю. Рядом с нею, рассказывал Икеми, есть большое озеро, а у самой деревни в это озеро впадает речка. Он вспоминал лесистые холмы и рисовые поля, и видно было, как ему хочется, чтобы я понял, в каких красивых местах он родился и вырос, и как ему нравится помогать отцу по хозяйству, и как любит его

дочка эти поездки. Мне показалось, что воспоминания его растрогали, и я спросил, отчего же он предпочел профессию полицейского шпика крестьянской жизни. Икеми отвечал десятком круглых, ничего не означающих фраз, из которых следовало, что на это были свои причины, о которых спрашивать не следует и которые, вероятно, мало отличаются от причин, откровенно изложенных мне не так давно голландским колониальным полицейским в Сабанге.

Мы вышли на Ёосисигесю-род. Стояла самая знойная пора суток. По незатененной мостовой трусили один за другим рикши в упряжках, и вдруг, когда нарядная двухместная коляска поравнялась со мною и очутилась у самого края тротуара, я явственно расслышал похлюпыванье и покряхтыванье, глухое пощелкиванье в животе человека, влекущего коляску,— те же звуки, что издает на бегу селезенка старой и больной извозчичьей лошади.

Когда мы подошли к театру, оказалось, что спектакль идет уже пятый час: он начался в полдень. Я дал Икеми денег, он взял билеты и повел нас с Митей по закоулкам высокого и длинного, извилистого коридора.

— Прошу вас, будьте добры,— сказал Икеми, остановившись перед высоким и длинным шкафом со множеством открытых небольших ящиков.

— А что тут? — недоуменно осведомился Митя.

— Ваши туфли, пожалуйста.

Икеми подал пример, молниеносно разувшись и показав нам два свободных ящика по соседству с тем, куда он поставил свои ботинки.

— А шляпу? — спросил я.

Икеми развел руками.

— Шляпы возьмем с собой.

Ступая ногами в носках по мягким соломенным матам, мы поднялись вверх по деревянной лестнице.

Мальчик-китаец открыл перед нами дверь, и мы очутились в заднем конце небольшого полутемного балкона, нависавшего над половиною зала и слегка опускавшего по направлению к сцене, находившейся перед нами. Весь балкон и зал под ним были разделены на квадраты, отгороженные один от другого невысокими бортами. Каждый квадрат рассчитан был на одно татами — циновку, на которой могли усесться на корточках четыре человека. При желании можно было втиснуть с собой и ребенка. Ребят в театре было немало. Я расслышал это в полутьме раньше, чем смог разглядеть.

Из зала и над многими соседними ложами поднимался табачный дым. Мимо нас проскользнула с большим подносом разносчица чаю. Неподалеку я увидел — с таким же подносом — продавщицу папирос и конфет.

Между тем на ярко освещенной сцене что-то происходило. Один мужчина, сидя на полу, играл на сямисене. Двое других что-то изображали, переговариваясь между собою. Что именно они изображали, я еще не сумел разобрать.

Сцена представляла собою небольшую коробку, как бы двумя артериями соединенную со зрительным залом. На уровне бортиков, разделявших квадраты партера, проходили от сцены через весь зрительный зал две блестящие лакированные деревянные дорожки. Та, что пошире, была ханамици, дорога цветов; поуже — хасигакари, мост. Сегодня обе дорожки, составляющие продолжение сцены в старом классическом японском театре, были пусты. Только чья-то маленькая девчонка неутомимо сновала из зала к сцене и назад, пока ее не поймал отец и не усадил на место.

Оказалось, что дорога цветов не понадобится сегодня актерам, потому что из Осаки в Килунг приехал не традиционный японский театр, а гастрольная фарсовая труппа, в которой старые традиции вытеснялись приемами, заимствованными из западных эстрадных ревю. И уже не одни лишь мужчины принимали участие в спектакле, как это принято было в Кабуки, но и женщины, и притом они нередко появлялись на сцене в трико, и тогда матросы, которых в зале было немало, японцы и европейцы, громко и разноязычно оценивали их достоинства.

Актрисы, наверно, к этому успели привыкнуть. Они отважно делали свое дело. И я подумал, что при этом они должны были испытывать некоторое чувство гордости. Ведь пока еще их искусство было здесь новаторским. Хотя новаторство это означало всего лишь, что европейский кафешантан проник и на берега Желтого моря, беспощадно вытесняя великолепное мастерство, которое оттачивалось в старом японском театре веками.

От этого становилось немного грустно.

Старый обычай сохранялся лишь в продолжительности представлений, длящихся от полудня до полуночи, да еще в обстановке, которая господствовала в зрительном зале. Правда, обстановка эта больше напоминала о китайских провинциальных театрах, чем о японских.

На циновках люди сосали леденцы, курили сигареты и трубки, чем-то закусывали, неторопливо потягивали горячий чай и ловко перебрасывались полотенцами, смоченными в теплой воде, чтобы утирать пот, струящийся по лицам и заливающий глаза. Добрый десяток лоточников бегали по залу и по балкону, ловко переступая через барьеры и не прекращая оживленной торговли.

Я спросил у Икеми, почему он взял места на балконе, а не в партере.

Тот удивился вопросу и даже смутился.

— Но это же неприлично.

Он показал рукой вниз:

— Посмотрите, кто там сидит.

Я присмотрелся внимательнее. Действительно, различия между публикой партера и балкона можно было заметить сразу. Низ пестрел синими куртками тайванцев с крупными иероглифами на спине, белой одеждой корейцев, униформой матросов с японского крейсера, получивших увольнение на берег, огромными крестьянскими шляпами, положенными на циновки у скрещенных ног. А вокруг нас, на балконе, можно было рассмотреть в полумраке темные кимоно, европейские костюмы, тронутые сединой черные головы солидных и серьезных японцев, не разрешавших себе даже улыбки, в то время как весь партер покатывался от хохота. Все здесь было наоборот: партер в этом театре являлся как бы галеркой, а места на балконе считались привилегированными.

Постепенно я освоился, закурил сигарету из пачки, купленной у лоточницы, глотнул горьковатого, очень душистого чая, поймал полотенце, брошенное доброжелательным соседом, и перебросил его дальше, залитому потом толстому старику за барьером следующей ложи. А на сцене чередовались номера; участников скетча, во время которого мы занимали свои места, сменил японец, исполнивший песню под гитару-гавайану. Потом пять коренастых, невысоких девиц в трико телесного цвета показали танец, походивший больше на акробатический номер. Потом актер с дудкой и актер с сямисеном запели, как объяснил Икеми, злободневные куплеты. Мотив был протяжный, голоса резковаты; слова вызывали дружный смех, и зал откликался довольно живо.

В коротких перерывах между номерами сцена на мгновенье темнела, площадка поворачивалась, и начинался новый номер программы. Вертящуюся сценическую площадку японцы придумали на полторы сотни лет раньше, чем европейцы. Зал продолжал привлекать мое внимание не меньше, чем сцена.

Оказалось, что стена справа состоит из раздвижных бумажных квадратов, как в жилом доме, и многие из них раздвинуты и пропускают в зал разогретый зноем воздух и отголоски уличного шума. Стена эта, правда, выходила не на улицу, а в какой-то сад с близко подступающей высокой кирпичной оградой, но уличные шумы проникали в театральный зал свободно и звонки рикш слышались между гулкими ударами барабана, а голоса актеров порой пересиливали настойчиво-однообразные возгласы продавца папайи — плодов дынного дерева, который на одной высокой ноте расхваливал свой сочный и сладкий товар, поставив корзину у самого входа в театр.

Снова погасли яркие лампы. Зажегшись опять, они осве-

тили новую декорацию: внутренность японской комнаты. Актер открыл дверь, вошел; его встретила актриса с сильно набеленным и разрисованным лицом. Икеми перевел первую фразу мужчины:

— Ятсуки-сан, супруга моя, вишня. Приготовила ли ты ужин для Ватакуси, супруга твоего, для меня?

Женщина отвечала:

— У меня было много домашних забот, Ватакуси-сан, повелитель мой. Мне не хватило времени, и ужин для тебя приготовить я не успела.

Началась обещанная вчера комедия про Ятсуки-сан, решительную жену, и Ватакуси-сан, ленивого мужа. Одежды и грим оставались верны старым законам японского театра, но содержание пьесы оказывалось смелым. Нарушая все законы общежития японской семьи, Ятсуки-сан не оставалась безответной, она то и дело принималась лупить своего никчемного супруга. Зал не возмущался. Напротив, он поддерживал Ятсуки дружными вспышками одобрительного смеха.

Смеялся и молодой японец в квадратных очках в роговой оправе. Он сидел в соседней ложе, вместе с миловидной девушкой в синем кимоно с большими яркими цветами. Наверно, он хотел убедить девушку в том, что не будет похож на Ватакуси.

За ними худой англичанин в штатском громко разговаривал с морским офицером.

Публика продолжала входить в зал, шумно рассаживалась; квадраты лож заполнялись. Свет гаснул и снова зажигался. Долго затихая, плыли глубокие звуки гавайаны. Кричал продавец папайи.

Мы поднялись и вышли.

Было уже часов семь вечера, и на улице дышалось легче.

Звучание дудок продолжалось.

В эту пору на улице стало появляться много прохожих с такими же дудочками, какие аккомпанировали спектаклю. Возвращаясь домой или выйдя из дому, они наигрывали какие-то резкие, продолжительные мотивы. Каждый — на свой лад. Я вспомнил этот тайванский обычай, когда через много лет на наших улицах появились прохожие со включенными транзисторами. Но там улица вообще была музыкальна и многоголоса.

— В порт? — с надеждой спросил Иван Федорович Икеми-сан.

Он надеялся, что его рабочий день подходит к концу.

— Поужинать бы надо,— безжалостно возразил Митя.

Пройдя всю Ёосисигесю-род, с ее дорогими ресторанами, мы заглянули на яркий свет и на патефонную музыку в небольшое заведение на втором этаже дома, находившегося на улице, сворачивающей к порту. В зале, где было десятка полтора

столиков, мы застали очень строгого и подтянутого «деда». Таким он становился всякий раз, когда хотел выглядеть совершенно трезвым. С ним был Минас Каракаш и еще несколько «духов». Была там еще компания датчан с парусника, и еще моряки, кажется французы. Наши ребята приставили к своему еще один столик, притащили стулья.

Икеми огляделся, отыскал глазами коллегу, перекинулся с ним несколькими словами.

— Вы останетесь здесь? — спросил он, возвратившись к нам с Митей.

Мы подтвердили.

— А потом вернетесь на свой корабль?

Мы подтвердили и это.

— Если вы будете так любезны и не перемените своих планов, то я, пожалуй, позволю себе пойти домой...

А его взгляд стал просительным и говорил: «Только не подведите меня, ради моего японского бога». И я постарался уверить его, что он может быть совершенно спокоен.

За ужином ничего чрезвычайного не произошло.

Только вспыхнула короткая, но жестокая битва между датчанами и французами.

Это было обычное матросское побоище.

И те и другие сидели здесь, как видно, давно и были очень пьяны. Атмосфера накалялась исподволь.

Начал тощий, с виду хлипкий француз, лет двадцати.

Он остановился у стола, где сидели датчане. Его сильно шатнуло. Он ткнул пальцем в сторону одного из курсантов и необыкновенно старательно выговорил по-английски:

— Вы дурак. Все датчане дураки.

Удивительнее всего было это «вы». Но он решил изъясниться по-английски, и других возможностей, чем обратиться на «вы», у него не оказалось.

Высокий датчанин поднялся, будто его подбросило со стула пружиной.

Он отозвался мгновенно и решительно:

— Все французы сволочи.

И сразу между двумя столиками образовалась «куча мала». С полдюжины тел каталось на полу. Еще столько же схватывалось друг с другом, размахивая бутылками и стульями на гнутых чугунных ножках. Английское «вы» сменилось бессвязным рычанием и затейливой руганью, в которой можно было различить даже и русские соответствующие моменту словечки. Хозяин заведения, официанты и одетые в штатское коллеги Ивана Федоровича ринулись расталкивать дерущихся, ловко заламывая им руки за спину.

Сражение прекратилось так же внезапно, как и началось.

И как-то так вышло, что враги вдруг составили свои столы и продолжали пить вместе.

Один из датчан заботливо ухаживал за французом, заклеивая грязной бумажкой его рассеченную бровь и смывая кровь салфеткой, смоченной в джине.

Снова стал слышен патефон, заглушенный было гамом побоища.

Хозяин узнал, что в его зале сидят русские, и поставил пластинку с арией царя Бориса в шаляпинском исполнении.

Две женщины прибирали последние следы схватки, выметая осколки битой посуды.

Мы уже собрались уходить, когда к нашему столу подошел хозяин.

Он представился.

Кайоси Кисида-сан — так его звали.

Он завел беседу, медленно подбирая английские слова.

Оказалось, что шаляпинская пластинка — не реквизит, предусмотрительно заготовленный на случай появления русских в его ресторане. Это его личное пристрастие. Он говорил, что любит русскую литературу, русское искусство.

— Сейчас,— сказал он и направился к двери, ведущей во внутренние комнаты, где, вероятно, жил он вместе со своей семьей. У порога Кайоси быстрым, едва заметным движением сбросил американские желтые башмаки, которые носил не завязывая шнурков.

Почти сразу он возвратился с большим альбомом в руках.

Альбом был издан в Токио. В нем оказались хорошо воспроизведенные красочные репродукции картин советских художников. Кайоси листал страницы, наизусть называя имена художников.

Не все фамилии легко ему давались. С Дейнекой и Штернбергом он управился сравнительно легко. А когда дошел до «Купанья красного коня», то имя Петрова-Водкина прозвучало совершенно неузнаваемо. На Кустодиеве он остановился, торжественно поднял палец, простер его к странице и выговорил, как родное японское слово:

— Само-вару.

Затем он перешел к театру.

Он веером разложил на столе пачку фотографий актрис и актеров. Среди них Кисида нашел и показал портрет, изображающий японку с пышным бантом в высокой прическе. Ее кимоно было в полосках и цветах хризантемы и вишни.

— Мидзутани Йаеко, — назвал ее Кисида-сан. И объяснил: — Ториситó, Катýся Масурова.

Я так и не понял, в театре или в японском фильме сыграла Катюшу Маслову эта знаменитая в Японии актриса.

Потом Кайоси Кисида показал еще фотографию сцены из

чеховского «Вишневого сада», поставленного в Токио режиссером Каору Осанаи-сан. На фотографии можно было различить часовню с крестом, и копну сена, и группу японцев с наклеенными русскими бородами, с гитарами в руках.

Еще Кисида принес книгу, напечатанную японскими иероглифами. Но имена авторов на суперобложке отпечатаны были по-русски:

«Сочинения трех русских писателей — Гоголь, Чехов и Голький».

В имени Горького «л» поставлено было на всякий случай: все равно японцы произносят его как «р». Вероятно, написание через «л» показалось графику более русским. Ведь Гоголя и Толстого называют там на свой лад:

— Го́гори.

— Ториситó.

Пристрастие хозяина и круг его интересов поразили нас куда больше, чем матросская драка, свидетелями которой мы оказались в его ресторане.

И то, что эти интересы мирно уживались с высокой техникой вышибания пьяных при помощи приемов дзюдо, тоже было не совсем обычно.

Быть может, интерес к русскому искусству был следованием некоей моде. Но даже если это было и так, то отрадным было само существование у японцев моды на новое русское искусство.

Мы говорили в тот вечер о японской университетской молодежи. Оказалось, что килунгский кабатчик Кисида немало знает и об этой среде. Он оживленно рассказывал, как распространилась за последнее время порода серьезных, думающих юношей, которых называют «марику́су-бойз» за их тягу к марксистской литературе и стремление к изучению социальных проблем. Существуют, конечно, и их антиподы, аполитичные «дизадзу-бойз», ставящие превыше всего интерес к джазовой музыке и к развлечениям необременительного свойства. Кисида тут же продемонстрировал, что и эти увлечения ему не чужды. Он снова зашел в свою комнату и возвратился с кипой пестрых журналов. Так же оживленно, как недавно русскую живопись, он принялся представлять нам красочные портреты королей джаза, эстрадных знаменитостей и кинозвезд.

Следовало ли удивляться разнообразию его увлечений?

В конце концов, не со стороны же он рассказывал о молодых людях.

Он и сам был обыкновенный здешний молодой человек. Тридцатилетний молодой человек, выросший, как видно, в обеспеченной, зажиточной семье и получивший образование. Один из «дизадзу-бойз»...

Это на наш взгляд его профессия была странновата и, пожалуй, унизительна. В его же кругу на это смотрели иначе. И для самого Кисиды такой способ зарабатывать деньги на прожиток был ничем не хуже других. Общественное положение у него было солидное: коммерсант, домовладелец. Заведение его стояло на оживленном пути из городского центра к порту; моряки в нем не переводились, местные гости тоже заглядывали; ресторан не горел, напротив, приносил доход, Кисида мог позволить себе покупать книги, которые ему нравились, встречаться с друзьями. Он считал себя просвещенным колонизатором, ощущал на своих плечах часть бремени, принятого его страной по отношению к этому «дикому острову». Сомнения его не терзали.

Его любезность по отношению к нам была смешана с любопытством.

В разговоре Кисида узнал о нашем намерении отправиться в Тайхоку. Он оживился. Сказал, что у него есть форд и он с радостью повезет нас и сам покажет нам город.

Он пригласил нас прийти к нему завтра, часов в одиннадцать утра.

Митя упомянул, что у нас есть спутник, от которого избавиться вряд ли удастся.

Кисида, конечно, понял.

Он сказал, что машину водит сам и еще для четверых места хватит. Может быть, он возьмет и своего восьмилетнего сына. Сейчас сын уже спит, а завтра мы его увидим.

Мы простились. Кисида спустился с нами к порогу, проводил поясными поклонами и множеством пожеланий. В тот вечер я познакомился с этим обрядом впервые, и он показался мне трогательно-очаровательным.

В портовом полицейском участке мы с Митей сдали свои пропуска, полученные утром для выхода на берег. Сампанщик перевез нас за несколько сен к корабельному трапу, а наутро Икеми-сан снова встретил нас в том же участке, куда мы зашли за новыми пропусками.

Мы рассказали Ивану Федоровичу о форде Кисиды и об его предложении.

Икеми-сан почему-то смутился. Он стал повторять вчерашние свои слова, что оформление поездки дело очень простое, все уладится очень легко и быстро. Однако он вынужден просить прощения за то, что по своему неведению упустил из виду незначительную деталь: нам следует зайти в городское полицейское управление, оставить там письменную просьбу, чтобы нам разрешили поездку в Тайхоку, а полиция получит такое разрешение из Тайхоку по телефону. Времени понадобится очень немного, но, как видно, ехать придется уже не сегодня, а завтра.

То же самое, непрерывно кивая головой и произнося бесчисленные любезности, повторил полицейский чиновник, к которому привел нас Иван Федорович Икеми-сан.

Я заметил, что в Митиных глазах появилось ироническое выражение, но еще не понял, насколько он прав.

Когда в одиннадцать утра мы поспели к Кайоси Кисидесан, он встречал нас на улице вместе с женой, сестрой и воспитанным, ухоженным маленьким сыном, который должен был ехать с нами в Тайхоку.

Открытый громоздкий черный форд стоял на мостовой перед домом.

Известие об отсрочке огорчило все семейство.

— Ну что же,— сказал Кисида.— Если у вас есть время и если это может быть для вас интересно, мы можем взглянуть на мой ничтожный, убогий сад. Я не показывал его вчера, потому что было уже темно.

Он по-вчерашнему ловко сбросил у порога свои незашнурованные желтые башмаки на очень толстой подошве, но не оставил их у входа, а понес с собою. Мы сделали то же самое и, пройдя через внутренние комнаты первого этажа, очутились у раздвинутой бумажной стены, за которой открывалось маленькое чудо.

Весь сад размещался на площади примерно в восемь на десять метров. Но чего в нем только не было! Сперва страшно было ступить на узенькую, вымощенную дорожку, чтобы не обломить, зацепившись ненароком, стебель хризантемы, ствол карликовой японской сосны, или акации, или вишневого дерева, не свалить крохотный, стройный фонарик. Все это — и деревья, и фонари, и каменные утесы — едва достигало вошедшим до пояса. И такая сосна была не тонким молодым побегом недавней посадки. Она была старым, узловатым деревом, со мхом у своего основания и с раскидистой кроной. У самой дорожки быстрая речка текла по перегороженному камнями руслу. Камни покрывала расчесанная течением косматая зелень водорослей. Через речку был переброшен мост — покрытая плесенью и мхом каменная арка. Но мост этот оставался где-то внизу, не достигая колен, и возле него можно было стоять, поставив одну ногу на правый берег, а вторую на левый. Очень скоро ощущение реальных масштабов утрачивалось, и ты начинал чувствовать себя неуклюжим Гулливером, забредшим в прелестную страну трудолюбивых и талантливых художников-лилипутов.

Впечатление усиливалось щебетом, стрекотом, шуршаньем невидимой мелюзги и доносящимися из-за кирпичной стены многоголосыми шумами и возгласами улицы.

Под стать саду был только один из нас: восьмилетний Кисида-младший.

Он стоял на каменном мостике, и стремнина была для него стремниной, водопад — водопадом.

Мир, полный красоты и гармонии, казался созданным для него. В нем воспитывалось чувство незыблемости этого мира, и он должен был вырасти его хозяином.

Я вспоминал маленького Кисиду шестнадцать лет спустя, когда смотрел на такие же сады в городе Даляне, бывшем Дайрене, Дальнем.

К этому времени Кисиде-младшему должно было исполниться двадцать четыре года. Солдатский возраст. Жестокая война только что окончилась. Как обошлась она с семьей Кисиды и ее садом?

Не было ли Кисиды-младшего в той группе пленных японских солдат, которую я повстречал в Таганроге летом 1947 года? В квартале, разрушенном войною, эти пленные строили новый дом. У них был час перерыва. Полевая кухня привезла им обед, и они сидели на кирпичах, расположившись по трое, по четверо вокруг котелков с похлебкой. Рядом с каждым на разостланной газете лежала его хлебная пайка. Пожилой конвойный беззаботно прислонил к кирпичам автомат и обедал вместе с ними.

Японцы уже бойко переговаривались с ним по-русски.

Конвойный заметил, что я прислушиваюсь к их болтовне, и решил, как видно, продемонстрировать перед новичком давно ему знакомый и неизменно его забавлявший сюжет. Он подмигнул мне и, поддевая своих подопечных, перевел разговор на поражение, испытанное Японией в последней войне. Маленький солдат, такой же немолодой, как конвойный, мгновенно возразил, что никакого поражения не было.

В этом и заключалась привычная игра.

— А что же? — спросил конвойный.— Победили вы, что ли?

Солдат ответил:

— Просто император подписал мир.

— И почему же вы здесь?

— Нам приказал император, и мы поехали в Россию работать. Император прикажет — и мы вернемся домой.

— Ну, ждите, ждите.

Конвойный опять подмигнул мне и взглянул на часы.

— Кончай перекур!

Вообразить эту картину тогда, в Килунге, в саду Кайоси Кисиды, было еще невозможно.

В тот день Кайоси Кисида-сан предложил прогуляться по городу, и мы снова отправились по знакомым улицам и паркам, миновали театр, подле которого тот же продавец расхваливал сладкие папайи, переходили из пагоды в пагоду, отдыхали на скамейках скверов. Город был невелик, и пройти его

из конца в конец можно было без труда за каких-нибудь три-четыре часа. Труднее было так построить маршрут, чтобы не забрести, гуляя, в тайванский квартал. Но Икеми и Кайоси сумели оставить его в стороне.

Мы снова встречали на улице ребят с нашего корабля, и потом обедали всей компанией у Кисиды, и нашли там океанологов Горобова и Сливинского, и хозяин ставил для нас пластинку с арией царя Бориса, и к концу обеда к нашему столу подошел матрос, немец или голландец, и сказал:

— Вы норвежцы? Все норвежцы трусы и слабаки.

Мы не стали спорить, и драки не произошло. Мы выпили вместе, а поздним вечером сампанщик отвез нас на корабль; сигнальные огни кораблей и электрический свет у трапов отражались в воде. «Дана» поднимала свои паруса, готовясь к отплытию, и полотнища хлопали, как пушечные выстрелы. Кто-то с берега звал перевозчика:

— Йой! Сендйо! Сендйо! Йой!

Над тихой водой голос слышался далеко, но на зов никто не откликался.

— Йой! Сендйо! Фуне во таному зе!..

Улегшись на койку, я еще долго слышал, как над моей головой вышагивает по палубе вахтенный, и старался угадать по шагам, кто это: Байраченко? Гражданкин?

Было около часу ночи, до моей вахты оставалось еще три часа с лишним, и можно было успеть выспаться.

С Иваном Федоровичем Икеми мы встретились около десяти, на следующее утро. Он виновато развел руками. Разрешения из Тайхоку все еще нет. Отсутствует какой-то начальник. Все уладится попозже. Придется наведываться в управление.

Значит, сегодня поехать уже не удастся.

Если разрешение поспеет к вечеру, то завтра еще можно успеть. А потом начнутся на корабле хлопоты перед отплытием, и времени на поездку, занимающую целый день, уже не выкроить.

Икеми старательно смущался, огорченно прищелкивал языком, произносил недоуменные фразы. Какое невезение! Ведь все это чисто случайно. Никогда не бывало такого. Съездить в Тайхоку — это всегда бывало так просто...

Мы зашли в управление перед обедом, и молодой чиновник стал объяснять что-то Ивану Федоровичу по-японски, а в нашу сторону кивал головой, расцветая при этом открытой улыбкой и повторяя то и дело:

— Бу́дити рюбе́зини. Позаруситá.

А Икеми переводил нам, что лицо, от которого зависит оформление пропуска, где-то задерживается и все еще не возвратилось в Тайхоку, но скоро должно вернуться, и тогда раз-

решение будет, конечно, дано и нашего Икеми немедленно поставят в известность...

На килунгских улицах все уже казалось привычным. Протяжно-скрипучие звуки дудок, которые возникали где-то за поворотом и шли нам навстречу вместе с каким-нибудь одиноким прохожим. Звонки рикш и велосипедов. Выкрики бродячих торговцев. Стук гэта. Удары барабанов и ритмичные похлопывания в ладоши, слышные из-за ограды, окружающей пагоду. Вывески-символы парикмахерских и трактиров, лавок, торгующих статуэтками Будды, изречениями, отгоняющими злых духов, и мелкой галантереей. И раззолоченный, пышный гроб, который стоял у входа в один из кирпичных двухэтажных домов, мы уже видели во время прежних прогулок. Это тоже была вывеска: в доме находилась больница.

Наступало самое знойное время.

Камни мостовых и кирпичи стен раскалились.

Казалось, что воздух вокруг нас постепенно превращается в горячую и плотную массу.

Перед рестораном Кайоси Кисиды-сан по-вчерашнему стоял наготове черный открытый форд, упрятанный от прямых лучей солнца под раскидистым деревом.

Икеми рассказал Кисиде о новой задержке, и тот предложил после обеда поехать покататься за город. Поехать просто так, по шоссе, ведущему к Тайхоку. Сколько проедем, столько и проедем. Хоть увидим уголок острова, прозванного Формозой — великолепной.

Икеми оживленно и весело одобрил это предложение и сразу куда-то вышел. Он появился снова через час, к самому концу обеда,— хорошо вышколенная тень, готовая следовать за тем, кого она отражает, куда бы ее ни повели. Об ответе из Тайхоку он не сказал ничего. Я понял, что ответа все еще нет и, скорее всего, никогда не будет.

Кайоси Кисида-сан оглядел приглашенных. Икеми, Митя Золкин, я. Все были наготове. Не хватало только Кисиды-младшего.

— До темноты остается часов пять,— сказал Кайоси.— Бензина — полный бак. Можно ехать. Если вам не будет это неприятно, я попросил бы у вас разрешения пригласить с нами моего приятеля. Его зовут Нобори Ируси-сан. Он учитель в той школе, куда ходит мой сын. Я рассказывал ему о наших встречах, и он очень хотел познакомиться с моими новыми друзьями.

Конечно, мы не стали возражать. Мы сказали, что, напротив, будем очень рады. Познакомиться с местным школьным учителем будет для нас очень интересно.

Маленький Кисида, опередив нас, уже дожидался у высокой подножки форда. Мальчик был одет очень старательно,

кимоно его аккуратно подпоясано, пояс завязан бантом, жесткие черные волосы аккуратно расчесаны, а лицу его придана такая же, как у отца и у Икеми, несмываемая вежливая улыбка.

Мы расселись. Икеми проскользнул следом за мной и Митей на задний диван, как бестелесное создание, не нуждающееся в какой-либо площади. Мальчик сел рядом с отцом, оставляя место для своего учителя. Кисида включил газ, и форд тронулся бодро, как застоявшаяся лошадь. Несмотря на то что он стоял в тени, металл был раскален, а подушки обжигали тело сквозь одежду. Воздух оставался жарким даже во время движения машины.

Нобори Ируси-сан жил совсем близко.

Мы проехали несколько узких и полупустых в этот знойный час улочек, очутились у невысокого зеленого холма, и на его склоне обнаружился небольшой домик, собранный из бамбуковых рам и щитов, затянутых непрозрачной белой бумагой. У калитки дожидался средних лет японец, одетый не по сегодняшней жаре в черное иофуку, то есть в европейский костюм, словно он готовился не к поездке в открытой машине, а на оперную премьеру или на торжественный прием. Под мышкой он держал небольшой предмет, обернутый куском цветастого шелка.

Оба Кисиды вышли к нему из машины, мы с Митей последовали за ними, и у калитки совершился истовый пятиминутный обряд взаимных приветствий, глубоких поклонов, обмена вопросами о житье-бытье и пожеланиями здоровья. Потом Кайоси Кисида-сан перезнакомил нас и Нобори Ируси-сан друг с другом. Это вызвало новую серию поклонов и изысканные уверения в том, как приятно всем собравшимся это знакомство. После этого форд заполнился, и мы поехали по направлению к морю, огибая холм и спускаясь к той улочке, где находился портовый полицейский участок.

Слева осталась знакомая портовая стенка, а за нею — сампапы, снующие между причалом и пароходами «Осака-мару» и «Киото-мару», пришедшими в одно время с нами, чтобы принять здесь в трюмы уголь, руду и фрукты.

Дальше начиналась территория рыбачьего порта. Тут сампапы толпились у самого берега, каменных причалов не было, и рыбаки выгружали прямо на песок огромные корзины с уловом, и до самого шоссе достигал стойкий запах рыбы, ракушек и морской травы.

За рыбачьим портом, за длинными приземистыми пакгаузами город обрывался сразу.

Дорога обошла, извиваясь, несколько голых холмов; справа черными пирамидами промелькнули знакомые, совсем как в Донбассе, очертания двух терриконов с вагонетками на са-

мых вершинах угольных отвалов, потом потянулись огромные зеркала воды, разлившейся по рисовым полям.

Кисида прибавил скорость, и стало немного прохладнее.

Нобори Ируси-сан развернул свой пакет, лежавший теперь на его коленях. Там обнаружилась книга. Учитель показал ее нам. Это был японо-русский словарь, захваченный, наверно, для дорожной беседы. Но на протяжении всего пути Нобори так и не раскрыл рта. То ли словарь плохо помогал ему, то ли он просто стеснялся и не мог начать разговор. Я попробовал задавать вопросы; учитель беспомощно разводил руками, не понимая; Кисида пытался переводить, но дорога все путала, отвлекала, и разговор не получался.

Форд поднялся на новый холм. С вершины открылось на несколько километров вперед открытое плоское пространство. Слева к нему подходило море, тоже пустое, без кораблей и лодок. Только далеко впереди маячил на воде силуэт яхты, которая бросила якорь напротив рощи, где среди темной зелени что-то белело.

Когда машина сбежала с холма, мне показалось на миг, что мы въехали в степь, такую же, как та, что простирается у моря между Херсоном и Одессой. Но воздух в этой степи пронизан был только зноем потрескавшейся, покрытой солончаками земли. Тут не пахло ни чабрецом, ни мятой; они не росли здесь, а если появлялись местами заросли высокой травы, то это не был ковыль, а что-то чужое, изжелта-рыжее, с какими-то коленчатыми, ломаными разветвлениями на стеблях.

Недолго, не больше получаса, ехали мы по этому плоскому пространству. Расстояние до рощи оказалось короче, чем можно было подумать, когда дальняя зелень впервые открылась перед нами с высокого участка дороги. Ближе к роще снова пошли холмы, дорога опять закрутилась вверх-вниз, и, оглядываясь назад с верхушек, можно было рассмотреть в отдалении знакомый рейд, силуэты кораблей, серый утюг японского крейсера на спокойной воде и невысокий столб еще незажженного маяка у выхода в открытое море. Перед самой рощей дорога вильнула к берегу. У воды толпились очень толстые стволы незнакомых деревьев с крупными мясистыми листьями и громоздящимися вокруг каждого ствола высоко вылезшими корнями, словно искореженными ревматизмом. Казалось, дерево могло бы ходить на этих корнях по голубовато-зеленому илу, обнаженному у рощи морским отливом. Вспомнив знакомые по детским книжкам картинки, я узнал мангровые деревья. Между ними и дорогой росли тонкоствольные пальмы с купами длинных листьев у самых вершинок.

В роще, к которой мы приблизились, гнилой запах мангровых зарослей исчез. Тут берег был повыше, растительность пышнее, подлесок усеян крупными яркими цветами, и хоть

птиц видно не было, голоса их раздавались отовсюду. То, что белело среди темной зелени, когда роща открылась нам с холма, оказалось сравнительно редко стоящими нарядными виллами. Все они были построены поодаль от дороги и казались тихими и не заселенными. Только из-за одной ограды слышались патефонная музыка и звуки, похожие на удары по кожаному мячу. Ни людей, ни машин мы здесь не встречали.

— Здесь недавно начали строиться. Года два, наверно,— объяснил Кайоси Кисида-сан. Он показал на белую стену, за которой патефон исполнял по-немецки шантанную песенку.— Тут шведский консул живет... Тут директор угольной компании... Земля здесь теперь очень дорого стоит. Ну и дома́ тоже, видите, не дешевые.

Последние слова он произнес не с осуждением, а скорее уважительно.

Мы успели миновать рощу со спрятавшимися в ней виллами и были на открытом склоне холма, откуда шоссе некрутыми витками серпантина сбегало книзу, когда Иван Федорович Икеми стал проявлять первые признаки нетерпения. Он поглядывал на часы и все чаще, все пристальнее всматривался в открывающуюся перспективу дороги.

Кисида-сан, напротив, оставался совершенно спокоен. Он лишь прибавлял скорость всякий раз, как только позволял это профиль дороги, а когда Икеми посмотрел на часы, Кисида сказал ему:

— Пожалуй, так часа за полтора можно бы и до Тайхоку доехать.

Икеми сложно, с переливами, хихикнул и вежливо согласился:

— Конечно. Если бы мы имели разрешение...

Нобори Ируси-сан вопросительно посмотрел на земляков. Кисида стал, очевидно, переводить ему суть разговора. Учитель ответил фразой, в которой послышалось откровенное удивление. Похоже было, что он понятия не имел о том, что для поездки в Тайхоку могло понадобиться какое-либо разрешение. Икеми принялся объяснять ему, назидательно и длинно.

Свинчиваясь вниз по виткам серпантина, мы приближались уже к подножью холма. Внизу перед нами оказался неширокий овраг. С другой стороны к оврагу трусцой приближался рикша, а в его коляске сидела католическая монахиня, как видно, из францисканской миссии, имевшей в Килунге свою школу для девочек. Уже можно было различить пухлое немолодое лицо святой сестры в белоснежном обрамлении крахмальной пелерины и сложного полотняного головного убора с широчайшими, тоже жестко накрахмаленными полями.

Коляска рикши и наш форд остановились одновременно. Нас разделял овраг, через который переброшен был поврежденный мост.

Мост выглядел сравнительно новым, но в его настиле не хватало нескольких досок.

Форду здесь было не проехать.

Рикша пригласил монахиню выйти на шоссе, а коляску перенес на собственной спине колесами кверху, теснясь от провала к перилам. Сестра перешла за ним следом, подбирая широкий и длинный подол.

Возле машины рикша снова поставил свой экипаж на колеса, монахиня величественно взгромоздилась на место, и возница затрусил по серпантину вверх, направляясь в сторону Килунга.

Кисида обескураженно смотрел на сломанный мост.

— Не пройдет тут машина,— сказал он.

Иван Федорович поспешно поддержал его:

— Я порагаю, да́риси ехати невозимозино.

Кайоси Кисида-сан помедлил, еще пригляделся, будто примериваясь к уцелевшей части настила, покачал головой и дал задний ход. Разворачиваться ему пришлось на довольно узком отрезке дороги, но он выполнил свой маневр с завидной ловкостью. Едва мы отъехали, я почувствовал, как Митя Золкин дергает меня за рукав. Я посмотрел на него и увидел, что Митя еле заметно скашивает глаза, как бы приглашая меня обернуться. Иван Федорович Икеми сидел рядом, безмятежный, прямой, словно аршин проглотил. Через его плечо я посмотрел назад и увидел, что из оврага выбираются к мостику двое рабочих, таща с собою доски. Вернуть их на место и закрепить было делом минут пятнадцати. Я понял, что Икеми-сан не зря отлучался перед нашим отъездом. Наивная операция по лимитированию нашей прогулки была проделана четко.

Мы обогнали рикшу с монахиней и приближались к роще со спрятанными в ней виллами. Солнце стало огромным, багровым, и нижний край его уже погрузился в море. Маяк у входа на рейд замигал красным и синим огнем: трижды в минуту. Он как бы подмигивал проходящим кораблям, приглашая их завернуть в Килунг.

В город мы возвращались в сумерках.

Почти во всех домах двери были распахнуты настежь, в японских домиках раздвинуты были бумажные стены. Дневной зной уходил из раскаленного камня, дышать становилось легче, и людей на улицах было теперь много больше, чем днем. На тротуарах перед многими домами можно было увидеть большие бочки, налитые горячей водою; над их срезами торчали головы и голые плечи блаженствующих японцев. Наступил час ежевечернего купанья; оно происходит на людях,— нагота в Японии не постыдна, как, впрочем, не может для японца быть постыдным ничто естественное. Из бочек, стоявших по-

близости одна от другой, купальщики перекликались, обменивались взаимными расспросами и домашними новостями.

Кайоси Кисида-сан спросил, что мы собираемся делать нынешним вечером. Мы отвечали, что побродим напоследок по городу, а потом придем ужинать к нему в ресторан.

Лучше заранее попрощаться. Завтра и послезавтра для города будет у нас оставаться не много времени, а затем мы уйдем в последний наш переход — к Владивостоку, чтобы приготовиться там к выполнению главной нашей задачи: к выходу на Чукотку и на остров Врангеля.

Можно было считать, что у нас остается последний здешний привольный вечер. О неосуществленной поездке в Тайхоку не говорил никто. Только Нобори Ируси-сан задал по этому поводу, как можно было догадаться, какой-то неуместный вопрос, и Иван Федорович ответил на него с необычной сухостью. Кисида попробовал завести разговор на отвлеченную тему, но из этого ничего не вышло.

Форд остановился у дома Нобори.

Учитель вышел, унося под мышкой свой обернутый в шелк словарь, который ему так и не пригодился. Кисида, его сын и все остальные пассажиры машины тоже выбрались на дорогу, чтобы совершить истовый и неторопливый обряд прощания.

Нобори, низко кланяясь, отступал и отступал к калитке своего сада. Мы, тоже не переставая кланяться, сделали несколько шагов за ним следом. Нобори не стал открывать калитку, покуда мы не возвратились к дверцам форда. И все это время не прекращались поклоны и восклицания, посредством которых все присутствующие желали друг другу доброго здоровья и силы, неомраченных удач и долгой жизни, изобилующей счастливыми днями.

Мы не стали возвращаться в машину.

Простившись с Кисидой и его сыном, мы отправились на свою вечернюю пешую прогулку, и Иван Федорович Икеми-сан держался на этот раз на приличной дистанции от меня и Мити. Он понимал, что обстоятельства сегодняшней нашей автомобильной поездки вряд ли способствовали превращению связавших нас уз из официальных в дружеские.

Конечно, он лишь выполнял свой служебный долг, не более. Но ведь он волен был выбрать для себя место в жизни. Икеми его и выбрал, предпочтя уважению небольшие, но верные полицейские деньги. И он должен их отрабатывать. Мне говорили, что профессия Ивана Федоровича называется по-японски коротким словом «ину» и что по-русски это слово звучит так же кратко: пес. Икеми захотел быть псом и получает свое.

Перестав обращать на него внимание и возвратив его в положение бессловесной тени, мы с Митей вышли к небольшой площади.

К ней стекались узкие торговые улочки, а на самой площади росло несколько старых деревьев и под ними была стоянка рикш. Нам уже случалось сюда заглядывать и вчера, и позавчера,— ничего достопримечательного здесь тогда не было. Но сегодня площадь изменила свой вид и гуляющих было значительно больше. Рикши оказались вытесненными со своего обычного места; в ветвях деревьев светились, будто на рождественских елках, гирлянды разноцветных электрических лампочек в бумажных фонариках, и на фанерных щитах виднелись ярко освещенные плакаты, где броские иероглифы, выведенные черной и красной клеевой краской, окружали точно такой же рисунок, какой можно было в те годы увидеть и в наших провинциальных городах,— тех, что поглуше. С одного плаката глядела женщина-паук в черной сетке паутины, с другого — силач с фантастическими бицепсами и со множеством медалей на необъятной груди, обтянутой черным трико. Под деревьями раскинулись наспех сколоченные фанерные балаганы с окошечком кассы у входа. И уже толпились здесь дети в синем тряпье и с длинными соплями под носом. Они переминались вокруг балаганов, и казалось, что этот копошащийся рой, который слетелся сюда на убогий свет ярмарочных фонариков, распространяет на площади плесенный дух нищеты и неблагополучия, что устоялся над скученным сампанным жильем в двух шагах отсюда, на гнилой речке.

Мы взяли билеты в балаган, у которого оказались вместе с толпою.

За ситцевой занавеской располагался небольшой музей восковых фигур.

Вдоль стен выстроились восковые самураи, сиогуны и маршалы. Подальше стояли фигуры знаменитых уродцев разных времен и народов, тоже сделанные из воска: знаменитый великан прошлого века, с лицом бравого идиота, и не менее знаменитый карлик; у знаменитой женщины с бородой мерно поднималась и опускалась огромная восковая грудь, будто фигура невозмутимо и сонно дышала. За нею виднелась большая банка с заспиртованными сиамскими близнецами, у которых было одно туловище, две головы и по четыре руки и ноги. Подозреваю, что в банке вместо спирта была вода, а погруженный в нее зеленоватый уродец тоже был сделан из воска.

Тут же обнаружилась и женщина-паук, едва различимая в сумерках дальнего угла, за канатным барьером.

Фигуры были американской работы, балаганщик ссылался не то на Балтимору, не то на Чикаго. Сработано все было на японский вкус — на сюжеты, с детских лет знакомые каждому из посетителей балагана. Работа грубая, со множеством натуралистических подробностей. Большинство самураев и генералов изображены были в тот момент, когда они совершали обряд

сэппуку, сохранивший их имена в памяти нации! в коленопреклоненной позе они наматывали на короткий меч собственные свежевыпущенные синеватые кишки; ярко-клюквенная кровь только что проступила на них, а ближайший друг уже занес над вытянутой шеей самоубийцы длинный двуручный меч, чтобы одним ударом избавить приятеля от ненужных страданий.

В этой же позе предстал перед нами и генерал Маресуке Ноги, прославленный победами под Мукденом и Порт-Артуром. Он лишил себя жизни, чтобы душа его не разлучалась с самой чтимой им душою создателя новой японской державы императора Мутсухито. Император позволял генералу считать себя его личным другом настолько, насколько возможна дружба между обыкновенным смертным и потомком богини.

Шестидесятилетний Мутсухито умер в 1912 году, и сразу же Ноги, который был на три года старше императора, по доброй воле последовал за своим сюзереном в мир предков.

Сцена, исполненная в воске, выглядела отвратительно. Труднее всего было представить, что изображенный сюжет относится не к далекой легендарной древности, но почти к нашим временам: все это происходило за каких-нибудь семнадцать лет до наших прогулок по Килунгу.

Митя Золкин сказал:

— Ну, теперь будет эта чертовщина сниться до самого Владивостока.

И потянул меня вон из балагана на площадь, где нас дожидался Иван Федорович Икеми-сан — сама готовность и доброжелательство. Он воздержался и от расспросов и от комментариев, не стал говорить и о том, были ли предприняты новые попытки связаться с начальством в Тайхоку. Теперь это уже не имело значения. Толпа на площади не редела. На столике перед балаганом был выставлен патефон. С пластинки слышались звуки сямисена и чей-то резкий, высокий мужской голос.

Икеми вышел вперед. Как ледорез для каравана судов, он прокладывал нам путь в скопище ребят, тощих, но мускулистых портовых кули и рыбаков. За нашими спинами открывшийся на мгновение узкий фарватер сразу же затягивался снова сплошною массой человеческих тел.

У Кисиды мы застали нашего доктора со Сливинским. И конечно, там был «дед» в сопровождении нескольких молодцов-«духов». Еще в самом начале пути, в Стамбуле, я подметил у «деда» склонность привыкать к одному и тому же месту: если он забрел при первом выходе на берег в какой-нибудь кабачок и если было ему там неплохо, то потом, стоит только ему сойти с корабля, как ноги сами поведут его опять туда же. В Килунге «дед», так же как мы с Митей, обосновался у Кисиды. «Дед» любил, когда за короткий, трехдневный или даже

двухдневный срок стоянки заводилось у него на берегу место, где его узнавали. Такое место, где бы официант останавливался у столика, изогнувшись вопросительным знаком, а «деду» оставалось бы только сказать: «Как обычно».

И чтобы с ним здоровались и прощались.

Наверно, это рождало чувство домашней устойчивости.

У Кисиды «деду» повезло. Что-что, а встречать и провожать там умели. И слова «как обычно» ресторатор тоже понимал правильно, не хуже, чем во владивостокском «Золотом роге» понимали. Или в «Черной розе» в Стамбуле. И там, и тут это всегда означало, что выпивки должно быть побольше, а закуска умеренная и без всяких там изысков. Во Владивостоке «деду» приносили по такому заказу поллитровку водки, и полдюжины пива, и гору местных креветок, розовых, очень мелких, которые можно грызть как семечки, и сосиски с тушеной капустой. А серьезный и обстоятельный Кисида, освоившись с «дедовыми» привычками, тащил при его появлении на столик квадратную бутылку джина и темное киринское пиво с этикетками, где пивная пена превращалась в неукротимого белого скакуна, и тех же креветок, и тарелки с кусочками осьминога и еще каких-то морских чудищ, на которых доктор глядел с неподдельным ужасом и повторял: «Ты его ешь, а оно тебя ест», имея в виду, очевидно, загробную жизнь моряка, похороненного в океанской пучине. Настроение у «деда» было отличное. Он пил не пьянея и следил за своими мальчиками, чтобы они не пьянели тоже и не ввязывались ни в какие скандалы. Это ему удавалось. Хорошее настроение и живой застольный разговор «дед» считал лучшим средством от опьянения. Может быть, он был прав.

«Дед» умел быть восхитительным. Особенно запомнилось мне одно его возвращение на корабль в Сабанге. Был адский послеполуденный час, когда все живое изнывало на раскаленной докрасна сковородке. Я стоял тогда подвахтенным у трапа, спущенного прямо на портовую стенку. Рядом было ведро с теплой водой, и я то и дело смачивал платком лицо и макушку. «Дед» показался у калитки, возвращаясь из города, куда он имел право выхода, так же как капитан и первый помощник. Немец-полицейский браво откозырял «деду», и тот ответил с военной четкостью. Он и впрямь походил на военного моряка — в открытой тужурке из тропического материала, в фуражке с «крабом», в белоснежном крахмальном воротничке и в белых перчатках. Невозмутимый, прямой, он неторопливо пересек причал и, поднявшись на борт, отдал честь корабельному флагу, как это принято на военных кораблях. Мне «дед» дружелюбно улыбнулся, я спросил, как нравится ему город, в котором я так и не побывал, и «дед» сказал, что, когда окончится моя вахта, он зайдет и все расскажет. После этого

я не видел «деда» до следующего утра, когда мы встретились за завтраком в кают-компании. Тогда я спросил, почему же он не исполнил своего обещания и не зашел? «Дед» удивился.

— А я тебе что́ обещал?

Я напомнил.

— Вчера?

— Конечно, вчера. Когда вы вернулись на корабль...

«Дед» засмеялся.

— Ничего не помню,— сказал он.— По-моему, вчера вообще ничего не было. Не было никакого «вчера». Я был мертвецки пьян. Час назад проснулся и думаю, что вчера вовсе не поднимался с койки.

Про город он сказал:

— Не знаю, не знаю... Что-то вшивенькое... И пьют что-то не то.

Килунгом и Кисидой он остался доволен.

«Дед» рассказал, что ремонт сегодня утром закончился.

— Завтра напоследок погоняем, проверимся как следует, а послезавтра пойдем.

Он сказал еще, что капитан через береговые станции связывался с Владивостоком, Петропавловском-Камчатским и Москвою, узнавал, нет ли новостей с Врангеля? Но ничего нового не услышал.

Выходило, что если завтра еще и можно будет успеть сойти на берег, то лишь очень ненадолго. Надо прощаться.

Пришел Нобори.

Вместе с Иваном Федоровичем появился у столика небольшой человек в темном европейском костюме, в круглых очках, с черным зонтиком под мышкой. Я узнал в нем полицейского чиновника, к которому мы заходили с Икеми.

— Вы изволили собираться в Тайхоку,— перевел Икеми его слова.— Ваш ничтожный слуга два дня звонил в канцелярию губернатора, но провод испорчен. Сегодня связаться не удалось, а завтра...

— Завтра будет поздно,— сказал я и поблагодарил чиновника за все его хлопоты.

Он закачал головой, зачмокал и растворился в табачном дыму так же внезапно, как появился,— вместе с Икеми.

Кайоси Кисида и Нобори Ируси завели тот же разговор, что возникал у нас обычно всякий раз, сам собою. В таких разговорах происходила как бы взаимная приглядка — с удивлением перед теми искаженными представлениями, что существовали у нас о Японии, а у них о нашей стране. Всегда выяснялось много неожиданностей, которые нас забавляли.

Во время беседы Кайоси Кисида от своего имени и от имени Нобори Ируси объявил не без торжественности, что на завтрашний вечер им удалось заказать настоящую чайную цере-

монию, где хозяйками будут настоящие гейши, и оба они будут рады и польщены видеть своими гостями не только нас, но, если это сможет доставить им удовольствие, то и доктора-сан, и профессора-сан, как называли они Сливинского, и «деда»-сан, которые очень им симпатичны и к которым Кисида успел привыкнуть и счел их своими друзьями. Нам оставалось поблагодарить и отказаться: завтра вечером у нас уже не останется времени на чайную церемонию. Хозяева огорчились,— по-моему, искренне,— хотя это их избавляло от немалых расходов: чайная церемония, да еще «с настоящими гейшами», должна была стоить больших денег. Может, для коммерсанта такой расход и не столь уж велик, но школьному учителю Нобори Ируси-сан он должен был показаться весьма ощутительным. И все же они оба действительно огорчились.

Мы начали прощаться.

Обряд совершился внизу, у входа, на тротуаре еще не затихшей, несмотря на поздний час, улицы. Туда спустились жена и сын Кисиды; с ними оказались жена и двое детей Нобори: двенадцатилетний мальчик в шортах и в скаутской рубашке и девочка с набеленным по-взрослому лицом и пышной высокой прической. Ее нарядное кимоно перехвачено было широким поясом со сложенным на спине огромным бантом. Птичье чириканье бесчисленных пожеланий и поклоны долго не прекращались, улица вокруг нас звенела, шелестела; перекликалась голосами дудок. Наше долгое прощанье не привлекало ничьего внимания, никому не мешало. Но когда-нибудь надо же было поставить точку. Мы отступали, отступали и наконец, не оборачиваясь, пошли к переулку, ведущему в сторону порта.

В последний раз за нами брела безмолвная, неотвязная тень.

Когда мы подошли к набережной, Иван Федорович Икеми-сан оказал нам напоследок еще одну услугу. Он зычно воззвал:

— Йой, сэндйо! Сэндйо, йой!

А когда черный сампан, будто вынырнув из глубины моря, очутился рядом с нами, Икеми забормотал, изогнулся в поясном поклоне, но мы не дали на этот раз церемонии затянуться и ступили в лодку. Для одного сампана нас было чересчур много, и лодочник знаками пообещал сразу же возвратиться за теми, кому не хватило места. Работая шестом, он погнал свою лодку к стоящему невдалеке «Федору Литке».

У трапа нас встречал Шера.

В течение пяти дней стоянки я видел на килунгских улицах всех членов нашего экипажа, кроме Шеры. Выходил ли он вообще в город? Я спросил его об этом. Шера ответил: ну а как же, конечно. Выходил. Но город ему не понравился. Жарко очень, и ни с кем не поговоришь. Одни малайцы.

Шера еще не успел отвыкнуть от Сабанга, ему казалось,

что мы уплыли от Суматры не так далеко, чтобы успели окончиться земли, населенные малайцами, о существовании которых он только что узнал.

Я спросил еще, купил ли Шера подарки дочкам.

Да, купил. Только не знает, понравятся ли.

— Вот зайду к тебе. Посмотри и скажи, если что-нибудь в этом смыслишь.

Разговор у трапа принес чувство возвращения к привычной жизни. Никуда больше не надо спешить, не нужно погружаться в чужую непонятную жизнь, разглядывать новых — и тоже не очень понятных — людей.

Весь следующий день прошел в обычной, хорошо знакомой работе. О выходе в город нечего было и думать,— к полуночи едва удалось добраться до койки, а снятие с якоря было назначено на семь утра.

Когда ледорез разворачивался, чтобы выйти в открытое море, по правому борту открылась вся панорама города — с краснокирпичными двухэтажными домами среди скупой зелени, с деревянными изогнутыми крышами нескольких пагод, с круглыми бензобаками на голом мысу и с вытянутыми вдоль причалов складскими бараками, построенными из досок и из рифленого дюраля. С моря хорошо было видно, какой это небольшой город и как резко обрывается он с юга и севера, у окружившей его пустоши, похожей на солончаковую степь. Теперь видны были и мангровый лес, и знакомый холм с белыми виллами, проглядывающими из тропических зарослей. Я взял у Шеры морской бинокль и увидел за холмом участок приморского шоссе. Вероятно, этот участок находился уже за мостиком, у которого Кисиде пришлось остановить свой форд. Теперь по дороге двигалась высокая и кургузая повозка на двух больших колесах, запряженная парой буйволов. Какой-то корабль выходил нам навстречу; поднимающееся солнце мешало разглядеть поднятый на нем флаг.

Невдалеке от маяка мы застопорили свою машину. Два катерка сразу очутились у нашего трапа. Лоцман и таможенники попрощались с капитаном и оставили «Литке». Катера отвалили, и машина заработала снова.

Город на отдалившемся берегу превратился в легко обозримый, лаконичный силуэт. И то же начинало происходить с воспоминаниями об этом городе. Перспектива стирала детали прогулок, знакомств, бесед. Не исчезало и крепло первоначальное удивление перед поразительной, инопланетной непохожестью того, что оставалось на уходящем берегу, на все, что было видено прежде. А при попытке кратко определить для себя причины и суть столь остро испытанного удивления, оказывалось, что никакие однозначные формулы тут решительно не годятся. Все виделось резко контрастным. Любое определе-

ние было недостаточным. Оно тут же настойчиво требовало резко противоположного. Но при этом определения вовсе не опровергали друг друга, а мирно уживались рядом.

Я думал о быте, в стольких своих проявлениях подчиненном потребности эстетического совершенства. Да, да, конечно! Мне хотелось сразу согласиться с этой приметой, бросающейся в глаза едва ли не с каждым новым впечатлением. Я вспоминал сад Кайоси Кисиды. Вспоминал свиток с изречением, который висел в нише комнаты Нобори Ируси над одиноким цветком, поднимающимся из высокой вазы. Неповторимая изысканность, присущая буквально каждому дому, независимо от зажиточности хозяина. Печать безукоризненного вкуса, которая, как я уже готов был поверить, лежала на всем без исключения, радуя и восхищая пришельца снова и снова...

Постой, постой,— останавливал я себя внезапно. А балаган с восковыми фигурами? Какое уж тут эстетическое совершенство! А ведь вторглось же и собирает толпу, и может быть, те же люди, которые строят каменные мостики в карликовых садах и умеют оценить красоту иероглифа на белом свитке, тоже были в этой ярмарочной толпе и любовались залитыми ализариновой кровью кишками маршала Ноги.

Мещанские вкусы так же победно вторгались сюда, тесня изысканность, как это происходило во множестве других мест на земле. Вот разве сопротивляемость здесь была несколько бо́льшей и процесс мог оказаться более длительным.

Я снова почувствовал колебания воздуха на затылке, веер зашуршал за спиною. «Дозо́, дозо́»,— стал повторять тихий женский голос. Послышалось чириканье приглашений и щебет прощаний, и эта мягкость и даже нежность показались еще более существенной чертою всего оставленного на берегу.

Но равнодушие к окружающей нищете, к жилищам-сампанам на гнилой речке, к голодным тайванским детям, но кастовая отчужденность, разбивающая общество на множество несообщающихся сосудов, и не только общество, но даже и семью; но возведенная в доблесть самурайская жестокость... И это, и это было тут же, никуда не денешься, все это было вместе.

Наивность уживалась с трезвым расчетом.

Вежливость — с полицейской грубостью.

Любовь к поэзии и живописи, неожиданно всеобщая, оказывалась облеченной в мертвечину жестких канонов, делавших эту любовь как бы механической, предписанной как формы языка и жесты этикета.

Противоречия уживаются везде. Но здесь все проявления доведены до крайности, и, может быть, столь удивительна и инопланетна сама их гиперболичность.

Кто-то тронул меня за ногу.

Обернувшись, я увидел Яшку. Обезьян обхватил мою икру

и поднял сморщенную черную морду и изборожденный глубокими складками лоб. При этом он не сводил с меня грустных, вечно просящих глаз. Выйдя из-за полубака, к нему заковыляла Машка. Макаки привыкли, что, выходя на палубу, я всегда захватывал для них бананы. Но сейчас бананов у меня не было. Я забыл друзей. Это было совсем нехорошо. В грустном Яшкином взгляде читалась заслуженная укоризна.

Бухта и город совсем скрылись из виду.

Курс наш лежал почти прямо на север; уже завтра «Федор Литке» должен был пройти на траверзе Шанхая и взять немного восточнее, поворачивая на Владивосток.

## 13

На переходе море оставалось спокойным, зато на корабле страсти разбушевались с невиданной силой. Уже на второй день после ухода с Тайваня Утятников ударил в рынду и созвал в большом кубрике профсоюзное собрание. В повестке дня был один-единственный вопрос: «Дело Игнатьева».

В чем оно состояло, это «дело Игнатьева», я не знал. В кают-компании разговоров о нем никаких не было. Но на пути в кубрик толпились возбужденные «духи», игнатьевские дружки, и по обрывкам их жестокого спора я сообразил, что Сашку Игнатьева засекли в Килунге, когда он на рикше направлялся по главной улице к Иошиваре — веселому кварталу.

Его я увидел уже в кубрике. Сашка пытался изобразить независимость и равнодушие к происходящему. Он оперся плечами на верхнюю койку, заложил руки в карманы и перекатывал жевательную резинку от скулы к скуле. Все скамейки были заняты, и я примостился на жученковской койке, рядом с хозяином. Спира только что возвратился с вахты и намеревался присутствовать на собрании, не поднимаясь.

Утятников остановился перед Сашкой и помолчал. Лицо его наливалось кровью. Сашка тоже молчал не отводя глаз.

— Ну,— сказал Утятников.

Сашка засунул жвачку языком за щеку и спросил:

— А чего тебе? — Он изо всех сил старался сохранить невозмутимость.

— Ты что же? Мусью ты или какой-нибудь сэр? На людях, видите ли, собрался он ездить! . .

— Это ты уже доклад свой начал? — осведомился Сашка, не вынимая рук из карманов.— Так ты хоть собрание открой.

Огорошенный Сашкиной наглостью, Утятников опять замолчал. Сашка победно оглядел дружков. Он рисовался и стал цедить слова, произнося их на одесский портовый манер:

— Ну и что? И собрался. Интересно мне было, как это на

людях ездят. Ты же не ездил — не расскажешь. А теперь, может, я бы сам тебе когда-нибудь рассказал.

— Мне твои байки ни к чему,— сказал Утятников.— Может, собранию расскажешь, если люди поинтересуются,— прежде чем тебя из союза вышибать.

Сашкины дружки загудели, как бы ужаснувшись бесчеловечной чрезмерности произнесенной Утятниковым угрозы. Сам же Игнатьев продолжал трудолюбиво катать в челюстях свою жвачку, глаз от Утятникова не отводил и всем своим видом старался изобразить уверенность и независимость.

Разговор в кубрике получился долгий и жаркий. К сожалению, записал я его тогда чересчур бегло, а времени прошло много, и, пытаясь восстановить услышанное, непременно станешь восполнять забытое своими придумками, и мнимые подробности исказят облик времени, который так выразительно проступал во всем, что на том собрании говорилось. Конечно, почти все выступавшие дружно осудили несознательного Игнатьева. Но осуждали по-разному. Одни говорили возбужденно и сбивчиво, стараясь, но не умея выразить существо миссии, носителями которой искренне, с глубокой и радостной верой себя ощущали. Их мысль можно было бы выразить строчками стихотворения, которое читалось тогда на всех школьных, клубных — и на корабельных тоже — вечерах. В стихотворении рассказывалось, как мальчик Сами, индиец-слуга жестокого белого сагиба, «молился далекому Ленни, непонятному как иоги».

Так далек был этот Ленни,
А услышал тотчас же Сами,
И мальчик стоял на коленях
С мокрыми, большими глазами.
А вскочил легко и проворно,
Точно маслом намазали бедра,
Вечер пролил на стан его черный
Благовоний полные ведра,
Будто снова он родился в Амритсаре —
И на этот раз человеком —
Никогда его больше не ударит
Злой сагиб своим жестким стеком.

У нас, в том же кубрике, где обсуждали поступок Игнатьева, читал это стихотворение на первомайском вечере двадцатилетний «дух» Петруша Калыгин. Маленький, быстрый, восторженный, он выступил и теперь с торопливой, горячей речью. Он был твердо уверен в том, что каждый из нас (если уж привелось ему столкнуться с килунгским рикшей) должен во всех поступках своих, во всем поведении нести очеловечивающее, освобождающее начало для любого черного, желтого или смуглого «Сами», порабощенного колонизаторами. Сашка же Игнатьев повел себя как сагиб и тем самым совершил кощун-

ство, и если он не в состоянии сам это понять, то никакое исключение из профсоюза ему не поможет.

Было несколько ораторов, которые говорили куда более складно, чем Петруша Калыгин. Но только, слушая их, я не мог отделаться от ощущения, что говорят они больше для Утятникова, а не по собственной потребности. И потому, что Утятников уже вроде бы и высказал свое мнение,— еще не открыв собрания, он обронил фразу об исключении,— они тоже заканчивали свои речи, предлагая собранию исключить Сашку из профсоюза. Потом, когда мы уже выходили из кубрика, я случайно оказался свидетелем поразившей меня сцены. Машинист Проценко, обвинявший Сашку решительнее всех, говоривший круглее, а под конец потребовавший «гнать Игнатьева из союза, потому что он чужой рабочему сознанию человек»,— настиг Игнатьева на палубе, прижал к бортовому планширю и заговорил, что должен же Сашка понять: не мог он говорить иначе. Нужно было так говорить, и, случись такое же с ним, с Проценко, он нимало бы не обиделся, если б на собрании услыхал от Сашки все эти слова по своему адресу. Проценко стал уверять Игнатьева, что все слова сойдут как с гуся вода — «никто же и не думает того, что говорил», и все будет хорошо. Непреднамеренно подслушанная беседа друзей у планширя была для меня потрясением, и я ее записал, добавив свой наивный и огорченный комментарий в том смысле, что как же это можно говорить не то, что думаешь, и действительно ли такая неправда может быть кому-либо нужной.

И еще я записал выступление старого матроса Чумака.

Вот он-то уж говорил, что думал. Слова подбирал трудно и медленно. Обращаясь к собранию, додумывал вслух ответы на собственные вопросы. В старой своей тетрадке я не речь его записал, а мысли. И, перечитывая записанное, я теперь яснее, чем прежде, убеждаюсь, что это были размышления человека, умудренного жизненным опытом и потому умеющего влезать в чужую шкуру и судить поступки других, приглядываясь к ним с различных точек зрения.

— Вот сел Сашка в коляску к рикше. Нехорошо, конечно, на людях ездить. Я бы, наверно, со стыда сгорел, пока ехал,— рассуждал Чумак.— Ну, а все же разобраться надо: от Сашки был ему, рикше этому, вред какой или, может быть, польза?

И Чумак ответил себе, что от Сашки никакого вреда рикше не было, а была, напротив, только польза.

Чумак это так объяснил:

— Ведь тем, что рикша на себе людей возит, он свой хлеб зарабатывает. Есть пассажир,— значит, есть и прибыток.

Он продолжал спрашивать, тут же себе отвечая:

— Тут извозчиков нет почему? Потому что тот, кто от нужды в рикши идет, — себя едва прокормит, а не то что коня.

Лошака завести не под силу, вот он сам себе за коня. А как безлошадный мужик? Разве сам на себе не пашет?

Чумак спросил Утятникова, видал ли тот, как дожидаются рикши пассажиров на площади — по самой жарище?

— Идешь мимо, чуть за полы тебя не хватают: «Давай прокачу!» Тоже и тот, поди, дожидался. Значит, Сашка его не обидел, а поддержал.

Но закончил Чумак неожиданно:

— А что решился он на человеке поехать, да еще ради одного только форсу, в этом видно, что пустой человек и дурак. Так мы и без рикши знали, что он такой и есть...

В общем, на собрании Сашка отделался внушениями и перепугом, но вскоре стало известно, что с нами он дойдет только до Владивостока, а там его спишут и в трудный северный рейс брать не будут. Не за то, что на рикше катался, а потому, что капитан и старпом согласились с Чумаком и Утятниковым: пустой человек. А для того рейса, что предстоит нам после выхода из Владивостока, нужно экипаж так подобрать, чтобы на каждого можно было положиться. Шестинедельная пристальная приглядка друг к другу не прекращалась с того дня, как мы покинули Севастополь. Правильны ли были составленные нами мнения, это разговор другой: от скороспелых симпатий, так же как и от необоснованных предубеждений, никуда не денешься.

Впрочем, важны были не все мнения, а лишь те, что сложились у двоих людей — обо всех остальных. По кораблю прошла молва, что во Владивостоке будет переукомплектование,— кто не понравился, тех спишут, а вместо них наберут тамошних, таких, с кем капитану и старпому приходилось плавать на других судах и кого они знают. Ну, когда разговор пойдет про «духов» и машинистов, тут и с «дедом», понятно, посоветуются. Он ведь тоже дальневосточник, с нашим капитаном бывал в переделках не раз, и кое-кто на примете у него наверняка есть.

Когда о северных переделках заговаривали при Шере, тот без всякой рисовки заявлял, что во Владивостоке сам спишется.

— Домой пора. Дочки заждались. И мамочка,— так называл он жену.— Океан — это, знаете, не по мне. Я привык так плавать, чтобы берег был виден. А в океане пусть те ходят, кто помоложе. Особенно — в Ледовитом.

Может быть, это была защитная формула. Ведь ему еще в Севастополе было сказано, что он пойдет только до Владивостока.

Опять оживились разговоры про остров Врангеля и про тех, кто дожидается там нашего прихода. Сообщений же оттуда попрежнему не было никаких.

Старпом как-то сказал:

— Знают же они, что к ним раньше августа не подойти. Значит, ждут, как могут. Деваться-то некуда.

Трудно было представить себе такое место на земле, куда корабль может пробиться сквозь льды только в августе.

И, однако, приход к третьим воротам виделся все реальнее. До Владивостока осталось идти не больше недели.

Только бы не узнал капитан, что я считаю оставшиеся дни. На корабле это непростительный, смертный грех: считая дни, можно накликать ураган, смерч, встречу с морскими чудовищами, столкновение с Летучим Голландцем, любое несчастье, которое помешает нам прийти в порт назначения. Я вспоминаю об этом и запрещаю себе думать о Владивостоке.

Лучше думать об острове Врангеля.

Когда мы уйдем из Владивостока на Север, нельзя уже будет думать и об этом.

Полка над штурманским столом в ходовой рубке свидетельствует, как много мы успели пройти за полтора месяца. На эту полку отправляются лоции, которые нам уже не понадобятся. За лоцией Черного моря выстроился добрый десяток объемистых томов в разноцветных коленкоровых переплетах. Я различаю их по цвету: малиновый— лоция Красного моря и Аденской бухты; синий — Бенгальский залив; желтый — Малаккский пролив... Вот уже и Южно-Китайское море отправилось вслед за ними на полку, а лоция Восточно-Китайского моря раскрыта возле карты, на которой ведется прокладка курса.

Меняются над нашими головами звезды.

Дней двадцать тому назад ушла вдруг Большая Медведица. С наступлением вечера ее семь звезд перемещались все дальше к горизонту и однажды вовсе не появились на небе. Зато в южной части неба, в глубокой его черноте стали показываться Южный Крест и Корма, Кит и Парус. Теперь Медведица возвратилась и поднимается все выше, и штурман в часы собачьей вахты снова берет пеленг на Полярную звезду.

Ночи стали прохладнее, и хорошо бывает стоять у борта, рядом с иллюминаторами верхнего салона, и слушать, как Сливинский играет там для себя, всегда негромко и как бы задумчиво. Машина внизу ворчит, посапывает, палуба под ногами вибрирует. За кормою винт оставляет два длинных следа. Луна не отражается на поверхности моря, а широко разливает по черной воде свое отдельное озеро серебряного света.

«Дед» признался, что если б можно было сохранить радиограмму в секрете от капитана, он сообщил бы во Владивосток жене: «Буду субботу надеюсь пельмени».

Но до субботы еще целая неделя, капитан такого легкомыслия не простит. «Кому-кому, а вам стыдно, — скажет он «деду». — Море этого не любит, пора бы знать, да-с».

И радист еще не установил прямую связь с Владивостоком.

— В Шанхай сообщить могу. В Гонконг тоже. А во Владивосток — придется погодить.

Он — тоненький щеголек, с усиками щеточкой. И всегда повторяет, к месту и не к месту, те же опереточные остротки, которыми непрерывно сыпала в Севастополе развеселая толстушка, его жена.

Получается:

— В Гонконг? Паажалста, паажалста! Но кааму эта наада?

Старпом дожидается связи с Владивостоком нетерпеливо и ругает радиста кустарем-одиночкой. Нужно поскорее связаться с судоремонтниками. Сговориться, чтоб ледорез без промедления поставили в док, чтобы приготовились выполнить все заявки, а их накопилось много. И не оттого ли, что Стехов нервничает, стал он в последние дни все чаще покусывать беззащитного Шеру? Начнет с шутки, а закончит вроде бы и не по-доброму. Впрочем, начал вчера вечером, кажется, не Стехов, а сам Шера. Он объявил, что корабельная крыса у него на штанах пуговицу отгрызла. Есть у него такое: любит себя поставить в центр всеобщего внимания. Любой ценой.

— А штаны где же были? — справился «дед».

Шера ответил:

— На мне. Где же им еще быть?

— И ты не проснулся?

— Так если б не проснулся, то и не знал бы, что это крыса. Оторвалась пуговица, и весь разговор. А я проснулся, и сам ее видел, и думаю: сволочь какая, ведь мне ее не поймать, значит, уйдет и опять вернется. Начнет с пуговицы, а потом станет матерьял жрать. Штанов не напасешься.

Ясно было, что все это Шера придумал, себя не пожалев ради вечернего трепа. Так к этому и отнеслись. А старпом вдруг обозлился, принялся перечислять Шерины грехи, обозвал его пещерным человеком и, наверно, еще много чего наговорил бы, если б не поспешили Шере на помощь Сливинский с Горобовым. Как-то они увели разговор от опасного русла и скоро всё погасили, напомнив, что спать пора.

Я потом стал соображать, с чего это старпома так внезапно прорвало, и вдруг показалось мне, что видеть тут нужно совсем не то, что на поверхности. Мне захотелось поверить, будто Стехов за эти шесть недель привык к Шере и даже не только привык, но и рад бы с ним не расставаться, однако девать его некуда, на корабле нужен настоящий третий помощник, потому старпом сам себя и заводит, настраивает себя, чтобы

приготовиться к неизбежности расставанья. Наверно, я все это придумал и никаких душевных тонкостей тут не было. Третий не годился для трудного плаванья. Стехов это отлично знал и обходился без всяких сомнений и терзаний. Ну, а мне просто хотелось, чтобы последние дни перехода прошли у Шеры получше. И чтобы он на старости лет хоть немного поверил в себя. Я думал, что это ему еще может пригодиться.

Мне в Шере нравилась его легкость. И даже легкомыслие его нравилось. Он прожил жизнь, не бросая якорь, не зацепляясь за дно. Течения и волны несли его и ушибали, как хотели, он приноровился. Вряд ли это можно счесть положительною чертой. Но со всем этим, и даже с самоотверженным своим шутовством, он мне нравился. И жаль было, что придется скоро с ним прощаться.

Кто остается, кого спишут,— это была главная тема всех разговоров в последние дни, что оставались до Владивостока.

Сашка Игнатьев повторял:

— Во Владивостоке двух дней не пробуду. Получу расчет, дорожные. Сколько душа велит — пропью. А там подвернется шип до Одессы или до Новороссийска — пойду снова горбатить. А не подвернется — куплю билет до Одессы-мамы, лягу пассажиром на вагонную полку и — адью, камарады, будьте вы трижды счастливы...

Были неуверенные в себе: и хотелось пойти на Север, но больно смутной виделась перспектива. Слишком часто в те дни рассказывали о вынужденных зимовках, о судах, затертых льдами, о тех, кто с трудом выбирался, и о тех, кому вовсе не удалось выбраться. Такие полагались на судьбу: возьмут — хорошо. А не возьмут — может, и еще лучше. Несколько человек, преимущественно из «духов», собирались списываться по доброй воле. Они, как Сашка, надеялись отыскать в порту «шип», то есть пароход с недобранной командой, и наняться на обратный рейс. Надежды были призрачными. Океанских пароходов было у нас тогда не очень еще много, и движение между Владивостоком и черноморскими портами нельзя было назвать оживленным.

Были на корабле и уверенные в своем будущем.

У Мити Золкина никаких сомнений не было: тому, что он побывает на Врангеле, ничто помешать не могло. Митя представлял уже белых медведей на льдинах и оживлял в своем воображении все слышанные им полярные байки, в которых скрежетали льды, ревели матерые сивучи и поднимались рядом с огромными айсбергами фонтаны китов.

Его веселая убежденность передалась и мне.

В самом деле, что́ могло помешать мне закончить путь, начатый полтора месяца назад в Севастополе? Ведь и начат он был именно ради того отрезка, который останется нам преодо-

леть после Владивостока. Конечно, на участие в походе к Врангелю появится еще немало новых претендентов. Но соревнования с ними я не боялся. В команде я себя чувствовал «своим». К делу привык. После тайфуна сам Стехов дал мне понять, что проставленное в моей мореходке звание матроса второго класса я вроде оправдываю. Вот я и ходил вместе со своим наставником Митей в разряде «уверенных» и по его примеру стал все чаще забегать мыслями вперед, представляя наш «Литке» у берегов Камчатки, Чукотки, в торосах Ледовитого океана. И ждал, как для меня повторятся все приключения из рассказов Сашка Кривобуды.

Совершенно спокойны были океанологи. Они ради того и появились на «Литке», чтобы дойти до восточных вод Ледовитого океана и сопоставить тамошние свои наблюдения с опытом, накопленным в западном его бассейне. Условия плавания в Арктике были им хорошо знакомы, и никаких особых сюрпризов они не ожидали. Наблюдения в южных морях они вели больше из любопытства. Настоящее дело для них начнется после выхода в Охотское море, за пятьдесят пятой параллелью. И волновало их только то, что капитану там будет не до станций. Льды будут торопить. Об этом они уже начинали заговаривать в кают-компании, но капитан отделывался шуточками и никаких обещаний не давал.

К концу пути на нашу с Митей долю снова приходилась собачья вахта. Дни становились длиннее, но к полуночным склянкам на море опускалась сплошная чернота. Хотя мы шли по бойкой дороге, встречных огней почти не было видно и береговые маяки тоже моргали где-то за пределами видимости. Море все эти дни оставалось невозмутимо спокойным. Часы вахты протекали с непривычным однообразием, к исходу четвертого часа уже светало и приходилось набрасывать куртку на плечи: рассветы в здешних широтах заметно посвежели. Обезьяны перестали ночевать на палубе; они почему-то облюбовали каюту спокойного и аккуратного Чумака, забирались туда с вечера и устраивались на его койке, не оставляя хозяину места. В этом беды еще не было. Пока обезьяны спали, Федор Иванович нес свою вахту, а они просыпались с рассветом, незадолго до возвращения хозяина. Но, проснувшись, Яшка тут же начинал бесчинствовать, разбрасывал вещи, рвал в клочья любые подвернувшиеся бумажки, выдавливал из тюбиков зубную пасту, ел мыло, а однажды, подражая Чумаку, пытался побриться опасной бритвой. Машка в этих оргиях участия не принимала. Похоже было, что ее угнетают мрачные предчувствия. Она наблюдала за Яшкой искоса, с равнодушной сонливостью, из каюты выходила понуро и неохотно, а когда Чумак пытался отделаться от ее присутствия, в ворчании старой обезьяны слышалась жалобная укоризна.

В кают-компании перемен не наблюдалось. С неизменной пунктуальностью в часы обеда и ужина все свободные от вахты собирались к столу. Капитан садился первым. Тут же рассаживались и остальные. Опоздавшие просили разрешения присоединиться, желали приятного аппетита и укоризненно поглядывали на ведавшего закупкой продуктов второго помощника, когда после долгого пребывания в море свежее мясо сменялось солониной и в меню начинали преобладать консервы. Однако обсуждать меню было не принято, это считалось дурным тоном. После тропиков исчезло со стола красное вино. Второй помощник был горд: на то время, когда полагалась винная пайка — полбутылки в день на каждую глотку, — запасов хватило тютелька в тютельку. Они кончились как раз к тому дню, когда — вскоре после выхода из Килунга — мы оставили за кормой тропик Рака. «Не глаз — ватерпас!» — льстиво подъезжал ко второму механик Торба.

Самого же Торбу раздирали сомнения.

Идти в Арктику было страшновато. Торба проплавал добрых двадцать лет в Черном море, но за Босфор вышел, как Шера, впервые. Спокойнее бы возвращаться восвояси, да соблазн мешает: плаванье, верно, нелегкое, да и заработок же неплохой, отказываться жалко. Опять же, это не только от своего желанья зависит. Еще возьмут ли? С «дедом» пока вроде ладил. Но тот — мужик скрытный. Его сразу не раскусишь. Торба искал подхода, а «деду» не подход нужен — работа.

И Торбу он, кажется, понял: прозвище зря не прилипнет. Этот любит, чтоб в карман шло, а работа может и подождать. Как говорится, солдат спит, а служба бежит.

Может, лучше самому уйти, чем потом объяснять, по какой причине списали?

Вот что терзало Торбу. А Владивосток был все ближе.

Уже радист добился связи с портом и за ужином капитан рассказал Стехову, что он обменялся радиограммами с директором судоремонтного завода и тот заверил, что десятого июня «Федор Литке» может быть поставлен в сухой док. Для этого надо войти в Золотой Рог послезавтра.

Второй Золотой Рог на нашем пути. Постояли в стамбульском, теперь увидим владивостокский.

А капитан-то и не заметил, как оскоромился: назвал срок прихода и не заикнулся. Небось кому другому он такого бы не простил. Но теперь о сроках придется думать и говорить все чаще. Я хотел обратить на это внимание капитана, позлорадствовать, но не решился. Только отметил потом про себя, что никакой беды не случилось и в Золотой Рог мы вошли, когда следовало, не повстречавши в море никаких помех.

Мы очутились дома. Все незнакомо, а — дома.

Никогда не видел прежде эту мягкую линию невысоких сопок, замыкающих бухту. Не видел этого города, развернувшегося невысоким амфитеатром, этих сопок с округлыми вершинами, похожими на зонтики, раскрытые против ветра. Знаю, что от обжитых мною мест, какие привык с детских лет считать своим домом, меня отделяют еще десять тысяч километров. И если здесь солнце стоит уже высоко и время приближается к полудню, то в моем далеком окне еще лишь слегка светает и только начинается четвертый час нового утра. Все это понимаю, а чувствую — дома. И от этого становится тепло и уютно.

Вчера вечером читал лоцию и удивлялся названиям.

Речка Объяснение. С чем бы это? Бухта Гайдамак в заливе Восток. Откуда здесь Гайдамак?

Не украинские ли переселенцы, которых тут — знаю — великое множество, окрестили бухту, так же как называли они свои разбросанные невдалеке от побережья селенья и городки Ново-Киевками, Ново-Полтавками, Ново-Черниговками, и теперь эти привычные для слуха имена тоже укрепили чувство возвращения домой. Но нет, переселенцы тут ни при чем. Просто бухту открыл и назвал именем своего корабля экипаж клипера «Гайдамак», который вошел сюда, когда никакой лоции этих вод еще не существовало, а карта изобиловала белыми пятнами, лишенными точных очертаний, и глубины еще не были промерены, и берега были совершенно пустынны.

Это было в 1860 году.

Каких-нибудь шестьдесят девять лет назад. Срок одной только человеческой жизни, и не самой долгой.

В том же году пришел в Золотой Рог военный транспорт «Маньчжур» под командой капитан-лейтенанта Шефнера. Высадились на берег сорок солдат. Двадцать из них были отправлены к заливу Посьет, чтобы построить там пост и остаться до смены в качестве гарнизона. Остальные двадцать с тою же задачей были оставлены у Золотого Рога. Их окружала подступившая к самой воде вековая тайга. Сунувшись в заросли по высокой, в рост человека, траве, солдаты очутились среди старых дубов, лип и кедров, ильма и ясеней, лиственниц и бархатных деревьев со сморщенной светлой корой. Стволы и ветви были перевиты диким виноградом и толстыми, в руку, побегами актинидий с крупными душистыми ягодами на них. Кто-то бродил по чаще, с треском наступая на ветки. Пятнистый олень вышел прямо на солдат и испугался не сразу.

Солдаты далеко забираться не стали. На берегу залива они поставили несколько палаток, а потом в считанные дни построили несколько бараков, толково срубили избу и даже сумели сложить в ней печь. Так и начался город Владивосток.

Впрочем, городом его наименовали через пятнадцать лет после закладки и при этом присвоили герб: на серебряном поле щита уссурийский тигр держал за рым два скрещенных золотых якоря. Во Владивостоке к тому времени обитало больше тысячи человек. Незамерзающая бухта Золотой Рог оказалась для кораблей чрезвычайно удобной. Там был учрежден торговый порт. Из Николаевска-на-Амуре перевели туда порт военно-морской. В городе появилось мореходное училище, готовившее судовых штурманов и механиков, обосновался морской начальник, именовавшийся не слишком определенно — «начальником южных гаваней», и потянувшиеся туда купцы принялись застраивать город с торопливостью и размахом, не уступавшими застройке американского «Дикого Запада».

Вот почти все, что я знал об этой части нашего большого дома к приходу «Федора Литке» в Золотой Рог.

Еще я знал имена и подвиги Г. К. Невельского, который стал после смерти заливом, горою и городом. В. К. Арсеньева и его удивительного спутника и проводника Дерсу Узала.

Для скольких читателей Арсеньева — и для меня в их числе — Дерсу, с его рыцарской честью в отношениях с людьми и природой, понимающий человека и зверя, бесстрашный и умелый, бескорыстный и дружелюбный, наивный и мудрый, успел стать воплощением желанного приключения. Еще каких-нибудь двадцать лет назад он ходил по этой земле, эти места были его домом. Значит, тут и мой дом, чем-то меня воспитавший. Так я думал, пока приближались мы к Русскому острову, и нам навстречу выходил лоцманский катер и еще катерок с пограничниками, таможенниками и врачом, как это бывало во всех предыдущих портах.

Скоро я услышал, как пограничник отражает атаки команды:

— Не напасешься же на вас. Ведь это всегда так: только придет пароход, только встретишь, и сразу набегут: «газетки свежей нет ли» и «папироской угости». Папиросу я уже последнюю отдал. А газет у нас едва на своих хватает...

Надо напомнить, что радио в те годы было еще молодым и несовершенным. Никаких последних известий радист в пути принимать не мог; о трансляции по кораблю нечего и говорить, она еще не существовала. Газета оставалась единственным источником информации о том, что делается на свете, а русских газет никто из нас не держал в руках почти два месяца. Курильщики скучали еще и по папиросам. Ведь у нас делали тогда только папиросы, сигарет же не выпускали вовсе, а в портах, которые мы проходили, продавали одни сигареты, и курильщики давно мечтали вернуться к привычному куреву.

Тем временем лоцман поставил «Литке» к причальной стенке, и наши дальневосточники увидели на берегу родных,

которые пришли их встретить. Всему экипажу сразу стало известно, что «дед» наш за время плаванья стал дедом не только по штатной своей должности, но и в самом буквальном смысле. Вместе с женой и сыном стояла на причале сноха, и на руках у нее был небольшой пакет, завернутый в голубое одеяльце. Внук родился примерно в то время, когда мы подходили к Порт-Саиду. Но «дед» узнал об этом только сейчас.

Встречать севастопольцев было здесь некому.

Старпом подозвал к себе Митю Золкина, и тот, возвратившись к нам после недолгого разговора, сказал, что велено собраться всем здесь же, на причале, к шестнадцати часам завтрашнего дня. К тому времени будет уже переговорено с заводским начальством, все перспективы прояснятся и каждый сможет узнать, что его ожидает.

Вахту во время стоянки будут нести смены по пять человек — каждая вахта по восемь часов. Списки уже составлены, второй помощник сейчас их объявит. Так я узнал, что на корабль мне нужно явиться к двадцати ноль-ноль, а пока можно отправляться на берег — глядеть незнакомый город и делать все, чего душа пожелает. Ясно было, что те, кто попал в число двадцати вахтенных, рассматриваются уже как участники предстоящего арктического рейса. Когда я понял это, у меня радостно екнуло сердце.

Через несколько минут мы с Митей очутились на Светланке. Так называлась здешняя главная улица, пестро застроенная, протянувшаяся между склоном длинной, не очень высокой сопки и океанским заливом, невдалеке от порта. На этой улице можно было увидеть и хибарки, и провинциальные особнячки, и солидные каменные дома в четыре и пять этажей, выстроенные в декадентском стиле начала века, с затейливыми и бесполезными высокими башенками на углах, с литыми лепными узорами между окон, с фигурами фантастических зверей и птиц. Что ни шаг, то след той безвкусицы богатых, не жалеющих денег купцов, какая в массе приобретает черты определенного, пусть и дурного, но вкуса.

Надо было поскорее отыскать почтамт.

Мы купили наконец папиросы.

Привычная коробка. Ростовские — «Наша марка». В Харькове я их тоже обычно курил.

И газеты мы сразу купили. Здешнее «Красное знамя» и хабаровскую «Тихоокеанскую звезду». И пятнадцатидневной давности московскую «Правду».

Как хорошо, что к любому встречному можно обратиться по-русски. И он тоже по-русски ответит.

Дóма.

И заботы всеобщие, знакомые, те же, какие я оставил, уезжая из Харькова в Севастополь. В «Тихоокеанской

звезде» — телеграмма с Днепростроя о том, что стройка продолжает механизироваться, и перечисление полученных кранов, экскаваторов и думпкаров. Когда я был там в прошлом году, в огромных котлованах копошились землекопы с лопатами, землю вывозили грабарки, запряженные тощими конями, пригнанными сюда из сел Киевщины, Полтавщины и Волыни, а машины можно было встретить лишь на немногих участках. Первая прочитанная новость возвращала к местам, которые были мною хорошо обжиты с самого детства. И славно было узнать, что дела там идут хорошо.

Обнаружился и почтамт — в темноватом и унылом казенном здании. Но для нас оно сразу стало чуть ли не самым приветливым местом на земле, потому что из окошка «до востребования» жизнерадостная девица протянула нам по пухлой пачке конвертов, приговаривая при этом:

— Придется сплясать, морячки. Ведь давно же писем в руках не держали. Разве не правда?

Митя и на этот раз выручил меня, ударивши гопака за обоих, в шумном кругу наших ребят, подстраивавшихся за нами в очередь к окошку.

Только прочитавши всю груду писем от родных и друзей и выслушав домашние новости, полученные всеми моими дружками, я сообразил, что в пачке моей не хватало того, на что я вынужден был весьма нетерпеливо рассчитывать: не было в ней денежного перевода от харьковской редакции, чья командировка позволила мне очутиться на борту «Федора Литке».

А перевод был нужен.

Небольшого матросского заработка, причитающегося за время перехода, хватит мне ненадолго. А в доке «Литке» простоит по крайней мере до конца июня, и непохоже, чтобы на время ремонта и подготовки к рейсу на Врангель у меня сохранялась зарплата на корабле.

Я надеялся, что это понятно без объяснений и что все образуется само собою. Но в Харькове это, наверно, не было так понятно. Пришлось сочинить и послать длинную жалобную телеграмму.

Опасений не было. Все быстро выяснится, и будет «порядок на корабле».

Начало вечера я провел у «деда», который собрал в своем доме добрую половину экипажа.

Дважды сноха выносила к столу своего сына. Следуя какой-то семейной традиции, его назвали Петром. В чем заключалась традиция, гости не разобрались, но «дед» доволен был именем до чрезвычайности и все повторял, что вырастет он «настоящим Петром Великим» и для девиц будет такою же

грозой, как все его предки. И за внука — Петра — гости пили снова и снова.

К двадцати пришло время отправляться на судно.

Я сменил там Степу Байраченко, объяснил ему, как добираться до «дедова» дома, заверил, что он застанет праздник в разгаре, и Степа заторопился в город.

На корабле стояла странная тишина. Машина была остановлена. Ничьи голоса до меня не доносились. Только где-то поодаль монотонно материлась чья-то заблудившаяся душа с чужого шипа. Вероятно, потерялась на берегу и не умела добраться до своей койки,— все другие корабли были ошвартованы у бочек на рейде, а у причала не оставалось больше никого.

Майский ветер колебал тусклые фонари над досками деревянного пирса; пахло на берегу рыбой, мокрым деревом, йодом, и все это сливалось в запах дороги, зовущей все дальше и дальше. Пройдено двенадцать морей и два океана; впереди — третий океан и еще четыре моря. Хорошо бы отбить телеграмму Женьке Лебедеву, все-таки это морская дорога была недавно нашей общей, неисполнимой мечтой. Жаль, забыл его мариупольский адрес. Да и в Мариуполе ли он до сих пор? Может, оморячился еще раньше, чем я, и теперь только посмеется над моим хвастовством.

С причала послышались чьи-то неторопливые шаги, и у трапа появился Шера. Вопреки обыкновению, он был слегка под мухой.

У «деда» я его не видел и даже не вспомнил о нем, а вспомнить нужно было, потому что я знал, что мужик он хоть и нелепый, но очень хороший и теперь ему, наверно, не по себе. Он с самого начала говорил, что во Владивостоке спишется и возвратится домой, но втайне, наверно, не терял надежды, что к нему за дорогу привыкнут, станут его уговаривать и так легко не отпустят. Привыкнуть к нему, правда, привыкли. Но уговаривать, задерживать не стали. Я подумал, что мне будет его не хватать. Надо было о нем подумать, не оставлять одного. Ведь прощаться с кораблем и с людьми, с которыми успел сжиться, ему нелегко.

Шера поежился.

— Июнь начался, а ночи холодные. У нас, в Севастополе, сейчас не то что деревья — скамейки цветут. А тут только лист разворачивается. И холодно... Взял на завтра билет. Ты меня, вахтенный, домой еще пустишь? Переночую, а завтра — к Черному морю.

Он сообщил, что сидел в пивной с Торбой и с Сашкой Игнатьевым. Странная компания. Легко было представить, как те над ним измывались.

— А кто же платил?

— Каждый за себя.

— И Торба?

— Да ты что? За Торбу мы с Сашкой рассчитались.

— А Торба как решил? Остается?

Шера сказал не без злорадства:

— «Дед» сказал — не возьмет. Вместе завтра поедем.

Я проводил Шеру до каюты.

— Будить не надо?

— Сам проснусь. Спешить особо некуда.

Я оставался у трапа до четырех утра.

Вслед за Шерой возвратился и Торба, обругал все, что видел на берегу: и город был не по нем, и пиво плохое, и «народ» ему показался грубым. Он побурчал еще и о том, что не хотелось возвращаться «своим ходом», а приходится. «Две недели пути,— жаловался он.— Влетит ведь в копеечку». Надо бы поискать, наняться на пароход. Но прождать можно чересчур долго. А ждать — опять же проедаться. «Невыгодно вышло. С пустыми руками приеду».

Но это он мне зря говорил. Я-то знал, что он едет не с пустыми руками. Ведь на всем экономил. Даже невыпитое столовое вино матросам продавал. Торба и есть. Торба с салом.

За полночь притопал Золкин. На расспросы он отвечал туманно. Можно было понять, что забрел на танцы, познакомился с девушкой. «Фигурка — во! Личико — во! Звать Милой». Сперва она его к причалу проводила, потом он ее — домой. «Город-то я знаю. Но далеко куда-то зашли, еле потом на знакомую улицу выбрался». Завтра Мила обещала прийти с подругой. «Пойдешь со мной, познакомлю».

После Золкина дружно вернулась боцманская команда. Потом не приходил больше никто. Дальневосточники, понятно, заночевали по квартирам. Но и севастопольцы многие не растерялись, сумели обосноваться. На корабле не было и половины экипажа.

В четыре утра Чумак отбил склянки и пришел к трапу, чтобы сменить меня. Оказалось, что он сходил только на почту, получил письма от жены и дочки, а потом вернулся в кубрик и лег спать.

— А чего я здесь не видел? — объяснил он и посоветовал мне отправиться на койку и «придавить минут на триста».— С утра же никакого дела не будет.

Но я вскочил с койки рано и к открытию почтамта был уже у подъезда. Ничего нового там меня не ожидало.

## 14

Я гулял по Светланке и снова возвращался на почту. Выходил на Суйфунскую и спешил на почтамт. Смотрел, как за Семеновским базаром рыбаки выгружают улов, сложенный в огромные корзины, и местные носильщики — «рогульки» — ставят эти корзины на опоры, прилаженные за спиною, и мелким поспешным шагом несут их в шумный рыбный ряд. В базарной обжорке я ел какую-то незнакомую, невероятно аппетитную еду — прямо из кипящего котла, или с шипящей сковородки — и убегал к почтамту.

Вчерашняя жизнерадостная девица при моем появлении высовывала голову из окошка и весело объявляла:

— Ничего вам нету.

Я прикидывал разницу между здешним и харьковским временем. Выходило, что телеграмму мою вполне могли доставить в редакцию вчера в рабочее время. Ведь я отправлял ее поздешнему в два часа дня. В Харькове же было тогда только шесть часов утра. Если бы сообразили, как это человеку нужно, и выслали бы вчера же телеграфный перевод, то он вполне мог бы уже прийти. Но его не было.

Я дошел до корабля и у самого трапа столкнулся с оживленной компанией. Под командою Мити хлопцы тащили в зоологический сад Яшку и Машку.

Машка сидела на руках у Спиры Жученко. Ее темно-каштановые глаза смотрели с невыразимой печалью.

— Не хочет она от нас уходить,— сказал Спира.— Мне ее жалко.

Легкомысленный Яшка озирался с любопытством.

— А чего их жалеть,— утешил Спиру Золкин.— В зверинце у них друзей знаешь сколько будет.

Я присоединился к компании. Все равно надо было тянуть время.

В зоологическом саду подарок никого не порадовал.

— Опять макаки,— сказала девушка при обезьяннике.— Ведь это ужас какой-то. Как корабль придет, так сразу макак несут. У нас их полно. Не знаю, что и делать.

Митя принялся уверять, что это очень хорошие обезьяны.

— Совсем как люди, посмотрите,— повторял он.— И зовут их Яшка и Машка, они на свои имена откликаются.

— Всегда их зовут Яшка и Машка. Ни разу еще других имен не встречала,— жалобно сказала девушка.

Она побежала куда-то, возвратилась нескоро, но сказала, что обезьян на этот раз примет.

— Но только не возите же вы их больше, пожалуйста.

Выйдя из зоосада и поглядев на уличные часы, мы с Митей

увидели, что всего полчаса остается до отхода поезда, с которым должен уехать Шера.

Поспели на вокзал, когда едва достало времени, чтобы пожать Шерину руку, подсадить нашего вахтенного начальника на ступеньку и помахать вслед тронувшемуся тут же вагону.

У опущенного окошка теснил Шеру своим брюхом лоснящийся Торба и принимал на свой счет наши прощальные знаки. Успеет он попортить жизнь своему земляку за предстоящие им две недели совместного пути...

Очутившись в Севастополе через много лет, я пытался разыскать Шеру. Какой-то Баласогло был зарегистрирован в адресном столе, но звали его совсем иначе; Александр же Александрович записан там не был.

На владивостокском почтамте, куда я прибежал прямо с вокзала, девица в окошке размахивала бумагой.

Увы, это оказался не перевод, а очень длинная телеграмма.

Секретарь редакции, мой добрый приятель, который энергичнее всех старался помочь мне попасть на борт «Федора Литке» и принять участие в рейсе на остров Врангеля, подробно пересказывал распоряжение, полученное им от главного редактора, когда он пришел к нему с полученной от меня телеграммой. Я прочитал следующее: «узнал что Литке простоит доке полтора месяца потом рейс продлится еще месяца два категорически приказал тебе немедленно возвращаться сказал полугодичная командировка невозможна надо работать».

Я хорошо знал нашего редактора. Если он так сказал, то решение свое ни за что не переменит.

Это был удар совершенно неожиданный, и отразить его было невозможно.

Убеждать, доказывать, что впереди осталось именно то, ради чего отправлялся я в путь, просить — было бессмысленно. Мне ясно представилось, как редактор повторяет упрямо: «А кто же будет работать?»

Что можно втолковать упрямому старику?

Редактору моему было тридцать лет, но я всегда и всерьез считал его стариком, ведь мне исполнилось двадцать в самый день прихода нашего во Владивосток.

Пришлось прощаться.

Вместо объяснений я всем показывал телеграмму.

Говорить, объяснять я не мог.

Митя сказал:

— Наплюй. Доплывем, вернешься, возьмут же тебя обратно.

Может быть, он был прав и надо было его послушаться. Но «наплевать» я все же не мог. Было бы в этом что-то бесчестное по отношению к тем, среди которых я пытался стать человеком и которые дружно мне в этом помогали,

Я взял билет и приготовился к долгому путешествию по железной дороге. В те времена оно длилось две недели до Москвы, а там пересадка и еще два дня. Шестнадцать суток я буду уходить от тех мест, куда так стремился, и от дороги, какую мне так и не удалось тогда пройти до конца.

Но я уже знал, что, сколько бы ни пришлось мне дожидаться, я пройду ее до самого уголка своей карты. Я не знал только, что ждать придется целых двадцать лет. Но о том, как дождался и как дошел, должен быть разговор особый.

Уже в Харькове узнал из газет, что «Литке» дошел до Врангеля, снял зимовщиков, высадил новых. Все обошлось хорошо. И дети были здоровы, ничего им не сделалось.

Однажды — лет десять, наверное, прошло уже после плаванья — случилось мне присутствовать на какой-то встрече в Московском дворце пионеров, не помню по какому случаю эту встречу организовали и кто там еще был; помню только, что там познакомили меня с Георгием Алексеевичем Ушаковым. Понимая, что другой встречи никогда не будет, я в двух словах рассказал, как уходил с борта «Литке» во Владивостоке, с каким интересом читал потом записки Ушакова о зимовках, начальником которых он был, и не удержался, спросил: все ли написал он в записках о приходе «Литке» на остров и о встрече зимовщиков с моряками?

Георгий Алексеевич, немногословный, сдержанный, но не замкнутый и располагающий к дружбе и искренности, поглядел на меня, не пряча укоризны и чуть пренебрежительного сожаления. Мол, можно ли было покориться и не дойти?

Он сказал:

— Конечно, не все написал.— Помолчал, посмотрел и еще сказал: — Это видеть нужно, пережить нужно. А ни рассказать, ни написать про это — все, как было,— я не умею.

Он снова разбудил мою старую острую, до сих пор не заснувшую боль.

Конечно, прав был Митя Золкин.

Не надо было мне уходить с корабля, складывать лапки, отказываться от того, ради чего проделано было все это долгое плаванье.

С Митей мы простились у трапа. Оба они с Федором Иванычем несли вахту. Меня еще никто не подменил, и я так и не успел узнать, кто пойдет вместо меня к третьим воротам северного фасада. Товарищей своих по плаванью я больше никогда не встречал.

Однажды во время войны случилось мне идти на катерке из Полярного в Мурманск. Мы проходили уже мурманское

предместье — Ро́сту, когда я увидел у берега знакомый силуэт корабля. Судно было покрыто пятнами ржавчины, невероятно запущено, но все еще сохраняло удивительную стройность, легкость и соразмерность очертаний.

«Федор Литке»?

Да, это был «Литке». Его привели сюда, чтобы разрезать голубым пламенем на металлический лом. Он свое отплавал.

Я не мог смотреть на свой любимый и уже мертвый корабль. Даже сознание всех смертей и потерь, виденных во время войны, не могло усмирить чувство горечи. Я отвернулся.

Четырнадцать лет прошло к тому времени от июньского дня, когда я простился с «Федором Литке» у набережной Золотого Рога и отправился на вокзал, и сел в поезд, и соседка спросила:

— Вы куда едете?

— В Харьков, — ответил я.

— Харьков? О, это, кажется, еще дальше, чем Новосибирск.

Расстояния тогда ощущались совсем не так, как в наши дни, и за дорогу можно было многое передумать.

---

## СОДЕРЖАНИЕ

ИДЕМ НА ВОСТОК . . . . . 5
ПОЛЯРНЫЙ АВГУСТ . . . . . 231
ЗА ДВЕНАДЦАТЬЮ МОРЯМИ . . . . 369

**Шарьянов**
**Александр Моисеевич**
**ЗА ДВЕНАДЦАТЬЮ МОРЯМИ**

М., «Советский писатель», 1975, 592 стр.
План выпуска 1974 г. № 94

Художник *Б. И. Шейнес*
Редактор *В. Д. Острогорская*
Худож. редактор *Е. И. Балашева*
Техн. редактор *М. А. Ульянова*
Корректор *С. И. Малкина*

Сдано в набор 19/X 1973 г. Подписано в печать 24/V 1974 г. А02224. Бумага 60×90 1/16. № 3. Печ. л. 37,0. Уч.-изд. л. 38,63. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1070. Цена 1 р. 27 к.

Издательство «Советский писатель», Москва, К-9, Б. Гнездниковский пер., 10.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136. Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26.

HOME USE
CIRCULATION DEPARTMENT
MAIN LIBRARY

This book is due on the last date stamped below.
1-month loans may be renewed by calling 642-3405.
6-month loans may be recharged by bringing books to Circulation Desk.
Renewals and recharges may be made 4 days prior to due date.
ALL BOOKS ARE SUBJECT TO RECALL 7 DAYS AFTER DATE CHECKED OUT.

APR 9 1976

REC. CIR. MAR 30 '76

LD21—A-40m-8,'75
(S7737L)

General Library
University of California
Berkeley

U.C. BERKELEY LIBRARIES
C021879630

1р. 27к.

СП